

*Приложение к газете
«День литературы»*

Главный редактор:

Валентина
ЕРОФЕЕВА

Шеф-редактор:

Владимир
БОНДАРЕНКО

Редакционный совет:

Николай ИВАНОВ,
Сергей КУНЯЕВ,
Александр
ЛЕОНИДОВ,
Вячеслав ЛЮТЫЙ,
Михаил К. ПОПОВ
Станислав
ПАРФЁНЦЕВ
Захар ПРИЛЕПИН
Андрей ТИМОФЕЕВ

*Гендиректор
Валентина Ерофеева*

Адрес редакции:

119146, г. Москва,
Комсомольский
проспект, 13

Телефон:

8-916-015-80-69

Email:

denlitera@yandex.ru

Сайт:

denliteraturi.ru

*АНО Газета писателей
«День литературы».*

*Свидетельство
о госрегистрации
от 12.04.2019 г.
№ 1197700005513*

**ДЕНЬ
ЛИТЕРАТУРЫ**

Журнал русских писателей

№ 4 (10), 2019

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Константин ПУЛИКОВСКИЙ. Украденное возмездие. <i>Автобиографическая повесть</i>	3
Александр МОЖАЕВ. Последний нонешний денёчек... <i>Рассказ</i>	105
Максим ЯКОВЛЕВ. Пир. <i>Повесть</i>	130
Иван МАШИН. Ангел мой... <i>Повесть-видение</i>	151
Алексей ЛИСНЯК. Ветер с востока. <i>Рассказы</i>	181
Виктор КОНЯЕВ. Скатилось солнце во слезе. <i>Шахтёрская повесть</i>	191
Геннадий РУССКИХ. Маслопупик. <i>Рассказ</i>	233
Михаил СМИРНОВ. Река жизни. <i>Рассказы</i>	246
Вячеслав МИХАЙЛОВ. Дуэль на ТВ. <i>Рассказы</i>	269

ПОЭЗИЯ

Вячеслав КУПРИЯНОВ. И солнце поднимается из мрака. <i>Стихотворения</i>	280
--	-----

БЕСЕДА

Павел КРЕНЁВ: «А не зайти ли вам ко мне, дорогие мои!» <i>Беседа Лолы Звонарёвой</i>	292
---	-----

КРИТИКА

Анатолий ПОБАЧЕНКО. Не буква, а дух созидания. <i>Поэтический подвиг Юрия Ключникова</i>	300
---	-----

ДРАМАТУРГИЯ

Михаил ЖУТИКОВ. Пасмурная комедия («На сломе») <i>Пьеса в 3-х действиях</i>	312
--	-----



Константин ПУЛИКОВСКИЙ

УКРАДЕННОЕ ВОЗМЕЗДИЕ

Автобиографическая повесть

*Посвящается защитнику Отечества
русскому солдату Алексе*

Август 1996-го. Грозный

В начале августа в Грозный под видом мирных жителей стали проникать бандиты, они шли по одному и группами, выдавая себя за торговцев, крестьян, жителей соседних сел, студентов. У всех паспорта в полном порядке... А в день инаугурации Бориса Ельцина они затеяли стрельбу. Тогда-то и стало ясно, что произошел фактически захват чеченской столицы.

Сложилось впечатление, что российские СМИ в Москве явно

Константин Борисович ПУЛИКОВСКИЙ родился в Уссурийске Приморского края. Окончил Ульяновское танковое командное училище, Военную академию бронетанковых войск, Военную академию Генерального штаба. 33 года прослужил в Вооружённых Силах. Занимал командные должности в частях, соединениях, оперативных и оперативно-стратегических объединениях. Служил в Белоруссии, Туркмении, Эстонии, Литве и на Кавказе. В 1996 году — командующий объединённой группировкой федеральных сил в Чеченской Республике. В 1996-1998 годах — заместитель командующего войсками Северо-Кавказского военного округа.

Награждён многими государственными наградами.

Генерал-лейтенант, действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, член Союза писателей России, лауреат премии «Литературной газеты» за 2014 год.

были готовы к такому повороту дела, поскольку сразу же разразился грандиозный скандал.

Но нам было не привыкать... Было принято решение оперативно окружить город, после чего было доложено об этом командующему военным округом Анатолию Квашнину. Мы разработали операцию «Кольцо». В течение трех суток, с 10 по 12 августа, выводили из жилых кварталов милицмейские подразделения и внутренние войска. Частей министерства обороны в Грозном и вовсе не было, они выполняли свои задачи в других районах Чечни. Но мы очень быстро подвели их к окраинам города и расставили по новым позициям. Батальоны сплошным кольцом окружили известных к тому времени всему миру маньяков-головорезов, зарылись в окопы. Облетев несколько раз по периметру театр близких теперь уже военных действий на вертолете, я убедился, что сделано все как надо.

Почти сразу же я объявил горожанам, что в течение 48 часов мирные жители могут и должны покинуть город, после чего мы начнем планомерное уничтожение бандитов. Были обозначены два пункта пропуска, повсюду разбросаны листовки. И люди нас поняли. По нашим подсчетам, из города за это время вышли до 240 тысяч человек: женщины, дети, старики. Молодых мужчин не было: если бы они шли, их бы просто задерживали. Бандит ты или нет, так или иначе остановят — до выяснения.

Утром позвонил Виктор Черномырдин (почти ежедневно в семь утра мы были с ним на связи), и я доложил ему обстановку. Борис Ельцин в то время уже действительно был болен, слег, но об этом я узнал гораздо позже. Виктор Степанович спрашивает: «Ну, что? Если ты завершишь эту операцию, то там от города, наверное, ничего не останется?». Коротко отвечаю: «От него и так уже ничего не осталось. Но они все там».

Шли уже седьмые сутки, когда мы заканчивали окружение, а по всей Чечне стояла сплошная тишина — ни одного выстрела, только в Грозном продолжалась стрельба.

Вот-вот должны были начаться последние сутки ультиматума. Вообще-то уведомление жителей и всех, кто слышит, читает, я никогда не называл таким официальным термином. Просто предупредил людей о своих действиях, обратился к ним с просьбой, чтобы они заблаговременно покинули осиное гнездо бандитов, чтобы не пострадать. Предупредил их честно, как и должно быть. Я не ставил никаких условий бандитам, не предлагал им сдаваться. Обращался только к мирным людям, потому что все, кто там останутся, будут просто уничтожены. Но предупреждение о штурме почему-то назвали «Ультиматумом Пуликовского», а сам план операции — «Кольцо Пуликовского». С нелестными комментариями на всех каналах...

Позже мне с горечью довелось знакомиться с многочисленными статьями и телепередачами, которые изобличали отдельных журналистов и целые редакции в меркантильных связях с лидерами боевиков, их гонцами в столицу, нагруженными грязными долларами... Но в те дни мы не знали, что и думать, только все крепче стискивали зубы и старались завершить боевые действия с меньшими потерями. И отсюда тоже настойчивое и недвусмысленное, категоричное и ясное, неоднократное обращение к населению. По всем средствам связи, и с помощью тысяч и тысяч листовок.

Вскоре на меня вышли два полевых командира и попросили о встрече. Я не отказался. Назначил место и время. Небритые и неопрятные бандитские авторитеты передали мне просьбу своего командования. Хотя Масхадов и в то время был на безопасном для себя удалении: он управлял операцией по

тихому захвату Грозного, как стало известно, из района Старые Атаги. Но все остальные боевики, вместе с Басаевым, были в городе, и до них уже дошло (сообразили, наконец!), что сами сунули свои головы в западню...

На той встрече мне предложили: «Мы поняли, что окружены. Сдаваться никто у нас не собирается. Мы знаем, что ты нас будешь уничтожать. Поэтому мы будем прорываться. Открой нам коридор для прорыва, мы уйдем из города. И не будет кровопролития». «Передайте Масхадову, — отвечаю им, — я вас окружил, чтобы уничтожить, никакого коридора не дождетесь без полной и безоговорочной капитуляции... Сдавайтесь, пока мы не начали боевые действия. И не надейтесь — никто вам ничего не откроет. А мы на сей раз в город не пойдем. Там я был, знаю, как там сложно. Мы вас просто выкурим. Будем бомбить и обстреливать, доведем до такого состояния, что вы сами пойдете на прорыв. Вот тут мы вас и возьмем. Тепленькими. Всех, кто уцелеет... И операция разработана на ваше уничтожение, а не для того, чтобы делать какие-то коридоры для вашего спасения».

На том и закончилась у меня краткая беседа с боевиками. Примерно за сутки до завершающего удара, конца бандитского кровавого сепаратизма, заслуженного возмездия...

Вечером того же дня в Ханкалу, где находился штаб объединенной группировки, позвонил из Москвы генерал Александр Лебедь...

На президентских выборах в первом туре Александр Иванович занял, как известно, третье место. Борис Ельцин после своей инаугурации без промедления назначил громогласного генерала секретарем Совета Безопасности. Мы могли только гадать — что за неожиданным для многих назначением скрывалось?

Теперь-то ясно, что это была циничная игра в интересах нарождающихся олигархов. Но в те непростые дни предположения были самые разные — искреннее уважение к мнению миллионов россиян, отдавших на президентских выборах предпочтение дерзкому в речах генералу? Или откровенные опасения по поводу возможного свободного «плавания» в мире политики не такого уж и прямолинейного и резкого в суждениях военного, имеющего некоторый опыт во властных разборках. То ли это была царская снисходительность великодушного Бориса Ельцина?

Как бы там ни было, мне позвонил секретарь Совета Безопасности России. Опять же можно было лишь гадать — хотел ли Александр Иванович потешить неудовлетворенные амбиции побежденного на выборах конкурента на президентское кресло? Или же генерал безотлагательно решил взяться за самое неотложное в ту пору для страны дело?

Мне хотелось верить, что именно высокая ответственность нового назначенца, стремление немедленно навести конституционный порядок и заставили его сделать свой, пожалуй, первый звонок в Ханкалу... Хотя в армейской среде о нем ходили довольно противоречивые слухи, но я относился к таким вещам с немалой долей скептицизма, потому что по жизни своей всегда предпочитаю доверять исключительно собственным впечатлениям при личном контакте с любым человеком. Да вот контактов таких у нас никогда не было, и по службе мы никогда не пересекались.

Наверняка знал, что генерал Лебедь воевал в Афганистане, усмирил на некоторое время обстановку в Молдавии и Приднестровье. И не было никаких видимых причин, чтобы сомневаться в искренности боевого генерала, в его желании помочь положить решительный конец отморозенному и гнусному сепаратизму. Однако тот телефонный разговор озадачил немало.

— Товарищ генерал, — зычный голос Александра Лебеда буквально переполнял телефонную трубку, — кто вами командует?

— Мною командует президент Российской Федерации.

— Ну, президент вами не командует в каждодневном режиме, тем более, он сейчас болен, — возразил Лебедь. — Я понимаю, что вы подчиняетесь президенту. Но кто конкретно утверждает ваши планы, ставит вам задачи?

— Виктор Степанович Черномырдин...

Как сейчас помню: я тогда был в полном недоумении... Ведь об этом все были прекрасно осведомлены, факт из разряда общеизвестных. Но в голосе Лебеда тоже прозвучало неподдельное удивление, когда он переспросил:

— Как Черномырдин?

Я рассказал высокопоставленному собеседнику о том, что указом президента утверждена государственная комиссия по урегулированию дел в Чечне. Председателем комиссии является председатель Правительства Российской Федерации Виктор Степанович Черномырдин, а заместителями у него — министры обороны и внутренних дел и директор ФСБ.

— И что, Черномырдин вами действительно командует?! — по-прежнему изумленно вопрошал Лебедь.

— Нет, конечно, — отвечаю, — но ежедневно я ему докладываю обстановку — что происходит, как разворачиваются события. Каждый день, утром или вечером. Он мои доклады принимает, дает советы...

— Но он не командует! — не отступает от своего Лебедь. — Он ведь просто дает советы...

— Не знаю, как это называть, — отвечаю, сдерживая поднимавшееся раздражение. — Совет это или приказ?..

— Ну а военные?

— Конечно. Поскольку министры и директор ФСБ являются заместителями председателя комиссии, они мне тоже дают соответствующие команды.

— Как? И тот и другой?

— И третий. В зависимости от обстоятельств. Я вынужден выполнять их команды — так уж устроена система управления.

— А командующий войсками округа? — не унимается Лебедь. — Он вами командует?

— Разумеется, — отвечаю. — Во-первых, я его заместитель, во-вторых, нахожусь на территории его округа с войсками, привлеченными из этого округа. Естественно, он тоже дает необходимые указания.

— Вон сколько у тебя командиров! — в голосе Лебеда даже почудилось некоторое сочувствие. — Тяжело тебе...

— Надо полагать, — не без горечи усмехнулся я. — Нелегко, когда столько начальников.

— Я в Приднестровье был, — миролюбиво продолжил Лебедь. — Такое там тоже проходил. Командуют все, а отвечает все равно один — тот, кто непосредственно управляет войсками...

— На своей шкуре испытываю это... — открываюсь я коллеге. — И готов отвечать, если что-то не так сделаю...

— Давай так, — в голосе Лебеда слышатся металлические нотки. — Ты никого больше не слушай, а выполняй только мои приказы. Я буду тобой командовать. Я — секретарь Совета Безопасности, и имею на это право.

— Александр Иванович, — как можно мягче пытаюсь возразить, — я готов выполнять любые ваши приказы, но сначала должен состояться соответствующий указ президента, которым будет поручено вам мною командовать. А

сейчас есть Черномырдин, министры, командующий войсками округа — у них законное, юридически обоснованное право мною командовать. А вы, хоть и занимаете такой высокий пост, но нигде ваши полномочия там не прописаны. Поэтому их команды я буду выполнять, а ваши, извините, нет.

— А, ну ладно, — осекся Лебедь и даже ругнулся в трубку. Потом коротко бросил: — Утром жди указ...

Вечерний разговор, согласитесь, не из самых приятных... И понятных. Особенно, с учетом угрожающих интонаций секретаря Совета Безопасности. Кто знает, не этот ли его безапелляционный, рыкающий командный тон привел в тот злополучный и ненастный день в небе Красноярского края к непоправимому... Дрогнул летный состав, не заметил вовремя высоковольтную линию. И у нас, в Ханкале, обстановка и без того была накалена до предела, на следующий день предстоял, возможно, последний и решающий бой. Последний, и, стало быть, самый трудный. Но мы ни за что бы не дрогнули. Мы выполнили бы свой долг до конца, долг перед Отечеством, перед павшими товарищами, их безутешными матерями... Перед тысячами россиян, вынужденных стать беженцами в своей стране.

Указ президента мы получили утром, важнейший документ был передан факсом... Под ним стояла подпись Ельцина. Но президент в это время, как заверил накануне Александр Лебедь, был в тяжелом состоянии, в больнице, кто же на самом деле подписал тот указ, мне до сих пор неизвестно. Зато я точно знаю: чтобы издать указ президента, не менее десятка согласований и юридических обоснований надо получить, столько же кабинетов необходимо пройти с проектом такого указа, прежде чем бумага будет подписана самим президентом. А тут за один вечер обстряпали...

В указе всего два пункта. В первом было начертано, что секретарю Совета Безопасности Лебедю Александру Ивановичу поручается от имени президента РФ решать все вопросы по урегулированию дел в Чечне.

А во втором пункте ему же предоставлялось право отстранять от занимаемых должностей руководителей федеральных министерств и ведомств, вплоть до заместителей министров, включительно.

А у нас как раз сложилась такая не совсем стандартная ситуация. Сам-то я был лишь заместителем командующего войсками военного округа, а в моем подчинении находились люди в ранге заместителей министров или заместителей командующих других ведомств — внутренних, железнодорожных, строительных войск, ФСБ и министерства внутренних дел. То есть, в указе было предусмотрено следующее: если даже я не подчинюсь ловкому генералу, то Лебедь мог снимать всех заместителей министров и заместителей командующих, находящихся в Чечне в моем непосредственном подчинении как командующего объединенной группировкой. Сам Александр Иванович это предусмотрел, или ему кто-то подсказал, не знаю. Расследованием не занимался. Да я тем утром, откровенно говоря, и не рассматривал этот указ в том плане, что он может как-то угрожать мне лично или воспрепятствовать завершению так успешно развивающейся операции по ликвидации бандитских формирований, заблокированных в Грозном. Напротив, мне показалось, что Лебедь взял на себя все управление для того, чтобы помочь мне довести операцию до логического конца. Я был абсолютно в этом уверен.

И честно скажу: если бы я знал, что все повернется по-другому, я бы его просто не пустил в Грозный. Лебеда. Выгнал бы на взлетную полосу танк или БТР, и его самолет ни за что не приземлился бы в Ханкале. И пока бы он до меня добирался из Моздока, например, я бы уже довел операцию до кон-

ца. А там будь что будет, но дело было бы сделано. Но Лебедь мне сказал: «Я к тебе лечу». И все, больше ничего. Подумалось даже, что летит ко мне единомышленник, который поможет уничтожить эту банду...

Но повороты судьбы, как говорится, неисповедимы. И тот вечерний телефонный разговор с Москвой для меня и моей страны имел совершенно неожиданные и далеко нелогичные последствия, предусмотреть которые было просто невозможно. Но случилось то, что случилось.

Мы хорошо подготовились к прибытию Лебеда.

Человек он новый в наших местах, справедливо полагали мы, многих вещей не знает вообще. Подготовили схемы, карты, историческую справку о жизни чеченского и русского народов в этих местах, начиная со времен царского генерала Ермолова. В этой справке было добросовестно изложено, как депортировали, высылали чеченцев, и как они потом возвращались сюда обратно. И, конечно, очертили историю последних лет, начиная с 1958 года, когда было объявлено о реабилитации депортированных народов. А в 80-х годах, уже при Горбачеве, вообще были практически устранены все, в том числе и негласные, административные препятствия для возвращения репрессированных народов в родные места. С той поры, собственно, и начали снова обостряться межнациональные противоречия на всем Северном Кавказе, которые и привели, в конечном счете, к самому настоящему геноциду народов многих национальностей, в том числе, русского народа.

Вернувшиеся в родные места чеченцы начали просто изгонять ни в чем не повинных нефтяников, газовиков, крестьян, рабочих, в основном славянского происхождения, поселившихся в домах и поселках, опустевших еще в 1944 году, и казаков, которые жили рядом с горами с древнейших времен...

Я и сам много и серьезно размышлял о наших проблемах на Северном Кавказе. Изучал, как говорится, первоисточники, подолгу беседовал со сведущими людьми. Действительно, взаимоотношения народов всегда и везде, во все времена были, есть и будут очень тонкой материей. И опрометчиво, даже вроде бы из благих намерений, принимать спонтанные, не продуманные до последней запятой нормативные акты в пользу одного народа, игнорируя интересы другого, тем паче, живущего на той же территории. Да, трагедия 1944 года — настоящий акт вандализма сталинского режима по отношению не только к горским народам Северного Кавказа, но и ко всем другим народам без исключения, жившим тогда и живущим сейчас в этих местах. В том числе, в неменьшей мере, и по отношению к русским.

Подобные раны на душе и в сознании народов не заживают веками, они не стираются в памяти десятков поколений. Насколько же надо быть внимательными и зоркими правителям, идущим по законотворческому полю, чтобы не наступать раз за разом на одни и те же грабли... И непременно надо помнить и осмысливать, что Сталин не смог решить этот вопрос ни радикализмом, ни интернационализмом. В чем тут дело? Было бы здорово, пришел я в конечном итоге к философскому и далеко не новому осознанию: если б в кабинете каждого представителя власти висел на стене не только портрет президента, иллюстрируя верноподданнические чувства сидящего в кожаном кресле за тяжелым огромным столом, но и всегда перед его глазами на противоположной стене мерцала бы красным светом предупреждающая надпись: ошибки совершают люди, стоящие у власти, а расплачиваются за них народы.

Истина вроде бы вечная, только помнят о ней не все...

Когда Лебедь прилетел к нам, мы собрали все необходимые документы. Надо все рассказать и показать, как мы «докатались до жизни такой». Так я и сделал.

В моем докладе присутствовал и экскурс в историю — дальнюю и ближнюю, потом был рассказ у карты и схем о боевых действиях в Чечне, с первого дня и до последнего. Одним словом, рассказал обо всем, что мы сделали и почему мы это делаем.

Александр Иванович выслушал мой доклад молча, а потом неожиданно и совсем для нас нежданно-негаданно заявил, что все понял, но ни с чем не согласен...

Нужно, мол, немедленно прекратить боевые действия, отойти с занятых позиций и приступить к переговорам. А следом и вовсе снимать кольцо и прекращать войну.

Для меня и всех участников совещания с моей стороны, а в зале сидели практически все генералы — командиры частей объединенной группировки, заявление Лебеда прозвучало как гром среди ясного неба. Но как-то сказались, видимо, наше личное нередкое участие в боевых действиях, навыки не терять самообладание, словом, взял я себя в руки и спокойным тоном возразил: «Александр Иванович, вы не правы. Может, я что-то неправильно объяснил или недоходчиво вам рассказал. Но давайте спланируем дальнейшую работу совещания так: сейчас пообедаем, а потом на 15-20 минут пригласите к себе на беседу с глазу на глаз и по одному — представителей и МВД, и ФСБ, и ГРУ — всех, кто со мной здесь работает. Поговорите с ними без меня, один на один, и пусть каждый генерал, каждый командир выскажет свое мнение: что нужно и что можно делать дальше. Решать, конечно, вам, но я не хочу, чтобы вы приняли ошибочное решение — вот что самое главное».

Он согласился. Но перед тем как прервать совещание и идти на обед, он выступил перед нами с речью.

В стране, говорил Лебедь, и политический, и экономический кризис. Президент Ельцин не в состоянии управлять государством. И по своим деловым и моральным качествам, а самое главное — по состоянию здоровья. Сейчас он лежит на шунтировании, и его должны увезти в Англию, чтобы операцию сделать там. И даже если все закончится удачно, то после шунтирования он только через 6-10 месяцев вернется в Россию. Поэтому сейчас будут назначены (а это было уже ближе к середине августа) повторные выборы президента, которые состоятся минимум через три месяца — в ноябре. И я, сказал Александр Иванович, выиграю эти выборы и стану президентом России — к этому я уже готов. Что нам мешает, чтобы ликвидировать этот политический кризис? Нам нужно закончить эту войну любыми способами, и тогда всем станет ясно, что это я принес стране мир. Вспомните Брестский мир, когда Ленин, чтобы спасти страну, пошел на мир с немцами. И сейчас все против нас: дефолт, финансовый кризис, забастовки шахтеров, солдатские матери расставили пикеты вокруг Белого дома, требуют: «Конец войне!». Вспомнил даже сильное землетрясение на Сахалине и наводнение в Приморье и сказал: «Даже Господь Бог против нас и послал нам все эти беды. Нам нужно остановиться — война нам приносит только горе». И завершил он свою речь такими словами: «Я сюда приехал, чтобы эту войну остановить!».

Принимая его доводы, мы понимали, что они чисто политические. Реа-

лии дня здесь, в Грозном, были против этих доводов: город окружен, бандиты в западне.

Последний удар, и все они будут уничтожены. Но Лебедь даже после индивидуальных встреч с командирами ни к кому не прислушался. Он собрал нас всех снова и сказал, что Пуликовский мстит за погибшего сына. Что у него на этой почве просто помутнение рассудка и «поехала крыша», поэтому он так неадекватно воспринимает все вопросы. Мол, все свои действия он подчиняет только одной мысли: отомстить за убитого Алексея. Поэтому ему тут и командующим нельзя быть, он ничего тут не сможет сделать. Кстати, потом он эту же тираду повторил и по возвращении в Москву, по-моему, даже в Госдуме. А на том совещании он сказал: вот указ президента о моих полномочиях, стало быть, кто с ним не согласен, может выйти отсюда, и он уже будет никем...

Я встал и вышел.

Боевые мои товарищи остались и продолжали его слушать. И он начал, собственно, командовать и готовить этот постыдный Хасавюртовский мир...

Все, что произошло дальше, было очень позорным для нас — только так я могу прокомментировать эти события. Тогда министром обороны был уже Сергей Родионов. Я, оставшись в должности заместителя командующего войсками округа, составил схему не вывода, а отвода войск за Терек, чтобы оставить их хотя бы по линии Терека. Тогда бы Масхадов со своими бандитами видел, что армия не ушла, что она стала базовыми лагерями вокруг Чечни и смотрит, как они там будут управлять, и будет ли там порядок. Но и этот план не был утвержден. Они хотели, чтобы мы бежали оттуда, как тараканы...

Уходили, конечно, с сожалением, но и с радостью, потому что эта война всем уже обрыдла — и солдатам, и офицерам, и генералам. Но стыдно было за страну, когда боевики орали нам вслед и стреляли в воздух под крики «Аллах Акбар», оскорбляли всячески и угрожали.

В нас не стреляли, но уход был просто омерзительным.

Кто участвовал в этом выводе войск — солдаты, офицеры и любой, кто это видел, у того на всю жизнь останется на душе осадок горечи за нашу страну, за Россию, за державу, за ее руководство. Зависла эта горькая обида в груди и останется так, кажется, до самой смерти — забыть этот позор просто невозможно. Тем более, что победа была уже в наших руках: какие-то сутки боев, и с бандитами было бы покончено навсегда...

И сегодня я глубоко убежден, что именно эта ошибка руководителей страны привела потом ко второй Чеченской войне: если бы завершили тогда операцию в Грозном, то войны на Северном Кавказе больше никогда бы и не было. Просто не могло бы быть.

Postskript

Позволю себе привести еще несколько небольших выдержек из самой честной, как считаю не только я, но и многие военные, книги о Чеченской трагедии. Называется она «Моя война. Чеченский дневник окопного генерала», а автор — мой боевой товарищ — генерал Геннадий Николаевич Трошев. Он издал эту книгу в 2001 году, когда жив был и Александр Иванович Лебедь, что, несомненно, представляется особенно примечательным. В издании немало откровенно нелестных авторских ремарок об этом инициаторе позорного Хасавюртовского замирения с бандитами.

Больше того, в книге за плечом генерала-«миротворца» четко просматривается тень еще одного кровно заинтересованного в этом сомнительном акте человека, представляющего большой бизнес Северного Кавказа и России в ту сложную пору. Я имею в виду лондонского затворника Бориса Березовского, которого давно уже жаждала увидеть на скамье подсудимых Российская прокуратура.

Борис Абрамович приехал тогда с Лебедем в Чечню, в качестве официального представителя Федерального центра. Но что было особенно неприемлемо: он появился в Ханкале несколько позже, потому что прежде всего решил посоветоваться с Масхадовым. И на совещании в штабе Объединенной группы войск он уже выступал, заручившись мнением и руководителей бандитских формирований. Когда же я на этом совещании задал ему резонный вопрос: неужели перед встречей с Масхадовым его не интересовало мнение штаба Объединенной группировки войск и его оценка сложившейся ситуации, — он меня просто оборвал.

Геннадий Трошев пишет: «Офицеры, невольные свидетели разговора, опустили головы. Пуликовский с трудом сдержал себя. Стиснул кулаки, круто развернулся и пошел прочь, чувствуя спиной «расстрельный» взгляд Бориса Абрамовича...».

И далее: «Лебедею хотелось сиюминутной славы «миротворца». Вот, дескать, никто проблеме Чечни разрешить не может уже почти два года, а он — сможет. Одним махом, одним росчерком пера, одним только видом своим и наскоком бонапартистским.

Мы все — в дерьме, а он — в белом. Ради непомерного честолюбия, ради создания имиджа «спасителя нации» он предал воюющую армию, предал павших в боях и их родных и близких, предал миллионы людей, ждавших от государства защиты перед беспределом бандитов...».

«...Нехороших разговоров о Лебеде после Хасавюрта ходило много. Я не встречал, например, ни одного военного, кто бы не «кинул камень» в «миротворца». Офицеры, служившие с ним в Афганистане, рассказывали даже, как Лебедь, жаждавший быстрой военной славы, обрушил огонь на кишлак дружественного нам племени. Увидел людей с оружием в руках — и давай их свинцом поливать. А ведь предупреждали: не трогай их, они к себе моджахедов не пускают и нам выдают всю информацию о бандитских караванах. Не послушал или не понял... Видно, стремился начальству доложить о быстрой победе над басурманами: столько-то моджахедов убито, столько-то стволов захвачено... В общем, сделал из союзников злейших врагов.

Кое-кто из офицеров полез с Лебедем драться. Еле разняли.

Это похоже на армейскую сплетню, и можно было бы пропустить мимо ушей. Но после всего, содеянного Лебедем в 1996 году, я верю в афганскую историю. Допускаю, что нечто подобное могло быть: просто вписывается в характер Александра Ивановича. Ныне не только мне, но и большинству армейских офицеров стыдно, что этот генерал — наш бывший сослуживец. Никто не нанес Российской армии большего вреда, чем Лебедь. Остается одна лишь надежда, что он понимает это и в конце концов публично раскается. Я считаю добрым знаком уже то, что он молчит, не комментирует события, последовавшие за Хасавюртскими соглашениями...»

Замечу — слова эти были сказаны, когда жив был Александр Иванович Лебедь. Стало быть, читал... Мир праху его, и да простит его Господь...

Глава 1. ВОЕННАЯ ГЕОГРАФИЯ

Когда я учился в Академии Генерального Штаба, как-то зашел в тамошнюю библиотеку, и обнаружил в ней... книгу своего прадеда, полковника Пуликовского — «Военная география». Предок написал ее в XIX веке, тем самым оставил свой след в военной науке. И вообще в нашей семье, пожалуй, все мужчины были военными. Мой родной дед, полковник царской армии, погиб на германском фронте в 1916 году, а бабушка осталась с четырьмя сыновьями на руках. Чтобы их поставить на ноги, она вторично вышла замуж и взяла фамилию второго мужа, Кулакова. Именно перемена фамилии, скорее всего, уберегла наш род от репрессий, которые последовали после Великой Октябрьской революции и, особенно, в двадцатые-тридцатые годы, когда гонениям подвергались многие дворяне.

По семейным преданиям истоки нашего рода восходят к прапрапрадеду Осипу Пуликовскому, ему-то и была пожалована деревенька близ нынешнего города Кимры Тверской области за заслуги на государственной службе. А далее корни мне не удалось в точности проследить, но по всем данным они уходят куда-то в Европу — в Польшу, Литву, Украину, Болгарию.

Когда моя бабушка вторично вышла замуж, ей удалось вырастить достойных сынов, которые с первых дней Великой Отечественной Войны вместе с отчимом ушли на фронт. Воевали все доблестно.

Домой вернулся только один из них — командир эскадрильи Борис Пуликовский. Все остальные пали на полях сражений.

Мне очень хотелось бы посетить свою родовую деревеньку в верховьях великой русской реки Волги, но, к сожалению, во время строительства Волго-Балтийского судоходного канала она осталась на дне большого и ныне живописного водохранилища.

Мой отец — Борис Пуликовский — прошел всю войну и закончил ее в звании капитана, а мама, Анисья Федоровна, в девичестве Татарникова, родом с Алтайского края, была старшиной роты связи, воевала на многих фронтах Великой Отечественной.

Никогда не забуду юбилей моего дорогого отца. В 1994 году мы всей семьей праздновали его 80-летие.

Все собрались за одним большим столом, во главе которого сидел юбиляр и его верная боевая подруга — наша мама. Пришли три сына и пять внуков. Много добрых и теплых слов было сказано. И вот настал черед моего сына, лейтенанта Алексея Пуликовского (он только что закончил военное училище). Алеша встал, обвел нас всех теплым взглядом и с тихой грустью проговорил:

— Дед, вот если бы все трое твоих братьев, погибших на войне, были бы все-таки живы, сколько бы у них было сейчас детей и внуков, пришлось бы нам еще несколько столов здесь ставить...

Крепко призадумались мы все в тот вечер, но никто и помыслить не мог, что трогательная речь молодого офицера окажется на самом деле прощальной... Ровно через год Алексей Пуликовский, уже в звании старшего лейтенанта, героически сложит свою голову за нашу великую Родину в бою на неожиданной-негаданной войне — Первой чеченской.

Никто не ведал тогда, что снова будут погибать русские офицеры и солдаты прямо в границах Российской Федерации, отброшенной в 1991 году в границы России середины XVII века...

В те страшные дни мне позвонил мой отец, полковник Борис Пуликовс-

кий. Слова, которые он мне сказал, врезались в память до конца дней моих: «Сын, вытерпи. Как бы тяжело ни было тебе — вытерпи. Представь нас с матерью, моей матерью, когда ее первый муж — мой отец, погиб в Первую мировую... Она второй раз вышла замуж, и этот ее муж тоже погиб, во Второй мировой. И три сына ее погибли, мои братья... Я один остался, и она одна. А у тебя сейчас есть рядом родители, братья... Вытерпи это горе, сын, выживи — по примеру всей нашей семьи...».

Если замечу, что часто вспоминаю своих родителей, и всякий раз с глубочайшим уважением, нескрываемой гордостью, всей правды, пожалуй, не скажу. Потому что я их вспоминаю не часто, а я всегда их помню. Всегда их вижу, как и вижу своего сына Алексея. Они всегда со мной.

Отец был очень сильный человек, и мама никогда не была слабой. Она пережила его всего на два года. Отец умер в 89 лет, а когда умерла мама, врачи сказали: «От тоски, а так у нее ничего не болело...».

В Уссурийск они попали уже после войны, там и поженились официально, там я и родился. Старший брат появился в 46 году, а я в 1948-м. Мама все время подшучивала над нами, когда мы стали уже большими: «Разбавила вашу «голубую» дворянскую кровь каплей крови природной сибирской крестьянки...».

Как-то я отдыхал в санатории Алтайского края, где и получил уникальную информацию — сведения о семье крестьян Татарниковых из деревни Беднота, по сельскохозяйственной переписи 1917 года. На стандартном листе было написано: дед матери переехал с семьей на Алтай в 1900 году из Курской губернии и поселился в Барнаульской волости, в Тимошевском уезде, в деревне Беднота. За семьей было закреплено 57 десятин арендованной земли: пашни, пастбища, сенокосы. В хозяйстве было 8 коров, 2 бычка, 4 лошади, 20 свиней разного возраста, овцы. Сельхозинвентарь: плуги, бороны, телеги на деревянном и железном ходу.

А отец прямо порадовал... Летом 2000 года, после назначения меня полномочным представителем президента России, я уезжал на Дальний Восток. Тогда-то он мне впервые и открылся, оказалось, у него еще до войны была первая семья, в ней было три сына, потом он с первой женой развелся. А во время войны встретил мою маму — так появились на свет еще трое сыновей. Таким образом, нас оказалось шесть братьев.

Но мы не знали ничего о существовании друг друга.

Провожая меня на Дальний Восток, отец сказал: «Поезжай, у тебя там два брата (третий к тому времени умер) найди их, они живут в Приморском крае, в Чугуевке».

Разумеется, я их сразу же разыскал. Вместе с моей супругой, Верой Ивановной, мы прилетели на вертолете в Варфоломеевку. Нас встретил глава Чугуевского района и отвез чуть ли не к самому центру гор Сихотэ-Алиня. Там я нашел своих братьев Николая и Михаила. Один с 40-го года рождения, другой с 37-го. И их замечательные семьи: девчонки, мальчишки. Все носят фамилию Пуликовских. У Михаила два сына, у Николая две дочки. В горнице собрались две мои племянницы и один племянник, а второго племянника на месте не оказалось: был на выезде.

Сидим мы за праздничным столом, знакомимся, любимся детьми. Вдруг открывается дверь, и входит второй Мишкин сын, Сергей. Он зашел, а мы с Верой Ивановной обмерли. Показалось нам, словно Алешка наш, погибший в Чечне, вошел в комнату. Волосы, лицо, брови — все Алешкино... А когда я с ним обнялся, вдохнул запах его волос — то и вовсе растрогался.

Запах был тот же — сына моего!

И сейчас в Чугуевке мальчишка этот живет. Разница с Алексеем всего год. Гены от моего отца передались.

Удивительное и радостное совпадение.

В первый класс я пошел уже в Актюбинской области Казахстана. До этого отца перевели из Уссурийска в Свердловск, а уже из Свердловска в Казахстан. Через какое-то время они поселились в городе Куйбышеве, нынешняя Самара. В шестом классе учился в городе Кузнецке Пензенской области...

С этим живописным краем и связаны самые дорогие воспоминания. Там мои друзья юности, одноклассники. Отсюда поступил в Ульяновское Гвардейское Высшее Командное Танковое Училище и создал собственную семью. Между тем тяготы кочевой военной жизни, бесконечные переезды к новому месту службы отца в то время мне не казались романтическими, напротив, я наблюдал некое однообразие. Быть может, поэтому пришел к некой крамольной мысли для потомственной семьи офицеров и решил попробовать себя в электронике. Но хотелось, конечно, стать и хирургом, и космонавтом. Поступал в Зеленограде в Московский институт электронной техники. Однако не добрал один балл, троек не было, у меня их вообще никогда не было. И тем не менее одного балла не хватило. Быть может, в те дни, когда, конечно же, переживал, я возненавидел четверки так же, как некоторые относятся к тройкам, что и позволило, наверняка, мне в последующем окончить танковое училище и две академии с золотыми медалями.

С документами из института приехал в Ульяновск и поступил в танковое училище. Так и стал танкистом.

Судьбе было угодно не разрывать военную династию.

Четыре года в училище: служба тяжелая — зато друзья, мужская дружба были настоящими. Да мы и сейчас встречаемся с сокурсниками, помогаем друг другу. Собираемся на день танкиста в Москве. На чины не смотрим (мало кто дослужился до генеральского звания).

Глава 2. БОЕВАЯ ПОДРУГА, ДОРОГАЯ МОЯ ВЕРА ИВАНОВНА

И как-то так получилось, что в те годы судьба мне предложила и верную боевую подругу. Когда вернулся в родительский дом в Кузнецке, в новенькой офицерской форме, с иголки, с лейтенантскими погонами, в кармане у меня уже было предписание в гарнизон города Борисова, что в Белоруссии. Аналогичные предписания получили еще десятка три молодых лейтенанта, они тоже направлялись в Борисовский гарнизон. Вместе с родителями меня встречала соседская девчонка Вера, с которой был знаком с четырнадцати лет. Городок-то небольшой, тут все друг друга знали.

Ходил в школу мимо медицинского училища и на девчонок вроде бы не обращал никакого внимания. Пробегут мимо, похихикают, а вот Вера (но теперь, конечно, Вера Ивановна) заприметила меня: глаза мои ей понравились, строен, мол, высокий; хотя лопоухий был, да с отцовской военной сумкой через плечо... А как-то раз проводил ее младшую сестру Машу после танцев и очень удивился, когда понял, что они сестры. Вера подошла ко мне, стала разговаривать, а сестренка обиделась, домой пошла. Эту первую встречу я запомнил на всю жизнь и вспоминаю о ней с особым чувством.

Встречаться потом часто не удавалось, но появилась какая-то непреодо-

лимая тяга друг к другу. Поняли это мы в разлуке, когда учился я в Ульяновске. Но потом Вера окончила медицинское училище, устроилась в городскую больницу, и я приехал на побывку. Встретились вроде бы случайно. Вера меня даже не сразу узнала: возмужал — говорит. Погуляли, долго одним словом гуляли. А через несколько дней у меня случился приступ аппендикса. Надо было уже ехать в училище, а меня ночью увезли в больницу и сразу же прооперировали, да не совсем удачно, так что отпуск пришлось продлевать.

Тогда-то и случилась эта самая любовь — теперь признается моя дорогая Вера Ивановна. И стала она меня дожидаться из училища с дипломом, писала нежные и, что очень важно, регулярные письма. Я тогда тоже стал горячим поклонником эпистолярного жанра.

А когда получил диплом, крепко призадумался. Нахлынули детские воспоминания о постоянных переездах, тесных коморках, не очень-то хотелось обрекать мою дорогую Веру на такую беспокойную и неустроенную жизнь. Потому и не решался сделать предложение. О своих сомнениях рассказал и Вере. Но она и слышать ничего не хотела: «Уеду на БАМ или на Анггару, будешь меня искать и ни за что не найдешь!..».

Тут уж я враз свои сомнения отбросил. И закрутилось все быстро: за две недели и расписались, и свадьбу сыграли. И к слову сказать, с тех пор ни разу и не пожалели. Первое место службы, можно сказать, проходило в комфортном, по тем временам, регионе, хотя, конечно, многие хотели бы попасть в Германию, в Венгрию, в уютные чистые европейские города с мягким климатом и двойными окладами, в рублях и марках или в форинтах.

Тем не менее, это не Сибирь, и не Дальний Восток, как говаривали у нас, у черта на куличиках, в комариных краях или на вечной мерзлоте. Кто знал тогда, что в зрелые годы все равно придется там побывать... Однако и в этом благодатном по климатическим условиям регионе удобных и пригодных для нормального человеческого бытия военных городков было крайне мало. Одно дело — офицеры, их уже в училище готовят к сложным условиям жизни, умению переносить тяготы службы в войсках, в казарме, на полигоне, другое дело — офицерские жены, они, как декабристки — вынуждены вести «спартанский» образ жизни, да еще и с малыми детьми на руках... Неустроенный быт гарнизонов, полное отсутствие культурного досуга... Многие семьи распались, но наша — выстояла. Ни разу мы не впали в уныние, никогда не страдали от безысходности и отчаяния.

И теперь Вера Ивановна говорит, что самое главное — это то, что мы приняли друг друга такими, какими были, как приняли и окружающий мир.

Скорее всего, у нас была настоящая любовь, которая нам позволяла вообще не замечать ничего плохого, хотя меня дома практически никогда не было, она, как сама утверждает, знала, что живет с целеустремленным и порядочным человеком, и полагала — все, что я делаю, это правильно — только так и можно добиться успеха. Выручало и то, что в город Борисов приехали сразу 37 лейтенантов из нашего Ульяновского военного училища, в том числе и молодожены. Сначала жили в гостиницах. А потом две семьи молодоженов поселили в одной комнате (ее мы перегораживали простынями), там — они, тут — мы. Как-то я пришел и говорю ей: «Ох, как наши товарищи живут, аж завидно мне стало...».

Вера восторгалась, ей тоже захотелось посмотреть, кому же я там завидую. Пошли... Комнатка девятиметровая, диван, столик маленький, на стене вешалка прибитая, на ней шинели лейтенантские висят под простыней, но и она позавидовала: «Живут же люди...». И тут нам дали комнату, двадца-

тиметровую! В квартире с подселением. Там еще капитан с семьей жил и двумя детьми. Кухня и удобства, понятно, были общими. Там и прожили три года, и старший сын Алешка у нас родился. Но и служба шла, начинал командиром взвода, стал командиром роты. Потом начальником штаба батальона. К концу трехлетнего срока занял должность командира батальона.

И случился первый переезд — под город Витебск, в поселок Заслоново. Ребята шутили: «Глушей глуши в Советской Армии нет...». Стояли там всего девять домов, зато жилье дали сразу. Пять лет там и отбарабанил комбатом. Дослужился до майора. В Заслоново родился и второй сын — Сережка. Из Заслоново-то я и уехал в Москву, поступив в Академию Бронетанковых Войск имени маршала Малиновского. И было это в 1979 году.

Нас с Верой Ивановной и двумя детишками Москва встретила не очень-то дружелюбно. И тут, как в захудалом военном городке, нас поселили в трехкомнатной квартире в Бабушкинском районе, в которой и без нас уже жили две семьи.

В 1980-м была Олимпиада в Москве. И потому слушателям академии летом дали длинный отпуск, за счет зимнего, с обязательным выездом за пределы столицы, так что знаменитую Московскую Олимпиаду наблюдать не довелось. Вера Ивановна иногда пеняет мне, в шутку, конечно: промучились, мол, мы год в этой квартире, старшего, Алешку, пришлось даже отдавать на воспитание дедушке с бабушкой. Разумеется, мы могли бы и снять квартиру, но были надежды на перемены к лучшему...

Жили по-прежнему на одну мою зарплату, помогать-то нам нашим родителям было трудновато. У моих были еще два сына, причем один из них — инвалид, а Верина мама была уже на пенсии и жила одна. Поэтому Вере пришлось работать, она и раньше не сидела сложа руки, а в Москве пошла в детский садик старшей медсестрой, на Лосиноостровской станции, там и маленького Сережку пристроила.

Позже и поближе к дому перебралась: рядом был лечебно-физкультурный комплекс. Алешка в Москве в школу пошел. Хлопот прибавилось. Как-то ключи от квартиры потерял, еще какие-то неурядицы были. Вот Вера и старалась быть ближе к дому, к детям.

В Москве у нас появилась возможность жить настоящей культурной жизнью. Надо отдать должное — в ту пору действовала четкая система: в армии работали политотделы, они занимались не только нами, но и офицерскими женами, приобщали семьи к различным культурным мероприятиям и постоянно нас убеждали: «Не сидите дома, пользуйтесь случаем, пока в Москве, ходите в театры, музеи», благо билеты стоили либо почти три копейки, либо вообще можно было сходить бесплатно...

Но мы прекрасно понимали, что столичная жизнь — дело временное. Я уже заканчивал академию и получил направление в Эстонию, на должность командира танкового полка. Военный городок расположился недалеко от Таллина, всего-то 17 километров. Регулярно ходила электричка, не хуже метро. Правда, на этом прелести цивилизации заканчивались. Бараки на окраине и два сиротливых пятиэтажных дома. Квартира оказалась просто ужасная. Угловая в панельном доме, стена промерзает и покрывается мхом. Что мы только ни делали — все бесполезно. Какие-то жгуты в щели забивали, смолой заливали.

И все больше Вера Ивановна колготилась. У меня-то работы выше головы — полк развернутый, большой танковый полк. А Вера Ивановна пеняла мне, что, мол, три года прожили в таком кошмаре. Пока не перевели меня в

Калининград начальником штаба танковой дивизии. Больше всех, понятно, радовалась Вера Ивановна. Для нее началась едва ли не райская жизнь. Три с половиной года мы прожили в хорошей трехкомнатной квартире, в самом центре города, да еще рядом были музей и школа. Но не скрою, я там себя чувствовал не очень комфортно.

Душа хотела самостоятельной, непосредственно командирской работы.

Хотя сослуживцы, по прошествии нескольких лет, высказывались по поводу моего исполнения должности начальника штаба весьма и весьма благожелательно.

Ныне генерал-полковник Сергей Михайлович Здориков работал в ту пору заместителем начальника политотдела дивизии. Как-то сравнил меня с предыдущим начальником штаба. С учетом того, что дивизия была двойного подчинения. Расположенная в самой западной части Союза, в Прибалтике, она одновременно входила и в состав войск Варшавского договора. Так вот, до меня начальником штаба был тоже полковник, который буквально вырос в этой дивизии, прошел почти все ступени, к нему и особое отношение было, почти домашнее, едва ли не родственное. Был он, разумеется, грамотным офицером, присутствовала в нем жилка заботливого хозяина, но менялись командиры дивизий, а он по-прежнему оставался в штабе. Как говорит Здориков, после моего назначения многое изменилось.

Складывалась обстановка высокой требовательности. Поощрялась грамотность, подтянутость во всем. Меньше суеты, крика, шума, неуставного панибратства.

Я и на самом деле старался быть всегда сдержанным, спокойным, не позволяя себе кричать, тем более ругаться нехорошими словами, как нередко, к сожалению, бывает. Не очень-то засиживался в штабе. Старался чаще бывать во всех подразделениях дивизии. Где и представлялась возможность все увидеть своими глазами, пощупать своими руками, побеседовать с людьми, постараться понять их потенциал. Вжиться в новую должность мне помогли тактические учения, которые практически очень скоро нам пришлось развертывать. Танковая дивизия — это такая машина. И надо было оперативно и грамотно все организовать, к тому же командовать учениями должен был сам командующий войсками военного округа, стало быть, ответственность наша возрастала. В этой, прямо скажем, ответственной работе участвуют тысячи людей, массы техники. И надо, не мешкая, без суеты все привести в порядок, вывести на полигон. Наладить четкое управление и материальное обеспечение. Оценивать такие учения в каких-то баллах невозможно, но если они состоялись, значит все нормально. Мне удалось по итогам этих учений зарекомендовать себя, утверждает Здориков. По его словам, офицеры в дивизии и командование тогда отметили, что академия бронетанковых войск готовит классных специалистов.

Буквально через несколько месяцев состоялись новые учения, которые наблюдали представители индийской военной делегации. Масштаб этих учений был меньше, в них участвовал только один танковый полк дивизии, но руководить пришлось лично мне.

Как позже рассказывали сослуживцы, эти показательные учения прошли на высочайшем уровне.

Должен признаться, что на те учения я брал своего старшего сына Алешку, нравилось ему это занятие...

Уже тогда, по итогам двух учений, я понял одну важную вещь. Необходимо тонко, дипломатично вести себя по отношению к местному населению.

Учения есть учения, невольно наносится, пусть незначительный, но ущерб полям, лугам, и нужно быстро, толково урегулировать все конфликтные вопросы с руководителями совхозов, колхозов. В нашей дивизии и раньше этим, понятно, кто-то занимался, но не было системы, не хватало деликатности. Трудновато было уладить пусть и небольшие проблемы, причем по-человечески.

Позже мы с Сергеем Михайловичем Здориковым, который уже имел опыт боевых действий в Афганистане, встретим новый 1995 год в жарком городе Грозном...

Три года в Калининграде служба была практически сплошным учебным процессом. Он отличался особой стабильной напряженностью. Но это была хорошая школа. Как всегда неожиданно меня назначили командиром 26-ой дивизии, она располагалась в городе Гусеве. Это был небольшой старый немецкий городок, примерно 36 тысяч человек населения. Поселились в добротном доме еще немецкой постройки, на четыре семьи, — заняли половину первого этажа, рядом огородик в три сотки. Здесь старший сын Алеша заканчивает 11-й класс и поступает в военное училище. А мне пришлось через два года расформировывать дивизию, потому что уже шло сокращение армии. Затем меня перевели за 60 километров в город Советск — в 40-ю дивизию на ту же должность. Там-то в моей жизни и произошло весьма значимое событие. В 39 лет мне было присвоено звание генерал-майора. Всего-то за 17 лет — от лейтенанта до генерала.

Отметить это нам в те дни так и не удалось. У Веры Ивановны в тот год умерла мама. Мы только переехали в Советск, а супруге сразу же пришлось уехать к маме в Пензенскую область: мама болела, и Вера Ивановна ухаживала за ней все последние дни ее жизни.

Потом уже, после Нового года, когда она вернулась, было, конечно, небольшое застолье — приехали друзья по прежней службе...

Смотрю иногда на мою дорогую Веру Ивановну — очень миловидная и совсем еще молодая женщина. Но искусный мастер — Время — уже украсило ее темно-русые волосы тонким налетом серебра...

Да, позади трудные годы. И перелистать даже первые страницы своих воспоминаний о былом дается порой ох как нелегко. Но любая половина моих больших генеральских звезд — ее.

Глава 3. ПЕРЕСТРОЙКА... БУДЬ ОНА НЕЛАДНА!

С приходом к власти Михаила Горбачева и началом перестройки, мы, военные, сразу почувствовали что-то неладное. Прежде всего потому, что он был как-то очень быстро обласкан нашими заклятыми друзьями на Западе. Потом он начал рубить виноградники, вторил ему «плачущий премьер», который все пытался объяснить необъяснимое для солдата — исчезновение табачных изделий. Проблемы с сигаретами в армии оценили мгновенно. Но Михаил Сергеевич увещевал население сладкоречивыми пассажами. А оппозиция выходила из «кухонной» аудитории прямо на трудовые коллективы.

Все это в немалой степени способствовало, в конечном итоге, одобрению позиции Бориса Ельцина, который выступал с резкими обличительными речами...

Армии доставалось больше всего и от тех, и от других. Обе стороны клеймили, вроде бы, Сталина, а на самом деле расшатывали все устои государства.

Но армия по-прежнему честно стояла на защите Отечества. И предотвратила многие попытки амбициозных личностей, действующих под влиянием Запада, — ввергнуть страну в политические междоусобные разборки.

В 1989 году я поступил в Военную Академию Генерального Штаба. А уже на следующий год рухнула казавшаяся нерушимой Берлинская стена.

Едва ли не сразу же начался ускоренный вывод войск Западной группы из Германии и Венгрии. Сокращалась армия и в самой России, что не могло не повлиять на настроения среди офицерского состава.

Семьям кадровых офицеров иногда не предлагались даже девятиметровые комнаты, их просто выбрасывали в чистое поле, в палатки. Мы с Верой Ивановной зацепились, буквально, за последний поезд. Жилплощадь в Москве нам выделили сравнительно неплохую. Уютная малосемейка с двумя проходными комнатами в общежитии академии...

Чем горячее повсюду раздавались речи о перестройке и реформах, тем упорнее я вгрызался в гранит военных наук, а супруга, как и положено верной спутнице офицера, надежно обеспечивала семейный тыл. Устроилась на работу в поликлинику № 11. Любая копейка в период сплошной задержки зарплаты нас выручала. А сыновья принялись определяться. Сережка, к величайшему огорчению матери, после восьмого класса пошел в Суворовское училище. По общему мнению, его сманил соседский парнишка. Еще когда мы жили в Калининграде, ладный подросток приезжал на летние каникулы из Ленинграда, где учился в Нахимовском училище.

Крепко уперся и старший, Алешка.

Школу закончил он всего лишь с одной четверкой — по иностранному языку. Да и то только потому, что из-за нашей кочевой жизни ему пришлось после шестого класса переучиваться с немецкого на английский.

Вера Ивановна, как могла, уговаривала Алешку поступить в университет в Калининграде, на юридический факультет. Так она его уговаривала, так уговаривала... И поступил бы — знания у него были хорошие. Нет, уперся: пойду в то училище, которое папа закончил. Алешка вообще на меня смотрел, говорит супруга, как на икону. Ни на шаг от меня не отходил. Сколько раз и куда только он со мной ни ездил! На учения со стрельбой, на полигоны. Минута на сборы и — вперед. Как-то на «уазике» на заднем сиденье он сутки проездил, и никто не заметил, что он там сидит: просто уснул, а какой-то офицер взял машину и укатил с Алешкой. Сутки пробыл в машине, не вылезая из нее, — были показательные учения, приезжала индийская военная делегация. Полигон там был хороший, большой...

Академию я закончил успешно, но выбора назначений практически не было. Сказали в кадрах: «Поезжай в Туркмению — соглашайся хоть так. Долго там не удержишься — ты едешь выводить оттуда войска». И «золотой» выпускник Военной академии Генерального Штаба поехал в Туркмению.

Алешка к тому времени получил лейтенантские погоны в училище и служил в Наро-Фоминске. Сережка поступил в ВОКУ. А у нас в результате всей военной службы ни жилья своего, ни кола, ни двора. Ничего. Временная прописка в Москве заканчивалась, а что творилось в то время в столице, в стране, известно всем. Нам, правда, дали в Туркмении трехкомнатную квартиру — замечательную просто, почти в центре Ашхабада. Но какой смысл был туда ехать с семьей, вещи перевозить? Я и пробыл там всего год и два месяца. Вера Ивановна в это время увольняется с работы, срывается, собрав кое-какие ценные вещи, и едет ко мне. Два месяца пробыли вместе и только собрались отмечать Новый год, я ей и говорю: «Меня отправляют во Вла-

дикавказ». Вера Ивановна помыкалась и вернулась в Москву. Приехала, а там зарплату никому не платят — ни гражданским, ни военным. Пришла в бывшую свою поликлинику, говорит: возьмите на какую угодно работу. Ни прописки, ничего нет. Это на Вернадского... Главврач говорит ей: «Твое место в отделении уже занято. Но есть другая вакансия...». А она все твердит: «Куда угодно, какие-никакие копейки да буду получать». В армии, в Наро-Фоминске, вообще ничего не платили. Я, правда, время от времени транспортным самолетом прилетал, и то арбузов, то дыньку, то еще что привезу. Вот так и жили...

Это потом уже мы получили квартиру в Краснодаре. Тут уж она пошла на работу — в поликлинику ФСБ. Где и проработала последние пять лет перед пенсией. Там зарплату платили своевременно. Поликлиника была специализированная, зарплата приличная, пайковые давали, еще и другие всякие там доплаты.

Вот так и жила армия и офицерские семьи в те переломные годы...

Но до переезда в Краснодар, как я уже рассказывал, мне пришлось послужить в Туркмении. Назначен был туда первым заместителем командующего 56-й армией. Штаб армии — в Ашхабаде, дивизии расставлены вдоль границы с Афганистаном — в Кушке, Кызыл-Арвате, в Тахта-Базаре (там стоял танковый полк).

Штаб Туркестанского военного округа — в Ташкенте. Мне часто приходилось бывать в Афганистане. В это время оттуда выводились наши войска. Самому повоевать, слава Богу, не пришлось. По реке Кушке стояли некоторые войсковые подразделения, и было много контактов с сопредельной стороной. Ездил на переговоры, встречался с разными людьми, вызволял наших солдатиков, попавших в плен к моджахедам, бывал с различными поручениями — военными, гражданскими. Много было неординарных моментов, которые остались в памяти во время службы в тех знойных краях...

Но это была только часть моей работы. В 1991 году произошел развал Советского Союза, в Туркмении стали создаваться собственные вооруженные силы. Был подписан договор, на основании которого все движимое и недвижимое имущество бывших Вооруженных сил СССР передавалось Туркменской республике.

Вот и пришлось это имущество передавать, одни части расформировывать, другие — наоборот, формировать.

В первую очередь надо было выводить ракетные войска, поскольку Туркмения объявила себя безъядерным государством. И так продолжалось до 1992 года.

Ниязов произвел впечатление властного управленца. Не скажу, что очень деспотичного. Но это в характере народов Востока — воспринимать власть как данность, и ей никто не смеет возражать. Постепенно, невольно такая власть приобретает характер диктатуры. И неважно, какой человек стоит у власти — жесткий или мягкий по складу характера и стилю управления. Когда сама власть идет к нему в руки, тогда он и сам начинает творить все, что ему заблагорассудится... Встречались с ним несколько раз на различных мероприятиях. Кстати, первым военным парадом в честь независимости Туркмении пришлось мне командовать. Мы с Ниязовым разговаривали накануне этого парада, и он предложил мне командовать парадом на туркменском языке. Я, было, согласился, даже выучил все команды. Но потом подумал, что будет некрасиво, если телевидение покажет, как российский генерал командует на туркменском языке...

...Как бы там ни было, я почему-то близко к сердцу воспринял сообщение о том, что 21 декабря 2006 года по причине сердечной недостаточности неожиданно скончался Сапармурат Ниязов. Кстати, что бы ни говорили и ни писали в последние годы его жизни о тамошних методах правления, но это был, тем не менее, незаурядный человек, который оставил заметный след и в истории своего народа и тех людей, которым по роду своей деятельности приходилось быть с ним рядом. Бывший первый секретарь ЦК КП Туркменской ССР, а в постсоветский период глава независимого государства в Средней Азии, получивший от народа высшее звание — Туркменбаши. Он рано потерял своих родителей: его отец Атамурат Ниязов погиб в 1942 году в боях с гитлеровскими захватчиками у осетинского села Чикола на Северном Кавказе, а мать и двое братьев стали жертвами разрушительного землетрясения в Ашхабаде в 1948 году. Он вырос в детдоме, но сумел получить высшее инженерное образование. Двадцать один год был верховным правителем Туркменистана и сумел уберечь свой народ от политических и социальных потрясений в сложные 90-е годы, обеспечив ему стабильность и достаточно благополучное существование. С невысокой, правда, средней зарплатой — в сто долларов всего, но с бесплатным газом для населения, со стоимостью бензина в полтора цента за литр и чисто символическими ценами на проезд в общественном транспорте. Но в начале 90-х эпоха Туркменбаши, пытавшегося построить в своей стране социализм с восточной спецификой, только начиналась...

Были там, в Туркестане, у меня и другие знаменательные встречи с людьми, которые в будущем сыграли роль в моей собственной судьбе. Как я уже говорил, мне приходилось заниматься и вопросами взаимодействия с ограниченным контингентом советских войск в Афганистане, который в то время уже выводился в Россию. Поэтому пришлось работать в тесном контакте с генералом Борисом Громовым, командовавшим этими войсками, и у меня на всю жизнь сохранились самые теплые воспоминания об этом, на мой взгляд, порядочном и мудром человеке.

Не раз пришлось выходить непосредственно на руководителей боевых групп моджахедов, действовавших за афганским берегом пограничной реки Кушка, встречаться с афганскими представителями местной власти.

Причины были самые разные, но главная из них — вызволение из плена наших солдат. Впервые пришлось постигать азы хитроумной восточной дипломатии, но эти новые знания потом очень дажегодились.

Там же, в Туркмении, в первый раз встретился с Павлом Грачевым, в то время уже военным министром России. Слухи о новом военном министре в армии ходили противоречивые. Все знали, что он хорошо воевал в Афганистане, что принимал деятельное участие в подавлении путча ГКЧП в Москве в 1991 году. Рассказывали разное и о его первых шагах в должности министра, первых его министерских приказах. А тогда, летом 1992 года, поработали вместе в Туркестане и познакомились друг с другом поближе. Работа была непростая: шла передача войск, решались вопросы их финансирования. Например, вот конкретная дивизия — по сути советская. Но СССР уже нет. Однако она должна как-то финансироваться, чтобы можно было существовать. Поэтому принималось решение, что до конца финансового года она финансируется министерством обороны России, а с 1 января деньги уже начинает платить Туркмения. И неважно, что там еще русские офицеры, генералы, — все равно она уже считается туркменской армией.

Вот эти вопросы мы и решали тогда. И много времени были вместе, я сопровождал его в поездках, разговаривали. Сидели по вечерам в гостинице, вместе завтракали, обедали. Общение было обширным. Одним словом, встречал с осторожностью, а провожал — с уважением. Я увидел в нем человека, который может управлять войсками, представлять армию, страну на политической, на международной арене. И когда в Чечне мы с ним встретились снова, у меня это чувство осталось. Я доверительно к нему относился там...

К осени 92-го года выполнение поставленной в Туркестане задачи практически заканчивалось, и я стал настойчивее требовать в кадрах возвращения в Россию. К тому времени почти все российские солдаты и офицеры ушли из Туркмении на Родину. И я тоже просил перевода в Российскую армию. В любое, в принципе, место: не на повышение, не на понижение в должности, а, как принято говорить в армии, «по горизонтали». В конце концов, министр подписал мой рапорт, и месяца через три из управления кадров позвонили и сказали: «Мы не спрашивали вашего мнения, потому что знали — согласитесь... Вы назначаетесь первым заместителем командующего 49-й армией в город Краснодар»... Конечно же, я не стал возражать и немедленно согласился. Даже с превеликим удовольствием. После Туркестана Краснодар мне казался просто райским местом. Вылетел сразу же...

И все же попал я на Северный Кавказ, можно сказать, совершенно случайно. Когда меня направили в Военную академию Генерального штаба, а после окончания учебы я получил направление в Туркестан, то за мной оставалась квартира по прежнему месту службы — в Калининграде. И написав рапорт о переводе, я в глубине души надеялся, что снова получу направление в эту прибалтийскую область России. Встретившись как-то в Москве с заместителем начальника Главного управления кадров генералом Яковлевым, сказал ему с некоторой даже обидой в голосе:

— Ну, сколько можно сидеть в Туркестане? Я там — последний из российских генералов остался. Здесь Россия образовалась, целое государство, Российская Армия без меня сформировалась, а я там сижу в этой пустыне. Закончил академию Генштаба с золотой медалью, горжусь этим. Наверное, такие генералы нужны России?

Ничего определенного в ответ не услышал, но добился приема у начальника Генерального штаба. Тот оглядел настырного генерала с головы до ног и спросил:

— Ты российский генерал или туркменский? Где звание получал?

— Я советский генерал, — отвечаю. — При советской власти получал это звание...

— Это очень важно, — говорит, — что ты при советской власти получал звание. Нормально. Иди и жди...

Даже он понимал, что я хочу служить здесь, в России. Раньше ведь другое дело было — Советский Союз, везде служить можно было. Но теперь там туркменская армия. Там хорошие, добрые отношения, но дайте мне вернуться на Родину. Не прошу высоких должностей, сделайте просто «горизонтальное» перемещение.

А надежда теплилась-таки, что можно вернуться в Калининград: там, в 11-й армии, в то время как раз была вакантной должность первого заместителя командующего. Дело это мне было хорошо знакомо. Я знал уже по собственному опыту, что хотя первый заместитель командующего по штатному расписанию должен системно заниматься боевой подготовкой, но кроме этого на его плечи ложилась еще масса самых разных вопросов, до

решения которых у командующего не доходили руки. И это нормально, как считал я сам, поскольку такой уж была сложившаяся практика армейской жизни, и это обстоятельство совсем не пугало меня. Но когда я без каких-либо обиняков, в конце-то концов, спросил у одного из высоких чинов из управления кадров Генштаба о такой возможности, тот также прямолинейно ответил:

— Нет, туда придет генерал из Германии. Он там пять лет прокомандовал дивизией, и вот теперь представляется к повышению в должности...

— Понимаю, товарищ генерал, — возразил я. — Но ведь генерала из Германии можно было бы на мое место в Туркмению перевести, а меня — в Калининград. Потом бы и его со временем переместили. Должна же быть какая-то система?..

— Нет-нет, — отвечает, — уже все оговорено...

И тогда я, как говорится, рубанул с плеча...

— Я ведь понимаю, что тот генерал мог привезти кому-то из Германии... Мог даже ключи от «мерседеса» нужному человеку на стол положить. А что я мог привезти из Туркестана? Пару дынь под мышкой?

И это я высказал напрямую этому чиновнику в погонах из главного управления кадров. А он прямо-таки взъярился на меня, потом обрубил: «Ладно, идите». И я ушел, не солоно хлебавши, даже пожалел немного, что так резко поговорил с ним. Но буквально через месяц прозвучал звонок. Нет, не от штабного генерала — звонил какой-то полковник из Генштаба, сказал: «Переводитесь в Краснодар...». «Спасибо за назначение, отвечаю, конечно же, я от него не откажусь...». Думаю, что тот мой резкий разговор со штабным генералом все-таки сыграл какую-то свою роль, и меня не засунули в какую-нибудь очередную дыру...

Был сентябрь 1992 года. С радостью я поехал к новому месту назначения. Как потом стало ясно, я был немножечко наивен: мне казалось — вот и вырвался из горячих пустынных песков, с нестерпимым палящим солнцем и нестабильным политическим климатом в один из самых комфортных уголков России...

Глава 4. НЕЛАСКОВЫЙ КРАСНОДАР

И снова перечитываю книгу моего боевого товарища, светлой памяти генерала Трошева. Он, Геннадий Трошев, там, в Чечне, защищал и свою малую родину, ведь он — потомок терских казаков, которые всегда жили на этих территориях. Родился он и вырос в городе Грозном, в Ханкале, где волею судьбы находился и главный штаб объединенной группировки федеральных войск. Терские казаки — одно из самых древних казачьих образований на пограничных рубежах России. Позднее вместе со своими давними товарищами мы изучили в общих чертах всю историю вопроса. Так вот, оказалось, достаточно солидные ученые-историки даже склонны считать, что терское казачество уходит своими корнями чуть ли не в середину первого тысячелетия новой эры, когда на огромной территории от Дона до Волги, от предгорья Урала до Кавказского хребта процветало Хазарское Царство. Ученые также утверждают, что хазары и славяне говорили на одном общем для всех языке.

Интересный и наиболее полный рассказ о Великой Хазарии принадлежит перу русского ученого Льва Гумилева. Лев Николаевич изучал все основательно, занимался археологическими раскопками. Он утверждал, что ни-

когда в этих краях не было мира. Кочевники и горцы воевали друг с другом. Потому Екатерина II и переселила в XVIII веке черноморских или, как их называли, украинских казаков, овеванных древней славой Запорожской Сечи, на Северный Кавказ и на подступы к нему. А на Кабани, как убеждены ученые-историки, издревле жили племена славян и руссов. Из этих мест, рассказывают легенды, славянские витязи совершали свои дерзкие морские походы. Причины падение великой Хазарии, как представляется, удалось разгадать именно Льву Гумилеву. Подробное и глубокое его исследование названо «Древняя Русь и Великая степь».

Хазарский Каганат, бывший главным соперником Киевской Руси на протяжении веков, контролировал торговые потоки на перекрестке степных, морских и речных торговых путей из Азии в Европу. Здесь пролегал Великий Шелковый Путь — через Волгу и Каспий в бескрайние степи. Приходилось содержать серьезную армию, чтобы защищать свои интересы. И это удавалось до той поры, пока армия формировалась из народов, населяющих территорию Каганата, и исповедовала общую идеологию, а в то время — религию. Такой объединительной религией в VIII-IX-х веках было православие. Но чуть позднее, в X-ом веке, ситуация изменилась. Правящая элита Великой Хазарии попала под влияние иудейской диаспоры. Последняя, казалось бы, прочно пустила здесь свои корни.

При этом основная часть народонаселения оставалась верной православию, что и привело к проблемам между верхами и низами. Верховный правитель, почувствовав недоверие широких масс кочевников, стал набирать в армию наемников — из Средней Азии, с Ближнего Востока. И из тех племен, которые еще оставались идолопоклонниками. Но во главе войска ставился непременно полководец, исповедующий иудаизм. Такая армия была весьма удобна для удержания в повиновении собственного народа, а в борьбе с внешними врагами она не всегда могла устоять. Воины-мусульмане не хотели воевать с исламскими народами.

Идолопоклонники не доверяли представителям других религий.

Широко было распространено предательство и коварство. Шла откровенная борьба между отдельными отрядами за очередную добычу. Вот и не устояло Хазарское воинство против Киевского князя Святослава.

Князь собрал восточных славян и руссов, степных кочевников. Каган сформировал свое войско из наемников-мусульман, привычно поставив над ними полководца-иудея. Противники сошлись в степи на нижней Волге, в крупнейшем сражении старины глубокой. Святослав наголову разгромил врагов, овладел огромной добычей и пошел гулять по Северному Кавказу, не встречая сопротивления. Сломил и последнюю крепость Хазарии — Саркел, где установил собственную и назвал ее Белая Вежа. Так с исторической арены исчезло целое государство. Народ Хазарии, преданный и брошенный собственными руководителями, расселился родовыми очагами на Тереке, по Северному Кавказу, на нижнем Дону и именовался в дальнейшем, по письменным источникам, «бродники».

Первые казачьи станицы возникли на берегах Терека и Сунжи в первой половине XVI-ого века и считались основой Терского казачьего войска. Вайнахи — чеченцы — в ту пору только понемногу переселялись с южной стороны Кавказского хребта. Стичек между ними, пожалуй, не было. Что само по себе вполне объяснимо. Казаки славились хорошей организацией и отменным умением воевать, а также суровым нравом.

Из истории Нового времени мы все знаем, что в XVIII-ом — начале XIX-

ого веков здесь были столкновения интересов России, Турции, Ирана и вездесущей Великобритании. В 1801-ом году Грузия добровольно принимает Российское подданство. Следом за ней народы Азербайджана делают то же самое. Таким образом, границы России продвинулись за Кавказский хребет. Приняв под свое покровительство слабых, россиянам соответственно пришлось защищать их и воевать с той частью горцев, которые под влиянием политиков из туманного Альбиона не пожелали войти в состав России. В 1860 году на Северном Кавказе была создана Терская область, в состав которой вошли Чеченский, Ичкерийский, Ингушский и Нагорный округа.

Был установлен некий паритет, его поддерживали отлично организованные, обученные и вооруженные войска терских и кубанских казаков, но советская власть, которую казаки, как мы знаем, не поддерживали, этот паритет нарушила, выселив целые казачьи станицы в северные и отдаленные районы России. Это была самая первая массовая депортация, причем русского населения. На месте разоренных казачьих станиц по Тереку и Сунже стали селиться горцы. А в 1991 году бездумные (или по чьей-то лукавой подсказке?) наши, вроде бы, политики провозгласили губительный и безответственный лозунг: «Берите суверенитета столько, сколько хотите... Столько, сколько сможете!». И если учесть тот факт, что на Северный Кавказ в массовом порядке возвращались ранее депортированные чеченцы, ингуши, да к тому же шел беспрецедентный передел бывшей государственной собственности, которой завладевали в первую очередь сомнительные личности, преступные авторитеты, то мы получим полную картину того, что тогда происходило на Северном Кавказе. Как грибы росли подпольные заводи-самовары по переработке нефти, в открытую продавали наркотики. Над всем этим, убежден, стояла зловещая тень опытного в политических и межнациональных интригах международного капитала.

Теперь это уже история, обозначу лишь некоторые ее вехи. Мы все помним трагические события в Чечне в канун выборов президента этой республики, а до этого в 1991 году был назван почетным гражданином Чечено-Ингушетии Абдурахман Автурханов, историк-советолог. В 37-ом году он окончил Московский институт красной профессуры. Позже был исключен из партии и арестован, освобожден в 1942-м военном году, но в 1943-м оказался на оккупированной Гитлером территории и выехал в Германию, где жил и после войны. Активно занимался антисоветской деятельностью.

Стал одним из организаторов радиостанции «Освобождение», переименованной в радио «Свобода». Теплая компания собралась к тому времени на Кавказе — Зелимхан Яндарбиев, Джохар Дудаев, Мовлади Удугов (настоящая фамилия Темишев). Последний мечтал построить на Северном Кавказе Независимое Вахабитское государство — от Черного моря до Каспийского.

Примкнули и Шамиль Басаев, и Арби Бараев, и Салман Радуев... И решили перекроить не только карту России, но и судьбы многих народов Северного Кавказа. 1 ноября 1991 года Дудаев провозгласил независимость Чеченской республики — Ичкерии — от России. 7 ноября 1991 года президент России Борис Ельцин подписал указ о введении в Чечне и Ингушетии чрезвычайного положения. Дудаев в ответ ввел на территории Чечни военное положение. 1 марта 1992 года парламент Чечни принял конституцию, объявив чеченскую республику независимым светским государством. 10 июня 1992 года на территории Чечни были ликвидированы структуры министерства обороны России. Чеченские власти, не встречая организованного со-

противления, захватили вооружение российских воинских частей, дислоцированных на территории Чечни.

Все настолько свежо в памяти... Грозненский аэропорт стал крупнейшим центром контрабанды, вся Чечня стала источником фальшивых авизо, процветали хищение нефтепродуктов, продажа наркотиков, оружия, фальшивых долларов.

Местные русские и все «некоренное» население лишалось жилья, имущества, денежных средств. В 1991-1994-х годах было изгнано около 300 тысяч русских, армян, евреев... Многие были угнаны в рабство, подверглись насилию, пропали без вести. В массовом порядке русскоязычное население покидало Наурский и Шелковской районы, то есть уходило оттуда, где по Тереку и Сунже, сразу после распада великой Хазарии в глубине веков обоживались надежные казачьи станицы.

Драматические события разворачивались как раз в то самое время, когда я прибыл к новому месту службы, в Северо-Кавказском военном округе. Именно тогда бандиты на Северном Кавказе наращивали мускулы, а у нас шло сокращение армии. Отборные войска выводились из Германии и Венгрии и размещались где попало, ожидая выплат перед увольнением в запас. Настроение в войсках было просто паршивым.

Да и меня встретили не лучшим образом. Командовал военным округом генерал-полковник Митюхин. 18 лет прослужил он в Восточной Германии в Группе советских войск, а какие там были порядки, мы теперь доподлинно знаем... В силу своих воззрений он с первого дня относился ко мне, как к человеку, который пришел на солидную должность да еще в такой замечательный город Краснодар, исключительно, по его разумению, из-за крепких связей в верхах, а проще говоря, по блату (как говаривали в советские времена). Не давал ему покоя вопрос, как это я из пустынной Туркмении мог попасть на Кубань? Он буквально «бодал и клевал» меня, пытаюсь выяснить, кто же за мной стоит... И как ему втолковать, что нет у меня никакой «волосатой лапы»...

Настороженное это было любопытство или попросту не удалось командующему войсками Северо-Кавказского военного округа пристроить своего человека на доброе вакантное место?.. Чего там, дело житейское.

Но в самой 49-й армии, штаб которой находился в Краснодаре, меня и вовсе, похоже, не ждали... Командовал ею генерал-лейтенант Неткачев — для военных и политиков человек известный. Служил в Приднестровье, где покомандовал 14-й армией. Его, пожалуй, больше всего беспокоила мысль, что перевели его из виноградных долин и предгорий не с предполагаемым повышением, а совсем незамысловато — «по горизонтали». Поэтому к моему назначению первым заместителем командующего армией отнесся он с нескрываемым болезненным подозрением. Не для мягкой ли адаптации к реалиям постсоветской действительности зачислен на высокую должность и никак не блатной паркетный, а опытный генерал с Туркестанской границы, где занимался выводом войск из Афганистана. Да ко всему Академия Генштаба и золотая медаль...

И не придумал он ничего оригинального: принял во все тяжкие долбить почем зря своего первого заместителя. Где что стряслось, мелочевка пусть, — пойдешь разберись, генерал. Изволь лейтенантом молоденьким побегать на посылках. Да доложи не забудь. А в армии всегда высший по должности прав, его мнение оспорить себе дороже. Не покидало постоянное ощущение предвзятости командарма. А порой прорывалась и откровенная, ничем не прикрытая неприязнь ко мне. Почти два года мы проработали вмес-

те, но командующий ко мне обращался всегда одинаково сухо — «товарищ генерал», и так ни разу и не назвал по имени-отчеству.

Когда я приступил к исполнению обязанностей первого заместителя командующего армией в Краснодаре, примерно треть ее состава, штабов и средств связи несли службу на территории Северной Осетии — во Владикавказе, дислоцировались в пригородном поселке Тарский. И вот месяца через два-три Неткачев приказывает мне возглавить осетинскую группу. Я и засобирился, чтобы выехать туда сразу после Нового года. И в мыслях не было, что менять командование надо в новогоднюю ночь... К тому же на месте уже был один из заместителей командующего армией. 26 или 27 декабря 1992 года там случился обстрел одного блокпоста, на котором находился пункт наведения авиации. Обстрел шел всю ночь, погибли два человека. Командирами не были приняты необходимые решения, и тех, кто стрелял, не поймали — ушли в горы. Стало быть, ненадлежащим образом была организована охрана блокпоста, а после нападения не обеспечили эффективное преследования. И поступил приказ о немедленной смене руководства Владикавказской группировки нашей армии. Мне предстояло выехать буквально в ночь под новый 1993 год.

А вскоре сам Митюхин подлил масла в огонь, после моего возвращения из Северной Осетии. Летел он из Ростова в Краснодар и говорит Неткачеву по телефону: «Тебе не надо меня встречать. Пусть Пуликовский встретит». Ну, как тут быть? Командующий армией сидит в своем кабинете, весь на нервах из-за самых мрачных предположений о своем собственном будущем, а я, первый его заместитель, еду встречать командующего военным округом. Еду на аэродром, встречаю: приказ есть приказ. А Митюхин, оказывается, хотел просто со мной лично поговорить наедине. Ходим с ним по военному аэродрому, и он все меня расспрашивает: кто у меня отец, мать, бабушка, бабушка, отец жены, ее мать... Его, понимал я, по-прежнему мучил вопрос: как же я все-таки попал в Краснодар? И только простодушно удивлялся, что нет у меня никаких больших родственников. Никак он это не понимал.

Там же, недалеко от аэродрома, в военторговской столовой сели обедать втроем — начальник военторга, я и он. И жена его была. Налили по рюмке коньяка — Митюхин пил, кстати, совсем чуть-чуть, чисто символически. Поднимается он и говорит тост: «У нас, в Вооруженных Силах, много генералов. Но настоящих — мало. Вот я вижу, что Константин Борисович настоящий генерал. И я поднимаю эту стопку за него: за будущее его, когда он станет командармом». Ну, и так далее.

Пообедали так, несколько необычно, и он улетел в Ростов. Мне где-то час ехать до штаба армии — надо же доложить командующему, как прошла встреча. А он в курсе... Начальник военторга, судя по всему, позвонил и доложил о занятом тосте командующего округом.

Неткачев встретил меня не очень ласково: «Ну что, тебя уже на мое место назначают? За тебя тост за столом поднял он как за командующего армией!».

Мелкие интриги, нюансы и нюансики имели место быть в нашей гарнизонной службе. К чему рассказываю? Юг России был самым комфортным местом службы, особенно для генералитета. Разумеется, остальной офицерский состав занимается своим обычным, привычным делом, где бы он ни служил, на севере или на юге, — боевой подготовкой. Стреляет на полигонах, выводит войска на учения. А генералитет здесь жил всегда достаточно комфортно и очень ревниво относился к новичкам, опасаясь, что те запросто подсилят старожилов, и тогда могут перебросить из райского места куда-

нибудь на Дальний Восток, где, несомненно, будет хуже. Пребывая в постоянных интригах, армейские руководители в высоких чинах чаще всего были нацелены не на укрепление боеспособности армии, не на политические и межнациональные процессы, а на борьбу за личное благополучие, за место под солнцем.

Грубо говоря, в полной мере проявлялся в высоких армейских эшелонах власти принцип курятника: столкни ближнего, обгадь нижнего. Не скажу, что этот принцип действовал во всех Вооруженных Силах, но на юге просматривался очень сильно и всегда. Потому что было за что бороться. И до Краснодара я никогда еще практически не попадал в подобные ситуации.

Эта-то ситуация и сыграла не самую лучшую роль в дни, когда Отечеству понадобились ответственные и самоотверженные старшие офицеры...

Глава 5. КАВКАЗСКИЙ КЛУБОК

Итак, 2 января 1993 года, всего через три месяца после вступления в должность первого заместителя командующего армией, выехал я, с группой управления, из Краснодара во Владикавказ. Накануне, 1 января, отправил в Москву жену. Служба есть служба: приказы вышестоящих начальников не обсуждаются.

Поэтому спрячь поглубже собственные эмоции и настраивай себя лишь на качественное выполнение полученного задания.

В Северной Осетии, в новоявленной «горячей точке», боевых действий, в обычном понимании этого слова, не было. Но ситуация была сложная: обострилось межнациональное противостояние ингушей и осетин, которое своими корнями уходило в далекое прошлое.

Старожилы, русские жители тех мест, рассказывали, что и в прежние времена не было хороших отношений между этими народами. Правда, при советской власти ингуши входили в состав Чечено-Ингушской республики, и явного межнационального противостояния не наблюдалось. В 1991 году из одной республики были образованы две — Чеченская и Ингушская. Ингуши сохранили верность Конституции Российской Федерации, не приняв дудаевскую идеологию. Но обретая самостоятельность, Ингушетия попала на первых порах в весьма трудное положение. У новой республики не оказалось собственной столицы, а Назрань — всего лишь небольшой поселок. У республиканских властей не было никаких собственных структур типа МВД, КГБ и всех прочих, позволяющих надежно управлять территорией. Здесь не было и никаких подобных федеральных структур, которые связывали бы центр с местной властью, — они остались в Чечне. И сильнее, чем во всех других республиках Северного Кавказа, в Ингушетии начало проявляться местничество. Нет, нельзя сказать, что откровенный национализм, а национальное местничество. Создавались разные кланы во властных структурах, отдельные тейпы о себе стали заявлять еще сильнее, пожалуй, чем в Чечне, разве что с меньшими амбициями. Обострились территориальные претензии к соседям.

Как раз в то время республику возглавил Руслан Аушев...

У меня, конечно, позже, во время войны в Чечне, были к нему определенные претензии. Но в ту пору он был заметной личностью: Герой Советского Союза, воевал в Афганистане, уважаемый человек. И он своим авторитетом, особым тактом, что ли, сумел приглушить вспыхнувшие было эмо-

ции. Прямо скажу: если бы не его влияние и политический вес в то время, то, наверное, могли бы прийти к власти какие-нибудь другие национальные силы. И было бы гораздо труднее налаживать конституционный порядок. Правда, в дальнейшем, когда в Чечне развернулась война, Аушев повел себя, как я считаю, не очень правильно. Хотя как посмотреть. Поскольку он и сам кавказец... А в 1993 году он, конечно, сделал много. Но подъем национального самосознания народа, чему в немалой степени способствовала позиция и Руслана Аушева, разбудил, к сожалению, и старые, забытые с царских времен конфликты между ингушами и осетинами. Осетины — православные, ингуши — мусульмане...

В 1944 году ингушей депортировали с Северного Кавказа, а осетинам разрешили селиться на их землях.

И когда после реабилитации ингуши стали возвращаться в родные места, они начали занимать бывшую свою собственность. Буквально отбивали по каждому отдельному дому. Вот, например, загорается в эту ночь какой-то дом в осетинском селе. Оказывается, что строение построено на месте бывшего ингушского дома, либо — старый ингушский дом, но в нем теперь живут осетины.

Задача наших оперативных групп войск заключалась в том, чтобы не допускать межнациональных разборок. Мы стояли на блокпостах, перекрывали все возможное дороги и тропы, наряду с общей схемой защиты объектов и населенных пунктов ежедневно разрабатывали новые планы перекрытия каких-то определенных маршрутов. Одним словом, старались действовать внезапно, как для ингушей, так и для осетин.

Когда я пришел в Осетию, уже нельзя было определить, кто из враждующих больше проявлял агрессии: по-моему, одинаково. Изначально, конечно, больше агрессивной инициативы проявляли ингуши, так уж исторически сложилось — они вернулись на свою землю, с которой были изгнаны. А осетины как бы отстаивали статус-кво — сложившуюся территорию обитания.

И тоже не по их вине — таким было решение государственных властей. Скажем, село Тарское — оно отныне четко разделено горной рекой на ингушскую и осетинскую части. А перед тем проживало смешанное население: ингуши среди осетин или наоборот. И каждую ночь то там, то здесь поджигались дома.

Мы выезжали на так называемый Черменский круг — центр, где соединяется Северная Осетия с Ингушетией, брали погорельцев и везли их под охраной к сгоревшему дому. Они ковырялись на пожарище весь день: кто чайник найдет, кто еще какую памятную вещь. Для человека, который знал, что никогда больше сюда не вернется, любая сохранившаяся вещь из родного очага становится ценной реликвией.

А мы их охраняли, пока они там целый день работали. А в это время за нашим оцеплением собиралась толпа народа — свистели, кричали, оскорбляли, стреляли в воздух. И если погорельцами оказывались ингуши, то мы становились вроде бы врагами для осетин, это они были в той орущей толпе, а по ночам обстреливали наши блокпосты. Ну, а если мы охраняли погорельцев-осетин, то картина менялась, и мы становились врагами для ингушей, со всеми вытекающими последствиями. Они устраивали каждую ночь различные подрывы, достаточно прицельно обстреливали наши блокпосты, а кто-то просто бросал гранату из проезжающего мимо автомобиля. И непонятно было, кто это нападает — ингуши или осетины.

Еженедельно были то подрыв машины, то обстрел, то нападение на блок-

пост. Мы несли потери: раз в неделю хоть один человек у нас да погибал, ежедневно кто-то получал ранение. Вот под таким двойным обстрелом мы и несли здесь службу.

Простояли мы так полгода: зиму и до мая. В мае я убыл в Краснодар — как раз получил квартиру, и надо было перевозить семью. Службу нес в штабе армии и только периодически выезжал во Владикавказ, где еще стояла наша группировка. Честно говоря, у меня и в мыслях не было, что в ближайшее время может разгореться Чеченская война.

С Дудаевым я никогда не встречался, хотя слышал о нем, когда служил в Эстонии — он недалеко где-то был.

А так наши пути нигде не пересекались. Кроме него в Чечне еще вроде бы один советский генерал был — Махачев, кажется, но милицейский. Полковников, по крайней мере двоих, знал. Наша армия никаких распоряжений о подготовке к Чеченской кампании не получала, были совсем другие задачи.

Непосредственно рядом с Чечней стоял во Владикавказе корпус. И наша оперативная группа в Северной Осетии ему тогда просто помогала. Кстати, корпус и армия различаются по военным понятиям не по количеству людей, техники или дивизий, а по оперативному назначению на случай войны. Вот почему у нас по Северному Кавказу, по Туркестану и в советское время были в основном корпуса. Потому что местность такая, и сколько ты дивизий ни собери, но если есть ущелье, по которому ты должен идти, то ты и пойдешь в этом направлении узким фронтом. Просто горы тебе не дадут шире развернуть фронт. Или в пустыне — движение возможно только вдоль каких-то рек, а по пескам не пойдешь.

К началу чеченских событий ситуация в Ингушетии и Осетии значительно улучшилась. Эти две соседние республики возглавили новые руководители, которые сумели притушить противостояние и территориальные конфликты. В конце августа 1994 года оперативная группировка 49-й армии была полностью выведена из Северной Осетии. В течение месяца выводом частей я лично и занимался. Последний батальон своим ходом шел из Владикавказа в Краснодар на «бэтээрах». С группой управления замыкающим, как говорится, уходил и я. Все подчистил, «подмел» за собой, как водится.

Глава 6. ВЫДВИЖЕНИЕ

И в сентябре-октябре 1994 года никаких команд о готовности к выдвижению в сторону Чечни не поступало. Наша 49-я армия, в которую я прибыл со своей группой из Северной Осетии, спокойно занималась плановой боевой подготовкой. Ни о какой Чечне тогда разговора не было. Тем более что во Владикавказе, повторяю, стоял корпус, которым командовал Геннадий Трошев. Он преобразовывался в 58-ю армию. А с Дагестана на Чечню был стратегически нацелен Волгоградский корпус Льва Рохлина. Я как первый заместитель командующего 49-й армии также оценивал ситуацию, но думал, что два года наши части провели в Северной Осетии и теперь нам дадут немного отдохнуть. Тем более что поступил приказ увольнять солдат в запас и набирать новобранцев.

А стало быть, нужно было их обучать, то есть заниматься обычной боевой подготовкой.

Таким образом, личный состав армии надеялся хотя бы на полгода привычной боевой подготовки. Наши надежды не оправдались. Это, в общем-

то, и понятно, поскольку нарыв был очевиден. В то время полыхал Карабах, шли военные события в Абхазии и на Северном Кавказе, было очень и очень неспокойно. В том числе и даже неподалеку от Кубанской столицы — Краснодар, где и дислоцировался штаб нашей 49-й армии.

Назревающие события не могли не отразиться на характере нашей боевой подготовки в армейских подразделениях. Они сказывались и на настроении офицеров, рядовых. Все прекрасно понимали, что рано или поздно мы получим очередной приказ, и снова нам придется куда-то идти. Что мы делали? Строили блокпосты, перекрывали дороги, горные тропы, проверяли людей, автотранспорт, осматривали села, горные аулы. Но, тем не менее, вели скорее учебную, профилактическую работу. Мне приходилось быть все время среди людей. В частях, на полигонах. Такая практика у меня сложилась с давних пор. Тем более я понимал, что ответственность за боевую подготовку личного состава в целом лежит на моих плечах. В те дни с кем бы ни встречался, никто не заводил разговор о предстоящей войне, да и сам я не любил говорить об этом ни с подчиненными, ни с рядовым составом. И самому не хотелось думать об этом. Не буди лихо, пока тихо.

Когда в Чечне начались волнения, и на Грозный пошли оппозиционеры Дудаева, то понимание серьезности обстановки существенно усилилось. Но в офицерской среде все-таки не было уверенности, что туда направят войска...

В Чечне к тому времени сложилось уже несколько оппозиционных по отношению к режиму Дудаева групп среди населения, политиков, бизнесменов.

Их поддерживали определенные силы в Москве, но громко об этом старались не говорить. И на базе этой оппозиции создавались, естественно, вооруженные отряды. В числе их были и танковые, и мотострелковые подразделения. Служили там и наши офицеры, как военспецы, хотя в основной массе личный состав этих воинских формирований состоял из чеченцев: видимо, некоторые высокопоставленные московские политики решили дудаевский клин тоже чеченским клином вышибить, так сказать, без открытого вмешательства федералов. Оппозиционеры приглашали в свои отряды наших офицеров, сулили им деньги, квартиры, более высокие должности.

А армия в то время, как известно, действительно находилась в очень бедственном положении: так же, как и на гражданке, нам подолгу не платили зарплату, семьи многих офицеров не имели собственного жилья и ютились где придется. Особенно нелегко приходилось офицерам, которые вышли с войсками из Германии и Венгрии. Поэтому некоторые из них соглашались на предложение оппозиционеров и, вступая в их отряды, конечно же, меняли фамилии. Из этой затеи ничего путного, как мы знаем, не получилось: группировка оппозиционеров, которая пошла на Грозный, была разгромлена дудаевцами. Особенно яростное участие в этих боях с оппозиционерами принял «абхазский батальон» Басаева, что позволило предводителю этого бандитского формирования окончательно сблизиться с Дудаевым.

Я людей в эти отряды не давал. Давал только технику — по приказу выше. А пришлось воевать с теми чеченцами, которые ушли в Грозный с отрядами оппозиционеров, и подбивал свои же танки, которые из армии были переданы им... Из 49-й армии пришлось передать для формирований оппозиционеров 20 танков — почти танковый батальон. (В танковом батальоне 30 танков, в танковой роте — десять.) Из каждой роты выбирались лучшие машины, самые новые, недавно поступившие с завода. Велась эта работа под непосредственным контролем комиссии Главного бронетанкового уп-

равления (ГБТУ) Генерального Штаба. Все делалось совершенно официально, в соответствии с полученной шифровкой.

Должен констатировать — новые машины отдали, а в бой против них пришлось чуть позже выводить старые танки... Потом по заводским номерам сожженных нами в Чечне танков мы узнавали свои же, переданные в сентябре-ноябре отрядам оппозиционеров. Эти так называемые добровольцы ушли на Грозный еще до ноября 1994 года, и мы сразу же после этого получили шифровку: быть готовыми к выходу вслед за ними к 10 ноября. Стало ясно: отдых наш не состоится.

Глава 7. ПОСТПЕРЕСТРОЕЧНЫЕ «ПРЕЛЕСТИ»

В сентябре нашу армию преобразовали в корпус.

Ничего не поменяли, ни количественный, ни качественный состав войск: была 49-я армия, а стали именоваться 67-м армейским корпусом. Рангом пониже.

Когда я был первым заместителем командующего армией, у меня была должность генерал-лейтенантская, а в корпусе эта же должность — генерал-майорская.

То же самое произошло со всеми другими должностями. Так, у командующего армией должность генерал-полковника, а у командира корпуса — уже генерал-лейтенантская. В штабе армии было 12 генеральских должностей, а в штабе корпуса — только три. А войска как были, так и остались...

Эта организационная перестройка была тоже вынужденной: армии страны, экономика которой уже дышала на ладан, приходилось сокращаться — на ее содержание просто не было средств. Непонятно было другое: почему эти вынужденные преобразования надо было проводить в регионе, в котором назревала конфликтная ситуация, а не в каком-то другом, более благополучном? Но случилось то, что случилось: накануне серьезных испытаний войсковые подразделения, дислоцированные на Северном Кавказе, оказались существенно ослабленными. И не только потому, что им пришлось по приказу свыше отдать лучшую боевую технику «добровольцам» из группы оппозиционеров.

А еще и потому, что буквально за месяц-полтора до грозненских событий, в которых потом им пришлось непосредственно участвовать, они потеряли еще и немалую часть опытного офицерского состава.

С сентября 1994 года, понизив статус армии до уровня армейского корпуса, мы сразу потеряли часть офицерских кадров. Напомню: в свое время 49-я армия на Северном Кавказе создавалась на базе Южной группы войск, несшей службу в Венгрии. Когда эту группу расформировали, то все управление ее пришло к нам, в Краснодар. Управление Южной группы войск было неплохо оснащено техникой — были все машины управления, связи и так далее.

Технически мы были неплохо оборудованы, чтобы развернуть штаб армии. Но представьте себе — пришел к нам сразу целый военный округ, и он был назван армией. И офицеры пришли на те же должности, но вот рангом только пониже.

Например, начальник ракетных войск и артиллерии. В Венгрии у него была должность генерал-лейтенантская, у нас же, в 49-й армии, — генерал-майорская. А звание у него — полковник. И он согласился остаться в армии: мол, черт с ним, не получил генеральское звание там за границей, так хоть

здесь дослужусь. Пробыл он два года в Краснодаре, до генерал-майора дослужиться так и не успел. А тут армию преобразовывают в корпус, статус еще стал ниже, и его должность теперь стала полковничьей. Какое должно быть настроение у человека, когда он за два года честной службы с генерал-лейтенантской должности опустился до полковничьей? Конечно, он тут же пишет рапорт об увольнении, потому что не видит перспектив роста и знает: раз судьба не дала генеральское звание, то он его уже и не получит. И в тот момент, с сентября по декабрь, этот штат бывшей группы войск, преобразованный в армию, а затем и в корпус, практически развалился полностью.

Сейчас вспоминаю: некоторые полковники, которые в ночь 31 декабря пошли на штурм Грозного, о том, что они уже уволены из армии несколькими днями ранее, узнали только в середине января 1995 года, когда штурм города был наконец-то завершен. Один мой заместитель, приказ об увольнении на которого был подписан еще 28 декабря, узнал об этом 15 января, когда мы уже Грозный практически взяли. Подходит ко мне и говорит: «Ведь я еще в декабре уволен. Я уже никто. И зачем я здесь хожу в бронежилете?». И таких случаев было несколько. Бои были жестокие, и, слава Богу, хоть никто из них не погиб...

Командарм Неткачев отказался идти на должность командира корпуса — для него это было понижение. Командиром корпуса был назначен прибывший из Германии генерал Григорьев. Но он буквально пару недель в сентябре побыл в этой должности — как говорится, отметился, что принял корпус, — и ушел в отпуск. Он был хорошим знакомым командующего войсками округа — во время службы в Германии был у него заместителем начальника штаба группы войск. И командование корпусом в этот период практически полностью легло на мои плечи.

10 ноября пришла письменная шифровка, потом был звонок командующего войсками округа. Митюхин сказал: «Давай бери на себя подготовку». Ну, и началось.

Сначала была команда послать туда небольшую оперативную группу. В состав такого смешанного батальона входили: рота танков, рота БМП, пушки — батарея, немного пехоты, группа поддержки для выполнения внезапно возникшей задачи. Такую группу подготовили, и возглавил ее полковник Андриевский — заместитель командира 131-й бригады. Формировали ее в Майкопе, и где-то 15 ноября она ушла в Моздок. И тут же стали поступать очередные приказы: надо формировать новые батальоны.

В частях уже был некомплект после отправки первого батальона — туда ведь отбирали лучших людей, лучшую технику. Да раньше отдали в отряды оппозиционеров новенькие танки, БМП. И вот из оставшейся боевой техники нужно было снова отобрать наиболее надежные машины — из разных частей, рот, взводов.

Сборные, одним словом. Лишь артиллерия пошла более-менее организованным составом... Пришлось заново формировать экипажи, потому что новобранцев, тем более осеннего призыва, брать было просто бессмысленно. Их и не брали, по крайней мере, в нашем армейском корпусе. Потом пришел секретный приказ: не брать в эти батальоны людей, так называемой «кавказской национальности». А состав армии, преобразованной затем в армейский корпус, как раз процентов на 40 был сформирован из представителей практически всех народностей Северного Кавказа. Приходит еще один приказ: если у солдата в семье одна мать и нет отца — его тоже не брать.

Неправду писали в то время газеты — не было в этих ударных батальонах

ни одного новобранца осеннего призыва 94-го года. Я, например, таких солдатиков не посылал. Шли военнотружующие, которые отслужили по году-полтора. В первый батальон мы собрали самых лучших. Думали: подготовили хорошую ударную группу, и этого будет достаточно. Во второй батальон тоже отобрали наиболее боеспособных, а остальных оставили в местах постоянной дислокации войск — для охранной службы, для несения боевого дежурства. Собранные группы были отправлены в Моздок...

Кстати, большую помощь в формировании бригады оказал начальник Главного автомобильно-бронетанкового управления министерства обороны генерал-полковник Сергей Маев. Как уже говорилось выше, из корпуса в сентябре-октябре 94-го года забрали для вооружения формирований оппозиционеров лучшую бронетехнику. Поэтому все, что еще оставалось в корпусе, нужно было стянуть к Майкопу, где формировалась бригада, проверить ее и надежно подготовить. И Сергей Александрович очень многое сделал лично, чтобы и эта оставшаяся техника тоже была полностью боеспособна.

Но техникой управляют люди. Их собрали из разных частей, однако все-таки это был конгломерат, если можно так выразиться. Конечно, индивидуально и солдаты, и офицеры были подготовлены достаточно хорошо, они, как минимум, по одному-двум годам прослужили здесь, побывали в Северной Осетии и понюхали там порохи — под обстрелами, и сами постреляли.

В то же время между ними самими не было необходимой слаженности. Понадерганные из самых разных частей, рот, взводов, экипажей, они друг друга как следует не узнали, не познакомились близко, не притерлись, как говорится. Идет солдат, а офицер не знает, его ли это подчиненный или нет. И офицеров ведь всех пришлось перетасовать. В общем, пошла в Моздок, на предполагаемый рубеж атаки, такая поспешно собранная команда неплохих мужиков, которым надо было бы хоть месяц-два поработать вместе на плацу или полигоне, позаниматься с техникой, поучиться взаимодействию друг с другом. И офицерам надо было бы получше сблизиться между собой. Обычное дело — в баньке попариться, по рюмке выпить, по душам поговорить. Подружиться просто, по-человечески, доверие получить, убедиться, в конце концов, не сволочь ли рядом с тобой, не подведет ли в бою.

В танковых экипажах, у мотострелков — там доверие друг к другу вообще должно быть исключительное. В танке офицер сидит — он командир экипажа. Наводчик — солдат, водитель — тоже. И между ними должна быть полная слаженность, взаимное понимание с полуслова.

Это аксиома. Однако у этих умелых и крепких ребят просто не было уже времени, чтобы лучше узнать друг друга, чтобы почувствовать локоть товарища, готового в любую минуту помочь тебе, поддержать или выручить, если такой момент настанет.

Откровенно говоря, я первоначально и не собирался ехать с ними в Моздок. Ведь это была не бригада, а такой хороший развернутый батальон, усиленный артиллерией. Командовал им комбриг Иван Савин...

И в самом деле: в Краснодаре оставался штаб корпуса, все подразделения корпуса, а это огромная масса войск, прикрывает она Азовско-Черноморскую границу России от Сочи до Ейска — впереди только пограничники. Тут же и ракетные войска, находящиеся на боевом дежурстве. Где должен быть командир корпуса? Логика подсказывала только один ответ на этот совсем не простецкий чапаевский вопрос: конечно, не батальоном командовать, хотя и усиленным, а всем корпусом — с высокого штабного места. И по необходимости помогать ему техническим и материальным обеспечением — всем,

что потребуется при выполнении подразделением поставленной перед ним задачи. Тем более что командуют батальоном грамотные, проверенные в совместной работе офицеры.

Но высокое воинское начальство рассудило иначе: командир, мол, должен быть на острие решающей атаки, впереди — на горячем коне и с саблей в руке. Так ли думало высокое воинское начальство, или были какие-то другие у него соображения на сей счет, но из Ростова позвонил командующий войсками Северо-Кавказского военного округа генерал-полковник Митюхин и задал этак ненавязчиво вопрос: а кто же возглавил эту войсковую группу, направленную из корпуса в Моздок? Я ответил — комбриг Иван Савин. А Митюхин продолжает: «Вот только что с генералом Рохлиным разговаривал — у них из Волгограда направляется такая же группировка. Так он сам и возглавил».

По большому счету, говорю ему, считал, что здесь, в штабе корпуса, моя основная полоса ответственности — такая махина войск. Но если нужно, чтобы полком командовал генерал, то готов. Я офицер: приказывайте, и я уже там. «Хорошо, — отвечает Митюхин, — возглавляйте эту группировку». И положил трубку. Я сразу же переписал все приказы и позвонил домой — сказал супруге, что уезжаю на пару недель в войска, пусть передаст с адъютантом теплые вещи — в ноябре уже было холодно. И уехал туда.

Честно говорю, думал, что приведу этот развернутый полк на место, получу приказ о поставленной ему задаче, помогу своим присутствием выполнить эту задачу, но ни в коем случае не предполагал лично командовать полком. Такой задачи, собственно, никто мне и не ставил. И когда к 20 ноября окончательно передислоцировались несколькими эшелонами в Моздок из Майкопа (там формировался полк), стало, наконец, понятно, что командировка затянется как минимум не на один месяц...

Вот как вспоминала об этом *Вера Ивановна*: «Уехал в ноябре, и даже домой не забежал... Адъютанта лишь прислал со списком теплой одежды. Быстро собрала все, спрашиваю: Юра, куда, что? Не знаю, говорит, но, наверное, ненадолго... И когда услышали сообщение о том, что наши войска вошли в Чечню, мы грешным делом думали все, ну, вошли и быстренько выйдут оттуда. Тем более, что в Москве насмотрелись: там тоже в 91-ом танки ходили, и в 93-ем... Но вернулся наш генерал аж весной, в марте 1995 года...».

Глава 8. КРОВАВЫЕ ПОЛОВИНЧАТЫЕ РЕШЕНИЯ

Хочу подчеркнуть, в настоящем повествовании говорю лишь о том, что видел лично и участником чего был сам. Считаю возможным также ссылаться на наблюдения и некоторые оценки моей супруги, Веры Ивановны, и несколько ниже приведу кое-какие пояснения и короткие рассказы моих верных сослуживцев и боевых товарищей, которые вместе со мной разделили все тяготы и невзгоды Первой Чеченской.

Итак, приказ на выдвижение войсковых соединений в Чечню мы получили 10 декабря. В постановлении правительства, подписанном председателем правительства Виктором Черномырдиным, была несколько общая формулировка: «...выполнение операции по установлению конституционного порядка». Но ни в постановлении правительства, ни в последовавшем за ним приказе министра обороны ни единым словом не оговаривалась возможность штурма Грозного — столицы Чеченской республики, захваченной бандитскими формированиями дудаевского режима.

Я прибыл в Моздок к 20 ноября 1994 года со вторым эшелоном нашей бригады, спешно сформированной накануне. На месте, где мы разбили лагерь, были поля, какие-то постройки — вроде полевого стана, лесополосы. Поставили палатки, разместили технику на местности, и начали заниматься тем самым слаживанием боевых подразделений, чего раньше сделать не могли из-за спешки, навязанной нам политиками.

Командные занятия проводили буквально на ящике с песком, на своеобразном макете, имитирующем местность, намечали, какими дорогами пойдем. Двадцати дней в конце ноября и в начале декабря, конечно же, было крайне недостаточно, чтобы подготовиться основательно. Но что-то удалось-таки сделать.

Несколько деньков, которые удалось выкроить перед началом операции, позволили и людям, и подразделениям теснее «притереться» друг к другу.

Положительную роль сыграл и двухлетний опыт несения охранной службы в Северной Осетии. Нужно было быстрее адаптироваться к сложной обстановке, в которой мы оказались, когда 11 декабря переступили границу Чечни.

Мы подошли к Грозному первыми и сосредоточились на его северной окраине. Прошли Шелковской район, пригород, вышли почти к Северному аэродрому. За это время у нас было всего три боевых столкновения с бандитами. В течение трех боев, до штурма Грозного, у нас был подбит один танк, но не было ни одного погибшего — ни солдата, ни офицера. Девять человек выбыли из строя по ранению.

Первые же наши шаги в условиях, максимально приближенных к боевым, обострили недостатки именно в слаженности подразделений. Наше вхождение в Чечню поддерживал вертолетный полк, входивший в состав нашего же 67-го корпуса. И пока за рычагами этих винтокрылых машин сидели наши экипажи (позже по приказу министра началась ротация летного состава — якобы с целью приобщения большего количества пилотов к боевому опыту), у меня не было с ними ну никаких проблем. На пути к Грозному мы остановились на Терском перевале. Закончился короткий бой, у меня было четверо раненых, и их надо срочно доставить в госпиталь. Но весь перевал закрыт сплошным туманом: в двух метрах ничего не видно — ни слева, ни справа, ни внизу, ни над головой.

Вертолет гудит где-то сверху, над туманом, а сесть не решается. А там, в грозной винтокрылой машине, сам командир вертолетного полка Валерий Ярko. Я ему кричу по рации, этак по-свойски: «Твою мать, если ты сейчас не сядешь, то ты уже не командир полка. Сам лично садись за рычаги, если твой пилот не может в тумане приземлиться». Вертолет ревет над головой в сплошном молоке — ни зги не видать. И вот вижу: прямо над мной из тумана опускается бронированное брюхо с колесами. Мы — в разные стороны, а он садится потихоньку, потом быстро забирает раненых и снова уходит вверх, в туман. Вот что такое слаженность и подготовка, вот что значит мой командир, с которым мы за совместную службу, как говорится, не один котелок каши съели.

А был и другой случай. Я тогда находился под Ножай-Юртом, и меня вызвал в Ханкалу министр обороны на совещание. Вертолетный полк мне уже не подчинялся, за рычагами тех же самых машин сидели московские экипажи. И не нашлось ни одного пилота, который смог бы в совершенно спокойной, не боевой обстановке посадить вертолет в горах в легком тумане. Пришли другие люди, новички, и начались нестыковки.

Глава 9. ОБ ОФИЦЕРАХ И ШАРКУНАХ

На полпути от Моздока в Грозный сменился командующий Объединенной группировкой войск в Чечне. Помню, Митюхин вышел со мной тогда на связь и сказал: «Я очень тяжело болен, меня отправляют в Москву. Справишься? Держись». «Есть, товарищ командующий!» — отвечаю. Нам позже сказали, что, Митюхин внезапно заболел — что-то вроде радикулита... На его место назначили Квашнина.

Война задела немало человеческих судеб, в том числе — фигур довольно заметных. Довелось наблюдать не всегда ожидаемые перемены самочувствия в кадровом составе офицеров высокого ранга... Всем нам предстояло перешагнуть грань между миром и войной.

Высокие должности и значительное отдаление от передовых эшелонов никак не ограждали от неимоверных нервных перегрузок и стрессов. Что-то совершенно непонятное случилось с Митюхиным, которого свалил неожиданный и вполне реальный, естественно, радикулит. И мне, полагаю, позвонил он перед уходом совсем не ради приличия. Позвонить-то больше было некому: я в то время фактически командовал корпусом и в составе группы войск Северного направления шел с боями к Грозному. Назначенный же недавно новый командир корпуса генерал Григорьев отчего-то немедленно ушел в отпуск. В такие-то дни! Не мог я не заметить в тот час, что именно командующий войсками военного округа подписывает приказы на отпуска своим непосредственным подчиненным.

А его заместитель, генерал Чилиндин, командовавший Северным направлением, буквально «сгорел» на наших глазах всего-то за три дня. День и ночь он находился в каком-то напряженном ажиотаже, сутками не спал. Где бой, где стычка — он туда, и за собой тащит весь штаб. Так бесконечно и мотался из одного конца в другой. Через трое суток — острейшее воспаление легких. Когда я его увидел, невольно подумал — не жилец... Черный весь, высох, кашель с кровью. Сгорел человек, то ли от чрезмерного стремления непременно выполнить сию секунду всю задачу разом и целиком, то ли из-за элементарного неумения командовать. Есть и такой тип людей в военной форме: никогда не воевал, полевой практики не имел, а в боевых условиях полное отсутствие опыта пытаются подменить чрезмерным личным усердием. Хотя мог случиться с человеком и психологический надлом. Но через три дня после вхождения в Чечню назначили командующим Северным направлением меня...

Были случаи и откровенного отказа офицеров высшего звена от непосредственного участия в операции.

Некоторые из таких «отказников», оставаясь при погонах с большими звездами, при этом всячески охаивали действия войск в Чечне, подливая масла в огонь и без того безудержной критике в СМИ. Например, когда заболел генерал Митюхин, руководство группировкой войск в Чечне, идущих четырьмя колоннами на Грозный, было предложено заместителю главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-полковнику Воробьеву. Но он отказался, а затем обрушил резкую критику на разработчиков и исполнителей плана операции, что и послужило причиной его увольнения.

В России, слава Богу, генеральский корпус никогда не испытывал недостатка в истинных и верных присяге профессионалах. Сразу после 20 декабря группировку возглавил генерал-лейтенант Анатолий Квашнин, не дрогнувший перед грузом возложенной на него ответственности, причем в особо

сложный момент, который переживала тогда вся наша армия и страна в целом. И что бы о нем потом ни говорили различные оппоненты и «доброжелатели», мнившие себя стратегами, «видя бой со стороны», думаю, что каждый порядочный человек всегда и непременно с уважением будет снимать перед Анатолием Васильевичем свою шляпу. Поскольку он довел выполненные операции до конца, насколько позволили ему обстоятельства. И если в Первой чеченской войне возмездие террористам и сепаратистам было украдено, то в этом совершенно нет никакой вины ни генерала Квашнина, ни солдат, офицеров и генералов в войсках.

Не могу не сказать несколько самых теплых слов о генерал-полковнике Анатолии Квашнине, — блестящем офицере Российской армии. И непосредственном участнике Первой чеченской войны.

К нему все относились с большим и искренним уважением, а мне, считая, просто здорово повезло в жизни, когда я встретил этого человека.

Раньше наши пути не пересекались. Встретились впервые в Чечне, когда в декабре 94-го его назначили командующим нашей группой войск вместо заболевшего генерала Митюхина. Первая встреча была заметной. Мы подошли к Грозному и стояли на аэродроме Северном, остальные группировки подходили к городу с других направлений. Он вызвал нас в Моздок, где представился. Официально он занимал должность заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального Штаба. И — начал ставить новые задачи. Делал он это весьма своеобразно и интересно.

Сразу бросилось в глаза — он не любит общих слов, и обращается персонально, лично к каждому командиру направления, командиру бригады, полка. На первой встрече он прежде всего обратил наше внимание на очевидный факт, что эта война совсем не похожа на войну, которую мы изучали в училищах и академиях, типа Великой Отечественной, когда достаточно явно проглядывается линия фронта — с одной стороны враг, с другой друг. И посему едва не главная задача — делать все возможное, чтобы в руки противника не могла попасть любая информация о наших замыслах, целях, задачах, и напротив, необходимо постоянно осуществлять эффективные действия по дезинформации. Потом мы убедились в справедливости предостережения Анатолия Васильевича: любое слово, громко сказанное в штабе, непостижимым образом докатывалось до ушей Масхадова. Конечно, не обошлось без купленных боевиками информаторов, которые доносили какие-то сведения. А были и неосторожные болтуны. Сколько там крутилось всяких «миротворцев», какого там, извините за выражение, дерьма только не было, так и вертелись различные прилипалы возле наших штабов. Какие-то беженцы, кто-то делит гуманитарную помощь, по ходу наполовину разворовывая. И солдатские матери со своей болью. Все повидали. Но Квашнин завел жесткий порядок: в штабе и на командном пункте могут присутствовать только компетентные люди или те, кого туда вызывают. И никого из посторонних. Потому и задачи ставил персонально каждому. Древняя истина: что знают двое — секрет, о чем ведают трое — известно всем.

Понравился он особым, совсем не солдафонским подходом к людям. Называл всех по имени-отчеству, иногда просто по имени. А это, думаю, в сложной боевой обстановке как-то особенно сближает. Ведь одно дело, когда тебе говорят: «Константин Борисович, надо сделать...». А не кричат, да с матом, что если ты, генерал, не выполнишь приказ, то пойдешь под трибунал! В общем, все располагало к нему. С первого взгляда все обратили внима-

ние и на то, что у этого начальника проглядывалась настоящая военная косточка — и в выправке, и в манере говорить, и в суждениях, и в оценке каждой конкретной боевой ситуации. Хотя все знали, что пришел он в армию не из военного училища, а из института. О таких офицерах кое-кто из служаков говорил с оттенком некоторой пренебрежительности: мол, «двухгодичники» — не настоящие военные. Но перед нами был, бесспорно, совершенно удивительный человек: до такой степени у него укоренилась эта самая «военная косточка». Плюс ко всему — внутренняя, не поддельная интеллигентность. Пожалуй, никто и представить себе не мог более военного человека, чем Квашнин. Он пришел на службу в армию после института лейтенантом, а затем закончил Академию Бронетанковых войск и Академию Генерального Штаба. И прошёл путь от командира танкового взвода до командующего 7-й танковой армией. А мне сие особенно импонировало — ведь я сам танкист и в нем увидел родственную душу.

В ход боевых действий вникал до мелочей по всем вопросам. Но не мешал излишней опекой, лишаящей человека самостоятельности. Первые бои в Грозном были тяжелые, а на моем направлении, и об этом знают все, особенно тяжелые. 131-й бригаде пришлось принять на себя главный удар боевиков, соответственно, были и серьезные потери. И он сумел грамотно и без эмоций разобраться в причинах. Я до сих пор удивляюсь его выдержке и силе воли: он мог бы тогда меня как командира группировки просто втоптать в грязь и уничтожить, свалить на меня всю вину за большие потери. Но он терпеливо разобрался в обстановке, выслушал и понял меня, а потом дал резервы, дал силы дополнительные. Он сумел разобраться, несмотря на несусветный крик в СМИ, что как раз на моем направлении, да, с тяжелыми боями и потерями, но задача была выполнена...

Мы взяли вокзал и ведем бой, кровопролитный... Мне кажется, ему, Квашнину, было куда труднее, и я в те дни это ощущал, с другими «колоннами». На западном направлении сменилось четыре командующих. Ставят одного — он не справляется. У других — разные причины...

Один из генералов просто не выехал к месту боев своей группировки, на свой командный пункт. Квашнин сам прилетел на этот командный пункт, спрашивает: а где командующий? Ему отвечают, что он где-то в тылу и командует по рации. Снимает его и назначает другого. А продвижения нет. Почему 131-я бригада билась в районе вокзала в одиночку? Потому что с запада войска подошли, правда, тоже с тяжелыми боями, но на третьи сутки, когда наша бригада уже выдохлась совсем.

Не очень хорошо воевали все, потому что четкого приказа из Москвы не было. И Квашнину, как представляется, со мной было-таки меньше проблем. Может быть и потому, что я всегда по жизни неизменно поддерживал и буду поддерживать свой принцип: старшему начальнику нужно докладывать только правду. Какой бы она ни была горькой. Я не мог его обмануть: какая была обстановка, так и докладывал. И это помогало делать необходимые и точные выводы и принимать наиболее верные решения. А на других направлениях всякое случалось: докладывают, мол, вышли к намеченному в приказе рубежу. На самом же деле они и не дошли туда.

Мы на улице Ленина выходили со стороны нефтяного института и драмтеатра. И меня Квашнин предупреждает: с другой стороны на улицу выйдут десантники генерала Чиндарова (потом Бабичев там был). Говорит, мол, не перестреляйте друг друга ненароком. Выходим на свою сторону

улицы, но дальше не идем: ведь там, на другой стороне улицы, должны быть десантники.

Докладываю: Анатолий Васильевич, я вышел и сейчас пойду на линию. Сам лично стоял под козырьком драмтеатра — там такой высокий козырек, прямо на БТРе я туда под него заехал. Сам вижу всю улицу Ленина, но дальше идти невозможно: там боевики сидят, и оттуда идет такая пальба — мочат нас по-черному. А десантники до этого рубежа не дошли где-то километра 2-2,5. Но доложили... А если бы мы туда сунулись?

Поэтому ему, командующему, было очень непросто разобраться в обстановке из-за противоречивой информации, поступающей с места боев. Думаю, и меня тогда не сняли только потому, что мои доклады были всегда правдивыми. Повторюсь: на западе сменилось 4 командующих, на востоке — 2. А меня он сохранил и дал возможность до конца выполнить поставленную мне в Грозном задачу.

Когда мы город очистили полностью (это было в конце февраля), всех командиров собрали на аэродроме Северный. Были там Грачев и Квашнин. И тогда я еще раз убедился в его государственной и военной профессиональной зрелости. Не всех еще похоронили, убитых, не всем раненым оказали помощь, а мы уже разрабатывали операцию по уничтожению бандитов в горах. Мы были нацелены на новые задачи, и разрабатывал операцию он, Квашнин. Умело и грамотно. И где-то в это время он был назначен и командующим войсками округа. Будучи в этой должности, в редких перерывах между боевыми действиями, когда мы занимались плановой боевой учёбой и подготовкой, он предъявлял к нашей работе жёсткие требования.

Я бы даже сказал — порой очень жесткие требования к подготовке солдат и офицеров каждого взвода, каждой роты. Почти на всех учениях он бывал лично и смотрел каждую мишень — как она поражена, каждый окоп — как солдат окопался и замаскировался. Или как он обеспечен всем необходимым: помыт ли он в бане, как одет и как обстоят дела с продовольствием, боеприпасами.

Просто удивительно. Или это сама война проявила в нём такую крепкую и основательную военную закваску. А может он таким и был — не знаю, я с ним не служил раньше. Но он относился к военному делу всегда очень серьёзно и грамотно.

У него была любимая поговорка: если командир отдал своим подчинённым приказ, то он сам должен пойти первым его выполнять. Любой приказ — в мирной жизни или военной. И в самом деле, если сам не пойдёшь, а будешь прятаться за спины других и думать, что кто-то там пойдёт грудью, то маловероятно, что именно так и будет.

Я не участвовал в операции в Кизляре и Первомайском по освобождению заложников, захваченных бандой Радиева. Но Квашнин был там, он поднимал людей в бой, ставил задачи. Если бы тогда не вмешивались политики, всё было бы иначе... А так висели на телефонных проводах часами, да подсылали высокопоставленных и малосведущих советников... Анатолий Васильевич был ранен в ногу, но никому этого не докладывал и не показывал вида, а ходил, прихрамывая.

А когда другие генералы отказались возглавить операцию в Чечне, он только сказал: «Есть» и пошёл выполнять приказ...

Так же крепким государственным и военачальником показал себя Сергей Вадимович Степашин, возглавлявший в то время Федеральную службу контрразведки (ФСК), ставший впоследствии первым директором ФСБ.

Параллельно он исполнял и обязанности Полномочного представителя Правительства в Чечне. Своим постоянным участием в разработке операций, а иногда и просто своим присутствием в ходе боевых действий (а по своему статусу он мог в них и не участвовать) он оказывал нам большую моральную поддержку именно тогда, когда ура-патриоты поливали всю российскую армию грязью.

...Но навсегда запомнили в армии и генерал-полковника Владимира Семенова: он тоже склонялся к мнению своего заместителя Эдуарда Воробьева относительно плана операции, далекого от позиций государственника... Руководство Сухопутными войсками практически отстранилось от участия в организации операции, не должным образом выполняло необходимые функции укомплектования, подготовки и направления в зону боевых действий общевойсковых подразделений и средств обеспечения.

Глава 10. МЫ НЕ ХОТЕЛИ И НЕ ДУМАЛИ ВОЕВАТЬ

Почти на стокилометровом пути к Грозному, к которому мы пришли первыми, у нас было всего три скоротечных боя и девять раненых. На других направлениях — кровопролитные бои. Не будем говорить о причинах, везде они разные. Где-то больше препятствий, где-то боевики лучше подготовились. На Западном направлении в Чечню входили войска генерала Трошева, но сам он пока находился во Владикавказе.

Командующие войсками на этом направлении переназначались чуть ли не каждый день. Если мне не изменяет память, с 11 по 30 декабря сменилось четыре командующих: один не смог выполнить задачу, другой попал на подрыв и был ранен, третий опять не справился — по мнению министра обороны, осуществлявшего общее командование операцией. Первым командующим Западным направлением был заместитель Трошева генерал Петрук, четвертым — десантник генерал Чиндаров.

Во время боевых действий в Чечне я совершенно неожиданно был назначен командиром корпуса. Того самого, в котором замещал должность командира, находящегося в отпуске. А было так. Когда взяли Грозный, начали планировать операцию в горах, куда ушли бандиты. Министр обороны Павел Грачев собрал всех командующих направлениями на Северном аэродроме, чтобы поставить новые конкретные задачи. Стоит он у карты и говорит: «Твой корпус отсюда пойдет, и вот так...».

А я говорю: «Товарищ министр, я не командир корпуса, а заместитель». «Как так?» — удивленно приподнял брови Павел Сергеевич. Объясняю: «Когда мы заходили в Чечню, комкор был в отпуске. Вышел из отпуска в декабре, ежедневно докладываю ему о делах». «А почему он сюда не едет?» — вопрошает министр. «Наверное, приказа нет. Прикажут, значит, приедет». «А я-то думал, что ты командир корпуса, — крайне удивился министр. — А ну-ка, вызвать его сюда немедленно!».

Но Григорьев отказался ехать в Грозный и написал рапорт об увольнении из вооруженных сил. Почему он поступил так, я не знаю, и гадать не хочу. Хотя можно предположить, что сами по себе боевые действия в Чечне крайне негативно освещались прессой в ту пору и у нас, и за рубежом, что также влияло на многие умы и могло сыграть свою роль. Григорьева уволили из вооруженных сил, но с очень тяжелой формулировкой: за трусость и невыполнение приказа.

Нет, война никому не приносит радости, и в этом я лично мог убедиться, и не раз на собственном опыте. К Грозному я подошел в качестве командующего Северным направлением, но как заместитель командира корпуса. Со мной была 131-я бригада нашего корпуса и 126-й полк, которым командовал Сергей Бунин, ныне генерал-полковник, начальник Главного штаба внутренних войск МВД России, — пришел он из Уральского военного округа. Хороший товарищ.

Потом мне передали 74-ю мотострелковую бригаду Сибирского военного округа и 81-й полк Приволжского военного округа из Самары. Были они все такого же типа, как и сформированная в ноябре в нашем корпусе бригада, которую я вводил в Чечню: собранные с мира по нитке, спешно слепленные при формировании, но не подготовленные, точнее — неслаженные. Хотя и по комплекту они не соответствовали всем требованиям. Но мы-то за два десятка дней до вступления в Чечню успели как-то притереть подразделения друг к другу, да за плечами была неделя боев по пути к Грозному. К тому же артиллерия бригады пришла с нами из нашего же корпуса и без какой бы то ни было кадровой перетряски — спаянной, слаженной за годы службы. Поэтому мои артиллеристы делали первый выстрел всего через три минуты после моей команды — это даже в мирное время считалось хорошо.

Я давал команду уничтожить цель, и за три минуты они успевали снять приборами координаты и передать их на батарею. Там заряжали пушки, и снаряд уходил в нужном направлении. Всего три минуты от моей команды до выстрела, причем по неплановой, не пристрелянной заранее цели. А пришедшие к нам артиллеристы из других округов делали то же самое за 40 минут: снаряд полетел, а цели уже нет — ушла она. Вот какая у них была подготовка. Есть орудие, есть экипаж, есть расчет, есть офицеры и все необходимое, но все они, собранные вместе, оказались неподготовленными к четкой, слаженной работе. Конечно, через пару недель они тоже начали через три минуты поражать цель, но за это время уже погибли люди, которые не должны были погибнуть, если бы хорошо были подготовлены к действиям в боевых условиях.

28 или 29 декабря нас, командующих войсками направлений «Север», «Северо-Восток», «Запад» и «Восток», собрал министр обороны Павел Грачев. Тогда он находился в Моздоке. Кстати, до сих пор мне непонятно, почему не было войск на южном направлении: с южной стороны города была открыта дорога в горы.

Говорили нам: мол, мы хотели показать, что никого не стремимся уничтожать, и каждому, кто был в это время в Грозном, предоставлялась возможность уйти с миром из города. Мирные жители и без того уходили свободно, когда увидели, что война началась. Бандиты тоже могли бросить оружие, сдаться или уйти из города. Одним словом, нам не ставилась задача окружить и уничтожить бандформирования. Задача была — сломить, подавить сопротивление демонстрацией своей силы, показать бандитам, что мы не отступим, мы все равно перебьем их всех здесь, если они не откажутся от противостояния. Но шанс выйти из создавшейся ситуации живым и невредимым — есть у каждого из них. И настояло на этом якобы политическое руководство страны.

Операцию планировали Министерство обороны и Генеральный Штаб. А нам был дан приказ на выполнение конкретных задач. Всю ночь мы отрабатывали эти документы на картах, писали свои приказы — по своим направлениям, кому как нарезали. Справа от меня шел Топоров, заместитель ко-

мандующего войсками округа. А слева был Лёва Рохлин, командовавший Северо-Восточным направлением. Необычность обстановки как-то по-особенному сблизила нас, министр обороны называл нас по имени: меня — Костя, Рохлина — Лёва. И такое панибратское отношение, буду откровенен, удивительным образом роднило нас перед серьезным боем.

Когда постановка задачи была закончена, мы вышли во двор, зашли в беседку. Павел Сергеевич обнял нас и сказал: «Ребята, возможно, предстоит серьезный бой. Все может случиться. Чем я могу вам помочь? Может, кому-то надо решить какие-то личные вопросы. А то вдруг... Все под Богом ходим». Лев говорит ему: «Товарищ министр, у меня сын очень болен и жена часто привозит его в Москву для лечения в клинике Бурденко. А останавливаются все время в гостинице или у кого-то из знакомых. Расходы большие, да и неудобства. Если можно, дайте команду, пусть выделяют мне в Москве однокомнатную квартиру. Служебную, чтобы могли они это время там пожить». И министр тут же приказал выполнить просьбу генерала Рохлина. Лев Рохлин был не только толковым и грамотным генералом, но и хорошим семьянином, заботливым отцом. Повторюсь, в начале кампании штурм Грозного не предполагался. И когда я подошел первым к городу, то не имел никакой задачи, пришлось просто маневрировать на северной окраине. Мы прочесывали пригородные поселки, встречались с мирными жителями. А после вызова в Моздок кое-что определилось. Нам была поставлена задача выйти на улицу Первомайскую. А конечная цель — выход к вокзалу и «Белому дому».

Это, практически, был центр города, и туда были нацелены войска всех направлений. Дня за два-три до штурма мне придали 81-й полк: он не участвовал в боях на пути к Грозному, а стоял лагерем под Моздоком. И от командира полка я узнал, что уже дней за десять до своего прибытия под Грозный они тренировались по штурму этого города: на местности делали макеты, размечали улицы, намечали, кто и по каким из них пойдет. Ему, командиру полка, уже была поставлена задача по захвату Грозного — «Белого дома», вокзала. Так что еще до того, как он поступил в мое распоряжение, они уже тренировались на картах, макетах, отрабатывали все вопросы взаимодействия. И практически вмешаться, сделать какие-то уточнения в эти задачи, изменить их, послать его по другим улицам просто не было возможности и — необходимости.

Но это еще полбеды, как говорится — полк прибыл на позиции, заранее отработав полученное задание. Сложнее обстояло дело с 74-й бригадой, приданной в мое распоряжение: она только 29-30 декабря начала прибывать эшелонами из Сибири в Моздок, и оттуда выдвигалась к нам. Мне сказали накануне штурма, что бригада выгрузилась, идет своим ходом и к вечеру 31 декабря будет у меня. Но она так и не пришла, хотя я, начав штурм города утром 31-го, поставил ее в резерв. И когда в новогоднюю ночь возникли самые серьезные трудности, нечем было поддержать задействованные в боях части.

А причина задержки оказалась банальная. Рассчитывали, что бригада прибудет в Моздок дня на два раньше. Но она задержалась в пути, и поэтому не уложилась в график. 31 декабря, днем, когда бригада шла маршем из Моздока, я послал ей навстречу рекогносцировочную группу на двух БТРах, с двумя офицерами. Задача — встретить бригаду и вывести в тот район, где она должна была находиться в резерве. Наша группа прошла Терский перевал и встретила бригаду, которая расположилась лагерем у перевала. Поставили

палатки и разместились на отдых. Мои офицеры доложили, что сибиряки решили встретить Новый год, чтобы дать отдохнуть солдатам и офицерам. В палатках накрыты столы, и никто не торопится в Грозный.

В бригаде ничего не знали о том, что мы вступили в бой. Пришли они из другого округа, из Сибири, из ..ае, со своими командирами подразделений, со своим командиром корпуса. Неплохая была, в общем-то, эта мотострелковая бригада, сильная. Она пришла к нам с неоправданной задержкой на один день — 1 января, но буквально сходу одним батальоном вступила в бой. И она горя хлебнула...

Глава 11. МОЯ ПРАВДА О 131-й ГЕРОЙСКОЙ БРИГАДЕ

Итак, 81-му полку задача была «нарезана», как я уже говорил, не мной, задолго до прибытия в Грозный. Зашел полк в город без боя. Либо их не заметили, либо затягивали в ловушку: было тихо, не стреляли. С окраины города, с Северного аэродрома, они прошли по центральным улицам до «Белого дома», где была резиденция Дудаева. Только там и началась пальба. Подожгли несколько машин. Но полк на большой скорости проскочил до вокзала, развернулся и пошел обратно: ну, никто толком не знал, что делать дальше? Офицеры, солдаты выполнили задачу, которую им поставили, прошли по тем улицам, которые наметили. Но когда повернули обратно, попали под шквальный организованный огонь. Завязалась интенсивная перестрелка. Примерно через час был подбит «бэтээр» командира полка.

Я дал команду вывезти из боя раненого командира на другой машине (кстати, недавно он письмо мне прислал — сюда уже, в Москву). Командование принял его заместитель. По рации не сразу разберешь, кто и где находится, и я думал, что он здесь, в городе, вместе с передовыми подразделениями полка. Связались по радио, и он говорит: «Принимаю командование». Я согласился.

Но оказалось, что он ввел меня в заблуждение своим неточным докладом... Заместитель был в тот момент с тылами полка под... Терским перевалом. Управление полком сразу же нарушилось. Конечно, он пытался по рации, с Терского перевала, командовать полком, который вел отчаянный бой в городе, что было просто нереально. Все прекрасно знали, что командира с ними нет, и полк сразу разбился на несколько отдельных мелких групп. Даже не батальонов, рот или взводов, а просто на группы, там, где и встретили сопротивление.

Но в это время пошли войска других направлений. И тем не менее первой вошла в город Майкопская 131-я бригада. Но она, как и 126-й полк (бывший в моем распоряжении), должна была находиться на окраине города, широким фронтом, и имитировать активность действий. А если боевики окажут сопротивление 81-му полку, они, заметив опасность, угрожающую им с флангов, будут просто вынуждены рассредоточить свои силы сразу по нескольким направлениям, что, конечно же, должно облегчить положение 81-го полка.

В общем, задача сводилась больше к имитации активных действий на окраине Грозного, дабы отвлечь на себя огонь и силы противника. Но 126-й полк прямо на окраине натолкнулся на засаду, завязался серьезный бой. Было подбито 12 БМП... Попали на минное поле.

Бойцы оставили машины и снова угодили на мины. 15 погибших, много раненых. Возникла некоторая растерянность, полк завяз в перестрелке.

А 131-я бригада пошла в город с окраины по частному сектору. Начали мы в 8 утра, и через час уже Иван Савин, командир бригады, докладывал, что находится на железнодорожном вокзале. Мы промерили по карте расстояние от их исходной позиции до вокзала, получилось около пяти километров. И пешком это расстояние человек пройдет за час, а они были на БМП, на танках.

И все же спрашиваю: «Как это вы так быстро там оказались?». «Шли без сопротивления, — отвечает, — ни одного выстрела не было».

Для всех, кто заходил в город, конечной целью был железнодорожный вокзал. Об этом знали все командиры. И оказывались фактически в центре города. Засад вокруг вокзала в то время не было, дудаевцы обычно их устраивали в больших домах, на крупных перекрестках улиц, где сидели гранатометчики и пулеметчики, много раз в дальнейшем мы находили эти позиции. А бригада прошла по дачам и частному сектору, а за ними и вокзал.

В 1996 году на одной из встреч мне сам Масхадов рассказывал: когда ему сказали, что вокзал захвачен утром 31 декабря, он был очень удивлен и даже подумал, что кто-то что-то напутал. А разобравшись, бросил туда отборный батальон Басаева — личную охрану Дудаева.

Эти бородатые «ополченцы», как деликатно называли в ту пору во всех практически СМИ этих головорезов, наработавшие бандитскую практику в Карабахе, Абхазии и кое-кто и в Афганистане, со всех сторон навалились на передовую группу бригады.

А многие из нас искренне полагали, что зайдем мы в Грозный и бандиты начнут сдавать оружие, разбежаться... На всем пространстве России была обычная мирная жизнь, мы не осознавали до конца, что перед нами настоящий враг, которого надо уничтожать, не задумываясь... Дудаевцы думали иначе, они убивали хладнокровно и расчетливо, без оглядки на моральные принципы и прочие душевные переживания.

Комбриг был впереди, двое суток они вели неравный бой. Тяжелейшая новогодняя ночь, когда я остался без резерва (который у Терского перевала сидел за накрытыми праздничными столами со своим комкором), не было никакой возможности послать помощь бригаде. Из ее второго эшелона мы быстренько, правда, сформировали еще один штурмовой отряд, и он пошел на выручку. Но пробиться не смог: дудаевцы сообразили, что началась настоящая война, и заняли подготовленные заранее позиции и вокруг вокзала, и в самом частном секторе. В новогоднюю ночь в бригаде погибли 78 человек, из них 22 офицера. Двое суток к ним нельзя было пробиться. Погиб комбриг. Много было раненых. Шок, несомненно, и для бригады, и для других.

И для меня, и для многих кадровых военных. Хотя мы всю жизнь себя готовили к чему-то подобному, на войне, понимали умом, и не такие моменты бывают. Лучше бы, конечно, чтобы совсем не погибали люди. Но на любой войне так не бывает. Бригада по-прежнему осталась боеспособной и потом долго воевала, после Грозного брала Гудермес. Но поскольку она оказалась самой первой в центре города, то и приняла на себя удар главных сил противника: они на нее набросились, как стаи бешеных крыс из всех подвалов.

Но потом, скажу я вам, всем другим было значительно легче воевать: бойцы бригады тоже выбили немало дудаевских «гвардейцев». А наши потери

сделали нас злее, умнее, хитрее, то есть — более профессиональными. Поганая штука — война.

К сожалению, потом и на бригаду, и на ее погибшего командира было много наветов, несуразных и нелепых, несправедливых и недобрых обвинений в прессе. Писали всякое: и о бездарности командования, и о безалаберной халатности, повлекшей за собой разгром бригады.

И сегодня замечу — это было сплошной и подлой неправдой. Но определенным политическим силам было необходимо опорочить всю армию и добрые имена людей, совершивших настоящий героический подвиг в ту новогоднюю ночь. И, забегаая вперед, скажу, что только через несколько лет, не так давно, удалось доказать, что мои боевые товарищи до конца выполнили свой долг, героически сложили головы. Лично мне, уже в ранге полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе, было поручено вручить супруге погибшего комбрига Ивана Савина и его дочери Звезду Героя России.

Вот такая моя правда об этой бригаде и ее героическом командире...

Глава 12. СВИДЕТЕЛИ И СУДЬБЫ

Генерал-полковник *Сергей Здориков*, в те дни начальник главного управления по воспитательной работе министерства обороны, находился на командном пункте Павла Грачева в Моздоке. Но с началом штурма Грозного он направился в войска, прямо ко мне. Вот что он рассказал о событиях тех дней:

«Накануне все чувствовали, что должно произойти нечто не совсем обычное. 30 декабря Пуликовский сказал: «Пойдем искупаемся». Нагрели воды, помылись. Коль столько войск стянули под Грозный, знать, процесс пошел. Его не остановить, не отодвинуть. Не подтвердился и слух об отъезде из Моздока в Москву министра обороны. Неспроста не уехал...

131-я бригада пошла в город с утра, и как-то скоро прибыла на вокзал. Следом начался шквал огня, и — плотное блокирование всей группировки. Стала пропадать связь. Пуликовский был внешне спокоен, хотя приходилось прикладывать, наверняка, неимоверные усилия. Командный пункт находился в обыкновенной штабной машине, и в этой железной комнатке на колесах, площадью два на два метра, сосредоточена вся связь для управления войсками. Стояла штабная машина прямо на направлении главного удара — практически на передовой.

Некоторые части вошли в город с севера, по проспекту Богдана Хмельницкого. Большая, прямая и широкая улица. Дальше — улицы Маяковского, Орджоникидзе, Лермонтова, а там и вокзал. Задача, которая была поставлена перед группой «Север», была, несомненно, выполнена. Но город есть город, с такой скоростью, с наскока, его взять невозможно.

Бригада вошла в каменный мешок: с обеих сторон — многоэтажные дома. И никакого снабжения — тылы отстали. И Пуликовский, и командир бригады Савин сложную обстановку оценивали без прикрас, но приказ выполнили. Савин был настоящий командир, которому, как и Пуликовскому, верили офицеры и солдаты. А оба, в свою очередь, ни на секунду не сомневались, что так же свято выполняют приказ и войска трех остальных группировок, штурмующих город с других направлений. Но те выдвинулись с досадной задержкой, и увязли в боях. Рохлин, например, вообще двинулся не по на-

меченному маршруту, а через кладбище, и немного позже. Но затем ему, правда, удалось выйти вперед. Но момент был упущен: 131-й бригаде пришлось главный удар боевиков принять на себя.

Сбивали с толку скоропалительные и неточные доклады с места боев, что вносило существенную путаницу в управление войсками. Например, поступало сообщение, что передовой отряд закрепился на намеченном рубеже, в действительности же он до него и не добрался... А Пуликовский докладывал Грачеву обстановку всегда честно, какой бы невыгодной для него ситуация ни была. Не ловчил, не пытался выдать желаемое за действительное. Сообщал то, что имел на самом деле. Ему всегда удается каким-то образом любую, пусть малую силу сделать сильной. В непростой ситуации он спокоен, не мечется, не делает опрометчивых выводов и не допускает какой-либо нервозности.

Боевики прослушивали нашу связь, а иногда и пытались отдавать нашим подразделениям ложные команды. Да, камуфляж, оружие и средства связи у нас были совершенно одинаковыми. Но Пуликовский и командиры его частей хорошо знали друг друга и понимали своеобразный «эзоповский» язык, на котором он говорил с ними, учитывая индивидуальные особенности каждого офицера. Что крайне важно: найти слова, образы, понятные только двум собеседникам и никому больше. Эффект достигается при знании особенностей речи и образа мыслей каждого своего подчиненного. Везут, скажем, боеприпасы, топливо, перебрасывают подразделения, кого-то надо вывезти с позиций, и надо так замаскировать суть происходящего, чтобы запутать и сбить с толку противника, который прослушивает связь.

Что творилось в ту новогоднюю ночь! Связь рвется, кто-то что-то кричит, а кто-то заглох, но надо выяснить, кто и где находится, и в каком он состоянии. И дать команду, закрытую для чужих ушей, искусно завуалированную. При этом необходимо молниеносно проанализировать добытую с таким трудом разноречивую информацию, найти нужное решение и отдать необходимые приказы...

Таким я увидел Пуликовского в те, наверное, самые тяжелые в его жизни дни... Запала в памяти и та новогодняя ночь. Небо чистое-чистое, усыпанное яркими крупными звездами».

Крупные звезды?.. Хоть убейте, не помню. Бой есть бой — пылали танки, БМП, горели в них люди... Неразбериха. Связь — ужасная. Города не знаешь, карты, схемы, которые нам выдали, были двадцатилетней давности. Да и не карты это совсем были, а какой-то приблизительный план города, типа туристического. Там не было тех улиц и объектов, на которых мы воевали. Ни новых микрорайонов. Кругом пожары, стрельба, гибнут люди. 31 декабря, 1-го и 2-го января связь постоянно терялась. К 3 января, могу сказать, мы стали управлять войсками достаточно уверенно, все заработало, как надо. Когда мы потеряли столько людей... Пополнили подразделения заново, восстановили связь и управление. Помню, 3 января мы получили радиоперехват Масхадова. Он предупреждал своих полевых командиров: мол, русские оправились после первых дней и стали воевать грамотно, поэтому будьте бдительными. Выходит, похвалил он нас.

Да, Здориков был в ту ночь у меня. Как я понял, он приехал лично узнать, что же происходит на самом деле. Такая мощь, техника, столько оружия, солдат — все, казалось, есть. А успеха нет. Нас бьют, и столько потерь. Мы с трудом продвигаемся, сутки уходят, чтобы взять какой-нибудь не-

большой рубеж. Грачев не ожидал, видно, такого. Да и никто не ожидал. Особенно таких потерь. Все это давит, бьет... Гибнут люди, солдаты и офицеры, которых ты знаешь в лицо и по именам. А помочь не можешь. Состояние удручающее.

Думаю, что у Грачева 1 января, в день его рождения, состояние было не лучше. Министр он и есть министр. Конечно, разрабатывал операцию Генеральный штаб и министерство обороны. Но ведь и Грачев персонально приложил ко всему руку. Он проводил с нами все совещания, на трех или четырех я присутствовал — он ставил задачи. И отвечал персонально за эту операцию — и перед армией, и перед народом, и перед президентом. Роль Грачева в той операции была, конечно, довольно серьезная. Важная роль была.

Сказать, что он просто сидел где-то в Моздоке, в поезде отсиживался и мечтал об одном — как бы Грозный взять к своему дню рождения? Это ерунда, какой-то бред пороссячий. Уверен, никто его толком и не поздравил. Не до того было. Мы, например, даже забыли об этом. Ну, быть может, они там, на командном пункте, в узком кругу и выпили по бокалу шампанского — не знаю, я там не был.

И Здориков не был, он ко мне, под пули приехал. Как я позже узнал, он сам напросился ко мне: Грачев его не пускал, но Сергей Михайлович настоял на своем. Они очень близкие друг другу люди: вместе учились в академии, воевали в Афганистане. Так что и у Здорикова боевой опыт был. Сказал: сам побываю на передовой, в окопах, в развалинах этих и разберусь, что же там происходит. А вернусь, мол, тогда и доложу. Я ему дал технику, людей, и он пошел с этой небольшой бронегруппой. Сунутся в одну улицу, а там по ним бьют, сунутся в другую — то же самое. Рисковал он, кстати, очень много, и везде, где шли бои, побывал. Зато все увидел своими глазами, повидал солдат и офицеров в бою, смог с ними поговорить и многое сумел понять. Знал я, что он сможет сказать Грачеву всю правду — какая она есть на самом деле. Он двое суток пробыл у нас на передовой. А вернувшись в Моздок, рассказал Грачеву о том, какие бои идут в городе, какая там бойня, какое сопротивление. Только тогда, пожалуй, до Грачева дошло, в какое дерьмо мы вляпались с этой скороспешно спланированной и неподготовленной войной.

В своей книге «Моя война. Чеченский дневник окопного генерала» светлой памяти *Геннадий Трошев*, который сам является участником тех памятных событий, подробно рассказывает о штурме Грозного 31 декабря 1994 года:

«Около 10 тысяч хорошо вооруженных боевиков Дудаева готовы были стоять насмерть, защищая Грозный. На вооружении они имели до 25 танков, 30 боевых машин пехоты (БМП) и бронетранспортеров (БТР), до 80 артиллерийских орудий (в основном 122-миллиметровые гаубицы Д-30) и минометов. Несмотря на неоднократные обращения федерального командования с предложением прекратить сопротивление, дудаевцы продолжали укреплять оборонительные рубежи.

Их было создано три:

- внутренний — радиусом от 1 до 1,5 км — вокруг президентского дворца;
- средний — на удалении до 1 км от первого в северо-западной части города и до 5 км в его юго-западной и юго-восточной частях;
- внешний рубеж проходил в основном по окраинам города.

На внутреннем рубеже обороны основу составляли созданные сплошные узлы сопротивления вокруг президентского дворца с использованием капитальных каменных строений. Нижние и верхние этажи зданий были приспособлены для ведения огня. Вдоль проспектов Орджоникидзе, Победы,

улицы Первомайская были подготовлены позиции, откуда можно было бить прямой наводкой по танкам.

Средний рубеж обороны — это опорные пункты в начале Старопромывского шоссе, узлы сопротивления у мостов через реку Сунжу, в микрорайоне Минутка, на улице Сайханова. В дополнение к этому готовые в любой момент взлететь на воздух или загореться нефтеперерабатывающие заводы им. Ленина и Шарипова и химический завод.

Внешний рубеж составляли опорные пункты на магистралях Грозный — Моздок, Долинский — Катаяма — Ташкала, у Нефтянки, Ханкалы и Старой Сунжи — на востоке и Черноречья — на юге города.

Даже беглая характеристика всех этих оборонительных сооружений не оставляла никаких надежд, что боевики так легко сдадутся. Поэтому оставался один-единственный вариант — штурмом брать Грозный и разоружать дудаевцев. Руководство операцией осуществлялось оперативной группой во главе с Павлом Грачевым. К 30 декабря были созданы группировки войск направлений: «Север» (командующий генерал-майор К. Пуликовский), «Северо-восток» (генерал-лейтенант Л. Рохлин), «Запад» (генерал-майор В. Петрук), «Восток» (генерал-майор Н. Стаськов).

Учитывая реальность активного сопротивления дудаевцев в условиях города, командование приняло решение о создании штурмовых отрядов в составе ударных группировок войск. Основная задача командующим войсками группировок была поставлена еще 25 декабря. На этом этапе операции предусматривалось, что штурмовые отряды (наступая с северного, западного и восточного направлений) войдут в город и во взаимодействии со спецподразделениями МВД и ФСК захватят президентский дворец, здание правительства, телерадиоцентр, железнодорожный вокзал, некоторые другие важные объекты и блокируют центральную часть Грозного и район Катаяма. Расчет строился на внезапности действий наших войск, которые при самом худшем варианте развития событий должны овладеть городом в течение нескольких суток.

31 декабря 1994 года началась операция. По мнению некоторых генералов, инициатива «праздничного» новогоднего штурма принадлежала людям из ближайшего окружения министра обороны, якобы возжелавшим приурочить взятие города ко дню рождения Павла Сергеевича (1 января). Не знаю, насколько велика здесь доля истины, но то, что операция действительно готовилась наспех, без реальной оценки сил и средств противника, — это факт. Даже название операции не успели придумать.

Исходя из оперативных данных о группировке, оборонявшей город, для штурма необходимо было иметь как минимум 50–60 тысяч человек. У таких расчетов своя логика, проверенная историческим опытом. Вот только один пример из Великой Отечественной войны.

С 17 ноября по 16 декабря 1941 года наши войска освобождали город Калинин от фашистов, имея четырехкратное превосходство в живой силе. Это нормальное соотношение атакующих к обороняющимся.

У нас же по состоянию на 3 января непосредственно в Грозном было не более пяти тысяч человек, а боевиков, напомним, насчитывалось в два раза больше!

Радиосвязь в подразделениях, штурмующих Грозный, была почти парализована из-за царившей в эфире неразберихи. Между подразделениями практически не было взаимодействия, сказывалась неопытность большинства механиков-водителей танков и БМП.

После проведенной огневой подготовки на ряде направлений выдвижения войск образовались труднопроходимые завалы. Смешанные колонны (автомобили и бронетанковая техника) растягивались вдоль узких улиц, не имея пространства для маневра. В результате из зданий пехоту и технику расстреливали в упор.

Командиры, начиная от комбата и ниже, фактически не имели карты Грозного, отсюда и частые «сбои» с маршрута, утрата ориентировки. А если у кого и были карты, то в лучшем случае образца 1980 года, сильно устаревшие, на которых отсутствовали целые микрорайоны.

По сути, боевики только и ждали появления бронетехники в городе, действуя по ставшей классической схеме, которую применяли душманы в Афганистане: огонь наносился по головной и замыкающей машинам в колонне, после этого следовал шквальный огонь из окружающих домов по остальной, «запертой» бронетехнике.

По основным городским магистралям танки и БМП прорвались в центр города, но, оставшись без поддержки мотострелков, в большинстве своем были подбиты из противотанковых гранатометов.

Фактически эффект внезапности был нами утерян, сложилась катастрофическая обстановка. В город смогли прорваться лишь группировки «Север» и «Северо-восток», но они вели бои в окружении превосходящих сил противника.

Дважды командование Объединенной группировки войск (ОГВ) пыталось заставить командира 19-й мотострелковой дивизии полковника Кандалина наступать, но не действовали ни просьбы, ни приказы.

Мотострелки продолжали стоять, а в это время у железнодорожного вокзала в полном окружении, захлебываясь в крови, вели смертельные бои подразделения 131-й бригады и 81-го мотострелкового полка.

Отсутствие тесного взаимодействия с мотострелками и нерешительность генерал-майора Петрука словно парализовали активность десантников.

Утром 1 января поступил приказ Грачева командующим группировками войск Западного и Восточного направлений прорваться к блокированным подразделениям в районах железнодорожного вокзала и президентского дворца и попытаться спасти наших ребят. И эти задачи также не были выполнены.

Особо хочется сказать о сводном отряде 131-й майкопской бригады под командованием полковника И.Савина. До сих пор многие россияне (и не только они) уверены, что в тот первый день 95-го на грозненском железнодорожном вокзале погиб почти весь личный состав бригады. А это далеко не так.

Сводный отряд, насчитывающий чуть больше трехсот (!) солдат и офицеров, должен был отсечь подход подкрепления боевиков в центр города из района Катаямы, но, не встретив сопротивления, проскочил нужный перекресток, потерял ориентировку, вышел к железнодорожному вокзалу, где уже сосредоточился батальон 81-го полка. И тут роковым образом ошибся полковник Савин, посчитав, что в районе вокзала уже нет противника. Батальоны, встав колоннами вдоль улиц, не позаботились об организации обороны, не выставили блокпосты по маршруту движения (хотя эта задача ставилась подразделениям ВВ МВД РФ), не провели надлежащую разведку. Дудаевцы сразу же этим воспользовались. Сюда скрытно были переброшены отборные силы боевиков – «абхазский» и «мусульманский» батальоны, численностью свыше тысячи (!) человек.

Обстрел вокзала начался еще вечером 31 декабря. Боевики атаковали с

трех сторон, близко не подходили, а вели огонь из гранатометов, минометов и орудий. Более суток мотострелки отражали яростные атаки дудаевцев. Утром 2 января полковник Савин решился на прорыв. Мотострелкам при поддержке двух танков с трудом удалось вырваться из окружения, потери составили больше семидесяти солдат и офицеров. Погиб и сам комбриг Иван Савин. Но и боевики понесли ощутимые потери: свыше трехсот убитых. Об этом бое рассказывают много небылиц.

К созданию мифов причастны и некоторые отечественные СМИ, озвучивавшие информацию чеченской стороны. Я же здесь привожу реальные факты.

Свою злую роль в те дни сыграл «психологический прессинг», который боевики оказывали на наших военнослужащих. Выходя в эфир на радиочастоты федеральных войск, дудаевцы предлагали нашим солдатам большие деньги за дезертирство, огонь по своим, и особую мзду — за физическое устранивание командиров».

Подлинные факты, изложенные непосредственным участником тех трагических событий и, так сказать, выверенные временем, послужили побудительной причиной к использованию этого отрывка в качестве характеристики драматического штурма в настоящем очерке.

Есть и другие, не менее интересные свидетельства непосредственных участников тех событий, которые, на мой взгляд, вносят любопытные мазки в грозненскую картину, исполненную в багровых тонах.

Генерал-лейтенант Юрий Пивоваров в начале Первой чеченской войны был в звании подполковника и занимал должность заместителя командира 67-го армейского корпуса по тылу. То есть служил под моим началом. Но в ту пору у нас было в некотором роде просто шапочное знакомство. Дело в том, что меня сразу после вступления в должность отправили в Северную Осетию. Вернулся я оттуда в сентябре 94-го, а в ноябре ушел с Майкопской бригадой в Чечню. А зам по тылу Пивоваров всю осень практически не был в корпусе — занимался заготовками сельхозпродуктов для личного состава. В декабре, когда осенние заготовки были закончены, комкор Григорьев отправил его в отпуск. Одним словом, служебные пути двух заместителей командира корпуса почти не пересекались.

«Но когда я увидел по московскому телевидению, — расскажет позже Юрий Васильевич, — что Майкопская 131-я бригада вошла в Чечню, я сразу позвонил в Краснодар генералу Григорьеву и спросил, как мне теперь быть. Он успокоил: «Не торопись, ничего еще не ясно». Однако когда по телевидению я увидел, что в бригаде есть погибшие и раненые, я дозвонился до начальника штаба корпуса генерала Скородумова.

Он сказал: «Немедленно сюда!». Это было 1 января 1995 года. А второго я уже был в Краснодаре. Получил оружие и четвертого отправился поездом, вернее, эшелоном, в котором было несколько вагонов с подразделениями радиолокационной борьбы и полка связи, и в тот же день мы уже были в Моздоке. Потом своим ходом пошли в Грозный.

Прибыли на аэродром Северный затемно. Выяснили, что войсковая группа Пуликовского, вместе с нашей 131-й бригадой, уже придана 8-му корпусу Льва Яковлевича Рохлина. Но моим прямым начальником был все же Пуликовский. Он находился с войсками в городе. А здесь, на аэродроме Северный, располагалась наша оперативная группа тыла. Все вокруг превращено гусеницами и колесами в «пластилинное поле», как сразу окрестили аэродром бойцы. Ставишь ногу в эту вязкую грязь, и сапог в ней остается. Нужно

было срочно налаживать горячее питание, обеспечение чистым бельем, одеждой и обязательно резиновыми сапогами. Я доложил о прибытии Константину Борисовичу. Он говорит в ответ: «Хорошо, Юра. Высылаю за тобой машину». Может, он сразу хотел проверить меня «на вшивость», не знаю, ведь мы с ним тогда вообще практически не были знакомы. Но пришел БМП, и в 19 часов я уже был у него на командном пункте, устроенном на консервном заводе. Затишья никакого не было. Передовые порядки находились в больничном корпусе, а консервный завод, рядом, считался тылом... Аэродром Северный мне представился сразу глубоким тылом и чуть ли не санаторием, а Моздок — вообще благополучной границей.

Мы жили там в каком-то бункере, и я просто ужаснулся увиденному, потому что, то, чему меня когда-то учили и что я знал сам из собственной практики о необходимых бытовых условиях в полевой обстановке, показалось мне какой-то нереальной и очень красивой детской сказкой. Голые сетки на кроватях, на них какое-то тряпье, одеяла рваные — вот какой оказалась реальная действительность армейского быта в городе. Хорошо еще, что были спальные мешки. Там и Ходжиев жил так, и Степашин.

Пуликовский выглядел очень уставшим, прямо изнуренным. Днем его почти никто и не видел на командном пункте. Ночью он возвращался с позиций, два-три часа на сон, и утром опять вперед, в части, которые воевали в городе. Ему тогда многие офицеры говорили, в том числе и я, мол, зачем вам это нужно? Будто смерть свою ищите... Но он просто не обращал внимания на такие речи, шапочку черную наденет, лицо красное от мороза, и пошел. И везде он впереди — стреляют, не стреляют. И попробуй кто не пойдя за ним вслед — совесть замучает. Конечно, ходил всегда с охранником, но за броню не прятался — всегда в люке по пояс сидит. И погоны свои генеральские никогда не маскировал как-нибудь...».

Юрий Васильевич Пивоваров потом еще дважды будет командирован в Чечню вместе со мной. Я обычно спрашивал: «Пойдешь со мной?». Ни разу он не ответил «нет»?.. И каждый раз с честью будет исполнять свои обязанности по налаживанию быта и питания солдат и офицеров. В полевых условиях будет у него бесперебойно работать и хлебозавод, и удивительно простая по конструкции баня, и умельцы соорудят из разбитого фургона своеобразную сауну-парилку, где можно и с веником попариться и тут же, у входа, освежиться в чане с прохладной водой. Будет обязательным и горячее питание, и чистое белье каждому — в срок и по норме.

Но это будет потом. А в январе 95-го ничего этого не было. Потому что никто не думал, что эта война затянется на годы. Оттого и были особенно тяжелыми первые дни упорных боев в Грозном...

Евгений Александрович Авакумьянц, будучи полковником, исполнял обязанности начальника штаба войсковой группировки, которой в разные периоды 1995-1996 годов командовал я.

«С генералом Пуликовским мы познакомились поближе в октябре 94-го года, когда готовили 131-ю бригаду, — расскажет он в 2000-м. — Правда, не знали, к каким боям. Но сначала нам было приказано вооружить оппозицию, которая сама должна была сместить Дудаева. Велась эта работа под эгидой Федеральной службы безопасности, а мы готовили технику, передавали оружие из арсенала в Армавире. К сожалению, потом увидели все эти машины — танки, БТРы на другой стороне, в боях за город, поскольку операция оппозиции с треском провалилась. А отдава-

ли им лучшую технику, лучшее вооружение. В тот период мы с Пуликовским мало знали друг друга.

В Моздок я прибыл вторым эшелоном 4 января.

До этого дня никто и не ожидал, что второй эшелон вообще понадобится: надеялись, что вся операция закончится дня за два. А тут такое... Меня немало удивило, что в ста километрах от Грозного царила какая-то непонятная и очень острая нервозность. В том числе и среди военных. В Моздок мы прибыли в два ночи, и я сразу пошел к коменданту. Тот сидел в своей комнате за закрытой дверью и смотрел на меня в глазок. Ничего не добившись от коменданта, вернулся на станцию, крайне встревоженный таким его неадекватным поведением. Понял одно: в такой непонятной обстановке в городе ночью оставаться нельзя. Потребовал подать к эшелону тепловоз, а когда дежурный по станции отказал, пригрозил оружием. Это помогло, подошел маневренный тепловоз и вывел нас из города.

Вернулись на станцию до рассвета, часов в пять. Всего каких-то два часа меня в городе не было, а там уже произошли очень интересные события: комендатура была разгромлена и комендант убит. Оказывается, столкнулись два вооруженных отряда, в одинаковом камуфляже, все в черных шапочках, с одинаковым оружием. Видимо, комендантский патруль и отряд самообороны железнодорожной станции. Кто-то ударил из автомата по комендатуре, и пошло...

А потом, встретившись в штабе со знакомыми офицерами, с некоторыми из них еще с курсантской скамьи и по академии, я такого наслушался! Особенно о нашей 131-й бригаде столько всяких гадостей наговорили. Мол, бригада разграбила какие-то винные ларьки, реквизируя их содержимое для встречи Нового года, а начальник тыла бригады вообще взял пять бензовозов и поехал продавать чеченцам.

Говорили: куда ты едешь? Там такой бардак, а ты рвешься туда... Но мне не верилось: я прекрасно знал тех людей, которые ушли с бригадой в Грозный. И я привел колонну из пяти машин на аэродром Северный... Как я и догадывался, на самом деле полковник Пестижев, которого мне называли в Моздоке вором, геройски погиб на улицах Грозного в ту новогоднюю ночь. Его нашли только в середине января среди сожженных бензовозов — он не дошел со своей колонной до окруженной на вокзале бригады... Так что порой в самих штабах, прилично удаленных от боевых порядков нашей бригады, рождались такие вот самые гадкие сплетни и слухи, которые потом смаковались в различных СМИ, обрастая новыми невероятными выдумками.

А Майкопской бригаде хвала и честь — она хорошо воевала в Грозном и потом по всей Чечне. И, может быть, то, что нас побили так рано и сильно, нас в какой-то мере сплотило и закалило. В дальнейшем мы за каждого своего солдата боролись, всеми силами старались (не дай Бог!) не допустить его гибели...».

Глава 13. БЫЛ БЫ ЧЕТКИЙ ПРИКАЗ, МЫ БЫ ГРОЗНЫЙ ВЗЯЛИ МАЛОЙ КРОВЬЮ...

Войска пробивались к центру по всем четырем направлениям. Юг открыт был по-прежнему. Рядом с нашей группой войск, слева, направлял действия своих штурмовых отрядов генерал Рохлин. Лёва Рохлин действовал похитрее, у него опыт афганский был. Хорошо он воевал, царствие ему небесное.

Нам уже потом Квашнин звонил: мол, вам там виднее, договоритесь, когда атаку начинать. Ну, мы и договаривались. Я Лёве звоню: «Во сколько ты утром начнешь?». А он, хитрец, сам спрашивает, во сколько я начну. Говорю: в 8.00. «Я не успею подготовиться, — отвечает. — Начну в девять». Начинаю атаку в восемь, все бандиты просыпаются и на меня набрасываются. А Лёва через час тихо-тихо — хоп и захватил два-три здания. Так поначалу и было. Потом, правда, стали договариваться более предметно. Но когда гибнут люди, то какая разница, где они гибнут — или в моей группировке, или в его. Очень хотелось бы, чтобы они ни у кого не гибли. Или максимально снизить эти потери...

Второго января обе группировки объединились. Они вышли к центру города, и люди, и техника — все смешалось, и трудно было понять, где есть кто. Командовать общей группировкой назначили Льва Рохлина. Квашнин позвонил: «Ты не обижайся». А какие могут быть обиды? Рохлин воевал в Афгане, генерал-лейтенант и на должности командира корпуса. А я — генерал-майор и всего лишь заместитель командира корпуса. Ну, командовали разными группировками. Что ж тут такого?

Коль объединились, значит, старший по званию и опыту должен командовать. И вот уже под командованием Рохлина мы вели бои в городе до 17 января. А 18-го захватили «Белый дом».

Я не делал различия, где мои войска, где не мои. Куда посылал Лев Яковлевич, ставя задачу, туда и шел. Новые части вводил, участвовал в штурме здания музея, исторического здания Совмина, потом непосредственно и «Белого дома». Тяжело было первые трое-четверо суток — числа до пятого января, наверное. Было просто адское сопротивление, временами задавался вопросом, сколько же у них сил и боеприпасов? Даже неуверенность в какие-то моменты одолевала, казалось, конца этому всему не будет. Здание за зданием штурмуем, берем, давим огневые точки минометами, артиллерией, и авиация работает. А они сопротивляются. И не было ощущения, что мы одолеваем, хотя у нас такая сила, такая мощь, все и отовсюду стреляет.

Где-то 4 января наши разведчики получили перехват с докладами Масхадову от командиров банд-групп, они пользовались теми же средствами связи, что и федеральные войска, поэтому делать перехваты было довольно легко. Один говорит, что у него кончились боеприпасы, и он свою группу уводит. Другой докладывает, что у него последний снаряд для установки «Град» остался, и он тоже делает последний пуск, подрывает установку и уходит. Третий, четвертый — то же самое. Да и мы, наступающие, уже почувствовали, что сопротивление ослабевает. И 5 января уже все вздохнули с облегчением: наконец-то наступил перелом. В этот же день и сам Масхадов вышел на связь на частоте, на которой артиллеристы работали.

Мой начальник артиллерии бежит, трубку дает: Масхадов хочет говорить. Спрашиваю: «Лично со мной?». «Нет, — сказал, — что кто там есть из старших командиров, с ним и будет говорить. Вы здесь — старший». Хорошо, взял трубку. Он представился и говорит: «Давайте остановим боевые действия — с вашей и нашей стороны. Завтра с семи утра прекратим огонь, уберем убитых — солдат и мирных жителей, окажем помощь раненым — ведь не звери мы, люди, и должна хоть совесть проснуться». Так он меня убеждал. Я согласился, что это необходимо сделать. Своих убитых солдат, кстати, сразу убирали, но трупы все же кругом валялись по улицам, в том числе и в гражданских одеждах... Кто в них стрелял, какой снаряд и из какой пушки в них попал — когда все вокруг стреляют, и не поймешь. И их вообще никто не

убирал. Я ему говорю: «Не могу принимать таких решений, потому что я здесь не самый главный. Но считаю, надо проявить такую гуманность. Доложу по инстанции, и мы, наверное, пойдем на это. Только боюсь (ведь мы уже слышали по перехватам, что у них нет связи с некоторыми группами: их вызывают, а они не отвечают), что вы уже теряете управление, и не все ваши группы смогут выполнить ваши команды. До кого-то они просто не дойдут, да и не все могут вам подчиниться». «Я, — говорит Масхадов, — беру на себя эту ответственность. Если кто-то с нашей стороны сделает хоть один выстрел, можете уничтожить эту группировку. А все, кто мне подчиняется, выполняют мою команду...».

Так оно и случилось: перемирие было заключено, но шестого января несколько бандитских групп открыли огонь, они тут же были уничтожены. На переговоры с Масхадовым ходил сам министр обороны Грачев 5 января. Установили такой порядок: двое суток с обеих сторон никаких боевых действий. Мы помогали городу и мирным жителям, убрали трупы, хоронили их.

Освобожденная часть города была разбита на участки, и на каждом из них работала специальная группа военнослужащих — с медиками, с машиной. Во второй половине города боевики делали то же самое.

Однако призыв к гуманности оказался и очередной уловкой боевиков: они главным образом зализывали свои раны, пополняли боеприпасы. С юга город был по-прежнему открыт, и они получали с гор и боеприпасы, и пополнение, подтаскивали резервы. Кстати, во время переговоров с Грачевым они вроде бы поставили условие, чтобы мы вышли из города. Но он, конечно, не мог на такое согласиться.

Двухдневное перемирие закончилось, и штурмовые отряды пошли выбивать боевиков из очередного квартала. И мы встретили такое же сильное сопротивление, какое было и первого января. Как будто все заново началось. На нас обрушился просто шквал огня. За эти два дня они основательно перегруппировали свои силы, у них появилось много новых людей и огневых точек.

По 10 января шли кровопролитнейшие бои: мы будто уперлись в мощную, хорошо подготовленную военную оборону, которую, казалось, невозможно сломить. Но с 10-го снова наступил перелом: мы уже слышим по перехватам, что у них кончаются боеприпасы. И тогда мы стали дом за домом, квартал за кварталом освобождать от боевиков. 17-го был взят и «Белый дом»...

Глава 14. ВОЕВАТЬ НАДО ПО ПРАВИЛАМ ВОЕННОЙ НАУКИ

В середине января мою группу вывели из Грозного, и из группировки Рохлина. Добавили полк из Московского военного округа, 10-ю бригаду, которой командовал генерал Булгаков, и полк с Уральского военного округа. И с этой войсковой группой в ранге заместителя командующего (командующим был назначен Попов, потом его сменил Бабичев) мы обошли город с востока, чтобы перерезать коммуникации, идущие в город с юга. С нами была и 131-я бригада, артиллерия, авиация, средства связи, саперы. Сходу был взят Аргун, и потом захватили Ханкалу. Случилось это в мой день рождения, 9 февраля. Сейчас Ханкалу все знают... Раньше там был учебный аэродром авиационного училища, потом располагался постоянный командный пункт федеральных войск, который первыми оборудовали мы. На аэродром толь-

ко вертолеты могли садиться, так как была разрушена взлетная полоса: несколько бомб упало. С 10-й бригадой зашли в город с юга и перекрыли южное направление, чего раньше по ряду соображений сделано не было. Вполне возможно, если бы Грозный сразу был взят в плотное кольцо, бои там закончились бы как минимум на месяц раньше, и вся дудаевская командная элита вместе с басаевской охранной гвардией приказала бы долго жить и никогда не появилась бы больше на территории Чеченской республики. С этой стороны постоянно шла подпитка боеприпасами, оружием, людьми. Военные хорошо понимали роль этого коридора — своеобразной питательной пуповины дудаевцев. Но, увы и ах: когда в дела военных начинают вмешиваться политики, чаще всего ничего хорошего ждать не приходится.

Когда мы заходили туда, там шашлычные работали, боевики раскатывали с автоматами на «Жигулях» — привыкли, что там никого нет.

Южнее Грозного проходит трасса на Баку и Ростов, далее — на Москву. Двигай, куда хочешь. Вольготно они там жили: полным ходом шла торговля, шашлыки жрали. А когда мы закрыли эту брешь, им уже стало не сладко. Лев Рохлин выбивал их из города, и они шли по привычке на южную окраину — оттуда была дорога в горы. А тут мы как раз и встречаем их...

Только за одну ночь мы там задержали и разбили 144 машины. Через три-четыре дня ситуация в городе в корне изменилась: прекратилось снабжение и оборона боевиков рухнула...

Грозный был практически полностью очищен от боевиков только к концу февраля 1995 года. С первого дня штурма и до последнего бои были очень ожесточенными. Пленных не брали, да их и не было почти совсем. Причин, можно сказать, было две. Во-первых, бандиты, как правило, в плен не сдавались. Они просто глушили собственный страх перед смертью обильными порциями наркотиков, подавляя вполне естественный природный человеческий инстинкт самосохранения. И этот наркотический дурман, стирающий в сознании человека грань между жизнью и смертью, в какой-то степени даже облегчал, наверное, им переход из огненного ада последних дней их земного бытия в обещанные «райские кущи». Когда мы осматривали трупы бандитов, то всякий раз убеждались, что они наколоты. А во-вторых, наши солдаты, насмотревшись на это зверье, на своих погибших товарищей, может быть, просто кончали их в горячке боя. Хотя никто никогда им такой команды не давал, да и не мог дать. Но на войне как на войне, и каждому судья только он сам и Бог.

Какой был принцип захвата зданий, в которых засели бандиты? Мы с одной стороны улицы находимся, они в доме напротив. С вечера расписываешь за нашими автоматчиками и пулеметчиками каждый оконный и дверной проем дома, где сидят боевики, а утром, чуть забрезжит рассвет, по команде «Пошел!» одновременно открываем шквальный огонь по всем окнам и дверям этого дома. Группа захвата под огневым прикрытием моментально перебегают улицу и врывается на первый этаж. А там шла обычная «чистка» всех остальных этажей. Вот тут-то и начиналось настоящее кино: бандиты, как ошпаренные кипятком тараканы, выпрыгивали из окон высотных домов. С криком «Аллах Акбар!» на лету дергают кольцо гранаты, и их разрывало в воздухе. И такое приходилось видеть...

Неделю пришлось брать здание Совмина. Этот пятиэтажный дом, с внутренним двориком, занимал целый квартал. Первые три этажа были

построены в 1913 году, толщина стен, наверное, метра два. А остальные два верхних этажа кирпичной кладки надстраивали уже при советской власти. Так вот, эти верхние два этажа сразу были снесены артогнем, а бетонный монолит стен трех первых пришлось пробивать из танковых пушек, практически в упор. В общем, вынуждены были использовать танки в качестве мощных молотобойных машин. На современных танках стоят автоматы для заряжания пушек: 22 снаряда в транспортере, и выстрелы идут один за другим — очередью. Мы уже не загружали полностью боеукладку — улицы узкие, и где-нибудь во дворе ставили танки, туда же подвозили боеприпасы.

Специальная группа загрузки, практически все офицеры были на этих танках, быстро закладывали снаряды в автомат. Танк выскакивает, останавливается напротив этой монолитной крепости и выпускает в одну точку все двадцать два 120-миллиметровых снаряда. Отстрелявшись, танк задним ходом возвращается на исходную позицию, чтобы загрузить новую порцию снарядов, а на его место тут же выходит другой танк и тоже начинает очередью фугасов долбить стену. И так до тех пор, пока стена не будет развалена. И только потом в пробитые бреши смогут ворваться штурмовые отряды... Так строили на Руси раньше — на века...

Но вернусь к началу штурма Грозного... Наверное, каждый понимает, как трудно переходить войскам от боевой учебы в мирное время непосредственно к огневому соприкосновению с противником. Хотя всю жизнь учишь военному искусству, но всех нюансов войны не познаешь никогда, пока она сама не опалит тебя лично своим жгучим дыханием. И кто станет убеждать в обратном — не верьте ему, потому что это неправда.

И труднее всего, пожалуй, сделать самый первый шаг, преодолевая незримый барьер между миром и войной.

Это психологически очень тяжело. Солдату — подняться в атаку навстречу пулеметным трассерам, и во многократ — офицеру, посылающему своих солдат под огонь. Вот почему ломались перед началом военных действий в 1994 году даже некоторые профессиональные военные с большими звездами на погонах. И, видимо, не столько из-за страха за собственную жизнь, сколько из-за боязни взять на себя ответственность за людей, которых посылаешь в огонь, где неизбежно ждут одних смерть, а других мучительное увечье на всю, может быть, жизнь.

И какая разница, будет ли это страшная телесная рана или не менее болезненная психическая травма. Первая же пролитая кровь неизбежно повергает в шок чуть ли не каждого, кто увидит тело своего товарища, пробитое пулей или растерзанное взрывом гранаты. Вот он только что бежал с тобой рядом, молодой и сильный, что-то кричал или, может быть, говорил тебе. И уже лежит, обезображенный смертью, в грязном месиве из тающего снега и обожженной земли. А мозг твой, ошарашенный таким жутким зрелищем, прямо кричит благим матом: ведь это будет и с тобой! Не каждый справится с таким потрясением быстро, его можно только заглушить на время, пока не кончится бой.

Не меньший шок вызывает ранение или гибель командира. Сразу разлагивается управление боем и людьми, всех охватывает растерянность, неуверенность, паника овладевает многими, и бой распадается на мелкие автономные очаги, а поставленная задача оказывается чаще всего невыполненной. Так оно фактически и было в первые дни штурма Грозно-

го. Начиная штурм города, я вводил в бой на Северном направлении группировку, в составе которой были две бригады и два полка. В первые же дни погиб командир 131-й бригады, были ранены командиры 74-й бригады и 81-го полка.

Только один командир 126-го полка, Сергей Бунин, остался в строю до конца боев. Опытный, надежный, управляемый командир, его полк и воевал лучше. А там, где сменилось в ходе боя командование, сам факт гибели или ранения командира сильно подействовал на людей.

Они с трудом приходят в себя, отходят от этого шока. А любая заминка во время боя — это не только не выполненная боевая задача, но и дополнительные потери, которых в иных обстоятельствах могло бы и не быть.

И все это лишь одна сторона медали — факторы, так сказать, объективного характера: они неизбежно присутствуют, когда приходится скоротечно переступить порог, отделяющий мир от войны. Но есть и другая — порожденные конкретной исторической, экономической и особенно идеологической обстановкой, в которой жили тогда мы все — наша страна, общество, армия, наконец. А она, как известно, была далеко не в пользу молниеносного завершения этой войсковой операции.

Во-первых, командиры войсковых группировок, вступая в Чечню 11 декабря 1994 года, не имели четкого представления о том, что предстоит им делать, когда они выйдут в пригород Грозного. И это правда. До самой последней минуты никто не верил, что возможна настоящая война. Никто не верил, видимо, и тогда, когда в самый канун Нового года был дан приказ войскам всех четырех направлений вступить в город и идти всем к центру. Приказ достаточно неопределенный, как и вся операция, спешно разработанная в высших штабах, не обеспеченная необходимыми предварительными разведанными.

Командиры направлений выполнили этот приказ, не имея возможности внести в него какие-то собственные коррективы — с ними просто никто из высших штабных командиров не считал возможным даже посоветоваться, узнать их мнение о возможном развитии операции. Ну, вошли передовые отряды в город, дошли до центра без выстрела. А что делать дальше, в приказе не было прописано: явно, что даже те высокопоставленные люди, которые готовили эту операцию, не были, видно, уверены окончательно в том, что война окажется неизбежной.

А она оказалась таковой, и начали ее первыми боевики Дудаева, Масхадова, Басаева и иже с ними, превратившие каждый дом в укрепленную огневую точку, напичканную практически всеми видами современного вооружения, вплоть до танков и реактивных установок залпового огня. Поэтому передовые отряды, выполнив задачу, указанную в приказе, одни повернули назад — на прежние исходные позиции, как 81-й полк, а другие, как, например, 131-я бригада, остановилась на ночлег в центре города, у вокзала.

Но они уже разворошили крысиное гнездо, и отходящая бронетехника 81-го полка на узких улицах сразу оказалась под перекрестным огнем, а 131-я бригада была окружена батальоном бандитской гвардии — басаевскими головорезами, численно превосходящими это подразделение.

И второе. Пусть никого не вводят в заблуждение громкие наименования войсковых подразделений, принимавших тогда участие в боях за Грозный: полки, бригады. В передовых отрядах этих подразделений, в непосредственном соприкосновении с противником, могло находиться всего несколько сотен человек — несколько рот, максимум батальон.

«В то время я был начальником штаба седьмой воздушно-десантной дивизии, — несколько лет спустя поделится своими наблюдениями генерал-лейтенант *Владимир Шаманов*. — А даже в те времена воздушно-десантным войскам, слава Богу, уделялось первостепенное значение, не так, как другим...

Тем не менее из всей дивизии, в составе двух полков, мы сумели в течение полутора месяцев подготовить только одну усиленную батальоном тактическую группу. Все остальное не было готово, прежде всего, не было личного состава как такового. Я уже не говорю о нашей матушке-пехоте.

Не так давно военный уже пенсионер, генерал-полковник Владимир Васильевич Булгаков — Герой Российской Федерации, рассказывал, как формировалась в Московском округе 166-ая стрелковая бригада, расположенная в Твери. И военных строителей туда напихали, и непригодных к службе по зрению, по физическим данным — с различных радиолокационных станций, других подразделений. Более 40 процентов офицеров призвали из запаса — офицеры двухгодичники...

Не было никакой возможности добиться элементарного взаимодействия как внутри взводов, рот и батальонов, так и между ними. Людей, по существу, как пушечное мясо, погнали в Северо-Кавказский регион.

Достаточно было и других нестыковок, несоответствий, неопределенности. Сегодня, когда мы анализируем первую и вторую кампании и нынешнее состояние, все больше убеждаемся в справедливости одного, теперь уже классического изречения о союзниках России... Да, это все те же Вооруженные Силы России. Исключительно, и только Они! При этом ни в коем случае нельзя разделять их ни на армию, ни на флот, ни на космическую группировку. Вооруженные Силы России...

Полковника Ивана Савина, который возглавлял 131-ую бригаду, к сожалению, лично не знал. Служили мы в различных местах, далеко друг от друга. Я был начальником штаба дивизии в Новороссийске. Досталось в ту ночь бригаде...

Я абсолютно поддерживаю по этому вопросу позицию Константина Борисовича. И должен заметить, что серьезный анализ действий 131-ой бригады показывает — на тот момент в Северо-Кавказском военном округе из частей общего назначения это было наиболее подготовленное соединение.

Однако «половинчато» поставленная руководством задача привела передовые отряды в крайне затруднительное положение, прежде всего командира бригады и офицеров, особенно ротного звена.

Сегодня можно с уверенностью сказать, вина в той трагедии полностью лежит на тех руководителях страны, армии, которые принимали решение заводить это и другие соединения в Грозный. Тем более, что происходило это позже печально известного Автурхановского «похода» и позорного плена «ничейных» солдат и сержантов, которых дудаевцы выставили на всемирное обозрение.

У командиров на руках не было соответствующих полномочий. Некоторые ждали письменные приказы... А противоположная сторона четко понимала, какая перед ним стоит задача. В этом существенная разница. Поэтому, когда ведутся всякие досужие разговоры о причинах и масштабах той трагедии в новогоднюю ночь, можно сказать одно, сам командир бригады, управление бригады, личный состав бригады достойно выполнили задачу, как и позволяла обстановка.

Глава 15. НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ

В мае 2006 года на пресс-конференции по случаю президентского Послания парламенту Российской Федерации Владимир Владимирович Путин честно признался, что в 1999 году, когда развязалась вторая война в Чечне, из полуторамиллионной Российской армии удалось собрать только несколько боеспособных подразделений из разных уголков нашей необъятной России. В таком плачевном состоянии находилась наша армия... И в 1994 году, когда началась первая война, боеспособность была вряд ли лучше. И этот исторически обусловленный факт сегодня никто уже не скрывает. В то же время, если вспомним, когда в 1991 году в Чеченской республике с приходом к власти Дудаева воцарились хаос и беспредел, Российское правительство вынуждено было вывести оттуда дислоцированные там войска.

Окончательно они покинули Чечню в 1992 году. Однако на ее территории, по чьей-то халатности или преднамеренному умыслу (виновные до сих пор, наверное, не определены), осталось огромное количество боевой техники и складов с боеприпасами. Этим богатством немедленно воспользовался генерал Дудаев и начал создавать собственные вооруженные силы. К началу первой чеченской войны в них насчитывалось уже до шести тысяч человек хорошо натасканного личного состава, многие из которых прошли уже кровавую практику в Карабахе и Абхазии. В течение недели эта «кадровая» банда могла быть пополнена сразу десятками тысяч «резервистов», вооруженных современным оружием, что и случилось потом на самом деле. Достаточно было и бронетехники у дудаевцев.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что и само вступление в Грозный наших войсковых подразделений, которые, по сути, только в приказах и на страницах газет фигурировали в виде полнокровных полков и бригад, изначально походило скорее на какую-то демонстрацию силы, чем на серьезное намерение начать военные действия. Тем более, что в самом правительстве в то время бытовало мнение, что воевать будет просто не с кем, потому что процентов 70 населения Чечни только и ждут вступления на территорию республики армии, а остальные тридцать процентов нейтральны. По крайней мере, как мы знаем, убеждал в этом военных ни кто иной, как тогдашний министр по национальным вопросам Николай Егоров, которого в те дни называли не иначе, как «вторым Ермоловым» на Кавказе. Он рьяно доказывал членам Совета Безопасности, что сопротивление в Чечне может оказать лишь небольшая часть отщепенцев, а остальное население будет с благодарностью «посыпать нашим солдатам дорогу мукой». Что это, умышленная провокация высокого правительственного чиновника, решившего любой ценой выправить собственные огрехи в миротворческой политике в Чеченской республике начала 90-х годов? Или это наше неистребимое расейское шапкозакидательство с извечной надеждой на довольно сомнительную выручалочку — авось? Думаю, как хочешь, однако, к великому сожалению, эти настроения передались, видно, и работникам Генштаба. И вот тогда солдаты, офицеры и генералы первой линии, по сути, просто вслепую были брошены под перекрестный огонь хорошо подготовившихся к войне боевиков.

Пожалуй, и этот, авантюрный по своему характеру план операции, суть которого была раскрыта общественности, в какой-то мере спровоцировал мощный накат на армию. Наверное, не было ни одной газеты, ни одного

телеканала, который бы ни считал своим долгом «вытереть ноги» об армейский мундир. Правозащитники всех мастей, «демократы-миротворцы» с толстыми кошельками, имеющие свой интерес на Северном Кавказе, неприкрыто подливали масла в огонь, живописуя бесконечный поток «груза-200» и плач матерей во всех уголках России, глумясь над убогим фронтовым бытом солдат и насмехаясь на все лады над якобы неумением офицеров и генералов воевать. В результате массовой идеологической обработки часть населения нашей страны превращалась постепенно в некую «пятую колонну» по отношению к своей собственной армии. А она, армия, все это слышала, видела, чувствовала и, стиснув зубы, голодная, усталая, в изодранном камуфляже продолжала честно исполнять свой воинский долг, на ходу исправляя просчеты чиновников собственного, уже военного ведомства.

Такого непростительного отношения к армии не было, пожалуй, во все времена. Но так было в последнем десятилетии XX века. И этот неожиданный шок тоже надо было пережить...

Глава 16. ЖИВАЯ КРОВЬ

Верю ли я в Бога? Очень сложный до сих пор вопрос... Честно скажу: никогда в прежние годы я и не пытался хоть как-то повернуться к Нему. Хотя моя бабушка была глубоко верующей. Отец был крещеным, а мать — нет. И я не был крещен. Рос в офицерской семье, и то, что бабушка была такой верующей и меня маленького постоянно брала с собой в церковь, мне не нравилось. Первый раз я повернулся к Богу только тогда, когда пошел на войну. А когда увидел эту кровь, трупы в грязи, в перемешанном в кашу черном снегу — бандитов, наших солдат, гражданских людей, женщин, детей... Не поймешь сразу, кто лежит в этой грязной жиже, и не дай Бог кому-то это видеть. Особенно, если тело погибшего пробито ножичковыми осколками — из него все бежит, все вытекает. Это страшно...

В конце апреля 1995 года меня отозвали в Краснодар, где дислоцировался штаб корпуса, полноправным командиром которого я стал в январе. Передав командование своей группировкой в Чечне начальнику штаба, я с адъютантом отбыл в Моздок, там находился ближайший транспортный узел — связывающий нас с внешним миром. Но самолеты в Краснодар и оттуда не летали, а персонального авиатранспорта у меня не было, пришлось добираться до места назначения, как говорится, автостопом. Самолеты в Моздок и обратно летали постоянно, но это были в основном транспортники и направлялись совсем по другим маршрутам, подвозили боеприпасы, иные военные грузы, а обратными рейсами забирали раненых, убитых. В тот день как раз один такой транспортник летел с «грузом-200» в Ростов — человек 15, наверное, было погибших. Да туда понабилося битком и живого разного военного люда, вылетающего в Ростов по различным делам.

Иду к летчику, уговариваю его: мол, я — генерал Пуликовский, командующий группировкой в Грозном, откомандирован в корпус. Что тебе стоит приземлиться по пути в Краснодаре? Отвечает: «Запрещено. Если даже попрошу посадку, сяду, то меня из Краснодара не выпустят, потому что в Ростове погода портится». Потом, подумав, сам предложил: «Давайте сделаем так: я на «взлетку» сажусь, до конца полосы торможу и открываю нижний люк. Вы с адъютантом выпрыгиваете, откатываетесь от колес на обочину, а я, не

останавливаясь, разворачиваюсь и опять взлетаю. По радио я договорюсь с ребятами, чтобы меня сразу выпустили».

Так мы и сделали.

Этот большой нижний люк у летчика под ногами. И вот самолет садится на военном аэродроме, как и договорились, генерал с адъютантом в измызганном камуфляже, грязные, чумазые, с оружием, с какими-то там сумками, вываливаются из люка, по бетонке откатываются на траву. Транспортник тут же разворачивается, взлетает и уходит. Встречающие командира корпуса стояли на соседней полосе и в недоумении переглядывались: они так ничего и не поняли. Самолет только прикоснулся к взлетной полосе и сразу взлетел, никого не высадив.

А тут и мы поднимаемся... И нас заметили, машины понеслись к нам. А мы стоим, будто очумелые. Полгода нас не было дома, тут весна, тепло. Жена бежит в каком-то легком платье, все в летних одеждах. А мы, пропитанные пылью, потом, кровью, небритые. Если бы нас кто-то сфотографировал в тот момент, были бы просто ужасные рожи на фотографиях. Нас с женой усадили в «Волгу», адъютант — сзади в «Уазике». Едем, и я не пойму, где нахожусь. В Краснодаре все цветет, музыка играет, женщины ходят красивые. И такое ощущение, что нет нигде никакой войны. Мы полгода провели в крови, в грязи, там бойня настоящая. А тут жизнь, оказывается, есть, идет своим ходом. И от контраста такого у меня даже в голове помутнело. Не в себе я был в тот момент. В таком состоянии я и вернулся домой...

Но самое страшное началось потом — бессонные ночи. В мыслях еще в Грозном каждый из боев снова и снова прокручивал в мозгу. Вот штурм высоты возле пригородного поселка: как зашли на нее, как заходил другой отряд, как наткнулись на засаду, кого первого вынесли с поля боя убитым или раненым. Или в городе уже — бой за здание музея. Может быть, надо было зайти с другой стороны или с тыла, и, возможно, тогда было бы меньше потерь? И так, на автомате, мозг один за другим перерабатывает каждый бой, которым мне приходилось руководить. А утром, невыспавшийся, разбитый, шел в штаб корпуса. И не мог работать, потому что война и за обыденными делами не отпускала. Домой возвращался окончательно изможденным и сразу засыпал. А на другой день все повторялось: вереницей перед мысленным взором проходили все бои, и снова не смыкались веки до утра. И так через ночь, с изнуряющим постоянством.

И вот после одной такой мучительной ночи пришел на работу, уставший, измочаленный бессонницей. Промаялся до вечера, все валилось из рук. В конце рабочего дня вручил своему заместителю по боевой подготовке полковнику Дурневу орден, которым он был награжден накануне. Перед тем, как разойтись по домам, в узком офицерском кругу сослуживцев поздравили награжденного, по традиции обмыли орден.

Было уже часов 10 вечера, едем домой. А этот ежедневный маршрут, надо сказать, проходил мимо Свято-Ильинской церкви. И мне кто-то раньше говорил, что священником в ней был майор запаса, бывший летчик, и зовут его отец Николай. В десять вечера в церкви никого не было, но меня что-то остановило возле нее. И я зашел, как был в генеральской форме. Какая-то старушка подметала пол. Спросила меня: «Вы что-то хотели?». Говорю: «Хотелось бы мне с кем-нибудь из священников побеседовать». Она кротко так, вежливо отвечает: «Да, отец Николай здесь, я его сейчас позову». Она вышла, и тут заходит отец Николай. Очень симпатичный мужчина, представительный, с красивой бородкой. Спрашивает: «Ваше высокопревосходитель-

ство, что вас сюда привело?». Смятение души, говорю, вот только несколько дней как с войны. Нахожусь в таком состоянии, что ничего не могу понять: там война, здесь мир, а я где-то посередине. Душа не на месте. Мне надо с кем-то поговорить. Жене не могу рассказать, потому что она ничего не поймет. На работе — там вроде бы все военные, офицеры, генералы, но они не были на войне, и поэтому тоже вряд ли поймут. Это совершенно разная жизнь — там и здесь. Другой ритм, другое восприятие. Мне очень тяжело. «Идемте, идемте, — говорит и подводит к скамеечке в уголочке. — Садитесь, сейчас поговорим...». Я замялся, говорю, что мне как-то неудобно и прошу меня извинить. А он в ответ такой мягкой скороговоркой: «Сиди, сиди. Раз душа тебя привела сюда — сиди».

И мы проговорили часа два. Он все расспрашивал меня про войну. И я ему рассказывал и рассказывал, будто что-то у меня распахнулось в сердце. Они, священники, умеют разговорить человека, так расположить его, чтоб он весь раскрылся. Так мы проговорили, и мне, правда, сразу стало легко на душе. Я рассказал, что видел, эту грязь, боль, кровь, и будто очистился. Он спросил: «Вы — крещеный?». Нет, говорю. «Вот-вот, поэтому ваша душа и не находит покоя. Надо покреститься, и вам будет легче. Хотите креститься? Приходите завтра, после обеда, в 16 часов я вас жду». Я согласился, но не пришел на следующий день. Видно от этой исповеди я и в самом деле каким-то чудесным образом очистился и успокоился. Всю ночь я спал беспросыпно, утром встал легко и с охотой пошел на работу. Занимался делами весь день и забыл о своем обещании. Просто вылетело из головы...

Дела, действительно, закрутили, в работу ушел с головой. Как раз вернулась из Чечни 131-я бригада, надо было переформировать и подготовить к будущим операциям. В июле с этой бригадой, пополненной людьми и боевой техникой, я снова вошел в Чечню — уже в Ножай-Юртовский район. Получил новое направление — возглавил горную группировку. Был там полгода и вместе с группировкой генерала Шаманова работал в горах. Там уже не было сплошной войны...

Но жизнь вновь повернет, и через полгода я приду к отцу Николаю, и получу крещение. Мы станем друзьями на всю жизнь. В миру Щербаков, отец Николай станет доктором богословия, и я с интересом буду читать его диссертацию о репрессированных в 20-30 годы священниках России. И все-таки воспоминание об этом не выполненном первом обещании отцу Николаю останется в моей душе тяжелым осадком на всю жизнь. И на то есть особые основания...

Глава 17. АЛЁША

В июле, когда я снова вошел с 131-й бригадой в Чечню, в Ножай-Юртовский район, боевые действия шли в горах. Мы взяли Шали, выбили бандитов за Старые и Новые Атаги, почти до Итум-Кале дошли. И начались новые переговоры на высшем уровне.

Нет, в Буденовке я не был — после него и затеялся переговорный процесс, а начинал переговоры сам глава правительства Российской Федерации Виктор Степанович Черномырдин. И мы тогда остановились.

Стояли лагерями в ущельях или в каких-то поселениях, блокпостами, в так называемых базовых районах. И только выходили по команде: где-то проявились бандиты, где-то напали на кого-то. Планируем операцию, ищем,

ловим. Переговоры шли до середины декабря. В это время фактически не было ни мира, ни войны. Стреляли каждый день, были убитые и раненные. Но Грозный был наш, там возглавлял правительство Завгаев. Однако с каждым днем становилось все очевиднее, что бандиты не собираются сдаваться.

Они использовали перемирие для собственной передышки. У них наемники появились — черные арабы, даже чернокожих убитых сам видел. Сирийцы, выходцы из Саудовской Аравии — различали по лицам, по южному «загару», а не только по документам. В общем, с Ближнего Востока. Собралась, казалось, вся шваль со всего мира — граница с юга в то время была открыта...

Одновременно войска применяли и миротворческую тактику: с жителями населенных пунктов подписывались так называемые меморандумы. В каждой войсковой группе был представитель правительства Завгаева, а от имени федеральных властей выступал командир группировки.

В моей группе представитель правительства Чеченской республики был в ранге министра.

Что делали? Входили в село и собирали авторитетных людей этого населенного пункта: глава района, глава этого села, представители старейшин, мулла. Подписывали меморандум, суть которого в следующем: если в этом селе не будет бандитов, если их сюда не пустят жители, значит и мы ни одного выстрела по селу не сделаем. А правительство республики брало обязательство выплатить зарплату учителям, врачам и помочь населению этого конкретного села, дать ему необходимое для нормальной жизнедеятельности. И так мы шли от села к селу, от аула к аулу. Помогало: процентов на 90 эти меморандумы выполнялись. Ну, а если уж где-то жители села или аула нарушали совместную с нами договоренность, то там, извините, был бой. Вот такой в период тех переговоров была тогда война, и таким был мир.

В то непонятное, непредсказуемое время я впервые встретился и по-настоящему подружился с главой республики Завгаевым. Он прилетел сам в село, откуда был родом, чтобы принять участие в подписании меморандума.

И мы не позволили, чтобы в этом селе была война.

Ни один дом здесь не был разрушен...

Достаточно боевых стычек было в этой полумирной половине 95-го года. С течением времени большинство из них непременно забудутся, исчезнут из памяти под наслоениями других событий. Как говорится: время лечит. И только один бой этого периода мне не забыть никогда. Я в нем не участвовал, да и не мог бы там быть — по стечению обстоятельств находился в это время совсем в другом месте, за сотни верст. Но очень хотел бы быть в том бою, даже рядовым солдатом, чтобы закрыть грудью командира штурмовой группы от разрыва бандитской гранаты.

Время бессильно стереть из памяти и тот бой, и тот удар гранатомета, с тех пор и кровоточит мое сердце. Особая, наивысшая гордость и неизбежная боль всю жизнь жгут незаживающую рану... Командиром штурмового отряда был мой старший сын Алексей Пуликовский... Но что может сравниться с горем матери?... Пройдут годы, прежде чем она сможет как-то собраться. Чтобы жить. И помнить. *Ее рассказ* записали товарищи:

«Ушел в Чечню Костя в ноябре 94-го, а первый раз вернулся весной 95-го. Они с адъютантом стояли на аэродроме взъерошенные, чумазые, заросшие,

небритые, в комбинезонах... Никогда ничего не говорил о войне, как-то замкнулся. Так всегда с ним: пока все не успокоится, от души не отляжет, из него слова не вытянешь. Мы как-то привыкли трудности друг на друга не перекладывать...

Два месяца пробыл дома, и снова улетел на войну. В те скоротечные деньки мирной жизни мы последний раз собрались все одной семьей. Приехал как раз на каникулы Сережка из училища. Сидят они вдвоем, и Костя говорит: «Почти все в сборе... Я сейчас и Алешку вызову». А у Алексея уже Сонька маленькая была. Жили они с Любой в Наро-Фоминске. Он служил в Кантемировской дивизии командиром взвода, а недавно получил роту. А это такое важное звено в армейской службе, и Алешка был счастлив неимоверно, когда я приезжала к нему в сентябре в роту...

И Костя решил вызвать его погостить в Краснодар. Я говорю: «Прямо так и вызовешь. Ведь он никогда никакими поблажками не пользовался». Но Алешка и в самом деле прилетел к нам в Краснодар. Мне тот день особенно запомнился: тепло, солнышко такое яркое. Мы выезжали на природу все вместе, и с друзьями.

Отец семейства рассказывал что-то про войну, но, конечно, не все. Да я и не слушала особенно его рассказы, потому что находилась в каком-то необыкновенно радостном настроении, от счастья, что вся семья вместе, что все эти мои родные — сильные, крепкие мужики, и что они рядом со мной. И нет войны.

Алешка с отца просто глаз не сводил: где Костя только ни сядет, и он рядом возле его кресла, прямо на полу примостится. И слушал, слушал его рассказы о той войне. Наверное, в эти моменты он очень гордился своим отцом как настоящим героем. Да и общий настрой в армейских кругах, думаю, тогда было таким — многие ребята его возраста свое благородство проявили. Когда Алексей вернулся в свою дивизию, несколько писем мне написал. И в каждом почти рассказывал, кто из его товарищей ушел добровольцем в Чечню. Или просто упомянет, сколько уже ребят из его части там воюют. Но мне никогда не говорил, что и сам просится туда, где у всех на слуху фамилия его отца. Я и не догадывалась, что он трижды писал рапорты о направлении в Чечню, но ему все время отказывали по разным причинам. А потом-таки добился своего. Он прибыл в Чечню 31 октября 1995 года. В предписании, которое нам потом передал командир полка, так и было написано: ушел добровольно, вместо старшего лейтенанта Лукьянова. Костя знал об этом, но от меня мужчины почему-то скрыли этот факт. Пощадили, выходит, материнское сердце... А 14 декабря погиб...

Я долго не могла простить мужа... Хотя в чем он виноват? Сколько молодых ребят уходило на ту войну — и по приказу, и по доброй воле. Но каждый щадил родительские чувства, и не сообщал, ни отцу, ни матери о том, где он находится и что с ним. А Косте ведь, как отцу, пожалуй, было еще трудней, потому что он знал лучше других, что там, в Чечне, происходит на самом деле, сколько гибнет ребят. Знал, в отличие от меня, где находится его сын. А я его упрекала: ведь знал, что он там, почему допустил? Ты ж видел, как погибают там ребята. Он же сын твой, любого собой прикроет. Наверное, так каждая мать рассуждала... Костя не рассказывал, что Алешка сам себя в заложники оставлял? Это было примерно за неделю до его гибели: солдат-контрактник на БТР сбил в одном селе двух чеченцев, один из них погиб. Как раз перемирие было, а тут такое. А наш Алешенька такой же, как и отец, говорит: «Зачем лишнюю кровь проливать? Я сейчас вызову начальство. Разберемся, кто ви-

новат». И себя в заложники оставил... Не хотел лишней крови, решил уладить дело мирным путем. Два дня просидел в заложниках, вместе со своим солдатом-связистом. Два раза их выводили во двор расстреливать, потому что никто из командования все не ехал. Но прибыл-таки полковник Яковлев, и их оттуда забрали... Костя лучше меня знает об этом.

А Алешка идеалист был, хотел все по-честному...».

Застава полка стояла на южной окраине Шатоя. Это в горной части Чечни, откуда по Аргунскому ущелью лежит узкий путь к аулу Итум-Кале, и далее — граница с Грузией. В заставе было 47 солдат и три офицера, старший в звании капитана. Застава стояла на стратегически важном направлении, перекрывая дорогу, ведущую в Итум-Кале. Оттуда, как через своеобразную пуповину, поддерживалась жизнедеятельность всего бандитского организма от материнского тела мирового террористического сообщества. К захвату опорного пункта бандиты готовились загодя, с первого дня очередного перемирия. Мирные переговоры они по-прежнему активно использовали для передышки и зализывания ран.

Неподалеку стоял дом чеченца по имени Ахмет. Этот парень за лето и осень сблизился с солдатами и офицерами заставы... Как-то приволок целиком заднюю часть туши коровы. «Снаряд разорвался, корову убило. Куда девать? Сварите шурпу, солдат накормите». Притащил большой котел. Позже заднюю часть конской туши припер — конь на мины попал. Чуть ли не каждый день стал приходить: то сигаретами угостит, то какое другое угощение у него есть. Стал своим человеком. Солдатики за месяцы перемирия построили к холодам добротные землянки, в них по-свойски захаживал и Ахмет.

В ночь с 13 на 14 декабря на посту стоял лишь один солдат — охранял три БМП и землянки, в которых спали солдаты и офицеры. А Ахмет спокойно идет к заставе: покурить принес... Закурили. А автомат уже в руках Ахмета. Из кустов выскочили несколько бандитов. Заставу взяли без единого выстрела. Тихо вошли в землянки, собрали оружие. Всех связали, завели две БМП, третью не смогли, угнали в горы — две машины и почти пять десятков солдат.

Аналогичных захватов в ту злополучную ночь было несколько по всей Чечне: где-то тихих, где-то кровопролитных. Подлыми и грязными, изуверскими методами они обычно и начинали боевые действия.

Утром командир полка вызывает заставу, а она не отвечает. Связи нет. А мой Алешка в то время был уже заместитель командира батальона, с утра готовился со своей штурмовой группой выйти на задание в горы.

БМП стоят загруженные, а он сам объясняет своим людям задачу. Командир полка вызвал его: «Какая у тебя задача? Ладно, не к спеху. Застава почему-то не отвечает. Быстренько проскочите через Шатой, разберитесь, в чем дело, и доложите».

Алексей взял с собой три БМП и 18 солдат. Рванули к заставе: дорога идет через Шатой — под углом немного. На заставе их ждала засада. Первую БМП сразу же подбили. Алешка, как говорят, командовал неплохо.

Они на окраине, в черте города, захватили один дом. Я там был потом: довольно приличный частный дом из красного кирпича, трехэтажный особняк — такие новые русские себе строят. Наши ребята там забаррикадировались: одну БМП поставили в воротах дома — как огневую точку, другую же использовать не удалось.

Их окружил батальон бандитов под командованием Арби Бараева... С этим бандитом я тоже впоследствии встречался. Его убили, когда я уже был полпредом президента на Дальнем Востоке...

Ребятишкам практически сутки пришлось вести бой в полном окружении. Связались, понятно, с полком, но командир растерялся и не смог оказать помощь, опыта не было: раньше воевать не приходилось, пришел в Чечню как раз во время последнего перемирия. Первый его бой... Не вызвал ни артиллерию, ни авиацию, и сам не смог оказать помощь. Он был отстранен от командования полком...

Выручил их Володя Шаманов: он действовал со своей группой в соседнем ущелье. С ним был парашютно-десантный батальон 7-й воздушно-десантной дивизии. Он перебросил батальон на окраину Шатоя на вторые сутки, десантники банду Бараева рассеяли. Из группы Алексея в живых осталось всего семь ребят. Все — израненные мальчишки. Был я у них в госпитале, разговаривал. Алешка погиб от разрыва гранаты, и смерть его была мгновенной...

Старший лейтенант Алексей Пуликовский был посмертно награжден орденом Мужества и с воинскими почестями похоронен в Краснодаре...

Генерал-лейтенант *Владимир Шаманов* через несколько лет расскажет:

«Да, я непосредственно и занимался ликвидацией этого огневого столкновения и лично руководил последующим боем. Уже одно то, что многие генералы лично принимали участие в боевых действиях и некоторые из них, к сожалению, погибли, как раз и говорит о морально-этическом состоянии генеральского корпуса наших вооруженных сил!

И как бы ни пытались некоторые горе-критики бросить тень в целом на генеральский корпус, вот именно такие проявления и говорят о том, что традиции русского воинства сохраняются, в том числе и через активное участие профессиональной деятельности военных династий конкретно на поле боя. Поэтому и я все знаю, и сегодня ничем нельзя загасить горечь Веры Ивановны, замечательной супруги Константина Борисовича Пуликовского. Сам он тоже очень тяжело переживает, несмотря на то, что прошло немало времени.

Его сын до конца выполнил стоявшие перед ним задачи на очень сложной по рельефу местности. Они попали по существу в засаду, устроенную внутри населенного пункта. Все это не позволяло совершить маневр, применить все огневые средства. И целый ряд других факторов. Включая внезапность, коварство, все это и сыграло свою роль. Молодой человек погиб...

Но был бой до последнего дыхания. Абсолютно ответственно заявляю. Я был там первым после разведчиков, которые деблокировали засаду. Я видел ужасающую картину, которая со мной вместе в могилу и уйдет. Алексей вел бой, повторяю, до последнего дыхания. Это настоящий российский офицер-герой...

С профессиональной точки зрения, да и любой другой, Константин Борисович должен гордиться своим сыном».

А я накануне был отозван в отпуск, нам с женой дали путевку в санаторий. Туда и позвонил начальник штаба корпуса из Краснодара, сказал: «Плохо дела. Плохо с сыном...». Спросил, холодея внутренне, но с надеждой: «Ранен?» — «Убит»...

Два дня я не мог сказать об этом жене... Да так и не смог этого сделать сам. Позвал друга семьи, того же начальника штаба. Когда вернулись в Красно-

дар. Попросил его выполнить тяжелую миссию. Он стакан водки выпил и пошел к нам домой...

Вера Ивановна, спустя несколько лет, поделится с давним товарищем:

«Муж ничего не говорил мне два дня. Мы отдыхали в Сочи. Я взяла отпуск за свой счет на две недели и начала собираться. А он все ходит и ходит, какой-то отрешенный совсем, и вроде бы ехать не собирается. Так день прошел. Я не выдержала, спрашиваю: «Так мы едем или нет?». А он, как я поняла потом, всей душой своей рвался туда, к сыну, потому что знал, где он находится: может быть, хотел забрать его оттуда, или просто навестить хотел. И, скорее всего, улетел бы снова в Чечню, а не в санаторий, но погоды не было, и вертолетам не давали разрешение на взлет. И поэтому не улетел, а через два дня мы уехали на машине в санаторий. Сам он был весь какой-то заторможенный, весь в себе.

Все время говорил: «Меня могут вызвать. Меня могут отозвать...». Я это воспринимала спокойно, как в порядке вещей. Должность у него такая. Вот один командир дивизии, с ним вместе учились в академии Генштаба, так он отказался поехать в Чечню и был уволен из армии. Такая была обстановка. А за мужа я и не переживала особенно, не думала, что он может погибнуть там. Да и сам он постоянно убеждал меня в этом: «Что ты, — говорил, — там такие прочные бетонные укрытия». Но что Алешка в Чечне, я не знала. Думала, он в Наро-Фоминске: звонил, письма писал. А в сентябре у него в гостях была. Приехала, а он говорит: «Мам, каждый день я туда ребят отправляю...». Выдергивали и оттуда ребят, соблазняли зарплатой, командировочными. Офицеров, конечно, а солдат-то никто и не спрашивал, наверное. Тогда в Нижнем Новгороде из таких вот ребят-добровольцев формировался 245-й полк, который должен был идти в Чечню — собирали из самых разных дивизий.

Радости и настроения в санатории не было. Душа почему-то все время была не на месте. И муж, как побитый, постоянно молчит и места себе не находит. Да и погода в декабре на Черноморском побережье далеко не курортная, сидеть можно было только в номере.

14 декабря, только мы пришли с утренней зарядки, раздался резкий телефонный звонок. Костя взял трубку, и я вижу, что он как-то сразу переменяется в лице и начал оседать прямо... Спрашиваю: «Что, вызывают?». «Да, — говорит как-то глухо, — отзывают».

И весь он какой-то сам не свой. Сразу после звонка засобирился, кроссовки начал надевать. «Куда ты?» — спрашиваю. «Пойду с переговорного поговорю. Собирайся». А у меня облегчение даже какое-то наступило: слава Богу, думаю, отзывают из этого санатория, в котором быть просто не хочется. И, ожидая его возвращения, стала потихоньку собирать вещи. А он заходит — глаза прячет, лицо прячет. Ходит только из угла в угол, то на диван присядет, то в кресло, свои вещи и не думает собирать. Говорю ему: «Что ж ты не помогаешь собираться? Ведь время идет». А он отвечает: «Вертолет будет через два часа, на машине не поедem». Ну что ж, собрала и его вещи. А через два часа и, правда, сели в вертолет. Вдоль берега раза три подходили к перевалу, но через него нас так и не пустили. Долетим, а там облака прямо на вершинах гор лежат, видимости никакой. Повернули в Адлер.

Сидим там, у меня уже и голова разболелась — ведь голодные целый день. Костя сказал: «Вечером из Ростова самолет будет». И ушел. Сiju у летчиков, скамеечка там деревянная такая. Зайдет офицер, спросит: «Вам ничего не надо?». «Мне только таблеточку от головы дайте». Потом и чаю принесли.

Самолет из Ростова прислали, когда было часов десять вечера. Благопо-

лучно долетели до Краснодара. Военный аэродром там в самом центре города, рядом с военным училищем. Выходим, а мужа, как обычно, встречает целая толпа военных — из корпуса, из училища (начальник училища тоже академию заканчивал, какое-то время мы рядом жили). Подходит один из адъютантов, слышу — поздравляют мужа: «Константин Борисович, вам присвоено звание генерал-лейтенанта...».

Эта война оказалась для нас самым тяжелым периодом в жизни. Ни один из эпизодов того времени практически не принес радости. Наградили меня орденом Мужества. Указ был подписан 31 декабря 1994 года. Я знал, что награжден за участие в миротворческих событиях в Северной Осетии и Ингушетии — именно тогда меня представляли к награждению. Но получил-то я орден в самые трагические моменты штурма Грозного, когда и награждать-то было не за что: жестокие бои, большие потери. Поэтому от той награды на всю жизнь остался горький осадок в душе.

14 декабря 1995 года я получил звание генерал-лейтенанта — был указ. Меня специально вызвали в Краснодар, чтобы вручить новые погоны, дали краткосрочный отпуск. А мне в тот же день сообщают, что погиб Алешка... С тех пор я и форму не могу носить, и погоны генерал-лейтенантские все время мне напоминают, что когда мне их дали, погиб сын. И страшно было в те дни, просто невыносимо. Отовсюду звонили, поздравляли: не все знали, что Алешка погиб, но всем было известно, что указ о присвоении нового звания подписан. Жена тоже ничего не знала. Бегаёт на каждый звонок, гостей встречает: «Что, Костю пришли поздравлять? Заходите, садитесь, давайте шампанского...». А люди, кто уже знал, потопчутся в дверях, помолчат и уйдут. И я не мог никак ей сказать об этом.

Только 16 декабря пришел Сашка Скородумов, начальник штаба. Хороший мужик, тогда был генерал-майор, сейчас уже генерал-полковник. Был начальником штаба корпуса у меня. Отважный офицер, полком командовал в Афганистане, в Чечне был. Мы так с ним дружили, наши жены были тоже подругами. И он взял на себя тяжкий крест — принес в нашу семью горькую весть. И с той поры наша дружба разладилась...

Известно ведь, давным-давно за плохие вести гонцов казнили. А мы просто сами отошли как-то. Нет, мы по-прежнему доброжелательно относимся друг к другу. Он живет в Москве, иногда встречаемся, но очень редко. Не так давно на приеме в Кремле виделись. Как-то в самолете с его женой столкнулись — она летела к родственникам в Читу, а мы — в Хабаровск, где я тогда уже работал, и они с Верой Ивановной побеседовали. Встречаемся, разговариваем, но дружбы былой уж нет. Принес страшную весть, и какое-то отторжение случилось...

Алешу похоронили в Краснодаре, со всеми воинскими почестями, было много народа: люди пришли разделить с нами наше горе. Его имя выбито на мемориальных комплексах в Майкопе и Хабаровске. И в мемориале 245-го полка, в котором он воевал, тоже его имя выбито. Недавно я был в Кантемировской дивизии. Сейчас они обновили свой старый музей, и там есть стенд, посвященный ему, другим ребятам, которые воевали в Чечне, с фотографиями. Помнят его в роте, в батальоне, где он служил. У него остались жена Люба и дочь Соня. Сын всегда мечтал быть военным. Я даже удивляюсь этому, потому что не ожидал, что дети станут тоже военными. Просто не хотел я этого. И один сын, и другой сразу после окончания школы уходили в военные училища.

Старший сын, Алешка, когда я его спросил, куда он пойдет после школы, даже удивился. Сказал: «Сомнений нет — в Ульяновское танковое училище. Туда, где ты учился». Я его начал отговаривать, а в глубине души, не скрою, было приятно. А младший, Сережка, так вообще начал с Суворовского училища, а после него — в военное. Я не заставлял их, не агитировал: клянусь, избрали военную службу своей профессией по собственному желанию. И не очень-то я был рад этому их выбору, потому что сам прошел достаточно тяжелую армейскую службу. Чтобы желать такую же долю своим сыновьям.

Но это уже судьба.

...Когда хоронили Алешу, вспомнил я об отце Николае — священнике Свято-Ильинской церкви, и пригласил его отпевать сына. Он пришел, исполнил обряд отпевания, но мне ни словом не напомнил о прежнем нашем разговоре. Потом, когда я его позвал на девять дней, на кладбище на панихиду, он тоже пришел. На этот раз мы пригласили только узкий круг, родственников в основном, была Люба, Верина сестра, всего человек десять.

Когда обряд закончился, отец Николай подошел ко мне и говорит: «Ваше высокопревосходительство, вы помните, что у меня так и не покрестились?». «Да, говорю, помню». А он продолжает: «Слава Богу, хоть Алеша крещеный, душа его будет принята. Дай Бог, чтобы ничего больше плохого не случилось. Едем креститься прямо сейчас, немедленно!». А у меня в столовой для поминок столы накрыты, люди пришли, на кладбище мы их не приглашали. Сослуживцы, знакомые ждут. Я и сказал об этом отцу Николаю. «Ну и пусть ждут, говорит. И без тебя там некоторые уже напоминались... Подождут. Не это главное: поминают человека по религиозному обычаю не водкой, а словом и молитвой. А это уж так на Руси у нас повелось с древних времен. Поехали и все!». «Кто ж будет крестным отцом и крестной матерью?». «А вот матушка. Она ведь крещеная?». И показывает на Веру Ивановну. Жена говорит: «Да. И я согласна». «Ну и хорошо, — отвечает отец Николай. — А в крестные отцы я приглашу губернатора, пока доедем в церковь. Ну все, поехали-поехали». И мы поехали в церковь. Вскоре туда по просьбе отца Николая подъехал и губернатор края Николай Игнатович Кондратенко. Прошел весь ритуал крещения, с полным погружением. Так я и покрестился. Случилось это 25 декабря 1995 года.

Должен сказать, крещение принесло душевное успокоение...

Глава 18. ПРОКЛЯТАЯ ВОЙНА

А жизнь шла своим чередом. На работу из отпуска вышел раньше положенного. Правда, в Чечню не поехал, а остался в Краснодаре, в штабе своего корпуса. Здесь было немного легче — повседневная текучка как-то отвлекала от горьких мыслей. Командующий войсками округа Анатолий Васильевич Квашнин со свойственной ему природной деликатностью выдержал ритуальную паузу. До конца срока старался не загружать меня новыми проблемами. Но спустя полтора месяца позвонил и сказал, что есть серьезные задачи: на базе корпуса сформировать несколько штурмовых отрядов и начинать новую операцию в горах Чечни.

И спросил, кому из своих заместителей я мог бы поручить командовать в горах штурмовыми отрядами. Я ответил коротко: «Пойду сам...».

Штурмовой отряд — это усиленный батальон, общей численностью человек в триста. В его составе одна или две танковые роты, артиллерийская

батарея из 8-10 орудий. Что было удобно, мы убедились, при действиях в горах. Придавались также саперы, минеры, отряды заграждения, они могли поставить мины, и — специальные группы, которые имели навыки разминирования. Штурмовых отрядов на базе корпуса было создано четыре, и с ними в конце января 96-го года я снова вошел в горную часть Чечни.

Однако в мае пришлось на несколько дней вернуться в Краснодар: в город приехал президент Ельцин, и командиру корпуса как начальнику Краснодарского гарнизона регламент предписывал встречать верховного главнокомандующего лично. С этой поездки Борис Николаевич практически начинал свой предвыборный рейд по стране в 1996 году. Президента встретили как положено, я, пользуясь моментом, рассказал ему об истинном положении дел на Северном Кавказе, высказал собственную точку зрения по ряду вопросов ведения боевых действий против бандитских формирований. Эта личная беседа с президентом видимо как-то способствовала дальнейшему продвижению по служебной лестнице, потому что буквально на следующий день после отъезда из Краснодара Ельцина командующий войсками Северо-Кавказского военного округа Квашнин пригласил меня на должность своего заместителя. Я заехал на несколько дней в Ростов, где размещался штаб военного округа, а оттуда вернулся в Чечню, но уже в ранге заместителя командующего войсками округа. Мне было поручено возглавить всю войсковую группировку, действовавшую в то время в Чечне.

Боевые столкновения были постоянно, и это в разгар президентской выборной кампании. Ельцин на несколько часов прилетал в Чечню, в Шелковской район, и заявил: мол, все, войне конец. Военным после такого заявления фактически было запрещено вести какие-либо активные боевые действия. Хотя почти каждый день была стрельба или подрывы.

Нам говорили: «Отвечайте адекватно». А как это — «адекватно»? Тоже подрывы устраивать? Только в самый канун и непосредственно в дни выборов президента, проходивших, как известно, в два тура, было относительное затишье. Но как только Ельцин был избран на новый президентский срок и слег надолго в больницу на попечение врачей, боевые действия активизировались снова...

Постоянные стычки, подрывы, обстрелы со стороны боевиков дестабилизировали обстановку. А стоило армии начать развивать какие-то ответные действия, освобождать тот или иной район или населенный пункт, где окопались боевики, только обозначался у армии успех, как моментально срабатывали какие-то невидимые силы, и из Москвы следовал категоричный окрик: «Стой!». И шли команды: перейти к переговорам, не вести активных боевых действий.

Пока идут переговоры — неделю, две, три, они подвозят боеприпасы, пополняют свои ряды, поднимают в аулах совсем неподготовленных людей — стариков, детей. У меня был один такой бой: взяли в плен молодого чеченца, а с ним еще были два бандита. Так вот они-то и пришли в село, взяли старейшину, муллу и сказали: если не дадите нам сейчас 30 вооруженных бойцов, которые перекроют дорогу, мы вас расстреляем». Что тем оставалось делать? Устроили засаду в лесу. Мы наткнулись на них, и всю ночь шел бой. Потом мы их окружили и почти всех уничтожили. Взяли в плен их командира. У него к камуфляжу был прикручен орден Красной Звезды, правда, с внутренней стороны, а закруткой наружу. На допросе выяснилось, что этот чеченец служил в спецназе в звании капитана, воевал в Афганистане и там получил этот орден. Они втроем пришли в село и подняли против нас

людей. Именно они сказали: старейшину и муллу расстреляем. И люди шли. Лев Рохлин рассказывал на видео о войне в Чечне, «без купюр»:

«Подъезжает комендант, он чеченец: «Мы не пропустим, ляжем... Положим женщин и детей».

Вы знаете, я воевал в Афганистане, там такие необразованные эти афганцы, такие грязные, только у них отличие одно от цивилизованных чеченцев: они впереди себя женщин и детей не пускали...».

Самые мерзкие приемы, какие только существуют в мире, гадкие, подлые способы и методы ведения войны, подкуп, шантаж, убийство — все использовали, чтобы как-то охаять, дискредитировать силовые структуры и не дать нам активно вести боевые действия. А в Москве, как я думаю, тоже опасались «перекаливания» народного мнения в отношении к армии и властям: фигура Ельцина не была популярна в середине 90-х годов.

«Славный» набор негативных факторов для руководства страны в то время был. За что боролись... Тут и инфляция бешеная, и цены растут, и безработица. Не потому ли армию постоянно сдерживали, пытались как-то «вырулить» на примирение. Я не могу сказать, что было предательство сверху, предательство федеральных войск. Хотя многие говорили и говорят...

Фактов у меня нет. Однако нам постоянно не позволяли добить бандитов, сепаратистов и террористов.

Впрочем, откровенно говоря, нам самим не хотелось уничтожать всё и вся. Знаете, это очень горькое занятие — воевать. Ни я, ни мои товарищи, офицеры и генералы, ни тем более рядовые солдаты — не рвались в бой, чтобы, мол, всех поубивать и все вокруг сжечь. И нам не хотелось идти в бой, потому что в нем неизбежно гибнут и наши люди — солдаты, офицеры. Не было такого стремления у нас. Но хотелось получать четкие, ясные команды — уничтожить бандитов до последнего, или пленить, окружить, выдавить их оттуда. Или уйти самим. В мою бытность раз 15 было так: вот мы уже близки к окончательной победе, осталось село последнее взять, там все их главари, чьи имена известны всем... Выгнать бандитов в нежилую часть, и уничтожить полностью, либо в горы загнать, и пусть они там выживают как могут. Но нет: «Стой! На этом рубеже стать! Будем вести переговоры». В таких переговорах и мне приходилось участвовать, и другие их проводили — на высшем уровне...

А они, главари боевиков, для чего это делали? Они понимали, что если мы неуклонно, планомерно будем их уничтожать, то все равно сотрем в порошок. И они шли во все тяжкие, добивались в Москве передышки, скапливали силы, и снова наносили удары. Ощутимые такие уколы, очень болезненные. Выбирали где-то слабое место, видели, что где-то командир у нас послабее, или в каком-то районе дисциплина у наших бойцов неважная при нерадивом офицере. И наносили там удар. При этом мы несли неизбежные потери.

Помню, с Масхадовым разговаривал, в августе 96-го, когда новый штурм Грозного готовился. Мы встретились с ним на переговорах, и я ему сказал: «Аслан, ну неужели ты не понимаешь, что такое вооруженные силы России? Ты ведь сам в них служил. Ведь мы тебя размажем, всех уничтожим. Пусть потери будут, пусть тяжело нам будет, но не тебе с твоими бандитами тягаться с российской армией». Он отвечал логично: «Да, я это знаю. Но об этом я только тебе говорю. А Ельцина мы должны показать, что в состоянии опять город штурмовать, что у нас есть силы. Чтоб он нас боялся и считался с нами, чтобы вел с нами переговоры и выполнял наши условия. Мы все

время будем так действовать, мы будем наносить удары. Вы нас здесь будете бить, а мы вам в другом месте нанесем удар. Я знаю, что мне вас не победить. Россию не победить, российскую армию не победить. Но мы будем доказывать, что сильны, и Ельцин будет с нами считаться». Вот такая манера, такая методология ими применялась все те месяцы.

Восьмого марта 96-го года они напали на Грозный. События марта 96-го не очень-то освещалось в прессе, но бои были кровопролитные. Была осуществлена их первая попытка в том году захватить Грозный. Я участвовал в тех боях. У меня была группировка в горах, а в столице мы формировали казачьи роты, батальоны. И я с одним из таких небольших формирований был как раз на окраине Грозного, когда бандиты начали штурм. Командовал войсками в Чечне генерал Тихомиров, но мне в течение суток пришлось непосредственно участвовать в отражении нападения. Мы их выбили. Хотя и сложная обстановка была, но выбили, и сумели сделать это достаточно ловко. А они принялись снова готовиться, и вторую попытку сделали уже в начале августа.

Перестрелки, нередко переходящие в затяжные бои, были постоянно, и у нас ежедневно были ощутимые потери. Вроде бы и войны нет, вроде бы наступило очередное перемирие, но где-то какая-то стычка происходит. Перемирия эти тоже заканчивались как-то стихийно. Нам заявляют — договорились в верхних эшелонах власти о приостановке боевых действий. А где-то в другом конце Чечни вспыхивает огневое столкновение, и мы опять начинаем ввязываться в боевые действия. И провокации с их стороны, конечно, предпринимались. А с нашей? Порой и меня мысли посещали: а что если наши сами устраивали такие стычки, чтобы не дать вести бесплодные переговоры... И в самом деле, ни одни переговоры ничем и заканчивались.

Обвиняли друг друга: мол, что толку в переговорах, если никто не выполняет договоренностей.

В мае-июне начали подписывать соглашения даже о начале... вывода наших войск и, естественно, об очередном прекращении огня. Мы сократили количество блокпостов. Но сразу начали обвинять войска, что солдаты занимаются на блокпостах поборами, что не выполняют условий договоров и могут застрелить кого угодно при проверке, даже мирного чеченца, который едет через блокпост на рынок. Трудное было время. Как говорили мои коллеги: ни мира, ни войны.

Смерть Дудаева... В тот день, когда осуществили эту операцию, я был в Чечне. Мы толком о ней и не знали ничего, нас, естественно, никто не ставил в известность. Дошли до нас слухи, что он уничтожен, следом появились и комментарии СМИ, но с его смертью ничего не изменилось. Командовали бандитами все равно Масхадов и серый кардинал Басаев: и при Дудаеве мы слышали только голос Масхадова — и в радиоэфире, и на переговорах. Для нас армейцев Дудаев всегда был какой-то дальней политической фигурой. А Масхадова и Басаева мы ощущали постоянно, с 94-го года...

Глава 19. МЫ ВСЕ ХОТЕЛИ МИРА

Утро выдалось серым и пасмурным. Дождь еще не накрапывал, но где-то далеко сверкали молнии, что-то там то и дело грохотало... В больших и малых городах люди собирались на работу и прихватывали с собой зонтики. Никто, пожалуй, и не вспоминал о странной и жуткой войне в этих непри-

ветливых унылых горах. А здесь, глядя на всполохи, нелепо было думать о зонтиках...

Быстрым шагом подошел адъютант. Он только что переговорил с офицером разведки, и у него была «горячая» информация. Разведчики затемно наведались в ближайшее село Ножай-Юрт, там-то им кто-то шепнул (а были у нас и настоящие друзья даже в самых отдаленных селениях), что в местечке Саясан среди паломников прячутся отчаянные головорезы... Офицеры штаба корпуса, которые были рядом со мной, встрепнулись. Их понять можно: многие потеряли в кровопролитных стычках товарищей, бойцов своих подразделений, у кого-то погиб бывший сослуживец в нескольких километрах отсюда. И вот реальный шанс ударить артиллерией или авиацией прямо в осиное гнездо, сравнять подлых убийц с землей. Прямо туда, за вот эту ближайшую гору...

Соблазн, прямо скажу, был велик! Разведка донесла, что за горой, на склоне какие-то бараки с сараями видно... Там, видимо, и ночуют бандиты.

Офицеры с плохо скрываемым нетерпением ждали моей команды. А я отчего-то не спешил с приказом. Глядел на низкие тяжелые тучи и размышлял – что за название такое Са-я-сан? Чье оно? Китайское или тюркское, а может – корейское? Сколько языков на земле и как все перепуталось за века... Но что-то здесь не так... Прошу командира разведчиков подойти. Среди каких-таких паломников боевики прячутся? Откуда тут паломники? Какое-то место, говорят, особое, кто-то похоронен давным-давно...

Вспомнилась моя служба в Туркмении... Уж там-то о таком неласковом на вид предгрозовом небе можно только мечтать. Солнце пылает нещадно, изо дня в день. Раскаленные Кара-Кумы буквально душат нестерпимым жаром. Но чуть в невысокие горы заедешь, и уже легче дышать. В живописном ущелье Фирюза, неподалеку от Ашхабада, мне показали уникальное дерево – вековой платан о семи стволах, каждый и вдвоем не обхватишь.

Поклониться уникальному платану, выросшему на месте гибели туркменской свободолюбивой семьи, приходят жители из самых отдаленных уголков бескрайней пустыни. Несколько столетий туркмены отдают дань памяти прекрасной девушке Фирюзе и ее шести братьям, которые насмерть сражались в этом ущелье в предгорьях Копет-Дага, не пожелав продать за несметные богатства свою красавицу-сестру персидскому шаху. И она предпочла бесплодные, но родные пески всем сокровищам жестокого завоевателя.

Никаких, разумеется, аналогий, однако народ всегда достоин самого глубокого уважения. И потому приказываю – сам выдвигаюсь на место. Пошли две бронемшины, группа разведчиков, несколько автоматчиков. Неказистые строения оказались неким подобием гостиниц, дающих ночлег верующим людям, которые приходят туда со всей Чечни, из других регионов с мусульманским укладом жизни. Тогда в Саясане оказалось действительно достаточно много паломников, человек пятьдесят, не меньше. Но это были мирные граждане России.

Если бы мы «купились» на ложную, как затем стало ясно, информацию, и нанесли бы огневой удар по Саясану, я бы потом никогда себе этого не простил. Мы бы уничтожили небольшую, но древнюю, быть может, самую почитаемую мечеть в Чечне, мавзолей сына пророка Магомеда, старинное кладбище и десятки ни в чем не повинных людей... Можно только представить себе тот взрыв негодования среди местных жителей и их единоверцев по всему миру, который непременно последовал бы за этим, в общем-то, вполне очевидным решением в условиях войны.

Пожалуй, так размышлял и мой старший сын Алешка. Когда шел в свой последний бой в многолюдном селе... Ни я, ни он не были завоевателями, мы несли мир нашим дорогим согражданам, в силу определенных обстоятельств попавшим под преступную власть бандитов и отморожков. Мы были воспитаны в духе уважения ко всем народам. К чеченскому, ингушскому, осетинскому, в том числе... Мы знали горцев как замечательных и надежных товарищей. Друзей, верных слову, отзывчивых и гостеприимных. Они весьма неплохо занимались строительством, животноводством, их дети стремились к знаниям и увлекались спортом.

Мы никогда и не думали идти к ним на танках. Нас послали по приказу...

И нас, и их крепко ввели в заблуждение. Вот Рамзан Кадыров, президент Чечни, говорит, что все эти войны предполагалось вести до уничтожения последнего чеченца. А я добавлю — и до уничтожения последнего русского солдата. За время боевых действий, когда кровь наших ребят лилась почем зря, корыстолюбивые и подлые людишки, с обеих сторон, наживали свои проклятые миллионы.

Саясан — место действительно необычное. Оно навевало серьезные мысли, ответы на которые приходили самые неожиданные. Почему мой Алексей пошел служить офицером? Да потому, что на нашей общей Родине нас воспитывали патриотами, в духе любви к великой Отчизне, которая создала и сеяла разумное, доброе, вечное... В истории человечества нет другого такого примера, когда бы метрополия вкладывала в колонии значительно больше средств, нежели в собственную экономику. Поднимала культуру целых народов на европейский уровень. Стало быть, дружба народов была не показушной, а реальная! И страна была единая.

Но кто-то сказал, что наша цивилизация пока не придумала никакой защиты от предательства...

Служить офицером в Союзе было не только престижно, но и почетно. Прежде всего, это было не так уж просто, и потому к человеку в военной форме все относились с завидным по нынешним временам уважением. Девушки не обделяли вниманием, найти жениха-офицера — значит выйти замуж, как правило, за человека чести, порядочного и с большим кругозором. И на работу, если случилось что со здоровьем во время службы, на хорошую работу в первую очередь старались взять бывшего офицера. Не подведет!

А чуть ли не с первых дней перестройки, и с новой силой после начала реформ нас стали оттеснять, унижать. С нами перестали считаться, нам дали понять, что мы не нужны новому государству. Нас вместе с семьями и нашим горячим желанием послужить Родине бросали в открытое поле, в палатки, увольняли тысячами, нас бросили, наконец, в горнило гражданской войны...

Примерно так размышлял я в 1996 году... И если честно, в первые дни, когда убили моего Алексея, стиснув зубы, я проклинал не Арби Бараева и его головорезов, а Бориса Ельцина... Который не смог предпринять ничего разумного, имея все возможности, а развязал эту братоубийственную войну...

Я спрыгнул с брони, поприветствовал верующих. Завязался разговор. Паломники рассказали мне о легенде, связанной с Саясаном. Пророк Магомет якобы отправил одного из своих сыновей нести ислам на Кавказ и далее, сколько сил хватит. Посланник самого пророка устремился к Каспию и вверх по Волге... Был он очень стар и двигался пешим ходом.

Когда проходил Саясан, понял, что на много сил не хватит. Собрал обра-

щенных в новую веру и произнес: «Буду идти на Север ровно столько, на сколько жизни отмеряно... А обратно смогу прийти только до ваших мест. Здесь вы меня и похороните». Так и вышло. Добрел старец до Камы, прошел немного вдоль Волги, до Уральских гор не добрался, назад повернул.

С тех-то самых пор к святой могиле идут паломники, для них она, как Мекка... Днюют и ночуют в бараках или в соседнем ауле. Молятся о мире на своей земле.

Послушал я их душевный рассказ и отдал команду своему заместителю по тылу Пивоварову — доставить с базового лагеря КамАЗ с продуктами питания. Привезли то, что было в наличии — муку, перловку, гречку, немного тушенки, сухари. Разгрузили, накормили людей. Подошел местный мулла, спрашиваю у него: можно ли пройти посмотреть святое захоронение, поклониться которому приезжают мусульмане со всего мира? Проходите, говорит. Но я, предупреждаю, — христианин, православный, крест на мне... Ничего, поясняет мулла, любой человек посетить может. Наша вера крепкая, не боится она чужаков, надо только привести свои мысли в порядок...

Мулла провел меня в мавзолей сына пророка. И оказал мне особые почести. «Вы — первый русский офицер столь высокого ранга, который побывал в святом месте. С миром и уважением. Мы занесем вас в свои хроники, записки... Пусть все знают, что сюда приходил православный русский генерал Пуликовский, поклонился могиле сына пророка Магомета».

Мулла оказался очень приятным собеседником. Образованным и начитанным. С философским складом ума. Он располагал к себе. Видимо, и ему было интересно со мной беседовать. Он был в курсе и мирских дел. Он хорошо наслышан о той работе, которую мы вели с гражданским населением, со старейшинами сел.

Мы предлагали им мир, закрепленный специальными соглашениями. Шли в села и договаривались с авторитетными людьми не стрелять друг в друга. Мы давали гарантии не обстреливать их дома, не проводить зачистки, помогать всем, чем можем, а они брали на себя обязательства не пускать в свое село боевиков, держать свою молодежь в рамках закона. Именно с такими предложениями, с такой миссией мы и двигались по территории Чечни. И довольно успешно. Никто не хотел воевать, ни мы, ни они.

На прощание мулла Саясана произнес несколько добрых слов. Хотя вы пришли в нашу республику с оружием, но не по своей воле... Мы знаем, что вы хотите добиться доброго мира, встречаетесь с людьми, ведете переговоры... Вы потеряли здесь своего сына, но не озлобились... Вы с уважением посетили святое для каждого горца место... Со своей стороны мы будем просить истинно правоверных, всех священнослужителей, но прежде всего — Всевышнего, оберегать вас от пуль и снарядов, от осколков, от коварства и предательства... С этого дня даже шальная пуля на территории Чечни вас облетит стороной...

Я искренне поблагодарил муллу, но, честно говоря, не придавал его словам большого значения. Тем не менее, по возвращению на базу послал в Саясан еще один грузовик с продуктами, с просьбой передать в соседний аул. Там тоже люди.

Забегая вперед, могу сказать, что мулла слов на ветер не бросал... Спустя несколько дней мне пришлось со своей бронегруппой идти через Ножай-Юрт, а там, в клубе, как донесла разведка, сидели вооруженные люди... Впрочем, в Чечне все были вооружены, да не все были врагами. В нас никто не стрелял, хотя мы и предприняли все меры предосторожности. Потом мне

принесут радиоперехват — Масхадов спрашивал у командира отряда в Ножай-Юрте, почему не обстреляли колонну генерала Пуликовского? А тот отвечает, мол, команду открыть огонь он отдал, но люди стрелять отказались наотрез... Им из Саясана сообщили, что этого генерала трогать нельзя, его ни одна пуля все равно не достанет...

И все мои колонны, был я там или не был, проходили спокойно, ни разу не попали в засаду... Разумеется, основная причина, скорее всего в том, что у нас не было предателей. Пожалуй, наиболее опасное на войне именно предательство. Да и в мирной жизни хуже этого сыскать трудно.

И с местным населением работали не абы как, а по-человечески. Помогали, поддерживали, общались. Думали о жизни, о будущем. Не потому ли у меня до сих пор хорошие отношения со многими чеченцами, они мне письма писали и на Дальний Восток, и в Москву.

Встречаемся, как старые добрые знакомые. Приглашают в гости. Обычные чеченцы, с советскими добрыми корнями, с нашим великолепным образованием, с великой культурой, они и в Первую Чеченскую оставались людьми. Видели и правильно оценивали совершенно неприемлемую и словоохотливую мишуру в верхах, и в центре, и там, у них, понимали, что «и это пройдет...». Они с удовлетворением приветствовали приход к власти государственника и патриота Владимира Путина. Они развернули корабль республики и направили его верным курсом. Они вырастили и воспитали достойных детей, которые уверенно держат штурвал...

Этому небольшому гордому народу навязывали различные комплексы, чтобы вынудить его взяться за оружие... Один из них — природное умение воевать и побеждать. Им говорили вахабитские эмиссары, мол, один чеченец десятка русских стоит... Первая Чеченская все расставила по своим местам. Все сразу поняли, что такое война. Да и басенки про русских солдат поутихли.

Не могу не вспомнить один показательный эпизод той кампании. Как-то, во вторую, по-моему, нашу зиму, мне доложили — приехала журналистка из Петрозаводска, из Карелии. Чего она хочет? Сына повидать, был ответ. Солдатская мать, стало быть. Как она проехала сюда, ведь был строжайший приказ — никого не пускать... Но и то правда — мать есть мать, ни у кого не хватит духу отказать ей ни в чем, хоть в машину с боеприпасами, а возьмут, тем более — с обычным тыловым грузом.

Бросились искать парнишку, нет его нигде... Он, как оказалось, призван был из Карелии, но прошел учебку в Подмосковье, там его зачислили в полк, быстро сформированный в Московском военном округе. Люди в полку не успели как следует познакомиться друг с другом, у командиров взводов даже не было списков солдат... Что потом, кстати сказать, послужило предметом серьезного разбирательства. Но часть прибыла в Чечню, с корабля на бал... И сразу огневое столкновение.

Бой разгорелся на рассвете, в сплошном утреннем тумане. Тот паренек вырвался вперед и заплутал малость. Когда туман рассеялся, солдатик понял, что остался один... И что же? Не растерялся парень. Он, как выяснилось, воспитывался у деда-лесника, на кордоне в Карелии. Умел прекрасно ориентироваться на местности, в лесу такой не заблудится, не пропадет. А стрелял просто снайперски. Ловушки всякие там излаживал на совесть. Стал солдат воевать в одиночку, в надежде выйти-таки к своим рано и поздно.

То-то в последние дни пленные боевики рассказывали нам про какую-то неуловимую, нашу якобы, разведгруппу... Она, по их словам, нападала на их

отряды неожиданно, обстреливала прицельно и исчезала бесследно. Боевики даже имя дали ее командиру — Борз, мол, лютый. Что в переводе означает «волк».

Петрозаводский паренек в тылу матерых убийц такого шороху навел, что боевики стали стороной обходить южные окрестности Пригородного поселка, где он и обосновался. Днем прятался в лесу, умело заплетая следы на снежном покрове, а в сумерках выходил на настоящую охоту. Тогда же начинали движение и бандиты. Однажды он выследил их логово и точным выстрелом запустил в щель гранату из подствольника. Так все они там и остались. А в основном засадами изматывал противника. Заляжет где в лесочке, вблизи тропинки хоженной, и ждет часами. А как заприметит небритых, подпустит немного и короткими очередями нанесет ощутимый урон. А сам — живо наутек.

Нашли мы его через неделю. А он и не голоден особо, и ни одной у него царапины. Мы все были бесконечно рады такому исходу дела, представили его к ордену Мужества и передали счастливой маме...

Доблестно и грамотно воевали казаки. У нас был и казачий батальон, и казачьи роты. Эти славные воины сохранили нам жизни многих и многих безусых солдатиков. И сами они прошли войну с минимальными потерями. Служили они по контракту, одеты были в общевоинскую форму, но со своей атрибутикой. У них и атаман был свой, и кресты, и бурки, и шапки казачьи. Были они из Терского казачьего войска и наводили неподдельный ужас на врага.

Крепкая боевая дружба связала меня с генерал-лейтенантом Юрием Пивоваровым, заместителем командующего по тылу (после войны окончит Академию Генерального штаба), и полковником Евгением Авакумянцем, служил начальником штаба в нашей войсковой группировке. Пивоваров через несколько лет попадет и в 58-ю армию, которой будет командовать генерал Владимир Шаманов. Об Александре Лебеде Юрий Васильевич скажет с некоторой иронией: «Приехал в 96-м и сразу начал чинить разборки. Мол, никто не встретил его, и солдаты на блокпостах стоят небритые, как козлы... А не наши были армейцы, внутренние войска... Запомнились белые сорочки. Он привез их с собой, в тамошнюю-то пыль и грязь, видимо, не один десяток... Лучше бы сигарет солдатикам набрал. Потемнеет воротник от пыли и пота, снимают и выбрасывают...».

Мы с ним, с Пивоваровым, много горных селений объехали-обошли, на мушках нас не раз держали, через прицелы рассматривали. Сколько представлений на него отправлял лично, а дали чуток. Зандак, например, замирили без боя. А это — осиное гнездо «духов».

До нас не было в тех местах ни одного российского солдата. Поехали, как обычно — на БТРе, за нами идет БМП. Дорога по низине вьется, а селение наверху. Путь перекрыли человек сорок местных жителей — в основном женщины, старики. Кричат, припоминает Юрий Васильевич, ничего, мол, не надо, машут клюками, оскорбляют, разные нехорошие слова говорят.

Одним словом, не дают проехать машинам. Спускаемся с БТРа, подходим к людям. А Пивоваров глянул на село и видит: цепочка из черных шапочек по самому краю у въезда... Десятка три-четыре, наверняка, изготовились нас расстреливать. Говорит мне: глянь наверх. Гляжу... И подзываю главу администрации села, который ехал с нами на белой «Ниве» после предварительных переговоров в Ножай-Юрте. «Я отсюда не уйду, — говорю пожилому чеченцу. — Со мной артиллерийский корректировщик — наводчик огня.

Где мы находимся, он знает точно. И если со стороны села будет хоть один выстрел, через несколько минут вас всех здесь смешают с землей. Пусть вместе с нами...»

Глава отвечает: «Дайте мне двадцать минут». На своей машине, на белой «Ниве», поехал в село. И сразу черные шапочки исчезли с брустверов. Вернулся и говорит: «Пропустим только одну машину и БТР с охраной». «Хорошо, — отвечаю. — Едем с тобой». И сажусь в «Ниву» рядом с главой села, руки, как всегда в таких случаях, в карманах куртки. А Пивоваров остался один на БТРе. Думаю, рассказывал он позже, чего это я один поеду? Кричу старикам-чеченцам: «Садитесь, поедем вместе!». Первым дед такой рыжий, с клюкой в руках, полез на броню — помог ему подняться наверх.

«Нива» пошла в село, и БТР за ней. Мы едем, а народ вдоль дороги стоит и провозглашают и стар, и мал: «Аллах Акбар! Аллах Акбар!». А командир едет спокойно в настоящее осиное гнездо. Подъехали к школе, в ней и переговоры начались. Командир выступил со своей речью. Говорил, как всегда, без надрыва, просто и понятно, доходчиво объяснял условия договоренностей: вы, мол, не стреляете, и мы в вашу сторону ни одного выстрела не произведем. Уважаемые старики поддержали командира. Договор подписан всеми сторонами. Вышли на улицу, и глава администрации громко объявил всем собравшимся к школе жителям: «Мир! Мы подписали мир, и нас никто теперь не будет трогать! В нас не будут стрелять, и мы не будем стрелять!». Оружие начали сдавать. И когда стали возвращаться к себе, тот же рыжий старик вновь взобрался на броню и кричал, размахивая своей клюкой: «Мир! Мы едем с миром!». И никто уж не посылал нам проклятий, а черные шапочки растворились вовсе. Поладили с непримиримым селом...

Наши мирные походы в горы мы фиксировали на видео. У Юрия Васильевича сохранилось десятка полтора видеокассет с записями миротворческих действий.

Российские каналы, не говоря о заоубежных, такие ролики практически не показывали. А мы иногда просматриваем. Вот мы в селе Ножай-Юрт, в апреле 96-го. На сельской площади разноликая, пестро одетая толпа жителей окружила небольшую группу людей — всего три-четыре человека в гражданской одежде. Крайний слева — я: на столь привычном полевом камуфляже погоны с двумя большими звездами, на голове — генеральская фуражка с высокой тульей. Перед нами, в самом центре толпы, стол, за которым сидят два пожилых чеченца в высоких каракулевых шапках. На столешнице объектив видеокамеры высматривает машинописные листы бумаги с отпечатанным текстом.

Что-то убедительное говорит представитель республиканского правительства — мужчина средних лет в короткой дубленке. Жители, старики и молодые, женщины и дети, слушают внимательно. Заканчивая свою речь, он переходит на русский. Становится ясно, что здесь на площади собрались представители сел местного тейпа, и почти всех других сел остальных тейпов Ножай-Юртовского района.

После представителя правительства Чеченской республики слово предоставляют мне:

— Это протокол о мире, — обращаю их внимание на стол, где сидят два чеченца. — Протокол о прекращении всяких боевых действий на территории вашей администрации. Я надеюсь, что представители сел этого тейпа, в присутствии представителей всего района, подписав эти документы, с полной ответственностью взяли на себя обязательства не допускать впредь ни-

каких провокаций. И теперь здесь не будет ни одного выстрела, ни одной гибели, не дай Бог, любого человека. Я поставил свою подпись, и со стороны армии не будет противоправных действий. Правительство Чеченской республики, в лице своего представителя, тоже подписало этот протокол и обязуется, что с прекращением боевых действий в районе будет обеспечено финансирование, старики и инвалиды получают пенсии и пособия, появятся возможности для создания новых рабочих мест. То есть на территории района будет обеспечена нормальная государственная и местная власть. И больше разговоров на эту тему не будет. Если кто-то оружие не сдаст сейчас, то завтра-послезавтра отнесите его куда-нибудь в горы и закопайте глубже, чтобы оно там проржавело и стало негодным. Сейчас представители района считают, что оружия здесь нет. Но если оно у кого-то появится снова, то этот человек уже будет считаться уголовно наказуемым преступником — за хранение оружия. И если вдруг это оружие проявится где-нибудь и начнет стрелять, да кого-то, не дай Бог, убьет, то этот человек будет осужден за применение оружия. Вот в чем смысл нашего сегодняшнего разговора.

— Что мне представляется крайне важным? — продолжаю я. — Мы все разные люди, но верим в Бога. Верим в самое святое — в доброту, в любовь, в жизнь. Если будем этого придерживаться все, то и терпения у нас хватит, чтобы преодолеть накопившееся недоверие друг к другу. А жестокость — она ни к чему хорошему не приведет. Мы люди, и должны жить, как люди. Я хоть и русский по рождению, но мне пришлось жить и послужить в основном в других республиках — в Белоруссии, в Эстонии, в Туркмении, жил в детстве с родителями-военнослужащими в Казахстане. А сейчас здесь, на Северном Кавказе. Поэтому знаком с людьми самых разных национальностей. И когда приезжаешь на новое место, то первые встречи часто бывают немножко напряженными какими-то, ощущаешь иногда какое-то недопонимание с местным населением. А потом, когда ознакомишься с историей народа, с его культурой, познакомишься с людьми и поймешь, что все мы — земляки, на одной земле живем.

Так почему же мы должны убивать друг друга, когда лучше жить в мире и согласии? Ведь убивают не национальности, а наши общие враги людей всех национальностей, чеченцев и русских в том числе. А врагов этих надо нейтрализовать, чтобы их вообще не было, чтобы они не мешали людям жить в мире. Будем всем миром бороться за доброе, за самое святое в жизни каждого человека... Я так думаю: жизнь человеческая, она такая короткая. Какой-то миг — и нет человека. Человек живет в потомках своих. И что скажут дети, внуки, правнуки того же Дудаева? Ведь они его проклинать будут. Потому что люди его проклинают.

А ведь им, детям-правнукам, жить среди этих людей. И я уйду в свое время в мир иной — все там будем когда-нибудь. А у меня сын есть, у меня внуки есть. Они будут жить, а люди им станут говорить: ваш отец или дед был непорядочным человеком, нечестным, он был преступником, потому что убивал людей. Каково им потом станет жить после таких слов? Или хорошая слава останется о тебе, или плохая — очень это важно для каждого смертного. Так должна же остаться непременно только хорошая слава...

В тот же день пришлось давать интервью корреспонденту телевидения Краснодарского края и в нем, в частности, я пояснил, почему говорю с людьми этой измученной войной горной республики бесхитростно и просто, с упором на приоритеты общечеловеческих ценностей:

— В прошлом году здесь тоже проходили войска. Но было совсем другое

отношение к нам. Люди были напуганы всем. Они были запуганы боевиками, скорыми на расправу с теми чеченцами, которые стремятся с нами мирно сотрудничать. Боевики запугивают население и нами: мол, армия — это настоящий беспредел, что всех будут уничтожать. А мы приходим в село, приглашаем стариков, уважаемых людей, религиозных деятелей. Они подходят пешком или подъезжают на автобусах. Мы разъясняем на этих встречах, кто мы есть и зачем сюда пришли. Потом идем в школу или в администрацию, где есть помещение попросторнее, или на сельскую площадь, если погода хорошая. Сначала с опаской встречают. А потом, вникнув в смысл предлагаемых соглашений, в обязательства армии, правительства республики и свои собственные, у них сразу возникает вопрос: а какие гарантии? Вдруг какой-то выстрел все-таки произойдет? Если случится какая-то провокация, какой-то случайный выстрел, будем вместе с вами разбираться. Как уже было не раз. Ведь мы не ведем огонь сразу по селу, а идем к вам и вместе с вами разбираемся, что произошло и кто виновник. После таких разговоров в поселках, которые мы прошли, люди уже копошатся в земле — в садах и огородах.

Но это не сразу. Например, в этом селе, в котором мы только что подписали договор, на полях и огородах пока ни одного человека не видно. Они еще боятся. И бандитов и нас боятся. Тем более, что совсем недавно на этих сопках бои шли. Под гром пушек какие могут быть настроения, сами понимаете. И я всегда подчеркиваю на таких встречах, что наша армия всегда была, есть и будет армией освободительницей, защитницей народа. Вот в таком аспекте с людьми говоришь, и тогда диалог превращается в нормальную беседу, в которой и достигается взаимопонимание...

Война сильно подорвала экономику республики. В том же Саясане были на обеде у главы сельской администрации. Дом у него большой, обстановка богатая, и принимали радушно, но чувствовалось какое-то смущение хозяев. Может, по причине крайней скромности их угощения. И не только: весь дом с хорошим убранством буквально пропитался прогорклым запахом бараньего жира, который чеченцы использовали для освещения жилья по ночам. Ведь ни электричества, ни керосина, ни свечей не было давно...

Установлением мира занимались в Чечне армейские войска в то время, когда Грозный охраняла в основном милиция... Кстати, в Грозном боевики, с присущим им тупым упрямством, как минимум трижды наступали на собственные грабли, попадая в прочную блокаду федеральных войск. И, наверное, было бы просто неразумно не воспользоваться таким благоприятным для нас обстоятельством. Что и случилось, в конце концов, годы спустя. Бывший начальник штаба Объединенной группы войск в лето 96-го Евгений Александрович Авакумьянц, нисколько не умаляя значения той, не завершенной в августе операции, считает, что несколькими месяцами ранее, а именно весной того же года, было искусно «выстроено» через всю Чечню другое «кольцо» — миротворческое. И эффект той весенней широкомасштабной операции 96-го года, без всякого сомнения, сыграл положительную роль в будущем. И позволил успешно закончить чеченскую войну.

«Августовское «кольцо» вокруг Грозного появилось позже, — рассказывал Евгений Александрович. — Но куда раньше Анатолий Васильевич Квашнин поставил задачу замкнуть кольцо через всю Чечню, тогда наша войсковая маневренная группа с февраля по апрель 96-го года прошла от Шелковской станицы через Дагестан, Ножай-Юртовский и Веденский районы и до самого Бамута. Мы «прогулялись» по осиным гнездам, где никогда прежде не

ступала нога ни одного федерального солдата. Эта операция, пожалуй, была более сильная. До того мы воевали в основном на равнине. А когда совались в предгорья, получали жесткий отпор и отходили.

Это были именно горные районы. Вот где уж точно было множество ярких моментов, которые могут достойно характеризовать нашего командующего как грамотного и умелого войскового командира и как мудрого, дальновидного человека. Импонировало, конечно, его доверие к подчиненным. Когда он видел, что у них получается что-то неплохо, он всеми силами способствовал развитию полученного успеха. И сам часто подсказывал интересные ходы, которые и для меня были неожиданными. К примеру, в одном Ножай-Юртовском районе было 52 населенных пункта. Я планирую операцию: этот пункт, понятно, надо уничтожить, потому что он стоит на развилке, и от него два направления расходятся. Справа в ущелье Шаманов рубится, здесь — мы. А левый фланг оказывается совсем открытым, и надо с этой стороны как-то закрываться. Далее: в районе всего этих населенных пунктов 52. Это значит, что их надо 52 раза окружить, 52 раза блокировать, 52 раза разоружить, 52 раза подписать соглашения. А сроки...

Столько времени нам никто не даст. Но он мне совсем другое подсказывает. Говорит: «Я встречался со многими старейшинами из лояльных нам сел, и так думаю: давай пойдем от тейпов. В каждом тейпе в среднем по пять сел. С одним тейпом договоришься, и все пять сел подпишут соглашения». Так он сказал, и совершенно просто решил этот довольно большой вопрос. Мы выбрали ключевые населенные пункты и довольно быстро получили контроль, в нашем понимании — мир, над большей частью территории.

Менталитет жителей горных сел, надо это знать, сильно отличается от менталитета чеченцев, живущих в городах. Социальные отношения у них строятся по принципу усеченной пирамиды: не должно быть бедных и не должно быть очень богатых. И если этот принцип нарушался, и какой-нибудь отдельный тейп начинал не в меру богатеть и потому довлеть над другими, соседние тейпы принимали любые меры, чтобы восстановить статус кво. И все становилось ровненько. Этот принцип в горах очень проповедовался. Они не курили. А исторические корни их связывали с легендарным Шамилем.

Приходилось встречаться и с полевыми командирами: обменивались пленными, телами убитых. Без этого никак не обходилось — война это не только стрельба. Оказывали помощь семьям погибших, хотя это были семьи боевиков, воевавших с нами в Грозном. Со старейшинами тесно общались. Вот такая была совсем вроде бы не свойственная армии работа.

Как покорялся мир? Английский метод: идет солдат, за ним купец, а потом поп. Либо наоборот. В Латинской Америке — там без солдат обошлось: шел купец и поп следом. Мы раздавали пайки, выпекали хлеб и развозили его нуждающимся... Сам Константин Борисович готовил эти поездки в горные села. Внешне, может, покажется просто, — сели и поехали. Но этому предшествовала большая работа. Сначала разведка, потом осмотр населенных пунктов. Создавались резервные группы, чтобы в случае чего его оттуда вытащить. Ведь он выезжал на переговоры исключительно с минимумом охраны: БТР, один-два офицера сопровождения, столько же солдат. Практически все умещались на броне. А каждая встреча в горном селе и митинг там в любой момент могли перерасти в блокирование этой маленькой группы. Так, кстати, и было несколько раз — и в Зандаке, и в Гендергеке, и в Энгеное. Поэтому, когда он один там внутри был, страховала боевая группа,

готовая прийти на помощь, и мы — внешнее кольцо со всеми необходимыми огневыми средствами. А провели встречу, и спокойно разъехались. Вот такая война была необычная...

Многие тогда говорили о любви к Родине, разные красивые слова произносили — к месту и не очень. Но чтобы вот так сына потерять... Не увести его от этой войны, не спрятать под отцовское крылышко, хотя хорошо знал, что сын на одном из самых опасных направлений. И Вере Ивановне даже словом не обмолвился об этом — берег, конечно, материнское сердце. И это еще больше расположило нас к нему, к его семье. Поэтому и уважение было, и любовь в некотором роде братская, и доверие было большое.

Да, мы друг другу доверяли полностью, а это очень важно в управлении войсками в боевой обстановке. Как обычно бывает в армии? Заместитель командующего по вооружению всегда не любит заместителя командующего по тылу. Почему? Да потому что он, вооруженец, отвечает как бы за успешное ведение военных действий, а всеми необходимыми припасами для этого обеспечивает, конечно же, зам по тылу. Он же подвозит и топливо, без которого ни одна боевая машина с места не сдвинется. А меня, начальника штаба, и вовсе никто не любит, потому что я в каждую дырку свой нос вынужден совать, надо же регулировать и направлять действия всех служб и подразделений. И в этих условиях доверие друг к другу просто необходимо: когда ты убежден в надежности своих товарищей, то и сам ответственной исполняешь свои обязанности, стараешься не подвести ненароком никого. У нас, например, было именно так. Что такое 50 километров по горам, где все занято боевиками? А надо подвезти боеприпасы, топливо, продовольствие и т.д. А мы просто одну ниточку протащили и как-то днем ее удерживаем, чтобы лишний раз проехать в Хасавюрт, заправиться там и привезти необходимое. Обычно для этого приходится часть подразделений разворачивать и проводить целую группировку, чтобы привезти или отвезти кого-то. У нас, кстати, непобитый рекорд был: 112 проводок колонн без единого подрыва и потерь. Шаманов присылал своих офицеров к нам, чтоб мы им рассказали, как это делаем...

Летом, когда я находился в отпуске, генерала Пуликовского, уже утвержденного в должности заместителя командующего войсками Северо-Кавказского военного округа, назначают и командующим всей Объединенной группой войск в Чеченской республике. Он вызвал меня из отпуска к себе, когда город был уже захвачен — с 8 по 9 августа.

Боевики подготовили четкую операцию и захватили большой городской район, расстреляли Дом правительства. Была плотно блокирована оперативная группа МВД, которой командовал генерал-полковник Голубец — зажали их на стадионе в центре города. Так что вся Затеречная часть города оказалась под контролем боевиков. Это случилось неожиданно. В городе были только вкрапления блокпостов МВД, а армия в это время стояла базовыми лагерями за пределами Грозного, а здесь, на аэродромах Северный и в Ханкале, находилась одна 205-я бригада.

Удалось оперативно вытащить из Шали 166-ю бригаду, и Пуликовский утвердил план блокады города. Предусматривалось создать кольцо из 42 опорных пунктов, пространство между которыми хорошо простреливалось и прикрывалось минными полями. Приезд Лебеда, как известно, в корне поменял ситуацию. Пуликовский ушел, назначенный вместо него Тихомиров почему-то тут же уволил командующего группировкой Минобороны Елгунова — якобы за плохую оборону города. И я остался один в двух лицах

— за командира и за начальника штаба. Пришлось заниматься разблокированием города, выводить группировки. Вел себя Александр Иванович как-то странно. Мы никогда не знали точно, когда секретарь Совбеза прилетит к нам, и получали эту информацию в основном от чеченского коменданта. И залетал он как-то интересно: сначала садился или у Аушева в Ингушетии, или в станице Новоланской, а потом к нам долетал. А то вообще прилетал вначале в Новые Атаги, где находился представитель Масхадова. Видимо, наше мнение по поводу ситуации в Грозном его несколько не интересовало...

В течение трех последующих лет в Чечне, как известно, свили свои гнезда ваххабитские комиссары, туда пошли большие деньги, создавались базы. Это уже были настоящие укрепленные районы, обеспеченные электроэнергией и собственной водой, с полевыми аэродромами, принимающие транспортные и пассажирские самолеты. Электроэнергией они обеспечивали себя за счет отбора с ЛЭП, идущих из России в Азербайджан и Армению. Были интересные участки горных дорог, где через каждые сто метров в устроенных штольнях стояла инженерная техника. С этим мы столкнулись еще в первую чеченскую войну. По идее, вроде бы с горными дорогами не должно быть проблем: два штурмовика отработали — и не пройдешь, не проедешь. А они через четыре часа снова восстанавливали проезд. Как? А из штолен выползали эти «черви», как мы прозвали все эти бульдозеры и грейдеры, сбрасывали камни и щебенку в ущелье, и порядок. Но у нас было очень хорошее взаимодействие с соседними группировками Шаманова и Трошева. Мы всегда помогали друг другу, когда надо было, обменивались информацией. Одним словом, взаимовыручка была в норме. Не было у нас дурного соперничества друг с другом. Способствовал этому и авторитет Пуликовского, которого уважали в войсках, да и Квашнин очень жестко пресекал даже малейшие признаки нездорового соперничества или попыток утаить от соседа какую-то полезную информацию...

Кстати, эта привычка доверять и помогать другу уже, как говорится, в крови у нас, воевавших рядом, осталась, — подчеркивал Евгений Александрович. — Мы с Геннадием Николаевичем Трошевым, например, в Краснодаре в одном доме жили, соседи.

Когда началась вторая чеченская война, он как-то приехал домой на побывку, и мы встретились с ним на лестничной площадке. Он и спрашивает: «Вы Харачойский брали?». Да, говорю, мы там воевали. «Какие там нюансы могут быть?». А нюанс один, говорю: левая сторона — проход, с правой стороны — точки ПВО. А наверху — или аэродром, или база будет — все надо обрабатывать. «Спасибо», говорит.

Пожали руки и расстались. А месяца через полтора встречаемся, Геннадий Николаевич опять благодарит: «Спасибо, у них там на одном из озер был даже ледовый аэродром». А там раньше, как известно, находилась высокогорная спортивная база по подготовке гребцов: комплекс зданий и большое зеркало воды. Боевики превратили это озеро в зимний аэродром. Туда регулярно приходили АН-26. Проводилась, так сказать, плановая замена боевиков: строго 45 дней отвоевал моджахед и полетел на отдых в Афганистан — без срывов, четко. Так что в горном и предгорном районах у боевиков была целая система укреплений. Все у них там было под контролем, и туда федеральные войска не заходили. Только наша войсковая маневренная группа в 96-м посетила Ножай-Юртовский район, где находятся те самые населенные пункты Саясан, Зандак, и именно там Константин Борисович про-

явил максимум дипломатии в налаживании взаимоотношений с горцами. Мы тогда набирали за несколько дней столько трофеев и сданного населением оружия, сколько было во всей нашей войсковой группировке...».

Такой вот искренний рассказ моего боевого товарища и отменного начштаба Евгения Александровича Авакумьянца. На одной из видеокассет из архива Юрия Васильевича Пивоварова и запечатлены некоторые такие моменты. Вот на сельской площади идет митинг жителей, рядом с толпой громоздится приличная кучка уже никому не нужного стрелкового оружия. В основном это автоматы, «мухи», много и гладкоствольных охотничьих ружей. Просматриваются и старинные, может, даже кремневые. Или другие кадры: на зеленой траве — горы всякого оружия и самых разных боеприпасов к нему. «Калашниковы», крупнокалиберные пулеметы, с рожковыми магазинами и маленькие, кустарного производства автоматы, видимо, под патрон к пистолету Макарова. Тут же ящики со снарядами для пушек и минометов, с какими-то очень серьезными минами, стоящими на вооружении нашей армии, но которые не рекомендуется лишний раз трогать даже тогда, когда они находятся в заводской упаковке. Рядом — цинки с патронами, ящики с взрывателями для фугасов, ручные гранаты «лимонки» — оборонительные и наступательные, абсолютно новенькие радиостанции, которые устанавливаются обычно на командирские танки. И все это в аккуратной заводской упаковке. Среди этих смертоносных сокровищ полковник Авакумьянец, молодой и красивый, на целый десяток лет моложе, дает пояснения присутствующим журналистам. Он говорит, что это взято ротой спецназа со склада оружия боевиков в районе Биноя-Ведено, что убедительно доказывает: горная территория буквально нашпигована оружием.

Глава 20. ВОЙНА ЭКЗАМЕНОВАЛА И ВЫСТАВЛЯЛА СУРОВЫЕ ОЦЕНКИ

На войне как на войне: все учесть, видно, просто невозможно. Так было, к сожалению, и здесь, в Чечне: просчеты большие и маленькие... Тогда, особенно в первые дни боев, я считал, что просчетов вообще никаких не было. Но они, конечно, были, большие и мелкие. Если взять из крупных... Почему мы Грозный в декабре 94-го оставили с южной стороны открытым совершенно? Наступали с запада, севера и востока, а южный сектор, почти четверть всего периметра города, оказался открытым — иди хоть до Кавказского хребта, хоть в Дагестан, хоть в Ростов, хоть в Грузию или Азербайджан и далее — куда угодно. А я об этом узнал, когда мы уже половину Грозного освободили. Оказывается, была гуманная идея. Но для нас она обернулась очень большими потерями. Если бы город был сразу же окружен плотным кольцом, а такие возможности были, можно было и не соваться в него совсем: боевики бы не выдержали блокады. Военные так бы и поступили при планировании операции. Но политики заставили их сделать иначе. И это была самая грубая ошибка. Я убежден... Мы могли в разы сократить наши потери, если бы получили ясный приказ уничтожить сепаратистов и террористов.

Ошибок поменьше вообще было море. Например, начальник Главного медицинского управления Вооруженных Сил написал приказ, чтобы в каждой роте непременно был врач. Уважаемый, умный руководитель, и не со

зла и не во вред нам он написал такой приказ, а думал, наверняка, чтоб было по возможности лучше: мол, офицер-врач сможет оперативно оказывать раненым квалифицированную помощь. Но санитаров в ротах не было. Не учли, выходит, опыт прошлых войн. А они должны были быть: ранило бойца, и его надо оперативно вытащить куда-нибудь за угол, где в затишке врач окажет ему первую помощь. И вышло, что врачи-офицеры стали на самом деле выполнять роль санитаров. Ведь они — медики, бросаются на помощь раненым, а их убивают.

Они, горемычные, повязки с красными крестами повязали: думали, что какие-то международные нормы будут соблюдаться. А снайпер как увидит его с такой повязкой, и сразу — шелк и шелк. А врачи и не прятались. Как мне объяснить это родственникам? У меня погиб начальник медицинской службы ракетной бригады. Майор. Эта бригада не участвовала в боевых действиях, она в Краснодаре как стояла, так и оставалась там. А врачей не хватало, чтоб в каждую роту направить. Вот и из ракетной бригады взяли. И он погиб. Его мать и жена до сих пор меня спрашивают: как он там оказался? Как, если бригада оставалась в Краснодаре, а он участвовал в бою за Грозный. Как им объяснить, что это был не мой приказ — загнать в каждую роту по офицеру-врачу?

Ведь их не хватало на каждую роту. Даже стоматологов брали. И вот такой стоматолог приходит врачом в роту и потом с солдатами идет в бой — с красным крестом на рукаве...

Бестолковых приказов сверху было в то время достаточно. Например, приказ не направлять в действующие войска людей «кавказской национальности». А таких солдат в каждом батальоне на Северном Кавказе было до 40 процентов. Их деликатно изымали из сработавшихся уже экипажей, и на их место сажали других — «славянских национальностей». Но это уже не тот был экипаж или расчет, и в бой они шли, фактически даже не зная друг друга. Кто-то там, наверху, отдавал такие «мудрые» приказы, посылал в войска письменные шифровки.

Или другой пример. Стоим на перевале в декабре — страшный мороз. Один солдат обморозился, другой, третий. Даю команду: срочно привезти теплое белье, свитера, комбинезоны. Через некоторое время спрашиваю: привезли? Да, отвечают. На другой день пошел по окопам и вижу: солдаты опять в тонком белье, камуфляж, комбинезоны летние сверху. Вызываю начальника вещевого службы: в чем дело? Оказывается, зимнее взято из НЗ, а распечатать НЗ не могут: приказ нужен... Да отдайте одежду людям, говорю. Они ведь в боевой обстановке, обмораживаются. Нельзя, говорят. Приказа на снятие с НЗ не было. Приказ идти в бой был, а на снятие теплых вещей с НЗ — нет. Стоят КамАЗы, набитые теплыми вещами, а никто их выдать не может без приказа сверху...

Конечно, в Москве в это время, пожалуй, тепло. А война, думали, через два-три дня закончится вообще...

Не могу не привести еще одну выдержку из рассказа полковника *Евгения Авакумянца*, моего начальника штаба. Поскольку он на фактическом материале проливает некоторый свет на вопросы справедливости и денежного содержания, в частности, в боевых частях, дабы читатель ясно понимал ситуацию и не попадался на удочку некоторых СМИ, которые ярко живописали наши якобы распухшие от купюр карманы:

«Приходилось порой мне, начальнику штаба, отдавать собственное удостоверение боевикам и идти к ним на встречу. Однажды прапорщик россий-

ских войск угнал в чеченский поселок бензовоз с топливом — продавать, конечно. Были и среди нас подлецы...

Однако в тот раз с этим вором был невинный человек — солдат, водитель и подчиненный, естественно, этого прапорщика. Местный житель приходит оттуда и отдает нам военный билет прапорщика. Я отдаю взамен свое удостоверение полковника и в 16.00 назначаю встречу с боевиками на мосту в районе села Комсомольское. Пытался, конечно, как-то оградить себя, прикрыть, но бесполезно — все видно, никого с собой не приведешь. Попросил только, чтоб и с их стороны на встрече был минимум людей. Со мной был командир части, в которой служил этот прапор. Подполковник.

Приехал на встречу командир местной боевой группы, и с ним старейшина. И это хорошо, думаю. Привели и прапорщика с собой. Договорились очень просто и быстро. Говорю боевику: машину взял — твой трофей. Но номера с машины отдавай. Солдата тоже сюда — однозначно и без разговоров, вместе с автоматом и всем, что при нем было. А прапорщика я бы вам оставил, да не могу — судить надо вора.

Так и поладили, и удостоверение мне вернули. Когда этого прапорщика тряхнули, то у него все карманы набиты долларами, да в комнате общежития, где он жил, тысяч 20 нашли... К чему я это вспомнил?

А мы ведь и зарплату не получали даже. И что совсем никуда не годится — когда мы первый раз были в Грозном в конце 94-го — начале 95-го, то у нас у всех высчитали за питание. Это вопрос о том, сколько мы заработали на той войне. Начальник финансовой службы говорит: вот с такого-то числа, как ты сел в эшелон, и по такое-то ты был на котловом довольствии группировки. Значит, тебе, как на учениях, положен паек и вычет с тебя. Хорошенькие учения, не правда ли? Но потом «поправили» дело: когда второй раз были, около четырех месяцев, тогда у нас командировочные появились — по 15 рублей в день, и за питание перестали высчитывать. Это в то время, когда у нас зарплата была миллион двести. До деноминации. А в последний наш заход, в 96-м, мы вообще «крутые» были: командировочные стали 60 рублей. Что никого не настраивало на оптимистический лад.

Во вторую войну, правда, стали платить по 861 рублю в сутки. И все жены офицеров штаба, бывшие военнослужащими, тоже по приказу получали такие же суточные, будто бы находились в действующих частях. Но никто из них, понятно, и близко не был.

Обычно такие командировки отмечает начальник штаба группировки. В первую войну такого не водилось, и у меня, например, даже в мыслях не было, что моя жена, прапорщик связи в штабе корпуса, по приказу будет якобы находиться в группировке. А во вторую войну такое уже стало в порядке вещей.

Были офицеры, которые просто отказывались ехать в Чечню. Отговаривались: мол, семья, дети, боюсь за них. И они продолжали служить. А у меня что — семья на Луне? Боишься — пиши рапорт. Часть офицеров, таким макаром, никогда не была в Чечне, а когда началось награждение, то они каким-то образом попали в списки. Это, считаю, непорядочно.

Примеры разные были... Когда мы начали второй раз формировать 131-ю бригаду, встал вопрос: пойдут ли в нее офицеры? И как поведет себя военный городок, где она базировалась? Там компактное проживание. Вот, допустим, 15 семей офицерских на одной лестничной клетке, в 12 из них мужья погибли в Грозном, а из трех последних мужья должны идти снова в бой. И вот в городок, где еще идут похороны погибших, мы с Пуликовским при-

ехали за пополнением. Как это выглядело? Очень тяжело было морально. Но что примечательно: в бригаде не было ни одного отказа. А в штабе корпуса опять половина офицеров отказалась ехать. И — все сошло. Это мне очень не нравилось, и я открыто высказывал свое отношение к таким офицерам. Я настаивал: давайте отделим мух от котлет. Те, которые едут на войну, — офицеры, а которые отказываются — пусть пишут рапорты. Я по три месяца в командировке, на войне, а мне звонят из штаба корпуса: может, еще останешься? Я останусь, могу вообще оттуда не вылезать. Но когда возвращаешься в корпус, все штатные места уже заняты теми, кто отказался ехать в Чечню. А тебе и места нет в штате: там, оказывается, сидят другие «герои». Мы не тщеславные, но справедливость должна быть какая-то.

Была и утечка информации. В основном, в нижнем звене и в базовых лагерях, когда стояли рядом с населением. Ведь, как бы там ни было, но приходится общаться с местными людьми. И в разговорах с жителями сел ненароком и проскальзывала информация. Именно по этой причине были расстреляны войсковые колонны, погибли люди, о чем общественность осведомлена. У нас, кстати, все колонны прошли благополучно... Прямого предательства было мало. В нашей группе вообще такого не было, слава Богу. Слышал, что был арестован заместитель начальника артиллерии одной из частей: он вводил какие-то ошибки в координаты целей и какую-то информацию сбрасывал. Но его оперативно вытащили оттуда. Оказалось: боевики угрожали его семье, проживающей во Владикавказе, если он не пойдет на сделку.

А был у нас и геройский майор — Волгоградского корпуса, командир батареи «Ураган». Это мощное оружие: ракеты летят до 37 километров. Установки залпового огня, есть для них и фугасы. Но главная их задача — минирование. Дистанционное минирование: разбрасывает батарея такие «листочки», и сразу весь фланг закрыт. Это просто здорово. Так вот, к командиру на погрузке в Волгограде подошли и сказали: если ты хоть раз стрельнешь в Чечне, то дочку и жену не увидишь никогда. Но он не только погрузился в эшелон, не только отправился на войну, он и доложил командованию об этом случае, и потом шуровал этот «Ураган» очень даже здорово. Насколько я знаю, у него и жена жива, и дочка тоже. Он не побоялся и поехал. К наградам представлялся...

Из армии я ушел в 98-м. До этого времени много чего произошло. На меня тоже было заведено три дела. Амнистия пришла боевикам на шесть месяцев раньше, чем нам. Такой была оценка наших боевых трудов. Да и обстановка тогда была не в пользу армии: страна эту войну очень даже не поддерживала.

Поэтому уволенные из армии офицеры самостоятельно искали свою нишу в гражданской жизни. Главком сухопутных войск Семенов — он сам карачаевец, жена у него чеченка. Он, конечно, хорошо понимал всю опасность кавказских батальонов, понимал, как трудно будет потом успокоить всех. И, видно, сам по себе принял такое решение — не поддерживать эту войну.

Но я этого не понимаю. Если человек в погонах, если ты на государственной службе, то уйди, скажи, что не можешь быть главкомом сухопутных войск при таких обстоятельствах. Напиши рапорт и уходи. А дальше уж стой с плакатом и нас осуждай. Ну, нет: зачем же такие блага, «автоматом» положенные при такой высокой должности, отдавать кому-то за здорово живешь? И в Минобороны было такое же отношение. Кроме министра и начальника Генштаба мы никого и не видели. Зато мы видели, как к нам относятся в министерстве, как мы плохо обеспечены.

Если в первый период мы свои части корпуса обеспечивали с собственных складов в Майкопе и Краснодаре, и особых проблем не было, то в дальнейшем, когда я был в 96-м в Объединенной группе войск, стало гораздо хуже. У меня, например, не было осветительных мин к 82-миллиметровому миномету. Из Читы привезли 450 штук — ближе не оказалось, и я их делил поштучно. Приходилось в минометные батареи 82 мм вводить по одному миномету 100 мм, потому что только на него были осветительные мины. А так нечем было ночью освещать местность. Не хватало снарядов для самоходных гаубиц, наиболее эффективных артиллерийских орудий в горных условиях. Вечно не хватало боеприпасов для авиации. Применяли установки залпового огня «Ураган» — очень хорошая система для дистанционного минирования. Особенно в горах, когда фланги открыты и нечем их прикрывать. Но опять незадача. Я как-то дистанционно минировался в Ножай-Юртовском районе — подал заявку, полетели туда «сезары», засыпали все. Но в последующем ни чеченцы не могли туда сунуться, ни мы сами, потому как эти мины не самоликвидируются в назначенное время: по маркировке видно, что все сроки их использования давно вышли. И технику приходилось брать только ту, для которой снаряды были в наличии. Так мы и воевали, нуждаясь во всем.

После службы пошел работать. Сам себе придумал фирму — оружейную. Охотничье, гражданское оружие. Мне это нравилось. И было жутко обидно, что Совбез продолжал проводить дознание. Обвиняли нас в том, что мы якобы специально сдавали город, чуть ли не за деньги. Прокуратура постоянно дергала, три раза ездил в Ростов. То медаль придет или какая другая награда, и тут же вызов в прокуратуру. Понял, что никому не нужен наш опыт...

В военном городке в Майкопе сооружен мемориальный комплекс в память о подвиге Майкопской 131-й бригады. Каждый год 2 января мы все собираемся там вместе с Пуликовским — до сих пор идет искупление за тот первый бой. Один раз там побываешь и все поймешь. И этим своим гражданским поступком нам Константин Борисович по-прежнему особенно импонирует. Он туда приезжает не только в память о своем сыне, со всеми другими людьми искренне разделяет свою скорбь о погибших. Едет каждый год, хотя прекрасно знает, что, матери и жены погибших ребят, может быть, и видеть-то нас не хотят. И это понятно, потому что ничего не сможешь сказать им оправдательного, и ни в чем не убедишь матерей, пребывающих в своем вечном безутешном горе. Они много раз ездили в Чечню, шли туда, куда и наши-то войска не доходили, шли в самое логово к бандюкам, искали своих и чужих, в том числе и погибших солдат. Ведь в начале, когда мы сразу потеряли столько людей, мы даже сбор убитых не сумели организовать толком. Некоторые долго не значились даже среди раненых и пленных, мы потом находили их даже с помощью боевиков, которые участвовали в их расстреле. Например, командир артиллерии бригады полковник Сашин — его не было ни среди убитых, ни среди раненых, ни среди пленных. Семья — двое сыновей, оба офицеры.

Как это — пропал без вести? В один из моментов «ни мира, ни войны» мы с группой офицеров дошли до высшего руководства боевиков, два раза встречались в Хурчелое с Хаттабом. И нашли, в конце концов, тех боевиков, которые расстреливали группу наших пленных, в которой находился и полковник Сашин. Поехали в Грозный, на тот товарный двор железнодорожной

станции, и нам показали ту проклятую яму, где они стояли. Нашли и того, кто лично расстреливал пленных. Но там уже ничего нельзя было найти, поскольку туда попало несколько бомб и снарядов.

Мемориальный комплекс в Майкопе командование бригады начало возводить с самого начала. Две подбитые машины, участвовавшие в том бою, мы забрали с улиц Грозного, чтобы поставить на постаменты. Газ подвели для Вечного Огня, начали строить часовенку. Сейчас это хороший, вполне достойный комплекс. И вот теперь, каждый год после той трагической новогодней ночи, мы вместе с генералом Пуликовским приезжаем туда. Приходит правительство Адыгеи, представители Краснодарского края, приходят муфтий и наш православный священник, офицеры, прапорщики, жены погибших офицеров, матери солдат, родственники. Сначала — большой митинг, на котором зачитываются все 212 фамилий погибших, возлагаются цветы. В гарнизонной столовой проводится поминальный обед...».

Глава 21. МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА...

О наградах бойцам и офицерам разговор особый. Честное слово, складывается впечатление, что кто-то там, в тиши кремлевских кабинетов просто трясется злым Кощеем над боевыми наградами, и каждый раз как от сердца своего отрывает он каждую медальку или орден, чтобы вручить их заслуженному воину, который самоотверженно сражался с бандитами.

Взять того же полковника Ивана Савина — командира Майкопской бригады. Я рассказывал о нем, но повторяю. Он героически погиб, и его посмертно представили к званию Героя России. Но указа не последовало: погибшего комбрига обвинили в неоправданно больших потерях. Причем наша пресса хорошо постаралась-поспособствовала. Да, бригада понесла большие потери, и сам комбриг сложил свою голову. Но именно последний бой офицера Ивана Савина позволил другим армейским частям с меньшими потерями войти в Грозный и занять его. Ивана обвинили в том, что он плохо воевал, и задержали представление к награде. Пришлось мне десять лет доказывать, что он и его бригада совершили по-настоящему героический подвиг. Поднимал все приказы, другие материалы. И в 2005 году, когда я обратился с просьбой к самому президенту Владимиру Владимировичу Путину, комиссия провела расследование. Мы представили все документы, только после этого, наконец, признали, что полковник Иван Савин действительно воевал героически. Правда восторжествовала!

Обходили наградами всех, скажу я вам. Был у меня командир взвода лейтенант Васильев. Я бы может никогда и не знал этого лейтенанта, но помогли обстоятельства. Он учился с моим сыном Алешей в одном училище, а служить попал ко мне. Я как-то с офицерами проверял его роту, он подошел ко мне, поздоровался и сказал об этом. Так и познакомились.

Тогда и война-то не начиналась, и сын был жив. А когда готовились к вводу в Чечню, у меня забрали танковую роту в полном составе. Я отдал эти танки вместе с экипажами, и они вернулись только месяца через два. На эти десять танков откуда-то с базы хранения привезли и поставили минные тралы — такие навесные катки. Танки-тральщики роздали во все колонны, которые заходили в Грозный: во главе каждой колонны шел танк с тралом. Один тральщик и мне вернули, и оказалось, что им командует тот самый мой знакомый Васильев, но уже старший лейтенант.

Мы поставили его впереди колонны. Вечером, накануне вступления в город, я объехал колонну и увидел этого офицера. «О, — говорю, — повезло: ты поведешь колонну. Готов? Ведь первым идешь. Мины минами, но первым можешь и снаряд получить, и пулю, и гранату». А он отвечает: «Готов, товарищ генерал! Все нормально».

И в самом деле, получилось так, как я и говорил: когда мы к окраинам Грозного подошли, он шел первым и первым же получил гранату. Ударила она в подкрылок танка, скользнула по катку и взорвалась. Броню она не прожгла, но экипаж получил контузию, прямо очумелые из танка выбрались. И вот я его представил к медали «За отвагу». Он ее как-то сразу и получил — прямо там через месяц я ему и вручил.

Но танк-то с тралом у меня всего один. Оклемались ребята немного, спрашиваю: «Как самочувствие?». Отвечают: «Нормально!». И снова надо идти, и они опять первые. Уже в горах он тоже первым заходит в ущелье и снова принимает гранату на себя. Живой остается. Опять представляю к награде. И сколько потом ни посылал представлений на него, ни черта, все возвращались обратно. Я доказываю: он постоянно в бою, все время впереди. Так и не удалось еще раз поощрить боевого парня. Отвечают: он уже награжден. Больше ему как бы и не положено. Кем? После войны я его встретил, спрашиваю: «Получил ты еще какую-нибудь награду?». «Нет, — отвечает, — как вы вручили мне медаль, так и все». Обидно, конечно, но и такое было...

Какие могут быть комментарии? Услышав подобное, остается руками в недоумении развести...

Да, скажет позже Герой России и мой друг Владимир Шаманов, практику представления к государственным наградам, которая в свое время сложилась, надо менять. Не нужно жалеть добрых и точных слов, как это делали в русской армии XIX века... Когда читаешь представления, узнаешь, за что получали награды военнослужащие... Прежде всего, конечно, я имею в виду орден Святого Георгия Победоносца. Читаешь и мурашки по коже бегут... И что в наши дни?.. Я видел представления на полковника запаса Плохих, ныне уже покойного (умер в прошлом году), который был представлен к званию Героя Советского Союза. Он командовал десантно-штурмовой бригадой в Афганистане.

Там лично рукой Шкадова, в то время начальника главного управления кадров, было написано «слишком много десантников»... И фамилия зачеркнута.

Как же находят такие аргументы наши начальники? Должен признать, что, к глубокому сожалению, подобная практика процветает и сегодня. Она, к тому же, еще более изощренная и усугубленная. Решают не те, кто своими глазами все видит на поле боя и оценивает ситуацию, а посаженные в высокие кабинеты чиновники — признавать подвиги по плану или по разнарядке?.. В кадровых органах и других инстанциях. К сожалению, мы сами свой же опыт забыли и растоптали.

У нас все знают, что какой-нибудь певце еще только 60 лет, а какому-то там уже 29... Об этом трещат на каждом углу, а что за те или иные подвиги присваивается звание Героя России, тем более посмертно зачастую, осведомлены единицы в узконаправленном коллективе. Поэтому как президент Российской ассоциации Героев могу сказать, за последние годы делаем немало, в том числе, добились учреждения Дня воинской славы для Героев Отечества, однако, многие моменты требуют признания в обществе.

Глава 22. ОТРАБОТАННЫЙ МАТЕРИАЛ?..

В мае 96-го, как уже упоминал, я был направлен в Чечню в качестве командующего Объединенной группировкой войск в Чечне. В назначении была одна тонкость: перемещения подобного ранга делаются обычно указом президента, но Борис Николаевич в то время серьезно хворал, и в самом разгаре была предвыборная кампания.

Но и я не хотел идти на такую ответственную должность, получив должность чьим-либо приказом. В подчинении командующего Объединенной группировкой должны находиться все структуры — и военные, и гражданские. И если назначение командующего сделано президентом, то эти структуры автоматически были вынуждены подчиняться мне беспрекословно. И я попытался дождаться президентского указа. А приказ о моем назначении подписали министр обороны Родионов, министр внутренних дел Куликов и директор ФСБ Барсуков. В общем, три человека подписали совместный приказ о моем назначении командующим всей группировкой. И поэтому тяжело приходилось.

Случались порой самые курьезные вещи. В августе, например, когда снова начались боевые действия в Грозном, министр Куликов, находясь в Москве, своим приказом снимает с позиций один батальон бригады внутренних войск, не поставив накануне в известность меня, командующего. А я утром ввожу туда свою штурмовую группу, уверенный, что там все прикрыто внутренними войсками. И эта группа 205-го мотострелкового полка, вместе с комбригом, попадает там в засаду, да так крепко, что я еле-еле их оттуда вытащил.

Вызываю командующего внутренними войсками, спрашиваю: почему бригада ушла? А мне, говорит он, приказал министр внутренних дел. Звоню в Москву Куликову и в ответ получаю от него нотацию: «Константин, да, это я дал команду снять бригаду, потому что ты вообще неправильно применяешь внутренние войска. Неправильно используешь их возможности, не знаешь тактику внутренних войск и поэтому ставишь им не свойственные внутренним войскам задачи». Вот так — будто обухом по голове. Говорю: «А это свойственно внутренним войскам — втихую покидать позиции? Ночью они ушли, не предупредив меня, а теперь там моя штурмовая группа, попав в засаду, ведет бой. Прямо сейчас люди гибнут!..».

И таких несуразностей было много, практически ежедневно. Ведь кроме армейских войск были и милицйские части, и внутренние войска, железнодорожные, какие-то там центры разные создавались. По идее они все должны были мне подчиняться как командующему Объединенной группировкой. И если войска министерства обороны подчинялись мне беспрекословно, то другие, получив мой приказ, могли раздумывать очень долго, или позвонить своему министру и пожаловаться, что Пуликовский поставил им задачу какую-то нечеткую или совсем им не свойственную...

В августе 96-го, выслушав категоричное заявление Лебеда, я повернулся и вышел. Все аргументы и доводы в пользу завершения начатой операции по окончательному разгрому боевиков в Грозном были высказаны, но не услышаны. «Кто не согласен — может выйти!». Я категорически был не согласен... Когда город был окружен мертвым железным осадным кольцом, и у боевиков не оставалось другой альтернативы, кроме как сложить оружие или погибнуть, на выручку подоспели Березовский и Лебедь, и на классической

войсковой операции, о которой только и мог мечтать любой боевой генерал, был поставлен большой крест...

После окончания первой чеченской войны вернулся к исполнению обязанностей по должности заместителя командующего войсками Северо-Кавказского военного округа. Штаб округа находится в Ростове-на-Дону, а семья осталась в Краснодаре. Пришлось жить в раздразе, будто стоишь сразу в двух лодках, разъезжающихся в разные стороны: до конца недели работал в Ростове, а на выходные непременно уезжал к семье. Но повсюду было одинаково неуютно.

А Лебедь «доставал» где-то до октября... Меня положили в госпиталь — был гипертонический криз. В Краснодаре был в реанимации. А Квашнин накануне сказал, что меня представили к званию Героя России — за эту операцию, хотя и неосуществленную. Но проходит где-то дней 5-6, и звонит Лебедь из Москвы, прямо в палату: «Товарищ генерал, вы должны прибыть в Москву на заседание Совета Безопасности, а потом — и Госдумы. Вас будут заслушивать: как это так получилось, что город был окружен, а в него ворвались бандиты». Отвечаю: Александр Иванович, я болен и лежу в госпитале, не прячусь. Обращайтесь к врачам. Если срочно необходимо мое присутствие в Совбезе, дайте команду, пришлите самолет, меня доставят на носилках, может, с капельницей. Что вы мною командуете?! А если есть возможность подождать, то прилечу, как поправлюсь».

Он буркнул в трубку: «Ну, хорошо, я посмотрю». Я тут же позвонил Квашнину: мол, так и так, Лебедь вызывает в Москву. Командующий войсками округа говорит: «Не высовывайся. Болееешь, ну и болей». Ну и спасибо, говорю, Анатолий Васильевич. Не от тюрьмы, так от позора он меня тогда уберет — это уж точно.

Где-то дней через пять Лебедь снова звонит: «Вам надо немедленно прибыть». Ну, я взял и пошутил. Говорю: «Александр Иванович, мне сказали, что меня представили к званию Героя России. Если мне такое звание присвоили, то вы уж лучше сюда приезжайте. Здесь мой корпус, здесь мои солдаты, офицеры, с которыми я воевал. И вручите здесь мне Звезду Героя. Зачем в Москву вызывать? А если хотите мне наручники надеть, тоже какая проблема. Дайте команду, и мне их тут наденут, и в какое-нибудь СИЗО упрячут. Зачем меня в Москву за этим делом тащить? Говорю же вам: я болею, лежу в военном госпитале, в палате. Если думаете, что сбегу, поставьте охрану». Он что-то там невнятное вякнул и трубку бросил. Снова звоню Квашнину. «Сиди и не дергайся!» — напутствует. Прошла где-то неделя, и объявляют, что Лебеда отстранили от должности секретаря Совета Безопасности.

Спустя годы мы несколько раз встречались с Лебедем на Госсовете, когда я был полпредом президента на Дальнем Востоке, а он — губернатором Красноярского края. Он всегда отворачивался, как будто бы и не замечал меня. Ну и я ему никогда руку не подавал: на всю жизнь осталось горькое воспоминание. Как-то раз нас, правда, пытался помирить сам Шойгу — мы летели с ним вместе на Дальний Восток, когда в Ленске было наводнение. Он взял меня в свой самолет.

Садилась на дозаправку в Красноярске, а Лебедь его встречал. Но я не вышел из самолета. Потом заместитель Шойгу бежит: «Константин Борисович, приглашают поужинать — и Сергей Кожугетович, и Александр Иванович». Отказался, но посланец не отстает: мол, Александр Иванович очень просит, и как так — мы там будем, а вы здесь в самолете будете сидеть? Пошел. Шойгу говорит: «Все знают ваши отношения. Хватит дуться друг на

друга». Посидели, чаю попили, попытались поговорить. Что дуться-то, действительно? Дуйся не дуйся, а прошлого не вернешь. Думаю, наши отношения так и не поправились бы никогда.

Ушел он из жизни — царствие ему небесное, и Бог ему судья, как говорится. Он его или позвал к себе, или наказал — не знаю. Я не говорю, что Александр Иванович был плохой человек. Просто своими действиями он тогда совершил большую ошибку — личную, государственную, человеческую. Может, ему икается до сих пор, и душа мучается.

Но никто меня не разубедит в том, что именно его ошибка привела ко второй Чеченской войне: если бы завершили тогда операцию в Грозном, то войны больше и не было бы. Ее не могло бы быть. Неповиновение его приказам, видимо, он и ставил мне в основную вину. Он по-своему толковал ту ситуацию, по-своему рассказывал о ней друзьям и знакомым. Мне передавали его слова, сказанные где-то: мол, скажите спасибо, что я Пуликовского под трибунал не подвел за невыполнение приказов, а вы героем хотите его сделать, слава Богу, что его не посадили.

Так он говорил. Думаю, что его так быстро сняли с должности секретаря Совбеза лишь по одной причине: до Ельцина, видно, дошли слухи о его амбициозных замыслах, и хотя Борис Николаевич и в самом деле был тогда очень болен, но сумел убрать его из своего окружения...

В округе начали сокращать должности заместителей командующего войсками по чрезвычайным ситуациям, которые занимали обычно воюющие в Чечне генералы — Тихомиров, я, Трошев. В феврале 97-го года пришел приказ Генерального штаба, из которого узнал, что моя должность ликвидируется с 1 августа. Почувствовал себя никому не нужным. Война закончилась вроде бы, и всех, кто воевал с бандитами — офицеров и генералов, с помощью ангажированной прессы сделали в глазах общественности чуть ли не дураками: мол, зачем вы там кровь проливали?

Но война не отпускала. На то горе, которое я там увидел, еще и личное наложилось. Уже больше года прошло, как погиб в Чечне Алешка, но рана в душе так и не зарубцевалась. А тут и это уголовное дело — по факту больших потерь при штурме Грозного. Потери действительно были большие, и меня как командующего привлекали к уголовной ответственности. Постоянно таскали в военную прокуратуру. Состояние было ужасное, даже к рюмке в какой-то момент стал прикладываться. Приходишь на работу и чувствуешь себя таким изгоем...

Все знают, что твоя должность сокращается. Сидишь в кабинете, и никто к тебе не приходит, никто не звонит. Никто кроме прокурора с тобой не общается...

Такое состояние сказывалось и на семейных отношениях. Жена отказалась ехать в Ростов, где было мое рабочее место. Первое время, как Вера Ивановна сама рассказывала, она даже не замечала, что со мной что-то неладное происходит. Материнское горе не отступало: после гибели сына будто бы свет белый померк, и не было больше для нее никакой жизни. Выручала только работа — как-никак, а все же на людях, друзья рядом. А дома — тоже убитая горем невестка Люба и маленькая Сонька, которые своих печальных глаз не сводят с Веры Ивановны. Суббота подходила — шли на кладбище, в воскресенье — тоже.

«У мужа в это время были нелады на службе, но я, видно, еще не понимала этого, — признается позже *Вера Ивановна*. — Все гибель Алеши заслонила. Были статьи в газетах с критикой мужа, говорили и по телевидению — и о

больших потерях в боях за Грозный, и о гибели Майкопской бригады, его и там обвиняли. А он молчал или говорил только: никто не знает настоящей правды, и я никогда никому не расскажу всего, что там было... Мол, сейчас, в горячке, можно столько людей в больших погонах подставить напрасно: пусть уж лучше со мной одним разбираются, а время все по местам расставит. Приходили следователи, даже когда он уволился. Помню момент, когда он мне сказал, что хочет уйти со службы. Но, говорю, у меня такое было состояние в то время, что мне уже было все равно: хочешь — уходи, хочешь — служи. И все же подспудно, где-то в глубине души я была за него и тогда, наверное, спокойна. Была и тогда уверенность в нем, думала: если он и оставит службу, то хуже нам все равно не будет...».

В округе должность сокращали, а в кадрах были только предложения в миротворческие силы — в Таджикистан или в Югославию. Но у меня, видно, к этому времени и в самом деле наступил критический момент, не было сил куда-то ехать. Подумал: на корпус уже не вернешься — там другой командир, Ткачев Николай Федорович. А где-то в другом месте служить, видимо, просто не мог. В конце мая ушел в отпуск, а в начале июля, когда снова вышел на работу, подал рапорт об увольнении из Вооруженных Сил, хотя официально к этому никто не принуждал.

Как и водится, положили в госпиталь на обследование — необходимо перед увольнением получить медицинское заключение. Но увольнение затянулось на полгода. И должность была сокращена в августе, а я все сидел за своим рабочим столом в штабе округа с понедельника по пятницу, выполнял какие-то незначительные разовые поручения. В Краснодаре в то время был полномочным представителем президента Спиридонов Виталий Евгеньевич, и он пригласил меня к себе внештатным советником.

Мы были знакомы давно: когда я командовал корпусом, Виталий Евгеньевич был в должности заместителя губернатора края. Пригласив генерала в полпредство советником, Спиридонов, как позже выяснилось, пытался сохранить меня в кадрах Вооруженных Сил. Но это не удалось: очевидно, в администрации президента припомнили и былую конфронтацию с Лебедем, в бытность последнего секретарем Совета Безопасности, не забыли и уголовное дело, затеянное против меня, — оно к тому времени, правда, уже было закрыто, но пятно на репутации оставило. Приказ об увольнении пришел 1 марта 1998 года.

Все случилось до обидного буднично. Ни министр обороны, а в то время им был Сергеев, ни президент Ельцин — никто не пригласил, не сказал доброго слова, даже руку не пожал, хотя в то время моя фамилия, можно сказать, гремела по всему Кавказу и в стране меня знали. Ни-че-го! Позвонил незнакомый подполковник из Главного управления кадров и сказал: «Вы уволены». И все...

Но друзей оказалось больше, чем недругов.

Глава 23. ПРЕОДОЛЕНИЕ

«Когда Костя уволился из армии и стал чаще появляться дома, я стала замечать его состояние, — вспоминает *Вера Ивановна*. — Как-то приехал Борис Всеволодович Громов — он в то время возглавлял Всероссийское общество ветеранов «Боевое братство», и предложил мужу создать отделение в Краснодаре.

И он стал заниматься этой работой, встречаться с людьми. И вот приходит домой после одной из встреч и говорит: «Знаешь, мать, всю жизнь в армии был и думал, что только в ней настоящие люди, что все в стране только вокруг армии и вертится. А познакомился с некоторыми людьми и убедился, что и на гражданке есть настоящие, сильные и умнейшие люди». И я даже какой-то огонек в его глазах заметила. Подумала: слава Богу, возвращается к нему смысл жизни, интерес к ней появляется. Наверное, вживается в гражданскую жизнь...».

Мэр Краснодара Валерий Александрович Самойленко пригласил на работу, и с 25 марта я стал у него помощником. Курировал унитарно-муниципальные предприятия — их прибыль, пополнение бюджета. В этой должности проработал почти два года — с экономикой и в армейской жизни приходилось постоянно быть на «ты». Одновременно занимался «Боевым братством» на Кубани, и до сих пор сердечно благодарен Громову за то, что он предложил эту работу.

В конце 1999 года, осенью, когда началась вторая война в Чечне, прозвучал неожиданный звонок из Генерального Штаба: Анатолий Васильевич Квашнин, в то время возглавлявший штаб, приглашал к себе по важному, как он сказал, делу. Суть прояснилась по приезду в Москву: в Генштабе собрались боевые генералы, подняли все мои планы по завершению первой войны, по окружению Грозного — карты, схемы, решения.

Ведь все хранится... Штудируется. Мой младший сын Сергей, когда учился в Академии имени Фрунзе, изучал по истории войн и военного искусства эту операцию. И тут, в Генштабе, собрался небольшой, но представительный совет — с бандитами надо было кончать.

В те дни состоялось мое первое знакомство с Владимиром Владимировичем Путиным, который тогда первый раз был в должности премьер-министра. Я был в штатской одежде, Путину меня представил Анатолий Васильевич Квашнин: «Это — генерал Пуликовский».

Владимир Владимирович просто так сказал: «Я помню этого генерала». Квашнин добавил: «Генерала можно использовать — человек надежный». Владимир Владимирович направил меня на беседу к Волошину. Александр Стальевич нашел для меня много добрых слов и заверил, что мне будет найдено достойное дело.

После Нового года, как только Борис Николаевич Ельцин объявил о сложении своих президентских полномочий и передал их исполнение Владимиру Владимировичу Путину, мне позвонили из приемной Волошина и сказали, что я буду работать в штабе по выборам президента...

Так свершилось мое вхождение в мирную жизнь, и можно было с чистой совестью и облегчением сказать: «Прощай, оружие!». Начиналась новая, ответственная и интересная работа на службе Отечеству...

Меня порой спрашивают: что вам принесла эта война? Награды, славу, почет? Отвечаю всегда одинаково: война приносит только горе. Ни одному человеку, наверное, она не принесла никакой славы, никакой радости. А мне и награда, и генерал-лейтенантское звание, полученные во время боевых действий, оставили только горькие воспоминания. Как отметил выше, так уж совпало, что орден Мужества я получил в начале января 95-го года — сразу после новогодних тяжелейших боев в Грозном. И хотя я знаю, что указ о награждении был подписан 31 декабря 94-го года, и орден был присвоен

за прежнюю мою боевую службу в Северной Осетии и Ингушетии, но люди-то могут думать, — награду дали именно за штурм Грозного...

Мол, там шли кровопролитные бои: погибло 87 человек, из них 22 офицера, а командир, командующий группировкой войск на том направлении, получает орден. Не в радость мне — этот орден. Он всегда будет напоминать мне горькую правду тех первых часов и дней войны. За время войны я стал командиром корпуса, получил звание генерал-лейтенанта. Не погрешу против истины, если скажу, какая это большая, огромная радость для каждого офицера, генерала, который получает такое высокое звание. Но почему судьба так распорядилась, что указ о присвоении мне этого звания был подписан именно в тот день, когда погиб в Чечне мой старший сын Алешка — 14 декабря 1996 года? Вот почему мой генеральский мундир с новыми двумя звездами на каждом погоне без дела висит в шкафу. Я никогда не ношу эту форму, потому что как только увижу на ней генерал-лейтенантские погоны, они сразу напоминают мне день гибели сына.

Так что радости не доставило и это воинское звание. Война ничего мне не дала, а только отняла. Просто на удивление странные и необъяснимые совпадения, как гибель моего боевого товарища — Героя России, светлой памяти Геннадия Трошева, который, как известно, разбился на самолете в день рождения президента Дмитрия Медведева, и за штурвалом сидел пилот по фамилии Медведев... Никаких, разумеется, аналогий, кроме полного, почти мистического недоумения.

Глава 24. «ДОРОГИЕ РОССИЯНЕ!»

Как и большинство россиян, я слушал в ту новогоднюю ночь историческое обращение первого президента России к народу — шокирующее и долгожданное.

У меня к нему было неоднозначное отношение. Тяжело переживал распад СССР, и последовавший за ним развал армии. И как получилось, что военные склады, находящиеся в начале 90-х годов на территории Чеченской республики, вдруг оказались бесхозными и немедленно были «приватизированы» сепаратистами? Этого оружия и боеприпасов хватило бандформированиям практически на всю первую Чеченскую войну, и еще осталось. И если не были названы конкретные виновники, то крайним автоматически становится один человек — президент, возглавлявший высшую власть в государстве.

И как быть с тем приказом, который спас от уничтожения боевиков в окруженном Грозном — всего за несколько часов до полного завершения классической операции. Понятно — и Березовский, и Лебедь, заключая Хасавюртовское соглашение с боевиками, решали собственные меркантильные и конъюнктурные задачи.

Но за ними стоял Ельцин.

Боевые офицеры и солдаты, полтора года преследовавшие бандитов по всей Чечне, проливавшие кровь, и загнавшие их, наконец, в западню, из которой не было выхода, простить такое решение не смогут никогда.

Тем не менее, я готов был аплодировать человеку, попросившему у народа прощения за невыполненные обещания. Искреннее покаяние давало надежду на свежий ветер перемен. Вместе со всеми я поднял в ту новогоднюю ночь бокал с шампанским — за новую эру в жизни России. И был

совершенно убежден, что новая эра наступит прямо завтра — 1 января 2000 года...

И через два дня началась Вторая чеченская война — басаевские боевики вторглись в Дагестан. Отвечая на вопрос журналистов по поводу боевых действий в Дагестане и Чечне, Владимир Путин первым из российских политиков самого высокого ранга четко и внятно заявил: «Россия защищается: на нас напали. И поэтому мы должны отбросить все синдромы, в том числе и синдром вины». Эти слова убедили и меня, и моих товарищей окончательно, как нам не хватало их тогда, в годы первой Чеченской войны, когда наши политики и общество стыдились этой войны и говорили о ней с постоянной оглядкой на мнение Запада. Между тем с самого начала было ясно, что против России в 1994 году под ширмой сепаратизма началась самая настоящая агрессия международного терроризма.

Глава 25. С ПУТИНЫМ

Предвыборный штаб начал работать сразу после новогоднего праздника. Мне было поручено возглавить предвыборную работу в Краснодарском крае — в так называемом «красном поясе». На Кубани в то время очень сильные были позиции коммунистов, и рейтинг их кандидата в президенты оказался достаточно высоким. Естественно, немалую роль в этом сыграл и административный ресурс, поскольку и губернатор края Кондратенко со своим аппаратом, и руководители районных администраций не скрывали своей принадлежности к КПРФ и симпатий к лидеру коммунистов Зюганову.

В советское время на Дону и Кубани было множество богатых колхозов и совхозов, а люди имели большие приусадебные участки, просторные подворья, добротные дома. И когда в 90-х годах в процессе новых социально-экономических преобразований под флагом демократии начали ликвидировать эти совхозы и колхозы, казаки в своих коллективных хозяйствах-миллионерах воспротивились, недоумевая, зачем рушить созданное и добротное: от хорошего никто не хочет отказываться.

Поэтому казачество активно выступило против демократических преобразований, встав на сторону КПРФ, которая довольно аргументировано боролась и против Ельцина, и против проводимых им реформ.

Губернатор Краснодарского края Николай Игнатович Кондратенко, потомственный казак, умный, серьезный, авторитетный человек, занял позицию большинства казачества. Что в значительной степени усиливало позиции Зюганова в густонаселенном регионе России. Борьба предстояла напряженная.

Тем более, сам-то Путин практически устранился от личного участия в предвыборной агитации на радио и телевидении, не участвовал в каких-либо публичных или заочных диспутах, другие же претенденты на президентское кресло повсеместно активно работали на предвыборной арене в традиционно шумном, энергичном, наступательном стиле.

Но выбор на меня, по всей видимости, пал не случайно. Во-первых, я был беспартийным человеком: армия сложила партбилеты в 1991 году. А для предвыборного штаба Путина этот факт имел, очевидно, серьезное значение, поскольку сам Владимир Владимирович неоднократно подчеркивал свою отстраненность от любых политических партий России. Во-вторых, в каза-

чем крае всегда с огромным уважением относятся к военным людям, а меня хорошо знали в Краснодаре.

Глава центрального предвыборного штаба Дмитрий Анатольевич Медведев изучил и биографию, и характер, другие стороны деятельности и жизни претендента на ответственную должность, сверяя анкетные данные с характеристиками авторитетных людей, хорошо знакомых со мной. Высокую ответственность за исход предстоящей работы хорошо понимал и я сам, поэтому взялся за дело основательно, привычно начав с поиска неординарных решений.

С Дмитрием Анатольевичем Медведевым, возглавившим предвыборный штаб Путина, мы раньше совершенно не были знакомы. Но в ходе предвыборной работы, особенно в феврале и марте, хорошо узнали друг друга. Схема работы была простая: нас каждое воскресенье вызывали в Москву — инструктировали, ставили задачу, давали различные агитационные материалы. Так было со всеми регионами. Вся пропагандистская, агитационная работа планировалась в Москве, а мы выполняли намеченное на своих территориях...

Поднял, как говорится, «своих» людей — с кем служил, с кем работал все эти годы, из армейской и гражданской среды. Создали еще пять штабов по выборам президента — в самом Краснодаре и в сельских районах. Подобрался актив из деятельных и порядочных людей, и началась непосредственная предвыборная работа: собирали подписи, рассказывали о своем кандидате в президенты — Путине Владимире Владимировиче.

Вера Ивановна вспоминает об этом периоде:

«Когда его назначили в предвыборный штаб президента, я даже как-то не придавала этому особого значения. Думала: это часть его работы «на гражданке». В это время он с Сережкой чаще общался: младший сын уже окончил училище и работал здесь в военкомате. Кстати, он не был тогда женат, и только начал встречаться со своей будущей женой Олесей... Отец и сын с огромным интересом занимались работой, но я на их дела смотрела как на что-то не совсем серьезное: будто они, взрослые дети, в какие-то свои игры играют. Военные оба, что они там в этих политических играх понимают? А приходят вечером домой взъерошенные все, о чем-то возбужденно рассуждают допоздна. Нет, думаю, мои мужчины настоящим делом увлеклись...».

Предвыборная кампания в «красном поясе» и на самом деле оказалась непростой. Когда провели первые рейтинговые исследования по результатам встреч с избирателями, выяснилось, что позиции Путина были неплохие, но не самые высокие: Зюганов его опережал.

Честно докладывали об этом в Центральный штаб — лукавить, замалчивать истинное положение дел тут никак нельзя было, да и не в моих правилах это было. Непрерывно искали новые пути к сердцам избирателей. Начали работать по конкретным направлениям, по срезам различных слоев общества. Отдельно с национальными диаспорами, отдельно с социальными слоями — учителями, врачами, пенсионерами, с казачеством.

Работой старались охватить все города, районы, села края. Искали самые разные возможные пути и методы, чтобы как-то переломить ситуацию в свою пользу. Как говорится, вода камень точит, и ключик к душам людей был найден: перелом обозначился, когда вплотную занялись работой с казачеством. Казаки сами принесли мне фотографию моего сына — Алешки.

Мне приходилось бывать на всех казачьих сходах, и они меня всегда очень

хорошо принимали. Казаки — они ведь очень патриотичные, и к военным, к офицерам относятся позитивно: раз ты военный, значит их косточка. Встречи эти неизменно были доброжелательны, несмотря на то, что само казачество в то время оказалось расколотым на три разных направления. И однажды ко мне приехала делегация старейшин... У них очень сильные, авторитетные советы стариков. На Кавказе это вообще широко принято. И у казаков исторически так сложилось, что в каждом казачьем войске, в каждом отделе, в станице есть свой совет старейшин.

От Кубанского казачьего войска ко мне однажды приехали восемь человек — почти все фронтовики, каждому, наверное, лет за 70. Все в казачьей форме, с орденами и медалями — боевыми, фронтовыми, трудовыми. Один — на костылях, без ноги, на протезе-култышке.

Пришли, сели рядом в моем тесном кабинетике, и начали меня пытаться выспрашивать: кто такой Путин, какая у него позиция, почему казаки должны за него голосовать? Вот такая политинформация состоялась.

Вопросы были очень острые, жесткие. Мол, им и так вроде бы неплохо живется, а тут какой-то новый строй предлагают. В чем суть реформ? Чем отличается Путин от Ельцина? Будет ли Путин поддерживать Березовского, Чубайса? А потом один из стариков достает эту самую фотографию...

Фотография была простенькая, любительская. На ней я сразу узнал своего сына Алешку в форме курсанта-танкиста, а рядом с ним стоял в такой же форме еще один парень. Вспомнил, что точно такую же фотографию как-то видел в семейном альбоме у невестки Любы: на фоне танка Т-34, стоящем на постаменте, сфотографировались два товарища-курсанта.

Дед спрашивает меня: «Это ваш сын?». Да, говорю, мой сын Алешка. «А это, продолжает дед, мой внук — учились они вместе в Ульяновском училище. Я знаю, что ваш сын погиб. Ваш сын и мой внук очень дружили. Сейчас мой внук уже капитан и воюет в Чечне. Он приезжал домой на побывку и сказал как-то, что предвыборный штаб Путина в Краснодаре возглавляет генерал Пуликовский. Дед спросил у внука: «А ты его откуда знаешь?». «А я знаю, — отвечает парень, — вот по его сыну: мы дружили, и я знаю его отца. Мы встречались как-то с ним в училище, но столько времени с той поры прошло. Ты, дед, узнай: тот ли это Пуликовский — отец Алешки? Если это он, то вы верьте ему, это нормальный генерал. И если Путин выбрал его на такую серьезную работу, то, значит, и президент толковый человек. Значит сильная приходит власть, и будет все нормально. Идите за ним...». И дед еще раз переспросил: «Вы точно тот Пуликовский?». Да, говорю, и это вот мой сын Алешка. Дед вздохнул с явным облегчением и сказал: «Ну вот, я волю своего внука выполнил и убедился, что Путин подобрал себе нормальных людей, которые здесь возглавляют предвыборный штаб. Вы не волнуйтесь, казаки пойдут за вами и будут голосовать за Путина. Мы, старики, все сделаем, чтобы убедить их в этом»...

Можно думать, конечно, что угодно, но после этой встречи со старейшинами казаков симпатии электората Краснодарского края все заметнее стали склоняться в сторону Путина: наступил настоящий перелом, и рейтинг его стал неуклонно расти.

И мы победили, с очень даже большим перевесом. Мы надеялись, что у нас будет где-то процентов 45, а у Зюганова — 37. А в действительности мы одержали абсолютную победу, получив 53 процента, а Зюганов набрал только 32. Солидно его обошли. Думаю, что и та маленькая фотография тоже сыграла свою роль. Кубань — это что? Кубань — это казачество...

Конечно же, кульминационный момент любых выборов — подсчет голосов после закрытия избирательных участков. Нервы на пределе у всех: и у членов избирательных комиссий, и у членов выборных штабов, и, особенно, у каждого претендента на выборный пост.

А с каким беспредельным напряжением проходит ночь после выборов президента России, наверное, и представить невозможно непосвященному. Россия матушка — от Балтики до Тихого океана. Целых девять часовых поясов — в одном краю восход солнца, а в другом уже и закат. Это ведь только Николай Расторгуев красиво рифмует в своей популярной песне, что «Рас-сея — от Волги до Енисея». А на самом-то деле, убежден, каждый со школьной скамьи помнит, что совсем даже не так. Но, как бы там ни было, а ночь была бессонной для многих тысяч людей, принимающих участие в главных выборах в государстве российском — от самых дальних наших тихоокеанских островов до янтарных балтийских пляжей.

Часа в два ночи по московскому времени я докладывал по телефону центральному штабу в Москве о результатах выборов по Краснодарскому краю. Куратор южного направления Александр Андреевич Герасименко записал победные цифры и сказал в трубку:

— Константин Борисович, тут рядом Владимир Владимирович ходит. Ему будет приятно самому услышать ваш рассказ. Вот он сейчас к нам подходит... Я ему скажу, что у нас на связи начальник штаба на Кубани с хорошими результатами...

— Давай, — говорю, — скажи...

Не думаю, что это специально было сделано. Просто так совпало. Владимир Владимирович берет трубку, спрашивает, я ему рассказываю, как шли выборы. Он меня поблагодарил, сказал спасибо, что так хорошо получилось...

А на меня накнулись корреспонденты — московские, местные, зарубежные. Пришлось много раз выступать по радио, на телевидении. Всех интересовал один вопрос: как удалось победить коммунистов в таком мощном «красном поясе»? И тогда на всю страну прозвучала фраза, ставшая крылатой: «Я не боролся против коммунистов, я боролся за президента Путина!».

Честное слово, я ее не готовил заранее — эту фразу, и родилась она, наверное, просто по какому-то наитию. Видимо, я так всегда думал, поэтому и пришла победа. А ведь на Кубани за Путина голосовали и коммунисты, которые трезво оценивали ситуацию и понимали, что действительно достойный кандидат. И эту мою фразу, помню, по телевидению потом целый день гоняли...

И в тот день впервые, пожалуй, после ухода с военной службы, за все эти тягостные месяцы угнетающего безвременья и душевной опустошенности, пришло, наконец-то, ощущение истинной удовлетворенности результатами своей работы. Такое со мной бывало не раз в прежней жизни, когда чаще всего был лучшим и на учениях, и не прятался за чужие спины в бою: стойко держал самые тяжелые удары судьбы и врага, и неизбежно переигрывал в тактике и стратегии любого, даже очень умелого и серьезного противника. За исключением предателя... Возвращалась бывалая уверенность в собственные силы.

Дней через пять после выборов все руководители региональных штабов были приглашены в Москву. Встреча с избранным президентом состоялась не в Кремле, как ожидали некоторые, а в «Президент-отеле», где и был раз-

вернут с самого начала предвыборной кампании центральный штаб. Путин объявил, что инаугурация будет 7 мая, и сказал, что после вряд ли удастся встретиться так неформально со всеми, кто помогал в предвыборной работе, чтобы сказать им спасибо. Не скрою, было отменное, в лучших русских традициях, застолье, замечательная концертная программа, и все приглашенные получили ценные подарки. Встреча продолжалась часа четыре и была очень теплой, непринужденной. Каждый из участников, а это около сотни человек, мог подойти к Владимиру Владимировичу, сказать ему какое-то доброе слово, поздравить и поблагодарить. Подобных встреч больше не было...

Но была встреча с Волошиным — главой президентской администрации. Александр Стальевич сказал, что в ближайшее время мне будет предложена очень серьезная высокая должность в президентской администрации.

— Мы вас пригласим, — добавил он на прощанье. — А пока поезжайте домой, работайте и ждите...

Уезжал из Москвы под впечатлением этого интригующего разговора, однако о характере и вариантах обещанных предложений по своему обыкновению гадать не стал. Но пролетел апрель, и никаких звонков из Москвы так и не последовало. Пришло приглашение на инаугурацию. В тот памятный день, 7 мая, был в Кремле и непосредственно присутствовал на этом грандиозном, ярком, красочном державном мероприятии — впечатления и эмоции просто распирали. И снова никто из президентского окружения и словом не обмолвился о будущей работе. Сам же себя и успокоил: мол, до того ли им всем было в те дни... Чтобы организовать и провести без единой заминки такое изумительное, величественное действо государственного масштаба, где каждое слово и движение выверены, казалось, до долей секунды, надо основательно потрудиться.

Подумал так, поразмыслил и спокойно отправился домой в Краснодар праздновать День Победы — 9 Мая.

А 14 мая из Москвы позвонил Игорь Иванович Сечин и сказал:

— Вам надо прибыть в Москву, к президенту. Во сколько вы можете быть?

Это он утром позвонил. Говорю: самолет из Краснодара вылетает в три часа дня, значит, в 17 часов буду в Москве.

— Хорошо, — отвечает Сечин, — давайте этим рейсом. Вас встретит машина, сразу привезут в Кремль. Там состоится встреча с президентом, и будем говорить о дальнейшей нашей работе...

Глава 26. ДАЛЬШЕ КУШКИ НЕ ПОШЛЮТ?

В приемной президента я увидел Казанцева, Кириенко и, по-моему, Латышева, если мне не изменяет память. Других пока не было — не всех сразу вызывали.

Очень долго пришлось ждать — у Владимира Владимировича была какая-то делегация — группа депутатов Госдумы. Указ о создании федеральных округов вышел накануне, и, видимо, просочилась информация, что президент собрал генералов, чтобы назначить их в те округа. И депутаты обеспокоились: а не грозит ли это чем молодой российской демократии?

Их много там было. Мы сидим в приемной, а они ходят туда-сюда. И нас президент смог принять только часов в десять вечера. Тогда он и объявил о назначениях. Так я узнал, что назначен полномочным представителем пре-

зидента в Дальневосточный федеральный округ. Честно скажу: не ожидал. В глубине души надеялся, что меня оставят на Кавказе.

Столько лет там живу, хорошо знаю регион, знаком со многими людьми. Как-то потом, уже сравнительно позже, когда случайно зашел разговор на эту тему, президент усмехнулся и сказал: «Ты там многих знаешь, тебя многие знают. Поэтому тебя и убрали на Дальний Восток». Так, полушутя-полусерьезно сказал. А как оно на самом деле было, Бог его знает...

Но в тот момент я чуть-чуть даже растерялся: было какое-то минутное замешательство. Президент это заметил и сразу же отреагировал. Сказал:

— Если у вас есть какие-то сомнения, или вы просто не желаете туда ехать, скажите прямо. Мы вам и здесь, в Москве, предоставим серьезную, важную работу в администрации, без всяких сомнений. Мы таких людей, которые умеют работать, никогда не отбросим в сторону. Мы хотим, чтобы вы работали в нашей команде и в дальнейшем...

Когда я эти слова услышал, то сразу же сказал — «да». Путин как-то ментально обезоружил меня этими словами...

Завершая ту памятную встречу, президент попросил пока никому не говорить об этом — ни друзьям, ни знакомым, ни даже близким людям... А мы, новоиспеченные полпреды президента, на следующий день приступили к работе. Началась она с разработки Положения о полномочном представителе президента — подобного в российской практике не было, поэтому пришлось начинать с нуля.

Более спокойно восприняла весть о новом назначении мужа моя дорогая *Вера Ивановна* — офицерской жене не привыкать к переездам.

«Костя жил в те несколько дней в Москве у наших старых знакомых, Нины с Мишей, — вспоминает она. — И он позвонил от них вечером: «Мать, я получил назначение. Не могу тебе по телефону сказать — какое и куда. Завтра прилечу и все расскажу. Но все нормально». Так он сказал. А когда приехал, я уже и так знала: по телевизору, по радио передали сообщение о том, что президент создал семь федеральных округов и назначил туда своих полномочных представителей. И фамилии их назвали. Но что это такое, что за должность, я представления не имела. Он заходит в квартиру: «Знаешь уже? По глазам вижу». Знаю, говорю, что на Дальний Восток поедем...».

Указ о назначениях был опубликован 18 мая 2000 года.

В администрации президента был составлен график представления полпредов губернаторам краев и областей, расположенных на территории федеральных округов. Моя очередь выпала на конец мая: президент представил вашего покорного слугу дальневосточным губернаторам, приехавшим по этому случаю в Москву. Я выступил перед ними, коротко рассказал о себе.

Встреча была недолгой — минут 35-40. Каждый губернатор высказал какие-то свои предложения, обозначил проблемные вопросы своих территорий. Среди губернаторов, присутствующих на встрече, я заметил только одно знакомое лицо. Это был Геннадий Иванович Наздратенко — руководитель Приморского края. С ним удалось познакомиться в Чечне, куда Приморский губернатор приезжал с подарками жителей края воинам-дальневосточникам, находящимся в составе группировки войск. Как водится на Руси, эти подарки были разделены между всеми солдатами и офицерами, из какого бы региона они ни были, и каждый из них мог отведать деликатесов дальневосточных морей. Не всякий губернатор в те беспокойные годы отваживался навестить солдат, своих земляков, в охваченной войной Чечне. А Наздратенко приезжал, и даже не один раз.

Увидев его среди других губернаторов, невольно подумал: наверное, это хороший знак. Встреча закончилась групповой фотографией на память и президентским пожеланием всем присутствующим успехов и слаженной работы. Дай-то Бог, чтобы так и было на самом деле — пожалуй, не один я из участников той исторической встречи высказал про себя такое пожелание.

В голове сама по себе вертелась давняя армейская присказка — в старину офицеры говаривали: больше вышки не дадут, дальше Кушки не пошлют... В Кушке служил, самые западные границы оберегал в Калининграде и далеко окрест, отныне предстояло откармливать комаров-буйволов в Хабаровске, и дальше на восток. До самого Тихого океана и тамошних морей.

Судьба! Что ж, надо так надо. Лишь бы Вера Ивановна была рядом...

Открывались новые, не написанные ещё страницы жизни. Предстояло нести ответственную государеву службу на далеком Дальнем Востоке, там, где начинается день над всей Россией, где солнце по утрам поднимается прямо из бескрайних океанских далей.

(Литературная редакция Олега Рябова)



Александр МОЖАЕВ

«ПОСЛЕДНИЙ НОНЕШНИЙ ДЕНЁЧЕК...»

Рассказ

В конце ноября, когда неожиданно завьюжило и стало не по-осеннему студено, Иван Власович занемог. У него вдруг стали ватными ноги, и по этой причине испортилась походка. Выйдя утром во двор, он неуклюже ковылял по мокрому рыхлому снегу, стараясь придумать себе какое-то неотложное дело. Но дел в эту пору было немного, а из неотложных только одно: нужно было срочно, до больших морозов, вытащить из воды и поднять на высокий берег лодку. Спотыкаясь и борясь с невесть откуда подступившей одышкой, он спустился к реке. На фоне белого снега она казалась зловеще-чёрной. Припорошённая снегом лодка всё ещё стояла в воде, и её успело уже сковать льдом. Она задержалась здесь из-за поздней рыбалки. Ещё на Воздвижение Иван Власович ставил сети, и было много плотвы. В былые времена он рыбалил и в декабре, но всегда до прочного ледостава успевал достать «свою кормилицу» и оттащить в безопасное для неё место.

Неровной походкой Иван Власович подошёл к лодке, хотел сдвинуть её с места, но прибрежный лёд уже прочно держал её в своих объятиях. Тогда он залез в лодку, стал раскачивать её. Молодой, ещё не окрепший лёд пошёл волнами и отступил. Но и это не помогло, силы оставили старика, и как он ни тужился, лодка не хотела выползать на берег.

«Одному не управиться... — тяжело дыша, думал он. — Нужно б Серёгу и Лёху кликнуть...».

МОЖАЕВ Александр Николаевич родился в 1953 году в Ростовской области. В 1983 году Шолохов дал молодому писателю рекомендацию в Литинститут, который он окончил в 1989 году. Автор нескольких книг прозы. Лауреат Шолоховского конкурса 2005 года. Член Союза писателей России. Живёт на хуторе в Ростовской области.

Раньше он поднимал лодку сам. Подкладывал под неё лёгкие сосновые бревнышки и, постоянно меняя их, вскатывал вверх. Сейчас же ноги его подкашивались, и кроме гулко-го стука в висках он ничего не слышал.

«Хотя б так, в холостой дойти...» — впервые подумалось ему. Он уже почти сдался, успокоился, стал различать посторонние звуки, это его и сгубило. Где-то наверху играла гармонь, и он угадал Лёхин голос:

*Ах, эта девушка меня с ума свела,
Разбила морду мне, пинжак сняла...*

— Ну, паразиты, опять хлещут!.. — в сердцах сказал Иван Власович и поворотился к лодке.

Он что есть силы потянул её на себя, лодка качнулась, скрипнула, ещё поднатужился... Вдруг в глазах вспыхнула яркая молния, и сразу стало темно.

Нашли Ивана Власовича лишь поздним вечером по следам на снегу. Раскинув руки, он лежал возле лодки, хрипло дышал и смотрел невидящими глазами в небо.

Больше двух месяцев он провалялся в станишанской больнице. То ли лечили его не так, то ли хворь оказалось крепкой, но намного лучше ему не стало.

— Ну, что говорят доктора? — спрашивала навещавшая его жена Мария, с которой он прожил без малого шестьдесят лет.

— А-а, что они понимают... — равнодушно махал рукой Иван Власович. — Сюда токо попади — живём не выпустят...

Обеспокоенная, Мария подходила к врачу, но тот загнул такой мудреный диагноз, что перепуганная женщина так и не смогла ничего понять. Единственное, о чём она смутно догадывалась: с таким диагнозом долго не живут.

— Надо ж как его срубило!.. — жаловалась она куму Павлу. — Думала, снесу ему не будет, а он кувырк и свалился.

К Масленице, когда стужа пошла на убыль и все уже ждали скорой весны, Ивана Власовича несмотря на его худое состояние отпустили из больницы домой, и близкие догадались: отправили умирать. В ожидании скорой кончины все враз засуетились вокруг старика. Зачастил в гости кум Павло, полчанин Ивана Власовича, с которым с сорок девятого по пятьдесят третий год служили они на Западной Украине, гонялись по лесам за бандами недобитых эсесовцев. Мария вдруг вымыла окна и вне срока принялась освежать побелку.

— Что ты мордуешься по холоду?... — задыхаясь, трудно говорил Иван Власович. — Дождалась бы тепла...

— По теплу других дел хватит... — уклончиво отвечала та. — Вон уж азовец подул, ни сегодня завтра поплывём...

Иван Власович вспомнил, что у реки осталась не поднятая вверх лодка. Он вдруг взволновался и, с трудом приподнявшись в постели, долго смотрел в окно. Всё было серым и сумрачным: и снег во дворе, и оттаявшие стожки, и небо, и вербы у реки, и поле с открывшейся стернёй, даже солнце было бледным, почти призрачным. Серой сумрачной лентой виднелась ещё не вскрывшаяся река. Южный ветер и дождь подъели и без того неглубокий снег, зачернела бегущая в Погореловку дорога. Там, в Погореловке, живёт свояченица Ивана Власовича Людмила, с которой у него много лет назад случилась недолгая связь. С тех пор Мария разладила с сестрой, и та,

уехав в Погореловку, ни разу не переступала порог их дома, хотя повзрослевшие дети её Серёга и Лёха жили сейчас по соседству в дедовском доме, родичались и заходили к ним ежедневно. Серёга был удивительно похож на Ивана Власовича, и это обстоятельство порождало в хуторе досужие разговоры.

Мария перехватила его взгляд и, вздохнув, усердней стала белить печь.

«Вот же окаянный, на ладан дышит, а всё туда ж смотрит...» — раздражённо думала она.

— Прибудет вода — унесёт лодку... — прервав её думы, с горечью произнёс Иван Власович.

— Не унесёт... Я её привяжу, — заверила Мария.

— А-а... — прокряхтел старик. — Растреплет о крыги в щепу...

«Нужно будет Лёшку с Серёжкой кликнуть, — подумала Мария. — Не угомонится, пока по его не будет...».

— Как там ребята?... — угадав её мысли, спросил Иван Власович.

— А что им сдётся?... — не тая недовольства на своих племянников, отвечала Мария. — С утра Масленицу празднуют — водку жрут, да песни кричат...

Кряхтя и постанывая, старик поднялся с постели. Неуклюже цепляясь ногами за половики и опрокидывая на своем пути стулья, он добрался до лавки, где лежала его шапка и затёртый до блеска полушубок.

— Ты чего это?! — встрепелась Мария.

— Выйду... огляжусь... — с хрипом выдохнул Иван Власович.

— Погодь, я проведу тебя... — суется, помогала она ему одеться.

— Сам!.. — строго качнул он головой и, споткнувшись о низкий порожек, едва не упал.

Тяжело дыша, он долго стоял на крыльце, собирался с силами. Хозяйским взглядом осмотрел двор. Заметил: снег из-под кустов винограда выдуло февральскими ветрами, и теперь, если их не укрыть, первым же морозом порвёт корни. Сырой воздух был густ и звучен. Рядом, в родительском доме Марии, захлёбывалась дырявыми мехами гармонь.

Ах, эта девушка меня с ума свела,

Разбила морду мне, пинжак сняла... —

угадал он по голосу Лёху.

Последний noneшний денёчек

Гуляю с вами я, друзья... —

наперекор гармонии, перекрикивал его Серёга.

«Лоботрясы...» — сердито подумал Иван Власович и, тяжело опираясь на палку, стал медленно спускаться к реке. Он заметил, что на быстрине появились первые промоины. Грязные обломки льда нависли над тёмной водой. Вмёрзшая в лёд, лодка стояла на прежнем месте.

Вдруг, недалеко от тернового куста, прямо над снегом он увидел столб мошкар. Сначала он думал, что померещилось. Протёр глаза, присмотрелся, так и есть — мошкара.

«Подскочит вода — унесёт...» — переведя взгляд на лодку, тоскливо подумал он.

Обратный путь был в гору и силы быстро покинули старика. В глазах зарило, и Иван Власович перестал замечать дорогу. С каждым шагом сердце всё сильнее трепыхалось в груди, как выброшенная на берег рыба: он отчаянно хватал открытым ртом воздух и уже успел пожалеть, что так опромет-

чиво спустился к реке, как вдруг услышал скрип и повизгивание не мазанных на осях колёс. Это Лёха с Серёгой спускаются на бричке к реке.

— Ну что, ополоснулся? — весело скалится Лёха. — Тётка Манька прислала, говорит: дядька Иван купаться пошёл. Я так и знал, что ты придуряешься. Работать не хочешь, вот и придумал хворь!..

По обыкновению Лёха развязный и хамоват, Серёга ж молчун. Его если не зазывать, слова от него не дождёшься.

Переводя дух, Иван Власович осмотрел бричку, тронул рукой сбрую. Постромки и гужины порасхлябились, ярмо клонилось набекрень.

— Эх, не хозяин ты, Лёшка... — хрипло произнес он. — Не хозяин...

— Зато у меня каждый день на пол-одиннадцатого, а у тебя на полшестого, — фамильярно гогочет тот.

«У тебя хоть кажен день и на полдень, а жинка ушла... Не хозяин...» — снова подумал Иван Власович, но на этот раз, чтоб не задирать Лёху, ничего говорить не стал.

Не церемонясь, Лёха подхватил на руки Иван Власовича и, легко усадив его на бричку рядом с Серёгой, для залихватского вида сдвинул ему на ухо шапку.

Серёга легонько приобнял старика, на случай, если лошадь тронется резво, чтоб не дать ему свалиться.

— С Наташкой примирился? — поправляя шапку, спросил Серёгу Иван Власович.

Тот неопределённо пожал плечами.

— Ты не дуркуй...

Серёга промолчал.

— Ну что, поскакали? — покручивая в руке вожжи, обернулся Лёха.

— Пока ты тут с лошадей, лодку наверх встаните... — хрипло задышал Иван Власович.

— У меня кобыла не кована... — нехотя отзывается Лёха, которому неохота надолго прерывать начатый с Серёгой праздник. — Что с твоей лодкой станет...

«Не хозяин...» — с сочувствием оглядев кобылу, скорбно подумал старик. Ему вдруг живо представилось, что на кладбище Лёха будет вести его на этой расхлябанной бричке, и от этой мысли ему тут же стало стыдно и горько.

— Не хозяин!.. — уже у дома отстранив Лёху, вслух произнёс он, и чтоб не выслушивать его бесстыдных шуточек, тут же отвернулся и, пошатываясь, спешно закилял к крыльцу.

— Оттяну я твою лодку!.. — вслед ему прокричал Лёха. — Вот далась она ему... Завтра как-нибудь с Серёгой оттащим...

Наутро, как ни барахтался Иван Власович в постели — подняться не смог.

— Вот зачем было вчера надсаживаться? — строго отчитывала его Мария.

— Ноги убил, теперь подняться не можешь...

— Лодку на берег подняли? — слабым голосом спрашивает Иван Власович.

— Подняли... — не скоро отвечает Мария.

— Унесёт на Донец лодку... — сокрушённо вздыхает старик.

— Да убрали твою лодку. Убрали... — уже уверенней врёт Мария.

Но Иван Власович знает, что его бессовестно обманывают, и от бессильной обиды он отворачивается к стене.

Под вечер пришёл проведать его кум Павло. В далёком пятьдесят шестом Иван Власович крестил его сына, с тех пор они не просто друзья, но и родня.

— Что там? Развезло?.. — кивнув на окно, спрашивает Иван Власович.

— До обеда квасило, а щас подтягивает морозцем, — сообщил Павло. — К утру обещают до двадцати... Так что сракопад впереди...

— У нас так, — соглашается Иван Власович. — С утра льёт, к обеду метёт, а на вечер куёт...

— Телевизор глядишь? — спрашивает кум Павло.

— Гляжу, только не слышу... В голове шумит — не пойму ничего... Что там, ещё чертуется бандерва в Киеве?

— Это чертобесиво не скоро закончится. Как бы до нас не докатилось...

— Нехай токо сунутся... Я им, блядям... — храбро сжимает кулак Иван Власович. — Помнишь, как мы им отваливали?..

— Не додавили сволоту, теперь детям нашим хлебать... — сетует кум.

— Как там наш Атаман? — меняя разговор, спрашивает о крестнике Иван Власович.

— Слава Богу! — коротко отвечает Павло. — Сейчас вон лодку твою с Серёгою тащат...

— Тащат?! — встрепнулся старик. Он так обрадовался этой новости, что чуть не свалился с постели. — Да мои ж золотые... — запричитал он.

— Ну, вспёрли твою лодку! — торжественно объявила пришедшая со двора Мария. — Еле живые пошли... Как ты её сам ворочал?!.

— Так без ума нелегко... — соглашается Иван Власович, и тут же глаза его загораются, и он начинает рассказывать, каким хитрым макаром он каждую зиму вскатывал эту лодку.

К ночи разъяснело; в верхнем крае окна показалась луна, и по комнате поползли бледно-синеватые тени.

— Маруся... — робко позвал старик.

— Вот она я, — готовно отзывается та. — Надо чего?

— Кум говорит: мороз на завтрево...

— Что ж тут дивного, чай не лето.

— Земля заклёкнет, будут ребята долбить, мучиться...

— О, Господи... Что тебе в голову лезет... — вздыхает Мария.

— Может, с утра отошлешь ребят, пусть загодя долбют...

— Да что ж ты не угомонишься никак?! — сердится Мария. — Кто ж живому копает?..

— Угомонюсь скоро... — по-детски обижается Иван Власович.

— Угомонишься — моя забота, так не оставим лежать.

Проходит ещё какое-то время.

— Маруся... — снова зовёт Иван Власович.

— Что?.. Что стряслось?.. — опять подхватывается она.

— Мороз на завтрево...

— Ну, мороз. Что с того? — не тая раздражения, с вызовом говорит жена.

— Надо б объедьями виноград прикрыть. Ахнет мороз, порвёт корни — опять неурод...

— Триста лет мак не родил, и голоду не было... — одеваясь, ворчит Мария.

— То так... — шепчет ей вслед Иван Власович. — Однако ж...

Он хотел сказать что-то убедительное, веское, но так и не нашёл нужных слов.

— Укрыла твой виноград, — войдя в дом, отчитывается Мария. — Какие ещё распоряжения?

С каждым днём всё слабел и слабел Иван Власович. Он давно уже не подни-

мался с постели, и все настойчиво стали ожидать его кончины. Но время шло, а он, вопреки ожиданиям, всё тянул и тянул.

В мае война подкатилась к самым окнам Ивана Власовича. Всё громче гремели оружейные залпы, от которых жалобно звенели стёкла.

— Бандерва? — кивал на окно Иван Власович.

— Бандерва... — кивала Мария. — В Погореловку лупят... Надо ж до чего дожились, в наши-то дни и по живым людям... Господи, последние времена... — крестясь, шептала она.

Сжимая кулаки, Иван Власович громко сопел, иногда Марии казалось, что он даже порывается, и со страхом она крестилась. Забывшись, старик успокаивался, дыхание его становилось ровней, и он переставал замечать происходящее. Но очнувшись, вновь звал к себе Марию:

— Людмила не приходила? — спрашивал он.

— Приходила... — врала она. — Ты токо уснул и она на пороге...

— Что ж ты не взбудила?! — сердится он.

— Ты так сладко уснул — жалко было будить. И Людмила не велела.

— Ты не жалея, если кто явится — буди. Я тама досплю своё... — наказывал он.

На самом деле Иван Власович знает, что Людмила не приходила, да и не так-то просто сейчас прийти, когда война за рекой и все кордоны закрыты.

— Если вдруг придёт, не гони её, — просит старик.

— С чего ты придумал, что я её гнать буду... — сдержанно отвечает Мария.

— Помиришься с ней, чего уж теперь делить... А то может так статься, что ей уж и жить не в чем... Вон как ахают...

— Да я и не в сердцах на неё, — заверяет Мария. — Пусть бегут — всем места найдём — и Людмиле и Кудеяру её...

Часто среди ночи он звал Марию к себе и начинал давать важные, как ему казалось, распоряжения.

— Ты тада куму Павлу сетку трёхперстовку отдай...

— Когда «тада»? — передразнивала его Мария.

— Вот тада и отдашь!..

— Да я чи понимаю в них, какая из них чего...

— Ну, ту, что по осени ставил. Ты ишо лист помогала из неё выбирать... А лодку нехай Атаман заберёт...

— Ты ж ребятам её обещал... Серёжке...

— Атаману она нужней... Пьют ребята?..

— Вчера гомонели...

— Ты там, как это... За Лёхою пригляди. Чтоб он не дюже на поминах наедался, а то... Людям на смех...

— Пригляжу... — обещает Мария.

Утром, когда боль отступала и Иван Власович, наконец, засыпал, к Марии приходила Павлова жена Полина.

— Ну, как он? — кивая на комнату больного, спрашивала она.

— В одной поре...

— Не лучшает?

— Жив и за то слава Богу... Ой, Полюшка, как захворал, таким несносным стал, — жаловалась Мария. — Такой командир! Попробуй не выполни его распоряжений — сердится...

Но через минуту она уже оправдывала Ивана Власовича:

— Он жа до этой беды всё сам делал, я за ним ничего и не знала... А теперь, за что ни хватись — рушится без его рук... Как я без него останусь...

— Вот же досталось тебе!.. — сочувствует соседка. — Бельё скоко раз на день меняешь?..

— Под себя ни-ни-ни! — трясёт головой Мария. — От, как надумает по нужде — тужится, тужится, пока не досунется до края. Бухнется на пол, а там у него под койкою тазик... А назад поднимать — беда. Я ж его не подниму... Спасибо Серёга с Лёхой... Пьяные ль, тверёзные ль — в любую пору кликай — всегда прибегут. А нет — с другого боку Атаман ваш, тоже никогда не откажет... Кум Павло каждый вечер у нас... Начнёт рассказывать, что там делается, — кивает за реку Мария. — А этот хорохорится, кулачишками машет, и так матюгается, так матюгается... — сроду таких слов от него не слыхала...

Полина лишь сочувственно головой качает.

— А вчора слышу: вроде стогне дюжей. Я к нему, а он... Веришь, Поля, песню горлом играет. Слов не разобрать, но головою в такт подмахивает. Меня увидал — умолк.

— Может вычухается ещё...

— Где там вычухается... Ноги уж захолонули... — всхлипывает Мария.

Ночью Атаману приснился скверный сон. Возможно, это был даже и не сон — какой-то странный фантом посетил его. Он проснулся оттого, что вдруг почувствовал на себе чей-то взгляд. В темноте стояло над ним какое-то тёмное существо. Оно не предпринимало никаких угрожающих действий, не тянуло к нему своих рук, даже лица его он не мог разглядеть, что было в нём: улыбка или оскал. Атаман только чувствовал на себе чужой взгляд, и уже от этого его охватила оторопь. Он хотел осенить себя крестным знаменем, но рука стала свинцово неподъёмной. Хотел что-то сказать, но на грудь словно взвалилась бетонная плита, и он не мог вдохнуть воздух, чтоб потом с выдохом что-то произнести. Задыхаясь, во все глаза он смотрел на странный призрак, ни в силах прогнать его. В конце концов, ему удалось вобрать в себя воздух.

— Господи, помилуй, — произнёс он чужим голосом и наконец, перекрестился.

Видение тут же пропало. Атаман осмотрелся: кроме сумрачных теней, которые бросали от себя шторы, ничего постороннего. Жена Виктория тихо сопит у стены. Атаман поднялся с постели, прошёлся по комнате, но никого не нашёл.

«Что за чертовщина...» — подумал он, снова укладываясь в постель и пытаясь заснуть. Но сон не шёл. Атаман знал, что по старым приметам, чтоб дурной сон не сбился, его нужно тут же рассказать кому-то. Но не будить же Викторию, чтоб рассказать ей весь этот бред, сна-то, по сути, и не было... Так и не уснув, Атаман проворочался до утра. Утром встал уставший и разбитый; настроение его было испорчено, и потому встретил он пришедшего к нему в условленное время Серёгу не очень радушно.

— Ну что, готов? — Атаман смотрел на Серёгу чужим сторонним взглядом. — Что-то ты быстро собрался, — осмотрел его худой рюкзачишко.

— Голому собраться — только подпоясаться, — ответил Серёга.

— Датый? — вновь придиричиво рассматривает его Атаман.

— Это вчерашние дрожжи...

— Гляди, там сухой закон — мигом завернут...

Серёга молча кивнул.

— Теперь от меня никуда! В любую минуту дадут команду, и мы выходим...

— Мне б попрощаться с тёткой и Власычем...

- Что ж ты вчера?..
- Да вчера я... Лучше на тверёзую...
- Тут рядом, сходи... — согласился Атаман.
- Я туда и обратно...

Атаман промолчал, но когда Серёга уже входил во двор Иван Власовича, крикнул:

- Ты там старику не говори, а то он...

«Ему, может, будет легче знать, что я «там»», — подумал Серёга, но спорить не стал.

Всходя по ступенькам на открытую веранду, Серёга заметил, что крыльцо давно покосилось, скрипит и покачивается с каждым шагом. Он тронул руками стойки, глянул через перила вниз. Так и есть, подгнили, надо бы заменить. Серёга подосадовал, что не занялся этим раньше, но тут же решил: как только вернётся — сразу же и починит.

- Тёта! Тёт... — позвал он, входя в дом.
- Тишь, тишь... — замахала та руками. — Спит...
- Да я это... Я попрощаться...
- Что?.. Чего ты придумал?.. Куда?.. — растерянно запричитала тётка Мария.

- Туда... — Серёга кивнул на речку.
- О, Господи... Без тебя там не управятся?..
- Я ж казак...

— «Казак» — жопой назад... — передразнила тётка. — Убьют тебя там дурака...

- Так... Сколько той жизни, тёть Мань... А что тут? Только водку жрать...
- Здесь бы ещё пожил...
- Разве ж это жизнь?..
- Какая ни есть, а всё ж веселей, чем под травой.
- Тоска...

Серёга уже направился к двери, как в другой комнате послышалось шевеление и раздался сиплый голос Иван Власовича:

- Серёжка?.. Чего он тут говорит?..
- Объясни... Он не дослышит... — сказала Мария.

Некоторое время Серёга в замешательстве стоял на месте, но вдруг глаза его вспыхнули, лицо преобразилось и он стал удивительно похож на Лёху.

— До свиданья, дяди-тёти, уезжаю, хрен найдёте! — прокричал он, и тут же вышел из дома.

Несколько раз Атаман порывался рассказать Виктории свой дурной сон, но всё не знал с чего бы начать. К тому же в доме находились посторонние люди, которых ему сегодня надлежало переводить через линию. Кто его знает, как отнесутся они к подобной ерунде. Хорошо, коль посмеются, приняв его за человека лёгкого на суеверия, а если сами узрят в этой галиматье Бог знает чего... Нет, они должны идти за ним с холодными головами, не отягченными дурными мыслями. Атаман вслушался в их разговор. В доме ждали перехода пять человек. Люди разные, как по месту жительства, так и по роду занятий. Бородатый богатырь из Новосибирска Юрий Усов только внешне выглядел простоватым увальнем. У него живой взгляд и умные проницательные глаза. Усов историк, кандидат наук. Профессиональное любопытство не даёт ему покоя, и он засыпает присутствующих своими вопросами.

— Вот ты, Афанасий, — обращается он к худенькому, отнюдь не ополченского вида парню. — Как ты дошёл до такой жизни?

— До какой «такой»?..
— Ну от армии ты в своё время откосил... Университет, девочки, тусовочки... И вдруг бац! — на войну!.. Небось, и мамка не знает?

— Зачем ей сейчас?.. Только с чего ты решил, что я от армии откосил?

— Да видок у тебя не армейский... — ещё раз оглядев хилую фигуру Афанасия, делает заключение Усов.

— Зато в него попасть тяжело, а в тебя с закрытыми глазами не промахнешься, — смеётся Африка.

Африка, это Виталий из Питера. Он долгие годы проработал в Эфиопии, имел там свой бизнес, но как только случилось одесское побоище, бросил всё и вернулся домой. В каком-то общественном центре ему дали адрес Атамана, и вот он здесь, вместе со всеми ждёт перехода.

— Чем больше шкаф, тем громче грохот... — задиристо добавляет Афанасий.

— Да, с этим не поспоришь, — миролюбиво соглашается Усов. — Шкаф падает громко... И всё же, что тебя привело сюда?

— Может тебе покажется высокопарным, но я здесь, чтоб защищать Россию. Служение Отечеству — единственно достойный удел русского человека, всё остальное — убогое прозябание и поиск оправданий своей никчемности.

— Сильно! — похвалил Усов. — А если об этом без пафоса?

— Если без пафоса?.. Я так подумал: как детям своим потом буду в глаза смотреть, если отсижусь...

— А ты не так уж и хлипок... — Усов впервые с восхищением смотрит на Афанасия.

— А ты, Африка? Что скажешь в своё оправдание? Как ты докатился сюда? Сидел бы под пальмами, ел кокосы... — продолжает свой допрос Усов.

— Тут без пафоса и не скажешь, — смеётся Африка. — Знаешь, я много размышлял об этом... ещё до войны. Об этом всегда думаешь... А тут, бах — в Одессе люди горят, а я под пальмой с кокосом в зубах... Это мой единственный шанс быть полезным Родине... Судьба... Потом до конца дней не простишь себе малодушие и никакие бананы тебя не излечат...

В комнате было ещё двое, они приехали вместе из Крыма. Маленькая, похожая на мальчишку женщина и высокий, нескладно скроенный мужчина, с пышной шевелюрой и идущей в дисгармонию с ней редкой рыжей бородкой. Его уже успели прозвать Хоттабычем. О себе Хоттабыч был немногословен, зато с восхищением говорил о своей спутнице.

— Муж Татьяны — известный в Крыму поэт, — рассказывал он. — Витька Сеницын. Не слышали?

О Витьке Сеницыне никто в комнате не слышал.

— Мы с ним друзья детства. Такие стихи пишет! Патриотические за Россию... Вот я вам сейчас... — Хоттабыч хмурится, пытается вспомнить.

— Не надо, — просит Татьяна. — Ты ж не умеешь читать.

— А-а, ладно... Так вот... Такие стихи... А как до дела дошло, давай, говорит подождём, куда вырুলит... А Татьяна собралась и...

— Понятно, — улыбается Усов. — Ну и кем вы себя представляете там? — спрашивает Татьяна.

— Она мастер спорта... инструктор по выживанию. Знаете, есть такое — ходят в горы без спичек, без... с голыми руками. И нужно там выжить, костёр распалить, без топора сделать жильё, добыть съестное... — с вдохновением рассказывает Хоттабыч.

— Мне легче там будет, чем любому из вас, — улыбается Татьяна. — Я ведь могу практически всё. Могу готовить, могу стирать, могу лечить, могу стрелять...

— А ты? — дошла очередь до Серёги.

— Я казак, — просто ответил тот.

— Убедительно...

Усов хотел ещё что-то добавить, но в это время во двор Атамана на большой скорости влетела газель. Все прильнули к окну. Там мелькали красные околыши, из газели быстро выгружали полные мешки. Наконец всё закончилось, казаки, пообнимавшись с Атаманом, вскочили в машину и также быстро уехали. Повернувшись к окну, Атаман махнул рукой.

— Так, братцы ополченцы, нам несказанно повезло, — выходя со всеми во двор, весело говорил Усов. — Казаки Атаману медикаментов подкинули, так что будем сегодня переть килограмм тридцать-сорок на брата. Так, батька?

— Быстро к мешкам пришивайте лямки, — скомандовал Атаман. — Будет легче нести.

Все приступили к работе, Атаман в это время звонил кому-то, разговаривал эзоповым языком:

— Едут на свадьбу гости, ждут приглашения.

— А дары везут? — спрашивали на другом конце.

— Есть и дары. Средства от похмелья...

— Это хорошо! — отвечали Атаману. — У нас с этой «свадьбой» все «алкозельцеры» закончились...

За делом ополченцы стали обсуждать, кому, куда бы хотелось попасть. Африка и Усов рвались в Славянск, считая, что судьба Новороссии будет решаться там. Хоттабыч и Татьяна хотели попасть в Станицу Луганскую, и только один Афанасий рвался на Сапун-Гору, там могила его прадеда.

— Не спорьте, Атаман работает с Бэтменом и Мозговым, стало быть, нам к ним... — неожиданно заговорил молчавший до этого Серёга.

— А ты давно знаешь Атамана? — спросил его Усов.

— Знаю...

— Ну и как он?..

— Были времена, мог разом пятерых на уши поставить...

— Убедительно...

Время было за полдень, когда с той стороны дали добро.

— Батя говорит: лучшее время для перехода — утро, но выходим всегда под вечер, — усмехается Атаман.

— А если ночью? — предлагает Усов.

— Ночь не годится. Нацикам пиндосы приборы ночного видения подкинули. Они нас как слепых котят передают. Днём-то мы с ними на равных...

Наконец все готовы. Жена Атамана перекрестила каждого.

— Ты б защитную панаму одел, — посоветовала мужу. — Сверкаешь своей лысиной — за три версты видно...

— Мне в шапке нельзя, — возражал Атаман. — Я в ней плохо слышу...

— Может, собаку возмёшь?

— Я сам как собака...

— Хоть голос подаст...

— Нам лишнего шума не надо...

Вереницей по одному спустились в пойму, узкой тропкой пошли вдоль реки к броду.

— Может, на лодке переправимся? — предложил Атаману Серёга.

— Нет!.. — отвечал тот. — Лодка как бельмо будет торчать на том берегу. Запалим место...

Вдруг Атаман вскинул руку. Все стали. Впереди слышалась музыка, голоса, чей-то смех... Сладко пахло шашлыками...

— Это на нашей стороне... — прошептал Серёга.

— На нашей... — согласно кивнул Атаман. — Мало ли кто здесь под видом беженцев... Звякнут по телефону и прощай... Обойдём от греха...

Вслед за Атаманом все ушли с тропы, пролезли буреломом, вновь вышли к реке. Всё ещё было знойно, и навьюченный на каждом груз давал о себе знать. Тропа то спускалась к самой воде, то убегала ввысь и терялась между деревьев. Все ориентировались лишь на широкую спину Атамана. В молодости он обладал недюжинной силой, легко жонглировал двухпудовыми гириями. В здешних краях его хорошо знали и побаивались. Но многочисленные ранения и травмы с годами не прошли для него даром. Сейчас он заметно прихрамывал, и, морщась от боли, время от времени подёргивал плечом трижды сломанной правой руки. И всё же былая слава по-прежнему вселяла в него уверенность и заставляла верить в него других. Придя на место переправы, Атаман долго всматривался в противоположный берег. Он заметил, что красноголовый дятел спокойно крошит сухой ствол тополя, трясогозка скачет у воды — значит, поблизости никого нет. Наконец он обернулся к покорно ждущим его решения людям, сказал решительно:

— Будем переходить здесь!..

— Не нарвёмся на укропский пограннаряд? — робко спросил Арсений, которого заметно начало потрёпывать.

— Погранцы здесь не ходят... Это до войны они шлялись повсюду, теперь бздят отойти от заставы. Пришлые нацики насакивают, но они ещё плохо знают тропы...

— А если кто выпасет?..

— Я два раза кряду по одной тропе не хожу... Ещё вопросы?

— А ты гарантируешь, что нас, безоружных, не...

— Я даже жене своей не гарантирую, что меня не пристрелят на переходе! — прервал его Атаман. — Так что если кто сомневается — возвращайтесь, никого не осужу.

— Атаман, — разряжая напряжение, весело заговорил Усов. — А правда, что в молодости ты мог сразу пять человек на уши поставить?

— Дурное дело нехитро... — уклончиво отвечал Атаман.

Он обернулся к присутствующим. Все стояли на месте, никто не ушёл.

— А теперь слушайте и запоминайте. Первое, — всем выключить телефоны. Никаких разговоров — звук по реке далеко катится... Раздеваемся догола... Оденетесь на той стороне. Дорога будет тяжёлой, натрете себе...

— Далеко идти? — спросил кто-то.

— Как повезёт... По-разному... — неопределённо ответил Атаман. — С меня не сводить глаз. Поднял руку вверх — стали. Резко опустил — падаем. Рука в сторону — сваливайте туда... Если меня убьют — река справа. Всем возвращаться... И смотрите под ноги, чтоб ни одна ветка не хрустнула...

«Как можно не сводить глаз с Атамана, и смотреть под ноги?» — весело подумал Серёга, но промолчал.

Атаман первым вступил в воду, перекрестился, и все следовавшие за ним приняли это как команду, тоже перекрестились — кто-то легко и привычно, кто-то неуклюже — видимо в первый раз. Перейдя реку, молча оделись, взвалив на себя поклажу, след в след двинулись за Атаманом по

узкой, едва различимой тропке. Тропа повторяла изгибы реки; там, где река шла прямо, и тропка была пряма, там, где река сворачивала вправо, она следовала за ней.

Неожиданно тропу перегородило упавшее на неё сухое дерево. Ещё вчера Атаман проходил здесь — дерева не было. Скорей всего его свалил ветер, но могло быть и так, что «укры» специально свалили его на тропу, оставили как метку; если дерево убрать, то будет понятно, что именно здесь он проводит людей.

Серёга никогда не ходил этими тропами, но так как был с этих мест, представлял, куда они могут вывести.

— Деда Павла знаешь? — шёпотом спросил Атаман. — Его ещё Блином кличут...

Серёга поморщился, вспоминая. Кличка Блин ему была знакома, но самого деда Павла он не помнил.

— Сразу за старым руслом, под горой — пятый дом... прошептал Атаман. — Если со мной что-то случится, людей выведешь ты... — не дожидаясь Серёгинаго согласия, сказал он как уже о решённом деле, и, свернув с тропы, с трудом продрался сквозь цепкий кустарник вокруг злополучного дерева. Теперь оно и для него будет знаком, — если завтра его уберут с тропы, значит здесь проходили чужие.

Последние слова Атамана ещё более усилили внутреннее волнение, захлестнувшее Серёгу. Атаман шёл уверенно и скоро, не оборачиваясь, ни придерживая шаг, словно забывши обо всех; ни одна ветка не хрустнет под его ногой. Там, где, казалось бы, нужно остановиться и оглядеться, он продолжал идти. И Серёга вдруг почувствовал себя ответственным за этот переход. Стук его сердца стал заглушать чужие шаги, и он боялся, что пропустит, не заметит что-то главное, и эти люди, идущие следом за ним, будут обречены уже только по его вине.

Удивительным образом Серёга умудрялся и смотреть под ноги, и не упускать из вида могучую Атаманову спину. Порой ему казалось, что он одновременно видит и справа, и слева, видит даже спиной. Видит, как обречённо идут шаг в шаг доверившиеся Атаману люди. Вон впереди огромная покосившаяся верба заслонила собой тропу...

«Идеальное место для засады...» — успевает подумать он. И тут же, как из-под земли, вырос на тропе человек в камуфляже с биноклем на груди. Шляпа афганка затеняла его лицо. «Вот и нарвались... А всё потому, что бездумно доверились самоуверенному Атаману... Сейчас из-за вербы ударит длинная очередь и Атаман даже не успеет вскинуть руку, чтоб подать остальным знак тревоги. Какая глупая смерть...» — как в гипнотическом сне думает Серёга и даже не пытается прыгнуть с тропы.

Наконец рука Атамана вздрогнула, стала приподниматься.

«Как странно, — думал Серёга, — одна и та же река, одна и та же земля, одни и те же хутора, один и тот же народ... Ещё недавно я ходил через эту реку по этой земле к матери и никому не приходило в голову даже спросить меня, зачем я здесь... Но теперь, по чьей-то прихоти, только за то, что мы перешли реку, нас запросто можно убивать...».

Атаман вскинул руки и обнял незнакомца.

— Что, Петруха, чисто? — спросил он.

— Чисто, — ответил тот.

Шумно выдохнув, Серёга утёр со лба пот. Почувствовал, что идущие сзади тоже выдохнули. Не оглядываясь, он видел, как и они утирают пот.

Некоторое время шли опушкой леса, справа далеко просматривалось заброшенное, поросшее бурьяном и мелким кустарником поле. Раньше здесь были колхозные огороды, о которых сейчас напоминали лишь глубокие магистрали, по которым когда-то пускалась вода для полива. Слева над своими гнёздами верещали копчики: «Пи-пи-пи... Пи-пи-пи...» — неслось по округе.

Не поворачивая головы, Атаман скосил глаза в их сторону.

— Они всегда верещат тут, — заверил Петруха.

Атаман не ответил.

Тропа снова вильнула в лес. Здесь было не так знойно, но идти было тяжелее: густые ветви беспрестанно хватали путников за головы, плечи, вещмешки... Неожиданно деревья расступились, и тропа резко покатила вниз, и Серёга увидел заросшее камышом и осокой старое русло реки. Было тихо до жути — ни шороха, ни птичьего писка. Атаман вскинул руку — все замерло. Он долго вслушивался в тишину, наконец взглянул на Петруху.

— Ты давно проходил здесь? — спросил шёпотом.

— Минут двадцать... Ну, с полчаса. Чисто...

Атаман поднёс к уху телефон и тут же опустил. Связи не было. Он вновь прислушался, даже потянул носом воздух.

— Чую... Зверем чую... — прошептал он, и всем стало не по себе.

Вдруг ему вспомнился ночной сон. «Это был не сон — явь! — догадался он. — Это моя смерть рассматривала меня!..».

— Валим!.. За мной... — выдохнул Атаман, и, взмахнув рукой, резко ушёл с тропы.

Все бросились за ним. Вслед отрывисто затрещали запоздалые выстрелы. Четверть часа, проламываясь сквозь заросли двухметровой крапивы, путаясь ногами в густой ежевике, обжигая руки и раздирая в кровь лица, бежали за Атаманом. Мешки стали неподъемно тяжёлыми, пот выедал глаза, и всем уж казалось, что это не кончится никогда.

Наконец ноги Атамана стали заплетаться, он дотянул до высокой вербы, и, упёршись в неё лбом, остановился, хрипло отдыхаясь, покоился назад.

— Все? Никого не потеряли? — задыхаясь, заговорил он.

— Все... — оглядевшись, сказал Петруха.

Атаман вновь поднял телефон, усмехнулся.

— Здесь низинка — плохая связь, — заметил Петруха.

Атаман взглянул на него и нервно расхохотался.

— А я ведь чуял... Чуял... Как зверь чую в последнее время... Рация на мази?

— На мази... — ответил растерянный Петруха и тут же робко добавил: — Батя велел только в крайнем случае выходить...

Атаман, молча забрал рацию.

— Батя, Батя, как слышишь? — всё ещё задыхаясь, заговорил он.

— Слышу, Атаман. Слышу... — прохрипела рация. — Что у тебя?

— Тесно стало жить в последнее время. Тесно и душно...

— Понял тебя...

— Буду уходить магистралями... Другого прохода нет...

— Гляди, на выходе простреливаются...

— Но ты же меня прикроешь?.. — хрипло рассмеялся Атаман.

Некоторое время рация молчала, наконец, послышался треск:

— Я тебя понял, Атаман!

Атаман обернулся к обречённо ждущим новых его распоряжений людям.

— Ещё чуток прогуляемся... — успокаивающе сказал он, и, взмахнув рукой, быстрым шагом пошёл сквозь терновые заросли.

Ничего не соображая и даже уже не пытаюсь разобраться в происходящем, все покорно двинулись за Атаманом. Только один Петруха, ломаясь через заросли, норовил поравняться с ним.

— Атаман, Атаман... Куда ж ты?.. Магистралей справа... Там будет Батя... — беспомощно шептал он.

Но Атаман не слышал его.

Больно хлещут по лицам колючие ветки, жжёт крапива, раздрает ноги колючая ежевика, щиплют от пота раны, надсадные дыхания сливаются воедино, и вновь кажется, не будет конца этому пути. Вот Атаман врзается в заросли камыша — под ногами зачавкала покрытая тиной вода. С каждым шагом всё глубже, глубже... Уже по колена, по пояс... Вдруг камыши расступились и все увидели в полсотни шагов берег, сбегающие по косогору хуторские огороды. Какой-то старик, опершись на палку, стоял у самой воды.

— Все на месте, никто не утонул?! — уже не таясь, весело спросил Атаман.

Никто не ответил. Выйдя на берег, все молча повалились на траву, и только Африка неожиданно рассмеялся.

— Что, дед Павло, дождался? — Атаман обнял старика.

— Насилу дождался... — качнул тот головой. — По вас пухкали?

— Ну?! Разве «пухкали»? — смеётся Атаман.

— Да ну тебя... — сердится дед Павло. — Такой же брехун, как и Батя... Только Петруха со двора, тут едрёт твою такое пошло... Один за другим джипы с чертями, и все на тропу... Я телефон хватать — ни гу-гу. Бегом к соседке, и у ей не работает... Чуть с ума не сошёл...

— А Батя? На магистралях?.. — спросил старика Петруха.

— Да что он дурак?.. Вон, разлёгся под виноградом как медведь, вас дожидается.

— Чё брешешь, дед Павло?.. Я Атамана прикрываю у магистралей!.. — весёлый голос под виноградом.

— Вот едрёт твою. А? — в сердцах кивает в его сторону дед Павло. — Племяша отправил, и хоть бы сердце у него ёкнуло...

— А чего ему ёкать — племяш с Атаманом... — раздвинув плети, Батя вылез на простор, повёл плечами — хрустнули кости. По-медвежьи обнял Атамана. — Ну, как я тебя прикрыл?!

— Да кабы не ты, и не знаю как бы я... — подыгрывает Атаман. Они знакомы давно и понимают друг друга с одних лишь им известных намёков.

— Тесно, говоришь, стало?

— Тесно... А я зверем почувал...

— Дядь... Батя... Я всё проверял — чисто было... — на глазах Петрухи блеснули слёзы. — Ты думаешь, я...

Только тут Серёга понял, что Петрухе не больше шестнадцати.

— Да брось ты, Петрух, — успокоил Батя. — Там тоже не дураки. Пасли тебя...

— Так что, больше ему не ходить? — спросил дед Павло.

— Пусть ходит... — подумав, ответил Батя, и добавил уже Петрухе: — Рацию Атаману отдашь. Бинокль не бери — отнимут. И ходи. Каждый день ходи. Есть переход, нет — ходи. Пусть подрочатся...

Не сговариваясь, все шестеро ополченцев выстроились в один ряд.

— Это Батя, — сказал Атаман. — Он теперь для вас бог, царь и воинский начальник... Все вопросы к нему...

— Нас к Мозговому? — за всех спросил Усов.

— Ага, к Бэтмену и Мозговому... И сразу в бой!.. — с усмешкой ответил Батя. — В Дубраву вас отвезу. Там тренировочный лагерь — проверят, кто на что годен. Сейчас много поступает таких, кто и в армии не служил...

— И что с такими? — настороженно спросил Афанасий.

— Учим...

Батя осмотрел строй измотанных трудной дорогой ополченцев, свой взгляд остановил на Татьяне, которая, впрочем, выглядела свежее других.

— Вас что-то смущает? — спросила она.

— Да нет... — уклончиво ответил Батя. — Работа для всех найдётся...

— Татьяна мастер спорта по стрельбе... — сказал Атаман и, сделав паузу, добавил: — По стрельбе из лука.

— Нам бы ещё метателей копий... — усмехнулся Батя, но тему развить не успел.

— Хватит тут хахоньки разводить!.. — сурово подступил к нему дед Павло.

— Ты привёз мне?..

— Привёз... Вон чай, сахар, печенье... Будешь ребят угощать...

— Ты мне мозги не крути. Гранатомёт привёз?!

— Дед Павло, на хрена он тебе нужен?..

— Он мне нужней, чем тебе!.. Разъездились тут, гады... Туда-сюда, туда-сюда... Вон, сегодня Петруху чуть не прихватили... А был бы — я б им...

— Дед Павло, поставь чаю, — устало произнес Батя. — Нам скоро отчаливать...

Обиженно сопя, дед Павло заваривал чай. Все присели на лавки вокруг стола, который стоял в теньку виноградной беседки. Где-то на горе один за другим гроыхнули три разрыва. Дрогнула земля, звякнули ложки в стаканах.

— Это Кудияра за Погореловкой утуют, — глянув в гору, сказал Батя.

— Последний блокпост с севера. Не устоят — всё посыплется до самой Станицы...

— Во казачура! — не тая восхищения, добавил дед Павло. — Молодь похватила свои айфоны и драпает кто куда, а этому за семьдесят — с баррикады не слазит... Гранатомёт привезёшь?..

Батя поперхнулся чаем, закашлялся, но ничего не ответил.

Серёге было приятно слышать о Кудияре. Хотелось тут же всем рассказать, что это его отчим, но по обыкновению он промолчал.

— Погореловка наша? — спросил Батю.

— Да толком ничья... Утром правосеки чёрно-красные флаги вывесят, к обеду Кудияр посбивает их, вывесит свои, нет своих — российский повесит, к вечеру опять правосеки, ночью опять Кудияр. Так и тасуются...

— А что местные администрации? — спросил Усов.

— А то ты не знаешь наших чинуш!.. — махнул рукой Батя.

— Кто придёт — тем и служат, — добавил дед Павло. — Они конечно с радостью готовы служить нам, но приходят бандеровцы — без радости служат им...

— В Погореловку не заедем?.. — спросил Серёга.

— У него мать в Погореловке, — сказал Атаман.

— Сейчас нельзя туда, можно напороться. Отобьём окончательно — повидаешься... — пообещал Батя.

— А ты чего кислый? — взглянул на Атамана.

— Ещё раз отведу и всё... — сказал тот. — Ухожу к Бэтмену...

— Ты это брось дурку гнать! — сурово прервал Батя. — Этому гранатомёт, тебе к Бэтмену.. А людей через линию кто водить будет? Петруха?

Атаман молча вздохнул.

— И вообще, я тебе ещё за прошлый раз не ввалил!..

Атаман вскинул голову.

— Когда по нам из рощи стреляли, ты зачем со своей «мухобойкой» выскочил?

— Отвлечь на себя хотел...

— Отвлечь... Ты, Атаман, запомни, если меня убьют — завтра сюда другого пришлют, а тебя здесь никто не заменит. Ты нам живой нужен...

— Ребята там воюют, а я здесь...

— Не каждый мужчина, кто в кого-то стрелял, но каждый, в кого стреляли... — парировал Батя и взглянул на часы.

— Так, бойцы, закладывайте вещами зад микроавтобуса и по рюкзаку по бокам, — скомандовал он. — Будут стрелять — падайте на пол...

— Не напоритесь там... — строго сказал дед Павло.

— Не напоремся... Они теперь до ночи магистрали топтать будут, — подмигнул Атаману Батя.

— Хоть бы рыбаков там не постреляли...

— Пусть стреляют... — неожиданно произнёс Батя. — А то кому война, а кому рыбалка... Как только начали нас долбить под Станицей — толпы беженцев ломанулись к границе. И кто попереди всех? Рыбачки... Бегут здоровенные мужики. У них дома попалили, детей побили, а они ломаются попереди баб... Кудияр на своём блокпосту порядок мигом навёл — женщин, стариков, детей в первую очередь, а мужикам говорит: «Наденете бабские колготки, тогда пропущу!».

— И что же, надели? — улыбнулась Татьяна.

— Некоторые одумались, вернулись, а в основном «надели»... — морщится Батя.

На прощанье он обнял деда Павла, ткнул кулаком в плечо Атамана.

— Ты это... Куда тебе в твои годы... Там молодые нужны, там бегать надо...

— Ну да... А тут я не бегаю... — сказал Атаман и потёр кулаком засохшие на лице грязные потёки пота.

Прощаясь, он обнял каждого, и каждому попытался найти нужное слово: «Ты, Ус, не вздумай погибнуть, тебе ещё нашим детям историю писать», «Хоттабыч, на тебе Татьяна...», «Татьяна...» — Татьяне ничего не сказал, только поцеловал в лоб.

Атаман перекрестил отъезжающих, и ему сразу стало одиноко и грустно.

— Плесни чайку, — попросил деда Павла.

— Что-то на тебе лица нет. Может карвалолу плеснуть?

— Плесни чего-нибудь...

— Загонял ты мотор...

— А-а...

— А я как переволюнаюсь... Тут у меня одно средство... Может пересидишь у меня до завтра, а на зорьке...

— Не, — мотнул головой Атаман.

— На зорьке спокойней.

— Мне одному и сейчас спокойно...

По вечерам Ивана Власовича купали. Мария наполняла большое старинное корыто тёплой водой. Чтоб приглушить уже начавшиеся пролежни, до-

бавляла чуток марганцовки и густой настой из чистотела, дуба, ноготков и листьев бузины. Лёха брал старика на руки и осторожно опускал в воду. Иван Власович легонько постанывал, кряхтел, но процедуру омовения выдерживал до конца. Наконец, Лёха поднимал его из корыта, и пока держал над водой, Мария промокала его сухой простынёй. Чистого, осушённого Ивана Власовича укладывали в свежую постель.

— А куда-то Серёжка подевался? — спрашивал Иван Власович.

— Туда... — кивала в сторону реки Мария.

— К матери, что ль, к Людмиле?..

— Туда, куда тебя каждый день мордует... — тихо ворчит Мария.

— Громче ты говори! — прерывисто дыша, сипит Иван Власович. — Щебечешь как пичуга, ничего не пойму...

— К матери пошёл! — громко кричит Мария.

— К матери... к матери... — раздумывая, бормочет Иван Власович. — Убьют его там, дурака...

— Чегой-то его убьют?! — с вызовом подступает Мария. — Втемяшил себе дуротень...

— Он же тамо вконец сопьётся...

— Не сопьётся — у Бэтмена сухой закон, — возражает Лёха.

— Да! — подхватывает Мария. — Там за такие дела чуть ни до смерти расстреливают!

— Вон оно чего... Но тогда может и уцелеет, — успокаивается Иван Власович.

— А кто этот Бэтмен — немец, жид? — спрашивает через время.

— Русак! — кричит Лёха.

— Русак?.. А имечко у него...

— Это он позывной такой для форсу придумал, чтоб бандеров с панталыки сбить.

— Вон чего...

— Я б и сам туда пошёл, да с меня какой толк, только в ногах путаться... Да и кобылу куда денешь?.. Пропадёт без меня... — оправдывается Лёха.

— То так... — соглашается Иван Власович то ли с тем, что кобыла пропадет, то ли с его непригодностью.

Рано утром в дверь постучал Атаман.

— Тётъ Мань, — тихо позвал он.

— Убили?.. — выскочив на порог, выдохнула она.

— Убили... — кивнул Атаман. — В первый же день, в Дубраве... Самолётами разбомбили...

— Я как знала... — крестясь, прошептала Мария. — Да и он сам знал... Деду ни гу-гу!.. — прижала палец к губам.

— Да это понятно... Сейчас мы с Лёхой за ним... Придёте потом помочь, чтоб всё как... Батюшку надо...

Утирая слёзы, Мария молча кивала.

— Что, твоими тропами, через брод? — подогнав бричку, спросил Лёха.

— Моими тропами конём не пройти. Может, с украинскими пограничниками договоримся?..

— Договоримся... — уверенно кивнул Лёха.

На бричке поехали через мост, стали на нейтральной полосе. Атаман с кем-то созванивался, но на той стороне была какая-то задержка. Атаман

нервно всматривался в украинский погранпост, Лёха лихорадочно тискал в зубах сигарету.

— Ты думаешь, я туда не хочу?.. Меня кобыла держит!.. — не тая раздражения, говорил он.

— Ничего я не думаю... — хмуро отвечал Атаман.

— Думаешь!.. — комкая недокуренную сигарету, зло выкрикнул Лёха. — А куда её деть?.. Возьмёшь кобылу?!

— На что она мне?.. За кобылой уход нужен, это не кошка — выпустил и пусть мышей ловит...

— И я про то ж! Держит зараза по рукам... Если б не она — вперёд Серёги там был...

Атаман не ответил. Достал телефон, снова начал созваниваться с кем-то.

— Сейчас договорюсь с нашими... Жди, — наконец приказал он и отправился к российским пограничникам.

Лёха, понутив голову, покорно остался ждать. До него доносились обрывки разговора:

— Ну и как ты себе это представляешь, Атаман?.. — голос старшего лейтенанта Климова — старшего по заставе.

— А чё там... стволы к башкам приставим...

— Ты совсем охренел, Атаман?!.. Это ты здесь сам по себе воюешь, а я здесь — Россия. А Россия в войну не вступала!..

— А я на тебя рассчитывал, старлей...

— Рассчитывать будешь, когда у нашего бара драка начнётся!..

— У бара я и без тебя справлюсь!.. — зло сказал Атаман и двинулся к Лёхе.

— Пойдём... — приблизившись, глухо сказал он, и Лёха понял, что никто им сейчас не поможет.

— Теперь не мешай мне! — неожиданно властно произнёс он, и, отстранив Атамана, держа в поводу лошадь, уверенно зашагал к украинскому посту.

Подойдя к шлагбауму, не церемонясь, оборвал удерживающую его верёвку. Шлагбаум взмыл вверх так, что кобыла от неожиданности подпрыгнула на месте.

— Э-э, дядя, ты чего?!.. Заблудился?!.. — выскакивая из сторожки, бежали навстречу украинские пограничники.

— Так, ребята... — подождав, когда все соберутся у шлагбаума, прохрипел Лёха. — Расклад такой: вон подходит машина, везут моего братку. Если кто... Если хоть одна блядь из вас дёрнется — убью всех до единого!..

Всё это Лёха произнёс настолько уверенно, что даже Атаман уверовал, что именно так всё и произойдёт. Тут боковым зрением, почти за тылком, он увидел, как к нейтральной полосе подтягиваются наши пограничники. Атаман знал, что дальше нейтралки они не пойдут, но сердце его возликовало.

— Не испытывайте судьбу, ребята! — оскалился Атаман, и в этом оскале читались и отчаянье, и весёлость, и какой-то бесшабашный вызов.

Лёха передал ему вожжи, раскинул в стороны стволы, уверенно шагнул сквозь строй ещё минуту назад самоуверенных людей. Они, молча, расступились перед ним; потупившись, каждый смотрел себе под ноги, словно ждал какой-то особой команды, но команда не поступала.

А Лёха принял из машины ещё податливое, не успевшее заостенеть тело; взвалив на плечо, вернулся сквозь расступившийся строй и осторожно уложил его на брчку головой назад.

— Живите... — закрыв за собой шлагбаум, вместо благодарности, прохрипел он. Взяв из рук Атамана вожжи, развернул бричку.

На другой день отец Антоний отпевал «убиенного воина Сергия». В комнате пахло воском и ладаном. Серёга со скрещенными на груди руками лежал в тесном гробу и, казалось, внимательно слушал заупокойную молитву. Лицо его было спокойно, в нём не было отображения ни страха, ни мук, скорей оно выражало некое изумление.

О гибели Серёги Иван Власовичу не сообщили. Смутно о чём-то догадываясь, он спросил пришедшую с похорон Марию:

— Что там такое?..

— Какое? — грубовато переспросила та, чтоб уйти от конкретного разговора.

— Ну, гомон...

— Где гомон?..

— Там... — кивнул на окно Иван Власович.

— Не слышу никакого гомона, — уверенно сказала Мария. — Придумал себе...

Мария старалась вести себя обыденно, и Иван Власович к этому разговору больше не возвращался.

На поминах Серёги Атаман крепко выпил, что случилось с ним крайне редко. Помолясь в конце трапезы, он с трудом вышел из-за стола и, не вступая ни с кем в обыденные в таких случаях разговоры, пошатываясь, молча ушёл к себе. Лёха ж, вопреки ожиданиям, на поминах не напился, даже не пригубил. Он может и хотел бы выпить, но как-то не получилось. Когда все присутствующие выпивали «за упокой раба Божьего Сергея», он вместе со всеми поднимал стопку, но тут его вдруг начинали трясти рыдания. Расплескав на себя водку, он ставил порожнюю стопку на стол. Когда поднимали по второй и по третьей — всё повторялось.

— Серёга не хочет, чтоб я... — выдавил из себя Лёха и впервые заплакал.

— Вы на меня не глядите, я... Да чего там... Поминайте братку, — просил он присутствующих. — Вас он не осудит...

Глаза его были пустые и неподвижные. Казалось, он ослеп, но сам ещё не догадался об этом.

Батя как обычно запаздывал, и Атаман привёл людей далеко за полдень. Солнце, перевалив за росшие вдоль старого русла вербы, уже клонилось к горе. Оттуда отчётливей слышался треск горящей травы и кустарников, резче запахло дымом, что всегда случается перед вечерней прохладой.

— Укропы хлеба зажгли, — сообщил Батя. — Сегодня уже седьмое поле догорает...

Где-то совсем близко один за другим ухнули три взрыва.

— Кудияра из саушек добивают... — вглядываясь в затянутую дымом гору, добавил дед Павло.

— Не удержите блокпост? — спросил Атаман.

— Да там уж и нет никого, один Кудияр... — сказал Батя. — Вчера пятерых ребят положили... Какие парни!.. Дали команду отходить... Теперь там один Кудияр...

— А он что?..

— Крышу видать подорвало... Пробовали его эвакуировать. Где там!.. Палит без разбору на четыре стороны... Гляди, на обратном пути не попади в его радиус...

Узкой, едва приметной тропкой, нахоженной козами, Атаман шёл под самой горой. Здесь нет дорог; старые пути давно размыты, порезаны ериками, сбегаящими с горы. Едва ли тут рискнёт кто-то проехать, поэтому чувствовал он себя в некоторой безопасности.

Вдруг вверху треснули сучья — по размытому склону покатались вниз мелкие камушки. Атаман поднял лицо и вскоре заметил: по белому оголённому склону, осклизаясь и падая, двигался к нему пьяной походкой человек в разодранной одежде. Одна штанина была наполовину оторвана, наступая на неё, человек спотыкался с каждым шагом. Вдруг он замер и вскинул автомат.

— Кудияр?.. — окликнул Атаман.

— А-а... Атаман... Тебя ещё не убили?..

Спустившись вниз, Кудияр обнял Атамана. На белых усах его подрагивали грязные капли — ни то пот, ни то слёзы.

— Ещё жив... Жив... — бормотал он. — А я... У меня вчера таких ребят положили!.. Слышь, Атаман, таких боле не будет!..

Кудияр отёр лицо о грудь Атамана, и наконец отстранился.

— Всё, нет блокпоста... — выдохнул он. — Не удержим Станицу.. И Бате не долго здесь гулять... Сегодня ночью все, кто помоложе, за Донец ушли, а я... Куда мне?..

— Давай переведу тебя в Россию, — предложил Атаман. — Здесь у меня тропы свои...

— А я и есть в России! — с вызовом сказал Кудияр. — Вот она, Россия! — притопнув ногой, закричал он. — Вот она, под ногами!..

— Не кричи, — крепко прижал его к себе Атаман. — Услышат...

— Пусть слышат!.. — упрямо хлопал разодранной штаниной Кудияр.

— Ладно... Кто ж с этим спорит... Конечно Россия... — успокаивал Атаман.

— Куда тебе здесь оставаться; давай через Деркул переведу...

Кудияр отстранился, некоторое время с удивлением рассматривал Атамана, наконец, отрицательно мотнул головой.

— Как я уйду? А Людмилу кому оставлю?..

— Давай всех переведу. И Людмилу...

— Не-е-т, куда нам идти?.. — успокаиваясь, рассудительно заговорил Кудияр. — Тут у нас всё своё — и дом, и хозяйство... А там?.. Приживалками к Серёге и Лёхе?..

«Значит, за Серёгу ещё не знают», — догадался Атаман и промолчал.

Отвернув от горы, Атаман углубился в лес. Задумавшись, он давно перестал замечать дорогу; ноги сами находили верный путь — где надо сворачивали, где надо переступали через валежник. Он понимал, что нужно почаще останавливаться, осматриваться, прислушиваться, как он всё время делает, когда за его плечами доверившиеся ему люди. Но людей он уже отправил с Батей, и упадок сил всё сильнее и сильнее давал о себе знать.

«Господи, как я устал!..» — взявшись за голову, думал он, продолжая идти.

— Стой! Стоять!.. — у самого виска прозвучал властный голос.

Он давно ждал этого оклика, и всё же, кажется, он застал врасплох. На мгновенье Атаман застыл на месте, но тут же стал медленно оборачиваться.

— Стоять, не оборачиваться!.. — нервно закричал второй голос. — Не оборачивайся — пристрелю!..

— А так бы не пристрелил? — обернувшись, с усмешкой спросил Атаман.

Это у него нервное. Когда он теряет самообладание — всегда всё делает с вызовом и вопреки здравому смыслу.

Два ствола смотрели ему прямо в лицо.

«Только двое, — осматриваясь, подумал он. — Поблизости больше никого — двое...».

Про себя он тут же означил своих врагов понятными лишь ему самому именами. Так, высокого долговязого парня, который первым окликнул его, назвал Длинным, и второго, приземистого, широкого в плечах, обозначил Коротким.

— Атаман? — спросил Длинный.

Атаман не ответил.

— Ну и где твоё войско, Атаман? — с насмешкой спросил Короткий.

Атаман инстинктивно покосился туда, где только уехали с Батей вверенные ему люди, где остался на берегу старого русла дед Павло, где прошёл своими тропами растерзанный Кудияр... Все они на какое-то мгновение ожили в его памяти, но он промолчал.

— Что, москалик, смерти боишься? — скривив губы, смеётся Длинный.

Атаман молча пожал плечами.

— Тебя спрашивают: смерти боишься?! — нервно ткнул его стволом в лоб Короткий.

— Не пробовал, не знаю...

— Сейчас спробуешь! Пошёл вперёд!..

— Нет, ребята, никуда я не пойду. Хотите, стреляйте здесь...

— Ещё как пойдёшь! На карачках сейчас ползти будешь!..

Крутнувшись на месте, Короткий ударил Атамана ногой в живот. Тот перегнулся от боли, сделал несколько шагов назад, но на ногах удержался.

«Нужно заставить его нервничать и идти на сближение...» — подумал Атаман. В уме его уже выстраивалась некая комбинация.

— Это и всё, на что ты способен? — скрывая боль, усмехнулся он. — Ну-ка махни ещё!..

Короткий злится, размашисто бьёт, но Атаман уже ждёт этот удар и легко уворачивается. Провалившись, Короткий, едва не упав в кусты, сам идёт на сближение, цепкой рукой хватая Атамана за воротник. Теперь автомат его в левой руке, и он больше мешает ему.

— Не дёргайся, от меня не вырвешься! — задыхаясь от злобы, рычит Короткий. — Знаешь, как меня кличут среди своих? — Алабай! Хватка у меня мёртвая... Понял меня?.. Ну, отвечай. Понял? Что перекошил рожу?

— Не люблю собак...

— Полюбишь... Берцы мне лизать будешь...

— Дурачок ты... — выводя соперника из себя, улыбается Атаман.

Сильный удар в голову потряс его, в глазах вспыхнуло пламя, колени его подогнулись. Это Длинный ударил прикладом. Атаман наверняка бы упал, но Короткий удержал его за ворот.

— Что ты делаешь?.. Ты же русский... — перебарывая боль, выдохнул он.

— Русский?! — запальчиво выкрикнул Длинный. — Мы славяне-арии, а вы грязный улус Орды. Так что не клейся в родственники...

«Боже, какая каша у них в голове... Славяне-арии... Это всё равно, что чукчи-дорийцы, — подумал он. — Кто им вдолбил в голову эту хрень?..».

— Из-за таких, как ты, я стыжусь, что я русский... — запальчиво произнёс Короткий.

— Не стыдись, ты не русский... ты алабай... — наконец расправляя колени, сказал Атаман.

— Ну-ка вперёд! — толкнул его в спину Длинный. — Пошёл!

— Нет, не пойду... — качнул головой Атаман. — Если сможете, тащите меня на себе. Если сможете...

Отойдя на несколько шагов, Длинный достал рацию, начал говорить с кем-то:

— Только что взяли Атамана. Да, тот самый... Пришлите подкрепление... Да нет, не хочет идти. Не переть же на себе этот центнер...

«Значит, минут пять-десять у меня есть. Длинный занят разговором, остался один Короткий... Такого момента больше не будет...» — размышлял Атаман. Исподлобья он взглянул на противника, тот по-прежнему держал его правой рукой за ворот, левая с автоматом была отведена в сторону, значит задействовать её он не сможет. — «Сейчас... Если не сейчас, то всё... Лишь бы он не выронил автомат...» — промелькнуло в голове Атамана.

Атаман всем телом рванул назад — воротник затрещал, но рука, держащая его, не ослабла, напротив, вцепилась ещё крепче. И тогда, неожиданно для своего противника, он в долю секунды сблизился с ним и успел вывернуть от себя автомат. Один за другим лязгнули одинокие выстрелы, и Длинный, прижав к груди рацию, стал медленно приседать. Скрючившись и повалившись на бок, он несколько раз дёрнулся всем телом и в глазах его застыло удивление.

Яростно сопротивляясь, Короткий, не выпуская из руки автомат, пытался оторваться от Атамана. Тот же хорошо понимал: отпустить Короткого хотя бы на пару шагов — неминуемая смерть. Этот безмозглый «славянин-арий» расстреляет его в ту же секунду, а умирать Атаман не спешил. Так они и плясали на одном месте — один удерживал, другой из всех сил вырывался.

Атаман понимал: стоит ещё этому упрямому «Алабаю» продержаться какое-то время, и к нему подоспеет помощь, и тогда ему уже не спастись.

— Отдай автомат, и я тебя отпущу, — сказал Атаман.

— Скоро отпустишь... — хрипел Короткий. — Вон, уже едут наши...

Силы Атамана таяли, а соперник, казалось, был неутомим. Таща за собой Атамана, он с остервенелостью попавшего в капкан зверя метался из стороны в сторону. Наверняка он мог бы оказать и более достойное сопротивление, выпусти из левой руки автомат, но видимо он ещё надеялся им воспользоваться.

Где-то вдали послышался рёв приближающегося УАЗа. Короткий воспрянул духом и стал сопротивляться с удвоенным неистовством.

«Ещё каких-нибудь пару минут и мне не уйти...» — понял Атаман.

Он закружил Короткого вокруг себя, так, что ноги его повисли в воздухе. Не успел соперник коснуться земли, как Атаман захватил в объятия его мощную шею. Короткий крутанул головой, желая освободиться, но Атаман уже успел всунуть под его подбородок руку.

— Отдай автомат, и я оставлю тебя живым, — повторил он ему в самое ухо.

В ответ Короткий лишь дико зарычал что-то несвязное и стал биться ещё сильнее. Казалось ещё секунда и он вырвется на свободу.

Атаман сцепил в замке руки.

— Брось автомат! — закричал он ему в затылок.

Уже не сопротивляясь, Короткий раз за разом нажимал на спусковой крючок. Где-то у самого лица Атамана хлопали выстрелы.

«Своим подаёт сигнал», — догадался он и что есть силы, сжал свои руки.

Атаману не хотелось убивать, но каким-то подспудным чутьём он понимал: чтобы выжить самому, ему всё же придётся удавить это по-звериному упрямое существо.

«Не зря тебя по-собачьи назвали!» — злясь на упорство Короткого, думал он. Короткий быстро засучил ногами, вдруг всхрипнул и скоро затих.

— Эй! — ослабив руки, окликнул его Атаман.

Голова парня безвольно качнулась набок, взмокшие волосы рассыпались по лицу.

— Эй... — снова позвал Атаман и похлопал по темным щекам недавнего соперника.

С каждым хлопком лицо парня безобразно перекашивалось то в одну, то в другую сторону.

Атаман встряхнул парня, прислонился к его груди.

— Вот же дурак! — в ярости прокричал он. — Я же просил тебя...

Где-то совсем близко скрипнули тормоза, послышались приглушённые голоса, звяк оружия.

С трудом вдохнув в себя воздух, Атаман поднялся на ноги, спотыкаясь и падая, побрёл сквозь густую чащу к реке, теперь уже видя только лишь в ней своё спасение. Если б была погоня, его наверняка бы догнали, но чужие голоса людей не продвинулись дальше места его схватки. Они ещё не знали чужой им местности, и видимо боялись попасть на засаду. Уже у самой реки, он, наконец, осмотрелся. С удивлением увидел в своих руках автомат. Он всё-таки вырвал его из ослабевших рук своего соперника и всю дорогу волочил за собой. Атаман понимал, что там, на своей стороне, этот автомат будет ему не нужен. Он нашёл глазами ствол упавшего тополя, уже полусгнившего, покрытого лишайниками и мхами, засунул под него свой трофей, засыпал сухой корой.

«Может когда-нибудь пригодится...» — подумал он.

Тут силы окончательно покинули его. В сердце запекло, забулькало, и ему стало нестерпимо душно. Разодрав на горле рубаху, он в каких-то невероятных конвульсиях добрёл до реки и уже ничего не помня, ступил в воду. У противоположного берега кто-то подал ему руку. Ничего не соображая, он вышел на мокрый песок.

— Атаман, ранен? — услышал он чей-то голос.

С трудом он поднял глаза.

— А, старлей... — прохрипел он. — Старлей...

— Ты ранен?

— Ранен... — кивнул Атаман и, спотыкаясь, пьяно побрёл по-над рекой к дому.

Где-то на полпути он неожиданно ткнулся головой в мягкую грудь жены. Виктория обхватила его, прижала к себе.

— Ты чего?.. — отстранив ее, удивлённо спросил Атаман.

— Там стреляли...

— Стреляли?.. — вновь искренне удивился он.

— Стреляли...

— Ах да... Это на магистралях...

Зачем-то Атаман попытался вспомнить сившийся накануне сон, но как ни старался, ни один образ не всплыл в его памяти.

Доковыляв по дома, Атаман слёг и несколько суток не поднимался с постели. Он не ел, не пил, даже не спал. У него ничего не болело, но всё время не доставало воздуха. От этого его мучило и рвало, а так как рвать было нечем, казалось, что вот-вот он выплеснет из себя все свои внутренности. Виктория влажным полотенцем утирала его почерневшее лицо, а он конвульсивно отмахивался руками и в бреду повторял одно и то же:

— Господи, как я устал!.. Почему?.. Как могло это случиться?.. Такие ж русские мальчишки, такие ж кресты на груди... И вдруг.. Что нужно было сделать с их мозгами, чтоб они вдруг увидели себя ариями, а нас грязным ульсом Орды?.. Как я устал...

— Маруся... — далеко за полночь тихо позвал Иван Власович.

— Вот она я, — склонилась над ним Мария. — Может поешь чего? Ты за вчерашний день и крошки не взял...

Старик отрицательно качнул головой.

— У меня узварчик настоящий, холодненький, как ты любишь...

Вновь старик качает своей головой, и белые прядки волос рассыпаются по его восковому лбу.

— С грушами... — продолжает уговаривать жена. — Ты ж любишь с печёными грушами...

— Батюшку привезли? — чуть слышно шепчет Иван Власович.

— Послали к Антонию, а его нет, в отъезде... — отчитывается Мария. — К завтраму должен обернуться, — говорит она, словно оправдываясь.

— К завтраму не успеет... — шепчет старик.

— А ты потерпи... Куда тебе спешить?...

— Маруся, помолчи, — просит старик. — Я шас покаюсь тебе, а ты слово в слово Антонию перескажешь. С грехами тяжко и боязно...

— Тю на тебя! — всплёскивает Мария. — Какие ж там грехи — ты весь на ладони...

Мария хотела ещё что-то добавить, но ей вспомнилась Людмила, и она умолкла.

— Ты думаешь только Людмила?.. — словно читая её мысли, шепчет старик. — Людмила-Людмила... Как придёт, скажи прощения её спрашивал... А ещё...

По щеке старика скользнула слеза, разбилась о колючий подбородок.

— Чего ещё ей сказать? — уже без ревности спрашивает Мария.

— Скажи, прощения спрашивал... — вновь повторил старик и надолго умолк.

Она хотела уже уйти, но он коснулся её руки своими холодными пальцами.

«Остывает уже», — подумала она, и, взяв его руку, стала отогревать её своим дыханием.

— Антонию скажешь: дюже беспечно жил...

— Ваня, ну что ты такое приплетаешь?.. Ну как я буду Антонию... Подумает, что наговариваю на тебя зряшнее...

— Маруся... — уже с хрипом шепчет старик. — Не держи на меня сердце... То всё давнишнее и пустое... Только одну тебя и жалел...

— Ванечка!.. — вдруг всхлипнула Мария. — Ванечка, родимый, не терзай себя... Я ж первая во всём виновата... Ты ж как в армию призывался, помнишь, мы к речке с тобой ходили... А потом как ушёл, а у меня... А я спужалась, что не поверишь, подумаешь нагуляла с кемся — откажешься... Пошла к Грачихе... Она воды вскипятила, да спицею... Вот Господь и отказался от меня — оставил навек бездетною... А ты подобрал...

Утром приехал Антоний, Ивана Власовича успели пособоровать и ему неожиданно стало легче. Вымытый, побритый, он лежал в свежей рубашке и кротко улыбался.

Пришёл кум Павло. Присев у самой кровати, некоторое время сидел молча.

— Ну как ты, полчанин? — наконец произнёс он.

— Пора уж мне... — прошептал Иван Власович. — Воняю уже как дохлый кобель...

— Ничего не воняешь, — возразил Павло. — Мария за тобой смотрит, не даёт загнить...

— То так... Я её обижал, а она вот...

Снова надолго умолкли.

— А Серёжка щас бандеровцев лупит... — не без гордости прошептал Иван Власович.

— Лупит... — соглашаясь с ним, кивнул кум Павло.

— Что-то Атамана давно не видать, — неожиданно прошептал Иван Власович. — То навевывался, а щас не видать...

— Захворал Атаман... — уклончиво ответил Павло.

— Вон чего?... Хворает... Ему хворать нельзя...

— Нельзя... — согласился Павло.

— Кум, хочу тебя попросить...

Вслушиваясь, Павло наклонился к старому другу.

— Сыграй на прощанье...

— Чего? — растерянно осмотрелся Павло.

— Ну, нашенскую сыграй... Я сам пробовал, а голосу нет...

Павло вновь осмотрелся, словно ища у кого-то поддержки, но так как они были одни, наконец, зажмурил глаза.

— *Последний нонешний денёчек*
Гуляю с вами я, друзья!.. — гаркнул он во весь голос, так, что вздрогнули занавески на окнах.

— Ты чи сказился, Павло?! — вбежав в комнату, накинулась на него Мария. — Тут такое дело... Чай не свадьба...

Павло поднялся, словно извиняясь, растерянно развёл руки.

— Вот так, Власыч, не разгуляешься ноне... — наконец произнёс он.

— Она вечно встряёт не в своё... — слабым голосом прошептал Иван Власович. — Ты на неё не сердчай. Баба — какой с неё спрос...

Через два дня Иван Власовича отпели. Лёха на своей расхлябанной бричке отвёз на кладбище гроб, где рядом с Серёгой была уже выкопана могила. Перед тем, как забили крышку гроба, Мария долго хлопотала у его тела: то поправляла венчик, то крепче сжимала в его холодных руках крестик. Слёз уже не было.

— Ну, прощай, — наконец сказала она. — Жди вскорости и меня...

Перекрестившись, она поклонилась ему, и ей показалось, что Иван Власович улыбнулся в ответ.

А Атаман скоро выздоровел.

Прибыли новые люди, которых нужно было вести через линию, и хворать стало некогда...



Максим ЯКОВЛЕВ

ПИР

Повесть

I.

Он уже столько раз это слышал: «Когда делаешь обед или ужин, не зови ни друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых... Но, когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе...» (*ЛК, 12-14*).

Ему представилось это немыслимое застолье, он увидел их резко, как наяву: пугливые, похожие на бомжей...

«Это что, каждый день такой пир им устраивать? — подумалось ему. — Или раз в год?».

— Попробуй, — услышал он вдруг, — хотя бы один раз в жизни устрой такой пир. Если сможешь ...

Это было к нему — безошибочно, прямо в мозг, прямо в сердце.

Повисла пауза. Краем глаза он успел заметить, как несколько недоумённых профилей уже поворачиваются в его сторону.

«Если сможешь» — откликнулся воздух.

— Сегодня и сделаю, — сказал он немного обиженно.

Но получилось громогласно, ветер с озера усилил голос и разнёс над всеми стоящими: «Сегодня!».

— Сегодня, — повторил он, не вполне понимая происходящее...

Какое-то время он так и стоял, ничего не слыша и не замечая вокруг...

ЯКОВЛЕВ Максим Леонидович родился в 1955 году в Москве. По образованию — художник-оформитель. Писателем стал в зрелом возрасте, до этого освоил несколько профессий. Автор книг рассказов «Время дороги», «Ничего не бойся», «Димитрий и Евдокия». Живёт в Калуге.

Пока, возвращая его в реальность, не пришла ему мысль спросить, а нельзя ли устроить этот самый «пир» где-нибудь в другом месте, отдельно (какая разница-то?), да и удобнее будет, как ни говори. Но упустил время, его отесняли быстро другие, он успел лишь крикнуть:

— Отче, благослови!

Получив благословение, выбрался, наконец, из толпы, и вышел к дороге.

Повезло человеку, если подумать. Всего «один раз устроить» и «блажен будешь», какие проблемы? Дом большой, слава Богу, столы только расставить. Непонятно только, почему именно ему сказано было про этот «пир», народу-то всякого хватало? Хотя понятно конечно: видно, что человек с достатком, любит поесть, посидеть в компании... да, тут все просто. «А что в самом деле, — рассуждал человек, — почему бы и нет? Можно ведь устроить все на улице, у старого акведука, там тихо, природа... сколотить столы (погода позволяет), и мест будет больше и вообще...». — «Нет, сказал он себе, нельзя. Тут вся штука в том, чтобы в доме (в том-то и дело!), где и сам обедаешь, а то что ж это — устроил им где-то там подальше: вот я уважил их, да? Так это ж фарисейство...». Но тут он вспомнил, что обещался-то он «сегодня»! На часах было без четверти два. «Ну что ж, сегодня так сегодня, — вздохнул он... — Тогда уж надо устроить так, чтобы они всю жизнь свою помнили... и не просто накормить, а что-нибудь такое еще для них придумать, словом, чтобы помянули его хоть пару раз в молитвах (это ж великая сила — молитвы таких вот убогих-то!), они, говорят, прямёхонько Богу в уши идут. Так почему бы и не расстараться «хотя бы раз»? Что я, ведь не мое ж всё это. Господи, помоги...».

Олег Васильевич Мамонов, владелец торговой фирмы, жил за городом, был женат, но бездетен.

— Слово-то какое — «пир»! — усмехнулся он, — а чем он собственно отличается от того же застолья?

И стал припоминать богатырские и рыцарские пиры из детских фильмов и книжек: стены, увешанные коврами, кубки, чаши, и почему-то хохот, пляски и ряженных... Стало смешно, он съехал с шоссе, притормозив у знакомой выбоины, и, свернув в проулок, составленный сплошь из глухих заборов, въехал в свои ворота, которые, впустив его, так же автоматически и закрылись, мягко стукнув массивными стальными створками... Замечательно. Только как он скажет об этом своей Любانه? Одна голая мысль о таком «пире» может ввергнуть ее в неуправляемое состояние: бомжи в ее доме!! Толпа немых, дурно пахнущих и больных людей, наверняка, жадно чавкающих, с какими-нибудь вшами, с гноящимися нарывами, ранами...

— «Попробуй хотя бы раз», — проговорил он тихо, — «Их-лебедих, Любана». Это было его излюбленное выражение, по-немецки: *Ich liebe dich* — их либе дих — я люблю тебя.

Нет, он не боялся своей жены, его слово оставалось решающим, в крайнем случае, он мог бы и рывкнуть, но дом, дом — это всё, чем она жила, дом был отдан целиком в ее ведение, к тому же скандал в таком (святом!) деле может попросту обесценить его, свести на нет. Но, с другой стороны, приходилось учитывать и последствия, жить-то ему не с бомжами, а с ней. Он понимал, что ему предстояло совершить нечто особенное, из ряда вон выходящее, оно вырастало пред ним, дразня и бросая вызов своей пугающей невероятностью, но именно этим-то и разжигало в нем с каждой минутой зна-

комое с детства еще нетерпение, когда предстояло пойти на риск и добиться, во что бы то ни стало добиться того, что казалось заведомо неосуществимым, и сейчас он по-настоящему боялся лишь одного: что ему помешают, что ему не дадут этого совершить.

2.

Автоматические ворота впустили джип, и так же мягко и безукоризненно затворились.

Олег медлил. Он стоял в саду, за домом, в таком месте, где жена никак не могла его видеть.

— Да, придут, — говорил он себе, — будет грязно, ковёр можно будет выбрасывать, стулья тоже засалят, запачкают, и это ладно, не беда... Ну, повоняет и выветрится. А что не выветрится, то просто сжечь можно, в конце концов... Да, бомжи, ну и что? Что такого? Не пожар, не землетрясение... Всего лишь накормить горстку этих... несчастных... Главное — Люба. Любаню бы мою проскочить, вот где цирк! Проскочить, остальное — пустяки... Что, слабо тебе, Олег Василич?.. Неужели не смогу, не осилю?.. Нет уж, как бы там ни было, но я сделаю это!..

Он ступил на красный песок дорожки и пошёл к дому.

На Любаню он наткнулся сразу, как только вошёл, прямо в холле, и, старясь не прятать глаза, произнёс:

— Паршивое состояние какое-то, еле доехал...

Она увидела, как он недовольно поморщился, и не нашлась, что ответить, как-то всё зацепенело в ней.

Он поднялся по лестнице в свою комнату и прикрыл дверь.

Откуда-то с улицы ворвалась сирена — то ли «Скорой», то ли «Пожарной»...

Не помня себя, Любаня поднялась наверх и нашла мужа лежащим на диване, под пледом, с затемнённым от света лампы лицом.

— Олег, что с тобой?

— Не волнуйся.

— Сердце?.. Как тогда?

— Так... слабость какая-то, непонятная...

— Олег, я вызываю врача.

— Чепуха, не гони волну.

— Олег!

— Не волнуйся, я не думаю, что как тогда.

— Тогда тоже была слабость, ты хочешь ещё одного инфаркта?!

— Если ты не будешь доводить до него... Непонятно, чего ты добиваешься своими криками...

— Прости Олег, но я слишком...

— Вот, именно, «слишком», Любаня. Перестань, я проконсультировался. В общем, ничего смертельного, советуют полежать, просто на всякий случай. И я прошу тебя, всё войдёт в колею, «без шума и пыли», понимаешь? И никакого мрака и ужаса, — он улыбнулся, — если только ты сама не желаешь этого.

— Хорошо, — сказала Любаня.

— Я «туда» не собираюсь... и оставим это.

— Хорошо.

— Тем более, что вечером... Ты не могла бы помочь мне? Надо управиться с одним необычным дельцем.

— Кто-то должен прийти?
 — Я не знаю, в каком я буду состоянии, но это нужно сделать сегодня...
 — Их что, так много?
 — Надо будет угостить... группу бомжей. Человек, думаю, двадцать.
 — Олег, ты в своём уме? Какие сейчас приёмы?
 — Это крайне необходимо, заодно как-то и развлечёт меня, надеюсь. Я очень жду этого, понимаешь?.. Это очень важно для меня.
 — Они кто, опять из милиции? Или те, с Украины?
 — Я не знаю, я знаю, что они бомжи, бродяги, нищие...
 — В каком смысле? Настоящие?!
 — Самые натуральные, живём.
 — Олег...
 — Так я могу на тебя рассчитывать?
 — Я не понимаю... но почему у нас?
 — Н-да, как я и предполагал, — скривился он, — придётся всё самому...
 — Хорошо, ну хорошо! Сколько их?
 — Я же сказал, человек двадцать. Накрыть в гостиной. И ничего не менять там! Всё оставить как есть, и ковры и, прошу тебя, не заводи меня, пусть всё будет, как есть.
 — Это что-то религиозное?
 — Да.
 — Хорошо, но пусть это будет завтра, послезавтра...
 — Пойми, это действительно важно для меня, если я делаю это в таком состоянии! И не только для меня...
 — Олег... Олег..
 — Ну что «Олег»?
 — Не представляю, не представляю..
 — Завтра, когда поедем к Сапрыкиным, я тебе всё объясню. Если хочешь...
 Позови ко мне Камарика и Григорича.
 — Григорич будет после пяти. Ты что-нибудь принимал из лекарств?
 — Да.
 Похоже, его план удавался.
 — Потерпи, всё уладится, — он хотел улыбнуться, но вдруг от чего-то закрыл глаза.
 Она поднялась и вышла из комнаты
 — “Их-лебедих”, Любань, — сказал он.
 Люба спустилась вниз.
 Потом ходила в слезах по комнатам...
 Потом стояла у окна, глядя в никуда...
 — Поднимись к Олегу, — сказала она Камарику, когда тот вошёл с ящиком минералки.

3.

Олег находился весь в какой-то внутренней дрожи, но голова работала чётко.

— Привези «кондитерку», что-нибудь из не пачкающегося, ну, там, печенье, зефир, мармелад... Потом, варёной колбасы — знаешь какой, буженину, икру, рыбы хорошей, сыр... На горячее — щи, пельмени, на десерт — мороженое, клубника, бананы...

Камарик быстро записывал.

— Чай, кофе, соки. Каждому с собой в пакет: кусок копчёного сала, кон-

фет, сухарей и немного денег: много нет смысла — всё равно пропьют. Плюс аптечку: йод, анальгин, валидол, пластырь...

Люба, забившаяся в угол сада — тот самый, в котором совсем недавно стоял в нерешительности Олег, — боясь перейти на крик, причитала в трубку мобильного:

— Лёва, я не знаю что делать... Я не знаю, Лёва! Не знаю!.. У него опять какие-то религиозные заскоки, теперь он решил притащить в наш дом бомжей, настоящих, вонючих бомжей! Ужас!.. Лёва, это как дурной сон, я не знаю, что со мной будет, я сойду с ума от всего этого! Он такой, как в тот раз, когда был первый инфаркт, помнишь? Мне жутко смотреть на него, я боюсь! Я ужасно боюсь опять... Но как представлю у нас этих вонючих немых баб, этих грязных алкашей!..

Лёва сидел за монтажным столом. На экране завис кадр из интервью с Олегом перед Развлекательным центром.

— Стоп-стоп-стоп, — перебил Лёва, — погоди, не накручивай, дай подумать... Что-то здесь не то... Что-то не то... Уж не собрался ли он отмочить ту библейскую притчу, а?

— Лёва, я не понимаю, о чём ты говоришь, я не знаю, что творится, я чувствую что...

— Постой, Любаш, я, кажется, понял, в чём дело. Я всё понял! На той неделе он приглашал нас с компанией в одно местечко, хотели посидеть, поболтать, то-сё, давно уж не собирались. Он очень хотел этой встречи. И всё сорвалось, понимаешь? Он, кстати, собирался привести какого-то писателя православного, что-то ему зачесалось вдруг познакомить нас, а у меня подмена случилась, у нас ведущий эфира свалился с температурой, и я не смог. И остальные мужики не смогли приехать, как-то не сложилось у всех в тот день, бывает. Так я ему звонил тогда, объяснить ситуацию, и он как-то странно со мной разговаривал, мне показалось, обиженно, но я не думал что... — Лёва сделал паузу и присвистнул: — И сегодня какой-то был... Точно. Он надулся, и решил, вот вам, в отместку — “много званных, да мало избранных”, поняла? Ну, Олег! Слушай, он там, действительно, похоже, рехнулся с этой верой своей, его спасать надо. Ну, Оле-ег!..

Любана всё равно ничего не поняла, она знала одно: Лёва умный, он разберётся, он что-нибудь придумает.

Лёва знал, что он умный.

— В общем, слушай, всё проще банана: он прикинулся больным, чтобы претворить свою идиотскую затею с бомжами в жизнь, он же прекрасно знает твою реакцию на всё это, поняла? А иначе бы у него ничего не вышло, это же, как дважды два! Будь он в нормальном, здоровом состоянии, ты бы ему таких бомжей устроила, что мало не показалось бы. Да он и сам бы с этим не подступился к тебе ни за что... Ты вот что, ты его сейчас не трогай, пусть себе изображает «больного». Я тебе дам телефон одного врача, профессора, он у нас тут частенько подрабатывает на студии, с ним можно договориться, а, пожалуй, я сам с ним и поговорю предварительно, потому что мне тоже всё это не нравится. Вот пусть он его и посмотрит. О'кей?.. К тебе придраться невозможно, ты как жена, как близкий человек, естественно, беспокоишься о здоровье, о жизни! горячо любимого мужа, кто в тебя «бросит камень»? Ты же не виновата, что он блефует, ты же не знала! Сечёшь, Любань?.. Если хочешь, можешь сослаться на меня, даже лучше

всего и сошлись на меня, действительно, скажешь, что я звонил узнать, как дела, ну ты всё и рассказала, понятное дело... Профессор приедет, говори, что Лёва прислал, о'кей? Вот так. А когда станет ясно — какой он “больной”, крыть ему будет нечем и вся эта библейская фигня сорвётся. Он, конечно, надуется, но ничего... посмеёмся, чем-нибудь заболтаем, на том всё и кончится. Так что, Любаш, не дёргайся, успокойся, сейчас — минут через десять — перезвоню тебе, подожди...

Любана закусила губу и перевела дух.

— Ах, Мамонов, — тихо сказала она, — ах ты, Мамо-о-нов! — вдруг принялась трясти она тугую тяжёлую ветку яблони, чувствуя, как вздрагивает земля под ударами яблок...

4.

Олег отпустил Камарика, переговорил по телефону с Григоричем. Он подумал, что надо всё же позвонить отцу Афанасию, надо всё же спросить... как вдруг, совершенно неожиданно для себя, впал в забытьё, в какое-то приятное, расслабляющее беспмятство...

Над его изголовьем мерцала под светом лампадки старинная икона Спаса. Лик Его выражал неотмирный покой и всеведение.

Часы над рабочим столом пробили пять раз.

— Олег!

Он вздрогнул и очнулся от стука в дверь.

— Олег, это я, — услышал он голос Любы.

Олег мотнул головой и принял полусидячее положение.

На пороге комнаты стояла Люба с незнакомым — с модной, едва заметной бородкой — мужчиной.

— Олег, вот доктор, он профессор... Я, то есть, Лёва, мы все...

— Я понял. Оставь нас вдвоём, пожалуйста, — сказал он негромко.

«И это мы тоже предвидели, Любань», — Олег вздохнул, приглашая доктора.

Под подушкой лежало его портмоне, содержимое которого способно было «уговорить» любого профессора.

Не знал он лишь одного:

«Так вот с кем придётся иметь дело, — прикидывал профессор, рассматривая своего «пациента», — новоявленный святоша, решил купить себе место в раю... А как насчёт лжи, уважаемый? Или она у вас не считается, когда, так сказать, «во благо»? Ишь ты, умник, какой, накормить кучку бродяг и готово! Да если б всё было так просто, дорогуша, все только бы этим и занимались: наперебой бы кормили друг друга, и берегли б как зеницу ока!..».

— Разрешите, я приоткрою жалюзи, чтобы было побольше света? — попросил он хозяина.

— Да, конечно, — улыбнувшись, кивнул Олег.

«И вроде умный с виду мужик, — рассуждал про себя профессор, — а вот и его заморочили христианской моралью. И ведь не втолкуешь теперь, что всё это всего лишь навсего ханжество и дешёвые жесты... Блефуем, значит, господин Мамонов? Давай-давай, посмотрим, как это у нас получится, может, и взяточку предлагать будете, так я не возьму-с, из принципа».

Но вслух сказал:

— Ну-с, как говорят доктора у классиков, на что жалуемся?

— Да так что-то. Присаживайтесь, профес... — едва он успел пошевелить рукой, как был пронзён невесть откуда взявшейся болью!

— Не беспокойтесь, — сказал профессор, наблюдая за ним.

Потом коснулся его руки.

Олег лежал неподвижно, глядя на него испуганными глазами, ещё раз попытался заговорить:

— Что-то кольнуло, здесь...

Профессор присел на придвинутый стул и открыл саквояж:

— Разберёмся...

Люба снова ходила по комнатам, теперь она больше всего на свете боялась скандала, её пугало неведомое, неотвратимое, какая-нибудь непредвиденная ошибка, чреватая катастрофой:

— Почему он так спокойно отреагировал на этого профессора? Рассчитывает договориться, подкупить? — она остановилась под портретом Олега. — Ох, Мамонов, если подтвердится, что ты здоров, пусть только подтвердится!.. Ты у меня напляшешься! На этот раз «заболею» я, так «заболею», что ты не только о бомжах, ты и о церкви-то своей позабудешь, уж это я тебе обещаю! Дорогой мой...

А между тем, часы еле передвигали стрелки, и, казалось, что этот профессор никогда не выйдет из кабинета. К тому же оттуда давно не доносилось ни звука.

Она не выдержала, поднялась наверх и подошла к двери, но в этот момент дверь открылась, и к ней вышел озабоченный чем-то доктор.

По дороге к машине он изложил ей своё мнение о ситуации:

— Что я могу сказать... ничем не могу вас порадовать. Во всяком случае, можно говорить о том, что, к сожалению, подтверждается...

Люба не верила ни единому его слову: «Сговорились! Подкупил или угрозил, наверняка!».

Она шла, механически поддакивая ему головой, пропуская мимо ушей его доводы и медицинские термины... Ей нужно было одно: суметь подловить этого «профессора» на фальшивой интонации, на игре, на притворстве...

Профессор понял, что его не слушают, он остановился, взял её за руку и сказал:

— Поверьте, я действительно говорю вам правду, более того, я пытался как-то отговорить его от этой ненужной затеи... но он слишком упёрт в неё! Для госпитализации, увы, пока нет достаточных оснований, всё-таки положение не столь серьёзно, думаю, сказалось излишнее напряжение. В общем, могу лишь посочувствовать вам... Но во избежание худшего, думаю, надо уступить ему, он, видимо, ждёт от этого неких положительных эмоций, ну что ж, они ему действительногодились бы... Не отчаивайтесь, старайтесь посмотреть на всё философски. В конце концов, здоровье вашего мужа дороже каких-то временных неудобств... Хотя, я понимаю, что это значит, в своём доме! Смиритесь. Всего вам наилучшего. Рецепт я оставил там, на столе... Ну, не надо так напрягаться! Прощайте...

Камарик, привёз «кондитерку» и всё остальное.

Люба побрела в дом, нужно было подняться к мужу.

«Теперь он знает, что профессора подослали, начнёт рычать, ему станет хуже и что тогда?! За что мне всё это?!».

Олег лежал в том положении, в котором оставил его профессор, и смотрел на потолок, на коричневые, в глубоких и ровных трещинах, дубовые балки... Он смотрел на них медленно, почти неподвижно, наверно потому, что понимал: это конец... Конец. Неуловимо, но в то же время ясно и сильно, он почувствовал этот неуловимый знак — оттуда... и об *этом*.

А ещё он удивлялся тишине, которая царила в нём, но больше всего удивлялся тому, что нет в нём никаких вопросов, никаких «почему? зачем? за что?», словно бы он знал ответы на все вопросы... словно знал...

— Только б хватило сил довести до конца, — произнёс он спокойно и мирно... — Любанька, что с тобой будет? Бедный мой лебедих...

Люба вошла и встала у изголовья. Особенных перемен в нём она не увидела, было заметно, что ему хотелось держаться непринужденнее, а настораживало то, что он ни разу не повысил голос, и ей ничего не оставалось, как стоять перед ним, стараясь не смотреть прямо в глаза.

Он отдавал ей распоряжения:

— Найди в кладовке два бронзовых трехрожковых подсвечника, которые мне подарили на юбилей, и поставьте на стол с восковыми свечами; настелите мою любимую зелёную с вышивкой скатерть. Надо вырезать крупно буквы «М» и «Ж» и приколоть к дверям туалета на первом этаже. И не меняйте стулья на лавки и табуретки! Лично мне оставьте место в торце стола у камина... И позови, когда появится, Григорича, это срочно...

Едва дождавшись конца разговора, она схватила со стола рецепты и бросилась вниз.

Камарик сидел в гостиной и ждал указаний. Люба протянула ему рецепты и деньги. Тот вопросительно посмотрел на неё.

— Быстро в аптеку!

— Олег Василичу?... Что с ним?..

Люба, не ответив, выскочила в сад.

— Деловой! — взорвалась она, отбежав за беседку. — Туалет им ещё подавай! Стулья атласные гадить! Как же! Разбежалась!.. Ну, нет, Мамонов, ты меня не знаешь! Нет! Нет!.. Через мой труп!

Она набрала Лёвин номер.

Как она и предполагала, Лёва был уже в курсе, а потому растерян и вял:

— Не знаю, что тебе посоветовать. Может, попытаться как-то всё же уговорить его отложить этот вертеп, хотя бы до завтра, а там...

— Лёва, ну как я теперь к нему подойду? Ты бы видел его! Я всё-таки боюсь за него, боюсь, понимаешь? У него ведь действительно...

— Да знаю!.. Дались ему эти бомжи.

— Жутко, Лёва, кошмар!

— Может, снотворное или укол какой?

— А что это даст? Потом ещё хуже будет... и потом, ты же знаешь его, он весь, как зверь, подозрительный становится, не подступишься...

— Да, с ним тяжело, когда он такой.

— Вот и я про то. Но что же делать, Лёвушка?! Я уж, кажется, на всё готова, как подумаю только... ведь это — дурь, ведь дурь же самая настоящая!

— Без сомнения, и ещё какая! Но я не знаю, Любань, не знаю, ничего в голову не приходит... Как его спасти? Не знаю!

Она замолчала, собираясь с духом, потом сказала:

— Лёв, а Лёв?

— Что?

— Помнишь, как в Баковке у вас гуляли, на масленицу? Вы ещё там с твоими ребятами артистами со всякими номерами прикалывались?

— Ну, помню.

— Лёв, а Лёв?..

— Не пойму ничего, говори проще.

— Ну, такие классные из вас «калики перехожие» получились! Помнишь, даже какая-то бабулька разжалобилась, глядя на вас, помнишь?

— Хм...

— Лё-о-в...

— Охламонов моих, что ли, подкормить предлагаешь на халявку?

— Ты гений, Лева.

— Ну, ты даёшь, Любаня. Однако.

— А что?

Он вдруг разразился закатыстым смехом — издевательским, как ей показалось, — и также резко оборвал его:

— Да нет, это не возможно. Такие вещи... Это опасные вещи.

— Вы же с детства с ним вместе, Лёв. Ты же знаешь, он тебе всегда всё прощает... Ты видишь, куда он катится, ты же друг ему!

— «Друг»... У него, поди, другие друзья теперь.

— Лё-ва!

— Ну что «Лёва»? Что?!

Оставался последний шанс:

— ...А ничего, — сказала вдруг Люба холодно. — Ничего, Лёва. Хрен с ним, пускай пропадает. Извини.

— Сказал бы я тебе за такие слова!

— Ты прав, Лёва: кого колышет чужое горе? Ладно, живите кудряво, ребята...

— Сколько нужно человек, то есть этих... нищих, бомжей?

Она молчала.

— Сколько, ну?

Без ответа.

— Ты можешь ответить?

— Стульев восемнадцать штук. Один он за собой оставил.

— Значит семнадцать... Многовато.

Люба затаила дыхание.

— Надо подумать. Люба... Это всё не так просто. Тут надо...

Она ждала.

— Ну и денёк сегодня. Ой, чую, что-то будет...

Она ждала.

— Ладно, сколько у меня времени?

— Почти всё готово уже, щи варятся... Он ждёт Григорича, чтобы послать за этими...

— Григорича?

— Угу.

— Тогда давай так. Ты его тормозни, как появится, и сразу со мной соедини.

— Как скажешь.

— Ладно, жди звонка.

Вот теперь можно было выдохнуть, Люба отправилась в дом сторожить Григорича.

— Только бы получилось. Господи! Только бы всё получилось!..

Лёва рассуждал трезво:

— Всё, в общем-то, вполне реально. Если этот «номер» удастся, все останутся «при своих» и все довольны: Любана — тем, что спасла свою мебель и дом; ребята — супер-акцией (высший класс исполнения, между прочим) и даровыми харчами; а я — тем, что исполнил свой долг, и что всё закончилось благополучно... Хотя, конечно, маловероятно, что всё пройдет так уж гладко, слишком уж мало времени на подготовку, но если не удастся... — он крутанулся на своём мягком кресле. — А что если не удастся? Если сорвётся всё? С ним приступ, инфаркт или, не дай Бог, что похуже?.. И виноват буду я. Нет уж, лучше тогда изначально избрать вариант, как бы это сказать... не с розыгрышем, а скорее с заменой... да, с заменой, как говорят спортивные комментаторы: «смена состава». И артистов соответственно настроить, так чтоб не переигрывали. Надо очень точно выбрать момент, но не сразу... для начала надо будет продержаться «бомжами» минут двадцать, потом прервать это действо — сбросить маски! открыться!.. И всё сказать... Я думаю, сумею ему это сказать, думаю, что сумею, без надрыва и пафоса, просто, тихо и горько. Примерно, в таком духе: «Да, Олег, это я — твой друг, — Лёва стал, репетируя перед зеркалом. — И со мною те, многих из которых ты знаешь, наверное. Это те, которые, по-твоему, не заслуживают быть участниками такого пира (стол-то наверняка богатый будет, не станет он прижиматься, уж я-то знаю!). Мы те, которых ты считаешь куда более успешными и благополучными. Мы ведь те, которые ни в чём, якобы, не нуждаются, в сравнении с теми людьми, которых ты хотел бы здесь видеть, ведь так? В твоих глазах мы, разумеется, не достойны такого внимания и сострадания, нам ведь всё пофигу, мы безнадёжны, безнравственны, мы настолько пропавшие души, что на нас не стоит и тратить время, мы умеем только хохмить, высмеивать и кривляться, для нас нет ничего святого... и пусть так! Пусть мы худшие в мире грешники! Но, Олег, неужели нам нет надежды, и все мы за чертой милосердия? и Бог смахнул нас с пути спасения?.. Мы всё-таки понимаем, что дело не в этом пире, не в угощениях. Да, у них пустой желудок, но у нас-то — пустая душа! Да, они бомжи плотью, но мы-то — душой! Душой, которая вечна!.. Ты, считаешь, что тебя обманули, что над тобой посмеялись? Нет, Олег. Ты видишь — никто не смеётся. Тут не до смеха, всё намного серьёзней...».

В дверь постучали, но Лёва не обратил на это внимания. Он продолжал лицедействовать:

— «Мы пришли сюда не хохмить. Мы хотим одного, чтобы ты понял нас. Мы вырядились в эти обноски, чтобы сказать тебе: да, мы много грешней, много хуже, но и много несчастней тех, которых ты ждал здесь... а кто, скажи, дальше из нас от Бога — они или мы? Им воздастся за их страдания, за болезни, за голод и холод... А нам? Что будет ждать нас, весёлых и сытых, но и пустых? Что предстоит нам на *том* Суде?.. Что уже отверзается и дымит-ся? и ужас открыл нам свои объятия!.. Прости, Олег, просто стало больно, когда узнал от Любы, что ты хочешь собрать у себя бомжей. Я сначала подумал: ну что ж, пусть будет с теми, кто ему дороже и ближе, но потом... Вспомнил все наши годы, наше детство... Всё же решил, что друг не вправе вот так отвернуться от друга, что он неизмеримо несчастней их, что он тоже может пропасть без твоего участия, без твоей любви, без поддержки...».

Лёва, не выходя из образа, отпил несколько глотков из бутылки «Пепси», и снова вернулся к зеркалу:

— «Прости меня. Я человек неверующий, не православный, я даже не знаю, какой ужасный грех повиснет на мне за это вот представление... Может, здесь много гордыни, ревности, даже зависти, и, скорее всего, так и есть... Но прошу тебя, не отвергай меня, не лишай меня дружбы. Не прогоняй. И не обижайся на нас за этот жалкий нечаянный маскарад. Никому неизвестно, что будет с нами. Сегодня мы — в цивилизованном, а завтра — в рубище»... В общем, в таком духе. О, я сумею сказать всё это! Я сумею срезать головки с его «одуванчиков», так, что они не качнутся, даже не почувствуют этого. Да, Олег, я сделаю это. Я не отдам тебя попам и бродягам. Один у нас путь с тобой, старичок, один!

Лёва вдруг понял: это — слава.

— С ума сойти, что я творю!.. Ведь это непревзойдённый гениальный номер! Атракцион! Это суперкласс! Высший мастерский пилотаж, о котором будут говорить, и писать на каждом углу, будут ставить спектакли, фильмы!.. На этом, можно сделать громкое имя!

Прекрасно понимал и то, что, по сути, мало чем он рискует:

— Ну не выйдет же он из себя, он же, блин, христианин у нас, а христианин должен смиряться, вот он и смирится. Однажды мне уже приходилось видеть его таким... Он даже расстроиться не успеет... А что расстраиваться: я же «покаялся», и все как один будут «грешники» перед ним, «с повинной головой», так сказать... Простит, я знаю его... Ну, а если не простит, если он настолько уже «их» стал, то, в конце-то концов!.. Тогда уж всё равно: он умрёт для меня, я — для него, и точка. Вины моей нет, я хотел помочь Любе, сама подбила! Впрочем, такой исход вовсе не обязателен... Простит, куда он денется. А может, он вообще схавает весь этот наш маскарад за милую душу, тогда зачем раскрываться? Ладно, посмотрим.

Четырёх своих протеже с телеканала долго уговаривать не пришлось, но самое главное — неожиданно легко согласились на эту безумную авантюру Аркаша и Дэн — мастера лицедейства, куража, эпатажа, прикинутся кем угодно. Эти двое — костяк, можно сказать, залог успеха, старые проверенные партнёры ещё с совковых времен. Плюс проверенный кадр — Фаина! Так что «сборная команда бомжей» приобретала вполне реальные очертания. Мало того, разыскивали уже самого Лёву, упрашивали взять их в команду несколько толковых ребят с другого канала: тоже проверенные кадры: виртуозы «подставы» с разных ток-шоу, типа «Крик души», «Суд идёт», «Человек в маске» и т.п. И получалось, что уже набирается человек двенадцать-тринадцать.

Всеми предвкушалось что-то необычайное, вот это экшн! Всех обуреала весёлая лихорадка; по коридорам и студиям, сталкиваясь в кучки, разбегаясь и снова сталкиваясь, делились сумасшедшей новостью — ещё одной акцией Лёвы Запанского. Примерялись и конструировались «обноски», стоял хохот и гвалт, а самым хитовым слоганом стал: «Халява — святое дело!».

Глядя на это бурлящее «отребье рода человеческого», Лёва вдруг вспомнил Любаню: «Посмотрела бы ты на то, как твоя бабья выдумка наполняется «плотью и кровью», материализуется в пространстве и времени... Да, что-то будет», — подумал он зло.

Отступать было некуда. Он позвонил Любане, и узнал, что Григорич сейчас у Олега.

— Уж полчаса всё инструктирует его, — сказала она.

Пусть себе инструктирует на здоровье, теперь, думаю, уже всё решено, машина запущена. Где-нибудь через час будем в полной боевой готовности. А Григорича, как выйдет от него, тут же свяжи со мной, я имею поговорить с ним...

7.

Действительно, с Григоричем уладилось быстро и без проблем. Как только он вышел из дома, она тут же подозвала его, протянув свой мобильник.

Она не отошла ни на шаг, наблюдала, чуть не в упор, как он слушает Лёвин, рокочущий едкими нотками, баритон. Григорич вначале насупился, пару раз пытался что-то сказать, но потом уже только кивал и поддакивал. Возвращая трубку, он посмотрел на неё с долгим нескрываемым любопытством, что возмутило её, и окончательно взбесило, когда услышала от него, уходящего:

— Не ведают, что творят, люди...

Но Лёва успокоил её:

— Он теперь не опасен, не боись, возникать не будет.

— Лёва, я умоляю тебя, только без запахов, без этой жуткой вони, меня же сразу стошнит! Я нажгу там ароматных палочек, не имитируйте ничего такого, прошу тебя!..

— За кого ты нас принимаешь? Мы «бомжи» благородные, не шибко вонючие, но... голодные! Кстати, как там с яствами? Шампанское будет?

— Ты что! чай, соки, кофе...

— Я шучу. Короче говоря, к шести тридцати наша бомжистость станет соответствовать всем принятым госстандартам, и, думаю, заслужит самую высокую оценку международных экспертов... — Он вдруг переменялся в голосе: — Ох, Любаня!

— Лёв, я уверена, всё пройдёт, как надо. Сколько вас там?

— Пятнадцать. В результате «естественного отбора» и конкуренции.

— Пятнадцать, — прикидывала она, — тогда, может быть, рассадить так, чтоб у него справа и слева никого не оказалось рядом.

— На то и рассчитано, Любань.

— Ты гений, Лёва! Я выйду встречать вас к шоссе, часиков в семь, хорошо?

— Думаю, да. Да, в семь нормально.

— Жду тебя, Лёвушка! У поворота.

— В шесть тридцать — контрольный звонок.

— О'кей.

Она поднялась к мужу.

— Олег... — Любаня смотрела «как надо», — в общем, я тоже хочу быть там. Я буду смотреть за порядком, помогать Алисе... если можно.

— Можно

— Мы с ней вдвоём вполне управимся.

— Не сомневаюсь.

— Там почти всё готово. Я послала Камарика за салфетками.

— Спасибо, родная, за всё. Я знаю, тебе нелегко сейчас...

— Я пойду?

— Побудь ещё.

— Как ты себя чувствуешь?

— Ничего, нормально. Сядь ко мне.

— Ты выпил лекарство?

— Сядь ко мне.

Она подошла и села, и он тотчас привлёк её и склонил к груди...

«Хорошо, что у нас нет детей, — думала она, — я бы точно с ума сошла».

А он дышал её волосами, целовал в душистый затылок.

— Тебе так нельзя, тяжело, — сказала она.

— Наоборот, — сказал он.

— Когда всё пройдет, мы выберемся, наконец, в Сестрорецк? Ты обещал мне.

«Скорее бы кончился этот ужас», — вздохнула она.

— «Когда-всё-прой-дёт»... — произнёс он вдруг.

Она резко выпрямилась и села, глядя в упор:

— И что? Что, «когда всё пройдет»?

— Тогда всё и будет, — улыбнулся он.

— Олег!

— Их-лебедих! Не сойти мне с этого места.

— Да ну тебя...

«Показалось», — решила Любана.

Ко мне сейчас отец Афанасий придёт... ты собери там чего-нибудь сладенького.

— Он что, тоже будет?

— Нет, он ненадолго. К нему сноха приехала с внучатами, на два дня.

Люба встала, поправляя прическу.

— Хорошо, — сказала она.

— Если народ соберётся, то начинайте без меня, не ждите. Я потом спущусь к вам.

— Хорошо, — она поцеловала его в лоб и вышла.

— Их-лебедих...

8.

Батюшка вошёл, заметно запыхавшись, немного расстроенный или уставший.

Олег привстал для благословения и поцеловал его широкую лёгкую руку, и всё держал её, всё не мог отпустить...

— Что это вы, голубчик, умирать надумали? Ну? — сказал ему отец Афанасий и тут же увидел, как затряслись и запрыгали плечи, и что-то обильно горячее и влажное обожгло ему руку. — Ну что вы... ну что вы, Олег Васильевич, — он не знал что сказать...

Олег и сам не ожидал от себя такого, но не мог унять от всё сильнее бивших его, рыданий... да и не хотел теперь.

«Да что это с ним? С чего бы это?.. — подумалось батюшке. — День какой-то сегодня, одни скорбящие...».

- Ну что вы, — он коснулся его головы и неуверенно погладил...

9.

Григорич, придя домой, не сломался... Глухо раскашлявшись, прошёл на кухню, и затушил окурки.

— А ты ещё докажи, Лёва, что это именно я собаку-то отравил! Да он, поди уж, и забыл про лабратора этого... Хотя тебе Васильич поверит, а уж когда и Любана узнает, она меня с дерьмом съест за любимого пса своего! Ей только дай повод, не остановишь! Тогда — прощай работа... Одного не пойму, что это ты, Лёва, вызвался вдруг божьей искать? Да ты их знаешь

ли, милый, в кино что ль? И эта с ним заодно, туда же... Ты собаку-то свою, Кардифа покойного, и то по сто раз на дню обтирать заставляла, нос воротила, а тут — бомжаги! С ними минуты рядом не выстоишь!.. Ой, странное дело. Что-то тут не то, не то. Ну, кого же мне слушать-то? Кого? Лёву? На нём пробу ставить негде, он же артист. Лёва — арти-и-ст!.. Возьмёт и устроит подмену какую-нибудь... затейник наш. А что, соберёт там охламонов своих, мало, что ль их, проходимцев-актёров? Они могут. Эти запросто! Тут уж подлянка получается, Васильич, насмешка какая-то. Не верю я ему, Васильич, Лёве твоему, что хочешь говори — не верю! Будет тебе тогда пир, с шутами гороховыми!.. Господи, да неужто, правда? Ну откуда ж он их возьмёт тогда, настоящих-то? Может, через милицию какую-нибудь знакомую? Тогда конечно... А если всё же подмена? Я ж тогда...

Григорич снял с вешалки куртку и вышел на улицу.

«Газель» стояла в двух шагах от калитки. Он обошёл её, сел в кабину, и ухмыльнулся:

— И вот тебе, Лев Матвеич, моё соломоново решение: ты давай своих бомжей ищи, а я — своих, так-то лучше будет. Вот и наберём. Их сколько ни набери — лишних не будет, там на всех хватит. Так что, с Богом! А то совсем душа не на месте...

Он включил зажигание, вырулил сначала на параллельную улицу, а потом, без помех, на ещё неосвещённое шоссе, и прибавил газку.

— Начнём с помойки за рынком, они там постоянно кучкуются. Потом на станцию... А там посмотрим, там видно будет. Вот такой «лебедих», Васильич.. Ну убил я эту собаку твою, лабратора этого! И Лёва твой видел, что я ей подсыпал... Я отравил, я! Достала она меня, эта псина, сил с ней не было никаких... Я уж не себе принадлежал, никому, только — ей собаке! Я ж человек! Или нет? А тебе, ну не мог я жаловаться, из-за той же Любани твоей, ты ж понимаешь... В общем, делай, что хочешь со мной, но бомжей я тебе доставлю, как договаривались, в лучшем виде! Ведь такое дело затеяно, а я в стороне! Врёшь, не возьмёшь... Да кто он такой, этот Лёва? Кто?! Прафура жёванная!..

10.

У Любы не то чтобы портилось настроение, её раздражало то, что эта их с Лёвой гениальная затея всё меньше начинает ей нравиться. Чувство мстительного удовлетворения, непонятно почему, убывало с каждой минутой, и потому нуждалось в постоянной подпитке наиболее душераздирающими подробностями «вонючего нашествия», представлявшегося ей неизбежным ещё несколько часов назад. И теперь ей приходилось прилагать всё больше усилий, чтобы держать себя в прежнем настрое:

— Я права, права, — твердила она. — Ты права?.. Я права, я права, я права...

Она то и дело посматривала на часы в гостиной, сама разожгла камин... Проходя мимо стола, взяла с вазы банан, очистила и, глядя в окно, стала есть без всякого вкуса...

11.

Олег исповедовался, неожиданно припоминая всё постыдное, грязное, что пряталось в нём с детских лет — всё, что совсем не торопилось на свет, что когда-то не желало и вспоминаться — до своих последних сегодняшних грехов и оплошностей...

— ... А ещё утром подумал о вас, что не помогай я вам со строительством и во всём таком, вы б не заискивали передо мной, не выбегали б так из храма навстречу... И ещё, я тогда подумал, что нет в вас Христа, что вы и чёрту в ножки поклонитесь, лишь бы помог вам... И к депутату этому ненависть грудь прожгла, что готов был убить его... Потом на банкете на одну женщину там смотрел... в общем, хотел её... И гордость меня вела, что я, мол, сделаю то, что никто не делал, потому что слабо им — богатым упырям и чинушам в своём-то доме грязных бомжей собрать, а мне — нет, я смогу... И перед Богом слукавил, претворившись больным, чтобы решение своё продать, а вышло, и вправду заболел... Хотел врача подкупить, глупец... А ещё слугу, то есть подчинённого моего, отругал матерно... И над Камариком не раз смеялся в душе, что он на бабу похож...

Батюшка сосредоточенно слушал, произнося время от времени:

— Господи, прости и помилуй нас...

Отец Афанасий не мог не поражаться такому совершенно неожиданному облику своего благодетеля, и всё же что-то мешало поверить, что перед ним — действительно испуганная насмерть душа, почуявшая приближение чего-то неведомого и неотвратимого...

12.

Люба, встретив машины с Лёвой и его «бомжами», ничего, кроме удвоенной тяжести в душе, не почувствовала. Войдя в дом, она кивнула Алисе, и та, ни слова не говоря, пошла на кухню.

— Всё спокойно? — осведомился Лёва, загримированный под опухшего бессмысленного алкаша.

— Пусть будет что будет, — сказала она, — только бы всё это кончилось. Поскорее!

— Что за настроения? А? — сказал он, нервно поправляя парик.

13.

Олег замолчал и посмотрел на батюшку.

На первом этаже стукнула дверь, и гулким многоногим топотом покатились гурьбой шаги входящих людей, затихая где-то внизу под ними...

Батюшка встал и накрыл его голову епитрахилью.

Олег ощутил на затылке приятную прохладу плотной и гладкой материи, от которой сделалось ему затаённо и мирно, и закрыл глаза...

Сверху легла на голову большая рука...

... Дыхание Олега оборвалось, он не успел опомниться, как всё испарилось, исчезло в одно мгновение...

— Господи... это Ты?.. Господи!..

14.

Григоричу у рынка не повезло, никого он там не нашёл. Наткнулся разве на пьяного изгвазданного мужика и бродячих собак.

Но на станции, под навесом в конце платформы, обнаружил целую группу бродяжек — человек десять, с женщинами и детьми...

Отец Афанасий ушёл. А Олег всё так и лежал навзничь после причастия. Что-то происходило в нём... Самое удивительное было то, что он совершенно не чувствовал себя больным — лёгкость пуха во всём теле и никакой боли!

Он живо поднялся, вскочил на ноги и засмеялся. Расставил стулья и от-

жался между ними, чувствуя прежнюю силу и, не сдержавшись, вскинул руку, сжатую в кулаке — на манер забившего гол.

— Ну ты, как пацан какой, Олег Василич. Несolidно, — пытался он пошутить с собой... посмотрел на часы. — Пора. Кажется, уже собрались.

Олег вышел из комнаты, вполне владея собой (но сердце прыгало!), стал спускаться по лестнице, и тут же едва не расшибся — всё внезапно погасло... Он пошатнулся и схватился за перила руками.

— Ну вот, и свет вырубили, — догадался он, — и как всегда, в самый подходящий момент.

Люба со свечкой молча подала ему руку, и он сошёл со ступенек, сжимая её холодные пальцы.

15.

Пылали жарко и зыбко свечи... Свет плясал по накрытому отборной снедью столу, по неопрятным тёмным фигурам, по настороженным чем-то лицам...

При виде хозяина, все вдруг зашевелились, привставая вразнобой, и двигая стульями.

— Садитесь, садитесь. Здравствуйте... — он не знал, как назвать их, — ... братья! Прошу вас, не стесняйтесь. Приятного аппетита... на здоровье.

Он дошёл до своего места и сел, ощутив со спины блаженное тепло камина...

Всё было именно так, как он и представлял себе: гости понемногу осваивались, прилежно отхлёбывали и чавкали... дымились щи и пельмени, а руки уже шарили по тарелкам, сходу припрятывая куски...

«И хорошо, что погас свет, — подумал он, — так даже лучше. И совсем не слышится того тошнотворного запаха, это видно от ароматных Любиных палочек, ну и отлично, и умница... Какие всё же у них ужасные лица... Ай да Григорич, интересно, где это ты набрал их таких?..».

16.

Григорич битый час уговаривал, сбившуюся в углу платформы стайку бомжей. Но принимали его, похоже, за какого-то недоумка, не понимая, чего от них требуют; правда некоторые вроде бы колебались, но всем им было дико и странно: с какой такой радости кто-то их станет кормить-угощать, да ещё одарит потом продуктами и деньгами?.. Григорич, ожидавший, что все они, с первого слова, мигом кинутся всем скопом в машину, был несколько растерян и огорошен. Тут, наконец, дошло до него, что всё зависит от их «главаря» — от этой грузной, сравнительно прилично одетой, женщины с опухшим надменным лицом, и переключил на неё всё своё красноречие:

— Ну, чего тебе бояться-то? На машине вас довезу, сами убедитесь. Не понравится — привезу обратно, в любом случае привезу, всех, сколько вас есть, ну? Он же верующий человек, хоть и богатый, решил вас чем-то порадовать, помочь вам... что тут такого невероятного? Милая, да он не то, что человека, он и кошку-то за всю жизнь не обидел, — завирал Григорич. — Он... вот сама увидишь, я уж шесть лет у него, что я вру тебе? Чепуха какая-то! Ты же тёртая, знаешь людей-то, повидала, небось, на своём-то веку, что я тебе, маньяк что ль какой? Ну?..

— Повидала! — вдруг вскинулась баба. — Один раз нахлебались уже, спасибо! Вот так же заманили, и закусь, какая хошь, и налили — хошь упейся, и что? Что с нами творили-то, знаешь, потом? Я даже говорить не буду... Из

всех троём всего чуть живы выбрались: я с Фатюшей, да Колька Суббота, один плащ на троих, голышом по морозу!.. А со мной так вообще... и тут, и здесь вот... — показывала она на себе, — живого места нет! Фатюша и месяца не протянул, откинулся. Видали мы! Привози сюда хавку и уезжай, тогда поверю...

Время шло, Григорич срывался на крик, выдумывал самые невероятные обещания и гарантии, но всё было бестолку. Вдобавок кто-то проколол ему заднее колесо, и тогда окончательно стало ясно, что с бомжами ничего у него не получится.

— Господи, Твоя воля!.. — простонал он, выкатывая «запаску». — Так-то, Василич, не видать тебе сегодня бомжей... разве что, Лёвиных, может быть. Дай Бог, чтоб у него вышло с ними!..

17.

«Какие ужасные, искалеченные беспросветною жизнью лица, — Олег продолжал исподволь поглядывать на своих гостей. — Но ведь люди же. Люди. Надо обязательно одежду им подыскать... Пристроить бы их как-то. Всех, конечно, не удастся, но кого-то можно попробовать...».

Лёва сидел, на противоположном торце стола, вёл себя сообразно с ролью, едва справляясь с приливами лютого бешенства. Но ситуацию держал под контролем.

«А доволен-то как, ах ты, батюшки! — жевал он, набивая кусками рот, — И это всё, что тебе было нужно, Олег? Да ты и впрямь, как дитя убогое, законченный православный кретин. А уж доволен-то, прямо счастлив... Ну, я рад за тебя. Всё как тебе и представлялось, правда? Посмотри, посмотри на «несчастных, обиженных жизнью бомжей», видишь какие они на самом-то деле? Жалко их, правда? Конечно, жалко, что ж мы, не люди, что ль?! Ну, цирк!.. Противно смотреть на тебя — дурака юродивого. Ничего, скоро тебе будет ещё лучше. Я устрою тебе маленький сольный концерт...».

Пока всё шло, как задумано. Настораживала Лёву только одна Любана. Она стояла в проёме окна, опершись на колонну, иногда подходила к столу, подтирала, уносила посуду, ни улыбки, ни слова, ни взгляда...

«А с другой стороны, как ей ещё вести себя? Только б не сорвалась. Да, скажу я вам... что же здесь всё-таки делается, кто бы знал, кто бы видел, а? Жаль, камеры нет... Аркашка с Дэном классно работают, собаки, просто супер! Небось, давятся от хохота втихаря, поганцы. Ладно, потом все посмеёмся досыта... Гомона, гомона маловато, какие-то зажатые все...».

Он дал знак этой суперпарочке, и скоро народ захлюпал, застучал веселее ложками, загомонил... стал ронять что-то на пол, подбирать, выкрикивать, тянуться через стол, ссориться, кашлять...

«Старые» ели серьёзно и жадно, бегая по столу глазами. «Молодые» успевали схватить побольше, и особо не церемонились. Женщины же — с оглядкой на хозяев, стараясь не терять то женское, что в них оставалось... но пальцы бегали неудержимо, хватая и пряча в карманы и сумки дармовую закуску...

В середине стола раздалась брань и возня, но подоспевшей Любанае удалось всё быстро «уладить» и рассадить «драчунов» подальше. Кто-то запел или заскулил... И вдруг всё смолкло.

Олег встал и обратился к гостям:

— Мне хотелось сказать вам несколько слов. Вы ешьте. Я буду говорить, а

вы ешьте. Одно другому не мешает. Я хочу сказать вам вот что. Мы — люди... Полчаса назад мы не знали друг друга, не были знакомы. У вас была своя ужасная, жестокая жизнь, у меня — своя. Но теперь мы сидим здесь вместе, за одним столом, и у нас теперь как бы одна с вами жизнь, по крайней мере, на какое-то время. Я хочу, чтобы между нами не было различий, чтобы уже не играло роли, кто здесь каждый из нас по жизни, потому что мы — люди. Понимаете? Мы — люди, мы ещё здесь, в этом мире. Мы ещё в этом человеческом грешном мире, от которого, когда мы были бездумны и юны, когда он открывался перед нами, мы ждали в будущем только радости, только лучшего для себя. Всё было впереди... Мы ждали счастья, не зная, какого именно, и в чём оно заключается, но без этой надежды, без этих желаний, кто начинает жить?..

Гости продолжали есть, внешне никак не реагируя на его слова, но это не смущало его:

— Кому захочется жить, если в начале жизни ему сказать, что впереди у тебя не будет счастья, что всю свою жизнь ты будешь мучиться и страдать, и умрёшь в болезнях, в нищете, среди благополучных и довольных жизнью людей, которым не будет до тебя никакого дела? Кто захочет жить после этого? Кому хватит на это сил?.. И вот мы с вами те, которые могут сказать о себе: да, я пожил, я знаю, какой бывает жизнь, как она умеет обманывать, и как она умеет безжалостно бить, кидая без передышки из горя в горе. Как она может доводить до отчаянья, до крайнего бесчувствия и безразличия к ней самой... и поэтому могу говорить о ней правду, ибо я знаю ее! Сегодня мы собрались здесь, как на некоторой краткой остановке, как среди поля — случайно — укрывшись под деревьями от непогоды. Мы здесь, мы вместе, мы — люди. Мы люди не потому, что из одного «теста», но ещё и потому, что все мы идём — Туда. Всё ближе и ближе к тому неминуемому — Туда, где начинается Незнание... И где бы мы ни родились, где бы и как бы ни жили, это не имеет никакого значения, потому что мы все — Туда. Мы пока ещё здесь, на земле, но вот уже и мы заговорили об этом, потому что всё равно — Туда... Я знаю, кому-то не хочется думать об этом, кто-то ищет себе другие мысли, пытается убежать, потому что знает, что и ему, неизбежно — Туда... — Олег огляделся, словно ища поддержки. — Я верующий, и знаю, что есть Господь Бог — Отец всего сущего. И знаю, что среди вас есть те, что не верят в другую жизнь. И знаю, что они думают, потому что и сам такое думал: что смерть это пустота... и там ничего не будет — ни радости, ни боли, а просто — бесконечное и мёртвое «ничего»... Как пузыри на луже во время ливня — появляются и лопаются — вот и вся жизнь... Но мы-то не пузыри! Так думают оттого, что страшно...

Лёва был вне себя:

«Сейчас, сейчас, — говорил он себе, — пропади всё пропадом, я встану, хватит с меня!».

Люба дважды ходила мыть руки, никак не могла отделаться от чувства брезгливости и омерзения, но уйти было нельзя.

«Скоро конец, скоро всё кончится...» — это было единственное, что удерживало её от истерики...

— ...Именно оттого, что страшно, — повторил Олег. — Мы разные, и мы одинаковые: добрые, ленивые, гадкие, всякие... Но мы не чужие, и кроме нас, людей, у Него никого лучше нет, мы такие одни у Бога — других нет! И все мы Его, до единого, понимаете? Только мы не хотим быть Его. Мы хотим, чтобы Он был наш, а мы — сами по себе, как нам вздумается. Но Ему не

всё равно, понимаете? Он переживает за нас. Он — Отец, Он всё это устроил, всё нам отдал. Ему больно... А нам? Нам разве хорошо без Него? Нам тоже больно, мы злимся на жизнь, на всё и вся! И вот к нам протягивается Отцовская рука, и всякий раз мы кусаем её — никого не хотим иметь над собой! И продолжаем выть от боли, от страха...

В комнате уже не было такого движения. Люди сидели за едой, и было заметно, что многим не терпелось уйти, но несколько лиц было обращено к Олегу.

— Я хочу рассказать такой случай. Года два назад был я в гостях у знакомого. Дом высокий, внушительный. Ну, посидели-поговорили, всё хорошо, прощаюсь, подхожу к лифту — занят. А что, думаю, пятый этаж всего, пройду — спускаться, не подниматься. Спускаюсь, и слышу плач. Ревут в два голоса... Вижу открытый лифт, и два малыша: один совсем кроха, годика три, другой постарше. Рыдают взахлёб — заблудились! Оказывается, на днях переехали в этот дом, и забыли, на каком теперь этаже живут, вернее, на какую кнопку мама велела нажать, вот и катались по всем этажам после гулянья... Всё им незнакомо, всё страшно, всё чужим кажется, не могут никак узнать своего этажа и всё тут. Что с ними делать, не бросать же их в горе таком? А ведь горе, подлинное горе великое, для них-то: отца с матерью потерять! в дом родной не попасть! «Ладно, — говорю, — сейчас найдём вашу квартиру». Вы бы видели, как они поверили в меня! Как потянулись ко мне, с какой надеждой! Особенно малыш — тот вцепился в брюки пальчиками, не отдерёшь. Вот я для них бог был, настоящий спаситель, понимаете? Ну, стали ездить, ходить, вверх-вниз, звонить-стучаться... А в шестнадцать этажей домина! Наконец, нашли: на том же пятом этаже, представляете? Сдал я их мамаше, с рук на руки... Вот, я сейчас вижу себя в них — в этих малышах, ведь мы забыли, где дом наш. Забыли напрочь! И если ещё не плачем, то скоро, скоро завопим во весь голос — вспомнит душа-то! да вот найдём ли проводника, успеем ли?.. Наш дом — он Там, у Отца, понимаете? На земле ничего не найдём. Будем стоять, и плакать, как дети, и всего только два пути у нас: либо Вверх — либо Вниз... Я хочу, чтобы мы опять собрались в Том, Отчем Доме, никого не потеряв... «Всяк человек — загадка», но кто бы вы ни были, я люблю вас. Вы пришли в мой дом, и я действительно рад вам, рад, что между нами нету ни лжи, ни зла, ни вражды... все равны...

Лёва чувствовал, как уходит пол, как цепенеют ноги и мышцы...
«Остановись, Олег! Идиот, я сойду с ума! Остановите же его!».

В саду полоснуло дождём, ветер поднял несколько листьев и бросил в окна...

Олег устало улыбнулся и сел. Так он сидел, с минуту, с опущенной головой, ему не хотелось... он боялся посмотреть туда — прямо перед собой, на другой конец стола. Он всё-таки поднял глаза и увидел Лёву...

17.

Никто не ел, все сидели и чего-то ждали. Олег почувствовал, как кто-то с силой сдавил его сердце — как тельце пичужки, сжатое пальцами в детстве, — невыносимо...

— Господи... не наказывай их, они — как и я, такие же, как и я... Господи, зачем всё так глупо?.. Господи!.. — всё, что смог он выговорить в эту минуту.

Первой не выдержала Люба. Лёва видел, как она направилась к мужу, как застыла над ним, склонившись... Он громко прыснул и закатился в беззвучном хохоте, глядя сквозь наплывающие слёзы на идущую к нему Любу. Он даже знал, что она сейчас скажет. Он уже ждал от неё этих слов...

Она подошла и сказала:

— Лёва, он умер.

18.

Барсик лежал на подоконнике. Он дёргал ушами в сторону непонятных заманчивых шорохов с улицы. Наконец, он поднялся на лапы, подкрался к краю, и мягко спрыгнул в обсаженный флоксами палисадник.

— И ещё по одной, а? Не откажите, — доносилось из соседней комнаты.

Отец Афанасий угощал у себя благочинного, отца Иоанна.

Он взял его чашечку, подлил в неё вишнёвого цвета заварки, поднёс к самовару, открыл краник, заполнил чашечку витою кипящей стружкой до золотистого ободочка, и снова поставил перед ним на блюдечко, придвинувши вместе и вазочку с домашним печеньем...

Было душно и тяжело, как бывает перед грозой. Из окон в комнату медленно врывался тополиный пух...

— Видите ли вы этого человека? — показал на кого-то, стоящего среди богомольцев, отец Афанасий. — Это наш Лёвушка. Удивительный нищий! Психически не здоров — дурачок, но все любят его. Благостная душа! С ним у меня связано одно драгоценное воспоминание. Необыкновенное, скажу я вам. Каких-нибудь полминуты всего, но каких!

Три года назад довелось мне быть в доме одного богатого прихожанина. Позвонил, а ко мне, помню, как раз вот Танюшка с внучатами приехали, ну делать нечего, беру Святые Дары... Заболел, знаете ли, вдруг. Благочестивый человек был, из «новых». С утра ещё здоров был, и вот в один день всё случилось, упокой его душу, Господи. Причастил, конечно, спускаюсь вниз, там у них гостиная была, и застываю, знаете, прямо перед живою Евангельскою картиной... Помните, от Луки: «Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых» — вот всё точно так, как в Писании... Стою я, и вижу прекрасно убранную комнату, ковры, горящие свечи, блеск стола, и убогих, бездомных нищих, сидящих за ним. Поразительное зрелище! И, что главное, все они, как в той самой притче, собраны по воле хозяина дома, которого я только что исповедовал! Дело, согласитесь, исключительное в наши-то дни, не так это просто, если подумать. И вот, стою, поражённый этой дивной картиной, подбегает ко мне этот Лёвушка, со своей чудной улыбкой и смеётся, смеётся так озорно, и ещё какие-то двое с ним, убогоньких. И вдруг, бух на коленки: «Благослови отче!». И все, как один, за ним повскакали с мест: «Благословите! благословите!...» — кричат. Да-а... Никогда не забуду, покуда жив, всегда помнить буду, сподобился, можно сказать, аз недостойный, зреть воплощённое Евангелие. Истинно!

— Да, любопытный человек, даже как будто знакомый на лицо, — сказал отец Иоанн.

— Это и многие отмечают. Бывают такие лица, знаете. Сам-то он о себе ничего не рассказывал. Говорят, при монастыре одно время жил, потом с монахом каким-то ходил, даже на Кавказе был, в горах где-то там, не знаю уж... Побирался в электричках, на автозаправках. Было, что обижали его... Ну, и

вот к нам прибился, с полгода как. Да он тихий. Больше всего петь любит, голос-то у него — ах, какой голос!.. Иной раз воспоёт среди службы, так регенты очень переживают, что сбивает их. Не желаете послушать поближе, мы заодно и угостили б его, с праздничком?

— Не знаю, удобно ли.

— Лёва! Лёвушка-а! — крикнул отец Афанасий.

Лёвушка, услышав, что его зовут, тотчас обрадовано обернулся и поспешил к окну.

— Только Бога ради, не выпытывайте у него про тот пир, что я вам рассказывал, всё равно ничего не добьётесь, начнёт тотчас плакать и больше ничего.

— Да я, собственно, и не собирался этого делать, — ответил благочинный, пожимая плечами.

Скоро показалось в окне загорелое, не без какой-то особой приятности, лицо Лёвушки; сквозь спутанные с проседью волосы блестели чёрные, подетски доверчивые глаза.

Батюшка набрал со стола пирожков, конфет с печеньем, и стал накладывать ему в скрещённые руки.

— Возьми-ка, дорогой, с праздничком. Покушай...

— Спа-си Го-осподи люу-ди-и Твоя-а... — затянул Лёвушка неожиданно красивым и раскатистым баритоном.

Получивши благословение, он ответил отцам низким поклоном, да так и пошёл, распевая и кланяясь на ходу всем встречным.

— Да, голос хорош, в самом деле, — признал отец Иоанн.

Но отец Афанасий будто не слышал его, стоял с застывшей улыбкой.

— А душа-то жива...

19.

Ещё слышалось, ещё долетало до слуха пение, уходящее одноэтажными улочками пригородного квартала куда-то вниз, к дороге между холмами, по которой выходила неторопливо через городские ворота, поднимаясь по каменистой, выбеленной солнцем земле небольшая толпа, мелькая пестротой одежд и оживлённо жестикулируя — следуя за Ним, за всё ещё видимым впереди Христом.



Иван МАШИН

АНГЕЛ МОЙ...
Повесть-видение

Матери моей Анне Осиповне посвящается

* * *

...И я рухнул, в страхе закрыв лицо руками. Но и сквозь ладони горел зловещий красный свод, на краю которого, у самого горизонта, светилась ослепительно яркая точка. И я видел, как складывает она, словно крылья, светоносные венцы, истончается, тускнеет, гаснет, испуская в холодное красное нездешнее пространство последнее свое живое тепло. Сердце мое зашло в отчаянии и ужасе — вот гаснет, навсегда уходит жизнь!.. Я впился, вжался всем телом в холодную чёрную неуступчивую землю: удержаться, удержаться — на миг, на час, навеки!.. Но медленно, неостановимо, неудержимо меня сносило, совлекало, словно бы с высокой горы или скользкой крыши, — и я повис над бездонной пропастью, понимая, что уже не хватит сил подняться наверх, и мучительно чувствуя, как слабеют, сами собой разжимаются побелевшие пальцы. Внезапно послышались беззвучные слова: «Грех ведёт к смерти». О грехе ли думаю, Боже?.. Спаси, сохрани и помилуй! Все мы сплелись в смертельном борении, сладострастно истязая, присваивая, высасывая чужие жизни. Или грех жить, просто жить, Господи?..

МАШИН Иван Иванович родился в 1938 году в Рязанской области в крестьянской семье. Стихи начал писать с 12 лет. Печатался в республиканских газетах и журналах, много переводил с таджикско-персидского современных и классических поэтов Востока. Несколько книг переводов опубликовано в центральных издательствах. Закончил Высшие литературные курсы при Литинституте. Член Союза писателей с 1987 года. Живет в Сочи.

Тишина. Пугающая немота красного небосвода. Молчаливое, высокое, отрешённое пустое пространство...

Скрюченные пальцы мои, постепенно слабея, выпрямляются, тело непреодолимо тянет вниз, в разверстую клубящуюся бездну.

— Ангел-хранитель, Силы Небесные, помогите! — громко возопил я, но немошно, жалко и жутко прозвучал под тихим алым небом мой одинокий голос.

И я разжал окостеневшие пальцы.

...Потекло короткое мгновение равное вечности. В ушах свистел неподвижный ветер. Тихой цветной лентой летело время моей жизни...

Вот я сижу на мягких, уютных руках давно покойной матери. Она в чёрной цветастой рязанской шали с длинной бахромой. Усталое бледное лицо, заплаканные глаза. Она провожает хозяина на войну. Отец — высокий с заиндевевшими усами, в светло-буром полушубке и валенках — шутит, смеётся, делая вид, что ему всё трын-трава. Нацелив на меня рожки пальцев, цедит:

— Идёт коза рогатая, идёт коза бодатая — забодает, забодает...

Далеко, под белыми облаками синее Васютин лес; сверкая по-зимнему тусклым пером, пролетают в сторону леса два или три ворона; искрится снег 1942 года. Свистя полозьями, проносятся сани. Ветер доносит плач и песни, наяривает бесшабашную «мотаню» гармошка. Взрыв смеха. Слышу звонкий голос Люси Вороновой:

*Я мотаню разматаю
И повешу на плетень,
Ты виси, виси, мотаня,
Вейся, словно повитель....*

Заголосила тётя Фрося — «брехливая Чеготаиха»: «На кого же ты оставляешь меня, родненький, вынь мое сердце, возьми с собой, не хочу я жить без тебя — одна!...».

Отец склоняется над матерью, обнимает её за плечи, ласково гудит: «Я скоро вернусь, Нюра, не плачь, вытри глазки... Толканёмся, навроде с финнами — и домой... Будем работать в колхозе как прежде. Заживём — на большой!..» — показывает тёмный от работы большой палец.

Белое с тонкими дугами бровей лицо матери кривится в улыбке, похожей на гримасу боли. Отец высоко поднимает меня, кружит, щекочет холодным от инея усом, целует и передаёт матери.

В памяти навсегда остаётся запах обжитой телом овчины, талого снега, самогонного спирта. Отец чмокает в щёку мать и уходит к саням, в которых сидят краснощёкие унылые, слегка растерянные призывники и весёлые хмельные резервисты. Мать, уже не сдерживаясь, плачет в голос — горько, безнадежно, освобождённо...

Также безутешно и горько сотрясались её тонкие плечи спустя полтора месяца, когда мы получили из-под Сталинграда на отца «похоронку»...

Мелькают какие-то рваные, разрозненные кадры. Мама. Метель. Мерцает под застрехой в снежной пыли одинокая звезда, завывает ветер в тру-

бе, метается, маясь, ветла за окном, тепло и уютно в доме — мама... Лаёт соседский Полкан. Вокруг села, говорят, бродит голодная волчья стая с большим седым вожаком, нападает на детей и даже взрослых, но вот слышится родной голос: «У Лукоморья дуб зелёный»... Мама. Я замираю на тёплом горбу просторной русской печи, натягиваю на себя одеяло, из которого торчит вата, и вскоре сладко засыпаю, попадая в иной, волшебный мир; перехожу из одной сказки в другую, где королевичи похожи на сельчан, только живут не в избах, а в роскошных дворцах, какие я видел на картинках, и сани у них другие — все в расписных узорах и лошади у них сытые, бокастые, как в книжке — непохожие на наших, общипанных, тощих от бескормицы — кожа да кости. Слышу стук: упало веретено. Открываю глаза. Мать подняла веретено. Продолжает пряхть овечью шерсть: «Через леса, через моря колдун несёт богатыря»... Колдун очень похож на Кощея Бессмертного, то есть на нашего соседа, богатого по сельским меркам, заросшего бородой, вечно сердитого обладателя огромного сада Тинтиля, с которым у меня особые счёты. Мои дружки дразнят его: «Тинтиль-Винтиль колбаса, по коленки волоса!». Голос матери постепенно удаляется и замирает на словах «тридцать три богатыря...». Но вдруг появляются волки с горящими глазами, скалят белые кривоострые клыки, собираются в стаю возле плотины нашего заросшего камышом пруда; я вспоминаю, какие они смелые, — видно, знают, что мой папа и все мужики ушли на фронт; как-то раз серые разбойники уже зарезали пять маток в колхозной овчарне, теперь вот подбираются ко мне. Идут тихо, осторожно, всей стаей, грозный вид их приводит меня в трепет. Но вдруг отхлынула вода с низкого берега, и на луг, «как жар горя», выходят друг за другом богатыри в блестящих доспехах с копьями и щитами; волки, поджав хвосты, бегут в туманные поля. Я издаю ликующий возглас: «А-а, испугались!». И просыпаюсь.

За окном всё также беснуется метельный ветер, в морозной проталине окна среди звёзд метается ветла; из переднего угла строго блестит глазами Николай Угодник; мать наклоняется над моей лежанкой, крестит меня. «Волки убежали», — сообщаю я ей радостную весть.

— Да какие волки, ангел мой? Нету тут никаких волков, посмотри...

— Они убежали...

— Это тебе бластится, сынок; волки тебе приснились.

Я хочу поверить маме, но волки были живые, я вижу их горящие глаза, острые клыки, даже каждую блестящую в лунных сумерках шерстинку вижу. Но не возражаю. Мне хорошо. Мама рядом. От неё исходит покой, веет мирным теплым духом избыного рая. Я остался цел и невредим, а был на волоске от смерти. Слава Тебе, Господи!..

Мать поправляет фитиль мигающей керосиновой коптилки, но прежде чем подсесть к кудели с овечьей шерстью, ещё раз крестит меня, говорит: «Перекрестись и ты, сынок».

Вялой рукой я кладу крест и, умиротворённый, засыпаю.

* * *

Лето. Заря. Из-за леса надвигается зловещая красная по краям, с жёлтыми завихрениями внутри угольно-чёрная туча, из которой хлещут синые ветвистые молнии. Мы спешим с мамой к бабушке в соседнее село Ремизово. Лоснятся, колышутся, переливаясь на солнце, духмяные волны ржаного поля по обеим сторонам просёлка; в них постепенно тонут,

скрываются соломенные крыши нашей Зелёно-Дмитриевки. Последним исчезает кирпичный крытый крашеной жёстью большой колхозный «семенной амбар».

Я верчу головой, поминутно отстаю из-за неутолимого любопытства к муравьям, букашкам и бабочкам, но краем глаза не упускаю из виду красную косынку мамы. Поднимается жаворонок, трепещет крыльями, поет, захлебываясь от восторга, уходит в зенит, и, наконец, пропадает в слепящей солнечной дымке и, уже кажется, поет само небо...

Бабушка Анастасия встречает нас на крылечке, прикладывает к глазам концы чёрного платка — «давно не навещали». Старинный дух прохлады, чистоты от льняной одежды и промытых добела досок пола, зелёного сумрака. Зашумел крупный дождь в заросшем саду.

О чём они говорили с мамой? Не знаю. Верно, всё о том же — о пропитании. Бабушка доставала с полок из деревянного ларя какие-то мешочки, кулёчки, банки. В те голодные послевоенные годы она старалась поддерживать нас съедобным — чаще это были всякие крупы, мука и картошка. Иногда — сахар. Сын её, дядя Саша Юданов по прозвищу Биток, работал в НКВД Александро-Невского района. Часто приезжал на чёрной «лаковой» легковушке; все сельчане робели перед ним, выказывали уважение бабушке — «какого сына вырастила», — а потом долго обсуждали, что «приволок» своей матери Биток, завидовали.

Каждый раз бабушка, провожая нас, роняла из выцветших васильковых глаз две-три слезинки, выходила с нами на дорогу и долго клала вослед нам крестные знамения своей морщинистой, лёгкой от старости рукой.

* * *

...Но я продолжаю стремительный полет в неизвестном пространстве... Я уже пережил начальный ужас падения. Картины детства заворачивают и успокаивают меня. Кажется, у бездны нет дна; дух гордой силы проникает в моё сердце. Вот — лечу, свободен! Всё позади — запреты, слова обещаний, угрозы, законы, ссоры — вся суета муравейника. Я понял, что был мёртв — и вот воскрес. Никого — надо мной... Свобода, свет мой!.. И золото — прах и книги вздорны... Только сердце безмерно. О, радость ощущения бесконечного!.. Сейчас я всё могу, ясно понимаю неизречённое, слова отмирают, как листья на ветке, обнажая Это... «Ты свободен, свободен, свободен», — эхом звучит во мне внутренний голос. Но где Цель? В этом падении куда ты летишь, удаляясь от Земли?..

Светится висящая ни на чём, словно бы слепленная из тёмного талого снега, планета, угадываются очертания океанов и материков. Оказывается, это всего лишь кратковременная станция, материнская колыбель, обитель начальной жизни... Впереди — бесконечное пространство. Но где Цель? И есть ли она? Неизвестно. Главное — абсолютно свободный дух. Я лечу, я падаю. Или свобода в падении?..

* * *

Корова Зорька оббелась вешнего зеленого гороха. Тяжело дышит. Как пробралась на колхозное поле умница наша? Непостижимо. Слава Богу, не заметил её глазастый объездчик Микиток, наводящий на сельчан форменный ужас. Верхом на белой лошади, с длинным «пушечно» трахающим кнутом, он, кажется, имел способность быть одновременно на десятке делан колхозной земли разом. И мало кого из нас не ожёг Микиток вплётённым в кончик кнута конским волосом — «сильцом», от которого долго не затягива-

лась ранка. Вижу этого, прямого, в клетчатой кепчонке и похожей на кольчугу засаленной безрукавке неусыпно-честного всадника, монументально вознесённого судьбой над робеющими перед его длинным кнутом сельчанами. «Брата родного не пожалеет», — с уважением и — равно-брезгливым презрением говорили о нём люди...

Но, я — про Зорьку... Видно, вкусный зелёный горох, которого с зимней голодухи наглоталась она, разбух в утробе, бока её округлились, но газы всё распирали коровьи рёбра; слежавшаяся шерсть поднялась торчком, и вскоре Зорька стала похожа на огромный шерстяной шар. Ей не хватало воздуха; виновато и кротко мукая, Зорька звала на помощь. В больших умных сливых глазах её блестели слёзы.

Мать побежала к Тинтилю, который живёт по соседству — через школу. Я гладил милую Зорьку по широкому лбу с белой звёздочкой, целовал в горячий лубяной нос, почёсывал за ушами, но она, задыхаясь, уже не отвечала на ласку. Сердце моё заняло от жалости.

Тинтиль принёс большой топор с длинной вытертой до блеска ручкой, за брючным ремнем его торчал огромный отточенный нож. Сам он, сутулый, чернобородый, с лохматой седой головой, был похож на разбойника с большой дороги.

— Уйди, малец! — оттолкнул Тинтиль меня от коровы. — Не лезь под руку...

Он долго ходил вокруг Зорьки, щупал её рёбра, что-то рассуждал сам с собой и вдруг, шумно выдохнув, оскалился:

— Резать надо!..

Мать заплакала.

— Неужто ничего нельзя сделать, Егор Никанорыч? Зорька — кормилица наша... Может, подождать, а?..

Тинтиль достал из кармана шило и всадил меж рёбер коровы. Зорька вздрогнула, раздалось тихое шипение воздуха, но быстро смолкало. Сосед ещё и ещё раз проткнул натянутую, как на барабан, коровью шкуру. Зорька жалобно замычала; из сливых глаз её покатались слёзы. Но воздух, разпшикнув, не хотел выходить из коровьего нутра.

— Поздно... резать надо!.. — решительно повторил сосед, затем достал из-за пояса страшно сверкнувший нож и попробовал большим пальцем отточенное жало.

— Подожди, Егор Никанорыч, не спеши, может..

— Не может... Не может! Резать надо! — закричал Тинтиль. — Иначе и за мясо ничего не выручишь...

Мать схватила меня за руку и потащила в дом. Чего-то недопонимая, упираясь, я шёл затылком вперёд, не сводя глаз с Зорьки, возле которой хищно прохаживался Тинтиль.

Мы уже вошли в полутёмные сени, когда я услышал странный хохоток Тинтиля. Обернувшись, я увидел в дверную щель, как он высоко поднял топор и хакнув, ударил обухом в жёлтый с белой звездочкой коровий лоб. Зорька со страхом и — одновременно — с недоумением коротко взревела и уронила голову. Тинтиль полоснул по горлу её своим отточенным ножом. Брызнула тугая кровь, полилась ручьём.

Я впился в материнский подол.

— Мама, мама, Тинтиль убил нашу Зорьку!..

Мать что-то говорила в ответ, но я не понимал. Я обливался слезами, без конца повторяя: «Тинтиль убил нашу Зорьку, мама! Ты же видишь: он убил нашу Зорьку! Я его тоже сейчас убью!..».

Схватив подвернувшееся под руку полено, я бросился на окровавленного Тинтиля. Он отступил в сторону и спокойным движением толстой волосатой руки отбросил меня к воротам. Затем, презрительно процедив: «Ишь ты, щ-щенок!» — неторопливой ногой перекинул меня через порог.

Я поднялся и, ничего не видя вокруг, бросился бежать. Перескочил через ручей за огородом, и только когда захлестали по лицу ветви, осознал, что бегу кратчайшим путём — через Васютин лес — к бабушке Анастасии...

* * *

На следующий день я вернулся домой притихший и печальный, словно меня подменили. Я смирился. К моему горячему, сбивчивому рассказу бабушка Анастасия отнеслась с пониманием, но спокойно, что меня несказанно удивило. Она осушила платком мои слёзы, поцеловала в натёртые кулаками глаза, горестно вздыхая, долго гладила по голове, сокрушалась: как мы будем жить без коровы. И — ни капельки сочувствия убитой Зорьке, и ни слова в осуждение жестокого, безжалостного Тинтиля.

— На все Божья воля, — раздумчиво и безучастно подытожила она короткий наш разговор.

Вернувшись домой, я увидел в сенях висящие на крюках перламутровые с розовыми и голубыми прожилками окорока стёгна — все, что осталось от милой Зорьки. И страшная догадка о непоправимой, слепой жестокости жизни обожгла моё потрясённое, неокрепшее сердце.

Обрадованная моим появлением мать бросилась было обнимать меня, но я увернулся и до самого вечера, тихий, замкнутый, старался не попадаться ей на глаза. Мать заговаривала со мной о том о сём, но я отмалчивался, уединялся в дальних углах, напряжённо размышлял. Но о чём? Я и сам не смог бы ответить. Казалось, меня долго водили за нос, но вот обман раскрыт, и я растерялся, не зная, как дальше жить-быть и что делать с этим новым, не вмещающимся в душу знанием... Во мне словно защёлкнулся замок.

Вечером мать начала тихо постанывать, прихрамывать. Дрожа от слабости, едва добралась до нашей, грубо сработанной деревянной кровати. Охнув, кое-как легла, закрыла глаза и затихла. Обеспокоенный, я подбежал к ней. «Мама, что с тобой? Я принесу попить водички». Зачерпнув из ведра в сенях толстой глиняной кружкой воды, я вернулся к кровати. Но мать слабой рукой отвела кружку, застонала громче, и вдруг я с ужасом услышал: «Ох, смерть моя, пришла за мной... Прощай, сынок...».

Я похолодел, задрожал, покрылся гусиной кожей, вцепился в материнские руки:

— Не умирай, мама! Не умирай, пожалуйста! Мама-а!..

Она медленно открыла глаза и с невыразимой нежностью посмотрела на меня: «Не бойся, ангел мой, я тебя не оставлю, не бойся...». Приподнялась на локте. Лицо её, словно бы река в ветреный день, освободившись от пролётного облака, просияло, глаза наполнились слезами.

Только сейчас понял я, мама: ты боялась потерять единственного безмерно, безгранично любящего тебя человека, ты испытывала своего «ангела» и удостоверилась, что он не разлюбил тебя. Играя сценку, ты возвратила меня в эту трудную, жестокую, но одну-единственную жизнь, ты отвлекала меня от тяжёлого, смертельного для души потрясения, как птица, припадая на крыло, отвлекает хищника от гнезда, где притихли испуганные птенцы...

Тихий, густой снегопад во дворе. Крупные хлопья, покачиваясь, словно отблески лампадки, укрывают сырую землю. Где-то далеко-далеко на хуторе звучат печальные голоса.

— Умерла Фрося Поликанина, — говорит мать.

Я вспоминаю беловолосую девочку Наташу Поликанину. Ее не сравнить с нашей красивой учительницей Лидией Семеновной, в которую я немножко влюблен, но все же... Мне нравятся её вьющиеся льняные волосы, ласковая речь, тихость. Теперь Наташа сирота. Как она будет жить без матери? Медленно идёт несметный, глухой, равнодушный снег; доносятся слёзные слова, далёкий плач, и неизбежная печаль мира навсегда пронзает моё детское сердце, и я плачу...

— Ты чего это? — спрашивает мать. — Или тётю Фросю жалко?

— Да... Так просто...

И доньше крупный, медленный снегопад вызывает во мне глубокую печаль.

— Жалостливый ты, мой ангел, трудно тебе будет жить, — мать подходит, целует меня, гладит по голове и уже другим, будничным голосом добавляет: — Завтра похороны...

Я поднимаюсь на чердак. Темно, пыльно, паутинно. Ноздри щекочет запах старья, древесной гнили и прелой соломы.

— Не страшно? — кричит снизу мать, подавая навильник сена.

— Не-а, — отвечаю я, хотя сердце нет-нет да и замрёт: кажется, кто-то чёрный таится-трепещет в тёмном углу.

— А я в детстве очень боялась калек, — слышу уверенный, крепкий голос матери.

Мне не верится, что она когда-то была маленькой девочкой. Не представляю. Как Наташа Поликанина? Чудно как-то.

— Лет восемь мне было, примерно, сколько тебе сейчас, — продолжает мать. — Испугал меня побирушка до смерти. У него ног не было, говорят, попал под поезд в Александро-Невске и отхватило ему. Приедет, бывало, в тележке, выставит свои красные культи-обрубки и кричит жалостливо так: «Подайте несчастному калеке парочку яичек или горстку мучицы». Тележка у него о двух больших колёсах была; мы её называли колымажка, а лошадёнка тошенькая, рёбра пересчитать можно, хвост обшипанный, грива комками. Я так его боялась, просто ужас! А когда в первый раз увидела, чуть не умерла со страху. После этого, если кто-то из детей крикнет: едет калека! Я со всех ног лечу домой. Мама: что дочка? А я — юрк на печку, укроюсь одеялом и сижу, дрожу, пока мама не стащит меня наземь. Может, я ещё совсем маленькая испугалась какого нищего инвалида? Их много было — кто от рождения, кто от несчастного случая, кто от войны... Постоянно ходили по деревням, собирали милостыню на пропитание. И я их почему-то боялась, а особенно этого, с красными культями. Может, я такая трусиха, другие же — ничего. А раз соседка Маша Конкина, когда я играла с её дочерью в куклы, вздумала пошутить: забежала и говорит: «Немец идёт по деревне, маленьких девочек собирает в мешок»...

Как я выскочила от Конкиных — и домой. Прибежала, трясусь: «Мама, мама, там немец с мешком!». А она мне: «Да не бойся ты, глупенькая. Какой

еще немец? Война давно кончилась; враги наши отдыхают, снова готовятся, а ты, дуручка, какого-то немца с мешком испугалась...».

Позже мы сочинили с ней песенку, чтобы не бояться немчуры:

*Ах ты, немец, лоб доскою,
Не владеть тебе Москвою...*

* * *

Солнечный воскресный день. Отправляемся с мамой на хутор к Полика-
ниным прощаться с тетей Фросей. Рядок потемневших от непогоды избу-
шек на холмистом месте обычно называют в селе выгоном. Весной здесь
раньше обсыхает земля, проклевывается сквозящая травка, на которую сель-
чане спешат выгнать ослабевший за зиму скот. По вечерам на выгон стека-
ются нарядные девки и парни с балалайкой. Танцуют «краковяк», пляшут
«мотаню», поют «страдания», «светит месяц» и озорную «семёновну». Здесь
зарождаются новые частушки.

Мы пересекли выбеленный ночным снегопадом выгон. У калитки пали-
садника нас встречает слабенькая от горя, почти прозрачная Наташа. Она
похожа на цветы в снегу, что склонились в палисаднике. Мне жалко Наташу,
хочется ее успокоить, погладить по плечу, но я, застеснявшись, прохожу
мимо. В тесной темной избе собралось десятка полтора сельчан. Среди них
я заметил хромого борца за «всехнюю справедливость» — и оттого обычно
не в меру шумливого Егора Назаркина, который получил язвительное про-
звище Бурец (искаженное — борец), как всегда мрачного чернобородого
Тинтиля, родственницу тети Фроси, дородную Дуню Ларину... все, как и
мама, в чёрном. Видно, скорбный и трагичный цвет, размышлял я позже,
напоминает нам о тьме вечной ночи, чёрную утробу земли, или, может, кос-
мическую неоглядность, в которой на мгновение вспыхнула наша жизнь...

Тетя Фрося лежала в некрашеном гробу, белея подбородком и острым
носом, словно ожидая, чем всё это закончится. Не верилось, что она навсег-
да сложила на груди свои быстрые изработанные руки.

Казалось, вот-вот она встанет, скажет: «Идите с Богом домой, я пошути-
ла». Но уже появился священник, родом из Студёновки, где ещё стояла пос-
ледняя полуразрушенная церковь. Обходя гроб, помахал дымящимся кади-
лом и тихим голосом пропел: «Со духи праведных, скончавшихся, душу рабы
Твоей, Ефросиньи, упокой, Спасе, во блаженной жизни и избави её от веч-
ных мук и огня геенского...». Но тут я увидел, как из посиневших губ тётки
Фроси тихо вылетел дымчато-серебристый живой шарик размером чуть по-
меньше куриного яйца.

Я дёрнул мамину руку и прошептал: «Смотри, мама...». Но она, окинув
взглядом горницу, ничего не заметила. «Тише», — прижала палец к губам.
Я встретился глазами с Наташей и понял, что девочка тоже видит чудес-
ный шарик. Вот он, всё также серебрясь, подрагивая, жемчужно перелива-
ясь, приближается к потемневшей от времени широкой матице, с неожиданной
лёгкостью проходит через деревянный потолок. И исчезает. Поду-
малось: «Что это? Душа тётки Фроси? А куда она полетела, куда исчезла?
Неизвестно»...

* * *

*В какие селения отлетает душа, покидая свою телесную обитель? Где ты
сейчас, мама, в каких краях? Ты приходишь ко мне во сне, ты живёшь, нетрону-
тая тлением, в моей памяти. Много ли это?.. Но, благодарение Богу, мне изве-*

стно, где покоится твоё, навсегда опустевшее телесное жилище. Скоро и я вернусь туда же, в землю. «Яко земля еси и в землю отыдеши». А душа — сущность воздушная. Она уходит в пространство, покидая Землю навсегда. Пролетят сотни, тысячи лет; распадётся на атомы вся Вселенная и возгорится снова, но нас с тобою уже никогда не будет на этой Земле. Никогда. Какое страшное слово! Ни-ког-да. Всего три слога, но их не вмещает сознание. Не потому ли так завораживает Nevermore эдгаровского чёрного ворона?.. Это слово ужасно, бездонно. Ни-ког-да... Неумолимое, беспощадное слово.

Что оно означает? Может, вечное небытие? Не знаю, не разумею... Не вмещается это безмерное слово в человеческое ограниченное сознание...

Мысль о чудесном, улетевшем сквозь потолок шарике занимала меня целую неделю. Но каждый раз, когда я пытался рассказать о нём кому-либо из своих одноклассников из третьего «Б» — все без исключения начинали меня подначивать, хихикать, а то и откровенно хохотать во всё горло. Они словно бы не слышали моих слов. Только очень близкий человек — или очевидец — мог понять меня. И это была Наташа. Мы сдружились. Я старался во всём угодить девочке, помогал делать уроки и вообще — взял её под своё покровительство. А когда мне удалось на глазах у всего класса защитить Наташу от вечного второгодника, хулиганистого альбиноса Коли по прозвищу Беляк, она стала для меня почти родной, но отчего-то мне всё больше нравилась молоденькая небольшая росточком, но ловкая, изящная в движениях учительница родной речи и русского языка Лидия Семёновна. У неё были широко открытые небесные глаза и высокая причёска из каких-то чуть подкрученных, словно бы осенних волос. Она не обращала на меня ни малейшего внимания. Это меня постоянно расстраивало. И чем равнодушнее она была ко мне, тем сильнее я переживал — до страданий, до боли. Чтобы хоть как-то заинтересовать «учителку», я хмуро молчал на уроках, изо дня в день получая двойки по всем предметам. А когда преподаватели, махнув на меня рукой, отступались, я на целую неделю уходил в учебники, немало изумляя усидчивостью маму. Непонятные места перечитывал десятки раз, и — удивительно — смысл прочитанного вдруг открывался, словно с глаз спадала пелена. Я глотал страницу за страницей, усваивая не только пропущенный материал, но и даже забежал вперёд. Совсем уж тёмные для меня параграфы зубрил наизусть.

И вот наступал день моего торжества. Я отчаянно тянул руку. Меня вызывали к доске. Лёгкость, с которой я отвечал, изумляла учителей. Странная метаморфоза со мной становилась предметом разговора в учительской. Обо мне судачили в классе. И тут я замечал пристальный, потеплевший взгляд больших небесных глаз Лидии Семёновны. Вот так вот!.. Сердце моё трепетало, наполняясь сладкой истомой, но я изо всех сил старался казаться спокойным. С ленцой в голосе отвечал у доски и с места на вопросы Лидии Семёновны и так подчас обстоятельно, с такими подробностями, что «учителка», казалось, готова была меня расцеловать. Вот оно! Ради этого стоило недельку покорпеть над учебниками...

Лежу на тёплой кирпичной «русской печке» с закрытыми глазами, внимаю в звуки. Поёт наш петух Мамай. Опушённое инеем окно порозовело. За долгую ночь мороз от скуки, наверное, нарисовал на стекле экзотические

растения каких-то далёких стран. Мать гремит ухватом на кухне в чулане. Вот пришла соседка Феня Буданова, что живет через дом по правую руку от Тинтиля. Миловидная, кругленькая, крепенькая, она не ходит, а как шар, катается. Муж её, дядя Коля, перед самой войной опился самогоном и умер. Но она не унывает, ей всё трын-трава. За лёгкий нрав сельчане называют её «Фенька — весёлая вдова». Вот и сейчас она с порога кричит: «Мир этому дому!». Затем катится по светлице с частушкой:

*Ай, дили-дили-дили,
Несолёные блины,
Я хотела посолить,
А мне мама не велит.
И-ха!..*

Мать бросает ухват для кухонной утвари, выходит из чулана. Они обнимаются.

— Чего хотела, как делишки? — спрашивает мать.

В полглаза вижу: Феня показывает большой палец и отвечает частушкой с выходкой:

*Фу ты, ну ты,
Лапти гнуты,
Чулки новы,
Пятки голы...*

— Садись, садись, заводная, — мать, улыбаясь, притягивает её за круглые плечи, усаживает возле стола, — рассказывай!..

Феня бухается крепким задом на широкую скамью, охает:

— Хромая кляча!

— Ты о ком? — спрашивает мать.

— Бурец! Ухаживает за мной надумал, — громко смеётся Феня.

— Тише, тише, мой ангел ещё не проснулся, — одёргивает её мать.

Они долго и горячо о чём-то шепчутся, перемежая речь тихим смехом, и я снова засыпаю.

Но скоро мой покой нарушает звонкий возглас «весёлой вдовы»: «Тоже мне, ухажёр!». Она уходит. Но посередине избы останавливается, вскидывает руки, выбивает дробь и поёт:

*Ах, ты, маменька, пусти,
Погулять меня в кусты,
Милая мамашка,
Я же не монашка.*

Она идёт к двери, останавливается у порога, целует мать, но не уходит.

— А эта свиристка, учительница, Лидия Семёновна, что же она?..

— Да что... Согласна, конечно. Сашка наш работает в Александро-Невске, а она родом оттуда, со станции. Там-то они и столкнулись. У неё там мать и две сестры, а отец на фронте. В Алневске жить будут...

— А РОНО отпустит?..

— Отпустит. Куда денется?.. Сашка, чай, в НКВД работает, начальник! Скоро приедет за ней. Поженятся. А им чего! Дело молодое...

Меня обдало жаром. Так вот кто нравится «учителке», вот о ком она думает, к кому стремится. Передо мной возник, ставший вдруг неприятным, дядя Саша с чёрными усиками, коричневыми глазами навывкате, в синей фураж-

ке с красным околышем и револьвером в кожаной кобуре на правой ляжке. Биток! Вот кого она любит! А что ты для неё: так, ноль без палочки...

Это открытие смяло в ком все мои обыденные чувства и мысли; на пяток дней я впал в глубокое уныние. Оказывается, Лидия Семёновна выходит замуж!.. Она уедет из Зелёно-Дмитриевки навсегда. Биток увезёт её в своей чёрной «лаковой» машине. А как же я? Что я буду без неё делать? Жизнь вдруг потеряла всякий смысл...

* * *

Мать скоро заметила моё сердечное томление, посадила меня под скамью под икону Николая Угодника, села рядом.

— Что с тобой, ангел мой? Ходишь как тень...

— Да так чего-то... голова болит маленько, — неуклюже соврал я. — А чего?..

— Чего, чего... Смурной ты какой-то, ровно в воду опущенный, жалкий. Может, кто обидел? Как в школе-то?..

Чтобы как-то отбояриться, я наплёл с целый короб: мол, много заданий на дом, отстал по математике и «Родной речи», Лидия Семёновна поставила «неуд», ещё и Наташка с уроками не справляется...

— А вы занимайтесь вместе, — посоветовала мать. — Может, будете помышлёней друг перед дружкой.

Моя подопечная тоже заметила неладное, но, по-собачьи преданно заглядывая в мои глаза, боялась встречать в личные дела своего патрона. Была без ума от радости, когда узнала, что я собираюсь делать с ней вместе домашние задания.

Наше с Наташкой содружество не осталось незамеченным в школе. Скоро вослед нам неслось:

*Тили-тили тесто,
Жених и невеста!..*

Раз-другой к нам подсаживалась до изнеможения уработанная на колхозных полях мать, но ласковая, довольная нашей дружбой, старалась помочь решить трудную задачку. Всё это, худо-бедно, пригасило мои мрачные терзания, что я-де один-единёшенек в целом мире и совсем никому не нужен, не считая, конечно, мамы и Наташки, но ненадолго. Ведь причина-то никуда не делась. Лидия Семёновна по-прежнему, что называется, не видела меня в упор и вовсе не замечала моих сердечных терзаний.

Но велика сила обожания! Меня непреодолимо потянуло в художество. Я и раньше неплохо рисовал. Мои наброски с натуры хвалили на уроках. Я любил изображать уличные сценки, без устали перерисовывал цветные репродукции из книжек. Теперь все стены нашей бревенчатой избы были увешаны портретами великих учёных и писателей. Я старался понять: что в них великого, почему они на весь мир прославились? Я вникал в биографии знаменитостей. Скоро они стали являться мне в цветных снах. Гудящий что-то неспешный Горький, подвижный, лёгкий в жестах Пушкин, а затем и грустный Лермонтов, и полузапрещённый в те годы озорной Есенин, затрёпанный томик которого когда-то тайком почитывал мой партийный отец. Я видел их совсем рядом, но они были сами по себе, с какими-то своими заботами, словно бы отстранённые от меня глухой стеклянной стеной.

Этих людей уже нет, думалось мне, а я знаю, что они чувствовали, я об-

щаюсь с ними и даже вижу их живыми. Правда, в снах. Но миллиарды и миллиарды ушедших в землю людей я никогда не узнаю, как будто их не было вовсе. Странно! Значит, жизнь дана, чтобы сделать что-то великое, доброе, что-то такое сотворить, чтобы остаться в памяти людей и жить с ними на Земле вечно. Но уже не в телесном, а в духовном виде. Удивительно! Надо поспешать. И, казалось, вот я сотворю нечто такое, за что меня прославят, а потом умру и нарисуют мой портрет, и Лидия Семёновна увидит меня на портрете, удивится и пожалеет... И тогда... Может, даже заплачет... И тогда... А что тогда, я, как ни старался, ничего не мог придумать...

* * *

До приезда из Ремизово лупоглазого — так я мысленно окрестил своего родственника, дядю Сашу — надо обязательно объясниться с Лидией Семёновной. Пусть она хотя бы знает, что я не смогу жить без неё тут, в Зелено-Дмитриевке, может, передумает выходить замуж за этого... Я уже не знал, как обозвать своего дядю, так он был мне противен. Жених!.. Вот приедет он на своей чёрной «лаковой» машине за Лидией Семёновной, что тогда делать... Может, выкопать яму на дороге? Подстроить какую-нибудь ловушку? Или, может, проткнуть колёсную шину?..

Я быстро вырвал листок из тетради в клеточку и вывел: «Лидия Семёновна, я люблю вас». Вдруг раздался стук в окно. Появился с улыбкой до ушей Коля Беляк. После трёпки за Наташку он неожиданно стал самым преданным моим другом-приятелем. Оказывается, его отец, однорукий дядя Кирилл, послал сына в дальнее село Студёновку к знакомому охотнику за порохом. А он — ко мне, мол, одному идти скучно, давай пойдём вместе. «Если мама отпустит», — отговорился я. «Не скушно тебе, а боязно», — подумал.

Мы поиграли в снежки.

Вернувшись домой, я увидел маму с моим листком в руке.

— Что это? — спросила она. — Вижу, под ногами валяется...

Но глаза её ясно выдавали: она знала, что там написано.

Я схватил листок, выскочил в сени и пробежал глазами написанное: «Лидия Семёновна, я люблю вас». О, Боже! Как хорошо, что я не передал этот злосчастный листок адресату! Какая чудовищная ошибка... Еще и в главном слове — «люблю». Вот посмеялась бы моя обожаемая учительница. Что бы она мне ответила? Страшно подумать...

Я вернулся в избу, сложил на глазах у матери вчетверо листок, разорвал на мелкие клочки, затем вышел во двор и пустил их по ветру. Но от своей затеи не отказался. «А что, если нарисовать Лидию Семёновну? — пришла сумасшедшая мысль. — Да! Попросить её зайти к нам, когда мама уйдёт на работу, — и нарисовать»...

Но как её позовёшь в дом? Я заробел.

«А чего бояться? — подбодрил себя. — Что в этом дурного? Или ты собрался кур воровать?».

Это соображение несколько успокоило, но сердце моё было не на месте. Отчего-то накатывала вдруг удушливая волна стыдливости...

На следующий день я остался после уроков в классе. Собирая со стола тетради, Лидия Семёновна взглянула на меня.

— А ты чего не идёшь домой? — спросила она.

— Да я... Я хотел попросить вас...

Сердце моё зашло в страхе, щёки горели от стыда. «Неужели ты та-

кой трус? Чего ты боишься? Что в этом стыдного?» — мысленно окоротил я себя.

— Мне хочется нарисовать вас, — выдавил я чужим, слабым голосом.

— Нарисовать? Зачем? — удивилась учительница.

— Когда вы уедете, я буду смотреть на ваш портрет и вспоминать вас...

Приходите к нам завтра после уроков...

— А ты маму об этом спросил? — откинув красивую голову с высокой причёской, смеясь одними глазами, спросила Лидия Семёновна.

— Да я ещё... Я не говорил ей, но...

— И не надо, — продолжила учительница. — Я предпочитаю фотографироваться. Идите, вы свободны...

Уничтоженный, пришибленный, словно набедокуривший щенок, я опустил голову и, несолоно хлебавши, побрёл домой.

* * *

Дядя Саша приехал к вечеру в субботу. Мартовская дорога за день подтаяла; разбрызгивая грязь, чёрная «лаковая» машина подрулила к нашему дому. Из неё вышел прямой, как палка, в синей милицейской форме с португеей мой родственник. Достал с заднего сиденья прикрытую белой тряпичной корзину. Те же чёрные усики, выпуклые коричневые глаза, красный околыш на фуражке, та же кобура с пистолетом на правом бедре.

Мать выскочила из сеней ему навстречу.

— Вот тут моя старушка что-то прислала для вас, — протянул он матери корзину.

Я смотрел во все глаза на своего дядю, но встречать его не вышел. Подумаешь, приехал! И чего она в нем нашла? Ну что в нём такого? Только синяя фуражка с красным околышем и пистолет. Это, конечно, большой плюс. Скорее всего, этим он и взял.

Дядя Саша зашёл в дом, окинул лупатым взглядом светлицу, стукнул ногой в прогнивший у порога пол.

— Надо менять!

Это хозяйское поведение мне не понравилось. Я отвернулся.

— А ты чего набычился, шкет? — обратился он ко мне, протянул руку. — Здорово! Чего у тебя пятерня, как дохлая рыба? Пожми, пожми. Вот так!

Он сел на скамью. Мать засуетилась накрывать на стол.

— Есть не хочу. Меня накормили до отвала, — остановил её дядя Саша и неожиданно продолжил: — Где она?..

— Кто, Лидия Семёновна? Она допоздна в учительской. Знать, тетради проверяет...

— Ну, я пошёл.

— А чего ж ты так, сразу...

— Повезу её к матери на смотрины.

— Но завтра у неё уроки. С утра...

— Да я, думаю, привезу её засветло.

Он быстро встал, подошёл к порогу, на мгновение задумался, затем решительно распахнул дверь и был таков. Следом за ним ушла к соседке, «весёлой вдове» Фене, мать...

Крепко зажмурив глаза, я судорожно размышлял, как расстроить эту их поездку на пару к бабушке Анастасии. Может, проколоть шину? Момент подходящий. Да! Только так. На трёх колёсах далеко не уедешь. Трясущимися руками я отыскал большое шило, которым когда-то отец подшивал ва-

ленки, и, выскользнув «кошачьим шагом» на улицу, ринулся к машине. Нашёл гладкое место между протекторами в заднем колесе, вонзил шило в резину по самую деревянную ручку. Затем с наслаждением ударил им в то же место ещё и ещё раз. С неописуемой радостью услышал, как вырвался — зашипел из колеса воздух.

Схоронив в карман шило, я огляделся. Солнце уже коснулось синих зубцов Васютина леса. Отбрасывая длинную чёрную тень, крадучись, как заправский злодей, я вернулся домой, залез на печь и, чтобы успокоиться, накрылся с головой одеялом.

Вскоре пришла мать с угощением — драчёнами на деревянном блюде — заглянула на печь.

— Ты чего притих? Уж не занедужил ли часом? Не изводи себя...

Я отвернул угол одеяла и, как из норы, ответил:

— Не люблю дядю Сашу...

— А чего он сделал тебе плохого? — засмеялась мать. И мне снова почудилось, что она всё знает.

За окном заурчал мотор, хлопнула дверца автомашины, послышался звонкий смех Лидии Семёновны. Пришли! Откинув одеяло, я увидел в верхней оконной крестовине, как тронулась машина. Спрыгнул с печки, прильнул к окну, затем выскочил в сени. Машина остановилась. Дядя Саша открыл дверцу; снова послышался весёлый смех Лидии Семёновны.

Дядя Саша обошёл вокруг машины, постукивая по колёсам носком чёрных ботинок. Заметив спущенный баллон, остановился, нагнувшись, процедил: «где это меня угораздило?», пробормотал какое-то ругательство.

Мстительная радость огнём ополоснула моё невинное сердце.

Из машины вышла Лидия Семёновна.

— Приехали? — сказала она, как-то странно хихикнув.

«Так вам и надо!» — мстительно кричал во мне чужой, полный мстительного чувства голос.

Но дядя Саша не сник: выхватил из машины гаечные ключи и домкрат, быстро отвинтил колесо — запаску. Когда алый краешек солнца спрятался за тёмный Васютин лес, он, сменив колесо, завёл мотор и пригласил в машину учительницу. Кокетливо выставив вперёд ладони, она покачала головой:

— Что вы, что вы, уже поздно. У меня стопка непроверенных тетрадей... Да и ночь уже на носу.

— Утром проверишь, — жёстко ответил из машины дядя Саша.

— Ну, нет, извините, я не поеду, на ночь глядя. Это, пожалуй, неприлично...

Лидия Семёновна обогнула бампер машины и направилась в сторону школы. Я проводил её горячим благодарным взглядом.

— Вольному воля, — рыкнул, высунув окошко голову, дядя Саша и с места газанул; машина, разбрызгивая грязь, рванулась по розвеям подтаявшей, истолчённой ногами дороги. Синее облачко газа медленно растаяло в холодном вечернем воздухе, оставив приторный, но приятный запах сгоревшего бензина.

* * *

Я был несказанно рад, что мне удалось расстроить коварный замысел дяди Саши. По моему хотению, да, да, по моей воле Лидия Семёновна не смогла поехать с дядей в Ремизово к бабушке Анастасии, как он выразился, на смот-

рины. Меня распирала индюшачья гордость: это я не позволил ей. Не допустил жуткой несправедливости. Вот так!..

Мне казалось, да что там, я был уверен, что теперь-то Лидия Семёновна будет смотреть на меня совсем другими глазами. Но, к моему удивлению, этого не случилось. Она также равнодушно смотрела сквозь меня, говорила со мной ровным, спокойным голосом. Удивление моё сменилось глубоким огорчением. Постепенно мной овладело тихое отчаяние. Невольно вспомнил я о Боге. Он же, как считают взрослые, всемогущ! А я совсем забыл об этом...

* * *

Мама ещё не пришла с колхозного поля, когда я, вернувшись из школы, встал на колени в переднем углу, где светились лики Спасителя, Божьей Матери и Николая Угодника. Последний казался мне родным, добрым дедушкой. Может, потому, что по-свойски, почти по-родственному, к нему обращались все сельчане со своими нуждами. И я заблажил: «Угодник, помоги, сделай так, чтобы Лидия Семёновна не уехала из нашей Зелёно-Дмитриевки, и ещё, чтобы она смотрела на меня своими красивыми глазами, как мама, ласково, по-доброму, и чтобы я не мучился, потому что, когда она смотрит на меня как на пустое место, а глаза её совсем чужие, мне становится плохо, и уже ничто не радует. Помоги, Николай Чудотворец, не забудь, пожалуйста, что тебе стоит, помоги...».

В последующие дни я старался почаще попадаться на глаза учительнице, ловил каждый её взгляд, но, не заметив никаких обнадеживающих перемен, впал в ещё большее отчаяние. И это, видимо, заметили бесы. Как-то раз я проснулся глубокой ночью от ужаса: чьи-то мохнатые руки сомкнулись на моём горле. «Мама, мама, помоги!» — задыхаясь, закричал я, но звуки слипались, глохли в сдавленной шее, превращаясь в слабый шёпот. И от этого становилось ещё страшнее.

В следующее мгновение я очнулся, радуясь, что это был сон. И уже не смог уснуть до рассвета.

Утром хотел было рассказать матери, какой ужас пережил я ночью, но что-то меня остановило. Может, я побоялся испугать её. И потом, мало ли что может присниться. Но на следующую ночь этот, покрытый шерстью некто навалился на меня снова. Отрывая его мохнатые руки-лапы от своего горла, я уже не звал на помощь мать, а почему-то повторял лишь одно: «Я больше не буду, я больше не буду...». На третью ночь я положил под подушку наточенный мной, острый, как бритва, нож с круглой деревянной ручкой. «Вот пырну тебя, гад», — пригрозил этому... как его назвать, не знаю, — с волосатыми руками-лапами. Пальцы мои помнили, как обхватывали и отрывали от горла сильные покрытые густой шерстью широкие запястья.

Вернувшись с работы, мать легла отдохнуть и тут же обнаружила под подушкой нож.

— Как он здесь оказался? — спросила.

Пришлось рассказать ей о моих ночных схватках с волосатым чудовищем, которое пыталось меня задушить. Мать испуганно вскочила с кровати.

— Что же ты молчал, ангел мой?! Ведь это козни бесовские. Так враг доводит человека до самоубийства. Говорят, были такие случаи. Человек хватается нож во сне и бьёт не того, кто душит, а себя. Прямо в горло... И конец! О, Господи, что же ты молчал? Ты же этой ночью зарезал бы себя!..

— Что ты такое буровишь, мама? Я что — дурной?..

— Молчи, молчи, дурачок... Становись со мной и молись. Молись!..

Мы встали рядом перед Иконами Спасителя, Божьей Матери и Николая Угодника. Я смотрел на шевелящиеся губы матери, тихо скользящие по святым лицам лампадные блики, и пытался понять, что думает обо мне Николай Угодник... Мы молились примерно час. И — чудо! В эту ночь я спал, словно младенец.

На заре в полусне я увидел, как отворилась дверь. В избу вошел старик в белой одежде. Приближаясь ко мне, он увеличивался-увеличивался в размерах и стал похож на белоснежное кучевое облако. Голова его вознеслась высоко-высоко, словно бы не было потолка и крыши. Старик — облако медленно проплыл возле меня, легко прошел через стену и исчез. «Бог что ли?» — пришло на ум. И безмолвный вопрос мой, словно бы повис в розоватом воздухе зари.

* * *

...Но я летел, казалось, к смертному исходу, а вышел в открытое пространство, у которого, как и у времени, нет ни конца, ни начала. Я смотрел сверху на свой путь по Земле — печальный путь улитки, оставляющей едва заметный след, обреченной неумолимой гравитацией тихо ползти и медленно угасать на задворках Вселенной... Всё напрасно, ибо перед бесконечностью времени и пространства молниеносная скорость равна нулю, а любое время жизни стремится к исчезающе малому мгновению.

Вот начало — в бревенчатой рязанской избе с яблоневым садом, на берегу Оки; затем след ведет в дымный шахтёрский поселок под Тулой и вдруг ныряет в голубое от непогоды село на берегу великой Волги, откуда след въётся в казахские степи, на сарышаганские камышовые озёра, блистающие в верблюжьих пространствах, едва не теряется в таёжных зелёных волнах немереной Сибири, и тут — резкий поворот на пыльные дороги глинобитной Средней Азии; по золотой вязи отмелей восточных рек поднимется он на заоблачный холодный Памир, откуда петляет в зеленую долину Зеравшана, где стремится свои пенные гривы бешеный Вахш; но вот, уже утомленный, медленный, тянется по средне-русской равнине, в тихие поля милой сердцу Рязанщины...

Ход к истокам. Туда, где обретается материнский могильный холмик...

Вот вернулся, прилетел безмерно уставший ангел твой, мама. С обтрёпанными, уже не белоснежными, уже выщербленными, нечистыми крыльями.

И чего он искал в мире этом? Зачем летал-витал, маялся? — везде одно и то же... Одни и те же страсти: лукавство и коварство, любовь — ненависть, желание выехать на ближнем. Лишь по форме жизнь насельников многолика, но суть их едина. И потому, каждый раз сотворяя рай, мы приближаемся к аду...

Помнится ветер, красный осенний закат, когда я в последний раз поцеловал тебя, мама, в холодный, странно, неизъяснимо холодный лоб и вдруг понял, что душа твоя уже отлетела, оставив опустевшую, остывшую, уже нежилую телесную обитель. Навечно, навсегда. И я остался один на этой огромной Земле. И заплакал тихими горячими слезами — за себя, за тебя, за всех нас, ныне живущих, толкающихся, суетно озабоченных, обременённых, ибо все мы отойдём в вечные селения. Было сказано: найдётся место для всех, навсегда с этой Земли уходящих. И я ронял тихие сиротские слезы...

* * *

В мартовском снегу появились теплые, парные проталины, когда я твёрдо решил стать знаменитым художником. Чтобы повсюду были мои

картины. И чтобы рядом с ними — мой портрет. Вот уже тогда-то Лидия Семёновна не сможет смотреть мимо да вскользь, ровно я тетрадка или табуретка какая. Увидит меня близко-близко и уже совсем другими глазами: «Вот он какой!» — скажет. Пусть на картинке, пусть... Но ведь это буду я, а не мой дядя.

К этому времени сбылась моя давняя мечта. Мать, наконец, вняла моей просьбе: наказала отъезжающему на станцию Александро-Невская за плотническим инструментом Тинтилю купить мне акварельные краски.

— Испачкает он тебе всю избу, — недовольно буркнул Тинтиль, стрелнув в меня своим едко-чёрным разбойным глазом.

— Пусть его, чем бы дитя не тешилось, — ласково улыбнулась мать.

Писать с натуры красками оказалось куда труднее, чем рисовать карандашом или ручкой. Они были капризны и своенравны, эти красивые, вкусные на взгляд, акварели, — расплывались, расплзались по бумаге, скрадывая линии, а то и вовсе превращая мои начатки в цветную мазню. Портрет Наташки вызвал у нее неудержимый приступ смеха, пришлось его порвать. Но постепенно рука обретала уверенность; портрет матери был уже вполне узнаваем.

Вскоре я сделал для себя открытие: писать кистью надо легко, не напрягаясь, чуть-чуть преувеличивая характерные чёточки натуры. Если переборщить, получится карикатурно, а в меру — будет почти один к одному.

Как-то раз зашел Тинтиль, придирчиво осмотрел мою «третьяковку».

— Можешь ли ты нарисовать меня, малец? — прищутив глаз, спросил он. Я сразу вспомнил про Зорьку, но подумал: дело прошлое. Молча, пододвинул табуретку — садись, мол.

Некоторое время спустя, Тинтиль заерзал.

— Фотография, ёлки — моталки, всё-таки лучше. Щёлк — и готово!

Он замолк, но ненадолго.

— Что там у тебя получилось, ну-ка?..

Он встал, повертел и так, и этак свой портрет, то относя, то приближая его.

— А, похоже, ей-богу, похоже...

Пошёл во двор показать матери. Они долго что-то обсуждали, засмеялись, потом Тинтиль начал рубить дрова.

На следующий день он купил в кооперации, как мы называли свой саманный магазинчик, грамм сто леденцов.

— За работу, — протянул он слипшиеся в газетной бумаге конфеты.

— Да зачем это? Какие-то леденцы... Я что — маленький?

— Не маленький, но и не очень большой, — усмехнулся Тинтиль.

После этого он, к моему удивлению, зачастил к нам, каждый раз набиваясь помочь по хозяйству.

О моём художестве прослышала тётя Марфа, «брехливая Чеготаиха», как прозвали её на селе за редкий дар распушить любого, кто ей не по нраву.

— Ну-ка, ну-ка, что у тебя тут, покажи, — начала она с порога и продолжила: — А знаешь, как тебя на селе дразнят? Наш Репин! У людей язык, как помело. А я давно хотела сфотографироваться на смертный случай... Да разве до Алневска доберешься, — чай, двадцать вёрст пехать, а у меня ноги уже не те...

Я посадил её на табуретку. Присматриваясь, обошёл вокруг.

— Чего это ты уставился так на меня? — забеспокоилась Чеготаиха, окидывая взглядом свою заношенную фуфайку.

- Изучаю натуру, — степенно ответил я.
- Чего, чего?..
- Натуру, говорю, ну то, что надо нарисовать.
- А-а, — успокоилась она.

И тут я, как-то неожиданно для себя, увидел в этой затюканой, заезженной жизнью пожилой женщине, пережившей мужа и двух погибших на фронте сыновей, бывшую красавицу. Об этом говорили высокие дуги тонких бровей, прямой с небольшой горбинкой нос, тёмный пушок на верхней губе, давно отцветшие, большие, когда-то, видимо, полные жизни голубые глаза. Я даже и не подозревал, что Чегогтаиха так красива...

Посмотрев на своё изображение, она возмутилась:

- Чего это ты, милоч, намалевал? Неужто я такая старая?

Подошла мать.

- Что ты, тётя Марфа, да ты ещё как вешняя вишенка. Хоть под венец!

— Это другой коленкор, — рассмеялась довольная Чегогтаиха, осторожно скатала блокнотный лист с портретом, задумалась. — Эхма, где вы, золотые наши денёчки... Сгорели — зола осталась... Всё, всё прошло, ровно вешняя вода...

Глаза её погрузтели. И как мать не пыталась развеселить её, она ушла задумчивой и печальной.

* * *

Алым дымным морозным утром на пороге появился Тинтиль. Вынул из подмышки пакет из вощёной бумаги коричневого цвета, высыпал из него пригоршню каких-то пыльных катушек, разноцветных проводов и чёрные наушники.

- Ты знаешь, что такое радио, малец? — строго глядя на меня, спросил он.

- Ну, знаю. На станции Александровской видел, а что?

— Что, что... Чего ты видел? Рупор на столбе? Ты детекторный приёмник видел? Нет. Вот он, смотри. Эта штука у меня давно пылится — всё руки не доходят. Тут и инструкция к нему. Почитай, поймёшь, как собрать это хитрое устройство. Будешь Москву слушать. А рисовать — это что... Это не мужское дело...

Когда он ушёл, я трижды прочёл инструкцию, но понял лишь, как подключить антенну, радиотелефон и откуда тянуть провод на заземление. Не верилось, что при помощи этой, по выражению Тинтиля, «штуки» можно слушать далёкую Москву. Но я не отступал и до самого вечера, забыв про обед, поминутно ныряя в инструкцию, скреплял, свинчивал и снова разбирал, развинчивал кучу деталей. Перемотав заново длинный запутанный провод катушки — контура, я полез в подполье, где у нас хранилась картошка, разгрёб в углу клубни и забил штырь заземления. Утрамбовал это место, побрызгал водой. Ну, кажется, всё! Вот только антенна!.. на неё не осталось провода.

Обеспокоенная моим необычным увлечением мама дважды подходила ко мне, что-то спрашивала, но я отвечал односложно и неохотно, хорошо зная, между тем, что ей нравится, когда я увлекаюсь хоть каким-то делом — «меньше головной боли».

На следующий день с зарёй я начал мастерить антенну. Пришлось связать «морским узлом» три куска медного провода, которые отыскились на чердаке. Я поставил шест возле печной трубы на крыше, перебросил закреплённый на нём провод через дорогу, поперёк улицы и закрепил конец

его на самой высокой берёзе. Получилась отличная антенна в семи-восьми метрах над землёй.

В полдень я вспомнил, что забыл про школу, но это меня не огорчило. К концу дня наступил ответственный момент настройки приёмника. Я надел наушники, крутанул пальцем частотное колёсико. Послышалось не-земное потрескивание в эфире, шорохи, разряды, шипение космоса. И вдруг — о, чудо!.. чёткий приятный женский голос произнёс: «Говорит Москва, передаём последние известия!..». Бог мой! Такого потрясения, восторга, такой высокой радости я не испытывал в жизни ни раньше, ни позже этого мгновения...

— Мама, мама! — заорал я благим матом.

Прибежала насмерть перепуганная мать.

— Что, что с тобой, сынок?! Родной мой, что случилось?!

— Мама, послушай...

Я протянул ей радиотелефон. С круглыми от испуга и недоумения глазами мать приникла к наушникам. Глаза её расширились. Теперь уже от изумления.

— Москва, Москва... — истово вслушиваясь, шептала она. Вдруг, сняв наушники, она воззрилась на меня: — Как ты всё это смастерил?

— Я ничего не смастерил, детали радио Тинтиль принёс, а я только собрал всё это...

— Не Тинтиль, а Егор Никанорыч, — строго выговорила мне мать, протягивая радиотелефон. — Надо уважать старших, понял?

— Понял, понял, — машинально ответил я, влипая в наушники. «Мы рассказали вам о новых стендах на ВДНХ. Послушайте русские народные песни в исполнении...». Тут в избу впорхнула Наташка. Я помог ей надеть наушники, но они тут же соскочили с её светлой головки. Пришлось поддерживать их пальцами.

— Ой, калинка!..

— Что, что?

— Ну, песня, песня «Калинка, малинка моя...». Вот поют! Так здорово!

— Довольно, довольно, — заговорил во мне собственник. — Не болтай о приёмнике никому, поняла? А то начнут ходить тут...

— Могила!.. — и она клятвенно пообещала мне молчать.

Но напрасны были все её заверения, не раз и не два «по большому секрету» проболталась Наташка в школе о моём радиоприёмнике. Уже Коля Беляк шептал мне на ухо: «Дашь послушать?» — «Ещё бы!» — с закипающим раздражением отвечал я. «А давай завтра сходим в Студёновку за порохов. Отец просит...» — Посмотрим», — цежу я сквозь зубы, не желая связывать себя обещаниями. Звёздная болезнь!

После уроков, когда я собирал в холщёвую сумку тетради и учебники, подошла Лидия Семёновна.

— Что ты там такое изобрёл? — с насмешливым интересом, пристально глядя на меня, спросила она.

— Ничего такого не изобретал, — набычившись, ответил я.

— Ну как же, как же, циркулируют слухи... Как говорится, нет дыма без огня.

— Просто сосед Егор Никанорыч принёс мне в подарок раскуроченный детекторный приёмник, а я его собрал — вот и всё...

— Детекторный?.. Не видела. Любопытно! Как он выглядит? Впрочем, может, завтра после уроков зайду посмотреть. Можно?..

— А то!.. Конечно, конечно... Да я... Я никуда не уйду! Я буду дома... — с бешено заплывавшим сердцем закивал я головой, ещё не веря своим ушам.

Заметив радостное смятение и растерянность на моём лице, Лидия Семёновна склонилась к плечу голову и ласково улыбнулась.

* * *

В тот день, с трудом отсидев уроки, в сущности ничего не усвоив и не запомнив, я побежал поскорее домой, чтобы подготовиться к визиту Лидии Семёновны. Подмёл и промыл добела дощатый пол, закинул лишнюю одежду за печь, расправил одеяло на кровати, подобрал, что валялось под ногами в сенях. И всё ходил по избе, без толку перекладывая вещи с места на место. Чуть успокоившись, вскакивал и снова принимался наводить в избе марафет.

Вдруг я услышал из сеней милый, чем-то похожий на мамин, голос:

— Можно?

Лидия Семёновна! Я заробел, задрожал как осиновый лист.

— Можно, конечно... можно... Заходите, пожалуйста!.. — срывающимся голосом ответил я, бегом принёс табуретку. Поставил под платями у печки, где был мой радиоуголок. Лидия Семёновна положила на стол небольшой пакет с учебниками и тетрадями, прошла через светлицу и села на табуретку.

— Так вот где обитают и творят последователи Александра Попова? — засмеялась она, оглядывая бревенчатые стены избы, увешанные моими рисунками.

— А это и есть детекторный приёмник? — продолжила она, показывая на мои причиндалы. — Ух, сколько тут проводков! И всё — наружи... Архаика! У нас в Александрово-Невске давно пользуются радиоприёмниками на лампах, и, говорят, уже скоро появятся ещё более совершенные — транзисторные приёмники...

Я сосредоточенно крутил колёсико настройки, нашёл частоту максимальной громкости и подал учительнице наушники. Оттопырив мизинчики, Лидия Семёновна взяла их и, видно, чтобы не помять высокую причёску, осторожно приложила один из них к правому розовому ушку.

— О, Чайковский! — воскликнула она. — «Танец маленьких лебедей!.. Балет... Какая прелесть!..

Её восторг передался мне. Непреодолимо захотелось сделать для неё что-то такое, чтобы она ещё больше удивилась и обрадовалась. Но что?.. И тут я вспомнил про яблоки. На зиму мы закапывали на чердаке в сено золотую гору крупной, слегка приплюснутой, рассыпчатой, медово-ароматной антоновки.

— Я сейчас! — вырвалось у меня. Схватив на кухне сплетённую из шпагата сетку, я выскочил из избы и в мгновение ока взлетел по лестнице на чердак.

— Ты куда? — положив наушники, с недоумением поднялась Лидия Семёновна.

Но я уже ничего не слышал. Отбирая самую крупную антоновку, быстро наполнил с верхом свою тару и буквально скатился с чердака, едва не сбив с ног стоявшую внизу учительницу. Сетка вырвалась из моих рук, яблоки раскатились по сням. Мы бросились подбирать их. Нечаянно я коснулся руки Лидии Семёновны; сердце моё замерло от страха. Но — слава Богу! Она ничего не заметила.

Я подал ей сетку с янтарной антоновкой.

— Ну, это лишнее, — с улыбкой отвела она рукой моё подношение.

— Возьмите, возьмите, пожалуйста! У нас антоновки много, — поспешил я заверить учительницу.

— Что ж, спасибо! И за «Танец маленьких лебедей» огромное спасибо... Ты хороший мальчик.

Левой рукой она нагнула мою голову и легонько чмокнула в лоб. Серебряная капелька невыразимого блаженства скатилась с небес и, усиливаясь, увеличиваясь, превратилась в высокую сверкающую волну, которая, казалось, накрыла меня с головой.

Оглушённый, онемевший, я смотрел, как Лидия Семёновна свернула с дороги на тропинку, ведущую к школе, и чувствовал, знал, что она для меня значит не меньше, чем мама, и так же дорога мне, и, если надо, я, ни секунды не задумываясь, с радостью за неё умру...

* * *

К вечеру следующего дня зашёл Тинтиль. «Ну, как, получилось?». Надел наушники, долго и хмуро слушал и вдруг рассердился.

— Из кожи вон лезут! То дай, сё дай... Заплати по ленд-лизу... А хрен вы не хотели с нашего огорода? Кто заплатит нам за кровь пролитую?.. И не надо, не надо нас пугать. У вас атом, и у нас атом... Чего же хвост-то поднимать?!

— Кто это? — недоумевая, спросил я.

— Да Америка противная, кто ж ещё?

— А что — Америка?

— А то... С жиру бесится!..

— А-а, — сделал я вид, будто понял, о чём речь.

— Держи, — подал Тинтиль наушники, постоял, подумал.

— А ты, малец, не дурак, — неожиданно продолжил он. — Из тебя может выйти толк... Вот тебе моя рука, — протянул он свою толстую с короткими пальцами лапищу. — Дружить будем...

Я терпеть не мог его словечко «малец» и неохотно подал руку.

— Ты чего? — заметив это, спросил он. — Мы ещё с тобой отгрохаем ламповый приёмник. Это, брат, не крендель с маком. Это вещь! Иль не желаешь? Хм!.. Ну, будь здоров и не кашляй...

Он вышел, громко хлопнув дверью.

* * *

После вчерашнего, похожего на ссору, разговора Тинтиль долго не заглядывал в нашу избу. Что-то подёлывал топором во дворе, скрёб лопатой в овчарне, помогая маме. Иногда они подолгу о чём-то разговаривали, спорили и, казалось, забыли о моём существовании. В те минуты, когда Тинтиль басовито рокотал во дворе, я уже думал не об уроках, а о том, как бы отвести его от дома. В голову пришла рискованная мысль — «нечаянно» уронить с чердака на его лохматую голову корзинку с антоновкой. Вот открывает он дверь, заходит в сени за инструментом, а на голову ему — бух! — корзина. Будет знать! Повадились тут хозяйничать!.. А мама, видно, боится его, молчит. Я почувствовал себя неустрашимым героем, готовым грудью защитить слабенькую маму от разбойного Тинтиля.

«Ишь ты! Думает, на него нет управы?.. Я тебя проучу!». Чтобы совсем уж не прибить соседа, я выбрал корзину полегче, наполнил антоновкой и привязал шпагатом за дверную ручку. Сам спрятался на чердаке.

Расчёт оказался верным. Утром Тинтиль крикнул матери: «Где лопата?». Толкнул ногой дверь в сени, пригнулся на пороге. И тут же корзина с анто-

новкой свалилась с чердака прямо на его сутулую спину: он подпрыгнул от страха: «Что за чёрт?!».

Я скатился вниз, начал подбирать яблоки. Тинтиль, грозно сверкая своими угольно-чёрными глазами, навис надо мной.

— Это твоя работа, малец? — он указал на корзинку.

— Нечаянно, извините... уронил, простите за...

— Знаю, знаю тебя. Ты мудёр, мудёр, а я мудрее, понял?

Вышла мать. Тинтиль шагнул из сеней во двор со словами: «Совсем обнаглел, щенок!..».

Мать пристально посмотрела мне в глаза.

— Зачем ты это сделал?

— Нечаянно, крест святой! — перекрестился я.

— Не божись, не ври, не гневи Бога... А это что? — заметила она шпагат, привязанный за дверную ручку. — Что это, спрашиваю?..

Я потупил глаза.

Мать схватила с ларя пеньковую верёвку и потащила меня за руку в избу.

— На тебе, враженок! — хлестнула меня по мягкому месту. Я терпел.

— На тебе! — хлестнула ещё и ещё раз.

Я молчал, как пойманный партизан.

— На, на, на!..

Мать отбросила верёвку, всхлипнула.

— И я ещё называю его «ангелом», этого... Этого вражонка...

Сердце моё сжалось, мучительная обида затопила по горло, по самые глаза, из которых брызнули слёзы. Я выскочил во двор, промчался мимо Тинтиля, выбежал на улицу и пошёл, сам не зная куда. Было много разных, больших и малых, обид. Но такой непереносимой обиды я ещё не знал... Мир потускнел, померк, распался. А потом начал расплываться, размазываться — я протирал мокрые глаза. Прояснилось: у колодца стоял с полным, уже отцепленным от «журавля», ведром Коля Беляк.

— Привет, ты куда? — обрадовался он, увидев меня, присмотрелся: — Ты чего такой?

— Какое твоё дело?

— Тебя кто-то отлупил, что ли?

— Заткнись! Идём за порохом.

— О, это дело! Отец обрадуется! — воскликнул Коля Беляк и подхватил ведро. — Если выйдем прямо сейчас, то с огнями будем дома, — сказал он и, расплёскивая воду, нырнул в покосившуюся избёнку под соломенной крышей.

Через некоторое время он появился на пороге в своём длинном пальто, скроенном из отцовской шинели.

— Идём!..

Солнце уже повернуло на закат; в полях с тусклым розоватым блеском по насту змеилась позёмка. Мы прошли опушку Васютиноного леса, в воздухе замелькали снежинки. В колке тёмных елей на краю леса вдруг зашумел, зашептал, загудел холодный ветер. «Небо жалуется, — быть непогоде», — говорила в таких случаях моя бабушка Анастасия.

* * *

Когда мы с банкой пороха возвращались домой, низкое, покрасневшее от мороза солнце скрылось в мутном снежном облаке. Понахмурилось. Густо повалили крупные хлопья; завыл ветер; словно белой шторой задёрнуло

Васютин лес и крыши оставленной нами Студёновки. Скоро всё потонуло в снежной круговерти. Мы потеряли ориентиры и, пригибаясь от сильного встречного ветра, пошли наугад.

Вдруг Коля Беляк остановился, указал вперёд.

— Смотри, волки!..

Я увидел в метельном поле три тёмных пятна. Волосы зашевелились на моей голове; тело покрылось мурашками. Но, сделав по инерции ещё два-три шага, я понял, что это трепещущий на ветру чернобыльник.

— У страха глаза велики, — сказал я спокойным тоном. — Протри глаза. Какие же это волки?

— А, и правда, померещилось, — Коля успокоился.

Примерно через полчаса он заныл:

— Я устал... Куда ты всё бежишь? Мы заблудились...

— Кто тебе сказал? Мы идём прямо на Васютин лес, — неуверенно ответил я.

— А где же он?

— Впереди, где ж ему быть?

Сумерки, между тем, сгущались; метель усиливалась; дико выл ветер; с каждым шагом валенки всё глубже проваливались в снег.

Коля Беляк остановился.

— Всё! Ноги не идут. Спать хочется... Не могу дальше...

— Ты что, сдурел? Мы же в два счёта зачоченеет тут. Васютин лес уже рядом, а ты — не могу!.. — я зашагал из последних сил. Коля Беляк, боясь отстать, пыхтел сзади. Но силы его были на исходе; спустя несколько минут он снова встал.

— Не могу, не могу больше. Ой, мама!.. — с этим, жутко прозвучавшим в сумеречном метельном поле криком Коля Беляк повалился в снег.

Я похолодел от страха: над головой пролетела-прошуршала чёрными крыльями смерть, но я чувствовал: она скоро вернётся за добычей. Я подбежал к своему товарищу.

— Вставай, Коля, Христом-Богом молю, вставай! Замерзнем! Вон, вон уже Васютин лес виднеется, вон он!..

— Где, где ты его видишь? — отозвался из снега Коля.

— Да вот же он! Я вижу! Встань, и ты увидишь.

Коля зашевелился, но не встал.

Тогда я решил припугнуть его:

— Ну и оставайся в поле. Замерзай! Мне-то что! Замерзай! А я пошёл домой. Пока!..

В эту минуту я понимал, что идти мне некуда, но и лежать в снегу, ждать смерти не хотелось. Я шёл, куда несли ноги, но быстро устал, потянуло в сон. И вдруг! — о, Боже, есть над нами Твое недрёманое око! — я заметил полузанесённый снегом санный след, ведущий к высокому стогу соломы, которая была с подветренной стороны выбрана нишей, похожей на небольшую соломенную пещеру. Я бегом вернулся к спящему Коле — над ним уже намело холмик снега, — поднял его и кое-как дотащил до соломенного укрытия, пахнувшего на нас морозным избяным духом и мышами.

Мы решили разжечь костёр. Тайком покуривавший Коля Беляк отыскал в карманах спички. Я зажёг охапку соломы, предусмотрительно отодвинув её подальше от скирды. Запрыгал, заплясал огонь, расталкивая ночь и наши ломающиеся тени. Сразу на душе стало веселее. Коля расстегнул своё пальто-шинель и повис над костром. Вдруг у него загорелась

рубашка. Он упал на живот и завертелся в снегу. Помогая ему встать, я невольно расхохотался.

— Чего ты ржёшь? Тебе бы так! — обиделся Коля.

— Не обижайся, — ответил я. — Ты так смешно ёрзал на животе... Как на санках.

И Коля тоже рассмеялся.

— А где порох? — спросил я.

— Порох?... Вот, в боковом кармане.

— Эх, ты, чудака, ты же мог взорваться!

— А, правда... Вот повезло.

Мы расхохотались, как сумасшедшие, неизвестно над чем. Отогревшись у костра, поглубже закопались в солому и уснули.

В ранний, так называемый «час быка», когда на мгновение предрассветную землю окутывает странная тень, я проснулся. Увязая в снегу, бежал вокруг скирды, чтобы согреться. Ни ветерка, метель улеглась, светила полная луна, на востоке обозначилась полоска зари. Я залез на стог и осмотрелся. Васютин лес остался слева, далеко в стороне, зато до Студёновки было рукой подать. Как оказалось, мы описали огромную дугу и уже повернули туда, откуда пришли. В тёмно-голубом небе сверкали острые морозные звёзды, искрились, сияли подсинённые лунным светом бескрайние заснеженные поля и полузанесённая метелью Студёновка. Стояло великое безмолвие, когда слышно звенящий ток крови.

Я соскользнул по снегу со скирды и закричал над Колей:

— Мы спасены! Вставай, соня! Идём домой!

Коля вскочил, долго хлопал глазами и соображал, где он находится.

Проваливаясь по колено — а на распадках даже по пояс — в сухой пушистый снег, мы пробивались к Васютиному лесу. Словно заколдованный вчерашней метелью, стоял он недвижно в сверкающем убранстве. Вдали сияли под луной крыши нашей Зелёно-Дмитриевки. «Как там мама? — подумалось вдруг. — Ох, и нагорит мне!..».

На востоке уже занялась алая заря, постепенно вытесняя синее свечение луны, когда я, простившись с Колей Беляком, откинул щеколду нашей калитки.

Мать не спала. Она бросилась ко мне с возгласом:

— Жив, ангел мой, жив!.. Родной мой, жив!..

Она прижала меня к себе, содрогаясь от рыданий.

— Сынок мой, кровиночка моя, прости меня, я погорячилась, прости меня, ради Бога... Господи! — упала она перед образом. — Слава Тебе, Господи... Ты спас его, Ты!.. Он уже дома, он живой, слава Тебе, Господи!..

Мать поднялась, со слезами снова прижала меня к своей груди. Я не выдержал и тоже заплакал.

...Я знаю, что нет тебя здесь, мама. Дух твой отлетел... Но каждый раз я возвращаюсь на этот холмик, где ты погребена. И остаётся иллюзия, что я общаюсь с тобой.

Не утратив веры, но оравленный сомнением, я отправился в поисках Истины в известково-белый Иерусалим, к твоему милосердному Богу, мама. Прошёл дорогой скорби Его и достиг Голгофы, где принял Он мучительную смерть на кипарисовом римском кресте. Безвинно...

И прошёл я путем Его: коснулся Вифлеемских яслей, где Он родился среди

мирных и дружелюбных животных; поднимался на куполообразный Фавор, где Он преобразился, и одежда Его стала белой, как снег, взбирался на «сорокадневную» голую, красного камня, гору Искушений, откуда, казалось, видна была вся планета. И подумалось, и открылось мне, мама, на краю бездонной пропасти, где когда-то стоял Иисус, — что принимает и уже приняло человечество те искушения главного Клеветника и Лукавца, которые отверг Он здесь две тысячи лет назад. Уже раскинул погибельную сеть свою антихристианский западный «золотой миллиард»...

И подумалось и открылось мне, мама, как несправедна и кособока была моя жизнь, и сказал я себе: «Не показывай пальцем на другого, спроси, как и Он, с себя». И тогда воистину будет изменяться к лучшему весь мир.

И подумалось, и открылось мне, мама: есть одно спасение — жизнь в духе. Мир — блистательная завеса, сотканная из бесчисленных соблазнов: изысканные яства и напитки, дорогие вещи, плотские убажания, власть, слава... За этой завесой искушений скрывают от нас безграничный океан Божьего Духа. И надо сорвать эту завесу, ибо в духе наше последнее прибежище, — там новая земля и новое небо, там наша родина...

Вторую неделю Тинтиль обходит стороной наш дом. Меня точит совесть: в общем-то, он неплохой мужик, вот и детекторный приёмник тебе подарил, а ты... Теперь я удивлялся, как могла прийти мне в голову дикая мысль — сбросить на него с чердака корзинку с антоновкой... Кажется, он и на мать обиделся. Вот, не заходит. Ну, что ж, вольному воля...

Однажды он всё же заглянул в нашу избу. Насупившись, молча, смотал все проводки детекторного приёмника, сунул его под мышку и, крепко хлопнув дверью, исчез. Хотелось перед ним извиниться, но я, гордец, промолчал.

Меня это не очень-то и задело. К тому времени я увлёкся поэзией. Читал наизусть «Домик в Коломне» и «Полтаву» Пушкина, «Тамбовскую казначейшу» Лермонтова, множество стихов из тоненького, затрепанного томика Есенина, заполняя своими корявыми строчками тетрадь за тетрадь. Какое это наслаждение — уединиться, когда на улице дождь или снег, и под шум непогоды сочинять! Какая радость найти несущий строку ритм, звонкую рифму!

*Она катила свои воды,
Иссиня-белые они,
Кричали шумно чайки где-то,
На берегу стояли мы...*

Так писал я о нашей речке, где, между прочим, никогда не водилось никаких чаек. Много безымянных стихов было посвящено Лидии Семёновне. Мне всё казалось, что вот-вот я сотворю блестящее стихотворение и понесу ей в подарок, но каждый раз из-под пера выходило совсем не то, что я чувствовал и хотел сказать. Это приводило меня в уныние, но я, забывая про уроки, целыми днями, а иногда и по ночам продолжал корпеть над стихами.

Взамен Тинтиля к нам зачастила Феня Буданова — «весёлая вдова». Каждый раз она появлялась с прибауткой, о чём-то долго щебетала с мамой и, пританцовывая, уходила с озорной частушкой.

Однажды в морозный солнечный день, когда я, договорившись с Колей Беляком покататься на выгоне, смазывал в сених свои самодельные лыжи, широко открылась дверь, вошла Феня и встала на солнце у порога. «А чего ты в темноте-то возишься?» — «Это тебе с улицы так кажется», — ответил я. — «Мама дома?» — «Ушла куда-то, посиди, придёт скоро...» — «Дашь приёмник послушать?» — «Нет приёмника» — «А где же он?» — «Тинтиль забрал» — «Вот скупердяй!» — возмутилась Феня. «И никакой он не скупердяй, — вступился я за соседа. — Всё по-честному: он же не говорил, что отдаёт приёмник насовсем...».

— Жадоба! Теперь будет слушать один. Живёт, как медведь в берлоге.

— А ты тоже одна... — возразил я, справедливости ради.

— Что поделать, милый мой... Сейчас — так... всё война проклятая... — вздохнула Феня.

В сених вдруг стемнело: пришла мама.

— Ой, Фенечка, привет! — они обнялись. — А я вот в магазин слетала, купила немного соли и сахарку...

— Значит, чай будет! — радостно воскликнула Феня.

Зашла с мамой в избу, пустилась в пляс. «Эх, яблочко, сбоку зелено, дайте, дайте мне наган — убью Ленина!..».

— Что ты такое горланишь, дурочка! — напустилась на неё мать. — Да если это дойдёт до НКВД, тебя сразу упекут за решётку за эту нэповскую песенку...

— А я чего?.. Это песня такая. Не я же её сочинила!.. — отбоярилась Феня.

— Хватит того, что спела. Тоже мне, артистка из погорелого театра. Сибирь по тебе плачет!.. — наседала мать, прикрывая за собой дверь.

Они оживленно о чём-то заговорили, заспорили; казалось, жаркий разговор двух женщин перерастает в ссору. Я невольно прислушался к их глухо доносящимся из-за двери голосам.

— Да брось ты мне голову морочить! — это мамин голос. — Ну его к ляду, этого Тинтиля!.. Нашла хозяйина... отстань! Мне дороже мой ребёнок. И вообще, мне никто в целом мире не нужен, кроме моего ангела...

Я терялся в догадках — о чём идёт речь, уже смутно догадываясь, почему они вспомнили про меня, и желал только одного, чтобы прекратилась их перепалка.

— А этот ваш, Сашка-Биток, всё там же, в НКВД служит? — донёсся примирительный голос Фени.

— А то где же, — ещё с раздражением, но уже успокаиваясь, ответила мать.

— Наверно мно-огих в тюрьму упрятал?.. — продолжила Феня.

— Не наше дело, — коротко отрезала мать и уже спокойным голосом добавила: — К нам, в Зелёно-Дмитриевку, собирается. Приедет за учительницей...

— Да ну?! — с наигранным удивлением воскликнула Феня.

— Вот тебе «да ну». Как только учебный год закончится, он увезёт её насовсем в Александро-Невск. Дело решённое. Будут там жить-поживать, добра да деток наживать. А что?.. Хорошая пара!..

Дальше я уже ничего не слышал, долго стоял в ступоре: из рук моих выпал воск, полетела-грохнулась о деревянный ларь тяжёлая осиновая лыжа...

Дядя Саша приехал на своей чёрной «лаковой» машине в ветреное весеннее утро, когда на яблоневых ветвях высыпали бело-розовые бутончики.

Даже не затормозив возле нашей избы, он развернулся и встал у крыльца школы. Вышла в длинном коричневом платье и клетчатом жакете Лидия Семёновна. Они взялись за руки, пристально глядя друг на друга, постояли молча и пошли к машине. «Ну и что тут такого? — сказал я себе. — Мне-то какое до этого дело?».

С тяжёлым сердцем поднявшись на свой постоянный «наблюдательный пункт» — в распадок между соломенными крышами избы и овина, — я следил-таки за каждым шагом «хорошей пары».

Вот они подъехали к нашей избе. Мать, настежь отворив дверь, ласково пригласила: «Милости просим, гости дорогие!». Затем поздравила их с предстоящей свадьбой, пожелала «мира да лада» в семейной жизни, посоветовала побольше заводить детей...

Они переглянулись и весело рассмеялись.

— А без детей — какая семья! — закончила мать.

И тут меня, словно кто-то в бок толкнул; я скатился с крыши и подбежал к «хорошей паре», которая, отнекиваясь от маминого угощения, уже направилась к машине.

— Лидия Семёновна, не уезжайте, не уезжайте, пожалуйста! — зачастил я. — Как мы без вас будем... учиться? Мы к вам так привыкли!.. Не уезжайте...

Воцарилось неловкое молчание. Протянув руку к дверце, замер, как вкопанный, дядя Саша; застыли руки Лидии Семёновны, поправлявшие высокую причёску...

— Вот видишь, как её любят ученики?! — нашлась мама, обратившись к дяде Саше. — Мой ангел вообще в ней души не чает. Лидия Семёновна, Лидия Семёновна — постоянно у него на языке. Стихи стал писать...

— Всё о ней? — усмехнулся дядя Саша.

— Что увидит, о том и пишет, — уклончиво ответила мама. — И всё так складно — на удивление.

— А причём тут Лидия Семёновна? — вдруг перебил её дядя Саша.

— Как это — причём тут Лидия Семёновна? А откуда у него такое прилежание и любовь к русскому языку, к литературе, как не от Лидии Семёновны?..

Я взглянул на учительницу, которая, потупив глаза, водила по тропке носком отороченной мехом туфли, и неожиданно для себя выпалил:

— Оставьте нам свою фотографию: мы будем смотреть на неё каждый божий день и вспоминать про вас...

Моё нелепое поведение снова вызвало неловкое молчание.

И тут дядя Саша, шагнув ко мне, гаркнул:

— Ну, бывай здоров, шкет, не терзайся тут, помогай матери, если чего, приезжай к нам в Александро-Невск, будем рады тебя видеть, — он до боли крепко пожал мне руку. Мать обнялась и расцеловалась с Лидией Семёновной.

— Двинули! — скомандовал дядя Саша.

Но Лидия Семёновна, пропустив мимо ушей команду, подошла ко мне и, склонившись, запечатлела на моём чистом лбу лёгкий материнский поцелуй.

— Не скучай тут, пожалуйста! Ещё увидимся... — Лидия Семёновна подняла голову, повернулась к матери: — Ведь я тоже их всех полюбила, — она шмыгнула носом и села в машину.

У меня увлажнились глаза, впору было разреветься, но, стиснув зубы, я удержался. Машина тронулась, мягко переваливаясь на неровностях, пока-

тила, оставляя в вешней, пахучей, ещё непросохшей земле глубокий след протекторов...

Отвернувшись от мамы, я медленно побрёл к колодцу, где Коля Беляк снимал с крюка очередное ведро нашей «вкусной», как говорили соседи, воды. Мне вдруг захотелось пить. На душе было пусто; в голове звенела сумятица порожних мыслей. Я опустился на колени, прильнул к холодному колодезному ведру. На дне его, подобно моим мыслям, растерянно и беспокойно бегали-сверкали солнечные арабески. На миг мне показалось, что сердце моё остановилось, и я умираю. Уставившись на своего товарища, я с завистью подумал: «А он еще долго будет жить... после меня... Счастливый!..».

— Уехали? — брякнул Коля Беляк. Я быстро поднялся и, стараясь запустить в работу своё замершее сердце, изо всех сил побежал к стогу сена, куполообразная вершина которого возвышалась над цветущим садом. Коля что-то прокричал мне вслед, но мне было не до него. Я поглубже зарылся в пахнущее весенним лугом, духовитое сено и мгновенно уснул, словно провалился в тёмный колодец.

* * *

Не знаю, сколько времени я проспал. В саду сгустились окрашенные закатным светом сумерки. Разбудила меня песня зелёно-дмитриевских девчонок, которые возвращались с цветами из Васютина леса:

*Не шей ты мне, матушка,
Красный сарафан,
Не входи, родимая,
Попусту в изъян...*

Тонкими голосами выводили они песню о раннем и грустном замужестве. А мать — голосом самой бойкой из них — ласково уговаривала дочь не бояться близкого и неизбежного для молодой девушки сватовства.

Огромное красное солнце опускалось за синие зубцы далёкого Васютино-го леса. Навсегда уходил ещё один день. Из сада веяло холодным запахом цветущих яблонь. И невыразимая целомудренная печаль девичьей песни навеки запечатлелась в моём детском сердце...

Просветлённый дух по природе своей печален, ибо печальна в глубинном измерении сама жизнь...

* * *

Весна, как домовитая хозяйка, отбирает всё жизнеспособное в одну сторону, а загнивающее, хилое — в другую, смывает с полей последние зимние следы, выпускает на волю сквозящую зелёную травку... Уже прилетели горластые грачи, облюбовали осокори возле нашего дома и старую ольху за садом, кричат, бранятся, строят гнёзда — внешне всё, как на картине Саврасова.

Душа моя постепенно оживает. Внимательна и ласкова со мной мать, нежна и предупредительна Наташка. Приходит понимание, что есть в мире неодолимые препятствия, и не всё падает яблоком к твоим ногам, что-то даётся усилием, что-то терпением и смирением...

Иногда я поднимаюсь на свой «наблюдательный пункт», откуда открываются зелёно-дмитриевские окрестности. При ясной погоде хорошо видна деревенька Ремизово, где живёт моя бабушка Анастасия, чуть правее из-за горизонта горбятся крыши села Заборово, а на закате чернеет синяя зубча-

тая полоса Васютино́го леса, из-за которой выглядывают крайние избы Студёновки, куда мы ходили с Колей Беляком за порохом и — страшно вспомнить! — чуть не замёрзли в метельном поле...

С каждым днём жарче небесный костёр. И всё кругом полно благодати, ясности и надежд; каждая капля воды, лужица или осколок стекла сверкают как само солнышко. В потеплевшей синеве неба строгим клином проплывают журавли и мелкие лепетливые стаи других перелётных птиц. Направление у них одно — туда, где они родились и выросли, где их вековая родина — к нам, в Россию...

В полдень по всему око́ему и солнечным склонам трепещут потоки тёплого воздуха. Туманной дымкой затягивается дрожащий расплавленный горизонт. И, кажется, все чудеса мира скрываются там — за далью полей, за этой туманной дрожащей чертой, за горизонтом — далёкие страны, сверкающие большие города, необыкновенно красивые люди, удивительные тайны...

Меня уже почти не тяготит разлука с Лидией Семёновной. А ведь произошло на миг, что без неё я умру. Обошлось-таки. Но что-то во мне навсегда изменилось: внутренне я угомонился и как-то притих, словно бы вошёл в новый возраст...

* * *

...Казалось, я освободился от гравитационных пут земного существования. Но длился этот полёт не более спрессованных до ядерной плотности мгновений, когда время умалется-сжимается, вмещая в каждый миг десятки прожитых лет.

За считанные секунды пронеслись чудесные годы детства. Но рай завершается падением. Я вновь увидел красный небосвод над собой и чёрную землю внизу. И понял — это конец. Земля неслась навстречу, приближаясь, выросла в размерах...

И скоро я врезался в пружинящую почву. В зловещем красном свете увидел обитателей этой страшной болотной земли...

На меня полукольцом или-надвигались подобные полуистлевшим трупам какие-то тёмные сущности. Они угрожали мне. Их было пять или шесть. С трудом выдёргивая из болотной трясины ноги, я бросился бежать от этих ... вурдалаков? Вампиров? Бесов? Они не отставали, пытаюсь замкнуть кольцо окружения. Один из них, с перекошенным от злобы, источенным червями лицом и оскаленными зубами крутил на ходу ручку некой машинки, выбрасывающей в меня целые очереди грязевых шаров — ядер. Уклоняясь от них, я не переставал бежать. Но сил становилось всё меньше. Разомкнутое кольцо преследователей постепенно сжималось; просвет сужался. Вот кольцо почти сомкнулось. Но в последний миг я успел выскользнуть из окружения. Боковым зрением увидел: один из преследователей, словно обугленный, блестя лицевыми костями, быстро настигал меня слева. Я чувствовал, я знал, что любое прикосновение этих чёрных сущностей к моей телесной оболочке мгновенно лишит меня жизни. И уже протягивал длинную, в лохмотьях кожи, руку догнавший меня вурдалак. Вот сейчас он коснётся моего плеча — и конец! Ноги уже подкашивались. Впереди темнел крутой склон. Сердце зашло от ужаса...

И вдруг!.. Вдруг я услышал тугой треск перьев за моим правым плечом: на преследователя спикировал человек-птица. Сомкнув крылья, с молниеносной быстротой пронёс вурдалака по воздуху вперёд и буквально впечатал в чёрную

землю склона. Я повернул назад. Пересилив страх, оглянулся, но полураспущенные крылья человека-птицы скрывали моего преследователя.

Задыхаясь от бега, обессиленный, я пошёл шагом, с мыслью о моём спасителе, машинально повторяя: «Спасён, спасён, спасён...». Но кто это был? Ангел-хранитель? Тогда почему у него почти оранжевые крылья? А, может, мне так показалось в сумеречном свете алого неба?

Но, как бы то ни было, — я спасён!.. Я освобождён от мучительного страха... Радостно воскликнув трижды: «Свободен! Свободен! Свободен!» — я очнулся.

В моей городской квартире хозяйничало тихое, спокойное, ласковое солнце, освещая на столе неубранные с вечера чайные чашки, чёрный кожаный диван в дальнем углу и корешки плотных книжных рядов на стеллажах моей библиотеки...

Забытый телевизор, по обыкновению глумливо подмигивая, работал, как говорится, на полную катушку. Информация была тревожной...

Но реальность показалась мне в эту минуту странным инобытием и не вызвала никакого интереса. Я словно бы выпал из повседневности. Мною овладело ощущение чудесного и опасного путешествия, из которого я только что вернулся, ещё чувствуя себя гостем в собственном доме...

Сочи, 2019



Алексей ЛИСНЯК

ВЕТЕР С ВОСТОКА

Рассказы

НА СТРАЖЕ

В час, когда утренняя смена прошла на комбинат, а ночная ещё не вышла, на проходной делается тоскливо. Охранник Гена Мохов — бывший прапорщик — со своим напарником-стажёром потягивают чай и таращатся в окно. Чай чёрный, осень за окном жёлтая. Над рекой Белой факел нефтехимкомбината выдыхает в серое небо тяжёлое малиновое пламя. Все кроссворды в мире разгаданы, все анекдоты рассказаны. В такие минуты хочется чего-то такого... такого... Но ничего такого не происходит. Часы «Электроника» светят зелёной тоской, уборщица бабка Шура трёт окно проходной снаружи.

— Скучно, — вздыхает охранник Мохов и стажёр тоже вздыхает.

Но вот в неурочный час скрипнула дверь, и к турникету направился невысокий человек. Нелепое пальто, дурацкая шляпа, тёмные очки и портфель развеселили Геннадия. Он подмигнул стажёру и преградил человеку путь:

— Куда?

Человек кивнул в сторону комбината:

ЛИСНЯК Алексей Александрович родился в 1975 году в Воронежской области. Окончил Воронежскую духовную семинарию. Служил в армии. С 1999 года по сей день является настоятелем Богоявленского храма в Воронежской области. Печатался в журналах «Подъём», «Наш современник», «Сибирские огни», «Москва», «Русский дом», церковной и светской периодике. Автор нескольких книг прозы. Член Союза писателей России.

— Туда, — и попытался пройти.

Гена растопырился:

— Пропуск!

Человек приподнял очки, взгляделся в охранника, промямлил:

— Мне надо, — и снова попытался продвинуться. Но Гена стоял скалой и человек в эту скалу упёрся: — Мне надо, пропустите!

— Хе! — усмехнулся страж. — И мне надо, — указал на стажёра: — И ему надо, хоть он и без шляпы. И той бабке за окном надо. И поэтому у нас есть пропуск. А у тебя есть пропуск?

Человек озадачился и полез в портфель. Он там рылся и всё бурчал: «Где же он, был же, куда же он...», — потом проверил карманы, но так ничего и не нашёл. Впрочем, в кармане нашёлся бумажник. Человек вынул купюру, протянул охраннику, но Геннадий покачал головой и указал человеку на дверь. Посетитель ещё больше озадачился:

— Ну-у! — оценивающе оглядел охранника и вышел. Гена высунулся следом и узрел, как потешный человек несёт свой портфель вдоль забора в сторону Четвёртой проходной.

Мохов обернулся к напарнику:

— Видал клоуна? На Четвёртую пошёл...

Бледный напарник дрожал, протягивал Геннадию свёрнутую валиком многотиражку, которой раньше били мух. Гена развернул валик и оторопел: с чёрно-белого оттиска, сквозь размазанных насекомых на бывшего прапорщика Мохова глядел этот самый человек. Правда без пальто, маскирующих очков и шляпы. И выглядел он здесь не забавно, потому что это был директор комбината, так гласила надпись. За окном, крестясь на трубу цеха «Полистирол», сокрушалась набожная бабка Шура, которая всё видела. Мурашки пробрались под униформу Геннадия, забегали по спине. Мурашки свербили под форменной бейсболкой, шекотали под ремнём, на котором болталась кобура с сигнальным пистолетом...

Мохов не признал собственного директора, хотя видел его на трибуне ДК, видел по телевизору в местных новостях, да мало ли где видел! Но, чтобы здесь, на рабочей проходной? Такого еще не бывало! Всевидящий глаз камеры пялился с потолка. Это был позор.

Вскоре повалила отломавшая своё ночная смена. Охранник Мохов возвращал труженикам пропуска, а сам страшился взглянуть в их лица. Вдруг они уже прослышали о его конфузе? Здесь, на комбинате, слухи расползаются быстро. Стажёр поник. Гена ждал, что вот-вот зазвонит телефон, его вызовут в отдел кадров, где пристыдят и уволят. Но телефон молчал.

Когда ночная смена погрузилась в вахтовки и убыла, к сторожам вошла погреться уборщица бабка Шура. В далёкие сороковые она этот комбинат строила: мобилизовалась из деревни, жила в палатке, месила бетон, потом — у станка. Так и прожила. Из уважения старушку-ветераншу на пенсию не списывали, но кроме тряпок ей давно уже ничего не доверяли. «Её вот никогда не уволят», — позавидовал Мохов.

Стажёр предложил бабушке чаю, высыпал на стол пряники. Налил чаю своему шефу, себе, сел на подоконник и захлюпал из своей кружки. Геннадий по привычке сразу набил пряниками рот, но аппетита не было. Старушка огляделась и не найдя образов, принялась креститься на монитор охранной системы.

— Баб Шур, ты видала, как я с директором? — спросил Мохов.

Уборщица кивнула.

— Рассуди по справедливости, я прав?

— По справедливости прав, — глядя в чашку согласилась бабушка, — Только не по-людски это. По-людски-то — поговорить бы, расспросить.

Геннадий оправдывался:

— Бабуль, у меня инструкция. Ты ведь тоже свои заповеди это... того... Значит, тоже инструкцию соблюдаешь? Правильно?

Старушка поставила ополовиненную чашку и вздохнула:

— Правильно.

— Зачем тогда инструкция, если с каждым вошкаться? Правильно? — утешался Мохов, и бабка согласилась:

— Правильно. Только, когда б тебя самого, дубинушку, по инструкции да по справедливости погнали, тебе б не понравилось.

— Как это?

— А так. Вон у тебя написано «За курение штраф 1000». Ты раз пять-то уже с утра покурил? Выкладывай за все разы! Пожарники тебя в камеру видят, и молчат. Потому что вникают — скучно тебе, вот и по-людски. А если каждый станет курить, комбинат полыхнёт, а с ним полгорода?

— Ерунда какая-то, — удивился Мохов бабушкиным познаниям и покопился на камеру. — Хотя что-то в этом есть...

— Есть, есть. Заставь дурака Богу молиться... К людям подход нужен.

Геннадий не ожидал от старушки таких речей, удивился и решил бабуся подразнить:

— Баб Шур, а это у вас ещё из деревни? Чтоб перед едой молиться, да?

— А как же, не молившись-то? — ответила старушка и отхлебнула из чашки.

— В глухомани что, все так?

— Молятся-то? — не поняла бабка. — Не, не все. Люди только.

Гена оторопел от бабкиной остроты. Он хотел было как-нибудь съязвить в ответ, стал мычать, перебирать в уме шуточки про старух, но тут зазвонил телефон: Мохова вызывали к директору. Он заволновался, поправил кобуру и шагнул за дверь...

Уборщица допила, отправилась тереть окно. Стажёр ополоснул чашки, покосился на часы, уселся и развернул газету с начатым кроссвордом. По горизонтали спрашивалось про рыбу семейства карповых. Выходило, что начинается эта рыба на «к», а заканчивается на «ась». Стажёр наморщил лоб, принялся грызть карандаш, но на «к» из всех рыб вспоминалась только камбала и почему-то катаракта. «Эх, а шеф эту рыбу с наскока бы уделал!». Нефтехимкомбинат как всегда гудел и дымил...

Шло время, день угасал. Вот уже стажёр самостоятельно запустил ночную смену, скоро дневная потянется к выходу, а Мохова всё нет. Злосчастная рыба семейства карповых совсем изъела мозг стажёра, когда хлопнула дверь и проходная озарилась улыбкой пьяненького Геннадия.

— Что я говорил? — пропел он напарнику. — Инструкция! — и прищёлкнул пальцами.

Бабка по-прежнему тёрла снаружи окно. Мохов расплющил о стекло физиономию и прокричал так, чтобы на улице слышала:

— Во! Инструкция! — извлёк из нагрудного кармана конверт и помахал им из-за стекла перед носом уборщицы. Потом обернулся к стажёру: — Видал? Маринуюсь в приёмной, не знаю уже, что и думать, наконец вызывают. Вхожу. А он довольный-ый! Запись с камеры показал. Вот, гово-

рит, какой ты у меня боец! Взятку не берёшь, говорит, и всё по инструкции! А это он нас проверял. Сказал, что на День химика грамоту выпишут, а пока вот... — Гена помахал конвертом, — премия! И коньяку налил. Сам, — от Гены действительно тянуло коньяком. — А с Четвёртой всех уволил.

Напарник заёрзал на стуле, закричал. А Гена снова помахал бабке в окно своей прибылью. Но бабка не глядела, бабка в сотый раз намыливала тряпку, её старенькая голова мелко тряслась...

...Охранник Мохов приосанился, вдохнул, расправил плечи, потянулся. Истома растеклась по жилам. Нет, определённо в этой жизни что-то есть! И радость есть, и сюрпризы, и, главное, есть справедливость. Гена сунул конверт в нагрудный карман, похлопал по карману, ощутил возле сердца тепло. Скоро через его, Генину, проходную пойдут люди, много людей. И относиться к ним с подходом совсем не требуется, теперь-то уж это ясно. Будет возвращаться со смены жена, Гена выхватит конверт и при всех повертит у неё перед носом, будет сюрприз. И все увидят, какой он молодец. И пусть видят! А жена похвалит. Потом, дома...

Комбинатские трубы и установки зажигали рубиновые маячки, часы на проходной зеленели ярче: счастливый день завершался, а так хотелось, чтобы он не заканчивался!

Вскоре на выход потянулись уставшие дневные рабочие. Вот катится толстенный бригадир транспортного цеха, ноги колесом. Вот тянется перепачканный, как галоша, монтёр из цеха «Мазут», неплохой кстати мужик. Вот едва волокутся Мардан Шаймарданов и Рафик Абдрафиков — операторы с производства «Синтез-спирт». Они громко уважают слесаря Гарифуллина, который повис на их плечах и сам уже больше уважать не в силах, а только ворочает глазами. К турникету выстраивается очередь. Мохов цветёт, выдаёт пропуска, отмечает в журнале. Народ тянется к домам, к семьям, к ужину, к чаю. Все идут. В мире всё куда-нибудь идёт, и потому повсюду порядок. Надо только знать, кого пропустить, а кого нет. А на это и есть инструкция. Вот наконец и жена! Она завхоз строительной бригады, женщина соразмерная. Геннадий обрадовался, сунул пальцы за конвертом и только тут заметил, что пуговицы на плаще жены подозрительно разъезжаются. Гена попридержал руку с пропуском и уставился на неё. Она загадочно подмигнула: потом, мол, всё объясню. И поманила рукой: давай уже пропуск. Гена смотрел на жену и ничего не понимал. За её спиной волновалась очередь. Жена расстегнула верхнюю пуговицу, и Мохов увидел под плащом старый спецовочный ватник.

Она наклонилась к охраннику и прошептала:

— Ватник списанный вот, на рубалку тебе.

— А у меня, у меня... — замялся Гена... и нащупал пальцами конверт. Он хотел сказать: «Сюрприз», но его оконьяченный взгляд невольно скользнул по всевидящей камере, и вместо «Сюрприза» Гена отрапортовал: — Инструкция!

Всё верно, инструкция! Перед охранником стояла не жена, перед охранником стояла расхитительница! И эта злодейка тянула преступную лапу к пропуску!

В очереди послышался ропот. Гена подбросил пропуск жены своему стажёру, а злодейке скомандовал:

— Назад!

— Ты чего, Ген? — удивилась жена и сделала шаг к турникету.

Бывший прапорщик выхватил сигнальную Беретту, передёрнул затвор:

— Назад! Не положено! Инструкция! — и поднял оружие.

Жена оскорбилась, выпятила губу, сделала шаг навстречу непримиримому стражу. И напрасно.

— Предупредительный! — взвизгнул бывший прапорщик Мохов и бабахнул в потолок. Звонкая гильза запрыгала по бетону, глаза защипал едкий пороховой выхлоп, зазвенело в ушах. Народ попритих, а в очах расхитительницы показались слёзы:

— Инструкция, говоришь? — она расстегнула плащ, стянула с себя спи-санный мужской ватник и швырнула его в физиономию сторожа: — Вот тебе инструкция! Подавись! — злодейка схватила Мохова за грудки, тряхнула и отбросила прочь. Гена отлетел, но устоял. — Придёшь домой, я тебе покажу инструкцию! Чтoб ни на кухню, ни к спальне — ни на шаг! Дубина! Остолоп! Инструкция! — и жена выскочила за проходную.

Очередь оскалилась и загоготала. Гоготал перепачканный, как галоша, монтёр из цеха «Мазут», гоготал округлый бригадир транспортного цеха, гоготали все. А Мардан Шаймарданов и Рафик Абдрафиков — операторы производства «Синтез-спирт» — не гоготали. Они сурово кивали, они били себя в грудь, они уважали охранника Мохова...

Вот уже над Белой проснулся золотой месяц, часы «Электроника» изумрудно зеленеют, показывают, что дежурство скоро окончится. Бабушка Шура в свете фонарей всё трёт и трёт оконное стекло, трясётся её старенькая голова. Геннадий вручает рабочему классу пропуска, Геннадия похлопывают по плечу, острят и хихикают. У Геннадия горит лицо. Где-то глубоко-глубоко в недрах его военизированного сознания зарождается смутное подозрение, что кое-какие поправки в его инструкции кажется всё-таки не помешали бы. Вот только, какие?..

И тяжёлое малиновое пламя факела отражается в холодной реке...

ВЕТЕР С ВОСТОКА

Ясным майским утром заводской курьер Саша Митрофанов получил задание быстро смотаться к смежникам под Челябинск, забрать там пачку нужнейших бумаг и в целости доставить. Три часа электричкой туда, три — обратно. Задание — не задание, а так, прогулка...

И вот уже за вагонным окном раскинулось и мелькает цветущее уральское предгорье, поезд весело бежит, мягко покачивает дремлющих дачников и баюкает Сашу.

Когда до конечной оставалось всего несколько станций, в вагоне нарисовались пёстрые цыганские юбки: «Поможите, люди добрые-е, украли документы-ы, сами мы не местные-е... Голодаем». Рыбак, дремавший всю дорогу, схватился за свои удочки, подмигнул Митрофанову, мол, погляди-ка на голодающих. И Саша поглядел: из-под ярких шерстяных платков болтаются золотые серьги, золотые фиксы не помещаются в пухлый рот, пухлые ручки протянуты за подаванием. Пассажир с граблями хохотнул, студенты отвлеклись от телефонов. Сердобольная старушка достала из корзинки и протянула нуждающимся пирожок — вагон сразу затрясло от хохота. Митрофанов тоже прыснул в кулак и отвернулся от этой комичной

сценки к окошку, где уносились назад двускатные крыши придорожной деревни, плыла в солнце черёмуха, весенняя истома бликовала в полноводных канавах вдоль насыпи, а по холмам зеленела юная трава. Побирušки похлопали Митрофанова по кепке, потолкали. Он повёл плечом, отмахнулся, не хотелось оборачиваться. Да они и не настаивали: получили с пассажиров своё и убрались.

— Альпийское нищенство, — пошутил Митрофанову рыбак, — святое дело.

— Ага, — усмехнулся курьер.

...Завод, которым управляла Сашина жена, сносился через курьера Митрофанова со смежниками по всему свету. Саша по заданию и в Африку летал, и не только в Африку. И хотя в последнее время от поездок не было продыху, должность свою романтик Саша обожал. Даже эта однодневная командировочка — что бесплатная экскурсия: вот вдоль магистрали спешит холодная каменистая река, по зыбкому подвесному мостику бабка тянет за рога упрямую козу. Бегущая назад деревенька повисла улицей над обрывом, на завалинке пригрелся лубочный дед с самокруткой. Всего в двух часах езды от большого города пестрит за окнами такая добрая сказка...

От созерцания Сашу оторвал пожилой контролёр. Митрофанов собрался было предъявить свой билет, но сколько ни рылся в карманах, ничего не нашёл. Контролёр оживился, предложил Саше заплатить штраф. Курьер охлопал себя, но к удивлению бумажника тоже не обнаружил. Электричка затормозила у безлюдной платформы. Саша перетряс свой дипломат, вывернул всё, но ни билета, ни бумажника словно и не бывало. Поезд грохотнул сцепкой, тронулся — за окошком проплыли назад две цветастые юбки.

— Их работа, — ткнул в стекло рыбак, — альпийское нищенство.

— Их, — вздохнул Саша Митрофанов.

Опечаленный контролёр развёл руками — на следующей станции Саше приказано было сойти. Спорить и оправдываться не хотелось, и делать было нечего.

На следующем полустанке, где нет ничего, даже перрона, Саша соскочил с поезда. Невдалеке шумела на перекатах всё та же быстрая река, вовсю играло солнце. Там, где волны веками точили крутую скалу, кипело серебро. Мобильник не находил сети и растерянно попискивал. Саша сел на пенёк, снял кроссовок и достал из-под стельки записку. Он всегда припрятывал в дорогу пятьсот рублей, зная, что когда-нибудь это пригодится. Вот и пригодилось. Просто там, в вагоне, при посторонних, курьер рассекретиться постеснялся. Теперь оставалось лишь дожидаться вечерней электрички и продолжить командировку.

Саша посидел, огляделся, освоился: гремучая вода огибает высоченную отвесную скалу и убегает от железной магистрали. По-над речкой тянется подсохший глинистый просёлок. Пахнет хвоей, пахнет прогретой землёй, пробудившейся жизнью. Воздух нестерпимо прозрачен...

До вечернего поезда ещё ждать и ждать, и Саша тихонько побрёл вдоль реки. Из зелени маленькими солнышками глядят одуванчики, мать-и-мачеха начинает лопушиться, грандиозное светило припекает макушку. На камне пригласилась ящерица, заторможенная с зимнего сна. Саша потрогал её хвостиком, оглядел со всех боков. Затем обогнул холм и увидел одноуличную деревеньку, где царицей сидела над гремучей водой крайняя изба. От избы к мостку, с которого, наверное, удобно полоскать бельё, сбегала стёжка. Саша сел на краю мостика, разулся и опустил ногу в обжигающий речной

хрусталь. Нога тут же покраснела. Саша обулся, уселся по-турецки и всеми своими городскими лёгкими втянул томящий вольный дух. Голова куда-то поплыла... Поплыла...

— Эй! Башка сейчас палкой мана! — Митрофанов вздрогнул, обернулся и увидел позади старушку в татарском платке. — Тебе мой насос воровать надо? — старушка потрясла над головой своим оружием. Саша растерялся, заморгал, и увидел, что к краю мостка проволокой примотан насос, от которого к высокой избе протянут шланг, чего он сразу не заметил. А старушка всё грозила:

— Уже три насос украла! Хазыр убью мана!

Саша пожал плечами, объяснил боевой хозяйке, что он вовсе не жулик, рассказал, что сам пострадал от вора и вот, выжидает время до вечерней электрички. Бабушка подобрела, опустила свою убивалку:

— Ай, молодес. Меня Амина зовут, Амина-апа.

Саша приободрился, тоже представился. Бабушка дружелюбно улыбнулась:

— Сразу совсем воруют. Три насос уже. Аллах не боится, — пожаловалась старенькая Амина. — Это... как станция идёт, надо сильно окошко смотреть. Не смотрел окошко — всё, унесла. Уф, Алла... — вздохнула старушка.

Саша оглядел собеседницу: на все пуговицы застёгнут застиранный зеленоватый халат, шерстяной носок торчит из треснувшей галоши, седая прядь выпала из-под платка. Амина опёрлась на своё смертоносное оружие и переродилась из бойца в усталую поселянку с распухшими от жизни суставами пальцев. Апа по-детски прищурилась на свет, и Саша сразу к ней расположился:

— Ты что же, одна здесь кукуешь, бабуль?

— Одна. Дети уехала, муж леспромхоз задавило, давно. Мана живу шутя-шутя, — бабушка повернулась и пошла в гору к своей высокой избе. — Айда, чай пить тебе будет.

Саша обрадовался и поплёлся следом, чайку, и правда, хорошо бы...

От сгнившей калитки через весь перемешанный скотиной двор к избе Амины ведёт всохшая в грязь доска. Вдоль изгороди пригрелись несколько ульев, в которых кипит жизнь. Посреди двора гудит вся в золотых пчёлах белоснежная черёмуха. Из расхристанного сарая глядит на гостя растопыренный гусиный клюв. С ароматом черёмухи мешается застарелый навозный дух.

Курьер Саша и думать забыл о своём железнодорожном происшествии, о командировке и обо всём прочем, что ещё утром его заботило. «Провались Африка! Вот где жить бы! — подумалось ему. — Косить бы корове, качать мёд, коптить гусей под Рождество...». Куда-то за реку, где зеленеет уральское предгорье, смотрит крохотным окошком кривая баня...

Хозяйка заскрипела дощатой дверью, пригласила в дом. Посреди татарского жилища громоздится огромная русская печь. Очарованный гость обошёл её кругом, приложил ладони, и остатки тепла от вчерашней топки проникли прямо в душу. На старой электроплитке сидит-посвистывает пузатый чайник, полусонно идут-бредут, спотыкаются ходики, из часового оконца высунулась и навеки уснула кукушка. К бревенчатой стене притулился хромоногий комод, в углу жмётся железная кровать, на которой свернулась в полоске света трёхшерстная кошка. Вот и всё убранство.

Бабушка Амина выставила на стол мёд, хлеб и молоко, разлила по пиалам

заварку. Пробормотала своё «Бисмилля», указала гостю на вытертое кресло, которое одно здесь мешало лубошной гармонии.

Наверное, ни разу за свои сорок лет Саша не пивал такого вкусного чая! Мёд таял, растекался по языку, нёбо обволакивало жирное молоко, отдающее коровой. А под окном бесшумно неслась куда-то река и лилось с неба майское солнце.

Хозяйка много говорила на своём забавном языке без падежей и склонений. Саша что-то понимал, но не совсем. Понимал про сына Амины, который пьёт где-то там, в городе, про старую подругу, которая привозит Амине новости из соседнего аула, где мечеть. Про овец, «который постригать кирек» надо, а руки уже не те. Саша сидя задрёмывал, ронял голову и пробуждался, и снова слышал забавную баюкающую речь. Он оглядывал русскую печь. Наверное, на ней когда-то давно-давно рос сын старой татарки, грелся здесь под овчиной суровыми зимами. Когда-то, наверное, болел, а потом умирал здесь задавленный леспромхозом хозяин дома. Вот уже часы пробились четыре, а Саша всё сидит, млеет. Вот хозяйка развернула свой коврик и стала за печкой на намаз, а Саша всё не может очнуться, вот уже и третий чайник засвистел на плите.

— Ай, сине иди вода кадушка натаскай, — и Саша радостно хватается вёдра и бегаёт вверх-вниз между мостком и баней, натаскивает воду, потому что оказалось «насос провод воровали». А потом снова садится за чай...

Митрофанову всё здесь нравится...

А день тем временем угасает. Наверное, где-то там, в городе, народ уже давится в маршрутках, едет с работы. Выстукивают повсюду тысячи динамиков, заколачивают в городские мозги всякую плесень. Ещё немного и небо там загорится пыльным неоновым светом, засветятся телевизорами тысячи окон и по улицам закраснеют ночные тормоза миллионов вонючих машин. Как обычно встанет где-нибудь в пробке жена Митрофанова — Ленка, и простоит до полуночи. А здесь так же будут спотыкаться ходики, и будет тихо молиться своему Аллаху старая татарка. Солнце медленно катится за пологий холм на том берегу...

Когда пробило шесть, Саша спохватился, что вечернюю электричку проворонил. Он было взялся за дипломат, но подумал, что, если даже дунет на станцию вприпрыжку, к поезду ему никак не поспеть.

Саша умиротворённо вздохнул — всё к лучшему: задание можно на денёк и отложить, мир не рухнет, а дома всё равно к его отлучкам давно привыкли, не расстроятся. Ничего...

— Амина-апа, я у тебя заночую?

Бабушка прибирала со стола, возила тряпицей, смахивала за гостем крошки:

— Кому заночую? Юк, совсем нельзя ведь.

— Что сразу юк-то? В сарае, на сеновале бы, а? — Саша, вспомнил как в детстве, когда вся предстоящая жизнь казалась ещё бесконечным праздником, он ночевал в деревне у деда, зарывшись в душистое сено. — На сеновале бы, а?

Бабушка опёрлась о стол:

— Нельзя сарайка. Если бы мусульман, тогда ночуй. А так гайбат будет. Мана подруг придёт, сплетня говорит, грех.

— Грех что ли на ночлег пустить? — не понял Саша.

— Ай, совсем ты мене покоя не дадут! Становись мусульман, приходи сеновал, заночуй.

Такой расклад курьера Сашу огорошил. Саша растерялся, задумался, в замешательстве поглядел на свой глухонемой мобильник и как себе помочь не представлял. Электричка только утром, знакомых, кроме этой вот хлебо-сольной бабушки, в округе нет, стучаться к кому-то в сумерках — можно и пошнее схлопотать, такое нынче время. День полный приключений, завершался ещё одним сюрпризом.

— Куда же я сейчас пойду? — уставился на хозяйку Митрофанов.

— Ай, подожди, — улыбнулась апа, — садись.

— Ну вот, — обрадовался Саша и сел.

— Гляди, — ласково заговорила Амина, — сине мёд кушала, молоко кушала, хлеб кушала, — бабушка загибала пальцы, — чай мана пила...

— Да, — благожелательно ответил Митрофанов, — спасибо!

— Ай, молодес! — старушка радостно затопталась на месте, под ногами запели половицы, старенькие глаза засветились надеждой.

— Тебе что ли заплатить надо? — не понял гость.

— Заплатить, да! — расцвела хозяйка. — Деньги совсем у меня ведь нету. Кончалось ведь.

Саша оторопел, молча вынул свёрнутую фиолетовую бумажку, положил на стол, разгладил. Он подумал было что-то сказать, но махнул рукой и вышел.

А над миром уже закатилось солнце, небо позеленело. В сумерках от холодной реки по окрестностям тяжело поднимался могучий озноб. Саша двинул было в сторону станции, но вспомнил, что там нет ничего, не приютиться, и встал. Он сокрушённо осматривался, пока не увидел высоко на холме чернеющий стожок, пошёл в гору, но скоро утомился и присел. Рёв реки сюда почти не долетал, снизу из деревни еле-еле поднимался собачий лай. А холодало-то не на шутку! Саша резко выдохнул — изо рта вырвалось облако пара. Медленно-медленно выполз из-за гор месяц. Он зацепился за макушку скалы и превратил скалу в своеобразный минарет мечети с сияющим навершием. В продрогшем воздухе слышалось, как вдалеке по железной магистрали гремят по стыкам, проносятся поезда.

Саша поёжился и продолжил подыматься в гору. Когда он наконец достиг стожка и отдышался, то просто обомлел: отсюда с высоты, в свете месяца просматривался великолепный мрачный горный хребет, а внизу блестяли рельсы и уносился вдаль скорый, весь в огнях. В кармане тюлюлюкнул мобильник, нашёл сеть. Митрофанов выхватил его, отыскал Ленкин номер. Связь без конца затыкалась, но Саша упрямо тараторил в трубку про свою командировку, про цыган, про контролёра, про реку. Про Амину повторил два раза, русскую печь помянул, про деньги не забыл.

— Здесь очень холодно, приедь за мной, — подытожил Саша.

— Нажрался? — сквозь помехи ответил телефон. — Иди к своей Амине, пусть Амина тебя греет! — и отключился.

Ну что тут поделаешь... Беда...

Саша разрыл прошлогоднее волглое сено, попытался забраться в стог. А там оказалось, в глуби ещё крепко сидит зимний холод и Саша вылез. Он стучал зубами и жалел, что не курит — зажигалка здесь ох как пригодилась бы, сейчас бы костерок... И тут ему почуялось, что откуда-то вправду потянуло дровяным дымком. А это просто внизу, в деревне, топилась огромная добрая русская печь, которая веками всё грела и грела старые мусульманские косточки, не видя в этом никакого себе греха...

...Прилетел восточный ветер, пробрал до рёбер, принёс облака. Саша натеребил сена, как мог укутался и как будто согрелся. Узкий полумесяц оторвался от своего минарета, всплыл и теперь проглядывал из-за тучек. Чтоб не стучали зубы, Саша расслабляет мышцы, забывается, и ему временами мерещится, что там наверху вовсе не месяц, а золотая турецкая сабля. Вон же она, вон! — в руке Великого всадника, который бережёт свою верную Амину от лиха, стережёт её от греха. Всадник кому-то поёт, что нет на небе больше никого, есть только он, и есть в его руке победная гнутая сабля. Во всяком случае, так ему кажется...

Саша достал телефон, посмотрел на время: ночь только начиналась. Утешало лишь то, что оставался заряд — батарейки вполне хватало, чтобы с началом рабочего дня позвонить смежникам, всё объяснить и попросить, чтобы они его — курьера — отсюда забрали. Саша давно их знает. Они всё поймут, они вникнут, они заберут. Тут им и ехать-то всего несколько станций...



Виктор КОНЯЕВ

СКАТИЛОСЬ СОЛНЦЕ ВО СЛЕЗЕ

Шахтёрская повесть

*Всем, добывающим в недрах Земли-матушки потребное людям
и хлеб свой насущный — земной же и поклон.
Всем, упокоившимся там навеки, Царствие Небесное.*

Автор

Вторая неделя доходит, как Пашка Зотов холостякует. Как ему не нравится слово холостяк! Тогда, может, лучше сказать холостякствует? Три буквы добавилось, а смысл убегающе тонко, но изменился. Холостяк — значит холостой, пустой, пустышка, пшик, а толку нету. Какой же он пшик, он нормальный парень, опять не то, раз женат, дите имеет — стало быть, молодой мужик. И снова не по нраву. Ему 20 лет, бороды нет, лопаты тоже, мужиком рановато вроде. А лопата как раз и есть, на работе, в шахте. Выходит, все же мужик. Вот надо же, заплеться в тенеты слов и смыслов. Короче, ушла Ленка, две недели назад, забрала сына, получку и порхнула к родителям своим, в центр города, его мама здесь недалеко живет, тоже в бараке. А он, получается, остался одиноким, брошенным, но... молодым и свободным, правда, без денег, а без денег, как известно, девушки не любят. Все забрала, копыя не оставила, в смысле ни копейки. Пришлось у матушки одалживаться, ничего, сегодня аванс, не пропадет.

***КОНЯЕВ Виктор Федорович** родился в 1952 году в Новокузнецке. Учился в Томском университете, а также на литературном факультете Новокузнецкого педагогического института. Работал на шахте, свыше пятнадцати лет трудился газосварщиком на металлургическом комбинате. Изданы пять книг художественной прозы и публицистики.*

Живет в Новокузнецке.

Копошились мысли эти в полусонной Пашкиной голове. Он еще не проснулся окончательно, но уже и не спал — так междусонье-междудавье. В коридоре чем-то брякнула соседка, звонко-металлически, совсем разбудила. Вот суетуха, не даст поспать. Будильник черными разнотинными перстами казал 9 часов без пяти минут. Встать, что ли? А что делать? Действительно, что? Всего-то хозяйства — комната в бараке 4 на 3 метра, в ней печка, койка, стол, детская кроватка, этажерка и чемодан под койкой. Да еще кран водопроводный, ну это уже роскошь, не утопнуть бы в ней, не в воде, а в роскоши.

Паша подозрительно посмотрел на потолок, хотя если бы клопы и были, то к свету утра куда-то прятались. Как вести хозяйство, коли никакой живности нету, клопов и тех мама изжила. А какие табунились сочные в красном скопища! Комнату эту ему выделили в апреле. Мама хлопотала, добила, вселились. Первая новосельная ночь, понежились в объятьях обоюдных, пора отдаваться объятиям Морфея, а что-то мешает тому — там почешется, тут позудится.

— Паша, тебе не кажется, что нас кто-то кусает?

— Похоже на то.

Встал, прошел к выключателю, включил свет. Батюшки вы мои родимые! — что за картина предстала очам новоселов! По стене, у которой их кровать, и простенку до окна стройными когортами, чеканя шаг двигались жаждущие крови клопы. Паша за свою барачную жизнь встречал этих хищников, но не в таком количестве, да и мама боролась с ними успешно, а Ленке картина узренная внушила ужас, она села на кровати, замоталась в одеяло.

— Паша, это кто такие?

— Клопы это, барачные аборигены.

— Они нас сожрут! Посмотри, Ромку не заели?

Сын спал в железной кроватке, клопов на нем и на постельке не видно.

— Его кроватка от стены отстоит, наверное, они не могут к нему запрыгнуть.

У неё вид уморительный — закуталась до подбородка, как в плащ-палатку часовой.

— Ты с одеялом на себя всех клопов, что были на постели, собрала.

Реакция последовала моментально и с такой брезгливой гримасой, будто сбрасывала с себя нечто гадкое и липкое; осталась нагишом и заглядывалась вокруг, ища кровососов.

— Ты так не шути. Что делать-то будем?

— Попробуем спать со светом.

Но местные насельники до того, видать, изголодались, пока комната стояла без жильцов, что и свет их не отпугивал. Они по стене взбирались на потолок и оттуда десантировались на жертвы. И самое интересное, по наблюдениям кусаемых Пашки с Ленкой, в полете умудрялись менять направление движения, выбирая куски плоти повкуснее. Вот же гады изощренные. Поздно уснули, утром трудно вставать. Потом Павел позвал маму, Ленка с сыном эвакуировались к тестю с тещей, а они выбелили комнату с какими-то добавками мамиными в известку, перетряхнули постели, клопы и сгинули.

Так что в данный момент из живых существ при Павле находились только мухи. Правильно, они и будут находиться, он с работы пришел в десятом вечера, погрел на плитке суп, съел, а греть воду и мыть посуду заленился,

уставший был, почитал, лег спать, мухи доедают остатки ужина. Ладно, все равно больше не усну, вставать надо.

Тело постанывало после вчерашней смены. И то, они вчера набурили шпуры, отпалили и почти убрали. За шесть часов работы неплохо. График работы на шахте не такой, как на обычных, поверхностных производствах. Четыре смены с восьми утра до двух дня, выходной, потом 4 смены с двух дня до восьми вечера — и так по суточному циферблату. Не совсем удобный график, особенно как вот сегодняшняя смена — со дня до вечера, зато можно выспаться. Сегодня ему идти вторую смену во вторую смену — масло, залитое маслом.

Потихоньку раскачался, согрел воду, вымыл посуду, побрился, мухи галдели возмущенно, лишившись пропитания. А вот умиловить заурчавший желудок вовсе нечем. К маме придется идти, хоть поесть даст, а забутовку, пайку подземную, возьмет с аванса в буфете.

* * *

Что у нас за погоды на дворе?

Отдернул шторку на окошке. В десятке метров от барака асфальтовая дорога вела к шахте, до нее пара сотен шагов, фактически барак построен на шахтовой территории, сразу за дорогой столовая, там часто поминают погибших шахтеров. Правее грунтовка уходит вверх, в ряды улиц из частных домов.

Лето, июнь, тополиный пух клочками белых облачков лег на землю, под самым окном, в низинке, целое покрывало белесой икры с белыми ядрышками семян едва поколыхивается ветерком.

Эх, на речку бы, с пивком да с красотулькой длинноногой. Ну-ну, помечтай, а в погреб холодный, шахтой прозываемый, да с лопатой полукубовой не желаете, сударь? Он уже хотел отойти от окна, зацепочка для глаза вышла из-за кустов в том месте, где начиналась улица Внутренняя. Женская фигура в красной юбке шагала вниз.

Катька, точно она, у неё такая юбка и походка ее.

Ко мне явно идет. Это уже походит на преследование. Уйти, что ли, побыстрому? Вот еще, но лучше все же встретить на улице.

Летом собраться — минутное дело; когда закрывал ключом дверь, супротивная на щелку скрипнула и в той щелочке обозначился остренький носик и глаз под стать — бабка Степанида, соседка-юла.

Не дай бог, Катька бы зашла, все Ленке доложено будет.

Вышел на крыльцо, как хорошо! Солнце сквозь мощно шевелящиеся ветви высоких тополей семафорно чередовало слепящий свет с успокаивающей глаза тенью. Надо отойти от дома.

Пуховая поземка обвивала ноги, взвихривалась при движении, он отошел к заборчику. Катерина приближалась, походка у неё действительно своеобразная, широкая, мужская, и руками при ходьбе отмахивает по-солдатски.

— Здравствуй, Паша.

— Привет.

— Ты куда собрался, к матери?

— Угадала.

— А че угадывать, я и так знаю.

— Ты все про меня знаешь?

— Не все, но много. А почему дома не дождался? Может, вернемся к тебе, посидим?

— Катюха, я тебе уже объяснял, не будет у нас с тобой никаких дел.

— А зачем тогда потащил меня в стайку — тогда, значит, были дела?

— Да пьяный я тогда был, и напряг мне надо было снять.

— Ты не напряг тогда снял, а трусы с меня.

— Я тебе разве что-нибудь обещал?

— Нет, не обещал. Пойдем все же к тебе, неудобно на улице.

— У меня соседка сущий опер НКВД, жене будет сразу все доложено, а я жену свою люблю и скандалы мне ни к чему. Все, прощай, мне надо к матери, а потом на работу во вторую.

Он быстро пошел к дороге вдоль забора у тополей, сдувая с земли резким шагом стайки пуха, не оглядываясь; она не окликнула.

«Зачем я тогда с ней связался? Какая-то она неприкаянная. И жалко ее. Жалко?! Теперь мне что с Ленкой разводиться и жениться на Катке? Со всем не смешно. Я ее влюбил в себя, что ли? Да, да, у неё таких влюбленных перебивало, наверное, как в бочке огурцов. Все забыто».

До матери и идти-то всего два поворота, да три заворота. Он шел и вспоминал тот день. Холодно дождило, в природе хмурь и пасмурь. Паша с утра проводил друзей, гостивших у них, лучше сказать, у него. Ленка на второй день их приезда намылила хвост и умотала к маме с папой, прихватив сына. Его друзья из Томска, Генка с Наташкой, на Ленку, в общем-то, обиделись, виду не подавая, но он понял, хорошо знает друзей.

* * *

Домой идти не было желания, выходной у него, заняться нечем, вот и завернул в родной пивбар. Их знаменитый зеленый, с высоким крыльцом пивной бар. Народу прилично, дождь — прекрасный повод зайти сюда. Отдал знакомому, стоящему близко к цели, денег на пару кружек, отошел в сторонку, закурил.

Бар — большой зал, прямо через все пространство пройдя, попадешь к вожделенному крану, где тетя Галя наливает граненые кружки, перед ним прилавок и очередь, вправо завивается. Слева от входа небольшой простенок и круглая печь, диаметром с двухсотлитровую бочку, до потолка, отгораживает закуток — двоим стоять. По обеим стенам во всю длину помещения, на высоте груди среднеростного мужика, узкие полочки для пивной посуды и закуси. Паша кивал головой в ответ на приветствия — родной район, полно знакомых. Подошел тот парень, Сергей, кому деньги дал, с четырьмя кружками, примостились, погрузили губы в пену. Сашка вывернулся из-за спин вьюном, с кружкой.

— Привет, Пахан.

— Привет.

Сашка Купян прыщав лицом и оно постоянно в гримасе, в четверть пьяно, глазки в вечной суете, где бы чего урвать, выпить на халяву. Он никогда не работает, за тунеядство отсидел пару пасок, впрок не пошло и дальше живет в той же манере. Но сейчас при деньгах, достал трешку из кармана, сигареты «Шипка».

— Че, Паха, сложимся, водяры возьмем? Серега, ты будешь?

Паша добавил и Сергей внес лепту, он и сходил, магазин недалеко, взял литр водки, закусь здешняя, нагрузочная в виде вечных плавленных сырков.

Когда Юлька зашла в людской гомон и табачный дым, они уже допивали,

в одной бутылке грамм сто оставалось, а пиво, вновь взятое, стояло почти нетронутое. Она знала многих, а подошла к ним. Красива до восхищения, но запита и неухожена. На улице дождь и прохладно, а на ней затерханная коф-тенка с одной пуговкой из четырех и тряпочные тапочки. Годов Юльке девятнадцать, а уже алкоголичка. Трется тут постоянно, за стакан водки или кружку пива мужики водят ее за пивнуху, там кусты и погребка, дальше шах-товое хозяйство.

— Купян, дай пива попить.

Губы обметаны белым налетом, серое лицо, светлые волосы кудерьками мокрыми свисают, но все равно чудо как красива.

— Дай на дай.

— Пива глотану и пошли на погребка.

— Да я дурак что ли, по дождю таскаться. Я вот чё предлагаю, — он полша-га к ней сделал и зашептал в свалывшуюся прядь.

Юля слушала спокойно, никаких эмоций на лице, лишь жажда похмелья ярко выражена, даже белокаемочные губы полуоткрыты в стартовой пози-ции для обхвата кружечного стекла.

— Ты пива-то дай сначала.

— Пей, да и водочки хряпни.

Сашка вылил остатки водки в пустую кружечку, в пену на дне и по стенкам.

Губы дождались — Юлька озалпила водку большим мужицким глотком и сразу взяла полную, с пивом, из этой сосала медленно, глаза прикрыты блаженно.

Паша наблюдал за ней со смещением чувств.

— Её бы в марганцовке сутки отмочить, потом от пьянства избавить, цены б не было. Жалко, пропадет девка.

— Да вроде слышал, её мать уже лечила, а она опять за своё. Нравится, видно, такая жизнь.

У Пашки и намека не было на понимание того, что за представление Ку-пян задумал.

— Хорош пить, с собой возьми, — и пошел в угол, к печке, на ходу обер-нулся.

— Паха, прикройте нас с Серегой, вы в куртках, из-за вас не будет видно, а кто сильно любопытный, пусть подглядывает. — Э, мужики, раздайся.

Догадка тюкнула Пашу обухом в лоб.

— Они что, хотят прямо в пивбаре, белым днем? Неужели правда? За та-кие вещи в студенческой общаге морду бы в мочалку расхлестали.

* * *

А вот и действующее лицо тех событий, персонаж. Я о нем подумал — и он явился. Не прокатной, а своей собственной персоной Купян из поворота выписывается, наверняка путь держа в стройгрупповский буфет, за дорогой вправо, там толпятся опохмельщики, там пиво и вино. У Павла мускулы тела без команды напряжились.

— Ну что ж, цапанемся. Тогда участковый помешал.

Остановился, здесь ему правее забирать, к железнодорожным путям, а Сашка слева выходил, и если бы Паша не притормозил, то получилось бы, что он уходит от встречи. Рядом не просыхающая черная лужа в обрамлении скатанного до белых шариков пуха, ну в точь печальный глаз клоуна, обве-денный белой краской.

Сашка же подходил с на диво добродушной улыбкой, хотя самая его

дружелюбная мина сильно смахивала на пакостливую гримасу. Они с детства жили на одной улице, в разных концах, и всегда отношения были искровысекные. Сашка сызмалу крутился в ватаге огольцов, у коих постоянно было на уме кого бы обдурить, ошмонать беззащитного пацана, обчислить пьяного.

В детстве дрались, Пашка бывал бит, постаршели и Купян сбавил нахрапистости. Чувствовал, что теперь ему Павла не одолеть. И Паша чувствовал, все же не зря спортом занимался. А уж пройдя стройотрядовскую закалку, в состоянии был завязать узелком на носовом платке с пеленок курящего и пьющего Сашку.

— Пахан, ты в натуре дурагон. В своих институтах заучился? Ты за нее впрегся, а она тебя послала. Она же за пузырь водяры разложится хоть на Красной площади.

Паша молчал, зорко следя за движениями собеседника. У того левая рука в кармане ветхо-клетчатого пиджака, там может быть нож, а что Сашка без раздума ударит, он не сомневался.

— Че молчишь, пойдем буханем и замнем это дело.

— Мне во вторую на работу.

— Отгул возьми, или ты природный пахарь?

— У меня семья, ее кормить надо.

— Ну, как хошь, а то у меня деньги есть, нахлопнул тут одного, гуляю.

— Не, не до гулянки мне, ладно, я пошел.

Он огибал лужу со ждущей спиной, но не обернулся.

* * *

Надо же, прямо утро милых встреч. Кого еще встречу, пока до матери дойду, осталось только участкового.

Может, ему тогда действительно не надо было встречать? Пол-пивбара видел, глаза отводили, в кружки окунали. Воспитан так, что ли? Благородный рыцарь вступается за честь дамы, а дама на поверку оборачивается конченной шлюхой и посылает рыцаря куда далече. Рыцарь посрамлен, еще и по физии получил. Юлька тогда в ответ на его слова оскалила зубы до самых десен, вот это у неё некрасиво вышло.

— Парень, дергай отсюда, заступник выискался. Если сам хочешь, бери пару пива и вставай в очередь

— Пахан, в натуре, если не хочешь, не прикрывай, тогда иди погуляй, не мешай людям.

— Серый, позови вон того ханурика, пусть рядом встанет, я ему налью.

Павел вышел на крыльцо, закурил, хотя и в зале дымили все. Хмель и обида бузили в голове.

Получил? Будешь знать, как лезть не в свое дело. Но этот-то козел что вытворяет? У Юльки осыпает мозги алкоголь, а он все прекрасно понимает и плюет на всех. Ладно, разберемся.

В баре туалета нет, изливать избыток жидкости ходили за здание, к погребам. Минут пятнадцать-двадцать прошло, дверь постоянно хлопала, входили — выходили, наконец и Купян с Серегой вышли. Сашка наставлял гонца:

— Короче, возьмешь «пузырь» и колбасы полкило, я жрать захотел.

— О, Паха, ты здесь, а мы думали, ты ушел.

У Пашки лицо, видать, сильно отражало бушевавшие эмоции, Купян отреагировал сразу, попер буром:

— А че ты, в натуре, выступать начал? Тебе больше всех надо? Из-за этой помойки на скандал рвешься?

— Вообще-то меня с детства учили, что женщин, даже таких, уважать надо. Я же тебе сказал, идите на погреб и там делай с ней что угодно. Ты знаешь, чтобы с тобой сделали за такие вещи в приличном обществе?

Удар он все же пропустил, тоже хорошо «поддатый», только успел отклонить голову и кулак впечатался слева, ниже скулы, у ключицы, и то на излете. Реакция теннисиста сработала, а его правая плотно приложилась к щеке противника; Сашка качнулся, отступил, оступился и доотступался до самой нижней, двенадцатой ступеньки, к грязи и шлаку подсыпки. Они стояли справа от входа, с торцов высокой площадки ограждения не было, упали туда Саша Купянов, а высота метра полтора, мог бы в организме чего-нибудь сильно повредить. А так ничего, встает, пытается отряхнуть комья грязи. Пашка сверху взирает, ждет продолжения, но странное происходит. Сашка снизу посмотрел и вдруг с полусогнутого старта рванул к погребам. Что за дело? А сзади голос, знакомый и строгий:

— Так-так, Зотов, хулиганничаешь?

Не ошибешься, этот голос мог принадлежать только дяде Леше Копылову, участковому, надо поворачиваться.

Фуражка, плащ, внимательные серые глаза, планшет на ремне и гармошки, сапоги. А на площадке пусто, посдувало питухов от вида грозного стража порядка. Да он не так грозен, как справедлив. Паша знает его с детства, тогда он был старшиной и носил кобуру, а в ней, по слухам, сухой паек — хлеб и колбаса, можа, и врут. Все хулиганы и бандиты района уважают его и побаиваются. Сейчас дядя Леша старший лейтенант, а немолод.

— Здравствуйте, дядя Леша.

— Здравствуй-то, здравствуй, а ты вот мне скажи, чего не поделили с Купяновым? Я, кстати, им скоро плотно займусь, есть сигналы. Ну так?

— У нас с ним разошлись взгляды на трактование некоторых аспектов промискуитета.

— Разошлись, говоришь, на трактование? Это хорошо. А плохо то, Паша, что я твою матушку недавно видал, и она жаловалась на тебя. Попивать ты стал изрядно, Пашенька, и жена от тебя ушла. Это факт?

— Не факт, дядь Леша. Ко мне друзья из Томска приезжали, а комната крохотная, тесно, вот она, пока гостили, и уехала к родителям.

— Не факт, говоришь? А что ты драку затеял и пьяный в общественном месте, это факт?

— Спорный.

— Давай так решим. Ты выбираешь из двух вариантов. Или я тебя веду в отделение, оттуда в вытрезвитель, а, может быть, и на пятнадцать суток за хулиганство, или полечу сейчас одномоментно.

— Всякий здравомыслящий, а я себя к таковым причисляю, выберет второе.

— И чтоб сразу домой, согласен?

— Конеч....

Пашка куда резвее Купяна сосчитал ступеньки донизу, коlobком прямо по ним скатился. Вот тебе и дядя Леша, старый вроде бы, а как здорово залепил. Стыдно валяться-то, пора и на ноги встывать, хотя в башке мухи жужжат. Дядя Леша спокойно смотрит сверху.

— Ну все, Павел, дуй домой.

— Иду, иду и удаляюсь, — говорить даже больно, челюсть ноет.

Ну и денек сегодня. Надо сильно постараться, чтобы от двух столь разных людей схлопотать по роже.

И вины явной притом не имея, на сегодня, наверное, хватит приключений.

Нет, Паша, не весь лимит злоключений ты на сегодняшний день исчерпал.

Он проходил мимо магазина, душа горела, требовала отстуды.

Возьму-ка я бутылку вина, денег должно хватить.

В магазине, когда уже взял бутылку портвейна «№13», и повстречал Катюху.

— Привет, Паша, ты куда это с вином? Празднуешь?

— Привет. Да, у меня сегодня насыщенный день, вот это и праздную. Хочешь со мной попраздновать?

— Хочу.

— Ну тогда пошли.

Катюху он тоже с младолетства знает, с ее, не своего, она помладше года на два. С пацанами в детстве бегала, конопатая, некрасивая, такая же осталась, хотя... не совсем страхолюдная и грудь прилично топорщится через плащик, а волосы белесые с рыжестью. Полу-замужем побывала, без расписывания, не пожилось.

Они вышли из магазина, опять мелко задождило, сильные порывы ветра гнали по асфальту лохматую дождевую волну.

— Паша, а где праздновать будем, погода видишь какая?

— Найдем где, пошли.

Чтобы еще раз не попасть на глаза и под кулак участкового, решил обойти пивбар с тылу, за погребками. Катя частила про свою жизнь, он слушал поверх уха, думал о своем.

«То ли заняться ею, она вроде так ничего, сойдет. А куда вести? Домой нельзя, вдруг Ленка нагрянет или уже дома, да если нету ее, соседка выпасет и сдаст не то, что с потрохами, а с кожей и волосами, тогда развод».

Они обходили опасное место по дуге, тут уже шахтное хозяйство: лесной склад и подъем, где опускали скипой лес в шахту. Опять опасно, мама здесь работает, даже если увидит ее сменщица, расскажет, а мама прочехвосту задаст. Прямо-таки некуда бедному Пашке податься — везде слежка. А как иначе, всю жизнь тут живет, не то что каждая собака, а каждый воробей на придорожных тополях знает. Катя шла, не спрашивая куда.

Они вышли к баракам улицы, где мама проживала. С этого края их уже начали ломать, значит, и их родной скоро пойдет под снос и маме дадут квартиру.

Ближний стоит без окон и полов, сквозняки гуляют, но рядом стайки, на одной дверь висит, приоткрыта.

— Пойдем в стайку, Кать, там хоть тепло.

— С тобой куда угодно.

«Ишь, хоть куда она со мной. Ладно, проверим».

В стайке почти темь, на полу мусор, Паша зажег спичку, к стене прислонены двое санок детских, без спинок.

— Вот и барские сиденья. Катя, на спички, посвети, я их сюда поставлю.

Уселись на санки близко боками, Катка даже прижалась еще ближе.

— Ну, открывай, а пить будем из горлышка?

- Нет, из донышка, стакана-то у нас нема.
- Он сорвал жестяную крышечку, протянул ей:
- На, первая.
- За твое здоровье!
- И твое...

Глотала слышно, бульками. Дверь прикрыли изнутри, чуть шелку оставили, больше на ощупь, чем видя, взял протянутую бутылку, запрокинул надо ртом, вино с шумом, толчками заливалось в горло. Приятное вино, но закусить бы не помешало, а нечем, сигаретой только. Он закурил, спичка осветила Катины светлые глаза, повернутые к нему и ждущие.

- Я замерзла, хоть бы курткой прикрыл.
- Прости, не сообразительный я, оказывается.

Он встал, снял куртку, накинул Кате на плечи и сам нырнул туда. Губы ее уже заждались и груди теплые тоже, они затрепетали в частом дыхании, под его, проникшей через плащ, кофту и лифчик, рукой. Сидели низко, колени почти касались лиц.

- Катя, давай я постелю куртку на санки.

* * *

Одеваться пришлось, ощупывая каждую вещь и наступая на пол из гнилых досок, на скользкое и противное. Не одеть бы по темноте женское на себя, как когда-то Вовка в общаге; весело будет. Оделись, вышли, но сначала допили вино.

— Паша, я еще девчонкой на тебя заглядывалась. И я рада, что у нас с тобой все произошло, хоть и в стайке. Я согласна с тобой этим заниматься хоть где и хоть когда. Ты меня слышишь?

— Слышу, посмотрим. Ладно, Катюха, я домой потопал, мне завтра с утра на работу.

- Когда теперь увидимся?
- Говорю же, посмотрим.

Волна хмеля накрывала мозг, как луг туманом, но даже сквозь туман алкогольный доходило осознание скотства своего поступка.

На Сашку оскорбился, а сам-то, сам? Единственно, что не при людях, не публично, а так — то же животинство. Как Ленке в глаза смотреть буду? У-у, паскудная рожа!..

Шел Паша домой, в свою барачную комнату 3 на 4, терзал себя, покачивался — ветер дует — и чувствовался себе самым распоследним подлецом.

Дошел, разделся, покурил, завел будильник и ухнул в спасающий от мыслей сон, хотя было всего шесть часов вечера.

* * *

Мама дома и постряпушничает; вот это кстати, будет чего в забутовку взять, вдруг аванс не дадут.

- Мам, здравствуй!
- Здравствуй, здравствуй! Пирожки будешь?
- А с чем?
- С картошкой.
- Разве я когда от пирогов с картошкой отказывался?
- Ленка-то не прикатила?
- Нет.
- А ты поедешь к ней?

— В выходной поеду, надо забирать их, да и деньги, наверное, кончились у неё.

— Она всю получку твою забрала и еще ей денег?.. Не жирно будет, а ты полуголодом сидишь.

— Ну, что ты, мама, там сын — то-сё надо.

Паша разулся, подренькал соском умывальника над ладонями, обтер их и сел за кухонный стол, за которым сживал все детство. Сейчас мать одна живет, старший сын по тюрьмам да лагерям путешествует, а привычка печь и жарить неистребима. Большая чашка с пирогами, в румянце и запахе, рядом маленькая металлическая с растопленным сливочным маслом — обед, обжор, праздник пуза.

Ухрустел Паша в охотку шесть большущих пирожков, подбородок маслен и пальцы блестят.

— Спасибо, мам!

— На здоровье, сын! Гена с Наташкой письмо не прислали?

— Нет пока.

— Ты их не забывай, они настоящие твои друзья, видно людей хороших сразу.

— Для меня они хорошие, но, видно, не для Ленки.

— Выкомурная она у тебя, расфуфышка...

— Ладно, все, мам. Я возьму на забутовку пяток пирогов, а то вдруг аванс задержат?

— Да бери хоть десять, кто их исть-то будет.

— Я приду завтра, доем. Все, пошел.

* * *

Двенадцатый час, время как летит, скоро уже и на наряд идти. А куда спешить, собственно? Ему от своего барака до работы при быстрой ходьбе даже не разогнаться, а то комбинат проскочишь, его с крыльца видать. Так, полежать, пироги попереваривать, жирок завязать, чтобы на работе пупок не развязать.

Открыл свою дверь, мухи закрутили вокруг него воздушные пируэты, рады, видать, им одним тоскливо, и он им рад, все живые существа. А давно ли ключи жизни фонтанили в ныне пустой комнате?

Вспомнился приезд друзей. Они пришли к маме, на тот адрес он им подписывал письма. У него выходной, какие-то дела держали их дома. Сергуня, пострел соседский, примчался мокролобым галопом и с дыханием рыбы обезвоженной:

— Пашка... ых, ых, там, ых... у тети Маши...

— Серега, отпыхайся, на вот водички холодненькой попей, потом внятно и разборчиво говори.

Сергуня полковника выхлебал, унял дыхание:

— К тете Маше гости приехали, Гена с Наташей, твои друзья. Мать тебя зовет.

— Что ж ты пыхаешь, тетеря, сразу надо говорить. Лена, давай-ка денег, я пошел к матери, заберу гостей, что-нибудь купим и домой.

— Пошли, Серега, на тебе на мороженое...

Генка, Наташка! Друзья, близкие по духу и по душе. Сколько не виделись? Они с Леной покинули Томск в октябре семьдесят первого года, сейчас конец июня семьдесят второго, чуть не год.

— Паш, не беги так, я сюда бежал, устал.

Незаметно Паша прибавлял ход. Еще идя по коридору, услышал голоса — поют! Точно, сидят за столом и тянут в три голоса: «Ой, мороз, мороз...».

— Паша, ну где ты ходишь? У нас гости, мы маненько выпили и вот поем.

— У них гости!

Мама раскраснелась, навеселе, стол накрыт, когда успели.

— Генка, дружище, ну здравствуй!

— Здравствуй, Паша, дорогой ты мой!

Они пожали руки, не удержавшись, обнялись. Гена повыше на вершок, усатый, скуластый.

— Пашка, ты как всегда, не галантен.

— Прости, Наташенька!

Расцеловал в обе щеки поднявшуюся Наташу. Еще расцвела, а уж куда бы вроде. И так античный профиль, а в сочетании с яростной рыжестью волос вообще отпадение мужских челюстей до брючного ремня и жгущая слюна ниже губы.

Как они тогда хорошо посидели!

Сколько воспоминаний: Томск, студенчество, пирушки, танцы в фойе, диспуты до утра, стихи и песни.

Ах, жаль, гитары не было, Гена неплохо играет. Мама в восторге от его друзей, а у неё глаз на людей верный. Наташа подседа к Паше:

— Пашенька, Ген, спойте «Последнюю осень», а? У вас она хорошо получается.

— Так гитары нет.

— А вы так, одним голосом.

— Ну чё, Ген, споем?

— Давай.

*Напишу через час после схватки,
А сейчас не могу, не проси.
Эскадроны летят без оглядки
Унося седоков на рыси.*

*Мы у Господа Бога поблажки не просим.
Только пыль, да копыта, да пуля вдогон.
И кресты вышивает последняя осень
По истертому золоту наших погон.*

Начали немного не в лад, привыкли с гитарой, но чувство высокой тоски и гордой печали песни, песни об офицерах Белой гвардии, передавалось им и исполнение обрело мощь и силу.

*Напишу через час после смерти.
А сейчас не могу, не зови.
Похоронный сургул на конверте
На моей замесили крови.*

*Мы у Господа Бога поблажки не просим.
Только пыль, да копыта, да пуля в догон.
И кресты вышивает последняя осень
По истертому золоту наших погон.*

Мама утирала слезу:

— Какая песня задушевная, за сердце хватает, а я ее ни разу не слышала.-

Паша захмелел, ему хорошо, но надо идти, Ленка ждет, они ее тоже давно не видели, а сына вообще ни разу.

— Мама, всё, мы уходим.

— Обижаете. Гена, Наташа, давайте еще посидим, в кои веки так душевно посидеть доведется. Вот так, в доброй компании надо выпить, сынок, а то повадился по пивбарам ошиваться. Гена, Наташа, вы поговорите с ним, он уже и в вытрезвитель попадал.

Гена уговаривает:

— Мария Сергеевна, мы завтра к вам придем. Пашку проводим на работу и придем. И я с ним проведу воспитательную работу. Нам надо идти, Лена обидится.

По дороге зашли в магазин, взяли вина, кое-какой закуски.

Лена встретила внешне дружелюбно, с Наташей обнялись, но Паша чувствовал в ней внутреннее напряжение.

Комната маленькая, к койке поставили две табуретки, на них доску принес Паша из коридора. Вот и стол, как в общежитии при больших компаниях. Сидели, выпивали, разговаривали, но атмосфера была явно не та, что у матери. Наташа тискала трехмесячного Ромку, у них своих детей пока нет, а материнство рвется наружу. Легли поздно, гостей положили на свою кровать, а сами легли на пол, у Павла голова постоянно скатывалась с подушки и стучалась об доски.

Утром похмелялся чаем, а жажда не отпускала. Лукич заметил:

— Паша, ты опять с похмелья?

— Друзья из Томска приехали, посидели.

— Ну-ну.

И гонял его по забору по делу и без, потом хмель выходил, смена показалась колымским сроком. После мойки задержало приятное событие — получка.

Почти двести рублей получил Павел, да авансу полста, можно жить.

Мыслишка каверзная точила мозги — сбежать в пивбар похмелиться, однако пересилил себя, знал, там можно застрять надолго, напиться и, как следствие, остаться без получки. За доброе дело воспоследовала награда — дома его ждало холодное пиво, бутылочное. Друзья ходили по книжным магазинам и не поленились отстоять очередь за пивком.

— Паша, у вас роскошные книжные магазины, в Томске нет такого выбора.

— Это потому, что у нас город рабочий, читают меньше, а вот за пиво спасибо.

— Как отработал?

— Тяжеловато.

— Я тебе как другу скажу, поменьше ты ходи по барам разным, до добра это не доведет.

— Гена, нечем заняться. Смену отработал и домой, а дома что, с сыном погулять и все дела. Я из насыщенного цикла выпал, цели не стало.

— У тебя семья, хоть вы и рановато ребенком обзавелись. Попробуй на заочное поступить, как я. Мне еще год и я стану дипломированным историком. А у тебя склонность к литературе, поступи на заочное опять в институт.

— Не знаю, Ген, получится ли. Я сейчас полностью сменил образ жизни, а душа осталась в Томске. Наверное, и не нагулялся еще, молодой.

Так сидели друзья с пивом. Паша отдал получку Ленке. У Наташки, когда она узнала сумму зарплаты, глаза совино округлились.

— Ничего себе, Пашуля, ты получаешь, мы с Геной вдвоем столько не имеем.

— Я и вкалываю, как черт в преисподней. Зато у вас, у сельских учителей, льготы какие. Дом в деревне бесплатно, свет, дрова. А подписку на «Подвиг» и «Молодую гвардию» я за всю свою получку не приобрету.

— Это так. Нам еще и мебель из Томска привезли со скидкой.

За разговором не видел Павел, чем жена занимается, и удивился, когда обнаружил ее собранной в дорогу и с сыном на руках.

— Паша, проводи нас до трамвая.

— А куда это ты собралась?

— К родителям съезжу, дела есть.

Нехорошо Пашу кольнуло, но промолчал при гостях.

— Ладно, вы тут похозяйствуйте, а я провожу, коли приспичило.

На улице не сдержался:

— Лена, ты чего удумала, к нам друзья приехали, а ты из дому. Сегодня-то вернешься?

— Сегодня нет, конечно. Я не могу в такой тесноте. И ребенку здесь плохо. Приедешь за нами, когда проводишь гостей.

— Ты поступаешь по-сволочному.

— А ты меня не сволочи. Сначала создай условия для семьи, а потом требуй. И вообще, давай сюда сына, можешь дальше не провожать.

Почти вырвала Ромку, даже не оглянувшись, шла своей единственной на всем свете походкой продольной качки лодки при малой волне.

— Ах, Ленка, Ленка, зачем ты так, сапогами по чувствительному...

Душа его стонала и плакала: «Пойти напиться, что ли?».

Но не дал мысли прижиться. Совсем прекрасно будет — жена уехала, муж надрызгался, а гости одни. Да и пить-то на что? Он пошарил по карманам, нашел мятую трешку, все. Он Ленке отдал зарплату, а она даже не оставила пару червонцев. К маме пойти занять, а как объяснить, что он получил получку и на мели? А идти надо. И пошел. И мялся, чертил круги вокруг, сужая, а напрямки попросить не насмеливался. Мама мудра, поняла все, вышла в другую комнату, вернулась с четвертаком в руке.

— На, сын, я так понимаю, уехала и забрала все деньги?

— Наверное, в спешке забыла оставить мне на забутовки.

— Сам разбирайся в своей семье. Одно скажу — на шею совсем садиться и ноги свешивать не давай, будь мужиком. Иди, друзья-то ждут.

Бутылку вина он все же взял, хлеба и масла, картошка у мамы есть, не замрет с голоду, как мышь в пустом амбаре.

— Ох, черт, время-то уже полпервого, чайку попить да топтать пора.

На подходе и в комбинате только успевай здороваться, знакомых полно, большинство рабочих окрестные жители, да и сам с осени работает.

Они в детстве иногда играли рядом с шахтой. Зимой задрогнут и идут в комбинат, тая надежду помыться в мойке. Выбирали время между сменами, мойка пуста, мойщица вымыла полы и отдыхает, под настроение пускала пацанов. Сложишь одежку в уголке на лавку, шлепанцы самодельные резиновые неудобно выбирать из полной их ванны, босиком в помывочную; нажмешь ногой педаль на полу — и горячая вода пеленает в блаженство костлявое мальчишечье тельце. Сжатые кулаки уперты под подбородок, локти расставлены углом, баюкающий шепот струй — нега и покой. Такими ми-

нутками счастья и полна, и прекрасна жизнь мальчишки. И пусть за стеной комбината темно и мороз — все это не страшно.

- Пашка, затопчешь!
- Прости, Галя, не заметил...
- Что, задумался так сильно?
- Да, наверное...
- О чем это, если не секрет?
- О борьбе свободолюбивых народов Африки с мировым империализмом.
- Все шутишь. Ты за авансом?
- Хотелось бы получить, если его не перечислили в Фонд борьбы против
- всё того же, будь он неладен, — империализма.
- Не перечислили, но и не привезли, завтра получишь.
- Завтра лучше, чем вчера.
- Как жизнь женатая, Паша?
- Слезы счастья не высыхают на моих щеках с момента женитьбы.
- Ну-ну, как бросит тебя жена, приходи, утру слезы...
- Запишем на скрижали памяти.
- Баламут ты, Пашка. Ну, пока.
- Пока, «пока сердца для счастья живы».

Галя в соседнем бараке проживала все детство, тоже без отца; матери приятельствовали. Приехал раз из Томска, а она цветочком распустившимся предстала неожиданно, и к нему с симпатией. Был момент — они одни, выпили, на коечку ее уронил, слюной истек до обезвоживания организма, а не далась, женись, говорит, потом вся твоя. Остыл Паша, уехал, не видел долго. Встретились здесь, на шахте, она в ламповой работает, замужем побывала и вернулась в девичество, не унывает, мила, пышна и улыбчива. Можно заглянуть на огонек, чует, что отпора, как тогда, не будет, а стоит ли?

* * *

Наряд проводил сам начальник проходческого участка Котов. Видно, из шахты вышел, в рабочем. Челюсть нижняя монолитом базальтовым украшает лицо. Суров мужик, строг, но кто пашет, тех уважает и ценит.

Звено его все на месте, сидят рядышком. Леха Столяров, мужик за тридцать, одутловатый, в постоянной щетине, рядом бригадир Иван Лукич Крутилин, ему поболее сорока, всю трудовую жизнь в шахте, ширококул, седоват и с шарфом из натуральной, собственнорощеной шерсти. Когда Пашка его первый раз увидел, так и подумал, что это шарф на шее какого-то странного цвета. В мойке разглядел: тело у бригадира мускулисто и волосато в меру (чью, какую?), а верх груди и шея заросли такими дебрями до линии скул, выше брито, а вот ниже густые завитки серого цвета слились в джунгли; шарф же он никогда не носил, значит, своя шерсть грела хорошо.

Пета сидит через сиденье от остальных, все еще диковатится, но уже сидит, а то ведь стоял столько нарядов.

— Зотов, чего встал столбом? Может, тоже отбил филейную часть? Садись, наряд уже начался.

Мужики залыбились, но в меру, негоже обижать человека зазря. Да никто толком и не знает, кроме их звена, что случилось с Петром Камсатовым, по кличке Пета, а они не болтают. Начальник говорил о плане, метрах — рутинна. Закругляется, пора на смену. Мойка в другом крыле здания. В чистом отделении скидаешь одежду, на плечики вешаешь рубашку, брюки и прочее нижнее, в родильном виде шествуешь в рабочее. Паша посматривал по сто-

ронам, где Пета, вон он, красавец. Худой, но жилистый, изрисован татуировками. Сикстинская капелла во фресках, хоть на ягодицах нет и они уже нормального почти цвета. И в мыслях у Павла нет злорадства, он просто наблюдал, как постепенно заживали огромные багровые блины на сидельных половинках у Петы, синели, темнели, уменьшались. На больничный тот не пошел, а и действительно трудно объяснить знающему врачу происхождение таких необычных синяков правдоподобно. Пета мужественно переносил боли и неудобства своей травмы.

«Когда же я рубашку отнесу домой и постираю?». Неприятно надевать высохшую, но ставшую хрусткой от потовой соли и с белыми ее узорами на ткани. Сапоги у Павла кирзовые, хотя большинство носит резиновые; привык с детства к кирзе, в стройотряде даже спали в них, когда августовская погода в Стрежевом подарила кусучих белых мух с неба, а печек в десятиместных польских палатках не предусмотрели. Промокают ноги в кирзаках, зато потом ревматизм не искрутит их, к тому же меньше шансов остаться без сапог, шахтеры чаще всего взаимообразят друг у друга хорошие резиновые бутки и подкаски.

Оделся, обулся, получил самоспасатель — цилиндр с ладонь в округе и почти в локоть длины, на ремне; светильник, аккумулятор к нему на брючный ремень за спину; фонарь со шнуровым кабелем закрепил на каску; залил во фляжку горячего чаю — ну, с Богом, славяне.

Из комбината выходишь по ступенькам вниз, и рядом, сигарету только выкуришь, рудвор; кстати, надо спрятать парочку сигареток, в бумажку завернутых, в расщелину кирпичной стены двора. У них не в шахте даже, в рудворе закуришь — посадить могут, шахта сверхкатегорийная по взрывоопасности. Смену отпашешь, выедешь на гора, как сладко затянуться заныченной сигаретой, до головы кружения.

В рудном дворе темновато и днем, к стволу рельсы подходят, последний пролет — метра три до решетчатой дверцы, ограждающей ствол, — вздыблен градусов на двадцать пять. Пока клеть не поднимется и не зафиксируется концевым выключателем, подойти к стволу нельзя. Так было не всегда, года за два до нынешнего дня проще все делалось и опаснее. Зима, в рудворе прорыв паровой трубы, паро-морозный настой заполнил подход к клету, бригады идут на смену. Первый открывает дверцу... ушел в ствол, второй за ним; третьего следующий, почуяв неладное, ухватил за фуфайку. Так двое и полетели полкилометра вниз, упали кусками отбитого мяса на крышу находящейся внизу клету. Только после того страшного случая и задыбили рельсы перед стволом. Извечная наша безалаберность.

В клеть, коробуху железную пара метров на пару, набилось с десятков шахтеров, поехали вниз. Мужики сидят, стоят, зубоскалят. Стены у клету не сплошные, от пола до дырчатого металлического листа просвет, голову не просунешь, а вот от листа до потолка не только голова пролезет.

Рассказывают, был случай. Так же ехали шахтеры, только со смены, вверх, разговаривали, шутили, везли с собой инструмент, лом одним концом высывался за клеть, прямо посереде разговора что-то скрябануло, мелькнуло, едут дальше, а мужика одного нет. Лом цапнул за одежду, упершись во что-то за клетью, и выкинул в просвет шахтера; нашли внизу, в зумпфе, прямик такой ниже ствола.

В газете Паша читал, в Польше шахтер упал в ствол — тоже полкилометра лёту, так он исхитрился развернуться в воздухе, поймать трос руками и по нему съюзить донизу, ладони до костей состругал тросом, а жив остал-

ся. Интересно. Он, скорее всего, до шахты работал в цирке акробатом. Что-то наши ребята, кто упал, никто за трос не смог уцепиться, не до того, видно, было.

Шахтовый лифт плавно остановился на нижней отметке.

* * *

Чем подземный квершлаг не метро — лампы дневного света имеются, высота под три метра, перекрыт бетонными затяжками, под кровлей идут трубы пожарного става, кабеля, внизу рельсы вагонеточные и дошатый тротуар.

До забоя их звену топать минут двадцать, справа ответвление, электро-возное депо. Свернули с квершлага налево, начинается восточно-полевой штрек — выработка, которую они ведут, здесь не метро и света нет у кровли, единственный источник — фонарь на каске. Знаком уже каждый выступ в выработке, каждая доска в тротуаре. Ага, вот здесь. Шел Паша один, навстречу топот кавалерийский, он включил дальний свет, смотрит вдаль: кто там галопирует навстречу? Крыса, да нагло так прет, не сворачивая. Вообще-то, поведение ее понять можно. Шаховые крысы живут всю жизнь во тьме, когда им светишь в мордочку, они слепнут и бегут наобум. Вот и эта, идет на таран, рубиново горят бусины глаз. А на тебе сапогом по мордасам! Смотри-ка, еще недовольство выказывает, визжит ворчливо. Ну обнаглели, заразы, тротуар не уступают! Умные они животные, наблюдал Паша за ними. Первые месяцы, будучи учеником, сживал на моторе. Закуток, выступочка в штреке, кнопки, телефон, запускаешь и выключаешь конвейер, по нему уголек шелестя катится на-гора. Бывало, грешен, закемарит под сноспособствующий шум ленты, забутовка в кармане фуфайки начинает шевелиться, а свет для лучшего закрытия глаз выключаешь, спросонья руку туда — рука уцепляет нечто изворотливое и верткое, которое выпрыгивает из кармана, унося в зубах колбасу. И что интересно — хлеб не едят из принципа, совсем. Шаховая разновидность крыс — аристократки, это вам не помоечные побирушки, жрущие картофельные очистки. Этим подавай колбаску, лучше краковскую, докторская сойдет, сало — с удовольствием, котлеты — без аппетита, а хлеб, ребята, за кого вы нас держите. Забутовку в шахте прятать бесполезно, все равно найдут, раздербанят, так что держат обед подземный за пазухой, в кармане или прямо на рабочем месте, а лучше съесть сразу, от греха. Пашка работал на моторе, проводил эксперимент. Привязывал к трубе пожарного става проволоку, заматывал ею газетный сверток забутовки и подвешивал на метр от грунта, свет уводил в сторону и наблюдал. Идут, трое, по трубе диаметром 100 мм, цепочкой, размеренной трусцой, они, кстати, также спокойно трусят, не балансируя лапами и хвостом, по кабелю с большой палец толщиной. Подошли к месту завяза проволоки, обсудили ситуацию, и первая прыгнула: выбить из петли добычу не удалось, сама едва не упала, но удержалась, и заработали лапы и зубы, вгрызаясь в газету. На трубе некоторые, видя столь наглое присвоение общественного продукта, попрыгали тоже на штурм стола пиршеств. Вторая прыгнувшая, в общем счете, по-десантному — с неба и в бой — кинулась в зубохватное сражение с узурпаторшей. Третья на них, общая свалка, визг перекрывал шум конвейера. Чем кончилось, он тогда не досмотрел кино из жизни животных, потому как без присмотра оставленная лента сошла на одну сторону, пришлось срочно регулировать натяжку винтами и лопатить просыпавшу-

юся кучу угля; по возвращении обнаружил на грунте обрывки газеты и хлеб раскиданный. Остался без пропитания — ну что ж, ради эксперимента надо жертвовать ублажением брюха.

* * *

Вдали запрыгали световые точки, чередой идет утренняя смена их бригады, точки растут, шпаги света от них шарят по грунту впереди, тротуар уже кончился, по бортам, ближе по их лицам. Петро, Серега, Андрюха, Петрович.

— Привет, орлы!

— Здорово, Лукич!

— Привет, Пашка!

Петрович с Лукичом поговорили о работе. У ребят на лицах серая накипь пыли и пота. Разошлись, идут дальше, до забоя десятки метров. Стоит порожняк, вагонетки с затяжкой, огнивами, стойками, шпалами. Лукич первым — вверху глухо, деревянно по затяжкам стук, отдалось по узкому пространству, — Паша сразу за ним, потому услышал негромкие слова:

— Ой, не к добру стучит, точно, купол образовался, вскрыть бы да забутить, а потом перекрыться бетонной затяжкой.

Не до Лукичовых слов Павлу, не обратил внимания, а бригадир переключился на него:

— Паша, твоя-то не пожаловала?

— Нет, Лукич.

— И што, сам поедешь, в ножки поклонись?

— Да, думаю, в выходной, соскучился по ней и сыну.

— Соскучился — это хорошо, а все ж таки бабе волю шибко нельзя давать.

Ты ж мою Степановну видал, заметил, выучка у ей какая?

Паша гостевал у Лукича в его просторном частном доме, знаком и со Степановной, действительно, слово мужа для нее вне обсуждения.

— Так что, если хочешь иметь крепкую семью, то имей и свое веское слово. Дождись, когда сама прискочит; а ежели первый поклонись, то быть тебе подкаблучником и дураком, хучь ты и студент. Хотя у вас, у молодых, можа и все по-другому, тогда буду я дурак, хучь и старый. Все, притопали.

Утренняя отпала, им убирать; дым вытянуло, а запах аммонита устойчиво держится. Леха и Пета сели сразу уничтожать забутовки. Лукич с Пашкой достают инструмент, он спрятан на борту, за затяжками, прислонен там к породе: кирка, лопаты, кувалда, топор, ключи гаечные. У каждого звена свой инструмент и свое место заначки. Паша сразу никогда не обедает, а то к концу смены голод глушит все другие чувства. Он таки придумал, как обезопасить обед от крыс. Под большую глыбину киркой углубляет ямку, заваливает тоже большими кусками породы спрятанный сверток, до обеда не успевают хищники подрыть ход и сожрать.

— Паша, глянь-ка, Пета уже сидит, оклемался.

— Да я в мойке еще заметил, поджило.

— Ну, ничо, пережил, не сбёг, значит будет шахтером. Эй, орлы, хватит пузо трамбовать, пора за работу.

И началась работа. Лукич встал за пульт трудяги пэпээмки. Пета подборкой зачищал углы, куда она не достает. Пашка с Лехой занимаются вагонетками. С порожней ветки скатывают вагонетку на поворотный круг. Да, да, красиво названо — поворотный и круг — просто большой лист железа, на нем разворачивают пузатого металлического бегемота, вдвоем приподнимают

за выступ у сцепки и ставят одну пару колес на рельсы, потом один весом тела давит на этот выступ, второй поднимает другую сторону и вторые колеса на месте. Первый раз Паша глазам не верил — такую махину и руками на рельсы, а ничего, быстро освоил. Две вагонетки таким макаром подгоняют под гибкий отросток скребкового конвейера машины, она их нагружает, руками толкают полные к составу, электровоз позднее увезет. Надо и порожняк поближе дотолкать. Работали молча, скрежет железа по горной породе не располагает к чесанию языка. Пашка посветил к груди забоя, там лучи двух фонарей чертили световыми циркулями серую завесу пыли.

— Пашет Пета. Он изменился после того случая. Помогла, видать, порка.

* * *

Камсатов пришел к ним в бригаду из другой пару месяцев назад, оттуда его попросили за драку, хотели совсем выгнать. Петру лет 27-28, шесть из них сразу отсидел за грабеж, три его старших брата с малолетства и с редкими передышками смотрят на белый свет через четырехрогие ёжики колючей проволоки. Мать-старуха одна у него родственница на свободе, пенсия небольшая, кормить детину взрослого не в состоянии, а сидеть все же надоело, и пошел Пета мантулить в забой. Работать он может, но вот понятия лагерные мешают жизни и работе.

Шахтеры в матерщине виртуозы, загнуть могут в небоскребы этажей и слово «козел» в частом употреблении, но без лагерного второго значения. Пета же никак этого уразуметь не мог и на каждое обращение к нему именем бородатого рогатого животного угрожал кинуться в штыковую атаку то лопатой, то ломом. И ударил одного парня по каске и по спине подборкой. Когда его перевели к ним, бригадир Семен предупредил Лукича. В первую же смену Лукич провел беседу, только пришли в забой:

— Петро, послухай меня. Ты, говорят, шибко блатной и на слова некоторые реагируешь, как бык на красную тряпку. Пойми, мы-то не блатные, а работяги, бывает што-то не ладится, слова вылетают нехорошие, но это не по-лагерному, просто привычка. Усек?

Пета поднял голову от забутки:

— Я-то усек, но и вы усеките, што меня шесть лет учили за козла сразу резать.

Леха встрял: «А ты переучивайся, тут не лагерь, а забой». Леха не зря влез в разговор, у него словцо это часто выпрыгивает изо рта, особо когда с похмелья, да и у Лукича проскакивало. Пашка такими определениями не злоупотребляет, у него брат тоже мотает не по первой и в паузах промеж посадок просвещал младшего.

Через неделю примерно произошел первый инцидент. Крепили круг, Пета уронил затяжку вертикально Лехе на ногу, тот от боли заорал:

— Козел, ты чё, граблями своими удержать ничего не можешь.

Пета спрыгнул с настила, да так реактивно, ухватил кусок породы с острыми гранями, плохо бы кончилось. Павел рядом, действовал не раздумывая, цапнул рванувшегося Петра за шахтовую спецуру сзади и дернул назад. Камсатов буксанул сапогами по породе, как грузовик на глинистой дороге, оглянулся, зло фиксы засверкали в фонарном свете:

— Ты-то чё впрягаешься, лошкомойник, студент зачуханный, а в правой руке оружие пролетариата.

Тут уж Пашку закусил:

— Пета, ты сам за базаром не следишь. Так вот я тебя предупреждаю, еще

раз услышу в свой адрес подобное, как ту ложку тебя согну — разогну и сломаю. Не веришь, я тебе сейчас это продемонстрирую, и породина не поможет.

В Пашином голосе такая гроза клокочет, Пета одумался, разжал ладонь, посмотрел прямо в свет:

— Ладно, Пахан, че ты, в натуре, я кипятной, но и он пусть помело свое прикусит.

Леха подытожил:

— Все, кончаем, бугор идет.

Лукич все же узнал; Леха сам, скорее всего, и рассказал. На другой день спросил у Паши:

— Что у вас за стычка получилась с Петром?

Выслушал задумчиво:

— Да, придется, видно, лечить парня. А Лехе я втык дам, чтоб тоже с языком своим поаккуратнее был.

Паша не понял про лечение, но уточнять не стал. И вот месяц тому лечение стало неизбежным. Леха с Петой несли ножку, в ней весу пуда четыре, такая профильная железина, плавно закругленная вверх. Они ставятся по бортам забоя, сверху кладётся на них и в них огнива, крепится хомутами на болты, получается круг, его уголками соединяют с предыдущим и вкруговую перекрывают досками, по-шахтерски затяжками, ограждая от падения породы. Грунт выработки не паркет элитных гостиных, а и там спотыкаются; ямка, а может, камень под ногу — и Пета хроманул левой, ножку выронил из руки; он шел сзади, несли не на плечах, в опущенных руках; ножка изгибом у Петы вырвалась и пошла клониться, выворачиваясь к грунту. Леха от нежданки такой тоже выпустил свой конец; металл застремился вниз, собирая складкой штанину, сапог и кожу под ними, — хорошо, ступня не попала. Ну и выдал Леха такие словесные пассажи, где «козел» звучало как нежный эвфемизм слову из лексикона Никиты Сергеевича в адрес художников и скульпторов.

Павел готовил приямок под ножку, услышал рев, обернулся, они метрах в восьми-десяти. Леха сидит на левой ноге, нянчит отставленную правую. Паша из виду выпустил Пету — он на окраине света, а летящий в Леху топор хорошо разглядел. Где Пета его успел взять, непонятно, хорошо, что он отнюдь не Чингачгук, топор летел, крутясь беспорядочно в обеих плоскостях. Леха с пужком, не шибко проворен, а в данный момент как хороший боксер унырнул от летящего оружия; упал топор, ставший орудием мщения, звонко залязгал по породе лезвием. Лукич был ближе и понял, что этим не ограничится. Когда Пашка подбежал, бригадир уже выкрутил лом из рук Петы и держал его своими клешнятыми за грудки, собрав в ладони всю рубаху от ворота до подола. Он сам в рубашке — жарко при работе, рукава засучены выше локтей, буграми и длинными холмами пучились мышцы, волосьем крытые. Пета искажен лицом, глаза по-крысьи краснеют отсветом светильника бригадирского.

— Ну все, парень, придется тебя лечить по-шахтерски, иначе ты когонибудь убьешь и сам под вышак пойдешь.

Ловко и быстро перехватил правой Петра за ремень штановый, тот приподнялся, повернулся и уже лежит на спине, каска упала с головы, фонарь выскочил из зацепа, уткнулся светом в грунт.

— Леха, иди сюда, потом выть будешь — нога-то не сломана, надеюсь, да быстрее... — а сам в наклоне держит лежащего:

— Ну-ка, давай, голубок, на живот, — и рывком перевернул Пету. — Пашка, держи ноги, а ты голову, я лекарство принесу.

Паша пока понять ничего не может, но послушно прижал ноги Петы к земле, стоя на коленях, прихрамывая Леха сел ему на голову, и, диво, Пета лежал без сопротивления, тоже не понимал. Бугор принес подборку, не большую самую, чуток поменьше и с обрезанными бортами.

— Держите? Покрепче держите! Получай, друг ситный, во излечение души и усмирение духа.

Живая плоть и бездушное железо; плоть угнетается, железо торжествует. Лукич перпендикулярно к наказуемому замахнулся от души до головы; удар чавкнул по мягкому, как камень не в воду, в болото. Лопата хоть и урезанная, а все одно в размер обеих полупопиц нежирного Петы. Первый этот удар вздул ярость в Петра, он рванулся телом, ноги под Пашкой в судороге задрывались, а из-под Лехи, задавленно звуча, извергся поток угроз: «Ну, твари поганые, завалю я вас всех» — еще хлопок и чавк тела, пыль из робы заискрилась в свете трех фонарей.

— Леха, тебе все, не жить больше!

Лопата в одном ритме заходила по амплитуде замаха.

— Я вас поодиночке всех выловлю и порежу. У, гады!

Звук изменился, похоже, кровь скопилась под штанами. Пета смолк на десятом ударе, после двенадцатого Лукич бросил лопату:

— Все, отпускайте, пусть полежит, подумает.

Часа два до конца смены работали вдвоем и молча, Лехе залили йодом и забинтовали длинную полосу от коленки до выступающей косточки над ступней соскобленной кожи; хромота, морщился, но работал наравне, старался, чуя и свою вину. Перед съемом с работы, прибрав инструмент, подошли к лежащему Камсатову. Лукич присел рядом:

— Петя, вставай, идти пора, смена кончилась, — помолчал: — Я тебе, слушаем, мужского ничего не отбил? Ну, вставай, вставай.

Петя зашевелился, повернулся набок, охнул невольно.

— Пашка, Леха, помогите встать человеку.

Те готовно подняли Петра, Леха надел ему каску, поднял болтавшийся ниже пояса фонарь, прикрепил защелкой в касочное отверстие. Голос у Петра спокойный оказался, когда заговорил:

— Мужики, не надо об этом болтать никому, если растрешите, тогда точно порешу вас.

— Ты, парень, не попугивай, а трещать никто не будет, слышали все? А тебе, Леха, скажу, ежели язык свой поганый не укоротишь, то и тебя полегчим, так будет справедливо. У нас коллектив и мы в шахте, а не на полянке ягоды собираем. Не дай Бог, што случится, мы друг друга выручать должны. На этом покончим, и думаю, такое больше не повторится. Если спросят, как да што, скажи, с настила упал прямо задницей на породу. Пошли, вон смена уже идет, — заторопил Лукич.

Петя осторожно ступал при ходьбе, он Павлу потом говорил, что мать лечила отварами и травы прикладывала. Больше конфликтов не было, но Петро стал неразговорчив; и в сторонке.

Потом Паша с Лукичом обедали, Леха с Петой отдыхали. Пашка привык обедать в коллективе, позвал напарников; Пета сначала отнекивался, все же подошел; Лукич развернул свой обед. Хвалили пироги Пашиной мамы, умя-

ли голодными ртами и домашние котлеты Лукичевой жены — объедение, да еще с зеленым лучком и первыми огурчиками; запивали кто водой, кто чаем из фляжек. После обеда устроили небольшой передых. Леха попросил:

— Лукич, расскажи, как ты в Москву ездил в гости и как тебя там угощали.

— Да ну тебя, я уж рассказывал.

— Не, интересно все же, ты еще разок расскажи, вон Пета, поди, и не слышал.

— Точно, не слышал.

Лукич в марте был в отпуске, ездил с женой к ее родне в столицу.

— Ну, приехали, значит, мы раненько утром, но метро уже работало. Я уже не помню название улицы, с час, наверное, добирались. И што интересно, народу на улицах полно, рано москвичи встают. Добрались, значит, дом нашли, на лифте поднимаемся, восьмой этаж у них; открывает зять, муж сестры моей Степановны, она помладше будет. Ну, объятья, поцелуи, мы подарки привезли, у них дочка в пятом классе учится. Квартира хорошая, телевизор цветной, холодильник большой, я таких не видал. Сели завтракать, зять достал из того холодильника начатую бутылку водки, пробочкой аккуратно заткнута; Ольга на стол собрала. Ну, мужики, это не стол, это издевательство над желудком. На блюдечке кружочки колбасы, хлеб в розетке фигурной, яичко вареное и на дольки нарезано. Все! Зять налил в стопочки ростом с наперсток водочки, остальное убрал опять в холодильник. Выпили, я кружок колбасы подцепил вилкой, а через него люстру видать, во рту он не ощущается. А через хлеб можно перед зеркалом расчесываться. Зять на работу заспешил, Ольга тоже, а мы-то с поезда не жрамши. Они нам ключи оставили от квартиры, кучу наказов. Ушли хозяева, я супруге своей говорю: «Пойдем-ка, Степановна, поедим да выпьем по-человечески». Собрались, пошли, магазины там на каждом углу, купили пару «Столичной», палку колбасы, хлеба, а где пить? Да просто — зашли в какой-то сквер, там лавочки, тепло уже, сели, у Степановны сумка большая и стакан складной, в дорогу брали. Степановна прямо в сумке наливает, все же страшно, вдруг милиция заберет за распитие в общественном месте. Литр уговорили и колбасу всю, вроде наелись. Милиция нас не обнаружила, а вот бичи сразу и усекли, что мы пьем. Двое крутились рядом, оказывается, им пустые бутылки нужны.

На Пету рассказ произвел сильное впечатление.

— И чё, в натуре, хлеб прям так тонко режут? Я видел в БУРе, один артист ниткой так резал, но то в БУРе.

— Да што я, врать буду. Неделю гостили там и постоянно подкармливались в магазинах и столовых, неудобно просить, скажут, проглоты сибирские. Жизнь в Москве дорогая, экономят на всем, да и привыкли. Один раз мы купили три кило мяса, нажарили на сковороде, они с работы пришли, увидели, у зятя очки сразу запотели, а когда увидел в холодильнике четыре бутылки водки, я думал его кондрат хватит. А ничего, пил много и ел не хуже нас, аж уши под очками шевелились, как у кролика.

— Знаю я их по лагерям, москвичей этих, жлобье они все поголовно.

* * *

И дальше шла работа, отгрузили отпалку, ставили круг, приходил мастер, потом десятник дегазации, мерил прибором ШИ-10 содержание газов в забое. Обычная работа, обычная смена.

В десятом часу вечера пришел домой Павел, после мойки купил в буфете хлеба булку, пожарил картошки, поел, почитал и спать.

Девушка стоит в воде чуть выше колен, цветные плавки волнительно-выпуклым у ног треугольником расходятся к бедрам, такой же цветастый лифчик укрывает спелые груди. У неё светлые, влажные у кончиков волосы, она брызгает, черпая ладошкой воду, на косо уходящую от глаз вниз бетонную плиту и смеется. Вот подняла обе руки вверх, сцепила пальцы, темнеющие подмышки на белых руках тоже волнительны.

А Пашке солнце жжет правую руку, он лежит на камнях у воды, животом вниз, голова на ладонях раскинутых рук и повернута к девушке. Надо встать и идти туда, к соблазнительнице, взять ее на руки, и нести на берег, прижимая крепко.

Открыл глаза. Он действительно так лежит, как снилось, и солнышко, найдя прореху в тополиной листве, жарит ту же правую руку через стекло. Некоторые органы Пашиного тела после такого сна оказались в сильном возбуждении. Прямо хоть Катьку иди лови, но вспомнил, как его при последней встрече неприятно передернуло, когда он увидел улыбающийся Каткин рот, а в нем остатки пищи промеж зубов. Нет уж, только не ее. Вообще это не дело, сегодня-завтра отработаю и надо ехать Ленку возвращать, а то точно по бабам побегу, без разбору.

Будильник тикал осуждающе, вроде говорил — дрыхнешь, а уже десять часов, обед скоро. «Хорошо выспался, не пойду сегодня никуда».

Подогрел вчерашнюю картошку на плитке, масло у него в чашке под сломом холодной воды, хлебушко намазал и со сладким чаем после картошки — вот и сыт мужик. До работы читал Фейхтвангера, «Лже-Нерон». Книги — страсть с пяти лет и на всю жизнь, наверное. В первом часу оторвался неохотно, язык тяжеловат, но вчитаешься когда, то интересно.

Получил аванс, вот хорошо, надоело без денег жить. После наряда Лукич отозвал его:

— Паша, я тут надумал мероприятие провести. Ты сегодня в шахту не ходи. Делаем так. Ты переодеваешься, на вот тебе сумку, там еще одна, чистую одежду складываешь в нее, получаешь свет, спасатель и идешь на пустырь за лесным складом, знаешь?

— Да, знаю, знаю, пили там.

— Ну вот, идешь туда, переодеваешься опять в чистое, прячешь спецовку — и в магазин. Возьмешь пару бутылок водки и чего-нибудь запить, лучше лимонаду, закусь и стакан у меня с собой. Ждешь нас, мы выезжаем на-гора, все моемся и посидим немножко, много не будем, завтра еще смена. Пету надо в коллектив вливать. Все понял?

— Все.

— Ну и лады, на деньги.

— Лукич, я тоже получил.

— Замолчь, сегодня я угощаю, — протянул красную бумажку десятки.

— А если мастер придет или начальник участка, а меня нет?

— Не твоя забота, тем более сегодня бурить, а ты не любишь это.

Паша сделал, как было обговорено. Принес все купленное, опять обрядился в рабочую одежду, пустырь зарос полынью, он прямил сапогами участки высоких стеблей, терпко пахнущих, и лег на них, закурил: «Мужики вкалывают, а я тут вылеживаюсь».

Бурить он действительно не любил — монотонная работа. На породопогрузочную машину крепится бурильный станок, колонком его шахтеры называют, вставляется штанга буровая — извитая серая лента около двух мет-

ров длиной с победитовым наконечником — и начинается дрыганье на полсмены. Пылевое марево затягивает забой, в респираторах дышится с усилием, пыль налипает на ресницы, они толстеют и длиннеют, мечта модниц, при моргании бывает глаза не разлепить, грохот и вибрация, духота, свет поглощается пыльно-воздушной смесью. Пашка упирается затылком в штангу у входа ее в породу, чтобы меньше раскачивалась вокруг продольной оси и не сломалась, вибрация отдается аж в пятки. Одна радость — в перекур подбежать к брезентовому рукаву вентиляции и подставить голову под освежающую струю воздуха. Нет, бурить Пашка не любит.

Он и поспал и накурился до тошноты, съел купленную в буфете колбасу, тяготно время идет в безделье, в шахте оно летит быстро. Он снова задремал.

— Эй, тунейдец, подъем.

Леха стоит над ним, серая маска пылевая вкупе с серой щетиной придает ему вид выходца из преисподней.

— Пошли мыться, Лукич с Петой сразу в мойку подались. Ты побирושку-то припрячь получше, а то кто-нибудь выжрет, пока мы моемся.

Пашка закидал матерчатую сумку стеблями пахучей травы.

* * *

Вечер выдался хороший. Днем, когда Павел кантовался в одиночестве на пустыре, было пасмурно, а сейчас тучки убежали к горизонту, закатное солнце за терриконом охряно красило небо, компания сидела на подстеленных газетах в мягких полутонах утасяющего дня.

Бригадир сам наливал, первому Петру:

— Петро, давай выпьем за то, чтобы ты стал настоящим шахтером и чтобы все в жизни у тебя было только хорошо.

Пета взял вполовину налитый граненый стакан:

— Ладно, будем, мужики.

Пили за быстрейшее замирение Павла с женой и за здоровье его сына; за выздоровление жены Лехи, она долго болеет по-женски; за успешную учебу в институте Лукичева большака, особо за непревзойденную Степановну, такую закуску изобразила: лучок, огурчики, беляши домашние и — о, завидуйте, гурманы! — настоящий холодец, густой, режь ножом, с чесноком, содержался в маленькой кастрюльке, то-то сумка бригадира пучилась боками. Разве окосеешь под такую закусочку, тут надо по бутылке на брата, чтоб забрало, но Лукич строг:

— Все, хлопцы, закругляемся, завтра на работу, всем еще домой добираться и у всех деньги, мало ли што.

Еще, правда, посидели, покурили. Пета признался, что ему давно нравится продавщица из магазина у трамвайного кольца, такая вся сдобная, мягкая, и он бы отдался ей весь, без остатка, но она как увидала его руки в наколках, так губы и бантит. Лукич загорелся:

— Да, Петро, надо бы тебя женить, дети пойдут и вся дурь из тебя вылетит. Я в выходной специально схожу, посмотрю, что там за красавица такая и почему она не хочет на тебя смотреть. Как ее звать?

Договорились пойти вместе с Петром, тот возьмет шоколадных конфет, и они пригласят ее совместно с бригадой посетить ресторан, а звать ее Света. Стали расходиться, темнело. Пете идти в другой барачный анклав, за речку, Лехе ехать в центр, пока трамваи ходят, Лукичу недалеко от шахты,

вверх, в улицы частных домов, Пашке ближе всех. А не так давно и он ездил в город, пока жил у тещи.

Странно, и деньги есть, а напиться не тянет. Можно самогонки купить или браги, нет, не надо, завтра на работу. Ну прямо весь правильный становится. К бараку подходил, уже совсем стемнело.

* * *

Последняя дневная смена, завтра выходной. Все как обычно — наряд, мойка, клеть и забой. Утренняя не добурила, им осталось пару рядов добить, а потом придет взрывник, рванет заряд и станет штрек на метр длиннее. Больше двух часов проваландались, то колонок барахлил, потом штангу сломали, обломыш в шпуре остался, пришлось рядом бурить. Пришел взрывник Василий, седоусый краснолицый хохол. Паша его знает, приходится иногда носить сумку с аммонитом, взрывнику положено только капсюли доставлять в забой. Василий с Лукичем заряжали, соединяли провода, потом все ушли за поворот штрека, Вася просвистел и крутанул машинку, Паша зажал уши, тугая волна прошла по ним, как цунами. Он вспомнил, по осени было дело, находился в сбойке, не слышал свистка, рвануло так, что почувствовал, как уши норовят оторваться от головы, а голова — следом — от туловища.

С полчаса ждали, пока газы выветрятся, мужики с утра нарастили рукав вентиляции. Василий проверил отсутствие недочетов, пожелал всего-всего и отбыл. Зазвенели цепи вагонеток, из-за поворота не видно электровоза, но это он привез порожняк, Леха пошел отцеплять. Готовились к отгрузке. Лукич проверял загребушую погрузочную машину, Пашка ждал Леху, присев на затычку, им кантовать вагонетки, Пета у борта с инструментом возится. Паша смотрел в сторону квершлага, куда Леха ушел. Свет его фонаря пронизывал тьму, но она, первородная, могучая, пожирала слабый лучик, он исчезал в ней, не достигнув ничего.

Нет, он не исчез, не сожран подземным мраком, навстречу пробился слабый, рассеянный туманец света, ширился, еще светлел и пыхнул звездочкой, колышущейся в невесомости; звездочка росла, от нее потянулась яркая нить, соединилась с Пашиным лучом, Паша покачал головой и лучи заиграли на путях, на кровле, дразня побежденную тьму, Леха подошел:

— Ну, што, начнем?

— Начнем.

Павел вставал, когда глухой удар и треск раздираемого дерева дернул их головы и фонари в направлении звука, лучи шарили по кровле, в одном месте в паре десятков метров от них в щель меж затыжек сыпался ручеек и две затыжки выгнулись вниз дугой. Подошел Лукич, за ним Петр.

— Лукич, што это?

Дробь слабых ударов сыпанула по кровле.

— Купол это, ребята, давайте отойдем от греха.

Разом повернулись и пошли молчаливо-встревоженно. Такие удары в шахте вызывают естественное беспокойство, люди здесь чужаки, пришельцы, и матушка-земля может наказать. Подходили к поворотному кругу, сзади громыхнуло мощной отпалкой, давя уши. И они помчались вперед, к груди забоя, к своей пэпээмке, там виделось спасение. Их догонял грохот, стук катившихся глыб и металлический стон кореженных вагонеток. Странно, они стояли под незакрепленной кровлей. Но даже не посмотрели у себя над головой, здесь, где кончается искусственно прогрызенный ход и несок-

рушимо стоит монолит земной тверди, при освещении матово отражающий, им казалось безопасно.

Минуты, не больше, длился сход купола, но не земные, иные, длинные, не поддающиеся учету. Стихло разом, пала тишина. Жуткая, могильная, нигде не капнет вода, ничего не стукнет, только пыль бесшумно зависла в пространстве, она вытеснила воздух весь, и сразу у Пашки затруднилось дыхание. Вентиляция!

Если передавило вентиляцию, а ее обязательно передавило, то всё, им скоро крышка.

— Лукич.

Они стояли рядом, прижимаясь друг к другу и к пласту. Бригадир крайний, у борта, к Пашке мягким телом жмется Леха, дальше Пета.

— Лукич, вентиляция.

— Да я уж думаю об этом, пойду посмотрю, вроде стихло.

— Ты осторожнее.

Как в мутную воду вошел в плотную кисею и через несколько шагов слился с ней. Только желтоватое скачущее пятнышко обозначало путь бригадира. Пыль медленно, но оседала и дышать становилось легче. Павел ни о чем не думал, да и страха особого не было, только в первые мгновения. Бригадир что-то смотрел — едва различимый комочек света мельтешило туда-сюда, — пришел не скоро.

— Признавайтесь, соколики, за кого из вас крепко Богу молятся и любят сильно, а? Наверное, за тебя, Паша?

— Почему именно за меня?

— Ну как же, мы с Лехой старше, больше грешили, давно женаты, любовь потускнела, Петро тоже грешник будь здоров, а ты самый молодой, сын недавно родился. Признавайся, ты самый счастливый?

— А что случилось-то, причем тут счастье?

— А притом, что вентиляция работает, вполдыха, а работает, значит, будем жить и нас откапают.

— Точно?

— Точно, точнее не бывает. Идите и посмотрите сами.

Совсем близко идти, обогнуть погрузочную машину; немного шагов, под ногами большие куски породы, гуще, чаще и все — уперлись ноги в террикон, уходящий в кровлю; склон его обрезан кругом с согнутой вниз огнивой и торчащими, как оскаленные зубы, досками; ближе к забою круга целые. Сколько их? Паша светом считал — одиннадцать, с последним, незакрепленным, двенадцать, счастливое число. Гора высыпанная закрывала всю выработку по ширине, справа незасыпанной осталась одна вагонетка, на боку, со вмятиной. А вот слева, у борта, метра на два высываясь из масляно блестящей массы, наволочкой на бельевой веревке, чуть полненной ветром, трепыхался брезент рукава вентиляции. Значит, вентилятор местного проветривания работает, там за завалом. А значит, они будут точно жить. Если, конечно, не сыпанет еще и не погребет их тут насовсем. Опять подошел бригадир:

— Ну што, видите? Я думаю, затяжки упали на пожарный став, прижались, придавили рукав.

Леха впервые с обвала подал голос:

— И дальше что, бригадир? Откапываться будем?

— Как ты себе это представляешь?

— Полезем наверх, потихоньку начнем отгрести завал...

— Ага, а если купол не весь вышел, дашь ему толчок и тогда уж никакой могилы не надо, готовая будет, братская и глубокая.

— Тогда предлагай что-нибудь.

— Пока ждать и думать. Машина не работает, видно, кабель рубануло.

— А ты что, Лукич, хотел пэпээмку развернуть и на ней поехать сквозь завал?

— Мало ли чего я хотел, но с хвостовиком я ее не разверну, чем поднимать его потом, «сучки» у нас нету.

— Так, Леха, вы с Петой, как всегда, сожрали забутовки?

— Ну, кто ж знал, Лукич.

— Ладно, Пашка, твоя где?

— Да вон, как всегда, в прямке.

— И моя цела — не жрать, неизвестно, сколько нам здесь сидеть придется.

Проверьте фляжки.

У всех чуть отпиты, только Леха — водохлеб успел свою ополовинить.

— Давайте, мужики, пока отдыхаем, сил набираемся и мозгуем. Телефон тоже под завалом остался. Свет выключить и включать только в случае крайней необходимости.

Они вернулись на отпаленное пространство, сели на подложенные под зады верхонки, выключили светильники.

— Нет, все же я испугался здорово, сам себе в этом не признаюсь. Конечно, такое ощущение, что все подземные силы против нас ополчились. Хорошо, если сразу породиной убьет, а то завалит штрек полностью и будешь медленно от удушья умирать. Так, а что же придумать? Ясно, нас будут откапывать, но сколько метров обрушилось? Если до самого квершлага, тогда неизвестно, выживем ли?

Тихие бульки насторожили ухо, Леха сидел рядом и чуть боком. Паша поднял руку, повернул ребристое колесико фонаря, Леха запрокинулся кадыком вверх и вливал чай в ненасытную свою утробу.

— Ты чё, гад, делаешь?

Засветились фонари Лукича и Петы. Лукич дотянулся, вырвал фляжку у Лехи, прямо с губ сорвал.

— Пустая.

— Лукич, дай я ему засвечу породиной в лоб.

Это Пету прорвало, молчал до этого.

— Тихо, не хватало нам здесь конфликтов. Леха, я же сказал — воду экономить.

— Жабры у меня горят, я вчера догнался дома бурденкой.

— Значит, ты свою пайку выпил.

— Ну, выпил и выпил, терпеть буду.

— Чего кто надумал? Паша, ты?

— Ничего определенного. Из инструментов у нас кайло, лопаты, лом, кувалда. Что мы ими можем сделать? Пробовать выпустить остатки купола — неизвестно, что из этого выйдет. Да и может передавить совсем вентиляцию, тогда кранты. И крепить у нас нечем, вся затяжка под завалом.

— Ну, студент, все раскумекал, молодец. И что, сидеть и ждать? А у меня, между прочим, завтра жену из больницы выписывают и мне надо ее забирать.

— Леха, ты не тарaxти, Пашка разумно все обсказал, ты сам что предлагаешь?

— Надо откапываться, рыть ход.

- А чем крепить?
- Разберем вот эти круга.
- А вдруг тут сыпанет?
- Петро, а ты чего молчишь?
- Да што я могу сказать, я недавно в шахте, как вы, так и я.

Лукич итожил:

— Значит, решаем так. Пока ничего не предпринимать, думать дольше, отдыхать. Жаль, фуфаек нет у нас, свежевато становится. На породе не лежать, она тепло тела вытянет. Вон из ближнего круга вытаскиваем затяжки и на них ложимся.

Каждый принялся для себя готовить ложе. Пашка разгреб сапогами породыны, уложил три доски, сверху постелил шахтовую толстую куртку, ранее висевшую на уголке меж кругами, пододел свой еще стройотрядовский свитерок, можно ложиться, гасим свет. Угомонились, мрак объял все, глубинный, такого на земле не бывает, он ошутим, плотен, враждебен.

— Надо думать о чем-нибудь хорошем, тогда легче заснуть.

* * *

В 1969 году Павел окончил десять классов, хорошо закончил, с одной четверкой в аттестате, остальные пятерки и поехали пятеро одноклассников покорять Томский университет. Мама была вся в счастье:

— Езжай, сынок, хоть ты один из всей родни получишь высшее образование.

Счастье-то было мамино, а сын прекрасно понимал, что с ее зарплатой она не сможет ему помогать, и потому решил поступить на вечернее отделение химфака. Благополучно преодолел конкурс из тринадцати с половиной человек на место. Вовка с Толяном не поступили. Федька сдал на физический, Коля тоже на химфак, но на дневной, и разошлись все по разным общежитиям.

Паша устроился сантехником при университете, жил напротив главного корпуса, на Ленина, 49. Знаменитая общага историко-филологического факультета, где второй этаж занимали вечерники, работающие в ТГУ, обслуга, поселялись заочники на время сессий. Одна черная лестница чего стоит, с кроватной сеткой под ней. Там пели песни, иногда с душком антисоветским, пили вино, а особо озабоченные в потаенные часы ночи использовали сетку для любовных утех. Ох, времечко золотое!

Осваивал Паша основы сантехники, вечерами занятия. Зарплата, впервые заработанная, 69 рублей в месяц на руки — бездна денег, роскошь и изобилие, вот только куда-то быстро испарялась та роскошь, и приходилось иной раз довольствоваться в день пирожком с картошкой и чашечкой кофе, в буфете главного корпуса.

Товарищи по комнате: Генка, студент-кандидат, после армии, Борька — шофер университетский и Вовка Кирагин, электрик и тоже студент ИФФ, заочник с шестилетним стажем учебы, но добравшийся за эти годы только до 3 курса. Вечерами в субботу и воскресенье комнату делили по часу на человека, а как иначе — в фойе танцы, столько филологинь красивых, каждому охота уединиться с очередной пассией, их четверо, а комната одна, вот и регламентировали время уединения. К Генке приходили друзья — историки и литераторы, Пашке с ними интересно, он начитан и любознателен. Они ему сколько раз говорили:

— Паша, зачем ты пошел на химфак, бросай и переходи на наш факультет, тебе тут место.

А Генка однажды полусерьезно предложил:

— Паша, иди сдай за меня зачет по археологии, ты лучше меня сдашь.

Но и химия поначалу нравилась, учился без напряга.

Зимой познакомился с Генкой Чуфаровым. С комизмом получилось знакомство. Зимняя рань, сладкий сон — и стучат в дверь, настойчиво. Пашка соскочил в трусах и босиком, открыл и опять в койку. Заходят Кирагин в трико, шлепках и рубашке, с ним в овчине усатый, с широкими скулами парень. Кирагин с вечера ушел к кому-то в гости и вот явился утром да с гостем.

— Вовка, ты чё в такую рань будишь?

— Какая рань, самое время приходить от женщины. Знакомся, это мой однокурсник Генка.

— Паша.

— Гена, я его в коридоре встретил, но с ним не был.

— Ладно, вы пообщайтесь, а я спать лягу, — и начал раздеваться, проснулись Генка с Борькой. Снимает Вова рубаху, ладно, нормально, снимает трико... от хохота все проснулись окончательно. Картина прямо загляденье: худое, мускулистое тело Вовы с волосяной грудью и ногами обряжено в широкие и длинные женские рейтузы, фиолетового цвета, резинки на штанинах не в силах обхватить худобу ног, обвисают до колен и с торса, привисли до зарослей паха.

— Чего ржете, жеребцы? — Вова непонимающе и чуть обиженно улыбается, он еще полупьян и долго не мог взять в толк, над чем так грохочут товарищи. Дошло, когда сообразил на себя взглянуть, на приобретенное нижнее белье, изрек философски:

— Ну, чего во тьме и спешке не наденешь. Главное — надеть, а там разберемся, — и завалился отсыпаться.

Гена работает учителем в сельской школе, приехал сдавать сессию и ему где-то надо пожить это время. С Пашкой у них сразу возникла приязнь и мужская симпатия. Всю сессию Гена прожил у них в комнате, спал с Пашкой на одной койке.

В мае он опять приехал, да и до весны навевывался частенько. Он-то и узнал, что формируется университетский студенческий стройотряд, строить город на севере области для нефтяников — Стрежевой. Паша согласился ехать сразу, хотелось заработать и просто интересно.

Сессию он сдал, на работе оформили отпуск. 10 июня отряд отплыл из Томска, да не один только их, в нем пятьдесят семь человек. Трехпалубный пароход «Мария Ульянова», больше тыщи студентов, солнце в зените ночной порой, безграничье воды и неба, танцы под пароходную радиолу на верхней палубе, такое разве забыть можно!

Капитан за трое с лишком суток пути успел влюбиться в студентку и, как настоящий влюбленный и должен поступить, завел громадину в малую речку Пасол, чтобы его возлюбленная, и все с ней не топали километры по болотинам. Полдня потом разворачивался в луже для слона, наверное, и влетело ему за это, а что хотите — любовь!

С Геной они работали в бригаде бетонщиков. Не работа то была, пахота до пота, до крови из носа. У Пашки три раза шла кровь носом от переутомления. В шесть подъем, умывка в Пасоле, завтрак, на «Урал»... и пошли замесы. Они заливали бетонную дорогу, теплотрассы. Час работы, десять минут

перекур, свозят на обед и опять за лопату, съём с работы в 10 часов вечера, в 11 иногда, светло круглые сутки, спать неохота, после бетона костры, танцы, а потом кровь капает на верхонки. Они делали самое большое триста замесов за рабочую смену, гордились — это очень хорошо. Немного сникли, когда однажды по радио услышали, что строители КМК в тридцатые годы делали по пятьсот замесов! А боек тот же — 0,3 куба и лопаты те же, ну а кормежка в те годы была явно не сравнима со студенческой, их-то кормили сверх пуза. Да, другое время, другие темпы, но урок. Хотя и у них за три с половиной месяца было четыре выходных дня — День молодежи, День строителей, свадьба студенческая и День Нептуна. Зато память — фото молодоженов в люке тягача и подписи всех друзей на обороте общей фотографии. Всего в Стрежевом было около двух тысяч студентов со всего Союза. Ломили как черти. Всяко было. Их университетский «Фотон» возили в Сургут, тогда деревню, разгружать баржи с цементом, шестнадцать часов работы с обедом минут на сорок. По гибким сходням в нутро баржи на полусогнутых, мешок 50 кило на спину, хорошо если не слежался, обоймет хребет, слежалый комком давит; в воздухе пурга цементная, вечером купание в нетеплой здесь Оби.

Зато провожали их как в Стрежевом! Они в студенческой зеленой униформе, на «Уралах», украшенных зеленью, с гудками проехали по всему городу, по ими дважды сделанной — тонет в болоте — дороге. На улицы высыпали все жители, большинство вербованные, а у них еще надо заслужить уважение, махали, кричали, плакали, и им до слез было волнительно. За такие проводы стоит вкалывать! А перед этим был последний вечер в палаточном лагере. Огромный костер, откуда только взяли такие сушины, там лес ростом чуток выше человека. Центральное телевидение снимало сотни студентов, танцующих летку-енку вокруг огня.

Дорога в Томск, другой пароход, «Патрис Лумумба», в шутку называемый «Наш друг Чомбе». Выдали аванс по 50 рублей, а выпить охота, в стройотряде сухой закон, раз нарушенный, на свадьбе, на второй день денежки растаяли.

Пашка находчив, трактор в поле словами заведет, пошел к директорше ресторана, улыбочки, комплименты, договорился.

В Колпашево остановка, пополнение запасов и они, 10 человек, вся каюта, опять по сходням встреч сходящему люду, с узлами, чемоданами, таскают на пароход мешки с кубинским сахаром, в них весу 120 килограмм, здоровые, видать, кубинцы ребята. А они что, дохляки? Пашка на последних днях в Стрежевом на спор проходил 300 метров с тремя мешками цемента на горбу, ну, конечно, придерживали с боков от падения — мешки, мешки, не его, — чтоб не скатывались. Заработали еще по 50 рублей — живем, гуляем.

В Томск приплыли под вечер, расставаться жалко, сжились, сдружились, куда? — в кабак железнодорожный. Сдвинули три стола, парни, девчата, человек двенадцать, пили под тосты, публика почтительно смотрела. При расчете денег не хватило, парни поснимали часы, у кого есть, оставили в залог. Паша свои тоже оставил, потом выкупали, официанты в том ресторане охотно брали у студентов вещи в залог.

То ли задремал или так глубоко ушел в воспоминанья, аж вздрогнул от глухого стука камня, и не сразу Паша вспомнил, где он. Свет прикрыто бро-

дил по борту за машиной: «Наверное, кто-то отлить пошел. Сколько сейчас времени, наверное, смена уже кончилась? Курить охота, ладно, не трави себя. Лежи, отдыхай, спи, пока есть возможность».

* * *

Через неделю получили расчет за стройотряд. За три с половиной месяца заработал Паша около 600 рублей на руки. Высчитали за два проплава пароходом и ресторанное питание на нем, питание в стройотряде, сигареты, на свадьбу закупили осетров со стерлядками, фрукты и овощи заказывали из Томска, подарки молодым студентам из Казани, на памятник Куйбышеву около главного корпуса тоже надо. А еще отпускные получил и, приятный подарок, механик проставил ему за стройотряд рабочие смены. Оказалось у Паши на руках около тысячи рублей, никогда раньше и в глаза столько не видывал. Когда он ехал в троллейбусе со стройотрядовской получкой, казалось, все пассажиры глядят на карман его пиджака и думают: «Смотри-ка, такой молодой и столько деньжищ в кармане, ну чисто Крез».

В складчину с Генкой купили двухкатушечный магнитофон «Комета», немного приоделся, маме 150 рублей послал, остальные — пролились остальные меж пальцев.

Лену впервые увидел на танцах в фойе. Она неофитка, а он второкурсник, стройотрядовец, зубр и ловелас. Белые брюки на длинных ногах, фигурка стройная и походка качающаяся произвели впечатление на Пашу, и он тоже закачал девушку на волнах оболыщения. Рассказывал про белые ночи, видя восхищение в ее серых глазах, вдохновлялся сам. Подошло его время по графику, в комнате магнитофон, вино, мягкий свет настольной лампы. Она выпила с ним, сели на его койку, Паша за подбородок повернул голову ее к себе:

— Я тебя поцелую, можно?

В глазах плясали чертенята и кивали своими лохматыми образинами согласно. Губки мягкие, податливые раскрылись навстречу и слились с его яростными. Рука Пашина потянулась вкрадчиво к острым выступам на кофточке, но была перехвачена на подходе. Лена сразу отобрала губы и отодвинулась.

— Паша, я понимаю, ты опытный сердцеед и сюда переводил, наверное, немало абитуриентов, и ты мне нравишься, но не все сразу. Всему свое время. Если хочешь, давай дружить с тобой.

Те, в зрчках, строили глумливые рожи. Вот так и пропадают замечательные парни, пополнил их легион и Павел. Лена поступила на геологический, общага у них на Южной, девятиэтажная. Какое-то время Паша мотался туда, заодно и одноклассника Федьку проводывал в соседнем корпусе. Потом и его перевели в то общежитие и на тот же этаж, судьба явно. На восьмом обитали геологи, химики, рабочие-студенты и просто рабочие, всех вмещал стадионной длины этаж. С Ленкой простаивали ночами в коридорном выступе, свет там Паша выключит — и стой обнимайся. Себе удивлялся, как все успевал, по учебе много приходилось заниматься. Этой осенью и на работе подфартило. Механик предложил сдельное задание — но грязное — Паше и его напарнику Сереге, тот просто работяга, старше на десяток лет, худ, высок, мосласт. Надо чистить канализационные колодцы; ну надо, значит, будем. Один надевает брезентовую робу, спускается в колодец, там сквозной

желоб, он забит, грузит короткой лопаткой в ведро грязь, какушки человеческие, кухонные отходы, иногда презервативы.

— Полное, подымай.

Второй подымает за веревку, дорогой стук-стук о выступы, плеснуло густой жижей на голову, прикрытую полой, потом меняются. Четыре колодца почистили часов до 12, по четвертаку за каждый колодец получи, ничего жить можно. Веспасиан вроде говорил, что деньги не пахнут, а может, Тит, не важно, главное, что прав старик, в мойке помоешься — и никакого запаха, нормальный труд. А вот Ленке все же не говорил о специфике своего труда, может, побрезгует, есть в ней нечто эдакое барское.

Октябрь стоял теплый, в пивной бар неподалеку бегали в рубашках за пивом, в плафон с лампы входило как раз три литра, его в сетку, нахально через вахту несли: «Квас это, квас, видите, какой темный».

Приехал Генка, а в Пашкиной комнате койка пустует, Серега, геолог, почти не бывает в общежитии. С Пашей в комнате теперь жили Витька-певец и кудрявый Вадим, оба не поступили и работают в университетской стройбригаде.

Здесь, на этаже, Пашка и столкнулся случайно с Танькой. Знал ее по Ленину, 49, клинышки подбивал, бесполезно. Танька яростно красива лицом плюс длинные черные волосы, резко рельефная фигура, упитана, но не чрезмерно, когда все оплывает.

— Здравствуй, Танечка!

— Привет, Паша!

— Какими судьбами здесь?

— В гости к подружке приехала.

— Пошли к нам, у нас вина море.

— Пойдем.

Паша завел ее к себе, за столом вся компания: Генка, Вадья и Витька.

— Знакомьтесь, хлопцы, первая красавица Ленина, 49 — Танечка.

— Паша, не комплиментируй, я смущаюсь.

Все кинулись угощать гостью. Посидели, попили изрядно. Генка вызвал Пашу в коридор:

— Паш, ты парней уведи и сам с ними побудь, я ее укатаю.

— Гена, ты не знаешь Таньку. Хитрая особа. Парни приезжают с калыма, денег полно, зовут ее в ресторан, ну, в надежде на дальнейшее, а она посидит, попьет-поест, потом вроде в туалет и сматывается. Сколько раз так делала.

— А кто она, учится или работает?

— Работает, в библиотеке.

— Короче, минут через десять-пятнадцать уходите и не стучите, я сам потом выйду, договорились?

— Хорошо, попробуй, только вряд ли получится.

— Посмотрим.

Ну, было б сказано, еще посидели, и Павел увел хмельных молодняков в коридор.

— Курим, ребята, Генка там Таньку убалтывает.

С полчаса мотались неприкаянно по коридору, вышел Генка, явно довольный:

— Паша, в общем, все удачно, она сказала, что и тебе даст, я ее подпоил хорошо. Заходим тихо в комнату, парни по койкам, а ты к ней, понял?

— Нет, правда, что ли, не верится прямо?

— Сказал же тебе, все в ажуре, пошли.

Он и Вадьку с Витькой проинструктировал. Зашли, молодые по койкам, Генка тоже, Танька на его кровати, он стоит, сердце колотится. Луна из небесной выси видимо освещает подоконник и стол. Паша нерешительно взялся за край одеяла, потянул тихонько.

— Паша, смелее, ты же давно хотел меня, пользуйся, пока я добрая.

Вот это да, даже не верится. Нырнул к ней, упругое тело, груди пружинят, ах, прелесть Танечка ... И плевать, что слышно кровать скрипит, такая женщина...

Удовлетворенный, полегал немного, Таня засыпала, он встал. Подошел к Генке: «Подвинься».

Зазвякали пружины, вставал Вадька, хмельно покачивается, на фоне окна кудри топорщятся и туда же, к Тане. Лег ли... тишина, десять-пятнадцать минут, тихо. Витька-певун не выдержал, резко подымается, подходит и громким шепотом возмущенно:

— Нет, вы посмотрите, они спят, он ей в титьку уткнулся и спит.

Это уже интересно, Паша тоже поднимается, Генка за ним. Хватало лунной подсветки, чтобы разглядеть лежащих. Одеяло в ногах, Таня в роскоши своего нагого тела спит на спине, Вадька рядом в плавках, рука и губы на ее правой груди, тоже сопит, идиллия!

— Парни, но я-то тоже хочу, я не виноват, что этот придурок ничего не смог и уснул.

— Все, хорош базарить, сеанс окончен, ложимся спать, — Паша решительно накрыл спящих одеялом.

Витька хотел еще повозмущаться, он взял его за локоть:

— Все, я сказал, лег и засопел, отбой, понятно?

Проснулся Паша часов в девять, выходной сегодня, встал, все вроде спят, Вадька на своей койке, сходил в туалет, заходит обратно, Таня сидит на койке, одеяло до пояса закрывает низ, выше обнажена и красивее себя ночной.

— А где мои плавки?

— Я не знаю.

— А это что на плафоне? — рукой показывает к потолку, ее синие трусики действительно там, обернуты вокруг пыльного стеклянного колпака.

— Сними, я сейчас оденусь и иду в милицию, скажу, что вы меня изнасиловали.

— Ты че, Тань, сдурела совсем, кто тебя насиловал?

— Ничего не знаю, выходит, вы издеваетесь надо мной, зачем трусы надо было туда вешать?

— Да откуда я знаю, спал я. Генка, вставай. Эй вы, Витька, Вадька, подъем.

Генка проснулся, и они с Пашей долго будили молодых, те претворялись заспанными. Паша при помощи стула снял трусики. Таня их надела под одеялом, а лифчик водружала на груди демонстративно, не спеша. И смиловилась, одевшись.

— Ладно, я пошутила, берите вина побольше, и забудем. Гена, а ты ухарь, первый раз меня так уломали. Не так-то это просто, вон Паша знает.

Гена скромно улыбался. Попили винишка и Танечка удалилась, но будет еще встреча у неё с Пашей. А ему было стыдно и противно, хотя, копнув глубже, можно обнаружить и довольство собой. Он целую неделю не ходил к Ленке, перебарывал в себе измену ей. А какая измена, собственно? Они не женаты, близки еще не были, только целуются, дружат. Тело забывчиво, память заплывчива, или наоборот; прошло постепенно. Он боялся только,

что молодые могут брякнуть невзначай Ленке, они ее знают, хотя она очень редко бывает в их конце коридора. Построжился над ними, они молодые, но уже хитроватые, ведь так и не признались, кто из них устроил показ женского белья на светильниках.

* * *

Любовь — счастье или горе? В любом случае это большое событие в жизни и оно пристигло Гену. Проживала на этаже Наташка, рыжая, антично красивая и распутная, работала библиотекарем в научке. Генка познакомился с ней, раз привел в комнату, два, а потом заявил Пашке:

— Я влюбился, хочу на ней жениться.

— Гена, ты совсем дурак, там полюбощаги перебывало.

— Ну и что, из шлюх получаются самые лучшие жены.

— Дело твое, и что надо для женитьбы?

— Для начала отвадить всех ее любовников от нее, она сама просила, я ей тоже нравлюсь.

— Ты знаешь их?

— Да, она сказала, кто в какой комнате живет.

— Ну так иди, беседуй с ними, правда, я не уверен в успехе. Моя помощь нужна?

— Только в крайнем случае.

На другой день вечером этот крайний и случился. Один ухажер попался несговорчивый, после разговора с Генкой пришел с подмогой и пришлось им вдвоем отбиваться от четверых геологов, благо молодых не было, им бы ни за что попало. Они стройотряд прошли, здоровье есть, отмахнулись. Когда Пашке губу распластали в лоскутья, он сграбастал стул и начал отоваривать противников, Гена подвешивал им слева-справа, выбили их из комнаты. Пашка понимал, что с геологами связываться опасно, они друг за друга стоят, и пошел следом к четверокурснику Женьке Сапогу, самому авторитетному геологу на этаже, бородатому здоровяку. Сговорились — Генка ставит шесть бутылок портвяша и тема закрыта, он убедил Сапога, что это любовь, а любовь для геологов свята. Гена взял, в компании полевиков выпили вдвое больше, нормально посидели, обмыли — в себя — перевязанную голову геолога, Пашкину губу и прочие увечья. Хорошие ребята геологи и пьют хорошо.

Закружились Гена с Наташей в хороводе любовном. Паша познакомил Лену с Наташей, они часто проводили вечера вчетвером в Наташиной комнате. Но Лена как-то сразу почувствовала себя в их компании отшибно, ей бы почитать «дефективы», а они рассуждают о Апулее, Камю, дяде Хэме, лезут в малоизвестные дебри русской истории. Наташа оказалась умницей, начитана, остроумна, втихую на одну ночь таскала им редкие книги из книгохранилища Научной библиотеки.

В ноябре Генка съездил куда-то в район. Нашел приличную шабашку, месяца на три работы. Взял с собой Боба, тоже стройотрядовца, еще троих парней, бросивших учебу, Наташку поварихой — и укатили друзья. Пустовато Паше стало, некстати и с Ленкой рассорился вдрызг, хотя и она права, он стал частенько к ней приходить выпивший. А учеба шла нормально, легко давалась. Под Новый год Лена отсесилась и уехала домой. Паша затосковал и понял, что любит вредную свою Леночку. Она не писала, не слала телеграммы. Он помнит до слова письмо, что написал в порыве:

«Лена! Почему ты молчишь? Напиши мне! Напиши! Напиши!

Я кричу у реки, ветер срывает с губ слова, обнаженные звуки стынут в воздухе зимы, смерзаются в мохнатые снежинки. Они полетят с ветром туда, где ты. Будут кружить в неуютные холодной высоты, а когда ты пойдешь домой с вечеринки, и будет падать снег, они найдут тебя, неслышно лягут на ресницы, станут, чертя по щекам бороздки прозрачными капельками слез, будоража душу твою и шепча свое изначальное «напиши»».

Позднее Паша считал, что такое мог написать абсолютно безнадежный человек.

31 декабря Паша поехал в бывшую свою общагу, на Ленина, 49. Нашел Таню, с ней встретил Новый год и пробыл там три дня. Вот такая к Ленке любовь на контркурсах.

Она приехала числа 20 января, письмо сохранила.

Весной Павел съездил домой на три дня, маму попрощал. Март холодный стоял, обратно летел «кукурузником», ботиночки японские, мех в них, похоже, лягушачий, ноги и застудил. Температура к сорока, парни посоветовали выпить водки с перцем и под одеяло, процедуру проделал, а стало хуже. «Скорая» не взяла — он же пьян.

На другой день пошел в поликлинику и отключился прямо в очереди. Очнулся в больнице, диагноз — экссудативный плеврит, а по-русски — жидкость в легком и перспектива туберкулеза. Жидкость откачали из-под лопатки, месяц отвалился, благо Вадим, однокурсник, приносил задания. Друзья его посетили: Гена, Наташа, Боб, фрукты, цветы и вино, выпили крадучись, за его выздоровление. Гена с Наташей женятся, она сумела понравиться его родителям, коренным сибирским татарам, потом они уезжают в деревню учительствовать. Оттуда напишут. Боб надумал устроиться на секретный химический комбинат лаборантом — теряет Паша лучших друзей. Они еще проводили его в санаторий. Прекрасный вечер в Лагерном саду с вином, костром, песнями. Паша ногой ломал старые доски, гвоздь прошел сквозь кед и ногу насквозь, а, мелочи! — так, прихрамывая, и поехал утром за реку, в туберкулезный санаторий, в бывшие купеческие дачи о двух этажах и с резьбой по фасаду.

В санатории взялся за учебу, ездил в город сдавать зачеты, контрольные, с натужным скрипом, но вытянул сессию и одолел второй курс. Здесь же случилась первая близость с Леной, в выходной, когда многие уезжали в город. Произошло естественно и нежно, к этому давно шло — и пришло.

Выписали Пашу только в конце августа, но полностью вылеченным, молодой организм переборол недуг. Жаль было уезжать, столько друзей приобрел и санаторий прекрасный, еда как перед убоим откармливанием. К нему товарищи в выходные приезжали отъедаться. Многие больные в отъезде, а готовят на всех, поварахи просили: «Паша, пусть друзья приезжают, столько добра пропадает». Ну, те и рады. Волейбол, теннис настольный, футбол, лодки в томской протоке, сосновый лес и чистый воздух».

Оздоровел, отдохнул, пора и трудиться, да брякнуло по голове вестью неожиданной — Ленка беременна. Не прошли без последствий их жаркие ночи в пенальной двухместной палате второго этажа, когда сосед с пятницы по понедельник отсутствовал. Скоро ты будешь папаша, а не Паша. И что делать? Вечный вопрос. Кто виноват, понятно. Ему только в феврале следующего 1972 года будет 20 лет, а уже отец.

Думали, решали — надумали и решили. Паша бросил не очень любимый

факультет, но любимый университет, Лена взяла академку по беременности, и холодным октябрьским вечером они садились в поезд. Провожать приехали все близкие душе: Гена с Наташей, Боб и Винча.

Студенческий период жизни Пашиной закончился, и он чувствовал; больше такого не будет никогда, начинается другая жизнь. Что-то рвалось в нем юношеское, безмятежное. Грустно, друзья, ой как грустно.

* * *

— Хорош дрыхнуть, лежебоки, — бригадирский басовитый голос раздраил подземельную тишь и звучал от завала.

— А кто дрыхнет, я лежу и думаю.

— Как бы пожрать, да?

— И совсем я жрать не хочу, так если — чуток перекусить.

Слова бригадира исходили из света и приближались вместе, а Лехин голос рядом бубнил.

— Леха, право слово, тебя легче убить, чем накормить и напоить. Здоров ты на то и другое, работал бы так.

— Что я, плохо работаю?

— Ладно, шучу, настроение вам поднимаю. Петя, ты есть хочешь?

— Нет, обойдусь.

— Не надо так говорить. Пашка, неси свою забутовку, мою оставим на НЗ. Поди, не сожрут крысы, я их што-то и не видел сегодня.

— Их уже вчера не было. Умные они, заранее чуют и уходят. Я в лагере, в БУРе, одну приучил, она у меня с рук ела...

— И не брезговал?

— Чего ими брезговать, у нас один артист был, зубами их ловил. Так вот, крыса эта всегда уходила ровно за пять минут до обхода.

Паша принес из приямка сверток.

— Чего у тебя там?

— Как обычно, колбасы 200 грамм и хлеб.

Лукич взял у него забутовку, развернул. Порезана, как раз четыре кусочка.

— Мужики, воду экономим, пока нет сильной жажды, не пейте, без еды протянем долго, а вот без воды быстро окочуримся.

Четверым здоровым мужикам по полстаграммовому кругляшу колбасы зажевать — только желудок раздражить.

— Чем теперь будем заниматься?

— Давайте анекдоты рассказывать.

— Петро, ты, поди их много знаешь?

— Знаю.

— Тогда трави.

Пашке хотелось побыть одному, обдумать свою жизнь, он чувствовал, что не совсем оказался готовым к крутым переменам в ней. Собрал затыжки лежаночные, куртку, пошел по правому борту, дошел до лежебокой вагонетки.

— Здесь, что ли, лечь? Нет, тут опасно, от металлы камни будут отскакивать, могут пришибить.

Вернулся назад, но не к забою, круга за два, тут меньше слышно нелюбимые им похабные анекдоты. Расстелился, лег и выключил свет, голос за машиной негромко, но эмоционально повествовал, часто гусиным гоготом пыхал смех, у них горел один светильник.

Жизнь семейная начиналась совсем не так, как мечталось. Остановились сразу у мамы. Пришла тетка с мужем, сидели, выпивали. И тут Ленка начала казать зубки острые — отбирала у Паши стакан, прямо выхватывала из руки, раз да два. Мама не выдержала:

— Слушай, сноха, пока еще я здесь хозяйка и буду решать, кому и сколько пить. Он пьет не в подворотне с бичами, а дома с родней.

Мама и так огорчена до крайности тем, что сын бросил учебу. Наедине она ему сказала:

— Эх, сын, сын, на одного тебя была надежда. Я думала, выучишься, инженером станешь. А ты вон чего удумал. Зачем вы так рано ребенком обзаводитесь?

Нечего сыну ответить.

Не уживались свекровь со снохой. Мать без отца воспитывала их с братом, привыкла сама делать всю работу, и мужскую тоже. И когда застала Пашу с ведром и тряпкой, моющим полы, грянул скандал.

— Счас же брось, сынок, это не мужское дело.

— Мама, она же беременна.

— И што. Я тебя рожать начала, когда по воду шла. Будешь тряпку в руки брать, так сам тряпкой и останешься.

Ленка лежа читала, промолчала, только злые слезы закапали на книгу, а пол тогда остался недомытый.

После Нового года переехали к родителям Лены. Центр города, большая квартира, но и семья немалая, мать и отец — геологи, папа вообще заслуженный. А здесь Паша чувствовал себя барачным подкидышем. Вообще-то, тесть нормальный мужик, только замкнут на работу и семью, и не глава. Два брата и сестра Ленины хорошо приняли нового родственника, а с тещей с первой встречи ножи заточились. Но главное: они с женой — законной, расписались без помпы, для помпы пузо не позволяло, — спали в разных комнатах! Постижимо ли уму такое, уму молодого парня: желанная, любимая женщина ночью не рядом, а за стенкой? Да и добираться с работы на работу ночью проблемно. В общем, и там жизнь не медом губы мазала. Трудиться Паша сразу пошел на шахту, мама здесь работает, отец до гибели вкалывал. В коллектив влился легко, да и как иначе, пахать он может, а жизнь в общаге научила не быть жлобом. А что попивать стал, так цель в жизни потерялась, та, которую ставил, иную только нащупывает. Да, пьянка до добра не доведет. Был случай, о котором ему стыдно и сейчас вспоминать.

Март, у него родился сын, ему дали три дня, и начал он на радостях глыкать винище. Идет по дороге, по проезжей части, пьяный, в каждой руке по «огнетушителю» вина, дорога частью обледенела, сузилась. За ним грузовая машина тихо едет, сигналист, не может его обогнать, а он, не оборачиваясь, прет и приговаривает:

— Ну уж, ну уж, пошли вы, у меня сын родился...

Товарищ увидел, свел его на тротуар, так он вырывался, норовил опять выйти на шоссе. Товарищ и рассказал со смехом, а ему стыдно было. А что сына и жену из роддома забирали тесть с тещей, это какво? Эх, папаша. Нет, надо с пьянками завязывать, а то можно докатиться до тюрьмы, как брат. Николай, пока Паша учился, успел один срок домотать, освободиться и снова сесть, не побыв и месяца на свободе.

Ему теперь предстоит работать и содержать семью. А почему только работать? У них в городе есть институты, можно поступить на заочное, вон хоть в педагогический. Снотворный воздух в шахте — воспоминания и размышления переплавились в сон.

* * *

Откуда гром зимой, морозным вечером на берегу Томи? У него стынут от холода зрачки и Ленка, длинными, выдыхательными «хо-о» отогревает их. Вдали плавающими квадратами окон обозначилась общежитская девятиэтажка. Не может он сейчас греметь, не сезон. А гремит, и треск невидимых молний рвет замороженный воздух. Сон сдался, только когда глухо застукало прямо возле уха. Каску он снял, в ней неудобно лежать, шарил со сна в темноте, нащупал, выдернул фонарь из зацепа, включил и направил туда, к завалу, понимая уже, что скверное событие произошло. Свет вяз в кисее пыли густоты похлебки, но он увидел: вагонетка, у которой хотел лечь, засыпана почти вся.

— Сыпанул еще купол, а где мужики, неужели спят крепче меня, ничего не слышат?

Надел каску на тонкий подкасник из маминого чулка, встал, вставил свет на место и пошел за погрузочную машину, туда, где должны находиться товарищи. Огибал машину со своей стороны и сразу увидел — нет никого, доски лежат, курток нет, фляжка прислонена к борту, в чехле, Лукича. Сознание не могло принять мысль, отшвыривало страшную, а та нагло лезла в мозг.

— Они там, пошли пробивать завал, и их засыпало.

Пету нашел первого, лежал он головой вниз и к забою, фонарь, может, и светил, но вниз, не видать. Щелкнуло и включилось в мозгу Павла нечто неподвластное ему в тот момент, жесткое, рациональное, давящее эмоции. Не поверилось бы ему в другой ситуации, ему, не могущему поднять топор на курицу для ради пропитания, что он будет спокойно стягивать руками и заматывать бинтом Петино распolzшееся, как от поло-сующего удара опасной бритвой, мясо, под которым видна поврежденная белая-белая на сером и черном с кровавым подмесом кость, на бедре пониже ягодицы. А будет и давить ему безжалостно спину коленом и материть, а потом разорвет его брючину толстого шахтерского материала до ремня и наложит жгут из своей распушенной на лоскуты рубахи в дезинфицирующих разводах соли.

Ты же цепкий и жилистый, Пашенька, ну давай, давай, тащи Леху, а сначала выгреби его пальцами из кучи породы, тащи, я кому говорю, да не лопнут твои жилы на шее. Они же не лопнули, когда ты, соблазнившись карликовой кедрушечкой, ступил на зеленую яркую полянку и повис в бездне трясины, а пока Генка с Бобом склоняли к тебе гибкую березку, она, коварная, утащила твои ноги уже повыше колен и пришлось тебе, накрутив на запястья зеленые ветви, спасать свою жизнь до крови из-под веток, до страшных узлов вен на шее, но не лопнули узлы, спас жизнь, а кеды зашнурованные остались ей, жуткой, на память или на закуску вместо обеда.

Ташил он Леху, с левой его рукой, в локтевом сгибе намертво прижатой к разбитому лицу. А с Лукичем что? Подумаешь, прижало к борту здоровым куском породы, жив ведь, хоть и залито лицо кровью, а каска

старого образца, как черепаший панцирь, но положе и с волнистой пелеринкой вкруговую, цела, треснула повдоль и фонарь разбит. А ты что, зазря три месяца на Севере кидал мешки с цементом и бетон мешал? Не осилил руками, ломик для чего, только аккуратно, не повреди Лукича, отвалил глыбу, уже радость, туда же Лукича, за машину, к забою.

Всех вас, ребята, уложу на затыжки, никого не оставлю в завале, хотя вы, гады распоследние, пошли одни, меня, значит, молодого оставили, пожалели. Лукича когда тягал, тот еще извинительно шамкал полуразборно запеклыми губами:

— Паша, ты уж прости меня, само вылилось, не сдержал.

Это он подумал, что Пашка сморщился от запаха мочи, чудак, гримаса натуги так лицо меняет. И он ответил:

— Лукич, и прекрасно, што вылилось, радуйся, вот если бы не вылилось, а лопнуло, хуже было бы.

Нога Лукича мешала тащить — правая завернута внутрь неестественно, сапог покинул ее, такую, и белая портянка, разматавшись частично, шлейфом подвенечного платья шуршала по блеска ртути темно-серому. Он даже не озаботился, обнаружив, что рукав вентиляции, огрызок метровый, плосок почти. А, не задохлись сразу, значит, и дальше не помрем. Атмосфера здесь, конечно, не соснового бора, сыро, влажно и духота. Паша работал по пояс голый — рубаху на бинты; курткой укрыл Леху, свитер снял, щипучий пот тек аж по ногам, под портянки, а у пупа поперек живота, мешаясь с грязью, образовал прибойную полосу. Уложив всех: Пету лицом вниз, стонущего и скрипящего, зубами в доски; снял с них каски, рабочий светильник остался только у Петра, проверил фляжки. Лехина сплюснута и пробита, да там и было остатков, может, с глоток, итого три неполных, поить с колпачка, протянуть подольше.

Эх, воды бы хоть прямочной — обмыть раны, как назло, то в приемке под ножками вода хлюпает, а сейчас сухо. А может, к лучшему, вода грязная, занесу инфекцию, и раны не стоит трогать, пусть коркой покроются и подсохнут. Кровотечений сильных ни у кого нет, он осмотрел поверхностно. У Лехи развален нос и рот, зубы наверняка повышибало, молчит, не стонет, рука точно сломана и еще что — неизвестно. Присел Паша тоже на затыжку, прислонил голое плечо к прохладному металлу и упал в сон, в яму, в небытие — пружина сжатая чуть сдала.

— Пить, Паша, дай пить.

Глаза рванулись веками в открыв, будто и не спал, а может, не спал, просто мозг заблокировался, рука автоматически включила свет, когда успел выключить? Пета просил воды в ткань ртом; осторожно Паша повернул его на левый, целый бок, к Лехе, влил в рот колпачок, рот как у птенчика жаждущего растворен, пришлось еще колпачок туда залить. По-видимому, у Петы температура поднялась, лоб горячит руку.

— Паша, наклонись поближе, — и боковым зрением увидев склоненное к нему лицо, заговорил полубредово, с паузами:

— Паша, я тебя... хотел порезать... тебя... одного... за ту казнь...

— Почему так избирательно, именно меня? — Паша отвечал тоже тихо.

— Честно говорю, завидую тебе.

— Мне? Да в чем мне можно завидовать?

— Я вас... видел с... женой, красивая. И видел... как она на тебя... смотрела. Ты... умный... здоровый... жена... ребенок. А я, што... я такое...

Пета зачастил лихорадочно, уже без пауз:

— В детстве пьяные скандалы отца, потом братьев, воровство, грабеж, лагерь. Я первую получку получил здесь, на шахте. Матери отдал, она так удивилась, сидит за столом, считает, а слезы заливают руки с деньгами, а потом ночью проснулся, она гладит меня по голове и опять плачет. И у меня душа заплакала, Паша. Я гадина, паскуда последняя, под тридцать лет мне, а я только первый раз честно заработал деньги. И тебя не смог порезать, потому что ты мне сколько раз фляжку с чаем отдавал, когда у меня колосники горели, а не каждый даст, поверь мне. И вообще у вас все по-другому. А когда в полыни посидели, я понял, правильно вы меня лечили, иначе убийством бы кончилось. А я жениться хочу, и чтобы Света также на меня смотрела, как твоя жена.

— Петро, да все у тебя будет распрекрасно. Ты стал настоящим шахтером, а настоящих шахтеров девки любят, и мы еще сбачаем такую пляску на твоей свадьбе, что полы повываламываются.

— Ты думаешь, она за меня пойдет, правда, Паш?

— Обязательно, а иначе просто не может быть. Ты представь, заходят в магазин четыре орла в костюмах и галстуках, с огромными букетами цветов, кладут цветы на прилавок, встают все на одно колено, на одно, так встают благородные мужи, склоняют головы, и Лукич торжественно говорит: «Света! Лучшая бригада горняков Кузбасса и периферий просит вашей руки для нашего товарища Петра Камсатова — встаньте, жених!». В магазине народ стоит с открытыми ртами и мухи у них по ртам ползают. И никто и никогда не сможет меня убедить, что женщина в состоянии отказать такому человеку. А, Петь?

Петя не отвечал, освещенное лицо его склонилось через плечо к доске, глаза закрыты, рот безвольно уронил нижнюю губу. Плохо дело, жар у него, жгут я снял, кровить вроде меньше стало. Жалко, аптечка у фидеров осталась, чего одним бинтом сделаешь...

Закашлял Лукич, кашель всхлипывающий, с выхаркиванием. Паша повернулся к нему, у Лукича летели изо рта брызги крови и розовая слюна.

— Лукич, давай я тебя на бок поверну.

Он подышал широким в раззяве ртом, губы открывали кончики окровавленных зубов, так, не закрывая, и продышал:

— Не надо, Паша, у меня внутри што-то раздавилось, если на бок, совсем оторвется. Помнишь, когда ты к нам в бригаду пришел, я тебя разыграл? Не хочу, чтобы ты обижался.

— Лукич, прекращай ерунду говорить, какие обиды? Я жил в студенческом коллективе, в общаге и прекрасно понимаю, что такое розыгрыш. Давай я тебя попою.

Залил по каплям две крышечные мерки, волосяной шарф два раза пошевелился, Лукич закрыл глаза, рот не закрылся.

* * *

Тогда его разыграли красиво. Работали в утреннюю смену, до конца часа полтора оставалось. Лукич сходил к телефону, возвращается, подходит к нему, серьезен:

— Паша, звонили из лаборатории, надо отнести кусок породы на анализ. Там какие-то сложные анализы должны делать, так что побольше возьми породину — да вон ту. Поднимешься по ходку, сдашь в лабораторию, на вто-

ром этаже, время первый час, пока выйдешь, сдашь, то, се, можешь сдавать свет и в мойку. Все понял?

— Все.

— Ну, бери и топай.

Ну и взял кусяку килограмм в пятнадцать весом Паша, потопал. По ровному штреку нормально, а еще ходок. Глубина шахты 500 метров с гаками, надо вылезти вертикально вверх. Деревянная крутая лестница метров пять, перекрытие, люк, дальше следующий пролет. Не считал Паша люки и свои передыхи, но когда вышел на-гора, ножонки треморили, как руки алкаша, зато горд. Последний передых — и пошел к комбинату, в руках предмет анализа; сидящие в сторонке от руддвора шахтеры в рабочем сыпанули хохотом, тогда только понял, что его разыграли. И ведь даже тени сомнения не было, нужна ли для анализа такая прорва материала, вот тебе и химик. Три дня ноги не гнулись в коленях, ходульно передвигался, переламываясь при сгибании. А все же полезно для общего развития организма.

* * *

Время подземное иной категории, чем там, где Солнце; оно течет по-другому или вообще стоит. Пружина в Пашином теле сжалась, звенела в напряжении, чуть ослабляясь моментами сидячего забытья. Товарищам то становилось хуже, то они забывались сном ли, аль убогом сознания от боли, только Леха каменело лежал. Паша пытался лить ему чай в коросту на месте лица, чай стекал и Леха молчал. Пробовал и кормить их из Лукичевой забутовки, с руки, давленной в пальцах котлетой, вкусной, домашней, — не брали. Сам съел одну, силы нужны.

Теперь ты медбрат и не криви рожу, надо — и обихаживай жидко обмаравшегося Лукича и Пете помогай справиться нужду. Он ни о чем не думал — и некогда, и отключил думательный центр. Он просто был рядом со своими товарищами, они в беде — и он помогал им чем мог, а мог мало. А вот артистом эстрады пришлось побыть. Очередное поение закончилось, даже у Лехи вода булькнула в трещину ниже засохло-черных стустков; осталась последняя неполная фляжка. Паша уже боится касаться плечом чего-нибудь, когда присаживается, сознание может просто уйти из-под контроля и тогда он уснет на сутки, на двое. А с ними что будет за время сна, ты подумал? Петю опять положил на бок, а тот неожиданно попросил:

— Паш, я раз слышал, ты пел какую-то песню, вроде «иду по дороге», чего там блестит, я тогда не расслышал, че блестит, спой, а?

— А, наверное, «Выхожу один я на дорогу». Это романс на стихи Лермонтова.

— Во-во, про дорогу, спой.

— Ну, ладно, я сам его люблю.

Начал в полголоса, неуверенно:

— *Выхожу один я на дорогу;*

Сквозь туман кремнистый путь блестит...

Бессмертные строки, облеченные в звуки, заполняли замкнутое пространство закупоренной выработки. Мрак недр настороженно внимал, принимал в себя и сглатывал — эха не было. Но голос Павла креп — мужественен, —

переполнил чертог мрака... и темнота слабыми подголосками начала вторить окончаниям слов.

*Ночь тиха, пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит.*

Картина жанра фантастики. Пять сотен метров в глубь земли, обваленный кротовый ход, на оставшемся аппендиксе лежат трое изувеченных людей, рядом с ними парнишка сидит, голый по пояс, уперся гаснущим светом фонаря в борт... и поет громко, с вызовом — и не боится ни глубины, ни темноты, ничего. Он поет...

Паша разошелся, спел потом «Я встретил вас и все былое», «Вот мчится тройка почтовая» и есенинские романсы; когда еще доведется петь для столь благодарной аудитории. Вот такой сольный концерт «во глубине сибирских руд».

* * *

Не выдерживала пружина сжатия, сознание мерцало на угасании, когда он услышал шум или почудилось; стоял у погрузочной машины, повернул светильник с головой к завалу, обшарил все тусклым светом, — нет, без изменений. Еще время прошло, опять шум, может, в ушах! да нет, железо о породу лязгает. И возник свет под кровлей, потом зашуршала породная масса, неужели опять высыпется, уже не верилось в хорошее. А свет чертил кровлю, множился. Паша сел прямо на грунт, но уснуть не дал голос:

— Эй, есть кто живой?

— Все, мужики, нас откопали, — хотя знал, что они в отключке все и вряд ли слышат; пошел на голос. Грузная фигура скатывалась сверху, скальный обрубок челюсти под козырьком каски — Котов.

— Пашка! Зотов, живой, бродяга! А Лукич, мужики?

— Вон, за машиной лежат, живые, только поранены сильно. Скажите, Сергей Иванович, сколько мы здесь пробыли?

— Четвертые сутки доходят, Пашенька. Ты сам-то дойдешь? А ребят сейчас выносить будут.

— Я помогу.

— Иди-иди, помощник, на ногах еле стоишь. Хлопцы, помогите парню. Сверху набегали светильники, скатывая осыпь, Пашку взяли двое под руки, потащили вверх.

— Мужики, да я сам в состоянии, я не ранен.

Но отпустили его уже по ту сторону завала. Много народу, техники, все гремит.

— Паша, ты дойдешь до ствола? — Знакомый кто-то, из спасателей, а мозг не узнает.

— Дойду.

На программе автопилота дошел, клеть ждала, клетевая смотрела скорбно, но ничего не спросила. Приехали, вышел Пашка из рудного двора. Шибко резок Божий свет для отвыкших глаз, он закрыл левый, а правый прикрыл. Пустынно, в щелочку глазную видно всё прилегающее к руддвору пространство. Там что? Две «Скорые» стоят, а там? По широким ступеням лестницы от комбината бегут! Степановна, Лукичова супруга, за ней высокая полная молодка, не Света ли, вот Пете подарок. А за ними? Мама,

мамочка, рядом Ленка, на руках его сын, в синих ползунках, видать, новые, таких не было ...

Из-за облака выкатилось Солнышко, вошло в прищур глаза, плавая пау-
чий нити ресниц, заполнило глазницу и... покатилося со слезой; Павел за-
крыл и этот глаз. К нему бежали уже и от «Скорой», а он стоял с закрытыми
глазами и слезы выдавливались из-под век часто-часто.

От Солнышка слезы? А может? Может, Пашка, еще как может и не надо
стесняться. Это жизнь! Горькая и сладкая, но всегда прекрасная!

Выжили!

Петр,
Алексей,
Лукич...

ВНИМАНИЕ – ПОДПИСКА!

Дорогие авторы и читатели!

*Наше издание продолжает подписку на журнальное приложение к газете
«День литературы» на 1-е полугодие 2020 года
с редакционной рассылкой по России.*

*Для жителей Москвы и Подмосковья возможна подписка по минимальной
цене с получением журнала напрямую в редакции.*

В том и другом случае нужна ваша Заявка.

Форма Заявки:

- 1. Фамилия, имя, отчество;*
- 2. Адрес проживания (с индексом);*
- 3. Ваш телефон или электронный адрес;*
- 4. Указание вида подписки: получение через редакцию напрямую или
рассылка по почте.*

Стоимость журнала в редакции – 150 рублей).

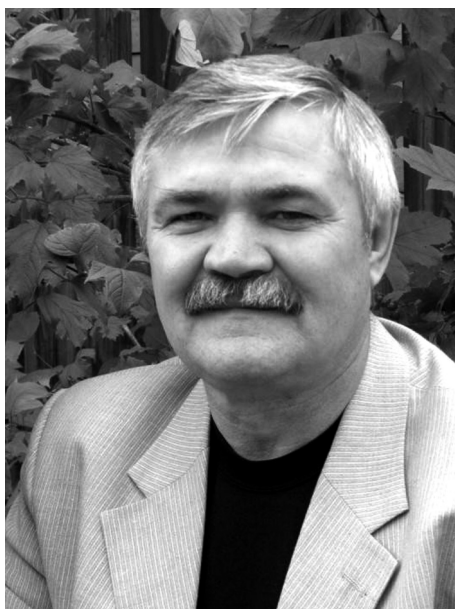
Полугодовая стоимость двух номеров с пересылкой – 400 рублей.

Объём журнала – до 400 страниц, выпуск – ежеквартальный.

Наш электронный адрес: denlitera@yandex.ru

Телефон для справок: 8 916 015 80 69 (пн.-чт., с 12 до 17 ч.).

РЕДАКЦИЯ «ДЛ»



Геннадий РУССКИХ

МАСЛОПУПИК

Рассказ

Поселковый моторист Виктор Васильевич Колобов третий день кряду был в завязке, что привело в сильное недоумение и замешательство местную пьянь. Колобов даже не подозревал, как много дружков-корешков собутыльников он заимел за год своего пребывания в этом дальнем северном поселке. И вот своей завязкой он внёс в их откатанные и предсказуемые отношения небольшой диссонанс. Несколько раз на дню, делегациями по двое-трое они беспардонно заваливались к Колобову, рассаживались на скрипучих панцирных кроватях, клянчили деньги, и без особых усилий получив их, с неподдельной тревогой справлялись, уж не тронулся ли Витёк умом, а убедившись, что не тронулся, начинали зубоскалить и подначивать, с явным желанием спровоцировать и вывести его из себя. Но Колобов упорно не вставал с залежалой кровати в небольшеньком РЭСовском общежитии, заговорщески помалкивал, загадочно поблескивал глазёнками, стоически отвергал всё, что сочувственно, навязчиво, весомо и зримо предлагалось ему, начиная от сладко-приторного портвейна «три семёрки», прозванного в поселке «бо-

РУССКИХ Геннадий Герасимович родился в 1955 году в Иркутской области. Закончил Иркутский госуниверситет, отделение журналистики. Работал в Иркутском телерадиокомитете. В начале 90-х главный редактор газеты «Земля». Первые рассказы были опубликованы в литературном альманахе «Сибирь». Там же увидела свет и публицистика. Позднейшие публикации были в журналах «Сибирские огни», «Дальний Восток» и других.

В последние годы — активное сотрудничество с изданием «День литературы». На сайте и в бумажной версии увидели свет повести «О чем умолчал Инсайдер», «Последний гастарбайтер», «Бедняжка Люси», а также публицистика.

Живёт в Иркутске.

ингом», до всякого рода парфюмерии, включая даже такой редкостный напиток, как «тройнуха».

— Слышь, Витёк, ты случаем не концы собрался откинуть? — сипло-пропито спрашивал черный, как смоль, в многодневной щетине местный бич Сашка Сахаляр, наливая полный стакан «боинга», купленного на деньги Колобова. — На, пей, не пугай народ.

— Ну, чё ты докопался до меня, как пьяный до радива, — беззлобно отмахивался Колобов. — Сказал, не буду, значит, не буду, и отвали моя черешня.

Сашка допивал бутылку один, пьяно вытирал немытой ладонью щетинистый подбородок, нюхал корочку и, стеклянно помаргивая, недоумённо пожимал плечами, уходил, чуть ли не с опаской поглядывая на своего ещё три дня назад наизакадычайшего друга-собутельника.

Было отчего Сашке насторожиться: видеть Колобова трезвым было для него в диковинку, потому как пил Витёк в будни и в праздники, утром, в обед и вечером. Пил, по его же выражению, всё, что горит и все, даже РЭ-Совское начальство, привыкли к его ежедневному поддатому состоянию и махнули рукой.

Но больше всего вызывало недоумение, что Виктор Васильевич Колобов совершенно сознательно, не страшась последствий, отвергал, а точнее пренебрегал угощением, считавшимся в этих местах высшей степенью уважения. Тут уж действительно ни в какие ворота. Не понять, не принять, туши свет, как говорится. И потому Сахаляр, прежде чем выйти вон, на минутку задерживался у двери, кивал кудлатой головой, и пьяно прикрывая веками свинячьи глазки, сочувственно смотрел на Колобова, громко вздыхая — жалел. Добрая душа у Сахаляра, особенно в подпитии.

— Иди, иди, жалельщик, — тронутый Сашкиным участием, всё же нетерпеливо выпроваживал его Колобов. — Если нет тям в голове, так ни хрена ты не поймёшь.

— Где уж нам, султанАм, — уже за дверью бурчал Сашка.

Дверь захлопывалась, Колобов облегчённо вздыхал, закладывал по-мальчишечьи худые, бледные в наколах руки за голову и, вперив свой мечтательный взор в засиженный мухами и прокопчённый табачным дымом дощатый потолок, предавался сладким и желанным грёзам. В последние три дня он совсем потерял голову. Кажется в его расхристанной, бобыльной, неустроенной жизни намечались глобальные перемены. Ожидал он их так долго, что казалось и не дождётся вовсе. И вот третьего дня, его, полусидя кемарившего с потухшей беломориной перед допотопным телевизором, огорошили неожиданной новостью: его, бывшего зека, моториста от Бога, пьяницу и бобыля пообещали... женить! На хорошей женщине с собственным домом, хозяйством, ещё не старой, с двумя детьми. Да это же самое, что ни на есть то! В яблочко! Будто кто тайно влез в его, ещё не до конца изъеденное водкой серое вещество и подглядел его сокровенные мысли. Господи, неужели его скитальческой, необогретой жизни приходит конец? Кранты?! Эх, мать честная...

«Вишь, как судьба-то накатывает, каким валом обдаёт, — думал Колобов. — А я ещё, придурок, сюда ехать не хотел. Всё братцы-тунеядцы, алкаши несчастные, запели как один в дудочку: мол, куда ты поедешь? Это же всем дырам дыра, что даже нам там делать нечего. Испугали бабу мудями. Да я по таким дырам уже десять лет болтаюсь, как вошь в рукомойнике. Выходит, не зря болтался. Вишь, и мне кое-что начинает откалываться. Эх, только бы не сорвалось, только бы ухватить удачу-то за жабры, а там бы уж я...». И рой

желанных мыслей тёплой трепетной волной обдавал Колобова. Казалось, сердце вот-вот выпрыгнет из-под худого вялого подреберья и светящимся мячиком заскачет по давно не мытому полу.

Но что же произошло? Откуда же он взялся этот долгожданный благодетель, который намеревался преподнести Колобову такой подарок судьбы?

А предыстория была такова. Несколько недель назад, на поселковый участок электросетей, где обрел временную пристань Колобов, приехала на строительство сарая и рубку просеки бригада студентов — шумных, дерзких, бесшабашных. Поселили их в те же теснопрокурённые апартаменты, где в углу, у стены стояла кровать Колобова, накидав прямо на полу свалявшиеся ватные спальные. В первый же день по приезду студенты отметили своё прибытие тем, что напились до чёртиков, громко, на весь поселок орал под гитару ультрамодные, вперемежку с блатными песни, съели без зазрения совести у Колобова месячный запас тушёнки, неведомо каким нюхом нашли и выпили припрятанную в батарее водяного отопления бутылку «боинга» и под занавес чуть не поддали, или, по их выражению, чуть не «накатали» самому Колобову, когда тот принялся робко роптать на такой наглый произвол.

— Ну, ты, дядя, загрузился, — сузил недобро глаза и привстал светловолосый кучерявый студент. — Ну, загрузился дюлячками. Придется тебе заехать в дыню.

— Точно, — хором заорали несколько пьяных глоток. — Тыныч-тырын-тыныч, кому-то надо в дыныч. Ха-ха-ха.

— Слышь, Паша, прекрати наезжать на человека, — не слишком решительно попытался осадить задиру единственный трезвый студент, который, как выяснилось позже, был у них за бригадира.

— Прикинь, Гена, этот хреноплёт решил прикурковать флакон «боинга» и не дать нам накатить винишка, — не сдавался кучерявый. — Надо привести дядю в чувство.

Колобов затосковал, понял, что дело запахло керосином. Он был уже и не рад в душе, что ввязался. Хрен с ней с этой бутылкой, нашёл чего жалеть, больше пропадало. А парни крепкие, молодые, незнакомые, ещё изувечат. Колобов ретировался, присмирел в своем углу, обиженно посасывая беломорину. Но что-то треснуло в напряженно пьяной атмосфере, как это всегда бывает, и Колобов вдруг неожиданно-негаданно сделался центром внимания всей честной компании.

— Слышь, батяня, — подошёл к нему высокий, спортивного вида студент, которого все уважительно называли Борисычем. — Ты не делай обиды, видишь этот хреноплёт кривой как турецкий ятаган, базар не фильтрует.

— Да ладно, чего там, — полуобижённо произнёс Колобов и совсем подетски шмыгнул носом. — Мне не жалко, но надо ж по-людски...

— Тебя как зовут, батяня?

— Витькой.

— А по батюшке? Или у вас отечества и отчеств тоже нет?

— Чего? Васильич я...

— Короче, мы все с этой минуты будем обращаться к тебе уважительно — Васильич. Слышали, хреноплёты? Прошу плеснуть этому крутому мужику несколько капель искристого «боинга»...

«Боинга» Колобову плеснули, посадили его за стол, где вперемежку с толсторезанными кусками хлеба, крошками и вскрытыми банками тушёнки ёжились, похожие на опарышей, окурки и мимолетная, острая как бритва

обида стала стихать в его душе. Скоро он уже со всеми перезнакомился, сходил в участковый гараж за ещё одной припрятанной бутылкой, и шумная попойка продолжалась почти до утра, пока утомлённые дорогой, громкими песнями и сморенные возлияниями студенты не ткнулись кто куда и не уснули мертвецки.

Колобов же посидел ещё за столом один, склонив голову и бубня запомнившиеся строки из популярной у студентов песни:

*Гитара с треснувшею декой
Поет, смеётся и рыдает,
И зачарованные зеки
На нарах пайку доедают...*

Обида прошла окончательно и появилось совсем новое чувство какой-то душевной приподнятости, точно сбросил с себя Колобов десятка полтора годочков, когда также с друзьями напивался до чертиков и куролесил по деревне, таская для фарсу нож за кирзовым голенищем.

Вдруг он вспомнил, что его называли в разговоре не раз батей и батяней. Колобов забеспокоился и несколько протрезвел. В общем шумном и бесшабашном веселье он как-то не обратил на это внимания, а сейчас вот... Батя... Хм... Ну какой он батя? Ему всего-то ничего — тридцать пять. Разве это возраст? Батя... Ишь вы, сами вы бати.

Колобов встал, пошатываясь, вышел в гаражный пристрой, где стоял рукомойник, заглянул в зеркало, с ободранной по краям амальгамой. На него смотрела нездоровая, почти совсем лысая, как гладкое бабье колено, вытянутая физиономия с оттопыренными ушами, худая, желтушного цвета, с редкими прокуренными зубами. Не придавали ей молодцеватости даже узкие, как у породистого одессита, дерзко заверченные вверх белесые усики.

— Мда-а, — пьяно икнул Колобов и провел рукой по лицу, будто смывая наваждение. — Батя...

Он пнул кирзой дверь, вышел на воздух. Шел проливной дождь без ветра и шум его почти перекрывал плеск текущей в нескольких шагах перекатистой мутноводной речушки. Колобов подставил лысину под дождь и долго стоял так, пока основательно не промок. Ни крика, ни взлая, ни рокота машин, только глухая таёжная ночь, да шум небесных вод. Посёлок спал укрытый плотным облачным пологом, и даже собаки — а их тут своры — молчали, попрятавшись от дождя.

«Наверное, и старатели не мониторят, — подумал отчего-то Колобов, повернув голову в сторону, откуда бежала мутноводная речка, верховья которой, он знал, были точно шрамами изрыты работой земснарядов старательской артели. — Сидят по вагончикам. В такой ливень добрый хозяин и пса не выгонит на улицу».

— Да-а, батя, — повторил он вслух и, зябко поежившись, пошёл спать.

Шли дни. Колобов привязался к студентам. То, что произошло при первой встрече, скоро забылось и на проверку оказалось, что все они неплохие, компанейские парни, и если их заносило порой куда-то не туда, то только под бедувую пьяную лавочку. Даже самый задиристый, который чуть было не «накатил» Колобову, и под мухой уже искавший приключений в поселке, трезвым оказался редкостным добряком и тихоней. Звали его Пашей-черепашей.

С первых дней к Колобову они стали относиться как к сверстнику, были с ним порой насмешливо снисходительны, подсмеивались, и только изред-

ка, когда уж совсем шли в разнос, доходили до прямого зубоскальства. Но это не досаждало ему, не бросалось в глаза со стороны, было, что называется в меру. А где-то в глубине души, неосознанно даже нравилось, потому как он чувствовал, что парни приняли его в свою компанию, считают за своего. Наверное, и они поняли, что Васильич человек беззлобный, простодырошный, услужливый, не подлый, имеет золотые руки и хоть пьяница, но не совсем чтобы бомж.

А скоро эти отношения переросли для Колобова в крепкую привязанность. Он стал скучать и даже злиться, если парни всей бригадой уходили без него на танцы или в кино на несколько часов. Ворча себе под нос ругательства от обиды, что его кинули одного, Колобов напивался, «заедая» зелье незаменимым «Беломором».

Вроде ничего не изменилось, но как-то по-другому потекла его жизнь. Напиваясь, точно масляная вехотка, бьющей ключом энергией парней, он сам точно помолодел душой и невольно ловил себя на мысли, что чаще стал вспоминать свои молодые годы — «фазанку», колонию, о которых почти совсем забыл, точно их и не было в его расхристанной, наперекосяк жизни. И ему даже в голову не приходило, что очень скоро студенты уедут восвояси, закончив стройотряд, в шумный город, которого Колобов никогда не любил, а для него наступят снова пьяные, однообразные, как две капли «боинга» похожие один на другой дни в сообществе с Сашкой Сахаларом. Человек он, конечно, неплохой, но шарабан у него варит ровно настолько, чтобы сообразить на бутылку «боинга».

Нет, пить Колобов не бросил. Всё также в заначке у него стояло вино, и пока он возился с трактором — он называл его любовно «соткой» — за день не раз прикладывался к горлышку и был всегда в приподнято-возбужденном состоянии. Но это как-то само по себе ушло на второй план. Его подкупающе тянуло на разговор с новыми людьми, потому как, казалось, и думали они по-другому, и спрашивали с любопытством, и слушали с интересом. А у Колобова столько накопилось в душе за время кочевья по северным поселкам, что лилось через край, ныло, тянуло, моченьки не хватало, как хотелось выговориться.

Особенно нравился ему тот высокий парень, которого все уважительно называли Борисычем. Мог он мимоходом, между делом, с хиханек да хаханек завертеть такой разговор, который заканчивался потом глубоко за полночь.

— Васильич, ну скажи: почему ты пьешь? — хлебная щи, сваренные из концентратов, начинал канючить Борисыч. — Каждый день, да ещё несколько раз на дню. Так недолго и боты прикусить, в смысле в ящик сыграть. Ну, какая от этого польза, а? Ты бы хоть по бабам бегал, все не впустую. А то одних ханыг поселковых поишь. Они ж халявщики.

Колобов желтозубо ослабится, смачно шмыгает носом, блестит глазёнками.

— Так я может и пью оттого, что баб нет. Жизнь ведь у меня пошла через пень-колоду, поломатая житуха. И вот пока не пью, всякая дребездёлка в голову лезет, зудит, тянет за душу. А поддал — там уже другой коленкор.

— Пьёшь вот, помрёшь же...

— Ну и хрен с ним, нашёл чем пугать. Я ишшо смерти не боялся, пусть она меня боится.

Колобов хорохорится, подёргивает плечиками, хотя если по правде разобратся, то не из чего. Изрезан вдоль и поперек, перенёс шесть операций,

больные почки, печень, желудок, мочевой пузырь. Надорван, как сивый мерин, вечно брюхо, хотя какое уж там брюхо! перетянута тугим бандажом. Зато винополка — дом родной. Однажды его так скрутило с похмелья, что студенты переполох подняли, думали, отдаст Васильич Богу душу. Нет, отошёл. Живучий оказался, холера.

— А помру — есть, кому вспомнить, помянуть, — продолжал Колобов. — Я ить зла никому не сделал, одно добро только.

— А живёшь-то для чего?

— А что б помереть, — смеётся Васильич.

— Что ж не помираешь?

— Да были возможности, но Бог миловал, вишь куда кривая вывела.

— Ты, по ходу, птаха-то здесь залётная...

— Ох, корешок, сколько я облетел, тебе и не снилось поди. Погоди-ко, сейчас...

Колобов суетливо подбегает к кровати, достаёт из-под подушки пузатый флакон тройного одеколона, прямо из горлышка делает несколько глотков, не только не морщась, но почти с удовольствием, обдавая пространство сладко-парфюмерным духом.

— Сейчас, сейчас, — нетерпеливо шмыгает он носом.

Дунув в беломорину, закуривает, смачно затягивается. Потом гнездит своё долгое худое тело у стенки, садится на корточки. Острые коленки торчат чуть не выше жёлтой плешины. Он в майке, на худом, бледнокожем, постариковски дряблом плече лихая наколка: «Пока не выпью водки на луне, не дам покоя сатане». Это смотрится смешно. Колобов тычет в наколку длинным сучковатым пальцем, слегка бравирует:

— Вишь, всё прошёл. Хлеб колхозный продал, ещё по молодости и умыкали на пару лет. Там и хлеба-то было пару мешков... Думал условные дадут, нет на общаг. Вот с тех пор и мотает меня судьбина по белу свету. Сам-то я родом с Восточного Казахстана. Деревня там... Дом, мать, батя. Забыли уж, поди, я ить им не пишу, не звоню. Может, отпели уж давно, оттого и копчу пока белый свет...

В комнате тихо. Только мухи зудят, назойливо лезут в лицо, кусают больно, до волдырей. Ничто их не берёт — ни липучка, ни дихлофос. Колобов обмахивается рукой, продолжает:

— Есть, что вспомнить. Я ить, бывалоча, на трёх такси сразу ездил, один...

— Ну-ка, ну-ка, — нарочито громко вскрикивает Борисыч, — что это тут ещё за теневой воротила выискался. Это как это, на трёх-то сразу?

— Тебе такая житуха и не снилась, поди. Тогда среди северян это шибко в моде было. Кураж это, конечно, был, дурь. Это называлось хлестануться, выпендриться, значит. Как ездил? А так: одна тачка меня везёт, другая шмотки, а третья спецрейсом шляпу. Понял?! Вот так я к своей второй жене и закатил. Хотел попервоначалу шик ей в глаза пустить, мол, вот я какой фон-барон. А потом заробел — у неё ведь образование высшее, медицинский закончила. А я кто? Маслопупик, вечно с гайками да железками, с ног до головы маслопупик. Ишо, думаю, обсмеёт. А я смерть этого боюсь, сразу тушуюсь и чувствую себя букарашкой. Знаю ведь, что не надо так, а все как малое дитя...

— Так ты, Васильич, ещё по ходу и половой гигант?! Сколько же у тебя жён было? — оживляется и откровенно удивляется Борисыч.

— Да не много, две. Могу паспорт показать, еслив не веришь. Обои законные. От первой сын уже большой, слышал, тоже начал с тюрьги. Ну, да та

была стерва, ух стервозина. Сколько я от неё, собаки, рогов переносил... Да и женился с дуру, по молодости, после фазанки в райцентре. Да и не любил её совсем, оттого и прожили недолго. А вот вторая... — Колобов затягивается, молчит минутку. — Рахилия, Рая, значит, по-нашему. Вот эту любил и до сих пор люблю.

— Так вернись.

— Ты чё? — искренне удивляется Колобов. — Посмотри-ка на меня! Я мо- ложе был, со всеми зубами и то считал себя не парой ей, а тут... Не-е-т! — говорит Колобов, в общем-то спокойно, без явного сожаления. Видно, давно в нём всё перегорело, убито водкой и сильно его не тревожит.

— Я ведь знаешь, какие подарки делал Раюхе? — Огонёк беломорины освещает лицо Колобова. — Один букет только за столытник советскими покупал. Подъезжал на тачке к её дому, заходил в подъезд, ставил к двери какой-нибудь шикарный подарок, ложил букет, прятал в него пачку десятков, хрустящих, нажимал на кнопку и убегал. Шеф ждал у подъезда. Послушаю внизу, как только дверь откроется — шасть в тачку и ходу.

— Где ж ты столько бабок огребал?

— Эх, чухня ты этакая, — Колобов улыбается открыто и добро. — Я ж почти всю зиму безвыездно на своей «сотке» по тайге рассекал, по участкам по зимнику всякую дребездёлку развозил, ну, там жратву, горючку. У нефтяников. Погодь...

Колобов снова откидывает подушку, отвинчивает пробку. Видно, как катается его задранный кадык. Он не морщится, только дышит, как запаренная лошадь. И весь он с головы до ног напоминает это животное, но только изработанное, надорванное и готовое в расход. Гнездится у стены, болезненно худой, мослатый. Глаза блестят, изрядно потревоженные зельем.

— Эх, мать честная, было времечко! Полгода проблужаю по тайге одинёшенек. Жратва, правда, хреноватая, одни концентраты. Через неё вот все зубы потерял. Зато, когда возвращаюсь по последнему льду: ну, ты, ясно море, — встречали на базе, как Горбачёва! Ково там, лучше! На руках носили, гадом буду, не мету! И вот после такого приёму шёл Витёк в кассу, огребал зараз тыщ пять или шесть деньжат, после неделю гудел в посёлке, да так, чтобы небу жарко стало. А ближе к лету на материк сматывался. Там за пару месяцев всё спускал — что деньги — дерьмо собачье — и снова на свою «сотку». Вишь, как сижу? Я вот так на кукорках, могу хош сколько просидеть. В «сотке» так привык, за рычагами ведь всю зиму...

Папироса в длинных пальцах Колобова давно истлела и потухла. Уже поздно, парни кемарят. Один Борисыч слушает. Не поймёт только Колобов — из интереса или из уважения?

Отличный парень Борисыч. Высокий, стройный, жилистый. Модный зачёс сухих, здоровых волос. Борода пробивается густая, породистая. Даже здесь, в этой северной дыре следит за собою Борисыч. Следит не по-бабьи, чего Колобов до отвращения не терпит в мужиках, а хорошо, по-мужски. От него потягивает редким в этих местах одеколоном, почти каждый день на нём свежая, с вечера постиранная рубаха.

Борисыч насмешлив, но не зол, а порой даже до расточительности добр. Это больше всего подкупает Колобова, тянет к парню. Нравится непререкаемый авторитет Борисыча среди ребят, какую ерунду не выдумает — они тут же, как попугаи, начинают долдонить вслед. А уж в политике... Здесь даже и возражать ему никто не пытается, любого за пояс заткнёт.

Нравится Колобову и как ест Борисыч — не спеша, не жадно, как подоба-

ет мужику с достоинством. Нравится, как читает парень журнал «Огонёк» — страстно, с восклицаниями, как смотрит телевизор — азартно, живо, с репликами, с притопом и прихлопом. Нравится, как рассказывает что-нибудь парень, как кривляется, передразнивая Колобова и ребят, как врёт. Виртуозно, с упоением. Отличный парень Борисыч. Сейчас вот поздний час, а сидит ведь и слушает. Разве это не уважение? И кажется, сопереживает. И глаза... нет, глаза холодноваты. А вот лицо вроде грустное. Хотя, поди её, разбери современную молодёжь.

Заворочался спросонья Паша-черепаха, отнял голову от подушки.

— Васильич, завязывай базар. Бу-бу-бу, да бу-бу-бу. Выспаться надо, завтра на просеку.

— Счас, счас, — покладисто вздыхает Колобов. — Эх, Борисыч. Еслиб по правде сказать, надоела мне до чертиков житуха такая. Порой в петлю охота залезть. Ну что, кто я здесь? Бич, бомж... Что у меня есть? Кровать вон и та казённая, да чемодан. Сегодня же могу встать, встряхнуться, и аля-улю — рванул в другое место. А там опять то же самое. А так охота пришвартоваться куда-нибудь, осесть на постоянку и ни шагу никуда. Невезуха какая-то... Жил в Бомбее — Бодайбо, значит — сошёлся с одной дурой... Ничего путного, пили, да дрались. Бил её до синяков, пинал. Потом думаю — зачем? Убью как-нибудь и снова тюряга. А там не сладко. Сбежал сюда, а здесь чё? Веришь, нет, мечта у меня уже давно есть затаённая: думаю, попадись мне счас путная бабёшка, пусть даже и старше меня лет на десять, только чтоб с ребятишками — смерть люблю, — всё бы бросил и сошёлся. Пить бы бросил. Не веришь? Гадом буду... Я могу. Я как-то полтора года в рот не брал. Не веришь? Не веришь... А зря, я не мету, точно бы бросил. У меня вить золотые руки. Видел, у начальника полку замастырил? Полпосёлка переходило смотреть. Трактор... да любую технику знаю от и до. Что знаю, то знаю, без базару. Я бы всё в доме замастачил, жила бы как у Христа за пазухой. От так от... Погодь.

Колобов допивает флакушку, смешком говорит:

— Слышь, а может через газету об этом написать, а? Я читал как-то, так мол, и так, мужчина средних лет, высокий, это... Хотя... Стыдно, поди, хе-хе... Ладно, давай спать, Борисыч, а то уже скоро болдоха взойдёт...

Хороший получился разговор, душевный такой, размягчённый. Как братья поговорили. Не раз потом Колобов вспомнит об этом.

А три дня спустя, огорошил Борисыч Колобова таким известием, от которого задрожало всё внутри у мужика. Прибежал Борисыч глубоко за полночь, задыханный, возбуждённый, и с ходу выдал:

— Ну, Васильич, с тебя причитается. Короче, не расплатишься до конца дней своих. Нашёл я тебе то, что ты ищешь.

— Ну-ну, — настроился Колобов на шутку.

— Зря нукаешь, Васильич, невесту я тебе нашёл.

— Ага, заливай, — продолжал улыбаться Колобов.

— Ты что, не веришь? — почти разозлился Борисыч. — Ну и летай, пташечка одна. Я тебе больше, Васильич, вообще слова не скажу. Понял? Иди колупайся со своими гайками, да железками. Как ты себя назвал? Маслопупик? Вот-вот, ты и есть этот самый маслопупик с чугунной башкой, до которой вообще не доходит здравый смысл. К нему по-доброму, а он рыло воротит. А ещё разговорился: я бы, да я. Головка ты от бульдозера. Забулдыга. Я всё сказал. Гуляй, Вася.

— Постой, постой, Борисыч, — видя, что парень не шутит, посерьёзnel и Колобов. — Да погоди ты, остынь, чё раздухарился. Ты чё серьёзно, без базару? Какую невесту? Ты не метёшь?

— Васильич?!

— Стой, — сглотнул слюну Колобов. — Давай по порядку, что за баба? Откуда?

— Возле метеостанции живёт, знаешь там возле поля дома...

— Ну? Ну?

— Хрен гну. Короче я к дочке её подкатил. Сидим, трёкаем на лавочке, ну и всё такое, сам понимаешь, по лифчикам да по трусикам. Тут мать её из калитки выходит. «Что, — говорит, веселитесь, молодежь?». Я в ответ: «А что нам, молодым да неженатым». А она: «Я то, похоже, отвеселилась». А сама молодая, ну года сорок два, сорок три не больше. Ну сколько ей, если старшей дочке только-только стукнуло восемнадцать, а вторая вообще пацанка, в третий класс ходит?

— Если выскочила скороспелкой, то и вообще лет сорок.

— Ну вот. Я ей и говорю: «Что это вы себя в старухи записали? Вы ещё самое то». Хотел поконкретней сказать, да дочки постеснялся. Обиделась бы, а у нас ней всё на мазИ. Мать-то грустно так: «Кому я нужна вдова, да ещё с таким привеском, Двое ведь у меня, кто позарится». И со смешком так договаривает: «Хошь бы вы какого-нибудь мужичка завалашенького подыскали. Я б его отмыла, оттёрла и вас бы отблагодарила. Хотя, где его взять. Мужик нынче на вес золота».

— Ну?! Ну?!

— Что ну? Баба вот такая! Корова, два поросёнка, Буран в ограде стоит. Мужик год как помер от инсульта. Я потом с дочкой говорил, так и она была бы рада, если б мать нашла кого-нибудь. Молодая ведь, сам понимаешь, — с хитрецей, гадливенько подмигнул Борисыч. — Ты сечёшь, куда я клоню?

— Догадался. Ну, дальше?

— А дальше вот эти самые и не пускают. Короче, я весь разговор наш с тобой припомнил и говорю ей, мол, есть у нас мужик, красавец писанный, ума палата, чуть-чуть до классиков марксизма-ленинизма не дотягивает по интеллекту, руки золотые.

— Борисыч, а ты не метёшь? — Колобов вспотел.

— Ну, конечно, я по-серьёзному говорил, так мол и так, есть у нас мужик, разжён, не алиментщик. Ещё молодой, не страшный, правда, малость бухарик.

— Это-то ты зачем брякнул? Ну, какой я бухарик — пару раз в неделю выпью, здесь все так пьют, — почти сам верил в то, что говорил, Колобов.

— Да она, по ходу, это мимо ушей пропустила.

— Так ты, наверно, там козлом прыгал, рожу свою корчил, она тебя, дурака, всерьёз и не приняла.

— Рожа, Васильич, у тебя, козёл тоже ты. Понял? И пошёл-ка ты.

Хоть и взыграло у Колобова ретивое, когда его назвали козлом, то всё же он сдержался и миролюбиво попросил:

— Ладно, извини, Борисыч, дальше-то чё?

— Дальше? Короче, дотрещались мы с ней, что я тебя, дурака, на смотрины приведу через три дня. Так что готовься, наводи марафет. По-хорошему, за твоё хамство с тобой вообще не стоило разговаривать. Ну да ладно, помни мою доброту.

Последние слова полностью развеяли все сомнения Колобова. Тогда

он и завязал с парфюмерией и, закинув худые руки за голову, предался желанным грёзам.

Разное передумалось Колобову за эти три трезвых дня. Какой он представлял свою будущую супружескую жизнь? Во всяком случае, меньше всего его волновали дела альковные. Не то чтоб он был совсем уж не охоч до женского тела. Просто считал это естественным в общем течении семейных отношений. Больше мысли Колобова устремлялись к хозяйству, в этом видел он своё приложение сил и сообразительности, как будущий глава семейства. Он почему-то совсем не брал в расчёт, что помолвка может сорваться: или он не приглянётся невесте или она ему. Колобов как-то враз свылся с мыслью, что всё будет хорошо, всё уладится при первой же встрече и нечего над этим ломать голову, тревожить себя по пустякам. Надо смотреть в будущее, как они будут жить, хозяйство вести, детей воспитывать. Уж Колобов постарается, уж он покажет. Эх, и стосковались же руки по домашней работе! Всё может Колобов – пилить, строгать, газосваркой работать, токарить, фрезеровать. «Буран», вон, Борисыч сказал, в ограде без дела стоит. Да он его по винтику переберёт, по гаечке, как часики будет работать. Что ещё? Ну, с дочерьми обязательно подружится. Младшенькая-то не велика ещё. Но это же хорошо! Дети к нему привязываются быстро, проверено жизнью. У многих своих знакомых избаловал Колобов детишек отношением сердечным, сластями да игрушками. Бывало, если шёл к кому в гости и знал, что в доме ребятишки, обязательно заявится с подарками. А уж в руки попадет ребятёнок, так заулюлюкает, затилискает, звенеть заставит своё гостеванье детским смехом. В третий класс, кажется, младшая-то ходит... Ну, пальто ей, для начала справят, сапоги на зиму. Старшей тоже сапоги, да чтоб помодней, с шиком. Эх, с Борисычем она закрутила, как бы до греха не дошло. Жалко будет девку, если с приданным оставит её Борисыч, с него станется. А может и ничего, обойдется всё. Не такая же она дурочка, чтобы первому встречному подставиться. А может ничего и нет, треплет Борисыч языком. Это он может...

А сапоги... Сапоги старшей обязательно купят, самые крутые, заграничные. Это можно сделать. Попросит Сахаляра, он здесь старожил, всех знает, блат на ОРСовской базе имеет. Ну выпьют с ним бутылку... Хотя с пьянкой надо завязывать. Чё народ-то смешить? Жить, так жить, чтоб по-серьёзному. Ну дак и чё? Можно и без бутылки обойтись, чё Сахаляр не поймёт?

Славно было на душе у Колобова. Так славно, что петь хотелось. Даже о злой и кусучей мухоте забыл. Отчего-то дом вспомнил, деревню... Там больше степи, здесь тайга. Надо же вот к лесу больше сердце прикипело... А дома? Дома хорошо было, вольно. У бати кузня была, ох и чудеса они там творили. Ворота сковали решётчатые, на завидки всему селу, сами открывались и закрывались. Трактор из старья смастерили, простой, надёжный, вечная машина. Невеста была из ссыльных немцев, с именем чудным Матильда. Деревенские её Мотей звали. Толстовата, правда, но чистюля и ласковая. Попутал же леший связаться с этим хлебом. Посапывал бы сейчас на белотелой Матильдиной руке и не думал, не мечтал ни о какой женитьбе. Ну да что было, то быльём поросло...

Наконец Колобов встал и начал собираться: достал голубую гипюровую рубашку, галстук, коричневую пижонскую шляпу, костюм. Остроносые уже выдавшие виды туфли протер суконкой. Стал гладить брюки. На душе светло, как в Пасху. Так и стоит перед глазами родное село, дом,

принаряженная мать, икона в крахмальных рушниках, горка крашенных луковой шелухой яиц.

*Гитара с треснувшей декой
Поет, смеётся и рыдает...*

В комнате тихо, только мухи зудят. Парни ушли в кино, но скоро должен прийти Борисыч, и они пойдут туда, где, может быть, найдёт, наконец, Колобов своё счастье.

До чего же тёплый сегодня вечер — тихий, прозрачный, полнеба охватено предзакатным пожаром. Дверь распахнута настежь и слышно, как побулькивает в заберегах за забором река, робко заплывая в дверной проём дуновением свежести.

Колобов достаёт из-под кровати небольшой старомодный саквояжик, открывает. Всё на месте — коньяк, шоколад, три бледно-фиолетовых астры. Коньяк с трудом достал на складе удивлённый таким расточительством Сашка Сахаляр. Астры? Грешным делом перемахнул ночью чужой палисадник и воровски нарвал цветов. Ну да ладно, не каждый же день свататься ходит...

Потом Колобов достал печатку дорогого мыла, с удовольствием намылил в тазике голову, смыл водой ароматную пену. Вытерся, долго сгонял перед изысканным зеркалом редкие белесые кудряшки с висков к затылку. Делал всё не спеша, с тихой радостью.

Когда пришёл Борисыч, Колобов только что, до лёгкой багровости лица, затянул на шее галстук. А когда одел пиджак, и прикрыл плешину шляпой, Борисычу ничего не оставалось, как сказать примерно следующее:

— Фью-ить! Да ты, по ходу, Васильич, крутой парень!

А как лыбился от счастья Колобов, этого, боюсь, мне вообще не передать. Он прямо светился весь, как неожиданно вспыхнувшая неоновая лампочка. Поблескивал глазёнками, а были они у него синие, еще не выпцветшие, не потухшие. А его лихо заверченные, тонкие, в строчку одесситские усики придавали лицу Колобова какое-то новое, чужое, полубрезгливое выражение.

И они пошли. Оказалось, что Колобов почти не уступал в росте Борисычу, что он тоже строен, прям, не сутул, вот только вял, нет в его походке той жизненной силы и спортивной упругости, как у Борисыча. Но и он не последний замухрышка-запёрдыш в этой дыре, не стыдно пойти за такого.

Хорошо было идти рядом с Борисычем — радостно, приятно. С таким здоровым, красивым, умным. Волна благодарности распирала Колобова. Неоплатным должником чувствовал он себя перед Борисычем. Кажись, скажи он сейчас — отдай Васильич последнюю рубашку — снимет и отдаст. В одном пиджаке пойдёт, ничего, что грудь впалая. И шляпу отдаст в придачу, пусть лысина посверкает. Только бы помог ему Борисыч. Должен помочь. Да он чёрта уговорит, не то, что бабёнку какую-то. У него язык на какой-то особый манер подвешен. Бывает, как начнёт заливать, что парни рты раззявят и уши развесят. И знают ведь, что врёт, а верят. Ну что за парень такой Борисыч? Ну, кто ему Колобов, Местный бич, забулдыга, случайный человек. А поди ж ты, заботится, как о родном брательнике. Выходит, что не случайный. Выходит, чем-то взял его Колобов. Отличный парень Борисыч.

— Стой, — прервал раздумья Колобова Борисыч. — Пришли.

— Да вроде не тот дом-то...

- Ты что, не смекаешь?
- ??
- Мне ж на разведку сходить надо, может у них гости.
- А, верно. Ну, давай, я здесь подожду.

Борисыч скрылся за углом, а Колобов присел прямо на траву и стал ждать. Было уже темно, над лесом зависла широкомордая луна, смотрело светло и весело, обливая окрестности голубой глазурью. Сердце у Колобова колготилось, он рисовал в воображении лицо своей будущей спутницы жизни и не мог представить. Может и встречались когда на улице, хотя поселок не так уж и мал. Конечно, встречались. Какая же она? Борисыч говорил, что не красавица, но и не страшна. Полногруда, крепка. Словом, как все. А Колобову именно такая и нужна, чтоб как все. Как он сам. С такой спокойнее. Такие к жизни стойче. А то попадёт какая-нибудь и начнёт хвостом вертеть — разве это жизнь? А коль уж настраиваться на жизнь, то по-серьёзному. Что-то припаздывает Борисыч. Может, правда, гости. Дак пришёл бы уж. Скорей всего трёкает языком, ветер в уши вгоняет, это он может. Колобов улыбнулся в темноте.

Откуда ему было знать, что в эти самые минуты никого Борисыч не сватал, да и некого было сватать. Что этот розыгрыш под хохот молодых здоровых глоток был тайно спланирован всей студенческой бригадой в лесу, на просеке, и Борисыч был в этом действе и режиссёром и исполнителем. Оставив Колобова наедине с собой, он спокойно завернул за угол и пошёл себе в поселковый спортзал, где проиграл весь вечер в теннис, похохатывая с парнями и строя догадки над тем, что сейчас делает Колобов. А потом преспокойно, вместе со всеми вернулся в общагу и уснул сном праведника.

Что обманут, как мальчишка, Колобов понял под утро, когда подёрнулось серой бледностью небо. Обидно было, пусто. Но злости не было. Надо же так опрофаниться, дать обвести себя вокруг пальца, доверять сокровенное в общем-то мальчишке, не битому жизнью, для которого происходящее лишь повод позубоскалить да подурачиться. Но всё равно, нельзя же так... Умный ведь, в институте учится, а не понял, что для Колобова это всё не просто хиханьки да хаханьки.

Зашёл в общагу Колобов, нарочито громко хлопнув дверью, застучал каблуками, включил свет. Парни заворочались спросонья, что-то сердито пробурчал Паша-черепаха. Колобов ждал и хотел, чтобы проснулся Борисыч, но тот спал глубоко, безмятежно, как может спать здоровый, с чистой совестью двадцатилетний парень. Жалко было будить Борисыча, но всё же Колобов растолкал его.

— Ты что? — спросонья поднял голову Борисыч. Сначала смотрел недоуменно, но потом сообразил что к чему, и по лицу его поползла противная нагловатая ухмылка.

— Трепач ты, Борисыч и человек говно, — грустно сказал Колобов.

Да как-то очень уж тоскливо, с надрывом у него это вышло, что Борисыч согнал с лица ухмылку, посерьёзнел, сел на кровати. Помолчал с минуту, о чём-то думая. Наконец хрипло, со сна произнёс:

— Васильич, ну кто же виноват, что ты такой луфарь, а? Неужели ты сразу не допёр, что это всё туфта, розыгрыш? Тебе мозги запудрить, как два пальца... Ты что, до сих пор сидел и ждал? Или с Сахаларом коньяк дул?

Но Колобов уже не слушал его. Он прихватил саквояж, и, выключив свет, вышел, потихоньку прикрыв за собой дверь.

— Катись, катись, олух царя небесного. Таким дуракам вообще в глуши надо жить, вдали от людей, — орал ему вслед разозлившийся Борисыч.

Колобов спустился к реке. Утро было прохладное, и вода курилась слабым туманом. На другом берегу, в тальнике звенели птахи. Было уже светло, налилось нежной алостью дальнее облачко.

Колобов присел на валун, достал коньяк, скovyрнул зубом алюминиевую пробку, не торопясь, приложился из горлышка. Хрустнул фольгой шоколадки, полез за «Беломором». Закурил, перебросил папиросу в уголок рта, щурясь от дыма. Взгляд упал на астры в саквояже. Он взял цветы, повертел их в руках, точно удивляясь, каким макарон они вообще могли у него оказаться. Нет, это не его цветы, их нарочно подсунули, чтобы запудрить Колобову мозги. Букет сник, лепестки примялись, хотя ещё с вечера были свежи и упруги. Колобов понюхал цветы, и почти не уловив аромата, смотрел недоумённо на букет, не зная, что с ним делать.

За спиной зашумел каменишник, кто-то спускался к реке. Не оборачиваясь, Колобов подождал, пока шаги приблизятся, сказал громко:

— Пей, Борисыч, коньяк. Все врут, что он воняет клопами, а вот в дурь вгоняет быстро. Шиколодом вон, закусывай. Наверное, ты прав.

В чём прав Борисыч, Колобов так и не сказал. Повертев в руках букет, он бросил астры в реку. Течение быстро понесло их, завертело, закружило, и скоро они скрылись в желтоватой мутной ряби.



Михаил СМИРНОВ

РЕКА ЖИЗНИ
Рассказы

ВНУТРИ РАССВЕТА

Много лет прошло с тех пор, когда я впервые попал на Ивановские обрывы.

Помню, меня удивило, что сюда приезжали одни и те же рыбаки, причём не все ловили рыбу, иные просто сидели по берегам на травяных полянах, о чём-то разговаривали, бесцельно и бездельно бродили среди подлеска, — такое поведение не свойственно рыбакам, большинство из них всё же добытчики, к созерцательности не очень-то склонные. Между тем раз за разом я наблюдал именно такую картину: сидят дядьки у костров часами, словно замороженные... Словом, какая-то магия была у этих мест.

Околдовали они и меня.

Зачастил я сюда.

... Тихо шуршали шины по мягкой земляной дороге, вьющейся среди полей с ровными грядками изумрудных озимых. Из предутренних сумерек свет фар изредка выхватывал неподвижные жёлто-коричневые столбики сусликов, торчавших по обочинам. Тонко и сладковато пахло пылью.

Машина остановилась недалеко от крутого спуска в просторную долину.

СМИРНОВ Михаил Иванович родился в городе Салавате в 1958 году. Печатался малой прозой в литературных газетах России и во многих журналах: «Молодая гвардия», «Работница», «Сибирские огни», «Север», «Бельские просторы» и других. Автор нескольких книг прозы, лауреат трёх литературных премий.

Брат включил дальний свет — невдалеке появились очертания десятка старых домов, беспорядочно разбросанных по низине. Там и сям пепельно светились тропинки, по одной деловито спешила собака по своим собачьим делам. Я уже знал, что многие дома осиротели, заброшены, заколочены, зарастают вездесущей крапивой и татарником. На иных и крыши просели, обнажив стропила, похожие в сумраке на рёбра неведомых чудовищ. Повсюду буйно цвела сирень, словно желая своей дикой красотой скрыть убогость брошенного жилья. Покосившиеся, поваленные заборы открывали надворные постройки, тоже шаткие, притулившиеся друг к другу, чтобы окончательно не упасть и не рассыпаться. Журавль колодца сиротливо торчал на обочине, ведро на серебрящейся цепи поблёскивало — значит, есть в деревеньке люди, и жизнь теплится.

Я открыл окно в машине, ворвался аромат сирени и земли, — видимо, тут недавно узкой полосой прошёл дождик. Кругом запустение, необжитость, но земля так же призывно пахнет, словно зовёт к себе живых. Меня всю жизнь восхищает запах сырой земли.

Мы медленно спустились вниз. Лучи фар выхватили из слабеющей тьмы избу: в окошке мелькнул и тут же исчез багровый огонёк лампадки в красном углу. Сердцу стало тепло: ещё одно подтверждение, что жизнь не окончательно покинула эту деревеньку.

Сразу за околицей открылась река. Запахло водой и речными травами, дымом костров. Галечная коса реки. Невдалеке по сторонам долину обрамляют тёмные стены, это и есть Ивановские обрывы. Видимо, поэтому возникает ощущение замкнутого, но уютного пространства.

Брат суетился, загремел багажником, принялся доставать наши рыбацкие причиндалы.

— Не шуми пока, а? — попросил я его. — Давай просто посидим, посмотрим.

Брат глянул с удивлением:

— А чего сидеть-то? Утро короткое, так всё и просидим.

Потом пожал плечами, словно поняв меня:

— Ну ладно. Посидим...

Но сам принялся устанавливать катушки на спиннинги и удочки.

Странное, слегка тревожное, но и восторженное чувство охватывает человека, когда он оказывается в теснине предутренней полутьмы. Помигивают последние высокие звёзды, холодные волны речного ветра скользят по телу, хочется вдохнуть и выдохнуть тонкие ароматы воды, трав, тумана. Человек, маленькая пылинка природы, из праха пришедший и в прах возвращающийся. В такие моменты чувствуешь невыразимую горечь неизбежности расставания со всей простой прелестью окружающей природы. Протестует ум человеческий, но душа радуется отпущенному присутствию в этом утреннем мире. И полнится душа благодарностью к природе и скромным, но драгоценным дарам её.

Я сидел на сырой траве, стараясь уследить каждое колебание камыша, осоки, таяние остаточных клочков тумана, всматривался в открывающуюся гладь реки, по которой смутными подвижными дорожками легли отблески костров, надеясь увидеть прогон шуки или жереха. Чуть доносился говор рыбаков, позвякивали их котелки и кружки. Разговорился и картавый пережат. Бух, бух, бух! — рыбаки начали бросать в воду шары прикормки.

— Вон, мужики уже всюю... — проговорил брат недовольно. — А мы всё чего-то смотрим и смотрим. Чего тут смотреть?

— Природу, — вздохнул я, и обвёл рукой окоём, словно был хозяином его.

— А чего её смотреть-то? — повертев башкой, пробурчал брат. — Природа она и есть природа. Никуда не денется. А утро пройдёт.

...И то правда, брательник. И утро пройдёт, и мы пройдем, а природа останется.

Сумерки превращали прибрежные кусты в пришедших на водопой горбатых животных. Недалеко длинный остров, поросший осоками — они тоже превратились в рать грозных великанов, стерегущих реку. По мелководью с беспорядочными всплесками, хлопая пастью, наконец-то пронеслась неловкая щука, преследуя верховую рыбку. И сердце мое сдалось:

— Да, пора, пожалуй, — сказал я брату.

— Давно пора, — недовольно пробурчал он.

— Место-то, брательник, не ахти какое рыбное. Куда спешить?

Брат напаял рюкзак, собрал удочки в пук.

— Как хочешь, а я пошёл. Если не рыбное, так зачем ты решил сюда поехать? Можно было под Соморовку, там омота настоящие.

Что мне было ответить брату? Соморовские омота, конечно, знаменитое место, никто не спорит. Только уж очень мрачно там, близкие крутые берега очертенело позаросли непроходимым лесом, на омотах всегда темно, даже днём. Не люблю, брат, я теперь эти знаменитые омота, хотя было время, сам ловил там трёхкилограммовых сазанов.

— Иди, иди, — сказал я. — Скоро спущусь к тебе.

— Чудной ты стал, Мишаня, — сказал брат. — Другой бы ещё по темноте уже был бы на берегу, а ты...

И — ушел бодрой походкой к реке. А я всё сидел на земле, над рекой и внутри рассвета.

Оповестил в деревне о себе первый петух. Тут же началась их перекличка. Слабенько проблеяли козы, мыкнула корова, — наверное, пастух идёт по деревне, собирает стадо.

Из-под обрыва вылетела стая ласточек и понеслась над рекой, некоторые задевали воду, оставляя на ней тонкие штришки, усы. Дух, дух, бух! — опять «бомбили» рыбаки на той стороне. Наверное, не клюёт.

Внизу у воды всю пылал костёр. Молодец, брательник, на рыбалке костёр — главное дело.

А я сидел и осматривал окрестности — в рассвете всё меняется на глазах. Счастливо успокаивалась душа, — всё суетное, насущное забылось и отлетело. И я стал частью утра.

Вот, наверное, в чём разгадка любимых моих Ивановских обрывов, — вот в чём магическая привлекательность этого места и причина моей любви к нему: именно тут мне удаётся достичь блаженной гармонии между мной, сирым и смертным и бессмертной красотой природы. Природа, конечно, везде по-разному прекрасна, но у человека, кажется мне, всегда есть именно то «окно», то любимое место, река, опушка, долина, где он лучше всего ощущает её: вспомните свои самые длительные путешествия: и перед внутренним взором предстанет какой-то конкретный уголок, где все предметы — растения, камни, ручей, и облако над ним сложились в единственную незабываемую гармоничную композицию. Это и есть твоё окно в природу, человек суетный.

ДОЛГАЯ ДОРОГА

Пантелей Иванчихин спустился с разбитой насыпной дороги и неторопливо зашагал по тропинке, поглядывая по сторонам. Смотрел на деревенские дома, которые были разбросаны там и сям по пологому склону холма. Избы, сараюшки словно спускались в низину, направляясь к извилистой речушке, что вилась между всхолмьями, по берегам заросшая кустами и вербами да желтели песчаные берега, а сама в заводах и звонких перекатах, где воля вольная для ребятни, где можно пескариков половить да искупаться в жаркий день...

Много лет прошло с той поры, когда Пантелей впервые попал в эту деревню. Колхозникам помогали на сенокосе. Шефская помощь, так сказать. Всех оставили на центральной усадьбе, а Пантелея загнали в глухомань, природой любоваться, как хохотнул бригадир. Небольшая деревушка на пологом склоне холма, стариков много, а молодых можно по пальцам пересчитать. Определили на постой к Ангелине и Володьке Ерёмкиным. Старики, а их называли по именам, вроде, так и должно быть. И Пантелей стал звать старика, здоровенного скособоченного увальня — дядькой Володей, а бабу Ангелину, маленькую, худенькую, словно девчушка, ласково именовал — Гелюшка. Днём с колхозниками на сенокосе, а вечерами помогал старикам по хозяйству, то крыльцо подправит, то забор подлатает, то печку подмажет... Да что говорить, в деревне всегда работа найдётся. Вот и крутился от зари до зари, пока командировка не закончилась. Уезжал, бабка Геля расплакалась и дядька Володька носом подхлюпывал, всё просили не оставлять их одних, а навещать при случае. С той поры, когда выпадало свободное время, Пантелей стал наезжать к старикам. Если долго не бывал, душа начинала ныть, словно напоминая, что нужно проведать стариков. И тогда собирал сумку, покупал гостинцы и тащился с пересадками на автобусах, чтобы день-другой провести со стариками, которые стали роднее родных. Да и каких родных-то, ежели вырос в детдоме, не зная ни мамки, ни папки — подкидышем был, и жизнь как-то не складывалась, вроде неплохой сам-то, а всё один да один, казалось бы, давно пора семью иметь, а ни жены, ни детей...

Ночью старики приснились, непонятная тоска накатила и душа не заныла, а словно в кулак сжали — душу-то, да так больно, что Пантелей не выдержал. Утром позвонил на работу, отпросился на пару-тройку деньков, достал с антресолей потёртую сумку, бросил рубашу да трусы с носками, полил цветы на подоконнике, оставил ключи соседям, чтобы за квартирой присмотрели, и сам отправился в деревню, чтобы навестить Ерёмкиных.

...Промчалась машина по грунтовке. Вдогонку метнулась собака, загавкала. Облако пыли повисло над дорогой. Звучно чихнув, Пантелей кивнул замшелому старику, что сидел на такой же лавке возле дома.

— Здоров, дед Витяй, — сказал он, на ходу прикуривая. — Сидишь, на солнце греешься?

— Здоров, — чуть запоздало сказал старик, видать дремал, прислонившись к забору и, приложив ладонь лодочкой к глазам, взглянул против солнца. — Чей будешь? Сослепу не признаю...

— К Ерёмкиным приехал, — махнув рукой в сторону извилистой речки, сказал Пантелей. — К Гелюшке и дядь Володе.

— А, вот сейчас узнал тебя, — закивал дед Витяй, поправляя зимнюю

шапку, несмотря, что на дворе было лето. — Молодца, что едешь, а больше-то некому. Одни на белом свете. Помрут и похоронить некому, — и старик замолчал, прислонившись к шербатову, словно зубы, забору. Может, задумался, а может опять задремал.

Вилия по узкой тропке, мимо протарахтел старенький красный мотоцикл. На нём гордо восседал паренёк по пояс голый, в выцветшем трико и галошах. Видать, чей-то внучок приехал на каникулы. И техника, как успел заметить Пантелей, скорее всего — первая, вон как неуверенно рулит по тропинке. А сколько ещё будет на веку этих мотоциклов да всяких мопедов с велосипедами — не счесть. Но самый незабываемый — первый...

Заорал петух, взлетев на забор. Пантелей чертыхнулся, засмотревшись на мотоцикл, бросил окурочек в траву, свернул в проулок и по нему стал спускаться в сторону речки. Где-то мукнула корова. Следом зашла собака лаем. Видать, чужой во двор сунулся. А там, на взгорке играют ребятишки. Лето наступило и ребятня на каникулах. Привезли к старикам, на свежий воздух и парное молочко. А вон там два паренька направились в разрушенный коровник, прикуривая на ходу и пряча сигареты в руках. Боятся, взрослые увидят, накажут. Хотя все прошли через это. Одни раньше закурили, другие позже, а некоторые вообще не приистрастились...

Добравшись проулками до Ерёмкиных, Пантелей взглянул на обшарпанную избу, подмечая, что нужно подправить. На погребке крыша прохудилась, вон дранка виднеется, и земля вокруг просела — нужно подсыпать. Забор покосился. Некоторые штaketины сломаны, а то и вовсе не хватает. Из дыры появился любопытный пятачок поросёнка. Увидев Пантелея, чумазый поросёнок дружелюбно хрюкнул, выбрался на улицу и потрусил вдоль домов по своим поросёчьим делам.

Толкнув скрипучую калитку (нужно петли подправить и смазать), Пантелей зашёл во двор, сплошь заросший спорышем. Вдоль забора разнокалиберная поленница. Где-то ещё много, а в других местах всего ничего, почти до земли выбраны поленья. Видать, откуда ближе, там и брали. Осенью готовили дрова, укладывали в высокие поленницы и закрывали кусками рубероида, чтобы не намочило дождями. Ладно, на всю зиму хватило — это радует. Не мёрзли старики. Кое-где на штaketинах висели банки, вон бидончик виднеется, а рядом сушатся лняные тряпки. Возле калитки в садик видны черенки от лопат и грабли торчат. Наверное, дядька Володя с Гелюшкой в саду возились. Загорланил петух, созывая своё семейство. Куры наперегонки помчались, как-никак хозяин зовёт. Пантелей присел на ступеньку широкого крыльца. Давно заметил, лучшее место для отдыха — крыльцо. Здесь можно с соседями поговорить, когда они заходят на минутку, а можно сидеть и смотреть на ночное небо в звёздных россыпях и просто слушать ночную тишину. Пантелей поёрзал на ступеньке, поудобнее устраиваясь. Устал, пока добрался. Поставил сумку на землю и стал осматриваться. Всё тоже, что и было. Ничего не изменилось за эти месяцы. Месяцы? Пантелей нахмурился, подсчитывая. И, правда, не неделю, не две-три, а месяцы пролетели, пока выбрался в деревню. Закружился на работе и по работе, и после работы, аж штаны на ходу слетают. Замотался, пожрать некогда было. Раньше частенько проводывал, а сейчас... Он вздохнул, взглянул в садик. Вдоль забора разлохматилась смородина (осенью нужно ветви подрезать), рядом яблоньки, какой сорт — он не знал, но яблоки были маленькие и кислющие — страсть, а вон там вишня. Ягоды мелкие урождаются, а побеги от неё, как трава-берёзка, по всему садику лезут, не успевают вырубать, а они прут и

прут, заразы. И по двору полынь да лопухи с крапивой островками разрослись. Надо бы косой пройтись, нечего двор сорняками заплотонять. Пантелей достал сигареты. Закурил. Порыв ветра подхватил дымок, заплотоскало-запарусило бельё на веревке, что провисла поперёк двора, подпёртая длинной слегой, чтобы по земле не волочилось. Видать, бабка Ангелина устроила постирушки. Конура возле огорода. Давно собаки нет, а конура так и стоит. Рядом разрезанный баллон от «Беларуси» и валяется шланг. Воду наливают утятам и гусятам — и пьют, и бултыхаются тут же. А вон там...

— Володька, лиходеи криворукий, сколько говорить, не кури в избе, — донёлся резкий тягучий голос. — Всё провонял, надымил, хоть топор вешай. Марш на двор, пока ухватом не получил!

— Ополоумела, старая, — раздался громкий хриплый голос. — Что выдумываешь, а? Что зазя рот раззявила? Я же перед тобой сижу, а разоралась, будто курю...

— А кто же тогда надымил, ежели не ты? Мы же вдвоём в избе. Значит, кроме тебя некому, — опять донёлся тягучий голос Гелюшки. — Может, скажешь, что я пыхчу, а?

— Только попробуй, — захрипел старик. — Враз губы прижгу, ежели замечу. Это не госпиталь, когда раненым прикуривала. Ишь, чего удумала на старости лет — курить! Гляди у меня...

— Я те прижгу, — недовольно заворчала бабка Геля. — Глянь, какой смелый нашёлся! Вот дождёшься...

Так было всегда, когда Пантелей приезжал в деревню. Садился на крыльцо, где проводили со стариками большую часть свободного времени, и посмеивался, слушая, как беззлобно лаются старая Ангелина с дядькой Володей. Давно старики кукуют-доживают свой век в деревне. Гелюшка познакомилась с дядькой в конце войны, раненого вытаскивала из-под огня, моталась с ним по госпиталям, выхаживала после тяжёлого ранения, а потом в деревню забрала. С той поры не разлучаются...

Заскрипела дверь. Донесли лёгкие, неторопливые шаги и на крыльце появилась Гелюшка: невысокая старушка, юбка в пол, сухонькое сморщенное лицо, платок по бровям, в глухой ситцевой кофточке в мелкий синий цветочек. Она, не глядя, ткнула ноги в обрезанные валенки, развернулась и охнула, чуть было, не уронив алюминиевый таз с грязной водой. Сразу видно, постирушками занимается.

— Пантюшка приехал, — запричитала она, торопливо выплеснула грязную мыльную воду с крыльца, громынула тазом, бросила его на доски, присела рядышком и прижалась к Пантелею, заглядывая в глаза. — Наконец-то, дождались. С дедом частенько вспоминаем тебя. Ни слуху, ни духу... Мы уж боялись, думали, что бросил нас, стариков-то. А ты взял и приехал. А почему не был долго, сынок?

— Заработался, — выпустив струйку дыма, сказал Пантелей. — А ночью, словно шило в задницу ткнули, я собрался и примчался. Захотелось вас увидеть, с вами посидеть. Что-то беспокойно на душе стало, тоскливо. Вот и прилупил. Как живёте, Гелюшка? — и приобнял старушку. — Как ваше здоровье?

— Да нормально живём, грех жаловаться, — закивала она головой. — Прихварываем, но ничего, держимся. Правда, дядька Вовка стал в рюмку заглядывать. Ты бы поругал его, сынок. Разбаловался на старости лет. У, дождёшься у меня, лиходеи косорукий! — и потешно погрозила сухоньким кулачком.

— Меня звала, что ли? — появилась лохматая кудрявая башка старика и, скособочившись, он вышел на крыльцо, лицо, наполовину обожжённое — сплошь один большой бугристый шрам, который терялся где-то под рубашкой. — А что расселись-то? — он взглянул на Пантелея и сказал, словно не было нескольких месяцев расставания, будто Пантелей со двора вышел и вернулся. — Айда в избу, сынок. Мать, повечерять бы, солнце за горой скрылось. И это ещё... Пузырёк бы...

— Уже с утра занырнул в бутылку, — сразу же заворчала бабка Геля и споро поднялась. — Знаешь, Пантюша, сделаю настойку для питья, для растирания, подальше запрячу, а он, сволота этакий, находит, — беззлобно обругав, она всплеснула руками. — Не успею глазом моргнуть, Вовка лыка не вяжет. И когда успевает — не понимаю. Ну не зараза ли? — и подтолкнула Пантелея. — Солнце на закат повернуло. Вечерять пора, сынок. Айда в избу, айда. Сейчас стол накрою и посидим...

И всё так легко, так просто, словно не расставались.

Пантелей приостановился на веранде. Низенькая, но просторная, вся увешанная вязанками душицы, иван-чая посредине, особенно мяты много — вдоль речки в сырых местах косой коси, а в углу зеленели берёзовые веники, уже заготовили на всю зиму. Вон, какие мягкие и духмяные! Возле двери, на вбитых гвоздях плащ с большим капюшоном, тут же кнут виднеется. Давно корову продали, а кнут висит. Здесь каждый хозяин в деревне имеет свой кнут, так принято, а некоторые с собаками пасут, чтобы волки не подходили, и с коровами легче управляться. К плащу притулилась серая фуфайка, грязная тряпка из кармана торчит, и тут же коричневая кацавейка с потёртым мехом. Под ними ряд разномастной обуви: драные тапки, разнокалиберные галоши, зимние боты «Прощай молодость», сапоги резиновые, сапоги кирзовые: стоптанные и поновее — выбирай на любой вкус. А за дверью, где большущий сундучище, там, за занавеской много лет стоит сломанный сепаратор, а выбросить жалко. В конце веранды старый буфет с оторванными дверками. Кто его смастерил, даже старики не помнят. Два серпа подоткнуты под крышу. К стене прибита полка (Пантелей сделал) и там всевозможные баночки, коробочки и прочая мелочёвка, которую никогда не замечаешь, но она всегда нужна в хозяйстве.

— Пантюшенька, что застыл, аки столб посередь двора? — раздался протяжный говорок старухи. — Забыл, где дверь находится? Проходи в избу, сынок, и занавеску опусти, а то мухи налетят. Сейчас на стол спроворю и повечеряем.

Пантелей, наклонил голову, чтобы не удариться о притолоку и перешагнул порог. Справа раскорячилась большая печь. Опять нужно подмазывать. Видать, дрова заносили, всю ободрали. На печи подушка и лоскутное одеяло. С мороза ввалишься в избу, шубейку и валенки скинешь, и быстрее на печку — у-у-у, хорошо! Слева от двери рукомойник, под ним помойное ведро. Возле раковины полочка, там мыло, а на гвозде висит серенькое полотенце. На лавке ведро с колодезной водой и ковшик. А возле окошка стол с клеёнкой, на нём большая солонка и блюдец с конфетами. Скорее всего, дешёвая карамелька. Не шибко-то разбежишься на стариковскую пенсию, не похикуешь. Возле стола ободранные голубенькие табуретки. Цветут гераньки. Горит лампадка, едва заметен тёмный лик на старой иконе. Громко тикают ходики. Дверь в горницу прикрыта, чтобы мухи не налетели.

Пантелей громыхнул табуреткой, поставил сумку и принялся вытаскивать свёртки, кульки и кулёчки, разные пакеты, коробки спичек, мыло и

прочую мелочёвку, раскладывая на столе. Для дядьки Володи гостинец — несколько пачек «Примы» — вонючие, зараза, а крепкие — страсть! Старик любит такие. А для бабки Гели разыскал гребешок и маленький флакончик духов «Красная Москва». Вроде мелочь, а она обрадовалась! Скинула платок на плечи, несколько раз пригладила седые волосы, воткнула гребень, капельку духов на себя и словно помолодела, морщинки разгладились, и заулыбалась, поводя плечиками. Угодил.

И сразу захлопотала возле стола. Загремела щербатыми тарелками, зазвякала ложками. Вытащила несколько солёных огурцов, квашеная капуста в пятнышках укропа, матово поблёскивали грузди, желтело старое сало, пучок зелёного лука притащила с огорода, две головки чеснока. Крупно нарезала хлеб. Громыкнула чугуном с картошкой в мундирах, а рядом поставила банку молока.

Пантелей погремел рукомойником, умылся, утёрся полотенцем и быстрее за стол — проголодался за долгую дорогу, пока добрался до деревни. Уселся и сразу же потянулся к чугунку.

— Погодь, сынок, погодь, — остановила бабка Геля и торопливо скрылась в горнице. — Сейчас достану бутылку. С мятой настаивала, запашистая — страсть, а вкусная — у-у-у! — она причмокнула на ходу.

Дядька Володя потянулся было за картохой, потом зыркнул вслед и напргся, внимательно прислушиваясь.

Она чем-то гремела в горнице, шуршала, передвигала, а потом донеслись поспешные шаги, Ангелина появилась на кухоньке и громыкнула бутылкой об стол.

— Ну не зараза ли? — уперев руки в бока, сказала бабка Геля и посмотрела на мужа, который сидел, отвернувшись к окну, словно его не касалось. — Вот глянь, Пантюша, этот лиходей уже половину вылакал. Скажи, когда успел, ежли токмо утром сунула? Когда узрел, а?

Старик сидел, упорно рассматривая яблоньку за окном, и поглаживал изуродованную щеку. Так было всегда, когда ругалась Ангелина. Сядет, нахохлится, словно воробей, и будто ничего не видит, ничего не слышит.

— Что, дядька, гоняет тебя Гелюшка? — хохотнул Пантелей и, выловив горячую картофелину, обжигаясь, принялся чистить. — Правду говорят, что мал золотник, да дорог.

— Мала блоха, да кусаться лиха, — буркнул старик и утробно рявкнул, когда Ангелина крепко хлопнула по загривку. — Вот, Пантюха, сам посуди, откуда у этой пигалицы столько вредности? Никакого покоя, никакого...

— Лихоимец кривоглазый, кто же из початой бутылки угощает, а? — продолжала ругаться бабка Геля. — Да и ту, чать уж разбавил...

— Не успел, кажется, — буркнул старик, снова потянулся за картошкой и отдёрнулся, когда жена снова хотела вlepить затрещину. — Гелька, брось! А ты другую достань, а эту на место приткни — пушай настаивается. Всё же сынок приехал...

— Так и норовишь, лишний раз заглянуть в рюмку, — привычно заворчала Ангелина, но не стала убирать початую бутылку, а снова взялась за неё, разлила по рюмкам и подняла, взглянув на мужиков. — Ну, провались земля и небо, мы на кочках проживём. За приезд, Пантюша! — и стала неторопливо пить.

Дядька Володя опрокинул стаканчик, даже не утёрся, почмокал губищами, зыркнул на Пантелея, потом на жену и молчком заторопился на улицу, прихватив привезённые сигареты.

Бабка Ангелина выпила, передёрнула плечиками, хотела было поморщиться, но с недоумением взглянула на рюмку, понюхала, в ладошку вылила остатки, попробовала на язык и взъерепенилась.

— От, обормотина криворукая, — она развернулась и потешно погрозила кулачком. — Не разбавлял... Ну точно, вчистую выпил, только мятой пахнет. Выпил, а ведь сидит, и ни в одном глазу. Ведро нужно, чтобы его спoitь. От, обормот, — повторила бабка Геля. — Я же говорю, все мои лечебные бутылки разыскал. Никуда не спрячешь. Нюх, как у собаки. Вот дождёшься, вторую руку заверну крючком, тогда в колоду превратишься, ирод, — и снова погрозила. — Уговаривать станешь, чтобы с ложки покормила...

И, покачивая головой, бабка Ангелина продолжала ругаться, то и дело, всплёскивая руками.

А Пантелей сидел, слушал привычные беззлобные причитания бабки Гели (так было всегда и дальше слов дело не заходило), посмеивался над стариками, а сам чистил картошку, похрустывал огурчиками, зелёным луком, пальцами хватал капусту и отправлял в рот, запивал колодезной водой и снова тянулся к какой-нибудь тарелке. А когда наелся, шумно вздохнул и, прислонившись к стене, достал сигареты, но не стал прикуривать, зная, что бабка Геля на дух не переносит табачный дым в избе.

— Марш на крыльцо, там дыми с этим оглоедом, — махнула рукой старушка. — А я пока чай подогрею, — и загремела чайником на плите. — Потом с баранками да медком пошвыркаем.

Пантелей присел на широкую ступеньку рядом со стариком, вытянул сигарету и закурил.

— Гелька лается? — спросил старик и, склонив голову, искоса посмотрел. — Ну, из-за бутылки-то...

— Да нет, не ругается, просто ворчит, как обычно. Просила с тобой поговорить, что в рюмку заглядываешь. Дядька, перестань, ты же знаешь, я не уважаю эти рюмки, — пыхнул дымом Пантелей, и сказал. — Так и воюете с Гелюшкой?

— А что нам делать? — просипел старик. — Скучно жить, когда всё гладко. А так она гавкнет, я рывкну и на душе веселее. С войны воюем, когда встречались, — старик вытряхнул сигарету, ловко вставил спичечный коробок между коленями, чиркнул спичкой и прикурил, попыхивая. — Сам-то как живёшь, Пантюш? Что долго не приезжал, а? Гелюшка все глаза проглядела, тебя ждала. Скучает она, да и я тоже, — и опять пыхнул, скрывшись в густом дыме.

— Закрутился на работе, дядька Вовка, — задумавшись, неторопливо сказал Пантелей, осматривая двор. — Здесь картошку выкопали, дрова заготовили, в город вернулся, а меня в колхоз отправили. Почти месяц там были. Едва появился на работе, заявками завалили. Зима на носу. Одни рамы просят, другие двери заказывают. Утепляются. А весной, не поверишь, словно мор в городе прошёл, почти каждый день гробы делали. Не счесть, сколько сделали. Тяжело. Лето наступило, опять хотели в колхоз отправить, как шефскую помощь, но я отказался. Пусть другие помотаются, как мне приходилось. Я и так, как белка в колесе — все дни на работе, а в свободное время на шашки бегал. Деньги нужны были. Вот и откладываю каждую копейку. А этой ночью вы приснились, — он сказал и стукнул по груди. — И вот здесь как заболело, как защемило, до утра просидел возле окна, пачку сигарет искурил, вас вспоминал, а утро настало, я за теле-

фон, отпросился и к вам помчался. Вот сижу с тобой, и душа радуется, словно в дом родной приехал.

— Деньги нужны, говоришь... — поглаживая обожжённую щеку, сказал старик. — Нам бы сказал. У бабки есть, а ежели не хватит, пенсию получили бы и добавили...

— Ну да, придумал — вашу пенсию взять, — вскинулся Пантелей. — Вы и так копейки получаете. Сказал тоже — у вас, — повторил он. — Вам нужно помогать, а не с вас тянуть. Сам заработаю. Вот вернусь, зарплату получу и думаю, что наскребу.

— Ну, а девку-то нашёл или холостякуешь? — продолжал расспрашивать старик. — Одному жить, только время терять. Ни бабы, ни ребятни... Плы-вёшь по жизни, как дерьмо по течению — ни себе, ни людям.

— Скажешь тоже — дерьмо, — усмехнулся Пантелей. — Вам легко говорить — баба, а где возьму её, если с работы не вылезая. Хорошая девка сама не придёт, а шалаву не хочу.

— Там же город, значит и девок побольше, — старик кивнул головой. — Это в деревне почти никого не осталось. Правда, поговаривают, что некоторые хотят вернуться — не прижились в городах-то, да и что делать там — суетня, да и только, — он пренебрежительно махнул рукой.

— Правду говоришь, дядька, — суета, — задумчиво сказал Пантелей, сорвал травинку и стал жевать. — Там, как белка в колесе — крутишься, крутишься, вроде много работы переделал, а вечером оглянешься — ерунда и только, и устаёшь, как собака. Домой вернёшься, что-нить пожевал и быстрее на диван. Не успел телевизор включить, уже глаза закрываются. И так постоянно. Всё бегом и бегом. А сюда приеду, душа радуется. И все дела успеваю сделать, и с вами посижусь, наговорюсь — хорошо! Даже возвращаться не хочется...

— Вот и живи у нас, ежели тебе нравится, — сказал старик. — Давно пора сюда перебраться. Я, как приехал с Ангелькой в деревню, ни разу не пожалел. Не понимаю тех, кому не нравится деревня. Вон, возьми Алёшеньку Килюшкина, — он ткнул в сторону заколоченного дома, что стоял рядышком с ними — за забором. — Такая добротная изба — живи — не хочу, а он, когда родителей схоронил, собрался и умотал в город. И радуется, дурачок, что освободился. От чего, я не могу понять? Ты же не для дядьки чужого, а для себя скотинку держишь, для себя огород садишь, а в городе всё нужно покупать — никаких денег не напасёшься. Ну, это ещё ерунда — деньги, а вот, как с соседями ужиться? Разве всех упомнишь — столько народищу? Вот и получается, что вроде бы город — это хорошо, там всё есть, что душе угодно, а человек в нём теряется, исчезает в этой огромной толпе, он же — букашка малая, ладно, ежели не затопчут. Смотришь на людей, а они все на одно лицо, словно под копирку сделаны. И куда-то бегут, бегут — всю жизнь торопятся...

— Я встречал Килюшкина, — сказал Пантелей и полез в карман за сигаретами. — В домоуправление устроился. Сантехником работает. По заявкам бегают: краны чинит, унитазы чистит, засоры...

— Алёшенька уборную чистит? — лицо старика сморщилось в страшной улыбке, если так можно назвать гримасу на обезображенном лице. — А ну да, всё правильно, за чужими дерьмо убирать — это лучше, чем свою картоху на огороде выращивать. Мастер по дерьму. О, как звучит! Ради этого стоило в город переезжать, — и тут же повернулся к Пантелею. — Слышь,

сынок, правда, кто-то покупает или уже купил его избу. Бабки в деревне болтали. Не слышал?

— Да нет, — Пантелей пожал плечами. — Это в деревне всё и про всех знают, а в городе такого нет. Там не принято...

— Вот и я говорю, — перебивая, махнул рукой старик, — что в городе каждый для себя живёт. Упадёшь на улице, через тебя перешагнут и дальше пойдут, а тех, кто остановится, таких можно по пальцам пересчитать. Вот и получается, что человеческая жизнь не ценится. Все живут и грызутся, как собаки, — и вздохнул. — Что людей в города тянет — не понимаю...

Пантелей промолчал, пожимая плечами. И правда, что тянет людей в города? Да, там есть всё или почти всё, живи и радуйся, но получается, что старик-то правильно говорит. Сам же видел, как люди шли, сторонясь лежавшего на земле. Одни смеялись, другие брезгливо отворачивались, а третьи, чуть ли не на него наступали, чтобы перешагнуть и ни один из них не остановился, не спросил, что с человеком. А потом подбежала маленькая девчушка и затормошила его, позвала подружек и оказалось, что у него был приступ. Скорую помощь вызвали, в больницу увезли. Вот и получается, чем старше человек становится, тем сильнее душа черствеет, если сравнивать взрослых, кто мимо прошёл и девчушку, которая пожалела человека и остановилась. У детей души чистые, а взрослые не хотят помогать или не замечают беды, а может, жизнью затурканы в городах-то, где приходится бежать, мчаться, лететь сломя голову, чтобы чего-нибудь добиться в жизни и то, ежели успеешь, ежели раньше времени не споткнёшься и не вылетишь на обочину этой самой жизни...

Пантелей не винил город и людей, там живущих. Каждый выбирает свою дорогу, свою тропку. Одни руками-ногами отмахиваются, лишь бы в деревне не жить, потому что город для них — это дом родной, где каждый закоулок, каждый камушек знают на дороге. Иные живут, потому что привыкли к этой жизни. Некоторые, как перекасти-поле, когда надоест в одном городе, они уматывают в другой город. А есть такие, кто не нашёл себя в этих каменных джунглях, где всё для них было и осталось чужим. Ну не смогли найти своё место в городе, а вот какая-нибудь избушка в глухомани или шалаш на берегу речки, где бормочут перекасты — это самое уютное место, где душа отдыхает, куда тянет и тянет каждый раз, едва выпадает свободное время. Но таковых единицы. И к таким приписывал себя Пантелей, когда на пути у него встретились старики, к которым прикипел душой и поэтому приезжает в глухую деревню, где душа радуется каждому отведённому дню, каждому увиденному восходу и закату, где проводит стариков, мчится сюда, едва выпадает свободное время. Пантелей встрепетулся, посмотрел по сторонам, опять закурил и сгорбился, задумавшись...

Старики давно зовут в деревню. Если посмотреть, никто и ничто не держит его в городе. Жизнь как-то не сложилась. Ни семьи, ни родственников. Утром на работу, вечером с работы и так ежедневно, еженедельно, ежемесячно — из года в год... Одна радость в жизни, что встретился со стариками. Сюда приезжал, словно к родителям возвращался. И они по-доброму относились к нему, за сына считали и всегда поджидали, когда он придет. Так и получилось, что чужие старики заменили ему родителей, которых не было в его жизни...

— Эх, красотища! — неожиданно вскинулся он и обвёл рукой окоём, показывая. — Глянь, дядька, какие густые леса вокруг, а горы высоченные, а вон облако, словно за горную вершинку зацепилось и отдыхает, а там видно,

как речушка течёт-извивается — её по кустам и по черёмухе заметно, что по берегам растут, — и тихо повторил. — Красота, какая...

— Красота бывает разной, — нахохлившись, буркнул старик. — Она не токмо в природе, но и в человеке, в его душе должна быть, а вот у меня была своя красота, — он помолчал, потом сказал. — Когда в госпитале сняли бинт с одного глаза, и я увидел свет, увидел лица раненых, лица медсестричек и врачей, вот они показались мне самыми красивыми на белом свете — это была моя красота...

Сказал и умолк, о чём-то задумавшись.

И Пантелей молчал, не перебивая старика.

Долго сидел старик, потом встрепенулся, привычно прикурил одной рукой, погладил обожжённую щеку и в который раз, словно в первый, принялся рассказывать, как познакомился с женой, с Ангелиной.

— Весна была. Фашистов добивали. Наш танк вырвался вперёд. А на окраине городка попали в засаду. Первым же выстрелом подожгли нас, а потом принялись садить в нас, как в мишень. Выбрался из танка, сам факелом горю. Так и бежал, пока в какой-то ручей не упал. Там валялся, половина в воде, а вторая половина горит. Наверное, поэтому фашисты не добились. Подумали, что мёртвый лежит.

Очнулся, меня тащили. Кто-то надо мной плакал, ругался. Глаза не открываются, слиплись. Шевельнуться-то больно, а меня по камням волокут, да ещё костерят, на чём свет стоит, что такого борова приходится таскать. Почему-то, запомнил. Странно даже... И голос запомнил: тоненький, словно ребёнок. Не знаю, как дотащили до наших. Я был без сознания. Очнулся на столе, когда с меня одежду сдирали вместе с кожей. Больно... Нет, не больно, даже такого слова не подберёшь, чтобы это передать... — старик задумался, опять закурил и запыхал: быстро, густо и болезненно. — Снова потерял сознание. Говорят, много дней не приходил в себя. Думали, не вытяну, концы отдам. Шансов не было. Никаких! Половина туловища обгорела, а руку собирали по кусочкам. Так и лежал бревном, весь в бинтах.

И почему-то показалось, что опять меня волокут. И снова голос знакомый донёсся. Тот, девчоночий. И тормозит меня, и толкает. Хочу матюгнуться, не получается. Глаза не открываются. Думал, что ослеп, выжгло мои глазёнки-то. Ни руками, ни ногами не могу пошевелить. Одним словом — бревно, но пока ещё живое. Очнусь, голос знакомый, а чуть погодя проваливаюсь в темноту и начинаю воевать, а меня удерживают, не дают подняться. Опять на секундочку приду в себя и снова тьма перед глазами.

Когда уж полностью очнулся, оказалось, что война закончилась. Все празднуют, по домам разъезжаются, а меня из госпиталя в госпиталь переводят. И всегда рядышком слышал тоненький голосочек. Думал, голова повредилась. А потом, когда с одного глаза сняли повязку, смотрю и правда, возле койки медсестричка сидит, больше похожа на девчушку, чем на бабу. И голос услышал. Опять показался знакомым. Она рассказала, как вытаскивала меня из-под огня и тащила на плащ-палатке до санбата. И костерила: громко, сильно, всяко. Раненых стали отправлять в тыл. Я был тяжёлым. Она напросилась сопровождать. И так стала кочевать со мной по госпиталям. Сама маленькая, тоненькая, словно тростинка, а духу в ней столько, что на роту хватит. Сколько спасла людей — не счесть, а скольким помогла, когда были готовы в петлю сунуться из-за боли и того, что обрубками не хотели жить — этого никто не ведаёт, лишь она знает. И меня вытащила с того света. А потом, когда немного оклемался, увезла в деревню. Так и остались здесь...

И старик опять задумался, изредка дотрагиваясь до высохшей изувеченной руки — плетью свисала.

— Кричу, кричу, а они сидят, не слышат, — на крыльце появилась бабка Геля. — Ишь, разворковались, голубчики, закурились! Айда в избу, чаёк вскипятила...

— Я слушаю, — сказал Пантелей, прислонившись к перилам. — Дядька Вовка рассказывает, как ты от смерти спасала его, как выхаживала...

— Ай, не верь ему, — махнула рукой бабка Ангелина. — Врёт старый, врёт. Давно было, всё быльём поросло. Хватит рассиживать. Чай простынет. Айда в избу, пошвыркаем. С травками, с мятой заварил. Душистый — страсть! Медок поставила. Сосед угостил. У-у-у, вкусный! — она причмокнула.

Сказала, а потом присела рядышком и взглянула на Пантелея.

— Знаешь, Пантюша, всякое в жизни бывало, разве всё упомнишь, — она поправила платок на голове. — Война — это страшно. До сих пор снится, как раненых вытаскиваю, а повсюду кровь, кровь и боль, такая боль, что выть хочется... — и кивнула на мужа. — Вон, Вовка, сколько ему пришлось испытать — ужас! Другой бы давно помер, а он с того света вернулся. И не один раз там побывал и вернулся. Да вот, сынок... До сих пор вспоминаю, как его, борова этакого, на плащ-палатке тащила. Откуда только сила взялась — не понимаю. Отовсюду стрельба доносится, не поймёшь, откуда стреляют, пули свистят, снаряды взрываются, а я тащу и тащу. Упаду, сама плачу, его ругаю, а он лежит и не шевелится. Глянуть страшно было. Половина тела грязная и мокрая, а вторая половина обгоревшая. Потрогаю пульс, ниточка еле бьётся. Опять хватаюсь за край палатки и волоку, а сама слезами заливаюсь. Пока до наших дотащила, у меня не только фуфайка, даже пилотка была прострелена, и на нём живого места не было, но ещё дышал. Значит, нас Боженька оберегал, Пантюша. Значит, он решил, что мы нужны в этой жизни. До медсанбата добрались. Там его определили. Дальше опасались увозить. Не выдержит. Там же встретила победу. Потом тяжёлых повезли в тыл. И я с ними напросилась. Так и кочевали из одного госпиталя в другой, пока не стал поправляться. А самое страшное было, скажу тебе, сынок, когда Вовка увидел себя в зеркале. Думала, руки на себя наложит. Жить не хотел. Ни на шаг от него не отходила, лишь бы, что с собой не натворил. На табуретке спала, не отлучалась, лишь бы его на ноги поставить. А потом, когда Володьку списали вчистую, уговорила сюда приехать. Старый врач в госпитале сказал, что его нужно в деревню, чтобы к себе привык, к новому обличью и нужно было силы восстановить. Привезла, а нашу избу отдали беженцам. Поселились на краю деревни в полуразрушенной избе и стали жить... — она замолчала, лишь изредка покачивала головой, вспоминая прошлое.

И Пантелей молчал, опасаясь нарушить воспоминания стариков. Он многое раньше слышал, а что-то впервые рассказывают. Не любят старики вспоминать войну. Особенно, при людях не разговаривали. А вот так, как сейчас, присядут на крыльце, прислонятся друг к другу, нахоятся, словно воробышки и беседуют, дополняют и всё неторопливо так, над каждым словом задумывались, а Пантелей рядышком пристроится и старался не потревожить стариков ни словом, ни движением. Всё ждал, когда они продолжат или наоборот, прервут воспоминания и всё на этом. И не допросишься, чтобы рассказали про ту жизнь, которую он знал лишь с чужих слов да со слов стариков.

— Я устроилась дояркой, а потом меня в бригадиры выбрали — бойкая

была, — продолжила вспоминать старуха. — Володька сидел дома. Никуда не выходил. Не хотел пугать других своим видом. И так соседи косо поглядывали, а ребятня, та стороной обходила нашу избу — бабайку боялись, как Володьку прозвали. Вот ему и приходилось скрываться ото всех. Дома сидел да по хозяйству ковырялся, сколько силы хватало. Да и какой из него помощник — с одной рукой? Вторая-то плетью висела. Весь испсихуется, изматерится, потом побросает инструмент и сидит, курит одну за другой. Злится, что не получается. Вернусь с работы и сама начинаю делать. А его на подхвате держала. Всё приходилось делать: землю копала, отростки сажала, урожай собирала, если было что собрать, избу латала. А куда денешься? Жить-то нужно. И потихонечку Володьку приучала одной рукой управляться, — и неожиданно рассмеялась, взглянув на мужа. — Научила на свою голову...

Старик нахмурился, если можно так назвать гримасу на обожжённом лице, хотел было что-то сказать, а потом отвернулся, словно его не касалось.

Посмотрев на него, Пантелей взглянул на старуху.

— Чему научила, Гелюшка? — сказал он. — Что учудил дядька?

— В том-то и дело, что учудил, — опять засмеялась старуха и подтолкнула мужа. — Что отворачиваешься, Вовка? Признайся Пантюше, что натворил.

— Скоро на погост снесут, а до сей поры вспоминаешь, — буркнул он, продолжая смотреть куда-то в сторону и, не удержался, съязвил. — Видать, по нраву пришлось, ежели не забываешь...

— Ты знаешь, Пантюша, мы же расписались с ним через год, как сюда приехали, — сказала бабка Ангелина и кивнула, поправляя платок. — И в сельсовет пошли после того, как он...

— Эть, ну бабы! — перебивая, опять забубнил старик. — Не языки, а помело поганое! Ничем не остановишь.

— Жизнь на закате, так чего же скрывать от Пантюшки? — бабка Геля посмотрела на него. — Пусть знает. Он же свой человек, роднее родного, можно сказать, сынок наш, — и продолжила. — И вот, сынок, видать, я слишком переусердствовала с травками и отварами, когда его ставила на ноги. Всё жалела, всё для него старалась, выхаживала, а он... — она выдержала паузу, глядя, как заелозил на ступеньке муж и опять продолжила. — А он, когда я в старенькой баньке принялась его купать, как обычно — его раздела, сама разнагишалась... Ведь сколько раз до этого мыла и ничего не случалось. А в тот день, мой охламон вцепился в меня... Я хотела было вырваться, да куда там! Разве от такого бугая вырвешься? Так ухватил, что не продыхнуть. В баньке тепло, он разогрелся, мужиком пахло, да так, что я сомлела. Ну и того... В общем, мой Вовка мужскую силушку в себе почуял. Видать, решил отыгаться за молодые годы, да за годы войны и дорвался, пока я ослабела духом и телом. Так измахратил меня, словно упущенное время навёрстывал.

— Чего сделал? — сначала с недоумением посмотрел Пантелей на бабку Гелю, потом на старика, который сидел, отвернувшись, и словно его не касалось, неторопливо покуривал, а потом расхохотался. — Измахра... Получается, что дядька того самого...

— Ага, того и самого, — вслед пырснула старуха. — Главное, не остановишь его... Навалился боров этакий, я рученьки раскинула — вся сомлела. И он воспользовался ситуацией, до утра показывал, на что способен. И ведь ничего не поделаешь — это жизнь, — она засмеялась, потом бровки сошлись на переносице. — И вот после этого, я поняла, что мой Вовка вернулся к

жизни. Через день расписались в сельсовете и стали жить. А вот Боженька детишек не дал. Видать, моих ребятишек забрала война, когда я в жару и холод, в дождь и грязь, надрывая живот и жилы, вытаскивала наших мужиков с поля боя, спасала, чтобы они вернулись в жизнь. Вот на этих-то самых полях и остались мои ребятишки...

Она задумалась, поглядывая вдаль. Наверное, опять войну вспоминала и своих нерождённых детишек, а может думала про раненых, кого выносила с поля боя. И сколько до сей поры вспоминают её, маленькую девчушку-санитарку, которая спасала солдатские жизни — этого никто не знает, даже она сама.

— А самое чудное, что мой Вовка приглянулся нашим бабам, — неожиданно сказала Ангелина и потрепала мужа по волосам. — Ладно, не отворачивайся. Что говоришь? — она повернулась к Пантелею. — Не понял... Вовка стал нарасхват, я бы сказала, — и засмеялась: тоненько, заразительно, всплёскивая руками.

Пантелей переводил взгляд с одного на другую, не понимая, что так рассмешило старуху, и сам не удержался и, поглядывая на бабушку Гелю, мелко затрясся в долгом смехе. Старик зыркал, зыркал, хмурил единственную сохранившуюся бровь, потом пробежала улыбка-гримаса по обожжённому лицу, и он засмеялся, захыкал и махнул рукой.

— Ты, Гелька, сорока, — сказал старик. — Лишь бы потрещать...

— Это наша жизнь была, плохая или хорошая — но наша, — вытирая слёзы, сказала старая Ангелина, а потом посерьёзнела. — Знаешь, сынок, а я не держу обиды на своего Вовку. Хотя... — она задумалась, прищурившись, посмотрела вдаль, словно в прошлое заглянула и опять сказала. — Хотя, была обида, когда Вовка первый раз от меня к другой бабе вернулся. Сразу почуяла. Меня не проведёшь. Чужой бабой пахло от него. Всё ему выговорила, в глаза вылепила, что ты, кобелина проклятый, когда горел, что же у тебя в штанах-то ярким пламенем не полыхнуло, а потом посмотрела на наших баб. Да они же высохли без любви-то, в тени превратились. Ведь, если подсчитать, всего ничего с войны вернулось мужиков-то, а остальные там остались лежать. А ведь у каждого жёнка была, а некоторые вообще уходили на фронт со своей свадьбой. И остались наши вдовушки недоцелованными, недолюбленными. Вот в чём дело-то, Пантюша! Я ведь понимала наших баб, сама прошла через войну, каждый день видела смерть, и у меня вот здесь всё сжималось, когда смотрела в глаза наших вдовушек, — она кулачком постучала по груди. — И я отпустила Вовку... Отпустила, хотя знала, что никуда от меня не денется. Просто сделала вид, будто ничего не замечаю. И понимаешь, Пантюша, наши бабы стали расцветать. Нет, он не бегал за юбками, не ночевал у других вдовушек, а вот поможет бабам по хозяйству или остановится на улице, скажет одной ласковое слово, другой, третью обнимет, а четвертую просто чмокнет и они радовались, что рядом с ними настоящий мужик, хоть и войною искалеченный. И ребяёнок есть. Да, так получилось... У Алевтины Глуховцевой родился. Знаешь, она радовалась этому и я с ней, потому что, если мне Боженька не дал детишек, нужно уметь радоваться за других. Алевтина была одна на всем белом свете, хоть в петлю лезь, а родила ребяёнка и жить захотелось. Она не претендовала на Вовку, нет. И другие бабы не сманивали. У каждой своя судьба, своя беда и свои радости в этой жизни. И если мой Вовка чем-то помог нашим бабам, значит, так тому и быть, значит, так и должно было случиться.

И опять надолго замолчала. Сидела, покачивала седой головой, взглядывала на старика, на Пантелея, едва заметно шевелились губы, видать, что-то шептала, а потом опять уставится куда-то поверх голов и молчит, о чём-то думает.

Пантелей тоже молчал. Сидел, посматривая в тёмное небо. Рассыпались мелкие звезды, перекатываются, перемигиваются друг с дружкой, в хороводы выстраиваются. Набежит ветерок. Набросит покрывальце на небо, звёзды сбледнеют, а потом снова загораются, ещё пуще перемигиваются...

— Вот уже и жизнь пролетела, — неожиданно сказала бабка Геля. — Казалось бы, долгая жизнь-то, а оглянись и увидишь, что она всего ничего, не успеешь глазом моргнуть, а жизньюшка промелькнула, и нет её. Вот доскрипим с Володькой, докукуем свой век и всё — отнесут на погост. И радуемся со стариком, хоть на склоне лет у нас появился ты, — старуха погладила по плечу. — Каждый день ждём, что приедешь, навестишь нас. Почаще бывай, Пантюша. Нам ничего не нужно, главное, что приедешь, вот так на крыльчке посидишь с нами, как сейчас, поговоришь и хватит нам, старикам-то. Правда, Володь? — и она обняла мужа за плечи.

Старик привычно растёр обожжённую щеку, поправил искаленную руку, висевшую плетью, а потом неловко погладил по голове жену.

— Правда, Гелюшка, правда, — засипел он. — Каждый день ждём. Мы не просим многого. Просто приезжай, проведай стариков.

— Приеду, — сказал Пантелей и взглянул в сторону соседнего дома. — Загадывать не стану, но надеюсь, к осени переберусь в деревню. Ищи невесту, мамка, — он впервые так назвал старую Ангелину.

— Неужто Алёшенькину избу сторговал? — всплеснула руками баба Геля, перехватив его взгляд. — Вот оказывается, кто покупает. И до сей поры молчал, сынок. От нас скрывал, от самых близких. Да мы любую невесту для тебя сосватаем, только покажи, какая глянется. Глядишь, ребятишки появятся. Вот радость-то будет для нас, стариков! Правда, Володь? — она погладила мужа по плечу.

— Правда, но обмыть нужно — это факт, — покосился старик.

— Ты же, чёрт горелый, всё вылакал, что я попрятала, — бабка Геля толкнула мужа.

— А я свой пузырьёк достану, — поднялся старик.

— Где взял? — подозрительно взглянула бабка Ангелина. — У тебя же денег не было. У меня упёр и перепрыгал, да?

— А я после обеда бабку Аглаю ублажал, — не удержался, съехидничал старик. — Говорит, понравилось. Ещё зазывала на огонёк... — и направился к сараю.

— От, сынок, глянь на него, ну не язва ли? — опять всплеснула руками бабка Геля. — Ублажал, бабник! — и тут же поднялась. — Ладно, Пантюша, айда в избу. Чаёк пошвыркаем с медком — у-у-у, вкусный, а потом на крыльчке посидим. Нам есть, о чём поговорить...

И бабка Ангелина скрылась в избе.

Пантелей поднялся. Из-под ладони взглянул на соседскую заколоченную избу, о чём-то задумался и стал неторопливо подниматься по ступенькам.

Он приобрел... Нет, наконец-то, он возвратился в дом, где его давно ждут.

Это была долгая дорога.

ЗАГЛЯНУТЬ В ДУШУ

Дорога запетляла между холмами, проскочила кустарник и вздыбилась, взлетая на крутой берег. Там, вверху деревня. Небольшая. Это раньше она была огромная. Улицы, словно паутина, расплзались, пересекая друг друга. Дома, где хотели, там и ставили хозяева. Где-то кучкой, чуть ли не вплотную друг к другу, а в другом конце разбросаны, до соседа не докричишься. В общем, хмельная деревня и название подходящее — Пьяновка.

Отдуваясь, Алексей поднялся в гору и, не выдержав, присел на большой валун, отполированный за многие годы такими же путниками, как он сам. Лёшка достал бутылку газировки. Открыл. Пена рванулась наружу, обливая руки и колени. Чертыхнувшись, сделал глоток. Поморщился. Слишком сладкая вода. Отмахнулся от мухи, которая назойливо лезла в бутылку, почуввав сладкое. Закупорил и опять в рюкзак. Закурил. Посмотрел на деревню. Когда-то была огромная, а сейчас всего ничего. Мало осталось местных жителей, зато много понаехало дачников. Выкупают дома, загораживаются высоchenными заборами, нанимают рабочих и грохочут, выстраивая огромные многоэтажные особняки. Зимой ещё можно терпеть этих дачников, но наступает весна и с утра до вечера по деревне орёт музыка. Некоторые отдыхающие вытаскивают столы во дворы и шумно начинают отмечать начало дачного сезона и побег из осточертевшего города. Другие, почуввав непреодолимую тягу к земле, видать, зов предков, ползают на карачках, грядки готовят, восторженно воркуют над цветочками, а, когда солнце в зените, начинают тенёк искать, чтобы передохнуть от трудов праведных. А другие, самые бесстыжие, так и фланируют по улицам в плавках да купальниках — ниточка там, ниточка здесь и с зонтами в руках — солнечные ванны принимают, заходят в сельмаг и устраивают дефиле вдоль прилавка, своим видом вгоняя в краску местных жителей, которые начинают матюгаются и грозят собак спустить с цепи, встречая голопупых в магазине или на узких деревенских улочках. Ну, совсем обнаглели, срамники!

Похоронив мамаку, отца уж давно отнесли на мазарки, Лёшка долго не раздумывал, быстренько продал свой просторный дом с большущим садом и огородом, с тёплым сараем да с банькой по-белому, забрал свои манатки и смотался в город, где купил тесную угловую комнатуху в старом крупнопанельном доме — улье, по-другому никак его не назовёшь, где круглосуточно ходили, бегали, кричали, жужжали за стенами пчёлы-соседи. Купил квартиру, но так и не привык к культурно-шальной городской жизни, где все несутся, сломя голову, куда-то торопятся, толкаясь и ругаясь, а наступает вечер, мчатся в магазины, и с полными авоськами опять бегут по улицам, улочкам и переулкам, исчезают в подъездах и начинается жужжание. В общем, суета, да и только. Поэтому, в любое свободное время, он собирался и отправлялся в родную Пьяновку. На могилки ходил — родичей проводывал, да забегал к соседу, к старику, с кем любил посидеть возле речки, неспешно покуривая крепчайше-едучий самосад, аж дыхание перехватывало, послушать, как переговариваются речные перебаты в ночной тиши, поглядеть на звёздные россыпи, да переброситься парой слов, ну, если не лень будет, конечно.

Лёшке нравился старик, интересный — этот дон Кихот, как его прозвал, когда в школьной библиотеке взял книгу о знаменитом идалго, а там были рисунки, словно его соседа нарисовали. А Дульсинеей стала жена старика, баб Дуся, по-нашенски. Старик: высокий и нескладный, под два метра, не

менее, с бородёнкой — клинышком, длинные усы торчали в разные стороны на худом лице, не вниз свисали, а именно в стороны, густые бровищи над глазами и смотрит устрашающе, в коротковатых штанах зимой и летом, в рубаше до пупа расстёгнутой, где видны были выступающие рёбра и чёрная нить с образком на впалой груди. Но главное — это характер. Вдрызг мог разругаться с местным начальством, а бывало и с приезжими, постоянно лез в драку, чтобы встать на защиту угнетённых деревенских жителей, так Лёшка всегда смеялся над ним. Старик никого и ничего не боялся, но в то же время всех уважал, любил и любого готов был защищать. Всегда хмурый, взгляд презлющий, а чуть копнёшь, поймёшь душу его, и сразу хочется защитить старика. Безобидный он — этот дон Кихот. Только с виду грозный и устрашающе пытит, а внутри мягкий и добрый. Хороший старик, правда, если найдёшь с ним общий язык.

Дон Кихот радовался, когда Лёшка приезжал. Радовался, но виду не подавал. Наоборот, хмурился. Взглянет из-под кустистых бровей, покрутит длинный ус, потом медленно, с расстановкой буркнет: «Аль-Ёшка прикатил», а сам вытянет полный кисет и протягивает — угощает и снова повторяет — уже мягко, по-доброму: Аль-Ёшка. Почему так называл — Алексей не знал, но ему нравилось.

Он взглянул на солнце. Высоко стоит. Жарко. Алёшка заторопился. Подхватил сумку с гостинцами и пустился напрямки к далёкому дому, который выделялся своей ярко-красной пожарной крышей. Издалека видна, как и развивающийся красный флаг на коньке крыши. Не промахнёшься, ну, если в пьяных улочках не заблудишься. Хоть Аль-Ёшка и вырос здесь, но не стал рисковать, чтобы по улицам добираться, а, подхватив сумку, помчался по тропкам, одному ему известным. Остановится, осмотрится и опять скрывается в кустах или переулках. И вот добрался. Распахнул калитку, смотрит, Дульсинея цыпляток кормит: «Цыпа, цыпа, цыпа», а дон Кихот сидит на крылечке, прислонился к перильцам, и пыхает своим самосадам. Всё, как всегда, всё, как обычно.

— Аль-Ёшка прикатил, — взглянув из-под бровей, буркнул старый идалго и, выудив из глубокого кармана полный кисет, протянул. — На, закуривай.

Сказал, словно и не расставались.

— Проходи, Алёшка, — баба Дуся вытряхнула остатки корма, поправила бельё на верёвке и стала подниматься по ступеням. — Подвинься, старый. Выставил свои ходули — ни пройти, ни проехать. В кровь расшибёшься, ежели зацепишься, — привычно заворчала Дульсинея и скинула глубокие галоши. — Ишь, надымили, куряки, хоть топор вешай. Ну-ка, хватит расслаиваться. Марш в избу, чай будем пить. Самовар вздула.

И тоже, будто Алёшка на пять минут выходил и вернулся.

После неторопливого просмотра гостинцев, всплёскивая руками, оханья и аханья, с виду недовольного ворчания, а на деле — обрадовались, что не забывает стариков. Наглядевшись, принялись торжественно раскладывать на полках шкафчика, и в столе: мешочки, кулёчки, коробочки и баночки. Потом уселись просто попить чаёк: свежие огурчики, с десяток яиц на тарелке, краснели помидорки, желтела картошка, и зеленел пучок лука, ещё в каплях воды, а рядышком высилась горка нарезанного хлеба: пахучего, вкусного, домашнего. Алёшка принюхался и вздохнул. В городских магазинах не найти такой хлеб — это хлеб из далёкого прошлого, из детства, где и сухарь сладок, и простая карамелька была шоколадной.

А потом, когда вволю надулись чаю, не слушая ворчания Дульсинеи, старый идальго натолкал в кисет самосаду, прихватил газетку, проверил спички в кармане и они пустились к речке. Отправились на речную косу, где разросся густой ивняк. Где было старое кострище да два больших валуна, на которых они посиживали, когда Алёшка приезжал в Пьяновку, где у него никого не осталось, кроме старого идальго с его Дульсинеей, бабой Дусей да родителей на кладбище.

И они уходили на берег, сидели на плоских больших валунах. Разводили костёр, и вовсю пыхали крепким едучим самосадам. Алёшка похвастался, достал и угостил идальго импортными сигаретками в яркой разноцветной пачке, которые специально купил для старика, но тот покрутил в руках, кое-как вытянул одну корявыми пальцами, прикурил, нутужно закашлялся и, поморщившись, небрежно бросил в костёр.

— Одно баловство, и не более, — насупив густые брови, буркнул дон Кихот и стал сворачивать толстую сигарку. — Городские сигаретки для городских вертихвосток. Вот, накось, Аль-Ёшка, нашенский табачок покури, — и опять протянул кисет.

Алёшка закурил. Вкусно, запашисто, аж дух захватывает — хорошо!

— Глянь-ка, это ты плывёшь, — затаившись, буркнул Кихот, и клочки дыма повисли на длинных усах, и кивнул на сухой лист, что медленно кружился на воде. — А вот и я вслед за тобой показался, — и ткнул в тёмную щепку, что мчалась по течению, то исчезая, то показываясь на поверхности.

— А куда плывём? — покосившись, сказал Алёшка.

Старик помолчал. Потом опять ткнул.

— Туда плывём. Жизнь — это река, — и ключья дыма запутались в ветвях кустарника. — А всё, что на поверхности — это люди: молодые и старые, хорошие и плохие, но люди. И куда человека занесёт, с кем он встретится в пути или исчезнет, словно его никогда не было — это никому неизвестно, а знает лишь она — река жизни.

Так, по-философски, объяснил Кихот. И замолчал, продолжая рассматривать реку. Наверное, что-то искал в жизни, что проносилась перед глазами, или вспоминал прошлое.

Всё может быть. Алёшка не стал спорить. Они приходят сюда, чтобы посидеть, подумать и заглянуть в свои души, а если повезёт, увидеть и почувствовать реку жизни — это главное, а остальное — пустяки, на которые стараешься, внимания не обращать, да и время жаль истратить.

Забумкало — это на противоположной стороне взревела музыка в машине. Молодёжь, извиваясь, похватила стаканы с выпивкой. Не чокаясь, выпили, опять налили и снова выпили, и продолжили извиваться под музыку. Жарко. Девки разнагишались. Совсем. Наплевали на всех и вся, и устроили стриптиз на берегу реки. Парни гоготали, наблюдая за ними, как они елозили по машине, стонали, готовы на всё, лишь бы удовлетворить свою похоть. Один не выдержал. Схватил девку и в кусты потащил. Вскоре вернулся, поправляя узкие модные плавки. Следом появилась деваха, ладошкой вытерла губы, опрокинула стакан и опять стала извиваться. Парни загоготали.

Откуда-то донёсся долгий мат. Наверное, деревенские заметили стриптиз на берегу. Девочек словно подстегнули этими матюгами. Они стали ещё быстрее и сильнее извиваться. А парни ещё громче загоготали и потянулись к стаканам. Второй не выдержал, подхватил ту же девчуху, и они торопливо скрылись в кустах. Прошло несколько минут. Голая девка вышла на полянку. Потянулась, тряхнула уже обвисшей, далеко не девичьей грудью, качнула

бёдрами, не поморщившись, неторопливо выпила, а потом прижалась к дверце и заелозила по ней — кошка мартовская.

Попыхивая, дон Кихот внимательно смотрел на них. Думал. Оглянувшись, подобрал камень и бросил в воду.

— Это они, — сказал старик.

— Правда? — Алексей искоса взглянул на идадьго.

— Сердце — вещун, — затянулся старый идадьго, и дым повис на ветвях.

— Жизнь не любит таких.

— Понял, — сказал Алёшка, взял кiset и заглянул внутрь. — Много ещё. Мало выкурили.

— День долог для одних, — задумчиво сказал старик, — но короток для других.

Придерживая большим и указательным пальцами толстую сигарку, попыхивая клубами едучего дыма, Лёшка не курил. Так, пыхал вовсю, чтобы ощутить горьковатый привкус, чтобы запах почуять — обожал дедовский самосад! А потом, обжигаясь, выбрасывал окурки в костёр и снова тянулся к кisetу.

Так было принято у них. Давно. Они собирались и уходили к реке. Курили самосад. Смотрели на костёр, на речку и думали. Изредка перебрасывались словами, а если вели разговоры, то так, ни о чём. Да и зачем говорить, если с полувзгляда понимали друг друга. Им было хорошо возле реки, в одиночестве. Нет, это не было одиночеством. Вокруг был мир: огромный, необъятный, красивый, но со своими законами, которые все должны исполнять. И они придерживались этих законов. Сидели, любовались округой. Смотрели по сторонам и заглядывали внутрь души, стараясь разобраться и понять себя и других. И думали. У дон Кихота это лучше получалось. Он дольше живёт на свете. Много повидал.

Темнело. «Бум, бум, бах!» — ревела музыка, и доносились пьяные крики. Парни швыряли бутылки в реку — реку жизни. Так, словно свои годы выбрасывали. «Бух, бух, бух!». Десять, двадцать, пятьдесят лет утонуло, или стёрто — никто не знает — знает река жизни. Матюгаясь, полуголых девок затолкали в машину. Следом забрались сами. Рывками, надрываясь, машина стала выбираться на дорогу. Опять забумкало, потом наступила тишина.

Стемнело. Старик поднялся. Вытащил из кустов припрятанную старую банку и набрал воды в речке. Принялся заливать костёр. Пламя фыркнуло, взметнулось и зашипело, разбрасывая сотни искр. И в чёрном небе полыхнул звёздный пожар. Замелькали звёзды на воде, захороволили на бормочущих перекатах и помчались вдаль по ночной реке.

— Айда, — буркнул старый идадьго. — Нам тоже пора. Дуся заждалась.

Дульсинея сидела на крыльце.

Едва они приблизились, баба Дуся махнула рукой.

— Парни с девками разбились на машине, — она качнула головой. — Пьяные вусмерть. Там, с Чертового моста улетели в пропасть. Никого не спасли. Машина всмятку и они тоже.

— Я говорил, такие долго не живут, — старый идадьго стал медленно подниматься по ступеням. — Дураки, — сказал он и со злостью, громко, несколько раз повторил, ударяя кулаком по перилам, словно вбивал слова. — Дураки, дураки, дураки!

— Какие не живут? — взглянула Дульсинея.

— Такие, как они, — буркнул дед и взглянул на Аль-Ёшку.

Они поняли друг друга.

Пьяная молодёжь стёрла свои годы в реке жизни.

Прикрыв окно — похолодало и, задёрнув занавески, баба Дуся собрала на стол. Потом долго сидели и пили чай. Пили неторопливо, вприкуску, шумно отхлёбывая, и молчали. Каждый думал о своём, но в то же время, думали о жизни. Хрустели карамельками, размачивали каменное печенье, прислушивались к голосам за окном. Вон взревела машина и рванула с места. Видать, кто-то ещё решил стереть свои годы в реке жизни.

Алёшка поднялся и направился на веранду, где всегда ночевал, когда приезжал к старикам, но Дульсинея показала комнатку, где он переночует. Впервые пустили туда. А сейчас разрешили — почему? Маленькая комнатка: щелястый стол возле окна, тетрадка и карандаш валяется на столе, в углу старая прогнутая кровать с двумя плоскими подушками, а возле изголовья была табуретка, чтобы стакан воды поставить или книжку на ночь почитать. И всё. Это вся обстановка. Нет, ещё на стенке висели два листка с детскими рисунками и поблёкшая фотография парня. Что-то неуловимо знакомое мелькнуло в его чертах, словно с ним встречался, а где — этого не мог вспомнить. Алёшка долго ворочался. Думал. В ночи раздался протяжный кошачий ор. Разодрались, территорию не поделили, а может, кошку. Чертыхнувшись, Алёшка уселся на кровати. Не спалось. Походил по комнате, шлёпая босыми ногами. Постоял возле фотографии. Потом набросил рубаху на плечи и вышел на крыльцо.

Поглаживая бородку — клинышком, дон Кихот сидел на скамейке, вытянув длинные ноги, и попыхивал едучим самосадом. Покашливал, что-то бормотал, кому-то грозил скрюченным пальцем и опять мелькал огонёк сигарки: зло, протяжно, искристо.

Шлёпая по голым ляжкам, отгоняя комаров, Алёшка присел рядом.

— На, покури, — старый идадьго вытащил кисет, газетку и спички и положил на скамью. — Штаны бы надел. Увидят, сраму не оберёшься.

— Темно ведь, — сказал Алёшка, но постарался прикрыть рубахой ноги. — И никого не видно.

— Ну и что, — не поворачивая головы, буркнул дед. — А вдруг подойдут, а ты, нате вам — голышом. Стыдобище-то какое!

— Ну и что, — теперь Алёшка сказал. — Дачникам можно, а мне нельзя, да?

— Нельзя, ты здешний, — пыхнув едким дымом, аж искры полетели в разные стороны, сказал старик. — А дачники — срамники. Им можно, тебе — нельзя.

— Хорошо, но сначала покурю, — сказал Алексей.

Курили долго. Комаров стало меньше. Может от едкого дыма, может ветерком отогнало. Старик принёс кружку с водой. Выдули. И снова потянулись к кисету. Сворачивали сигарки и дымили, чадили, пока в горле не стало першить.

— Что за фотка на стене? — наконец, спросил Алексей. — Лицо знакомое, а не могу понять, где виделось.

— Ты не видел его, — помолчав, сказал идадьго. — Не мог видеть.

— А кто это? — кивнул Алёшка.

— Это Коленька, наш сынок, — задумавшись, медленно буркнул дон Кихот, дёрнул себя за бородёнку и вдруг торопливо заговорил. — Понимаешь, Аль-Ёшка, вот сегодня увидел парней с девками, узнал, что разбились, улетели с этого Чёртового моста, и вот тут загорелось, — он постучал по впалой, тощей груди. — Так заболело, хоть волком вой, хоть об стену головой, лишь бы унять эту боль, но не получится. Она всегда и навсегда останется с нами.

Мы переехали сюда, чтобы рядышком с ним быть. Здесь погиб наш сынок, — старик замолчал и зло нахмурился. — Мне рассказывали, что они выпили после работы. Его, как самого безотказного, посадили за руль, а сами в кузов забрались. Они-то выпрыгнули, когда машина пошла юзом в пропасть. Все выскочили! А наш не успел. Он, герой, машину спасал. Так и ушёл вместе с ней на самое дно. Взорвалась машина. Пока мужики спустились, пока добрались, всё горной рекой смыло, лишь одни железяки валялись. Ничего не осталось. Ни кусочка! Даже похоронить нечего было. Словно его вообще не существовало. Просто взял и исчез. Всё! Вот и получается, что одним стаканом перечеркнул реку жизни. Одним! И где он покоится, где нашёл последнее пристанище, куда его унесло за эти годы — неизвестно. Знает лишь она — река жизни, но мне не говорит, хотя каждый раз прошу, когда сижу на берегу, — и дон Кихот замолчал, подёргивая длинные усы и запыхал: долго, густо и ожесточённо.

Алёшка тоже молчал. Потом поднялся. Ушёл в комнатку. Завалился на продавленную кровать и долго лежал, вспоминая дон Кихота, думал, почему так получилось, что его сын, Колька, перечеркнул реку жизни, он же мог спастись. Думал про него, про его короткую жизнь, о рассказе идальго... Да обо всём думал, а потом заснул. Крепко уснул. Но утром, когда они позавтракают и переделают кучу дел по хозяйству, что скопилась, пока его не было, вновь пойдут с дон Кихотом на речку, оставив Дульсинею дома. Долго, до ночи будут сидеть на берегу, попыхивая едучим самосадом. Вести разговоры ни о чём. Но больше будут молчать и думать о жизни, и смотреть за звёздами, что хороводят на тёмной поверхности реки, а потом несутся куда-то вдаль, чтобы исчезнуть с рассветом. И опять постараются заглянуть в свои души, а если повезёт — в души человеческие, и вновь поведут реку жизни.



Вячеслав МИХАЙЛОВ

ГОСПОДИН ПАЦИЕНТ

Рассказы

ЭКЛЕРЫ

С воскресной дневной тренировки шли не торопясь Юрка и Сережка: первый налегке, второй — с небольшой спортивной сумкой на плече. Настроение чудное: скоро летние каникулы, несколько футбольных турниров и столько всего! Перебирали азартно интересные моменты игры, которую тренер, по обыкновению, оставил на конец. Финальная эта часть тренировки была для мальчишек самой желанной, казалась скоротечной. С удовольствием гоняли бы мяч всё время вместо скучных силовых упражнений, разборов игровых ситуаций, прочих занятий. Вот и теперь, не наигравшись вволю на поле, то и дело затевали на ходу перепасовку мелкими тротуарными камушками, принимали поочередно воображаемый мяч на грудь, били его головой, крутили с ним финты, мешая прохожим.

Учились мальчишки в разных школах, друзьями не были, встречались и общались только на тренировках, соревнованиях да ещё изредка возвращались вместе со стадиона: кто-то из родственников Юрки жил недалеко от Серёжиной многоэтажки.

Приближался хорошо знакомый кондитерский магазин «Сдоба», аппетитно пахнувший издали, соблазнительный, манящий. У Сережки имелась

МИХАЙЛОВ Вячеслав родился и вырос в городе Термезе в Узбекистане. Окончил Московский гидромелиоративный институт. Кандидат экономических наук. Опубликовано более сорока научных работ. Проза и публицистика печаталась в литературных газетах и журналах «Приокские зори», альманахе «Ковчег». Автор сборника прозы «Вызов». Живёт в Туле

заначка, и он сказал Юрке: «Зайдём». Тот сглотнул голодную слюну, хлопнул руками по карманам: «Я пустой».

— На пару коржиков у меня есть, — успокоил Сережка.

В просторном светлом павильоне со стеклянным фасадом не было никого, кроме пышной симпатичной продавщицы с благодушным лицом, которая броско гармонировала с изобильными витринами магазина, переполненными всевозможными тортами, пирогами, пирожными, коржами. Несколькими лотками с пирожными были выставлены поверх витрин.

Стоя за витринами, продавщица говорила с кем-то через приоткрытую во внутреннее помещение дверь.

— Что берём, мальчики? — повернулась она к ним, приветливо улыбаясь.

— Пару коржиков-уточек, наверное, — сказал Сережка, пересчитывая мелочь.

Продавщица опять обернулась к двери, что-то спросила. Потом скрылась за нею, предупредив громко: «Я мигом».

— Сумку открой, — процедил неожиданно Юрка.

Сережка машинально расстегнул, а Юрка стремглав кинулся к лотку с пирожными, схватил проворно три эклера и сунул в сумку. Сережка оторопел: в ушах зашумело, сердце загрохотало во всех сторонах, перехватило дыхание. Очнувшись через секунды, стал доставать назад пирожные.

— Ты что! Застукает! — вцепился в его руки Юрка, с трудом удерживая их.

Сережка рывком высвободился, полез опять за эклерами, но тут послышались быстрые шаги, и в павильон вернулась продавщица. Сережка застыл, вытянувшись столбиком.

— Ну что, мальчики, выбрали?

Похоже, её всё ещё занимала нужда, отвлекшая во внутреннее помещение. Взгляни она в Сережкины глаза, из которых били растерянность, испуг, негодование, наверняка почуяла бы — что-то не так.

Юрка поспешно кивнул:

— Ага. Дайте две уточки.

Пока женщина заворачивала коржи, он прошептал недвижному Сережке:

— Деньги давай, и уходим.

Тот пудовыми руками покорно отдал монеты продавщице, а Юрка взял коржи, вежливо поблагодарил и потянул Сережку к выходу.

За дверями Сережка разгневанно напустился на Юрку, толкнув его с силой в плечо:

— Ты гад, Юран! Это же воровство! Пошли, вернём.

Оскорбленный Юрка покрутил у виска пальцем:

— Сам ты гад! Куда пошли? Не заметила же. Хочешь, чтобы шум подняла. Когда хватится, нас и не вспомнит... Да они сами лопают и списывают: просрочено там или ещё чего. Нашел воровство. Ешь пирожное — повкуснее коржика.

Он ловко выудил из приоткрытой Сережиной сумки эклер, принялся смачно уплетать его.

Шума Серёжка не хотел. С ненавистью глядел на Юрку, торопливо доедающего пирожное, роняющего крем на тротуар и себя. Не выдержав этой картины, выхватил два оставшихся эклера, сунул их в руки изумленному Юрке:

— На, жри! — и пошел быстро прочь.

Шагал, плохо разбирая дорогу, костерил всяко Юрку, а заодно его родню,

что проживала поблизости и одарила таким попутчиком. Потом раз за разом воспроизводил в сознании происшедшее, и на душе становилось ещё тяжелее, мысли мешались. Но одна стала пробиваться отчетливо: «А ты-то, ты! Такой же воришка! Мелкий трусливый воришка!.. Рядом стоял? — Стоял. Сумку подставлял? — Подставлял. Юрана не остановил? — Нет. Воришка! С почином!».

В горячих висках лихорадочно застучал вопрос: как быть? как?

Несмотря на смятение, удивительно скоро нашелся обнадеживающий выход. — А так! Достать надо срочно денег — больше, чем стоят три эклера хотя бы раза в два, — и отдать продавщице, повиниться, прощения попросить. Это, мол, за эклеры и штраф как бы... К маме за деньгами не пойду. Продам серию кубинских марок «Африканские хищники» — Ванька её давно хотел, заплатит сразу... Спрашивать начнет продавщица — что да как? — скажу просто: сами не знаем, как так вышло, простите — бес попутал. Пожурит, погрозит, не без этого, и отпустит. Чего ей шуметь — деньги вернули с лишком.

Сережка с облегчением поверил, что так оно и выйдет, и не мешкая взялся за исполнение задуманного.

И вот меньше чем через час с деньгами, полученными за марки, он уверенно направился к цели, широко вышагивая. Как ни силился отбрыкиваться от сомнений, опасений по поводу своего решения, они-таки прорывались, допекали, замедляли шаг и, добившись своего, остановили за несколько десятков метров до «Сдобы». «Ну, зайду я, — рассуждал Сережка, — и выложу, что придумал, а она всё ж возьмет и поднимет шум, хоть и милаха: “Денег принес больше, чем пирожные стоят! Откупиться хочешь, хитрец! Нет, касатик. Это воровство! Мелкое, а воровство. И по закону ответишь. Дружка нет, один ответишь. Милиция разберется — по какому закону. И в школе покраснеешь, как положено, и перед родителями”». «Так и будет, — похолодел, сник мальчишка. — Мама ещё поймет, а отец! А школа!».

Он прошел мимо злополучного магазина, прибавил шаг. Брёл и брёл по хмурому, душному городу, по самым отдаленным улицам и пыльным переулкам, волоча за собой тяжкий груз, пока совсем не устал. Упал на облезлую скамейку, вытянул гудящие ноги. Напряжение основное схлынуло, и возникли спасительные размышления: «Всё ж было, как снег на голову. Я никак не ожидал, представить такого не мог... И пытался вернуть пирожные на витрину, да помешал этот... И швырнул эклеры этому... Что, надо было выложить их прямо перед продавщицей? И объяснить потом, что не верблюд?.. Короче, пирожные я не тырил, не жрал. Нечего и стыдиться, изводить себя».

Приободрившись, отправился скорей в свой двор, к ребятам. Те собирались в кинотеатр. Обрадовался случаю отвлечься, присоединился к ним. Смотрели старый фильм о войне, о партизанах, среди которых было несколько мальчишек — пионеров. Смышлёные пацаны, вооруженные не хуже взрослых, бесстрашно подрывали фашистские поезда, обстреливали вражеские автоколонны, ходили в разведку в окрестные деревни, где располагались гитлеровцы, получали ранения, а одного даже убили в бою. Сережка и другие дворовые ребята не раз уже видели эту картину, и она им не надоедала. После просмотра обычно проходились по ярким эпизодам, фантазировали, как бы сами на месте героев фильма дурили и мочили фрицев, придумывали собственные ходы. Завидовали юным партизанам и не-

пременно похвалялись, что доведись партизанить, себя бы уж показали, без наград не остались.

Сережка незаметно ускользнул из кинозала перед окончанием фильма и побежал к «Сдобе». До закрытия оставалось немного. Дождавшись терпеливо, когда павильон опустеет и продавщица останется одна, он вошел, стиснув в ладони приготовленные деньги. Минут через пять с сияющим лицом, эклером в руке, появился на низком крыльце павильона, шагнул с него и полетел над уютным, воздушным городом.

УЛИЦА ДЕМОНСТРАЦИИ, УЛИЦА РЕВОЛЮЦИИ

Маршрутка приближалась к улице Демонстрации, а следом за ней пересекала улицу Революции. Водитель спросил заранее, нет ли сходящих на «Демонстрации». Пассажиры молчали, и он поинтересовался опять: «А на «Революции»?». И опять желающих сходить не оказалось. Но из сумеречной глубины тесного салона какой-то мужик хмыкнул: «Была бы «Демонстрации мини-бикини» улица — другое дело. И на «Революции сексуальной» выскочил бы».

Девчата, сидящие рядом с водителем, захихикали.

Бабуля, разместившаяся с большой сумкой в первом ряду, у двери, осуждающе обронила: «Одно на уме. Неясно, что ли, какой революции, какой демонстрации?».

Девчонки захихикали ещё громче, заулыбалась и пара средних лет — похоже, супруги, бабкины соседи по первому ряду.

Мужик довольный, что его реплику оценила часть попутчиков, продолжил:

— Откуда ж ясность? Сколько их было — революций всяких: и февральская русская, и Великая октябрьская — наша же, и французская Великая, а научно-техническая... Демонстраций — тех и не счесть — каких только нет.

Бабуля молчала, насупившись: нечем было возразить.

— И правда, странно, — поддержала мужика молодая женщина в каракулевой шубке. — Едешь или идешь, а на домах таблички: улица революции безымянной какой-то, улица демонстрации непонятной. Но изначально не могли же быть такие названия. Недавно здесь живу, не интересовалась как-то.

— Даю точную справку для любопытствующих, — уверенным голосом заявил рослый мужчина в стильной объемной фуражке из нерпы, торчащий в середине салона. — Можете не сомневаться, информация надёжная — сталкивался с этим по работе. Улица Демонстрации — это до недавнего времени улица Политической демонстрации 1903 года; названа в память первой протестной демонстрации горожан. А улица Революции опять же недавно ещё — это улица Революции 1905 года; в честь первой русской революции, как понимаете.

— Здорово, — хлопнул в ладони мужик — зачинатель дорожного разговора. — Может, знаете, почему названия усекли? Не по идейным соображениям?

— Вряд ли. Полагаю — для простоты употребления.

— Правильно сделали. Запаришься выговаривать эти длиннющие названия, — вставил слово водитель.

— Логично, — весело согласился мужик. — Меня вот для простоты Санычем зовут вместо Игоря Александровича. Стало быть, надо ещё и в паспорте, и в иных документах Санычем записывать! И фамилию побоку — чтоб совсем просто.

— Вот разошёлся, шалопутный, — с укором опять сказала бабуля. — Лишь бы побалагурить.

— Разошёлся?! Я только начал, мамаша. А ты думаешь, мимо тебя эта практика пройдёт? Как же, жди. И тебя везде запишут... Матвевной... вместо Антонины Матвеевны Сорокиной, если тебя так именуют, предположим.

Девчата впереди снова прыснули. Засмеялась теперь и бабуля: «Выдумал ещё: Сорокина... Матвевна... Шалопутный и есть».

— Да-да, главное не останавливаться, — продолжал выступать «шалопутный». — Будет уже всяких сложностей. Упростили школьную программу, — мало, ещё короче надо, ещё проще. Нафиг детей грузить в школе — и так у них от компьютерных игр, от интернета «крыша едет». Писать, читать чтоб умели, ещё таблицу умножения — и баста... Самолёты, суда перестали почти делать — понятно, не простой процесс. И конкуренция — тот ещё геморрой. Проще импортировать — ясно, пока нефть, газ, металлы хорошо идут. Но их тоже нелегко извлекать, доставлять. Ещё проще можно деньги добыть: землю продавать побойчей за кордон, речки, озёра толкать — в стране этого навалом. Опять же инженерам, учёным последним голову не ломать — не мучиться; пойдут вон в дилеры или в мерчендайзеры... Конфискация добра взяточников — морока, конечно. Правильно сообразили: штрафовать проще. А ещё лучше: выговор ввести, с записью в трудовой книжке — совсем без затей... Борцы за справедливость докопались: подавай им прогрессивную шкалу подоходного налога — пусть богатые платят больший процент; новые детсады можно будет построить, медицину поддержать и прочее такое для всех. Глупцы. Это ж заковыристая какая штука! А другие страны нам не указ. Хотят себе усложнять — пусть усложняют. Мы идём простым путём. Ударим, так сказать, по сложности жизни простотой.

— Ну, артист разговорного жанра! — восхитилась бабуля.

А сведущий мужчина в нерпе спросил с раздражением:

— Вам представляется всё это смешным?

— Ага, смешно — до слёз, — кивнул хмуро «шалопутный». — «...Он звонко хохотал, души рыдание укрыв».

Тут встрепенулась, завертелась испуганно бабуля:

— Ой, батюшки ты мои, Красноармейскую не проехали?

— Проехали, конечно, — фыркнул недовольный водитель и маршрутка резко притормозив, остановилась на обочине. — Немного, хорошо спохватилась. Следить надо за дорогой.

— А ты что ж молчишь? — огрызнулась бабуля, открывая дверь. — То объявляешь остановки, то молчишь.

— Ладно, мамаша, не ворчи, я тоже прозевал, — сказал, поднимаясь и застёгивая верхние пуговицы на дублёнке, «шалопутный». — И мне на Красноармейской. Вот это наше во всех смыслах название, ясное, надёжное. Я бы сказал — обнадёживающее.

Закрывая дверь, он громко запел:

*Но от тайги до британских морей
Красная Армия всех сильнее...*

РЫБАЧОК И ПЛОТ

Колька проснулся оттого, что бабушка слегка тормошила его за плечо: «Вставай, рыбачок, вставай... Сам же просил поднять. Иль передумал рыбалить-то?».

— Нет... Встаю, — промямлил внук в полудрёме, выползая из-под одеяла.

Мысль о предстоящей рыбалке сразу добудила. Рыбалка для городского двенадцатилетнего Кольки — самое милое занятие на летних каникулах. Ловил рыбу он по-всякому и повсюду в округе. Но больше всего по душе было удить на простенькую поплавочную удочку тут же, рядом с дедушкиным и бабушкиным деревенским домом, стоявшим в шагах тридцати от реки. Это не требовало долгих сборов: взял снасть, баночку с червями, припасённую с вечера, пару кусков свежего хлеба (один для наживки, другой — если вдруг захочется перекусить), на лодку и напрямик к противоположному камышовому берегу. Долго клёва нет, вытянул якорёк, один момент и дома — река тут шириной всего метров пятьдесят. Опять же, придут пацаны куда-либо звать, — так вот он Колька, в пределах видимости и слышимости. При заманчивом предложении рыбалку можно свернуть. Особенное удовольствие доставлял выход рано утром в безветренную погоду, когда поплавок выдаёт даже слабый рыбий интерес к приманке. Никого... Тишина... Изредка только прострекочет за спиной в траве бойкий кузнечик да тиутикнет степная птица, присевшая где-то поблизости... Случится, засомневается Колька спросонья — идти или не идти, глянет в окно, увидит спящую покойно реку с застывшей зеркальной поверхностью, под которой, конечно, снуют в поисках пищи голодные рыбы стаи, и принимается собираться.

Сегодня как раз с клёвом повезло: уже через час после того, как Колька загнал лодку в камыши и сделал первый заброс, в ведёрке толклись с десяток небольших подлещиков, плотвичек, четыре приличных окуня — приятно поблескивали чешуёй. Следующий час удвоил улов. Колька уже перехватил, с аппетитом умяв три прихваченных пирожка с картошкой. Опять повезло: бабушка вчера пекла. Теперь хватит надолго. Ещё можно с часок половить, раз рыба идёт, хоть и волна лёгкая по реке побежала. Солнце быстро поднялось, нагоняло тепло. Зачастили трактора и автомашины по железобетонному мосту, что возвышался метрах в трёхстах вверх по течению.

Наблюдавшему за поплавком Кольке показалось вдруг, будто с моста что-то упало. Он взгляделся в мост и заметил на нём несколько мальчишек: не узнать только кто — далековато. Находились они у одного из деревянных щитов, выставленных вдоль мостовых перил. Месяц назад соседний совхоз прогонял по мосту большую отару овец на новую ферму. Его люди и приладили дополнительное ограждение из второсортных досок, зная, что не одна овца запросто может свалиться в воду через старые, небезопасные перила. Установили, да, наверное, забыли или просто махнули рукой на свою неказистую древесину. И ребягня недели две уже как облизывалась на те щиты: кто-то подал идею покидать их в реку, соединить в большой плот и использовать такой деревянный остров для игры в догонялки. Размеры, кстати, каждый щит имел солидные: в высоту полтора метра и в длину метра три-три с половиной.

Пацаны на мосту завозились у щита, стали переворачивать его через перила и «оп»: он ухнул в реку! «Ясно, — подумал Колька, — это уже второй». Меж тем щиты один за другим слетали вниз. Точно — операция «Плот» началась. Теперь Колька, забывший про поплавок, увидел лодку: она только что

отчалила от берега близ моста и двигалась к сброшенным щитам. Один из двух пацанов, что вели её, встал, оставив весло, призывно махнул Кольке рукой и крикнул:

— Коля-я-я-н, айда плот делать!

— Жорка! — узнал рыбак своего приятеля.

Не раздумывая, мигом собрал удочку, вернулся к дому, отволокл ведёрко с рыбой на кухню, захватил кусок проволоки и отправился на лодке помогать отлавливать щиты, буксировать их к берегу. В предвкушении новой шалости, старой игры в неизведанном варианте, нутро Колькино восторженно вибрировало.

Василь, плотницкий сын, прикатил на одноколёсной тележке ворох деревянных обрезков, банку длинных гвоздей, несколько молотков и всей ватагой взялись крепить, колотить. Совсем скоро гигантский, где-то девять на десять метров, плот был готов. Тут же вплавь вытолкали его на середину реки, зафиксировали якорем — тяжёлым булыжником, поныряли немного на пробу и стали играть в те самые догонялки: и по плоту, и в воде вокруг него. Топот, дикие крики, визг, хохот понеслись над рекой.

Увернувшись опять от догонялы, Колька поднырнул под угол плота, чтобы вылезти там, где не ждут. Но выплывая, уткнулся головой в доски. «Промохнулся», — подумал он, оттолкнулся от воды ногами, сделал два-три энергичных гребка руками — и опять упёрся в дно плота. Теперь он открыл глаза, крутнулся, но в непрозрачной воде трудно было разобрать, где ближний край плота. Воздух в лёгких стремительно иссякал, возникшее чуть раньше беспокойство переросло мгновенно в ужас и панику. Колька рванулся из последних сил назад и вверх, по ходу осознав свою ошибку: надо было плыть в ту же сторону, в какую начал, а так выходит, что он мечется туда-сюда... И снова плот не выпустил, а любимая река всё крепче обхватывала, тянула вниз, не желая упускать законную добычу. Колька задыхался, устал противиться, смирился. Не выдержав, глотнул воды, и ясно представил, как она, мутноватая, заполняет его всего. Невыносимая эта картина передёрнула: судорожно заработали руки, ноги — он сделал ещё один рывок, и теперь голова его показалась на поверхности воды, сантиметрах в десяти от кромки плота. Рот хватнул немного жизни. Не выдохнув толком, Колька сразу же вдохнул ещё — до отказа, так, что кольнуло в груди.

— Вот он, — раздался радостный вскрик Жорки, и несколько пар рук быстро ухватили обессиленного Кольку за плечи, локти, втащили на плот.

— Ты, даёшь, блин, — восхищённо протянул бледный Жорка, обглядывая приятеля. — А мы только хватились, думали, ты буль-буль... Тут метров восемь глубина — фиг донырнёшь... Чё молчишь-то, язык проглотил что ль со страху?

— Да, погоди, дай подышать, — дрожащим голосом прошептал Колька, лежавший отрешённо на спине.

Он приходил в себя, смотрел вокруг: «Солнце! Небо! Облака! Пацаны!».

ОБМОРОК В ЭЛЕКТРИЧКЕ

Накануне прошёл дождь проливной, и Рожков решил не рисковать: побережь автомобиль и ехать на свою любимую заокскую дачу на электричке. Время было полуденное, свободных мест предостаточно — не то, что утром, когда припозднившиеся дачники стоят в проходе.

В душноватом, разогретом июльским солнцем вагоне пассажиры нетерпеливо ожидали, когда уже электричка тронется и освежит ветерок, захваченный приоткрытыми окнами. Рожков листал газету-толстушку, помахивая ею время от времени перед лицом, как веером. Всего час — и он окунется в дивный хвойно-берёзовый аромат, смягчённый протекающей недалеко рекой. Благодать!

Вокруг усаживались новые вошедшие. Окидывая их любопытствующим взглядом, заметил восточную женщину лет сорока, одиноко сидевшую в соседнем ряду у окна. Не мог не обратить на неё внимания — ведь родился, вырос, долгие годы жил и работал в Средней Азии и лишь пять лет назад переехал в Россию в числе многих тысяч русских, вереницей потянувшихся на земли дедов и отцов после того, как Советского Союза не стало. Всё восточное непроизвольно привлекало.

Присмотревшись к её лицу, предположил: скорее всего, это узбечка с северо-запада Узбекистана — глаза у неё слегка раскосые. Обитатели тех мест издавна соседствовали с каракалпаками и казахами, роднились, переселялись на сопредельные земли, возвращались обратно. Вглядываясь скрытно, продолжал изучать женщину, анализировать и размышлять: «Одета строго, но современно, едет одна. Значит, вряд ли из домохозяек — у них наряды попроще и не поедут в одиночку в общественном транспорте: язык неважно знают, побаиваются — пристанет кто, обидит. Нет, эта, видимо, сама зарабатывает... Может, на рынке вещевом торгует? Хотя, не исключено, что по служебной надобности здесь или в гостях... Похоже и ей неуютно одной пускаться в дорогу, черноволосой и черноокой, — вон уставилась в окно, не поворачивается. А что там глядеть? Люди по платформе снуют да поезд на противоположном пути стоит проходящий. Эх, времечко! Столько опасений и недоверия посеяно между людьми, недавно ещё жившими в большом одном доме, уютном и дружелюбном, что бы ни ввали про него!».

Электричка отправилась. После второй остановки в салоне вагона появился машинист и быстрым шагом, с видимым беспокойством на лице, прошёл в следующий, хвостовой вагон. На очередной станции, во время остановки, пассажиры увидели того же машиниста, бегущего по платформе назад, в голову электрички. Стало понятно — что-то случилось. Это подтвердило объявление, раздавшееся почти тут же из салонного динамика и затем ещё раз повторённое: «Граждане, в последнем вагоне мужчина потерял сознание. Если есть среди вас медицинские работники, просьба — пройдите туда». Электричка двинулась дальше. Рожков и другие пассажиры стали переглядываться: «Может, среди нас есть медики». В первые мгновения выходило, что нет. Неожиданно поднялась та самая узбечка (по догадке Рожкова) и направилась в тревожный вагон.

— Вот те на! — изумился Рожков и в напряжении стал ожидать развязки.

Через минуту туда же торопливо прошли два сосредоточенных возрастных парня. «Тоже наверняка на помощь; пробирались, видимо, из дальних вагонов», — подумал Рожков.

Вскоре они прошагали по салону обратно, а вслед за ними вернулась и узбечка. Она заняла своё место так же тихо, как удалилась.

— Как там? Вы ж к нему, к мужчине тому ходили, что сознание потерял? — поинтересовалась пожилая дачница-соседка, ёрзавшая на сиденье от неведения.

— Судя по пульсу, похоже на сердечный обморок, аритмический, — живо откликнулась узбечка, выговаривая слова со слабым акцентом. — Под голо-

ву ему куртку подложила — иначе язык в глотку западёт. Шею и грудь протёрла влажным платком, холодным — присердечную область взбодрить. Хорошо бутылка минералки ледяной оказалась у соседей.

— И что он?

— Очнулся. Правда, слабость ещё не прошла. Но в Терехово — там, машинист сказал, больница есть — ни в какую не хочет сходить. И раньше, говорит, случалось такое, на природе пройдёт... Зря упирается. Кардиограмму нужно обязательно. Давление померяют, уколуют. Тем более, позвонили уже в больницу, скорую вызвали.

— Вы, наверное, кардиолог?

— Нет, я терапевт. Муж у меня кардиолог.

— Проездом или проживаете тут? — не отставала дачница.

— Мы вместе с сыном приехали. Он в здешний университет поступает.

— А сами откуда?

— Из города Ургенча. Это — север Узбекистана.

Дачница продолжила свои расспросы. К ней присоединились ещё две женщины, сидящие рядом. Теперь разговор пошёл больше про свои болячки, недомогания. Довольная таким вниманием, соединённым с искренней симпатией, узбечка бойко и с удовольствием стрекотала.

Глаза у Рожкова, наблюдавшего эту картину, увлажнились от гордости и умиления: «Ай, молодца, ай умница ёш аёл¹! А то можно подумать, что у нас из Средней Азии одни только уборщики, торговцы да чернорабочие строительные обретаются... Как же легко исчезает настороженность, недоверие! Как естественно это взаимное притяжение! Не истребили его годы насаждаемого отчуждения. Все пакости шли в ход, чтобы разделить. И преуспели, вражины... Но вот, лучик малый добра, участия блеснул — и не было будто этой черноты. Боже мой! Сколько же общего у нас выросло за недолгую сравнительно историю совместной жизни — вопреки очевидным разностям! Сколько невзгод пережито сообща, а сколько радостей было!»

Рожков отлетел в своё прошлое, безотчётно извлекая из памяти отдельные виды, фрагменты: школа в Бухаре, рыбалка в верховьях Волги у дедушки с бабушкой, институтский стройотряд в Тобольске, сооружение высокогорной гидроэлектростанции на Вахше, ташкентский НИИ, смерть и могила отца в Ташкенте, мучительный отъезд с семьёй в Россию, поиски работы, унижительная процедура получения гражданства и, наконец, обретение новых смыслов. Вспомнились опять слова одного почтенного узбека, произнесённые на поминках отца: «Витя, не забудь, что я тебе скажу. Не потому, что поминки, нет... Многие русские теперь уезжают из Узбекистана. И будет это продолжаться. Так повернулось против желания простых людей... Ты, наверное, тоже уедешь. Я хочу, чтобы русские оставались. Знай, узбеки уважают русских потому, что живут рядом с такими русскими, как твой отец».

Встреппенулся, когда электричка уже остановилась на его станции, и прозвучало её наименование. Мигом схватил сумку, рванулся к выходу и успел проскочить через закрывающиеся двери.

Идя по лесной тропинке к даче, Рожков благодарил Бога, что дал познать счастье и на пустынной, жаркой родине, и в бескрайнем отечестве, разлаженном, ослабленном жутко в который раз, но чудным образом несокрушимом и своём, непередаваемо своём.

ГОСПОДИН ПАЦИЕНТ

Спеша утром на работу, Иваныч наскоро завтракал. Забыв про зубы, сделал большой глоток горячего кофе, застонал глухо от острой боли. Тихо выматерился, едва она отступила, и в полный уже голос прорычал: «Всё, баста! Иду к зубному, к протезисту, ко всей этой зубной инквизиции!».

— В который раз, — хмыкнула жена из спальни. — Опять причину найдёшь отвертеться. Не понимаю, сколько можно терпеть — полрта запустил. Тебе ж не так давно металлокерамику делали спереди. Ничего — живой.

— То-то и оно — есть, что вспомнить.

— И это — начальник управления капстроя! Как стройками командуешь, не пойму. Не ты дрался за меня до крови, нет — другой малый... Давай, ты идёшь лечиться, а я тебе призыв, как мама премировала тебя пистолетом с пистонами за удаление молочного зуба — сам рассказывал. Хочешь, спиннинг самый дорогой, навороченный? Хочешь, на карельские озера поедем вместо теплого моря? Как ты любишь. Выбирай. За счет моих сбережений... Да всё там обезболивают. Анестезия супер — не то, что раньше. Знаешь, как шагает стоматология! Малость устаёшь рот держать открытым — и вся беда. Потом зато кайф бесперывный.

— Поговори, поговори, храбрица, — буркнул Иваныч, выходя из квартиры и захлопывая дверь.

На боевом настрое решил немедленно звонить в стоматологическую клинику, давно найденную по рекомендации. Быстро отыскал в машине номер телефона, договорился на сегодняшний вечер о приёме у протезиста и стоматолога-терапевта. Выдохнул с облегчением: «Всё, назад ходу нет... Если только совсем дикий форс-мажор не нарисуеться».

Ни форс-мажора, ничего такого не случилось, что могло бы послужить предлогом для отмены похода в клинику: генеральный не озадачил срочным поручением; подрядчики не приглашали на объекты принимать выполненные работы, а на вопросы «Как дела? Не помочь ли чего разрулить?» сплошь докладывали: «Всё путём, по плану, спасибо — сами справимся»; никто из «своих» капстроевцев не напортачил с расчетами, чертежами, квартальной отчетностью, аналитическими записками, чтобы можно было объявить аврал по исправлению положения и непосредственно его возглавить. «Сговорились все, чай-борщай, — усмехнулся в конце дня Иваныч. — Ну что ж...». Поразмыслив, решил подстраховаться и под секретом большим поручил Андрею, главспецу из договорного отдела, доставить его до клиники на своём авто: «Неизвестно, каким выйду из пытошной. Андрюха подождет и домой отвезёт, а завтра на работу подбросит. Тачка моя здесь переночует».

Когда уходил из офиса, по обыкновению, выдал «своим» несколько дежурных наставлений. Капстроевцы проводили шефа глазами и по его возбужденно-тревожной, румяной физиономии дружно заключили: предстоит какая-то жаркая разборка с высоким начальством, не иначе.

Иваныч вылез из припаркованной у клиники машины, сделал несколько глубоких вдохов, настраиваясь, остановил Андрея, который засобирался вслед за ним: «Не нужно со мной — зрелище не для слабонервных. Погуляй поблизости, кофейку попей. Я тебе позвоню».

Первым на очереди был врач-протезист. Крепкий этот мужчина с плотной растрепанной бородкой очень походил на геолога после долгой экспедиции. Он пригласил вошедшего Иваныча в кресло, но тот, стоя у двери твердо попросил: «Мне сразу укол, пожалуйста, — анестезию».

— Зачем, позвольте спросить, — удивился бородач. — Я вас только осмотрю. Определимся, что будем делать. Потом к терапевту. Он и обезболит, коли станет сегодня лечить и понадобится анестезия.

— Вы же инструментом своим будете зубы трогать, — упорствовал пациент.

— Это не больно, не обточка.

— Что за проблема, сделайте укол и орудуйте сколько угодно, — продолжал настаивать пациент, не сходя с места.

— Нет никакой проблемы, будет вам укол, — сдался протезист с лёгкой ухмылкой в глазах. — Имейте только в виду: может понадобится повторный укол у терапевта или хирурга, если черед до него дойдет.

— Хорошо, хорошо, — согласно закивал головой просветлевший Иваныч.

— И садитесь уже, не будем время терять.

После укола и короткого ожидания врач осмотрел обстоятельно зубы, согласовал с пациентом предварительный план действий: где будут одиночные коронки, где спаренные, где мосты.

— Окончательно определимся, когда пролечим как надо, негодное удалим, — уточнил бородач. — Это главное. Тут работы — непочатый край, на месяц, не меньше. Да-да, по крайней мере с одним большим коренным придётся расстаться, — добавил он, заметив, как скривился пациент при упоминании об удалении. — Зато обойдемся, похоже, без имплантов. Радуйтесь.

— Рано. Всё впереди, — откликнулся невесело Иваныч, приготавливаясь выдвигаться к терапевту. — Скажите, а Полякова Анна Олеговна — опытный врач? Мне к ней сейчас.

— Очень. И, кстати, симпатичный, — подмигнул насмешливо бородач.

У терапевта Иваныч не заговаривал о новой анестезии: первый укол был так хорош, что обе щеки всё ещё оставались бесчувственными, задубевшими. После панорамного рентгеновского снимка зубов и обследования полости рта врач вкратце сообщила о предстоящем лечении.

— А сегодня удалим один зуб, — в завершение сказала она.

— Может в следующий раз, — растерянно предложил Иваныч, подумавший было, что на сегодня всё и разглядывавший открыто привлекательную Полякову.

— К следующему разу, господин пациент, десна подживет, можно соседний зуб депульпировать и восстанавливать — зачем же время терять. Сами будете потом ворчать: «Долго лечите». Хирург в соседнем кабинете. Сейчас выпишу направление.

Господин пациент едва не прокричал «Не буду ворчать!» Глядел в спину врача, склонившегося над столом, тоскливыми, неприязненными глазами.

В очереди к хирургу пришлось немного посидеть. Узнав, что обезболивающий укол уже ставили часом раньше, хирург постучал легонько инструментом по зубу-смертнику и спросил:

— Чувствуете?

— Ага, — поспешно соврал Иваныч.

Получив второй укол, он смиренно сидел в ожидании главного события. Лицо онемело уже от подбородка до глаз, губы казались отекавшими, перекошенными. Выглядел усталым, безразличным к дальнейшему. Но вот вернулся на своё место хирург, отошедший на несколько минут, произнёс страшное: «Откройте рот». Иваныч натужно повиновался, зажмурил глаза, вдавился в кресло так, что не будь оно намертво прикреплено к полу, опрокинулось бы вместе с седоком. Несколько профессиональных движе-

ний — и огромный больной зуб, зажатый щипцами, оказался перед глазами пациента, который пропустил сам момент удаления, а теперь не верил, что оно позади. Кровоточащая зубная лунка умело была обработана и обложена тампонами.

— Возьмете зуб? — спросил врач.

Иваныч попытался ответить, но вышло лишь мычание. Он приподнял руку и хирург вложил ему в ладонь обернутый салфеткой зуб.

Когда Иваныч резво и празднично выскочил из клиники и подошел к автостоянке, машина была пуста, Андрея рядом нет. Вспомнил, что договорился с ним созвониться. Доставая телефон, обнаружил в ладони салфетку с удаленным зубом. Рассмеялся осторожно и выбросил это в урну.

С тампонами во рту, понятное дело, молчал всю дорогу. У подъезда дома освободил рот, поблагодарил Андрея, попрощался, спросил его, поворачивая указательным пальцем вокруг своего лица:

— Как я?

— Вообще-то не очень, — сказал тот, помявшись.

— Понятно — жалкое выражение... погоди ещё чуток.

Иваныч зашел в продовольственный магазин, что располагался в двух шагах от дома. Скоро вернулся с пакетом, залез обратно в машину, извлек бутылку французского коньяка, одноразовые стаканчики для напитков, связку бананов.

— Выпьешь? — предложил Андрею.

— Нет, нет, Игорь Иваныч, мне через центр ехать.

— А я поправлю лицо, — выдохнул Игорь Иваныч и маленькими глотками с трудом выцедил наполненный почти до краёв стаканчик. Закусил бананом и тихо засмеялся: — Еле протолкнул, чай-борщай — анестезия глотку достала.



Вячеслав КУПРИЯНОВ

И СОЛНЦЕ ПОДНИМАЕТСЯ ИЗ МРАКА

ВЕСТЬ

В травах птичьего роста
вечно жизнь зелена.
Здесь в тишине погоста
ниже травы тишина.

Имя на каждой могиле —
слово в устах земли.
Вы для чего приходили?
Что вы за весть унесли?

Шумом подземного зова
зашелестела трава:
ради всего живого
словом ответь на слова!

КУПРИЯНОВ Вячеслав Глебович родился в Новосибирске 23 декабря 1939 года. По комсомольской путёвке работал бетонщиком и грузчиком на строительстве института в Новосибирске. Учился в Высшем военноморском училище. Окончил Московский педагогический институт, переводческий факультет. Мастер поэтического перевода.

Стихи самого Вячеслава Куприянова, в частности верлибры, в которых он является асом, переведены более чем на 40 языков мира. Опубликовано около 50 книг Вячеслава Куприянова на русском и других языках мира. Поэт является лауреатом более десятка литературных премий. Живёт в Москве.

Ведомо все нам и зримо,
знаем мы правду и ложь,
ты, проходящий мимо,
что нам за весть несешь?

В небо вросла корнями
белая память берез.
Ты, идущий за нами,
что нам за весть принес?

* * *

Вечности ветер, времени дым,
Все, что успеешь вдохнуть молодым,
Холод колодца из полных горстей,
Шум океана, лепет детей,
Матери песни, голос отца,
Все, что нельзя исчерпать до конца,
Все это в сердце горит у меня.
Дыма отечества нет без огня.

ЛЕС

Здесь каждый ствол — земная ось.
Вращаются листва и птицы.
Лишь нам когда-то удалось
с орбиты этой удалиться.

И мы в своих домах летим.
Чем дальше, тем сильнее тяга
вернуться к рощам золотым,
принять блуждание, как благо,

проникнуть в плотные слои
настоя из осин и сосен.
Здесь зреют замыслы твои,
здесь даже воздух плодоносен.

Здесь родниковая струя
смыкает с росами глубины.
Пусть крепнет праведность твоя,
здесь все создания невинны.

Иди и не твори обид.
Тори тропинку по приметам.
Здесь вдохновенный лес омыт
своими смолами и светом.

* * *

Когда идешь по солнечному лугу
Спокойно, словно впереди века,
И ты не веришь птичьему испугу,
Поскольку все вокруг наверняка,

Подумай о привязанности к югу
Капризного ребенка — ветерка,
Припомни ту случайную подругу,
Которой так легко сказать: пока! —

Исчезнуть и в душе посеять выюгу
И в помыслах навеять облака,
И сразу тени выступят округу,

И ломким льдом покроется река.
Когда идешь по солнечному лугу,
Будь счастлив, что дорога далека.

ПЕСНЯ

Я в лодке песню перевозил
До берега до другого.
Кто меня звал, и кто позабыл,
Кто не узнает снова?

Песня отталкивалась от весла,
Веселья воды не чуя,
Он пылала, стыла, плыла,
Плела про любовь былую.

С ней волны спорили наперебой,
Дал ветер ей волю овала,
Она не давала мне быть с тобой,
Тебе быть с другим мешала.

Ее от воды отраженный взлет
С птичьим сливался свистом,
И именем молчаливых высот
Он был причислен к пречистым.

Песня касалась крон и корней,
Свиданий ждала под часами.
За то, что туман стелился над ней,
Туман был взят небесами.

А я так берега и не достиг,
Да там меня и не ждали.
Но этой песни рассветный блик
Достиг ли твоей печали?

* * *

О вечная нерасторопность мужчин!
О женское нетерпенье!
Куда я под небом иду один?
Дождь идет в отдаленье.

Казалось, попросишь пить у меня,
До солнца дойду по своду,

Камень высеку из огня
И выжму из камня воду!

А ты сказала: я так ждала,
Был слышен шум океана,
Но я взяла стакан со стола
И напилась из стакана.

* * *

Чей голос долго в памяти звенит?
Из детства иволга? Весна ее забыта,
Она поет, и даже не сердита
На наш от шума одуревший быт.

Как мы живем, не чувствуя синиц?
Они поют всюду с началом света.
Уже горит не море, вся планета,
А мы не верим в правду небылиц.

Когда все деньги поклевали куры,
А серебро лишь в клювах у сорок,
Как не послушать птичьей увертюры,
И голубей влюбленный говорок?

Нам жаворонок выстрочил высоты,
Приречный воздух ласточки сплели,
Весну и осень свили журавли,
Кукушка сводит с жизнью наши счета.

Так пусть в душе ютится соловей,
Прелестные вытягивая ноты,
И пусть решает сердце, для кого ты
Хранишь все это в памяти своей.

* * *

Холмы покрыты золотом берез.
Теперь они совсем как купола
церквей,
где молятся березовым богам
во сне зеленом
божии коровки.

* * *

Никто не нашел царевну-лягушку,
Когда стрела потерялась.
Царевна-лягушка по весне плачет:
— Стань трава гуще и выше,
Подрастают мои дети.
Скоро будут у всех на виду,
Со всех сторон их увидят,

В невысокой траве догонят,
Найдут и сожгут их нежную кожу —
Нечем будет
Прикрыть наготу.

КВАРТЕТ

Гулко гудел контрабас:
Вот я тебе сейчас!

Вторил аккордеон:
Верно поступит он!

В скрипке лгала струна:
Я еще так юна!

И хохотал рояль:
Мне никого не жаль!

* * *

Приятно жить в родной стране
Среди забытого народа
И боли чувствовать в спине,
Когда меняется погода

От зноя летнего к дождю,
От потепления к морозу,
От императора к вождю,
И от пророчества к прогнозу.

И жить еще в чужом краю
Среди уверенного люда,
Где думу думают свою,
Когда исчезнешь ты оттуда.

И жить потом на небесах,
Которым я и ныне внемлю,
Где ангел, стоя на часах,
Следит: не смотришь ли на Землю...

* * *

Птицы поют: чижи, канарейки,
Звонкий, веселый народ.
А нам твердят: рубли да копейки,
Копейка — рубль бережет.

Птицы летят: гуси, гагары,
Лебеди, журавли.
А нам твердят: лиры, динары,
Все лучше, чем наши рубли.

А я утверждаю: журавль в небе
Краше стаи синиц!
А нам твердят: и в Аддис-Абебе
Пред долларом падают ниц!

О, эти трели, рулады, звоны,
Их не поймет скупой...
А нам твердят: обними миллионы
И про миллионы пой!

Арабские сунны, индийские шастры
Нам о высоком твердят.
А здесь галдят: пиастры! пиастры!
Пиастры отдай, говорят!

Так вот она, культура другая,
Взявшая нас живьем:
Помесь заморского попугая
С отечественным вороньем!

* * *

По-дружески вода беседует с гранитом,
По-женски гладь воды сочувствует руке,
И все, что на земле, не кажется забытым,
И все, что в небесах, совсем не вдалеке.

Цвет синего вина, и легкий запах йода,
И в шуме волн ответ на сотни «почему»,
И там, где море есть, там есть всегда свобода,
И там, где моря нет, там есть пути к нему.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
Душу сделают железной,
Камень сердцем наделят.
Будет властвовать над бездной
Совершенный автомат!

Электронные пророки
В кристаллической глуши
Заготавливают блоки
Для бессмертия души.

Здесь душа в печатной схеме,
Воплощение цифровом!
В мертвом вспыхивает время,
И немотствует в живом.

Докажи теперь попробуй
Силой собственного лба,
Кровью, мозгом и утробой,
Что в твоих руках судьба

Жизни краткой и чудесной,
Песни, скрытой тишиной,
И духовности телесной,
И небесности земной...

* * *

Мир захватили маньяки!
А вы-то хотели как?
Карабкаться вверх во мраке
может только маньяк.

Власть захватили воры.
А как же, если не красть,
Прокрасться как в коридоры,
Ведущие в эту власть?

Власть захватили бандиты!
Пришедший к власти бандит
В сопровождении свиты
В законе руководит.

Власть захватили звери!
Вверху самый хищный зверь,
Вниз в убывающей мере
Лестницу власти измерь.

Где же, вы спросите, люди?
Люди в самом низу.
Они мечтают о чуде
И пускают слезу.

Они, в звезду свою веря,
В шерсть укутав сердца,
Грезят, как выйти в звери,
Не потеряв лица.

* * *

О Русь, Россия, Запад и Восток,
Нелегкое наследье Византии,
То дикий юг уходит из-под ног,
То севером грозят перипетии!

Со стороны тускнеющей зари
Глядит Европа, трезвая, другая,
Как нас ведут на свет поводыри,
Клюкой слепого путь нам пролагая.

Все так же путь неясен и далек.
Как избежать бездушного потока?
Прикинуться ли жителем берлог,
Или орлом — всевидящее око?

Взойдет ли озарение в ночи
Над хаосом лукавого эфира?
Забьют ли животворные ключи
Даянием гармонии и мира?

Над пустотой нишающей души,
Когда подъемлем к небу очи наши,
Колеблются вселенские ковши,
Добром и злом нагруженные чаши.

А соловьи вещают про свое.
И свист лихой, где суета и драка.
Жар-птица плачет. Рыщет воронье.
И солнце поднимается из мрака.

РУССКИЕ СКАЗКИ

Солнце вспыхивает на реснице,
И волнуется море в зрачке.
Все благое не может не сбыться,
Если добрая сила в руке.

Словно кокон из ясного шелка,
Ткется время из яви и див.
Вот царевич садится на волка,
Волю хмурого зверя смилив.

Путь-дорога лежит самобранкой,
Но незримые рыщут враги,
Породнились гадюка с поганкой,
И в потемках не видно ни зги.

Будешь праведен, утро развеет
Наваждение мрачных чудес,
И ковер-самолет подоспеет,
С настоящих спустившись небес.

Только вовремя выручи братца,
И невесту от слез отвлеки,
Как за доброе дело не браться,
Если силы твои велики!

ПРИЗЫВ

Граждане! Братья мои дорогие!
В мире, где зреет вселенский мятеж,
Я призываю — любите Россию,
Англию, Индию и Бангладеш,

Грецию, Грузию, Данию, Чили,
Кубу, Китай, Уругвай и Непал!
Мы эти страны в школе учили,
Счастлив, кто в эти страны попал.

Да и Соединенные Штаты,
Каждый взятый в отдельности штат
Надо любить, ибо штаты чреватые
Страхом, что всюду грозит супостат.

Надо любить, несмотря на утраты,
Латвию, Ливию, Конго и Чад,
Гану, Арабские эмираты,
Нам за любовь да воздастся стократ!

Мир лишь в любви обретает опору.
Даже Израиль я не кляню.
Славьте Монако, Ирак и Андорру,
Обе Кореи, Литву и Луну!

* * *

Ночные звезды полыхают,
Дневного солнца яростный лик —
Вселенная не отдыхает,
На миг нанизывая миг.

За вспышкой вспыхивает вспышка,
Лишь мы живем навеселе,
Как медленная передышка
На неустойчивой земле.

* * *

Воздух лучезарен,
Ясен небосклон.
Снова день подарен,
Свет преподнесен.

День отраден бдением,
А на благо сна
Высшим провиденьем
Ночь припасена.

ТЕОРИЯ ОТРАЖЕНИЯ

Стань зеркалом и отрази
всё на земле и на небе
отрази солнце
видишь
зайчики попадают
в глаза несмышленных детей.

И дети
бросают в ответ камни
и матери им кричат:
— Перестаньте!
Разбитое зеркало —
это к несчастью!

И вот попадает камень
и делает тебя кривым
и ты отражаешь удары
и время
когда подрастают дети
отражаешь пространство
которое искривлено
враждой.

И надо своей кривизной
выпрямить изъяны мира
выпрямить души
так отразить искаженные лица
чтоб не осталось камня на камне
от всего
что их искажает.

НЕВООРУЖЁННЫМ ГЛАЗОМ

Глядя с земли
на небо,
я не верю,
будто любая звезда —

вечный огонь —
памятник
неизвестной планете.

Я надеюсь,
что ничья жизнь не померкла
ради их далекого блеска,
что никто не сгорел во тьме
ради их высокого огня,

что никто
ни у кого
не отнимал землю
ради их
безвоздушного
пространства.

* * *

Когда все тебя потеряют
и никто уже искать не станет,
тогда ты найдешь
и найдешь, что ответить тем, кто спросит —
где тебя носило, —
уверяет весенний ветер.

Скажешь — засыпало золотой листвою,
скажешь — увлекли перелетные птицы,
умыкнула серебристая рыба.

Не говори, что с пути сбивался,
что о горячий камень споткнулся,
долго лежал под снежной корою,
ждал, когда под нею срастутся кости.

Скажи — с первой травой вернулся,
скажи — на землю выронили птицы,
на берег выплеснуло с талой водою.

Не говори, если вернешься,
что тебя уговаривал ветер
не возвращаться.

ЗЕМНОЕ НЕБО

Ветшают старые храмы
отслужив свою службу
пора
сберегать их певчее царство
внутри нас

Тускнеют лики
на древних иконах
да сохранится их свет
на наших нынешних лицах

Размывает время
черты Спаса на фресках —
время
чтобы стали живее и чище
наши
собственные черты

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ

Государственные умы подсчитали
Сколько мне положено съесть
Белков жиров и углеводов
Чтобы не перейти за черту голода
За которой начинаешь сомневаться
В государственных умах

Государственные умы вычисляют
Какой минимум духовной пищи
Положен мне уже с раннего детства
Чтобы не испытывать духовной жажды
И воспитывать в себе с раннего детства
Прожиточный минимум совести
И государственный ум

Когда я вырасту
Я тоже стану
Государственным умом

Который уже все подсчитал
И все вычислил
Мне останется только
При минимуме совести и способностей
Жить по максимуму

СЛЁЗЫ МИРА

Еще не ведая мирского горя
Но уже осязая холод мира
И пугаясь его непроглядной ночи
Чистыми слезами плачут дети

И уже взрослые на краю жизни
Зачем они выросли не понимая
В беге времени улучив минуту
Плачут темными тяжелыми слезами

И все-таки все по-разному плачут
Чей-то плач разменная мелкая монета
А у иных и слезы золотые
Они их складывают в отдельную копилку

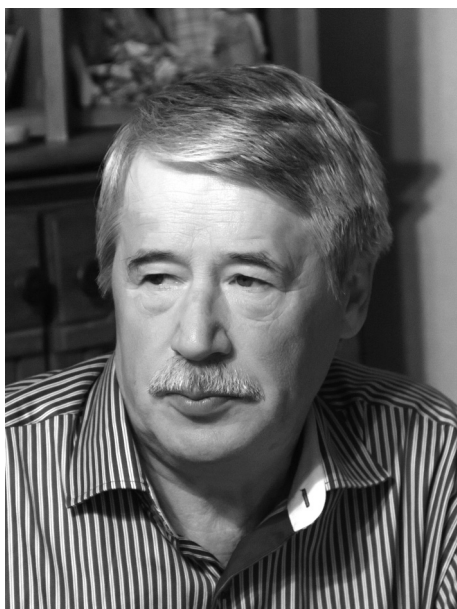
Глядя на людей и ангелы плачут
Их слезы снежинки в Рождественский вечер
А в обычные дни у их слез забота
Поддерживать уровень мирового океана

НОЧНЫЕ МЫСЛИ

Нет у ночи иных причин,
Кроме помысла темных сил
Постичь значение величин,
Не замечающих их светил.

Перекликается с тишью тишь,
Тень за тенью спешит во тьму,
Кто-то кличет — услышь, услышь! —
Слышу — эхо вторит ему.

Звездный дождь разверзает высь,
На спящие души струит бальзам.
На чей-то оклик — взглядишь, взглядишь! —
Вижу — в ответ, — но не верю глазам.



Павел КРЕНЁВ:
«А НЕ ЗАЙТИ ЛИ ВАМ КО МНЕ, ДОРОГИЕ МОИ!»
*С помором, мечтающим побеседовать с Пушкиным и Шолоховым,
 общалась Лола Звонарёва*

В 2019 году презентации новых книг прозаика Павла Кренёва, заместителя председателя Союза писателей России, — сборника рассказов «Берег мой ласковый» (М., Вече, 2019, серия «Проза русского Севера»), повести «Беляк и Пятнышко» (Гдыня, Прекрасный мир, 2018), политического детектива «Девятый», переведённого на болгарский, прошли в Махачкале, Нижнем Новгороде, Солотче, Гданьске, Калининграде, в старинном турецком городе Кайсери, в трёх болгарских городах — Варне, Шумене и Смядово. В качестве члена международного жюри писатель, ставший победителем по номинации «Проза» престижного фестиваля «Русский Гофман», принял участие в фестивалях в Калининграде, в городе Саки (Республика Крым), в Черногории и Рязани. Я задала ему несколько вопросов.

КРЕНЁВ Павел Григорьевич родился в 1950 году в деревне Лопшеньга, что на берегу Белого моря. Закончил Ленинградское Суворовское училище, факультет журналистики ЛГУ, аспирантуру Академии безопасности России.

Служил в Советской Армии, работал журналистом в ленинградской прессе. Долгое время состоял на военной и государственной службе России, являлся сотрудником Администрации президента РФ, был полномочным представителем президента в Архангельской области. Работал на руководящих должностях в российских федеральных ведомствах. Печатался в журналах «Нева», «Ленинград», «Наш Современник», «Москва», «Родная Ладога», «Вертикаль» и других. Лауреат нескольких литературных премий.

Живёт в Москве.

— Как вам кажется, почему именно политический детектив «Девятый», из тринадцати ваших книг, выбран для перевода в Болгарии?

— Детектив по своей литературной структуре и направленности всегда интригует, а это привлекает многих людей. Кроме того, Болгария географически расположена в непосредственной близости от тех событий, которые описываются в этой повести. Любая страна в переломное время может оказаться в эпицентре самых страшных, разрушительных событий. Кто мог себе представить совсем недавно, что Приднестровье, сугубо миролюбивая страна, подвергнется атаке международного терроризма. Но народ выбрал свой путь, который предполагал тесную взаимосвязь с Россией. Естественно, в начале 90-х годов это, мягко говоря, не понравилось многим ведущим державам, которые ломали все прежнее мироустройство. Для дестабилизации обстановки в Приднестровье и разворота её интересов были применены самые отвратительные средства и методы. Например, использование снайперов-наёмников против мирных граждан. Это было сделано для того, чтобы отвратить Приднестровье от России, которая якобы не в силах справиться с ситуацией. Завязалась война снайперов, о которой идет речь в этой повести. Тем, что Болгария и Приднестровье — соседи — и вызван интерес к повести, ведь такое вполне могло произойти в самой Болгарии.

— Вы работали полномочным представителем президента РФ по Архангельской области, вели телепрограммы на местном телевидении. Что, как вам кажется, определяет своеобразие Архангельска как города с интересной и необычной историей?

— Да, работа в Архангельске на крупных государственных и творческих должностях дала мне возможность в полной мере понять этот город, почувствовать его своеобразие и значение. Архангельск — морской авангард страны: крупный порт. Ещё Петр Первый определил его как «морские ворота в Европу», как центр российского кораблестроения. Правда, такое гордое звание город носил не долго — уже с началом строительства Санкт-Петербурга пальма первенства перешла к этому новому детищу Петра. Питеру всё легче доставалось: он был ближе к Европе, ближе к морю, его корабли не так били балтийские шторма, как поморские суда на суровых беломорских просторах. В любом случае, значение современного Архангельска как крупнейшей корабельной базы трудно переоценить. Ещё одна уникальность города — центр переработки российского леса. Изготовление пиломатериалов, целлюлозно-бумажной продукции, производство бумаги и картона, мебели — в этих сферах трудятся десятки тысяч людей. Свообразие города и региона также в том, что здесь идёт добыча и обработка алмазов, добываются нефть, газ, цинк, свинец, бокситы... Ну и, конечно, нельзя не упомянуть рыбную промышленность. Город обеспечен морепродуктами. Но самая большая уникальность Архангельска и всего поморского региона — его прекрасные люди. Простые, работающие, прямые и честные. Одним словом — поморы.

— Двадцать один год вы прожили в Ленинграде-Петербурге, окончили там Суворовское училище и факультет журналистики Ленинградского университета. Что для русской истории и культуры и для вас лично значит Петербург?

— Не знаю другого столь совершенного в своей красоте города, чем мой Ленинград — Санкт-Петербург! Его и создавали как несравненный шедевр. Пётр Первый — этот ревнитель своих творений — ваял его по лучшим архитектурным европейским образцам. Он хотел, чтобы прибывающие из Европы гости пленились и восторгались новым городом. Мы тоже любимся линиями, скопированными с амстердамских каналов, изысканностью на-

бережных, стройностью и продуманностью улиц, а также и целых кварталов. Поражает многообразие заимствованных в западных столицах архитектурных стилей, использованных при строительстве новой столицы. Тут органично всё: причудливые формы барокко, стройность монархического классицизма, уравновешенность ренессанса, устремлённые к небу стрельчатые очертания готики, манерность, утончённость и величавость рококо, строгая декоративность ампира, подчёркнутая простота конструктивизма... Я полюбил этот город сразу, как только в нём появился. Там мальчишкой я надел на себя военные погоны и, будучи кадетом Ленинградского суворовского училища, в не столь уж частые минуты увольнений гулял, открыв рот, по ленинградским улицам, площадям, переулкам, по набережным Невы, вдоль Мойки и Фонтанки. Я не мог надышаться Великим городом, его вечной красотой! Меня, поморского, деревенского мальчишку, этот город принял с добром и лаской, и я клянусь всем святым, что во мне есть: я никогда не позабуду, не выброшу из памяти тёплые объятия Летнего сада, где я гулял и читал на скамейках книжки, уют и грандиозное великолепие Воронцовского дворца, в котором располагалось наше училище и который стал моим домом на три юношеских года. В памяти останутся белые питерские ночи, слегка размытые очертания дворцов, парки Павловска и Петродворца, развод мостов над сонной Невой... Военные парады на Дворцовой площади, в которых довелось участвовать. Учёба, спорт... Всё это — моя далёкая и незабываемая юность! Тогдашний Ленинград — это ещё и моя студенческая молодость... Работа в ленинградской прессе... Годы военной службы... Здесь меня приняли в Союз писателей СССР. Питер подарил мне часть жизни, которая воспринимается сейчас в цветных, романтических тонах. Это дорогая для меня память. Признаюсь: в благодарность за проведённые в Ленинграде — Санкт-Петербурге годы считаю, что по праву могу называть этот город второй родиной.

— С 1987 года вы живёте в Москве, последние 8 лет — в центре столицы, на старом Арбате, рядом с домом-музеем, в котором провёл медовый месяц Александр Сергеевич Пушкин, женившийся на самой красивой девушке тогдашней Москвы Наталье Гончаровой. Какие эпизоды истории Москвы и какие её музеи вам особенно дороги?

— Не в укор Москве надо сказать: судьба всё же обидела её. Посудите сами: она многие века достойно выполняла функцию столицы великого государства. И вдруг в начале ХУШ века у неё отбирают этот статус и отдают его совсем ещё юному, ничем себя не проявившему городу на Неве. И в течение двух веков наполняют его самыми изысканными произведениями мирового искусства, располагают в нём (в отличие от Москвы) все основные высшие учебные заведения, переносят туда главные производственные мощности, насыщают город научными и культурными центрами, театрами, музеями. А Москва в тот период остаётся во всех отношениях на том уровне, в котором и была. Она постепенно становилась сонной, патриархальной, обычным российским провинциальным городом. В ней за долгие годы угас и потускнел столичный лоск. И, хотя с 1918 года она опять столица, Москве так и не удалось забрать у Санкт-Петербурга имя и значение центра мировой культуры. Правда, последнее утверждение отражает моё, может быть, излишне субъективное мнение, наверное, довольно спорное. Но факт остается фактом: музеев и театров мирового уровня у Северной Пальмиры куда как больше. Хотя знаменитая Третьяковка — хранилище мировых художественных шедевров. Заповедники «Коломенское», «Царицыно», «Кусково», Оружей-

ная палата, Московский Кремль, Алмазный фонд... Москве тоже есть что показать своим гостям, есть, чем гордиться. А вот исторических событий, которыми славится Москва, думаю, у столицы побольше, чем у славного Питера. Связаны они, прежде всего, с войнами, которых у нашей страны было предостаточно. И нападал враг именно на Москву — центр России и военный, и промышленный, и духовный. Сколько их было этих лютых войн, в которых Россия всегда побеждала? Полчища Тамерлана, несметные армады ляхов, армия Наполеона, вооружённые до зубов войска Гитлера — все они погибли у стен русской столицы! Я живу в центре Москвы, гуляю по Старому Арбату, по другим древним улицам, хранящим дух славной русской истории, и в сердце моём теплится радость оттого, что по этим самым местам когда-то так же, как и я, фланировали и любовались Москвой уважаемые мною люди: Александр Пушкин, разлюбезная жена его Наталья Гончарова, Сергей Есенин, Мариэтта Шагинян, Михаил Нестеров, Юрий Казаков. Все они жили в моём доме и в соседних домах. И кажется мне иногда, что вон, вдалеке показалась парочка молодожёнов Пушкиных. Сейчас приблизятся они ко мне, и скажу им совсем по-дружески: «А не зайти ли вам ко мне, дорогие мои! Да не испить ли нам чайку в дружной компании...». И вот мы сидим-посиживаем в моей квартире... И льётся тихая душевная беседа... И Александр Сергеевич читает новый стих, такой витееватый, озорной, чуток хулиганский. И Наталья Николаевна, откинув на софу кудрявую головку, весело смеётся. Будто ручеек журчит. И хорошо нам в такой компании.

— *Какие ещё города произвели на вас большое впечатление — Хельсинки, Афины, Гавана?*

— Человеческий мир создал и шедевры градостроительства, и нелепую, унылую, серенькую архитектуру. Все мы восхищаемся видами прекрасной Вены, великолепной готикой Германии, совершенством старинных дворцовых ансамблей Праги... И рядом — неяркие пейзажи Польши, Румынии, Болгарии. Страны с одинаковой исторической генетикой, например, скандинавские, расположенные по соседству, выглядят совершенно по-разному. Сравните, к примеру, Швецию и Норвегию. Эти страны жили и развивались вместе. Но пройдитесь по вечернему Стокгольму... Это же огромный, блистательный шедевр, а не город.

— *Вы дважды принимали участие в Горьковском фестивале в Нижнем Новгороде...*

— Каждый город, кроме присущей ему архитектуры, очертаний площадей и улиц, а также связанного с этим уникального, сформированного историей облика, имеет присущую только ему тональность, настроение, которое сразу ощущаешь, приехав туда. Идёшь по площадям Берлина и слышишь барабанный бой гремевших здесь парадов и звон офицерских шпор, в Вене и в Праге в ушах переливаются чудные мелодии вальсов гениальных композиторов, живших здесь когда-то... Париж полон голосами кокеток ХУШ века. А Нижний Новгород, в моём представлении, — это город-труженик. Причём, труженик любой — и инженер, и рабочий, и лётчик, и педагог, и студент. И купец! Торговцы-нижегородцы ворочали главными капиталами России. Он вполне уникален, этот город! Могу побиться об заклад с любым ревнителем истории о том, что нигде: ни в России, ни в другой стране вы не увидите сразу столько домов с таким количеством мемориальных досок. Половина домов — исторические памятники! Складывается впечатление: все славные люди России родились именно тут — в Нижнем Новгороде! Здесь повсюду им памятники. И это прекрасно! Город, создавший гордость стра-

ны, сам на века стал живым памятником... Он не бронзовеет в заслуженной славе, а всё время ищет и находит что-то своё, оригинальное. Видели ли вы фуникулёр, господа, в городах наших? Не где-нибудь на окраине, а в городском центре, чтобы проплыть над домами, над славными жителями, задирющими на вас головы? Можете не отвечать, знаю, что нет. А мне вот сподобилось. В замечательном городе воинской и трудовой славы. Проплыть над Волгой-матушкой и обозреть её безмерную ширь и красоту, и поклониться Великому городу!

— *Ваш самый любимый город? И почему именно он?*

— Мой самый любимый город — это моя деревня Лопшеньга, что стоит на берегу Белого моря. Место, где я родился, где лежат мои предки. И где я бы хотел лежать рядом с ними. Когда придёт время.

— *Вы опытный человек, повидавший немало. Какие качества вы особенно цените в людях?*

— А кого уважают и ценят люди? Честных, справедливых, не вороватых, не лукавых. Тех, кто на мир и на других людей смотрит открыто, не юлит, не прикидывается умничкой или же дурачком. Не врать, не брать чужое, быть с теми, кто тебя окружает, всегда и во всём правдивым, искренним. С такими людьми легко и просто жить, общаться, работать вместе, что-то создавать. Такие не бросят тебя в трудную минуту, не сподличают. С такими, как говорится, можно идти в разведку и в бой. Я в давние годы сформулировал для себя приоритеты, которым стараюсь следовать: нужно относиться к людям так, как ты бы хотел, чтобы они относились к тебе. И второе: если взялся за работу, делай её с любовью, и тогда у тебя всё получится. Стараюсь идти по жизни в согласии с этими установками.

— *Вы попали в Гданьск в день похорон мэра города — Павла Адамовича. Ваши впечатления и ощущения от этого старинного города, от посещения Российского центра науки и культуры?*

— События такого рода — покушения на видных государственных деятелей — не редкость. И всё же вид деревянного постамента, где только что был убит человек, плачущие люди, горящие свечи... впечатляет! Гданьск — бывший Данциг — был сильно разрушен во время войны, но то, что осталось — удивительные памятники архитектуры, прежде всего, готики. Поляки восстановили многие из них, и теперь это очень красивый город. Погиб мэр, был объявлен траур, и отменены культурные мероприятия. Мои встречи с читателями, запланированные на этот день, не состоялись. Но я был приглашен в Российский центр науки и культуры, где провёл много времени в общении с директором центра Андреем Анатольевичем Потёмкиным. Самое доброе впечатление произвел на меня этот человек. Интеллигент, эрудит, влюблённый в город, знаток русской и польской истории. Даст Бог, повидаемся с ним ещё.

— *Переводчик вашей прозы, глава издательства «Прекрасный мир» Малгожата Мархлевска пригласила вас посетить её творческую обитель — хутор, расположенный в 40 километрах от Гданьска и 7 километрах от небольшого городка Старогард. Ваши впечатления. Напоминает ли польский хутор жилища поморов?*

— Малгожата — старая знакомая, образованный человек, прекрасно знает русский язык, великолепный переводчик и литератор. Живёт с мужем, бывшим военным, на хуторе в лесу. С двумя собаками, в окружении зайцев, лис, белок и ёжиков. У них тихо, прекрасный воздух и благолепие. С северными хуторами сравнить не могу, у нас нет хуторов. Людям на Севере в суро-

вых условиях в одиночку не прожить, они живут коллективно в деревнях и посёлках.

— В прошлом году в издательстве «Прекрасный мир» вышла на польском языке в переводе Малгожаты Мархлевской ваша повесть «Беляк и Пятнышко». Почему именно она заинтересовала польских издателей?

— В мире давно проклюнулось и стремительно развивается новое экологическое сознание. Мир наконец-то начинает обретать понимание того, что человек — не какое-то уникальное создание природы, а маленькая составная её часть. И вся флора и фауна, весь животный мир, обитатели лесов, полей и рек и сам человек — это единая структура, единый организм, который должен гармонично действовать на всей земле. Изъятие из этого механизма хотя бы одного вида растения и животного приводит к природным коллапсам. В своей повести я касаюсь этого, в ней показано, что человек в угоду своим интересам едва не уничтожил гренландских тюленей. Мою озабоченность разделяет польская поэтесса и издательница Малгожата Мархлевска, которая, кстати, по одному из образований ветеринар и знаток мира животных.

— Вы впервые побывали в столице крестоносцев Мальбурге. Что больше всего запомнилось?

— Мальбург — логово бывшего рыцарского Тевтонского ордена. Того самого, который делал регулярные религиозные и грабительские набеги на Русь, на другие страны. Впечатляет огромный, угрюмый замок, длина его стен — четырнадцать километров. Здесь веками жили воины, державшие в страхе полмира. Впечатляют бронзовые фигуры четырёх рыцарей — магистров Тевтонского ордена, стоящие у входа в замок. Один без кисти, отрубленной в бою. Эти бывшие грозные владыки жестокими, угрюмыми физиономиями и сейчас наводят страх. Внутри замка холодно и темно. Впрочем, именно в таких условиях, наверное, и должны были жить рыцари.

— Автор монографий о русских писателях (от Бориса Зайцева до Дины Рубиной) профессор Иоанна Мянговска пригласила вас в старинный город Торунь, где родился Коперник.

— Да, Торунь — град великого Коперника, величественный памятник его украшает одну из центральных площадей. Нас встретила пани Иоанна Мянговская, профессор русист. Показала центральную часть города потрясающей красоты. Этот город не тронули бомбардировки Второй мировой войны, люди любят дома, построенные в XIII-XV веках! Редкое зрелище. Состоялся разговор с нею и её мужем Рышардом в старинном кафе под названием «Сова». Речь шла о том, что не стоило бы разрывать культурных связей между Польшей и Россией. Доброе впечатление осталось от этих людей.

— Вы выступали в Центре русского языка при Краковском педагогическом институте перед изучающими русский язык поляками, белоруссами и украинцами, встречались с известным русистом Люцианом Суханеком. Что вас порадовало, что удивило?

— С профессором Суханеком я встретился не в первый раз, это была встреча добрых знакомых. Договорились, что он будет готовить поездку в Москву для сбора необходимого ему научного материала. Кстати, его супруга прочитала мою книгу и передала мне через него довольно тёплый отзыв о моей прозе. Краков — очаровательный старинный город, чудом уцелевший от бомбежек. В процессе встреч с читателями я подчёркивал заслугу советских войск под командованием маршала Конева, спасших Краков от фашистского разрушения.

— *Руководитель краковского центра русского языка пани Хелена Плес предложила студентам подготовить перевод вашего рассказа «Королевская охота». С какой книги вы посоветовали бы читателям начать знакомство с вашим творчеством?*

— Я благодарю талантливого руководителя Хелену Плес за эту её инициативу. Знаю: она искренне любит русскую литературу. Что касается моей книги, то не знаю, что и посоветовать. Все мои книги для меня дороги. Они все — любимые мои дети.

— *В этом году в московском издательстве «Нонпарель» вышел сборник статей «Павел Кренёв — вдохновенный певец Поморья», где о вашем творчестве рассуждают такие разные критики и писатели, как Лев Аннинский, Владислав Бахревский, Владимир Бондаренко, Владимир Личутин, Николай Дорошенко. Чья оценка вашего творчества представляется вам наиболее объективной?*

— Каждый из этих талантливых людей открыл что-то своё как для читателя, так и для меня самого в моей прозе. Я всем им очень благодарен.

— *Вы в этом году выступали во многих крымских городах — Ялте, Симферополе, Симеизе, Севастополе, встречались с вице-губернатором Севастополя и заместителем мэра Ялты. А чем вам запомнился пятый юбилейный фестиваль «Интеллигентный сезон» в городе Саки, куда вы были приглашены в качестве члена жюри?*

— Состоялось грандиозное мероприятие в масштабах всего Крыма. Фестиваль в буквальном смысле отвечал своему названию — «Интеллигентный сезон». На него съехалась вся интеллигенция этой республики. Отрадно, что администрация города Саки обращает такое пристальное внимание на культуру — на открытии и закрытии присутствовало всё руководство города Саки, приехала сотрудница Министерства культуры Республики Крым с приветствием от министра. Одним из центральных мероприятий стал творческий вечер главного редактора «Литературной газеты» Максима Замшева, на котором он представил свое видение прошлого, настоящего и будущего газеты, уточнил требования, которые сегодня предъявляются к ее материалам. Мой творческий вечер состоялся сразу после него, но я посчитал необходимым в некоторых ключевых позициях сослаться на выступление главного редактора «Литературной газеты». Приятно, что четверо из шести в составе авторитетного жюри фестиваля «Интеллигентный сезон» оказались членами Союза писателей России. Радует, что среди победителей в этом году также немало членов нашего творческого Союза — это Маргарита Сосницкая из Милана, представившая интересную пьесу, прозаик Николай Ивеншев из станицы Полтавская Краснодарского края, детский писатель Камиль Зиганшин из Уфы. И даже гран-при получил бард из Подмосковья Сергей Леонтьев, тоже член нашей писательской организации.

— *В Велико Тырново, в издательстве «Ивис» в прошлом году вышел сборник научных трудов и эссе «Филология, социальная коммуникация, литература» в честь 70-летия члена Союза писателей России, председателя международного Союза писателей имени святых Кирилла и Мефодия, известного литературоведа Ивайло Петрова. В нём опубликован ваш очерк «Я свидетельствую...»*

— Наверное, в мире нет более длинной дискуссии, чем дискуссия об авторстве «Тихого Дона», несмотря на научные работы российских и зарубежных ученых, неопровержимо свидетельствующих, что автором этого произведения является именно Михаил Шолохов. Из года в год возникают все новые и новые «доказательства», что такой молодой человек, да еще полуграмотный не мог написать столь гениальный роман. Я считаю, что мне

полностью удалось убедительно показать, что именно этот молодой человек по имени Михаил Шолохов является его автором. Если в двух словах, то — в качестве прототипа главного героя он взял своего дальнего родственника — Харлампия Ермакова и полностью, в деталях, наделил его внешностью, его боевыми успехами, воинским званием, привычками главного героя романа Григория Мелехова. Полностью совпадает боевой путь Харлампия Ермакова и Григория Мелехова, название населённых пунктов, где воевал Харлампий Ермаков, воинских частей, где он служил. Мелехов даже имел те же самые награды, которые были у Харлампия Ермакова, то же самое казачье звание. Когда Харлампий Ермаков находился в тюрьме, в городе Шахты в 1927 году, Михаил Шолохов посещал его в камере и записывал последние сведения о его жизни и боевом пути. По забавному совпадению Михаил Шолохов жил в соседнем со мной доме № 35 по московскому переулку Сивцев Вражек, который выходит на Гоголевский бульвар, где установлен памятник Михаилу Шолохову, мимо которого я часто прохожу. И мне благостно от того, что я тоже вложил свой кирпич в достойное здание его памяти, защищающее от нападков и клеветы великого русского писателя. А когда прохожу мимо дома, где он жил, мне хочется подняться по ступенькам к его квартире, зайти к нему в гости и посидеть с дорогим мне человеком, попить с ним чайку, посудачить о житье-бытье...



Анатолий ПОБАЧЕНКО

«НЕ БУКВА, А ДУХ СОЗИДАНИЯ»
Поэтический подвиг Юрия Ключникова

Мировая поэзия имеет древние корни, и погрузиться в неё, найти что-то своё, родное, близкое русской душе — великий соблазн утонуть навсегда, забыть себя. И надо иметь огромное желание, мужество, высокий дух «самостояния», чтобы открыть нечто для родины, совершить удивительно трудное дело — взяться переводить поэзию мира. Духовный проект Юрия Ключникова, именуемый как перевод великой Всемирной поэзии на русский язык, задуман в молодые годы, когда он изучал иностранный язык (французский), совершенствовался и рос как поэт России, видел не только поэзию европейскую, но и суфийскую, китайскую, англосакскую.

Уже в первой половине XX века в русской поэтической традиции сложились две различные школы перевода. Одна стремилась точно передать текст оригинала, неукоснительно следовать ему, не отклоняясь от подстрочника в передаче даже оттенков смысла. Другая исходила из того, чтобы «при переводе возникли хорошие русские стихи» (В.Левик) и было б целостное видение истории. Согласно этой

ПОБАЧЕНКО Анатолий Николаевич родился в 1944 году в Новосибирской области. Образование высшее филологическое.

Публиковался в газетах и журналах Сибири, Москвы, Санкт-Петербурга, Германии — публицистика, проза, поэзия (переводы). Редактор-составитель литературных альманахов «Аквилон». Руководитель ЛИТО «Сибирский Парнас», главный редактор литературного журнала «Сибирский Парнас». Автор нескольких сборников стихов. Лауреат литературных премий.

Живёт в Новосибирске.

традиции требовалось передать дух стихотворения, которое смогло быть пропущено через душу и разум человека. В этом случае нет нужды искать в них буквальную точности. По мнению Станислава Джимбинова, Юрий Ключников относится ко второму направлению. Он не только владеет мастерством поэтического слова, но и умением выразить ясный смысл с учётом национальных особенностей стиха.

Ещё Петр I решительно высказывался о понятиях, которые не значились в русском языке, указывая переводчикам, что «должно писать внятнее». Со времён Радищева, Тредиаковского русская литература набиралась опыта и совершенствовалась в переводах, искала пути и методы в переносе иностранных произведений на русскую почву. Многие прекрасно изъяснялись на французском языке, но по-русски не умели писать или писали коряво, однако на простонародном свободно общались, используя в полной мере остроту и выразительность русской речи. Переводить ли слово в слово, строить фразу так, как у автора, строго придерживаться размера и строфики оригинала? Или, выдерживая форму текста, найти свои национальные особенности и создать новое произведение, внося в него энергию, дух, художественное своеобразие русского языка?

Виссарион Белинский постоянно повторял, что близость к подлиннику заключается в передаче «не буквы, а духа создания». Эстетическая и художественная формулы даны на века Пушкиным: «Истинный вкус состоит не в безотчетном отвержении такого-то слова, такого-то оборота, но в чувстве соразмерности и сообразности». Чудо поэзии возникает тогда, когда сохраняется характер взаимосвязей «союза волшебных звуков, чувств и дум».

Примеры знаменательны: поэтический перевод Тредиаковским романа Фенелона «Похождение Телемака»; своя воля в переводах, в подражаниях Шиллеру, Байрону, Гёте В.А. Жуковским; включение собственных сочинений (песни Мери и Председателя) гением ямба А.С. Пушкиным в переводы Джона Вильсона «Чумной город», песен западных славян (использование трохеического десятиерца: «Два дубочка вырастали рядом...»). Вольность допускалась и при переводе античных авторов, в подражаниях Мицкевичу, вплоть до замены названия баллады («Воевода»).

Кто спорадически, кто постоянно после «пушкинской поры» перевоплощали на русский язык произведения мировой поэзии: Лермонтов, Тютчев, Фет, Майков, Мей, Плещеев, Михайлов, Курочкин... Имена многих поэтов принадлежат близкой к нам истории переводческой деятельности: Блок, Маршак, Пастернак, Шервинский... Идеи «всемирной литературы», выдвинутые ещё Гёте в последние годы его жизни, продолжают жить и сегодня. Актуальны для нашего времени слова Гёте: «...что бы ни говорили о несостоятельности переводческого труда, он всегда был и будет одним из важнейших и достойнейших дел, связующих воедино вселенную».

Институт перевода поэзии у нас сегодня почти рухнул, поэтому ценна всякая попытка пойти против течения и вернуть русской поэзии перевод, как возможность диалога с другими культурами и странами.

Русский поэт Ю.М. Ключников, живущий в Новосибирске, в одиночку вот уже несколько лет осуществляет свой проект по сближению великих культур и единению народов. Он неустанно (по 10-12 часов в день) ведёт свою подвижническую деятельность, внося немалую лепту в общее дело. Жанр «перевода из...», подражаний, заимствований, переложений, вольного перевода, пародий, откликов, переключек, стихов по мотивам существует не-

смотря ни на что! Однако два способа переводов («верный» и «вольный») доминируют при освоении мировой литературы.

В сборнике стихов «Дом и дым: лирические итоги» Юрия Ключникова были опубликованы некоторые переводы с французского (этой «заразы» в русском языке, по Шишкову), что стало прелюдией воплощения огромного замысла: найти для себя и для любителей поэзии общие корни великих творений. По мере углубления в стихию поэзии Франции поэт постепенно, через многие годы убедился в необходимости дать панораму лирики от трубадуров до современных модернистов. Период в восемь веков стал для автора первым толчком, разгоном для мощного корабля — одному создать антологию французских поэтов с XII до XXI века. Это стало началом неустойчивого взлёта Юрия Ключникова к освоению мировой поэзии не только Европы, но и Азии, Америки, желанию приблизить её к русскому человеку, показать богатство и единство великих культур. Образцом для автора была переводческая деятельность Пушкина, его неоспоримая точность в передаче смысла слова, удивительное проникновение в ткань и дух стиха. Именно этими качествами поэт-переводчик отличается от переводчика-профессионала, знатока языка.

Михаил Лермонтов перевёл в 1840 году из Гёте стихотворение «Ночная песнь странника», начиная фразой «Горные вершины», но в немецком оригинале 3-х стопный хорей звучит лишь в первой строчке («Über allen Gipfeln / Ist Ruh...»), а остальные написаны Гёте неравноиктным (вольным) дольником. Однако эта первая строка и дала нашему поэту выбор русского размера. Но есть ли точность у него? Да, у Лермонтова — точное соотношение временных планов в стихотворении (от настоящего к будущему) и совпадает с выводом. Этот пример перевода даёт исторический экскурс в развитие хорей в русской поэзии, раскрывает чудо возможностей перевода на русский язык.

Юрий Михайлович приводит любопытный пример: «Лермонтовский вариант попал на глаза одному известному японскому поэту и так понравился, что японец решил перевести стихи на японский. Что получилось? А получилось трёхстишие «хокку» — поэт сидит в саду камней под отцветающей сакурой и грустит о том, что красота цветения этого дерева слишком коротка». В такой интерпретации знает Гёте, а также Лермонтова массовый японской читатель. Когда же переводчик стремится досконально копировать чужую метрику и непривычные образы, это редко ему удаётся, к тому же претензия на точность убивает саму поэзию. Поэтому «телега впереди лошади» в данном случае это не умаление оригинала, но, наоборот, правильная расстановка акцентов.

Юрия Ключникова меньше всего (но не настолько, чтобы совсем не учитывать) интересует формальное изящество стиха: «Окунувшись в стихию французской поэзии, ярко явившейся ещё в XII веке, я убедился, как напряжённо билось духовное сердце Франции во все века». Критерием для него становится — *«Мне важно из безмолвного былого / Извлечь живую суть живой души»*.

В новом сборнике «Откуда ты приходишь, красота?» (2014) в три раза расширена подборка поэтов Франции, даны биографии 57 поэтов, более 250 стихотворений. Кстати, название сборника взято из Бодлера, что весьма символично! Эта работа началась ещё в 1960-е годы, когда автор, изучив самостоятельно французский, стал переводить символистов. Переводчик, используя оригиналы, исходит из того, что современной России важно на своём родном языке почувствовать в поэтических формулах то, о

чём думали, мечтали, чем были взволнованы люди другой культуры. Поэтому Ключников даёт широкую картину творческих исканий Франции, дополняет стихи развёрнутыми эссе о личностях-поэтах, подчёркивая родство великих культур, помня связующую роль русского гения Пушкина в этом диалоге.

Потребность подобных антологий, особенно для молодого поколения (для школьников, студентов), очень велика, ибо в России помнят великие творения Вийона, Ронсара, Гюго, Бодлера, Верлена, Рембо, Элюара, Сент-Экзюпери. И несомненно, эта книга переводов внесёт свой вклад в укрепление русско-французских связей. Автор не был равнодушным к представленным поэтам. Выбор того или иного поэта определялся (впоследствии — не только французских) близостью темперамента, искренностью и поэтическим настроением, открытиями, пусть небольшими, но яркими в истории поэзии.

В его творческую стратегию входило стремление дать новый взгляд русского человека на поэтов Запада, избежать «тёмных» мест верлибра (Малларме, Валери), сохранить главный смысл авторского стиха, основной образ, внутренний настрой, гибкую эмоцию строф. Ключников практически во всех стихах использовал рифму, избегал верлибра (к нему обращались поэты Франции, да и не только этой страны, в связи с особенностями языка, ударения, в частности, в нём). Вообще говоря, иностранная поэзия — одна из закрытых областей чужого искусства в силу того, что русский переводчик имеет дело с иным языком, с его своеобразными формами, иным мироощущением. А рифма в русском стихе способна в эффекте созвучия оживлять стихотворение, держать образ, не позволяя расползтись по пространству тонких поэтических смыслов.

Отвергать свободный размер стиха невозможно, как и игнорировать вообще. О появлении его в русской поэзии говорил Пушкин, его использовали в своём творчестве Фет, Блок. Засилье свободного размера наблюдалось у поэтов конца XX века, особенно у тех, кто не знал классику и не способен был овладеть рифмой. «Вперёд к классике», — вот девиз Юрия Ключникова, и ему он неизменно верен. Лев Аннинский справедливо и точно заметил основное в творческом пути поэта: «Тысячи своих строк он выдержал в рамках державинско-пушкинской традиции, не польстившись ни на какие авангардные уловки». Действительно, дух классической русской поэзии остался, при этом совершенствуется силлабо-тоническое стихосложение, мысль поэта отточена не только проблемами современности, но и обострена болью души, непоколебимой верой в человеческий разум и доброту сердца. Поэт Ключников в первую очередь — яркий мыслитель, блестящий стилист, стихотворец, несущий знамя классики в новое время, а во вторую, он — писатель, свободно владеющий всей полифонией русской речи, её великолепными тропами. Только такой замечательный русский мастер стиха может так талантливо «перевыразить» (выражение Пушкина) Аполлинера:

*Попрощаемся молча, без звука.
Лето кончилось. Осень. Пора.
Вряд ли завтра увидим друг друга.
Не забудем, что было вчера.*

Его перевод становится фактом русского языка, так как законы русской речи важнее законов языка, с которого переводят. Он выбирает главное и второстепенное, поэтому-то пресловутая «дословность» неприменима в

поэзии. Ассоциативность в каждом языке особая, невозможно вообще определить степень допустимого отклонения в переводе стиха (ритма, рифмы, метра, количества слов). Главное — сохранить дух индивидуальности переводимого поэта, понять и отразить историческую судьбу выбранного стихотворения. Ярко выражена привязанность, любовь Юрия Ключникова к творчеству многих поэтов, стремление передать этот праздник души русскому читателю.

«Талант — это огромное терпение, а оригинальность — это воля, упорство и напряжённое внимание». Эти слова Гюстава Флобера характеризуют и Юрия Ключникова. Завершая переводы поэтов Франции, он «воспевает самую дорогую ценность, в которой мы едины с нашими братьями по перу, — свободу. Не только свободу от любых форм внешней зависимости, но и свободу пушкинскую, «тайную», свободу от денег, пошлости, себялюбия, ненависти. Поэты «глубокой лирики», верующие, непрерывно растущие в духе и способные к раскаянию, патриоты своей родины интересны стихотворцу. Чувство ответственности перед Францией звучит в словах Гийома Аполлинера: «Все мы сегодня в великом долгу перед судьбой нашей Франции милой». Поэтому резонен для нас вопрос русского поэта: «Много ли сегодня среди российских деятелей культуры тех, кто мыслит так, а не выставляет возрастающий счёт государству за обиды или недополученность чего-то?!».

Юрий Ключников — это патриот своей родины, певец русской традиции, но и одновременно восточник. Он совершил шесть путешествий по Индии, встречался с мудрецами этой страны в ашрамах. Об этом его книга «Я в Индии искал Россию. Странствия по Ариаварте». И то, что он пришёл в своём творчестве к поэзии Востока, говорит о цельности личности поэта, его неуёмности и одержимости характера.

Новый сборник вольных переводов и подражаний (особое внимание на определение) суфийской поэзии «Караван вечности» (2016г.) включает в себя более 500 стихотворений выдающихся суфийских поэтов и мудрецов средневекового Ирана, Турции, Средней Азии, Индии. Время жизни авторов с VIII по XX века. Они писали преимущественно на фарси, частично на арабском и тюркских языках. Почему Ключников обратился к суфийской поэзии? Первое и главное — любовь к Востоку! Лучше всего сам поэт говорит о причинах: «Сейчас внимание к исламу приковано, главным образом, в политическом и военном смысле. В наши дни слово «халифат» часто звучит как синоним надругательства над этими заветами. Но было время, когда арабский халифат территориально простирался от юга Европы до Китая, а культура ислама была высокоразвитой и блистательной. Она дала мощный толчок развитию европейской литературы, медицины, астрономии, математики и даже христианского богословия. Имена Омара Хайяма, Фирдуоси, Авиценны, Хафиза, Руми служат до сих пор объектом мирового почитания». Великолепно и сегодня звучит Омар Хайям в переложении поэта:

*Не со всяким делись затрапезным вином.
Пей с подругой, с дружкой, даже с мудрым врагом.
Если нет ни того, ни другого, ни третьей,
Пей с четвертым — со знающим меру умом.*

Или в иной форме (афоризмы) разных суфийских орденов:

*Мы не учёные сегодняшнего мира.
Мы — из безвременных миров и из эфира.*

*Когда вам кажется, что суфий говорит не то,
Вам истины его не сообщит никто.*

Но подлинный ислам никогда не проповедовал ни терроризма, ни вандализма. Более того, джихад как борьба с невежеством трактуется в официальном шариате прежде всего как усилие по уничтожению неверия в себе, по ликвидации собственного невежества, пороков и недостатков личности. Поэтому новая ступень творческого устремления корабля Ключникова привела его к вершинам поэтического Востока, переложению прозы, притч, к вольным переводам стихов суфиев.

В сборнике стихов и переводов «*Душа моя, поднимем паруса!*» (2015г.) дано избранное творчество за сорок пять лет (с 1970 по 2015г.). Здесь появляются поэмы по легендам Востока: «Ковры», «Золотое озеро», «Певец и хан», а также впервые публикуются подражания персидской (суфийской) поэзии (пять великих поэтов). Обращение к суфийской поэзии переводчика неслучайно и даже закономерно. Он полностью погрузился в эту великую культуру и с караваном поэтов Азии пришёл в XXI век, за что ему и благодарны современники. Имея богатую и древнюю историю, восточная культура своей магической красотой, своеобразной формой благотворно повлияла на европейскую литературу.

Культура восточной поэзии пробудила в трубадурах Прованса жажду творчества, направила стихосложение европейцев к новому развитию.

Первый сонет был написан в Сицилии юристом Джакомо да Лентини примерно между 1230 и 1240 годом и затем распространился по Европе.

Многое говорит о том, что сонет как поэтическая форма возник в среде провансальских трубадуров, песни которых навеяны средневековьем не только Европы, но и Востока. Восточная газель, можно думать, произвела неизгладимое впечатление на творчество европейцев своей изящностью, напевностью. Газель превратилась в средневековую форму сонета по ряду значимых элементов. Она состоит из 3-14 бейтов (двустихий), обычно 7 бейтов, т.е. 14 строк. Для газели характерна восточная пышность, яркая образность, метафоричность, в ней нет развития фабулы, образной динамики. В этой форме заложена мощная традиция восточной поэзии. Влияние её на поэтов Европы несомненно.

В одной из двух сохранившихся временем газелей азербайджанского поэта Гасан-Оглы Иззеддина (конец 13 – начало 14 века) – 14 строк (7 бейтов): «И душу выпила мою животворящая луна!» (перевод П.Антокольского). Многие стихи-газели Алишера Навои состоят из 14 строк: «Встречай вином и вечер, и восход...» (пер. С.Иванова), «Ветер утра! Всё любимой, чем душа полна, – скажу...», «В ту ночь моей печали вздох весь мир бы мог свести на нет...» и другие. Учителем Навои был великий Джами! Своеобразна и интересна форма строк и стоп (мусаббе – семистопие). На венок сонетов, сложнейшую форму, возможно наложили также свой отпечаток газели, так как в восточных диванах (сборниках стихов) они собирались не только в алфавитном порядке, но и в виде венка, когда последняя буква предыдущей газели становилась первой буквой последующей. А у европейцев – переносились без изменения строки!

В отличие от переводов поэтов Франции, где автор имел дело с оригиналом, суфийская антология создавалась на иных принципах: работа с под-

строчником, изучение переводов других авторов, комментариев русских и зарубежных востоковедов, прослушивание аудиозаписей, исследование особенностей исторических условий, использование опыта предшественников. Прибегая к формам русской классики, поэт «уходил в мысленное погружение, пытаясь почувствовать, что хотел выразить автор». От Рабии до Хомейни, до притч Ходжи Насреддина Ключников предлагает своё восприятие поэзии Востока. Увлекавшийся ею в течение всей своей жизни, он создал по исламским мотивам свои стихи (также подражания суфиям) на 624 страницах антологии «Караван вечности».

В связи с творчеством Юрия Ключникова многозначительно напоминовение мастера слова XX столетия Идриса Шаха: «Суфизм — это школа внутреннего прозрения, а не обсуждений (*и не переводов.* — Ю.К.). Суфизм — преобразование, а не заучивание информации, полученной из вторых рук. То, что имеет отношение к просветлению, не может быть выражено словами. Как сказал Джалаладдин Руми: «Что бы я ни произнес, описывая и объясняя слово «Любовь», когда дело доходит до самой Любви, я стыжусь своих объяснений». Эту великая мудрость суфийских поэтов необходима и для нашего поколения россиян.

Новый сборник стихов «Поднебесная хризантема» (2018г.) — часть большого литературного и культурного Проекта, который, невзирая на преклонный возраст, продолжает осуществлять Юрий Михайлович. С 1977 года он уделяет особое внимание литературе Востока. Изучая, в частности, китайскую поэзию Ключников столкнулся не только с особенностями этой древней культуры, сложностью языка, но и с авторитетным мнением китаеведов (например, с мнением В.М. Алексеева), что стихи китайцев желательно переводить белыми стихами. Однако автором-переводчиком двигало желание продолжить традицию русской классики: при вольных переводах (а эта «вольность» неизбежна, так как поэт не знает языка) не только учитывать верность букве (знаку), но и следовать красоте духа и образов. Ключников убеждён, что без русификации китайской поэзии не обойтись. Показательны в этом плане переводы Л.З. Эйшлина, который довёл до совершенства свой метод (используя ударные слова, цезуры). Разное поэтическое мышление можно увидеть при переводе «Персикового источника» Тао Юаньмина на русский язык Л.Эйшлиным и Ю.Ключниковым: точный подстрочник, сохранение имён и топонимии, простота и приземлённость строк одного и мотив общемировой легенды-мечты о Беловодье (на Руси) и Шамбале (на Востоке), ясность смысла, чёткий ритм стиха, рифма, уход от имён — другого. Но тем-то и интересен для русского читателя великий китайский поэт!

Осознавая всю ответственность за свой Проект, Ключников совершил огромную работу по переводу «пресных» китайских стихов. На первый взгляд, они просты, в них находятся почти одни и те же пейзажные образы: луна, река, лодка, известные, казалось бы нам, цветы, растения, но внутренняя сущность глубоко скрыта в них многими ассоциациями, иногда историческим смыслом, накопленным поколениями китайцев. Дети в Китае зубрили священные тексты (на уроках стоял страшный шум!), знали источники наизусть, и эти каноны передавались во времени. Сегодня образование изменилось не в лучшую сторону, в русских школах наизусть учат мало, летописи вообще неизвестны молодым, а понять поэтов прошлого — это проблема для современников. Есть образцы национальной литературы, достаточно крупные, где переводы с подстрочников никуда не годятся, хотя в Советском Союзе общий уровень перевода был довольно высокий вслед-

ствие того, что ими занимались крупные поэты. Анна Ахматова, к примеру, перевела произведения почти 150 поэтов с 78 языков.

Китайская поэзия достаточно краткая, расширять перевод, включив в него некоторые объяснения, нет необходимости. Это делается иногда с определённой целью (у Ю.К. при переводе фрагмента поэмы Тао Юаньмина). Интересно, что переводчики В.Егорьев и В.Марков, подготовившие «Свирель Китая», первый сборник китайской поэзии на русском языке (он вышел в начале XX века), примерно так и действовали: китайское стихотворение в двадцать иероглифов превращали в короткую поэму на сто с лишним слов, что ни к чему хорошему не привело. Недаром говорят, что сердце мудреца и, следовательно, сердце поэта должно быть как остывший пепел. То есть, следует браться за творчество только тогда, когда в тебе эмоция перегорела, но многие ошибочно считают, что произведение нужно создавать на пике эмоций.

Перевод — труд сложный, неблагодарный, и никогда нельзя предсказать результата. Например, японцы пошли по замечательному пути: они любое произведение, даже очень пространное, вроде «Войны и мира» Л.Н. Толстого, переводят помногу раз. «Евгения Онегина» А.С. Пушкина китайцы и так и эдак пытались переводить, но там есть вещи, которые китайцу трудно понять. В традиционном Китае были другие взаимоотношения между мужчиной и женщиной, поэтому конфликт этого произведения — за гранью понимания китайского читателя. И нам-то многое уже не очень понятно без комментариев Лотмана или Набокова: сама нужда в комментариях к произведению первой половины XIX века уже говорит о сложности проблемы даже для носителей языка, культуры и традиций. Нам необходимы пояснения даже сравнительно простых бытовых деталей, а уж глубинных культурных смыслов — тем более. Замечания и рассуждения многих учёных-китаеведов поучительны для переводчиков, они ещё раз говорят о сложности переводческой и одновременно поэтической работы.

В статье А.С. Пушкина о Мильтоне и о Шатобриановом переводе «Потерянного рая» читаем: «русский язык... не способен к переводу подстрочному, к переложению слово в слово...». А Б.Л. Пастернак в «замечаниях к переводам Шекспира» выразился так: «перевод должен производить впечатление жизни, а не словесности». Но если перевод — искусство, значит, переводчик должен быть наделён писательским даром. Искусство перевода имеет свои особенности, и всё же у писателей-переводчиков гораздо больше черт сходства, нежели черт различия с писателями оригинальными.

«Поэзия непереводаема» — это высказывание принадлежит В.В. Набокову. Переводя стихи, приходится, по словам Набокова, «выбирать между рифмой и разумом». От переводчика требуется, по возможности, точнее, «ближе к тексту», передать звучание и мысль, «рифму и разум». Передать и то и другое в безупречной полноте, по понятным причинам, невозможно.

Известный переводчик М.Лозинский считает, что, переводя иноязычные стихи на свой язык, переводчик должен учитывать их элементы во всей их сложной и живой связи, и его задача — найти в плане своего родного языка такую же сложную и живую связь, которая, по возможности, точно отразила бы подлинник, произвела бы тот же эмоциональный эффект. Существует два основных типа стихотворных переводов: *перестраивающий* (содержание, форму) и *воссоздающий* — т.е. воспроизводящий с возможной полнотой и точностью содержание и форму. Второй тип считается почти единственно возможным. Хотя можно вспомнить составленные Николаем Гу-

милёвым обязательные заповеди (девять) для переводчиков (*«Переводы стихотворные»*, 1919 г.).

В современном мире интерес к китайской культуре, а в частности к китайской литературе, бесспорен. Это связано, с одной стороны, с геополитическими реалиями, а с другой — с некой «экзотичностью» восточной культуры.

Проблема для поэта-переводчика — в самой «китайской грамоте», содержащей непривычные нашему глазу иероглифы. Иероглиф — это знак, записывающий слог китайского языка, который к тому же обозначает предмет или понятие. Перевод незнакомого китайского слова можно осуществить путём перевода его составных частей — иероглифов, но его прочтение необходимо запомнить отдельно.

Особой трудностью при переводе является «историзм» страны, что в каждом случае индивидуально. Китайская империя, одна из древнейших цивилизаций, на протяжении всего своего существования отличалась ярко выраженной самодостаточностью (китайский гегемонизм) и не стремилась к культурным заимствованиям, хотя в последние десятилетия тенденция меняется. Не наблюдалось также и стремления распространять свою культуру. Изучение исторических, легендарных, литературных персонажей сильно усложняют работу переводчика.

В русском языке глаголы имеют грамматическую категорию лица, выделяются личные и безличные глаголы. В китайском данная категория отсутствует, один китайский глагол соответствует двум, а то и более, русским глаголам: личному и безличному.

Следующая трудность перевода — возникающая многозначность слов. Одно слово в китайском языке может иметь несколько значений в зависимости от интонации, с которой оно произносится. А интонация состоит из четырёх видов: ровная, восходящая, нисходящая и отрывистая.

В русском языке разным частям речи присущи определённые морфологические показатели, а в китайском языке таких показателей практически нет. Поэтому одно и то же китайское слово в русском языке может быть одновременно адекватным и существительному, и прилагательному, и глаголу, обозначая и предмет, и признак, и действие. Таковы в общих чертах проблемы, с которыми встречаются поэты. С ними столкнулся и русский поэт Юрий Ключников.

Но главное достижение: «Поднебесная хризантема» даёт возможность русскому читателю соприкоснуться с великой китайской поэзией от народного памятника литературы Древнего Китая (*XI в. до н.э. — III в. до н.э.*) до поэта современности Лян Сяо-Мина (*род. в 1963г.*), то есть за период протяжённостью в тридцать веков! Китайский проект Ключникова, по мнению китаевода, переводчика, поэта Бронислава Виноградского, «бесценный шедевр нового типа в китаеведении».

У любой грамматики свои сложности. Свои проблемы создаёт и сам язык. Но чем отдалённей он, тем заманчивей и привлекательней. Всё, что говорится о переводах с китайского языка, характерно в той или иной мере для переводов с других языков.

Возьмите английский язык. В нём преобладают мужская рифма (в русском стихе равновесны мужские и женские окончания), односложные слова, более длинные строки, чем в русском, возможно появление хореев среди ямба, пропуск ударения на последней стопе. То же в армянской и тюркской поэзии, но по другой причине: в этих языках ударение фиксировано на пос-

леднем слоге; в связи с установленным ударением в языке женские окончания господствуют в итальянской, испанской и польской поэзии.

Во французской поэзии также примерно поровну мужских и женских окончаний, но нет дактилических; немецкая по распределению окончаний близка к русской (но в ней дактилические окончания традиционно рифмуются с мужскими благодаря побочным ударениям). Такое различие фонетик привело к тому, что в английской поэзии, к примеру, естественным для слуха является употребление сплошных мужских рифм, в итальянской — сплошных женских рифм, а во французской — чередование мужских и женских рифм, названное альтернансом и возведённое там в ранг незыблемого закона.

Строго говоря, правило альтернанса означает: нерифмующиеся стихи с одинаковым окончанием не могут стоять рядом. Однако самым распространенным видом альтернанса в русской поэзии является именно чередование мужских и женских клаузул, причем, с абсолютным преобладанием схемы ЖМЖМ (мужская рифма в конце строфы подчеркивает законченность мысли).

Указанные закономерности различных языков переводчики должны учитывать, передавая звучание оригинального стихотворения естественным звучанием русского стиха. Но требование альтернанса в русской поэзии не является законом и может нарушаться для создания разнообразных стилистических эффектов. Например, Жуковский перевел «Шильонского узника» Байрона мужскими рифмами, создав новый 4-стопный русский ямб — отрывистый, твердый и сильный, ставший знаком романтического стиля. Пушкин, переводя «Будрыс и его сыновья» Мицкевича, воспроизвел сплошные женские рифмы оригинала.

Есть разница традиций, например, влияние на метрику пятистопного ямба французской и итальянской системы. Русская складывалась позднее под воздействием французского и немецкого стиха. Каждый язык имеет свой ритмический материал и свою систему. А факт международного обмена литературных традиций может содействовать сближению, но никогда не сотрёт различия. Отсюда поэзия русская, английская, китайская... Русский ямб менялся, наполнялся своеобразием языка и получил полную свободу в поэзии, особенно у А.С. Пушкина.

Юрий Ключников, один из продолжателей великой русской традиции, склонен к «всемирной отзывчивости русской души». Неудивительно, что он перешёл к новой ступени — переводам сонетов Шекспира. Поэт считает, что всё становится на свои места, если предположить в авторе сонетов не только величайшего писателя, но и одного из духовных учителей человечества уровня Лао-цзы, Конфуция, Платона, Толстого, Достоевского. Ни один из вышеперечисленных авторов не укладывается в рамки какой-либо литературной, философской школы или религиозной конфессии. Так выглядят и сонеты Шекспира. В них можно найти философские идеи, близкие, с одной стороны, к христианству и буддизму, с другой — присутствуют мысли, как бы навеянные, скажем, «Бхагавадгитой».

Как могло такое случиться, если «Гита», этот священный источник индуизма, был опубликован в Англии много лет спустя после Шекспира? Ответ может быть одним: «Друг» обладал и теперь обладает средствами передачи информации куда более совершенными, чем даже нынешние печать, радио и телевидение. Английский гений об этих информационных возможностях Всевышнего отзывался так: «Есть много, друг Гора-

цио, на свете, что и не снилось нашим мудрецам». На Востоке это называют «прямым постижением», на сегодняшнем Западе — малопонятным словечком «интуиция».

При своём поэтическом переложении сонетов Шекспира Ключников широко пользовался их великолепным прозаическим переводом на русский язык, сделанным А.С. Шаракшанэ. Это исключительно добросовестная работа, где для передачи духа сонетов Шекспира максимально использованы возможности русского языка. Шекспир выглядит у Шаракшанэ как человек в высшей степени религиозный и одновременно воспринимающий Бога через Высшее личное начало, сформулированное словами Иисуса Христа: «Я есмь Путь, Истина и Жизнь». Эти слова основоположника христианства обычно истолковывают так, что только Он, Иисус, обладает всей полнотой Истины. По мнению переводчика, главное в высказывании: «я» каждого без исключения человека и есть его путь к Истине, чем больше «я» (не в смысле большего эгоизма, а в смысле больше его сознания, мудрости), тем шире и глубже путь. И наоборот.

Свою задачу при переложении сонетов Ключников видел в том, чтобы показать великого англосакса как одного из редчайших трансляторов Инобытия. Но С.Я. Маршак, который не претендовал на решение такой задачи, остаётся для него лучшим переводчиком сонетов Шекспира, а загадка их автора до сих пор остаётся неразгаданной. И, наверно, никогда не будет разгадана до конца, потому что Инобытие, подобно расширяющейся Вселенной, всегда опережает нас в развитии.

Можно спросить, зачем Юрий Ключников взялся за Шекспира? Есть же общепризнанные образцы переводов в исполнении С.Я. Маршака. Осознавая, что переводы — эталон простоты и красоты, Ключников полагает, что Маршак переводил в те времена, когда всякие упоминания о Боге были недопустимы. Стихи же великого англосакса проникнуты столь высоким пафосом и содержат такие образы, что не оставляет ни малейшего сомнения, кого имел в виду автор под словом «Друг». Самуил Яковлевич же поступил просто — он перевёл «Друга» в разряд людей и снабдил полом. Как известно, 126 сонетов из 154 посвящены мужчине, 26 стихотворений — женщине («смуглой леди») и два последних — Любви, как таковой. Переводы получились прекрасные, но даже поклонники и друзья Маршака заявили, что «русский Шекспир» у него заговорил языком хорошего советского поэта. Кроме того, все «мужские» сонеты Самуил Яковлевич прямо переадресовал «смуглой леди», и, таким образом, получились добротные традиционные стихи о любви. Взявшись за такой масштабный Проект, как ознакомление русского читателя с лучшими образцами мировой поэзии в сочетании с философской мыслью, Ключников, безусловно, рисковал.

Но тот, кто все-таки решается выполнить задуманное, становится проводником истины бытия в мир сущего и «собирает» это сущее к подлинности его бытия. Услышать истинную правду о себе и мире нам помогают великие поэты. В результате титанической деятельности происходит «трансляция культур», взаимное обогащение и понимание друг друга, что сегодня (и всегда!) весьма актуально.

В чём сила поэзии Юрия Ключникова? В утверждении бессмертия классических традиций в современной поэзии, неисчерпаемости силлаботоники, в возможности каждому истинному и ответственному поэту внести свой вклад в удержание литературы от распада и забвения, чтобы помнил добро «всяк сущий в ней язык». Примечательна роль личности поэта, его вера в

могущество слова, поразительна убеждённость в правоте своего дела, способного сблизить великие культуры мира и сохранить их.

Многие критики, учёные отзываются о Ю.М. Ключникове, подчёркивая ту или иную особенность поэта. Вадим Кожинов отмечает «ясность поэтической воли», Сергей Куняев — «высоту духа», «несгибаемость, гармонию души и мира, абсолютный лад с самим собой». Он пишет, что стих Ключникова «прям и точен, как стрела», «прозрачен, как ключевая вода», «прост, как правда». Сейдахмет Куттыкадам говорит, что поэзия Юрия Ключникова произвела на него большое впечатление своим классическим русским стилем и выстраданностью, а стихи «точно передают восточные особенности мысли, языка и стихосложения, а самое главное — мудрость». Станислав Джимбинов убеждён в значимости работы Юрия Ключникова: «Такой обширной антологии французской поэзии, выполненной одним переводчиком, у нас не было ни до, ни после революции». После отзыва Джимбинова на книгу «Откуда ты приходишь, красота?» у нас появились замечательные переводы суфийской и китайской поэзии, выполненные одним талантливым поэтом-переводчиком. Сейчас Юрий Ключников завершает работу над переводами произведений великих англосаксов — Шекспира, Френсиса Бэкона, четы Ратлендов, Джона Донна. И нет сомнения в том, что поэт найдёт в себе творческие силы подняться на новые ступени поэтического подвига.

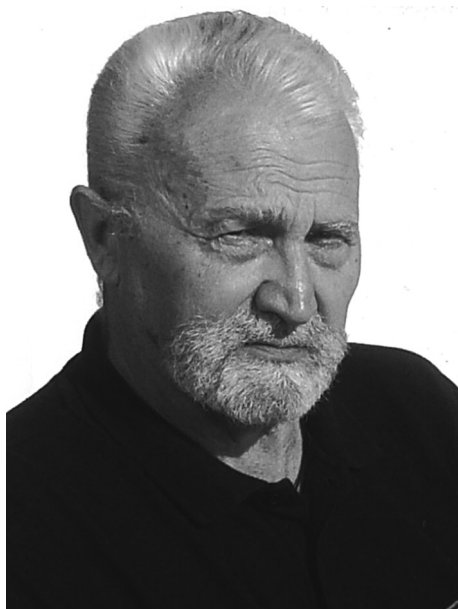
Тяготение к познанию чужих культур — в русской традиции. Это, если хотите, проявление всемирной отзывчивости нашего национального характера, который может забрести в иную культуру, но когда вернётся, то обогащает собственную культуру новыми смыслами. В переводческой деятельности такое тяготение составляет суть профессии, но в русской литературе встречается не всегда. Тем не менее, когда настоящий поэт переводит настоящих поэтов, то это интересно вдвойне. Поэт порой лучше профессионала, у которого, говоря на просторечье, просто «замыливается глаз», понимает природу иностранного поэта. В конце концов, «поэт поэту есть кунак!», как любит вспоминать Юрий Михайлович строчку Расула Гамзатова.

Переводя тексты лучших поэтов двух восточных и двух западных поэтических культур, сибирский литератор думал прежде всего о России, которая может получить новые импульсы для развития, если усвоит лучшее, что создано в мире. Это не уход от русской темы, а её обогащение.

Во всяком случае, в русской литературе столь глубокое погружение в поэтический мир и Востока, и Запада — случай уникальный, можно сказать, беспрецедентный. Думаю, об этом ещё напишут критики, сам феномен попытаются осмыслить литературоведы, а хорошим стихам порадутся и стар и млад.

В своё время, издавая книгу своих поэтических переводов, замечательный русский поэт Юрий Кузнецов дал сборнику неслучайное название — «Пересаженные цветы». Убеждён, что эти пересаженные восточные и западные цветы-стихи будут цвести в саду русской литературы очень долго, услаждая читателей своим тонким ароматом.

г. Новосибирск



Михаил ЖУТИКОВ

ПАСМУРНАЯ КОМЕДИЯ («На сломе»)
Пьеса в 3-х действиях

Действующие лица:

Алексей Платонович Теневин, генерал-майор в отставке, около 70 лет

Степанида Гордеевна, его жена, 65 лет

Лена, их дочь, 39 лет

Дмитрий Булавин (Митя), ее муж, 42 лет

Даша, дочь Булавиных, 17 лет

Денис, ее приятель, одноклассник

Анна Евгеньевна (Нюра), пенсионерка, своя в доме, около 60 лет

Маша, ее племянница, 25 лет

Виктор Михайлович Ньюхин, сосед Теневиных, лет 50-55

Людмила, его жена, 45 лет

Борис Волков, товарищ Мити, доцент, 43 лет

Мукузина, деловая женщина, около 35 лет

Дергачев, делец из новых, около 40 лет

Таня, официантка в кафе, лет 30

Служивцы генерала, соседи по даче.

ЖУТИКОВ Михаил Алексеевич родился в 1941 году. Окончил Ленинградский политехнический институт, радиоинженер, кандидат технических наук. В литературных журналах и газетах России известен своей публицистикой. Автор четырёх книг документальной прозы и публицистики, среди них «Проклятие прогресса: благие намерения и дорога в ад», где сформулирована доктрина «демонтажа цивилизации». Поэт, драматург. Живет в Москве.

Москва, конец тысячелетия. Действие происходит в московской квартире, в парке, на вокзале, в кафе, на дачном участке.

ДЕЙСТВИЕ I

Сцена 1 (День 1)

Кухня в стандартной московской квартире одного из спальных районов — газовая плита, холодильник, шкафчики, стол, 3-4 стула, строгий порядок. Степанида Гордеевна у плиты, затем Лена и Теневин.

Степанида Гордеевна. Не знаешь, что готовить. Только и думаешь: что приготовить? Целый день готовь, убирай, мой... готовь, убирай... И лука нет, ах ты, господи. Ходила и забыла!

Входит Лена. Она в нарядном брючном костюме.

Лена. Мам, привет!

С.Г. Лук забыла купить, вот тебе привет. Ты купила костюм?

Лена. Да! Тебе нравится?

С.Г. Ну-ка... повернись (*оглядывает*). Ну, что. Сидит хорошо. Купила готовый?

Лена. Мама, ну кто теперь шьет. Купила, конечно.

С.Г. А я и не знала... Дорого?

Лена. Ну.. нет. Что сейчас эти деньги. Пол-лимона! (*Смеется.*) Нравится тебе, правда?

С.Г. Тебе идет. Но... молодежно как-то. И вырез... Тебе все-таки не двадцать два. Ну, ладно, не злись.

Лена. Фу, ну тебя. Я так и знала, что будешь ругаться. Но у меня все-таки... день рождения. А мне даже надеть нечего.

С.Г. Ну, ладно, ладно. Я не ругаюсь. Все теперь в брючных костюмах. А я еще помню, были дискуссии по телевизору: может ли наша женщина носить брюки. Ты не помнишь, конечно, только родилась.

Лена. Правда, что ли?

С.Г. Конечно, правда. Что я тебе, неправду буду говорить? По телевизору спорили.

Лена. И как решили? Может?

С.Г. Решили, что нет (*смеются*). Ты полнеешь.

Лена (*озабоченно*). Сильно, да?

С.Г. Ну, это мы Нюру попросим, она все рецепты знает. Пропишет тебе диету. Давно ее что-то не было... Скучно без нее.

Лена. Я переоденусь пойду, и тебе помогу.

С.Г. Погоди. Лука нет у меня! Сходи купи, пожалуйста, я забыла.

Лена. Да, да, я схожу сейчас.

С.Г. Я тебе деньги, погоди... Купи килограмма два. Послушай, погоди-ка. Я все хочу.. и поговорить ведь некогда, вот ведь! Слова некогда сказать! Как вообще у Дмитрия... дела?

Лена. Ты о чем?

С.Г. Я что хотела... Даша уже взрослая девочка. Ей спать в гостиной не ловко. Девочке скоро семнадцать лет, ты сама понимаешь. А комнат у нас четыре. Мы с отцом, вы с Митей, ну, и общая. И Митин кабинет. Вот тебе и четыре. Получали — думали, что много...

Лена. Да... Я сама тоже думала...

Входит Тневин, одет по-домашнему, благодущен.

Тневин. Ну, что, сороки? Обед скоро будет у вас?

С.Г. У нас! Тогда же, когда и у вас. *(Принимается за кастрюли.)* Да, деньги тебе, погоди *(достает из кухонного шкафа деньги)*. Четыре тысячи. Господи, лук... четыре тысячи...

Лена *(берет деньги)*. Папа, ты хоть видишь, что у меня новый костюм?

Тневин. А? Вот сорока! Костюм, елки зеленые. Я и смотрю... Хороший!

С.Г. Лёня, что сварить тебе — макароны? Или картошку?

Тневин. Макароны.

Лена. Папа, я полнею от твоих макарон.

Тневин. Ну, тогда картошку.

Лена. А от картошки у тебя пузо растёт.

Тневин. Что же теперь, не есть ничего? Что растёт, то и растёт. Накопления должны быть, елки зеленые!

Лена. Какой ты, прям.

Тневин. Какой такой?

Лена. Простой.

Тневин. Как сибирский валенок! Так я же и есть сибиряк! Сорока! *(Шлепает ее под зад.)*

С.Г. Лёня, ты что в самом деле! Сибиряк! Девочке сорок лет, она сама мать.

Лена. Тридцать девять, мама! Только тридцать девять! Мне еще нет сорока.

Тневин. Да, ведь юбилей скоро, елки зеленые... *(Чешет голову.)*

Лена. Да ладно, папа, какой там юбилей. Нравится тебе костюм?

Тневин. Хороший, нарядный. Ты у нас... загляденье. Натуральный?

С.Г. Какой сейчас натуральный! Что ты такое спрашиваешь?

Тневин *(после паузы)*. Митя дома?

Лена. Да... работает.

Тневин. Ну, ладно. Обедать-то будем? Да я так... Обедать бы, пятый час.

С.Г. Ну, вот и хорошо, что пятый час. В пять и сядем. Все всё равно не поместимся. Ты в последнюю очередь *(шутит)*. Не генерал. *(Смягчая.)* Мы с тобой на пару уж, после всех.

Лена. Мама, я вернусь, тебе помогу.

Тневин. Да-а. Какой я теперь генерал.

С.Г. Лёня, я что говорю. Даша большая уже, а гостиная у нас общая, где девочке спать? Неудобно там.

Лена делает движение уйти, но задерживается.

Тневин. Ну... да...

С.Г. Вот тебе и да! Может, Лена поговорила бы, что ему в общей нельзя... думать? Мы его трогать не будем. Телевизор у нас свой. И так полквартиры...

Тневин. Да... что же...

Лена. Мама, получали же на всех!

С.Г. На всех! А я что говорю? Я для себя, что ли?

Тневин. Да-а...

С.Г. Да, да! Ни о чем с тобой не поговорить! Ни посоветоваться, ничего, никакого толка! Ступай, я позову. Картошку вон иди чистить в ванную!

Тневин. Советоваться? Ты уж, поди, решила.

С.Г. Что я решила? Вот так всегда! Чуть что — я решила. А ты не причем!

Никто не причем! Я все решила! *(Гремит кастрюлями. Дочь и отец переглядываются и уходят.)*

С.Г. *(одна)*. Я решила! Ты подумай! А вы что решили когда? *(Смотрит на настенные часы: они стоят и показывают половину третьего.)* — Как плохо без часов! Хоть бы кто часы отнес починил! Все время полтретьего!

Сцена отъезжает, открывая кабинет Мити.

СЦЕНА 2

Кабинет Мити: обстановка безалаберного хозяина. Рабочий стол, кресло, шкаф с книгами и бумагами, диван. Окно на тихую улицу. На столе стопа бумаг, на полу другие. Митя один, одет по-домашнему, лежит на диване, читает. Потом откладывает книгу, садится, думает. Во время монолога ходит, оставаясь, ложится снова.

Митя. Титаны, да... Федя Драйзер, Федя Достоевский... Почему я все недоволен жизнью? Я ничего не достиг? Ну, так в чем дело? Возьми и достигни. Интересно... Мне нужно почему-то, чтобы меня и так признали. Заранее. А там бы я... и не делал ничего. *(Смеется.)* И лег бы на диван. А просто лежать, без признания? Не ложится. Отчего это? *(Встает.)* Я вижу все уже написанным. А тогда зачем писать? Ты в мечтах уже все прошел. Прошел, пережил, и оно не нужно тебе. И теперь делаешь это через силу. Никакой радости от этого дела! Какая там радость — ведь это каторга, писанина. Писать — это каторга. И ты для чего-то должен на этой каторге... «вертеть жернова поэм». Суета ради суетного. Когда тебе на самом деле и так все ясно. И ты мог бы просто лежать на диване, и... и все. Странно... Но тогда никто не будет знать, что ты гений. И вот ты должен подниматься и делать... то, что тебе не нужно? Но ведь другие — ничего не увидят, пока не сделано? Другие... Все дело, выходит, в других? А что тебе эти другие? Другие будут тебя любить, что ли? Брось, это-то ты знаешь. Скорее, возненавидят еще больше. Еще бы: был человек, как все, и вдруг — на тебе, люби теперь его. Он, оказывается, гений. Другим нужен не ты, а что-то от тебя. Польза, развлечение, результат какой-то. А сам ты как был один, так еще хуже будешь один. Хоть расшибись в лепешку. А если ничего нет от тебя? Ничего? А без ничего не обращают и внимания. Так это и лучше? Ноль лучше минуса? В том-то и дело, что нет! Душа не на месте. Ей все куда-то нужно... не ложится ей. Лучше минус, чем ноль, так, что ли? *(Думает.)* Но тогда ведь работать надо! А мне как работать — нет! Лягу и буду лежать. Признавайте меня так! Но никто не хочет признавать. Проклятие какое-то. И вот мне приходится вставать, садиться за стол... Это я уже по второму кругу пошел. *(Пауза.)* Если б это просто было: сел и пишешь, как поешь. Так оно же не дается! Это же каторга, в том и дело! Только каторжнику посочувствуют, а тебе нет: не хочешь, не пиши, никто же не заставляет. Мы вот не пишем — и ничего! *(Смеется.)* Они не пишут — и ничего! И ты не пиши, никто не заметит! Чувствуешь логику? Будь, как все! Ну да, ты ведь фактически *претендуешь*? Стать выше их! Кому это понравится. Ты что, из другого теста? Какой умный... А ты будь попроще да покрутись, как мы. И так далее... А чего ты хотел? Ты жить хотел лучше других? Хи-итрый. Губа не дура. *(Пауза.)* Я хочу, чтобы меня признали. И

Михаил Жутиков. «Пасмурная комедия» («На сломе»). Пьеса в 3-х действиях

точка. Я не хочу ничего делать! Не хочу! Но хочу, чтобы меня признали! Почему я должен садиться и писать? Не хочу я ничего писать, понимаете вы? Не хочу! Признавайте меня так! Чтоб вас черти взяли. *(Смеется.)* А им что? Им и горя мало. *(Задумывается и ходит молча. Садится за стол, пишет.)*

Входит Лена. Митя и Лена. Митя продолжает некоторое время писать, не отрываясь от стола.

Лена. Митя, извини, пожалуйста. Я не буду тебе мешать. Что ты читаешь? *(Берет с дивана книгу.)* «Титан»...

Митя. Да, неудачники любят читать про титанов.

Лена. Я бы тоже почитала что-нибудь. Так давно ничего не читала.

Митя. Я не читаю, я работаю, я же говорил тебе. Я штудирую. Послушай, что я написал *(встает с листком, читает с подъемом и по ходу чтения правит в листке).*

История есть только частный случай:
Судьба могла бы трижды обойти
Событие, не зная о значенье
Его для нас в жестокой перспективе,
Но злобный гений правит и судьбою —
История, как боль, однообразна
И учит только опыту терпенья,
И наблюдать без подлости явление —
Как увидеть улыбку без кота.
Такой судьба и нынче перед нами —
Рожденными потомками Помпея —
Чтоб проиграть не Цезарю, но им —
Удачливым, хотя и краткосудьбым
Потомкам Цезаря.

А впрочем, что за дело
Пытающим судьбу до мягкотелых,
Который и мягки, чтобы мять.
Какой Помпей! Коллежский регистратор,
И тот титан пред нами,
навсегда
Свою шинель оставив за собою,
Взяв мертвую рукой за воротник:
— Она моя! — Вот кесаря потомок,
Его достойный. Мы же, проиграв
Судьбу, еще кривляемся, живые.

Молчание.

Лена. Митя, извини, я в этом ничего не понимаю. Похоже на Шекспира. Извини, пожалуйста.

Митя. Ладно *(подавлен)*. Шекспир, елкина вошь.

Пауза. Митя ходит по комнате.

Лена. Ты хоть видишь, что у меня новый костюм? У меня талия, между прочим, похудела на пять сантиметров.

Митя. Да что ты? Замечательно.

Лена. Тебе нравится?

Митя. Я в восторге *(пауза)*.

Лена. Митя, я по поводу Даши... Девочка взрослая уже.

Митя. Да. Не заметили и как... Только что бегала крохотуля... А что такое? *(Обеспокоенно.)* Случилось что?

Лена. Нет, нет! Просто взрослая уже... *(Мнется.)* А у нас, ты знаешь, сахар кончился. Совсем ничего. И на рынок нам нужно, а то все они и они. Давай, сходим с тобой.

Митя. Давай. Когда?

Лена. Ну, завтра в десять. Завтра воскресенье *(пауза)*. Я могу и одна съездить.

Митя. Зачем ты это говоришь? Никто же не отказывается! Поедем в десять. Всё.

Лена. Я могу и одна...

Митя. Зачем ты нарочно раздражаешь? Нарочно, знаешь же! *(Рвет на куски листок, который до этого носил в руке.)*

Лена. Нарочно я его раздражаю, глупость какую-то говоришь! *(Пауза.)* Слушай, я хотела тебе рассказать. Ты извини, я еще пять минут буквально. У нас на работе одна... в общем, женщина, так раскрутилась... наших лет. Это называется сетевой маркетинг. Была такая моль, черновики перепечатывала. А сейчас у нее денег! И, в общем... она говорит, что это несложно. Что нужно только поставить цель *(сбивается)*. Я подумала... Может, и нам? Если она придет, ты не против?

Митя. Пускай. А что делать надо?

Лена. Она расскажет.

Митя. Ну что ж, послушаем. Что мы теряем. Правильно?

Лена. Ну вот! Я боялась, что ты... Я ей скажу. *(Митя пожимает плечами.)* Про рынок завтра не забудь, пожалуйста *(уходит)*.

Митя *(один, ходит по комнате)*. Рынок. Маркетинг... Сахар. Шекспир. Сахар кончился. Шекспир... *(Стук в дверь, входит Теневин.)*

Теневин. Дмитрий, к тебе можно?

Митя. Заходите, Алексей Платонович. Всегда вам рад.

Теневин. Работаешь?

Митя. Так... Садитесь, Алексей Платонович. Хоть с нормальным человеком посидеть *(салятся)*.

Теневин *(помолчав)*. Ну, что, Дмитрий, берут у тебя повесть?

Митя. Да как сказать... ничего определенного. Едва ли. Не окончательный отказ, а ни то, ни се, в долгий ящик. Сложно я пишу, понимаешь, Алексей Платонович. Я сложно пишу! А Фолкнер и Пруст несложно. И Кортасар несложно.

Теневин. Это кто такие? Новые?

Митя. Классики уже... Новые, наоборот, пишут так просто, что хоть руки мой после них. *(Пауза.)* Видишь, тут такое дело: чтобы сложное понять, нужно вчитываться, войти в твой мир.

Теневин. Так-так...

Митя. А чтобы вчитывались, у тебя уже имя должно быть. Чтобы знали, что не зря трудятся, что там что-то есть. А имени нет, потому что не печатают. А не печатают, потому что никому неохота вчитываться. Порочный круг.

Теневин. Тут я тебе плохой советчик. Ну, а... можешь ты им написать — как попроще, понятнее? Иногда уважить тоже нужно. Начальство не перепрыгнешь.

Митя. Да я понимаю. Но такая простота только великим трудом дается. Великим гениям или великим трудам. Иначе будет такая простота, что прочтешь и плюнешь. Таких теперь авторов... сотни уже, наверное. Баб особенно развелось.

Теневин. Бабы звереют, я смотрю.

Митя. Вот смотри: ты можешь, например, проще изложить обеспечение дивизии, если оно само по себе сложно?

Теневин. Надо же все учесть. Санитаров, поваров, горячее, боеприпасы, хоть бинты и портянки, а как же?

Митя. А иначе операция сорвется. Так?

Теневин. Ну а как же, что ты! Под трибунал пойдешь.

Митя. Ну вот. И тут свой трибунал. Неудачник я, Алексей Платонович. Чего я лезу? Сколько людей живут и ничего не пишут. Иди вон в сторожа или в ларек посуду принимать. А пойдешь, скажут, ну и дурак, загубил себя. Скажут, бедная у него жена, связалась с дураком, а он вон в ларьке теперь. Глядите на него: корчил из себя. И черт с ними, что они скажут! Не в них дело! А если б сказали: пиши, мы это *берем*. Я бы, может, за неделю написал. Ну, за две, за три, за полгода пусть! Все бы бросил и написал. А писать в пустоту? Все сидит в тебе: а зачем? а кому? Ведь это потом еще пробить нужно! А это совсем другой талант. Имя надо в молодости делать, когда не спрашиваешь зачем, а оно само в тебе гудит, как огонь.

Теневин. А роман этот, как у тебя: «Сибиряки в Москве»?

Митя. «Москва сибирская». Это рабочее пока название.

Теневин. Тема большая, важная. Москву-то сибирские полки отстояли. А так бы неизвестно, что было. Сорок сибирских дивизий подоспело. Да... А может, тебе в литературный институт? Все же тебя начали публиковать. Или курсы какие? Дело-то такое ты выбрал, видишь... непростое. Мне пришлось учебник писать, хоть по тыловому обеспечению, а наколупался с ним.

Митя. Я помню.

Теневин. Сам же все писал, не курсантам давал, как многие у нас. Установку одну надиктуют, те и шпарят. Все таблицы сам считал, все до грамма. А тут такое дело, сколько всего. Учат же этому как-то?

Митя. Там теперь платное все сделали, я узнавал.

Теневин. А... Это у нас быстро. Только палец сунь, по плечо откусят. А много платить?

Митя. Курсы еще бы можно потянуть. Да ведь я и так... считай, на шее.

Теневин. Ну, это... Не это главное. Душа у человека должна быть на своем месте. Чтобы он жил, а не скрипел. Есть у нас немного на черный день. А там устроишься куда, подработаешь. Нам тоже, ты нас пойми, у нас внука, елки зеленые, ты же нам свой. Или уж... не знаю, как ты мыслишь. Жизнь, Митя, коротка. Мне вот, считай, семьдесят уже второй! — а не поверишь, не знаю, не могу понять, куда жизнь прошла. Я ведь учителем хотел быть, елки зеленые. Помню тогда в Колпашево — хотел в семилетке быть учителем математики. И больше никем! Что ты будешь делать! А тут сорок пятый, в училище набор — льготный, для сирот войны. Ну, пошел в училище, а там служба, женился. А уж там Германия, да вот академия тыла. Вот тебе и вся жизнь, елки зеленые. Я в полковниках сколько просидел? Семнадцать лет! Все думаешь: что я буду лезть? Служишь честно, заметят же? Никому и дела нет. Служишь, и служи. У каждого свое на уме. Или свои...

Митя. Да, поучиться бы неплохо. У меня листов десять сейчас уже вполне можно показывать.

Теневин. Десять листов??

Митя. Это не такие листы.

Теневин. А, понятно. Это же, считай, книга?

Митя. Да, она и есть книга, сборник.

Теневин. Ну, вот. А люди... они везде люди. Считаться нужно, а как же. Ты не требуй от них. И жена, и прочее... Не конфликтуй. Жена, как тебе лучше сказать, жена — она дура.

Митя. Всегда дура?

Теневин (*убежденно*). Всегда. У нее свое, она занимается гнездом. Это надо уважать. И не жди больше ничего, делай все сам, елки зеленые. Что ты, ребенок, что ли. (*Молчание.*) Ты не обижайся. Я понимаю, тяжело, когда один. Это особенно у нас, у русских. Это евреи друг дружку держат. А русский русскому первый враг. Мне это, помню, отец покойный сказал, пацану, еще перед войной. История была, сосед поджег за то, что у нас корова отелилась, а у него яловая, болела все. Ну, и поджег. Чтоб у нас тоже, значит, не было. И теленок погиб, и корова поболела с неделю и околела. А тут война. А без коровы мы что? Одна картошка. Чуть сами за ней не ушли... Вот так. Точно он сказал. А в верхах особенно, там еще хуже. Потом как-нибудь историю тебе расскажу.

Митя (*вяло*). Ну, верхи... Там не только у русских. Вся история Европы... Меровинги, Каролинги...

Теневин. Это да. Но в частях легче... А вообще люди злы, хочу сказать.

Митя. Да, это Гегель сказал. Что человек по природе зол.

Теневин. Что ты!

Митя. Да.

Теневин. Вон как.

Митя. Немец, между прочим.

Теневин. Ну, да. Немцев, значит, наблюдал. Это хочешь сказать?

Митя. Я хочу сказать, Алексей Платонович, сволочь он, немец ли, русский.

Теневин. Это да... это если без бога, то да... пожрут. Но не без добрых людей тоже... Пойду я, малость прилягу (*уходит*).

Затемнение.

СЦЕНА 3 (ДЕНЬ 2)

Гостиная в квартире Теневых. Обстановка в стиле 60-х — диван, сервант, книжный шкаф, телевизор, круглый стол, кресла. На серванте стоит копилка в виде кота. Степанида Гордеевна, Анна Евгеньевна (Нюра), Лена. Степанида Гордеевна наводит порядок, вытирает пыль, протирает стекла серванта, котикопилку, Нюра покорно переходит и пересаживается.

С.Г. Купила вчера дорблю. Думаю вот, что с ним теперь делать.

Нюра. Это едят или это носят?

С.Г. Это сыр. Ты шутишь все. Как будто не знаешь.

Нюра. Да не шучу я. Не слыхала сроду. Сейчас все так поназывали, что не знаешь, где живешь.

С.Г. Ладно тебе.

Нюра. Как мы росли, чо мы ели-то, ты вспомни. Вы не знаю, а мы на мельнице пыль мучную сметали, вот чо мы ели-то! Траву кипятком зальешь, лебеду, да этой пыли туда, варишь и плачешь. Поплачешь, да поешь.

С.Г. Это уж прошло когда, ты уж в Москве сто лет.

Нюра. Прошло да не забудешь.

Молчание.

С.Г. Не сплю толком какую ночь. Алексей болеет. Он же не скажет, а я вижу. А не идет никуда! Лёня, иди в поликлинику, ведь у них хорошая! Ни в какую. Упрямый, как осел. Хоть бы ты, что ли, поговорила с ним.

Нюра. Да ведь все равно диагноз нужен.

С.Г. Я и говорю, диагноз нужен!

Нюра. А с давлением что у тебя?

С.Г. Что я его меряю, что ли! Только расстраиваться. Померишь — сто шестьдесят, сто семьдесят. Хуже только. Лучше не мерить.

Нюра. У меня сейчас давление выше ста сорока не поднимается. Я куски свеклы порезала, три банки выпила. Три свеклы на трехлитровую банку, туда головку чеснока выдавливаю и стакан меда. Все это заливаешь кипяченой водой. Холодной, но кипяченой. И настаивается пять суток, и вот это пила. Оно такое, пенится, как квас.

Лена. А похудеть как, тетя Нюра?

Нюра. Тебе-то зачем худеть? Краля такая, заглядение. Куда тебе худеть? Тебе не надо худеть.

Лена. Ну, немножко бы.

Нюра. А немножко, попей просто лимона с медом. Один лимон, стакан меда. Выдави и перемешай и по столовой ложке ешь. Или так: сок лука стакан и стакан меда, но это пахнуть будет. На соковыжималке лук и стакан меда, все хорошо перемешать, это очень хорошо, желчные протоки чистит. Но у тебя вон, слава богу, щечки какие. Тьфу, тьфу, тьфу, не сглазить. *(Стучит по столу, в это время входит Митя.)*

Те же и Митя. Он не в духе, мрачен.

Нюра. Вот он, наш дорогой. Это я не тебе стучала, извини.

Митя. Здравствуйте, Анна Евгеньевна. Как ваше здоровье?

Нюра. Здравствуй, Митенька, здравствуй. Ничего, слава богу. Как ты, что сочиняешь?

Митя *(дернувшись)*. Пишу роман.

Нюра. А как называется?

Митя. «Семейная жизнь, или история преисподней».

Нюра. Про исподнее?

Степанида Гордеевна и Лена смеются.

Митя. Вроде того.

Нюра *(после молчания)*. А вы бы лучше написали опять про кошек. Прошлый раз вы так хорошо заработали! И людям польза и вам хорошо.

Митя. Это точно. Про кошек разошлась.

Нюра. Вот! А я что говорю! И какая книжка интересная, у вас прямо кошки как живые. Я всем знакомым подарила. Купила сразу десять штук, все раздала. Не помню, себе оставила? Надо посмотреть. Вон у вас даже на серванте кошка сидит.

Митя. Да... сидит... *(Молчание.)* Вот скажите, Нюра... Анна Евгеньевна. Как вы думаете, если серьезно... Почему о кошках людям нужно, а правда о самих людях — никому? Я вот сейчас из редакции...

Нюра. Да кому она нужна, правда твоя! Правду и так все знают. Им свою некуда девать! Люди от нее отдохнуть хотят. Вон она, правда — сын ушел и не знаю где и что, четвертый месяц не звонит. Знаю, что живой, и все. От чужих людей знаю, а сам ни слова, ни полслова! На кой мне правда твоя, я свою не знаю куда девать! Я, прям, не пойму тебя. Вроде умный мужик.

Митя. А кошки?

Нюра. А кошки, это же отдых. От правды твоей. Ты умный человек, а таких вещей не понимаешь.

Митя. Анна Евгеньевна, а вот скажите... как вы думаете... ну, например, Стендаль — был умный человек? Или Драйзер?

Нюра. То Драйзер, а то ты. Ты что, Драйзер, что ли?

Митя. А вы читали Драйзера?

Нюра. Ты уж совсем-то так не надо. Я фильм смотрела «Американская трагедия». Девушку там убил. Ты совсем-то нас за дураков не держи.

Митя. Да что вы...

С.Г. А я эти фильмы нынешние совсем не могу смотреть. Какой-то кошмар. Тяжело и так на душе. И так-то живешь... господи, прости.

Нюра. И я так. Зачем мне фильмы ужасов, я сама бешеная.

Пауза.

Митя. Так вы думаете, есть смысл кошек переиздать?

Нюра. И думать нечего. Драйзер...

Общая неловкость, все расстроены.

Лена. Пойдемте, тетя Нюра, я вам костюм покажу

Нюра. Пойдем, дорогая, пойдем.

Лена. Взяла три дня за свой счет, так непривычно дома сидеть. А нас всех в такие отпуска отправляют. Хочешь, не хочешь, а бери. Без содержания вообще бери, сколько хочешь. Так непривычно... будто чего-то совестно.

Нюра и Лена уходят.

Митя *(с интервалами, как бы про себя. Он машинально садится и машинально переходит при приближении Степаниды Гордеевны, вытирающей пыль)*. Вот он, суд народа. Он же и суд божий. Там просто поняли, что им нужно. Им и нужны все эти, прости господи, Вагинины. Зачем им правда? Их куриным мозгам.

С.Г. Что ты там бормочешь?

Митя. Так... Я говорю, вам и нужны одни Вагинины. Правильно они вас поняли.

С.Г. Какие Вагинины? Это писательница, что ли? Господи, ну и фамилия. Я и сроду не читала. Мне и некогда всякую дрянь...

Митя. Только что некогда. *(Пауза.)* Дрянь-то дрянь, да вы отличите ли ее, что дрянь?

С.Г. Да бог с ними со всеми! Что мне их отличать! Я не понимаю, кто тебя трогает? Сиди, пиши. Что еще от нас нужно? Кто тебе мешает?

Митя *(раздражен)*. От вас! От вас! Вы — это единое, а я какой-то оккупант. Сиди, пиши! Кто мешает!

С.Г. Что ты все цепляешься! От нас, от вас! Как баба, прости господи. Любишь ты свою литературу, ну и люби!

Митя. Свою!

С.Г. *(Не слышит иронии.)* А людей нечего оскорблять! У нас мозги куриные, а живешь-то ты... как трутень, прости господи! Может, не были бы куриные, так давно бы тебя... были бы поумней. Согрешила с тобой!

Митя. Ну, да *(осекишись)*. Ну, и то ладно. Хоть кривляться не будем. *(Уходит к себе.)*

С.Г. *(одна)*. Говорила ей! Говорила ей! Ему семья не нужна! Он не семьей живет! Вот тебе, матушка, крутись теперь сама, как хочешь! Какое тут будет давление!

СЦЕНА 4

Вечер, кухня в квартире Теневиных. Готовится мужское застолье: Теневин, Митя и Нюхин собрались «посидеть». На столе бутылка водки, стопки, простые приборы. Входит Степанида Гордеевна.

С.Г. Явился! Опять моих мужиков спаивать! От них и так толку нет. *(Взглядывает молча на часы, на них пол-третьего.)*

Нюхин. Гордеевна! Чист! Чист, как ангел! Радикулит замучил! Подлечиться пришел. А тут еще палец вывихнул! Пнул собаку, а она такая твердая! Серьезно, чес-слово, я тебе сейчас палец покажу.

С.Г. *(машет на него рукой)*. Да ну тебя. Леня, смотри, тебе много нельзя. Побереги желудок, а то боли опять будут.

Теневин. Ладно, ладно.

С.Г. Гляди, ладно ли. Все, уйду сейчас. Котлеты в холодильнике, паровые. Сами разогреете. Не жарь только сильно, забудешь ведь! Тебе нельзя твердое! *(Уходит.)*

Нюхин. Платоныч, что это ты придумал болеть?

Теневин. Да прихватило немного, елки зеленые *(откупоривает бутылку)*. Пройдет.

Нюхин. Так ты смотри, а то я правда пойду.

Теневин. Сиди, раз пришел. Что я, обратно закупоривать буду? *(Разливает.)* Мы понемножку.

Нюхин. Ясное дело. Когда мы помногу-то. Мы норму знаем. Только кто ж ее выпьет.

Теневин лезет в холодильник, достает тарелку с котлетами, прикрытую другой тарелкой.

Теневин *(с сомнением)*. Холодные подойдут?

Митя. Конечно, еще лучше.

Нюхин. О чем ты, Платоныч! Ты по себе смотри. А нам что делается. Холодные и лучше.

Теневин. Ну.. *(Чокаются, выпивают и некоторое время закусывают молча.)*

Нюхин. Слышь, Платоныч, я открыл средство против алкоголизма.

Теневин. Какое?

Нюхин. Магазин.

Теневин. Да... Вот открыл так открыл.

Митя. Средство для отсутствия средств.

Теневин. Вот это точно.

Нюхин. *(Вытягивает из сумки свою бутылку, не совсем полную.)* Немного осталось, в газетах спрятал, не нашла. Остальное все побила.

Теневин. Чекушку хорошо в валенке прятать. Сунул в валенок и порядок.

Нюхин *(безнадежно)*. Эта найдет. И где они, те валенки.

Разливают прежнюю бутылку до конца.

Тневин. Ну, давайте, что ж, елки зеленые, смотреть на нее *(выпивают, едят)*. Ну, рассказывай, что за проблема у тебя.

Нюхин. Да проблемы я решу... Невезуха кругом. На работе одни неприятности. Бриться не могу, машинка бьет током. Радикулит, все до кучи. Позавчера поехал в Орехово, а там как прихватило, еле домой доперся, как старуха согнутый. Такси оттуда пятнашку. А на работе: врешь, ты там напился! У кого, где? Чес-слово, несправедливо, Платоныч! Какое пить, еле шел. И бюллетень не дают, елкина мать. *(Пауза.)* Вчера пошел с горя, пару коньяков взял, какую пару, три. Она с ходу чувствует, где лежит. Вот дар! Юркин рюкзак, она прямо туда. Потом по шкафам. О-о-о! *(держится за поясницу)*. Не могу даже повернуться. Водка оставалась, перелил в нарзанную бутылку. Так она даже бутылки обнюхивает.

Митя. Нашла?

Нюхин. Спрашиваешь. Жизнь борьба. И бежит бросаться с балкона. Она ж измотала себя, Людка. Мать-то была парализована, тут целый лазарет был. А на той неделе я вообще получил стресс полный. Я, главное дело, взял коньячку, прихожу — нет ее сапог. Значит, ушла. А потом чую, она на балконе. Выбегает оттуда, как сумасшедшая. Думал, убьет. И меня и себя до кучи.

Теневин. Зачем же ты так, ты не доводи.

Нюхин. А я что? Жизни нет! О-о-о! *(Держится за поясницу.)* Ну, давайте теперь эту, обратно ж не понесу *(разливает принесенную бутылку)*.

Теневин. *(Оглянувшись.)* Да, страшнее бабы зверя нет. Она тебя из гроба вытащит, это да. Но...

Митя. Но сначала в него загонит.

Нюхин. Вот это точно.

Теневин. Но тут как надо судить: на ней дом, дети. Она ж всё держит. А как же. Ее понять надо.

Нюхин. Ясное дело, Платоныч! Давно б убежал. А куда? Во как держит! *(Показывает на горло.)*

Смеются.

Ну, давайте *(чокаются)*. Чтоб у нас все было, а нам за это ничего не было. *(Пьют, ковыряются в еде.)* Пошел кое-как в магазин. Говорит, купи компота. Ну, нахрен. Нужны мне компоты. Зачем они мне упали. Купи то, се, курицу. А там одни ножки Буша. Смотрю, индюк какой-то, думаю, не один ли хрен. Принес, а индюк чуть не месячный, открыли, запах, елкина мать! Продавщица хоть бы сказала! Вот сучка. Думаю, дать бы этим индюком тебе по морде. Опять скандал! Одно к одному. Обратно отнес, там опять!

Теневин. Это как пойдет, открывай ворота. Ну, все ж ты не сдаешься, я гляжу.

Нюхин. Не-ет! Это нет. Не дождутся враги. О-о-о!

Митя. Надо Нюру звать, она все лечит. Парацельс.

Нюхин. Что-что?

Митя. Врач был такой. Под врача косил.

Нюхин. Вроде Герострата?

Митя. Вроде него. Под псевдонимом Гиппократ.

Нюхин. Ну, один хрен.

Теневин. Вот это точно. Эти Геростраты, елки зеленые, лучше там век не бывать. Надавали анализов, туда, сюда. Это в одном кабинете, это на пятом этаже, это с восьми, это до трех, это по средам, ах вы, сороки. В жизни не болел, ну, туда здоровый придешь, заболеешь. Побросал все анализы в урну. Только ей ни-ни.

Нюхин. Могила, ты что, Платоныч.

Теневин. И ты, Митя. Зачем расстраивать.

Митя. Да, конечно. Это у вас в ведомственной, что ж у нас тогда.

Теневин. Ну, ходят с тобой, конечно, сороки. Сестра идет. Сюда! Туда! Теперь туда! Генералитет водит сестра. Только нет, я походил — ну, думаю, нет. Хватит. Попить настоя и ладно. У Нюры вон возьму. В жизни ничем не болел. Что такое грипп, не знаю. Сколько в Германии: в поле ночуешь, майором уже был, зам командира полка. Грязь, снег, а совместные учения, куда ты денешься. Холод промозглый, не как у нас, а промокнуешь до подштанников. А солдатику как? И ты с ними. Ничего не брало. Что такое кашель, не знал, только от курева пошел. А так никогда. Температуры в жизнь не мерил, не знаю какая. Давайте, что ж (*чокаются, выпивают*). Митя, смотри, им ни-ни.

Митя. Конечно, Алексей Платоныч. Но диагноз... может, уж потерпеть? Они ж без анализов не могут, их так учили.

Теневин. Да... Их учили, понятное дело. Да не тому выучили, елки зеленые. Одно лечить, другое заболело. Раньше как в деревне? Русская печка, баня. У меня дед девяносто лет, полгода не дожил. Чуть что — там же не служба, отпусков нет — хозяйство, лошади. Чуть что — баня с веником и самогону ржаного сто пятьдесят, а то стакан, много не надо. И на печке ночь. Печку натопит мать, хлеб же сами пекли, топишь так и так. И встает, темно еще, — как ничего не было. Отец в войну погиб, а так тоже бы жил да жил. Восьмого года был, может, до сих пор бы жил. Хотя конечно, столько на них легло... А мы тут загигаемся по Геростратам этим.

Входит Даша. Она с улицы, с мороза.

Даша. Ой! Извините. Я не знала, что у нас гости. Здравствуйте.

Нюхин. Какие гости! Здравствуй, Дашуня. Вон ты какая уже.

Митя. Снег-то есть на горке?

Даша. Протерли все до земли! Папулечка, я заглочу банан?

Теневин (*ласково*). Бери вон все (*протягивает связку бананов*). И котлеты возьми, там иди, мать соберет тебе. Правильно, надо кататься.

Митя. В ботинках этих не мерзнешь?

Даша. Что ты! Там и мороза-то почти нет!

Теневин. Зима стала ненадежная.

Нюхин. Сейчас все ненадежное. Сегодня не съел, завтра не увидишь.

Входит Лена.

Лена. Папа, давай все, я ей там соберу. (*Молча покачивает головой Мите, берет тарелки, обе с Дашей уходят.*)

Нюхин. Невеста Юрке моему.

Теневин. И не мечтай.

Молчание.

Разлей-ка еще одну (*достает из холодильника новую бутылку*).

Нюхин (*берет бутылку*). У нас пробки делают, не открутишь. (*Разливает.*) Юрка бунтует тоже, моду взял.

Теневин. Молодежь, она всегда бунтует. Берет у папаши деньги и бунтует.

Нюхин. Нет, он уже сам нормально получает в автосервисе, а все ему не так. Мы и совки и не смыслим ничего. Мы ботва и отстой, а они умные.

Теневин. Ну, давайте, там у нас было еще что-то закусить. (*Достает из холодильника тарелку.*)

Нюхин. На работе выиграл ботинки.

Митя. У кого выиграл?

Нюхин. У государства.

Митя. У своего.

Нюхин. У родного. А обмыть надо? В них и пошел, а тут собака эта. Сколько и так. Пнул с горя! Такая твердая, зараза, не жрет же ничего. Думала, я ей пожрать дам. Тут сам как волк. Палец теперь болит.

Пауза.

Эта Нюра меня не очень-то. Осенью встретил ее на лестнице, к вам, что ли, шла, а я сзади. Анна Евгеньевна, говорю, вам не нужен задний бампер?

Смех.

Я же безо всякого! Ребята предложили от «Москвича», у нее же был когда-то у сына. Все... С тех пор не здоровается. Я же без всякого! Я ж понимаю, обидеть человека нечего делать. А я, правда, принял уже... Такие дела. Теперь враги.

Теневин. Ну, это не беда. Женское сердце отходчиво. Ты же не нарочно. Ты ей цветочки какие-нибудь преподнеси к восьмому марта. И порядок будет, елки зеленые. Кто ж тебе виноват. Терпи. Теперь как у нас: надо терпеть. Никого не тронь. Да... Все подряд терпи: и пидоров, мать их в душу, и рокеров, брокеров, дрокеров, кого там, спикеров, елки зеленые. Скоро язык забудем.

Митя. А как же. Строим же дом терпимости.

Теневин. Да... Все равны. Дурак равен умному.

Митя. Да и лучше быть дураком детства... Скажи, Михалыч?

Нюхин. А то! Пенсия, живи не хоч. Сиди себе на горшке. Эх, точно! Справку бы такую взять.

Теневин. Лечение назначат тебе.

Нюхин. Пускай. Дурака не вылечишь. Придут, а я им: У-у!

Смех.

Точно, надо жить дуриком. Лафа! Под дурака косить и будешь в шоколаде.

Митя. Только пенсию будут жене отдавать.

Нюхин. Не расстраивай. (*Пауза.*) У нас был один мужик, сейчас у еврея ослом работает.

Теневин. Ослом?

Нюхин. Платоныч, так теперь называют. Он по саду у них за главного там.

Теневин. Русский у еврея ослом работает.

Нюхин. Ну да. Доволе-ен!.. Я, говорит, чтобы теперь отсюда!.. Ни в жизнь!

Митя. Сейчас еврей нельзя говорить. Надо говорить: демократ. Мама русская, а папа демократ.

Нюхин. Я и говорю, у демократа. Доволе-ен!.. Говорю, пристрой. Ты что! Там бьются за такое место.

Теневин. Не пойму, куда идем.

Митя. В волчью яму. И все там будем: евреи, демократы, не евреи, одинаково.

Нюхин. Ну нет! Я в золотой миллиард. Только туда.

Теневин. Ну ты, понятное дело. Нальешь нам тогда по стопочке, по знакомству. Когда придем к твоим воротам с костылем.

Нюхин. Смейся, смейся, Платоныч. А ворота забачаю на все сто. Так что ты звони, когда придете, там звоночек будет. С видеокамерой. Я погляжу с дивана: о, свои пришли. И кнопку нажму, заходи.

Теневин. Эх ты, елки зеленые!

Нюхин. Только так. А налью, конечно, что мне, жалко? Виски «Белая лошадь». Высокая вещь.

Тенвин. Да... Приходилось и лошадь. Я не любитель, а бывало. Помню шестьдесят восьмой, Чехословакия. Приказ, и за ночь танковый бросок из ГДР. Только они просыпаются, деятели, а мы в Праге. А так бы все, считай, потеряли границу. Ну, решались дальше военные вопросы. Из западной зоны были тоже американцы. Они тогда спокойно отнеслись — правильно, говорят, сделали. Это ваша зона влияния, так и надо. Они же военные, понимают, не эти болтуны. Они сами все вопросы с позиции силы решают. Понимание было, одним словом. Вот тогда и лошадь эту пили. Но они слабаки... У них там дринки эти, как наперсток. Я, говорит, вчера пятнадцать дринок! Пья-яный был! А у нас там был один майор, из армейских тоже, царство ему небесное. А я, говорит, тоже вчера три бутылки. Тоже маленько окосел... (Смех.) Англичане, те покрепче. Да... А теперь вон что пошло, никакой границы, ни войск, ничего не нужно.

Нюхин. Европа вообще вся открытая, все границы.

Теневин. Что ж ты равняешь. Они все союзники между собой, против нас. А мы им чужие. Да... Предали нас, за кого кровь проливали, а мы умылись. Ну, властям видней. Мы дураки, а они умные. (Поникает, ему нехорошо.)

Пауза.

Митя. Это такое дело: наизнанку надетое на теле не вывернешь, надо снимать.

Теневин. Что снимать? Не пойму тебя.

Митя. Коммунизм, марксизм этот весь. На теле его не вывернуть. Надо сбросить.

Теневин. Не пойму... Что-то мне... ты извини, Михалыч, вы тут давайте. Я прилягу пойду (уходит).

Митя и Нюхин, заметно пьяны.

Нюхин. Какой-то он не такой. И в лице как желтизна. (Пауза.) Это на календаре Париж у вас.

Митя. Эйфелева башня, да.

Нюхин. (Некоторое время глядит на настенные часы в недоумении.) Митя, если тебе надо... будильники поломанные любые! Поменяю на новые. Любые, сколько хочешь, я ребятам скажу... Это у вас Эй-фелева... башня.

Митя (мрачен). Да... Долбануть бы по ней хорошо.

Нюхин. Это да. Чтобы брызгов не осталось! (Смотрит опять на часы.) Что это часы у вас показывают? Сколько времени сейчас?

Митя. Девятый час наверно.

Нюхин. Девятый!!! Ну все, погорел я опять. А я смотрю — полтретьего, елкина мать! А я не въезжаю, что ночь. Ну, семь бед... (*Быстро допивает.*) Побежал! (*Убегает.*)

Митя один, пьян.

Митя. Семь бед... Чтобы брызгов не осталось! (*Смеется.*)

СЦЕНА 5 (ДЕНЬ 3)

Кабинет, Митя, стоя за столом, пишет. Входит Лена.

Митя (*с досадой*). Не надо ко мне лезть утром, сколько говорить тебе! Я думаю сейчас... А... идти... да, идти... Сейчас. Пять минут еще и идем. Куда надо ехать, во сколько? Где мои другие брюки?

Лена поворачивается и выходит, затем входит с брюками.

Господи, что опять?

Лена (*кладет брюки на диван*). Я их постирала. Тебя ждать или нет? (*Выходит.*)

Митя (*берет брюки и, поддерживая, бросает обратно на диван. Пишет и одновременно надевает пальто*). Только пошло, эх... (*Большая пауза.*) Да слышу я, слышу! (*Пишет.*) Иду же я, иду! (*Дописывает.*) Иду уже!

Уходит так, что обстановка кабинета уезжает из-под его ног.

Конец I действия. Занавес.

ДЕЙСТВИЕ II СЦЕНА 1 (ДЕНЬ 4)

Вечер, гостиная в той же квартире. Митя и Мукузина. Мукузина в кресле, держится с достоинством. Митя сидит на диване, напряжен. На столе чайные приборы после чаепития, разрезанный торт.

Митя. Наливайте еще. Давайте, я вам налью.

Мукузина. Спасибо, достаточно. (*Пауза.*) Здесь мотивация важна ваша собственная прежде всего, понимаете? Вы должны сделать выбор сами. Я спрошу просто. Вы хотите получать то, что вам *дадут* — или вы хотите зарабатывать столько, сколько *вам* нужно? Что вы сами предпочитаете?

Митя. Я?.. Ну, естественно... чем лучше, тем лучше...

Мукузина. Ну вот. (*Понемногу вдохновляется.*) Понимаете, предположим, человек голоден. Можно дать ему рыбу..

Митя что-то мычит.

Мукузина. Вы хотите что-то возразить? Вы возражайте смелее! Если не согласны.

Митя. Нет, ничего... Рыбу.

Мукузина. А можно дать ему удочку. Понимаете?

Митя. Да-да. Стараюсь.

Мукузина. Мы даем вам удочку.

Митя. М-м... вот как...

Мукузина. Чтобы вы *сами* поймали сколько вам нужно! Понимаете?

Митя. Удочку.

Мукузина. Да!

Митя. М-м... удочку... А... с какого конца?

Мукузина. То есть??

Митя. Со стороны наживки? То есть крючка?

Мукузина. Я вас не понимаю: что вы имеете в виду?

Митя (*смущен и жалеет о сказанном*). Видите ли, у удочки два конца: на одном это... кто ловит... извините.

Мукузина. Вы очевидно считаете себя очень умным.

Митя. Нет-нет! Боже сохрани. Я только уточнял... Вы продолжайте, пожалуйста! Я буду только записывать (*достает блокнот и ручку*). Тут... каждое слово... Я вас слушаю внимательно.

Мукузина (*не совсем успокоилась и говорит жестко, потом входит в свой стиль*). Я собственно, вам почти все сказала. Либо вы хотите получать то, что вам дадут с барского стола, либо вы сами зарабатываете столько, сколько вам нужно. Мы распространяем совершенно эксклюзивный продукт. Это один из лучших американских проектов. Кроме нас, его ни у кого нет. То, чем мы занимаемся, называется сетевой маркетинг...

Митя. Так-так (*пишет*). Если можно, чуть-чуть помедленней. Все это совершенно ново для меня, вы понимаете. Это очень интересно. Маркетинг... Замечательно.

Мукузина (*недоверчиво*). Что замечательно?

Митя. Это я так.

Мукузина. В мире все знают, что такое сетевой маркетинг. Только у нас это пока малоизвестно. Но уже очень многие люди в нашей группе заработали тысячи долларов. Мы работаем уже третий год. Это не просто пищевая добавка, которых полно, это уникальный препарат, нигде больше его нет. В этом все дело. Все зависит только от вас, от вас самого! Это главное. Зарабатывайте хоть миллион! А с его необыкновенными качествами я вас познакомлю.

Митя. Потрясающе. Это высший пилотаж. Это просто находка. (*Встает, потирает руки.*) Вы просто цены себе не знаете. Это же просто чудо. Эта... замечательная девушка даст тебе удочку. Ты теперь рыбак. Сроду не был... И... как же узнать поклевку? То есть, я хочу сказать, клюет?

Мукузина. Знаете, я вам пыталась помочь. Меня попросили. Но я вижу, вам это ни к чему.

Митя. Попросили?? А... понятно. (*Угасает. Говорит про себя, «в сторону».*) Спугнул. Опять спугнул...

Мукузина (*с достоинством*). Да, попросили. Я, знаете ли, не к каждому домой хожу. Я не девочка по вызову. Ко мне приходят на собрание, там я все разъясняю. Так что милости прошу. Лена знает, где нас найти. У нас там разные люди приходят. И кандидаты наук, знаете, сидят и не умничают.

Митя. Да-да... Где им, дуракам. Они, небось, и не слыхали про... сетевой маркетинг. А академиков нет?

Мукузина. Пока нет.

Митя. Они уже плохо ходят, наверное, старенькие. Пока дойдут.

Мукузина. Возможно. Но голод не тетка. Приползут.

Митя. Это точно. Да... Жаль, что я вам не поглянулся. По правде сказать, вы так мне очень... Ну, да-да. Я понимаю. (*Про себя.*) Спугнул... Эх, будь ты

неладен! (*Пауза, ходит по комнате.*) Простите... Я вижу у вас кольцо на левой руке. Вы ведь недавно разошлись с мужем? Меньше года?

Мукузина. Это вам Лена сказала?

Митя. Лена? Нет... Я читаю мысли... если угодно.

Мукузина. И что же вы прочли?

Митя. Ну, вы же знаете свои мысли. Зачем мне говорить?

Мукузина. Так и я могу читать.

Митя. Ладно, скажу. Это несложно. Вы думаете вот что: все эти твари, с образованием, мучили вас всю жизнь, за человека не считали. Ходили, голову задрав, а сами-то кто, дерьмо собачье. Кроме формул, ничего за душой. Чуть сквозняком подуло, и все скукожились. А теперь я над ними покорежусь. Теперь я их не буду за людей считать. И с мужем, возможно, разошлись поэтому... Потребность уважения, а уважения нет и нет. И вы решили поставить на свою ненависть. Все подыхай, а я останусь. На ненависть... и на деньги. Тем более, дураков в России косяками, только наживать успевай. Так или нет?

Мукузина. Это все ваши фантазии. Оставьте их себе для романа.

Молчание. Мукузина встает.

Митя. Что ж. Приходите почаще. Буду рад.

Мукузина. Спасибо. К сожалению, у меня много дел и очень мало времени.

Митя. Да-да. Это естественно. Удочка... пока наживишь. Жаль, жаль. (*Про себя.*) Кандидаты наук... вон куда вы нас хотите заткнуть. В какую щель.

Мукузина уходит. Митя молча ходит по комнате, что-то бурчит. Через некоторое время входит Лена.

Лена. Что-то не так, Митя?

Митя. Нет, нет... Я просто думаю. Вон они что хотят... А ты познакомила и ушла! А я думаю, что такое? Чай пьем. Так это ты мне эту сучку прислала!

Лена. Что у тебя все сучки да дураки!

Митя. Что ты, Леночка, наоборот, наоборот! Ты даже не понимаешь, что такое *тип*. Это же... это же находка (*обнимает ее*). Твои дома?

Лена. Нету никого.

Митя. Пойдем, я на тебя дурное влияние окажу.

Лена. Нет, я лимон буду есть. Ну... ну, Митя. То тебя не докличешься...

Затемнение.

СЦЕНА 2 (ДЕНЬ 5)

Гостиная в квартире Теневиных. Теневин, Нюра, Маша.

Нюра. Мы вот шли, Алексей Платонович, да завернули к вам.

Теневин. Вот и молодцы, и правильно. Будем сейчас чай пить.

Нюра. Что ты, Лёня, мы по дороге! Мы на минутку.

Теневин. Ну, что ж вы так уйдете? Где минутка, там и еще немножко. (*Уходит на кухню.*)

Нюра. Вот, Маша. Люди они хорошие. Но твоего писателя, кажется, нет.

Маша. Я так боюсь, тетя Нюра...

Нюра. Вон, еще чего! Ты чего? Да он их зять и все. Какой он писатель, это же так. Про кошек написал.

Маша. Нет, там... не про кошек. Там такое одиночество.
Нюра. Что ты выдумываешь!

Входит Теневин с чайными приборами на подносе.

Нюра. Ну вот! Куда это ты нам, Лёня! Я так и знала.

Теневин. А как же. Давайте-ка садитесь, сороки. Чай не попьешь, откуда силы возьмешь.

Нюра. Известно. Лёня, мы же на пять минут! Нам ехать еще.

Садятся за стол.

Теневин. Это правильно. Дела есть дела. Но без чая тоже нельзя. Это, значит, Маша. Вот, сколько знаем друг друга, а Маша у нас первый раз. Первый раз, Маша?

Маша. Второй. Мы уже один раз заходили, вас не было дома, одна Степанида Гордеевна.

Теневин. Ну, и хорошо. Вот и познакомились.

Разливает чай. Пьют чай.

Давайте, угощайтесь. Как дочка, Маша? У тебя же дочка? Сколько ей?

Маша. Четыре. Бегаёт, такой сорванец.

Теневин. Вот это так. Ребенок должен бегать, а как же. Веселым должен быть!

Маша. Веселая! Такого наговорит... Из садика приносит такое...

Теневин. Ну, это ничего, что ж тут поделаешь. Сами на улице росли. Ничего.

Нюра. Лёня, мне с тобой бы надо кое-что... сейчас, может, неудачно зашли, но все равно.

Теневин. Ну, пойдем, посидим на кухне. Маша, ты пей чай, бери все. Книжки можешь посмотреть. Не стесняйся ничего.

Уходят. Маша одна за столом, потом у книжного шкафа. Через некоторое время входит Митя. Он с улицы.

Митя. Здравствуйте... *(Растерян.)*

Маша. Ох! Здравствуйте. Мы с тетей Нюрой... они на кухне. А я тут... простите, пожалуйста.

Митя. Да что вы. Я и сам-то тут, знаете. Почти на птичьих правах. С вами можно посидеть? Что это за книга у вас? Вы садитесь. Я... меня Дмитрий звать.

Маша. Маша...

Садятся к столу, Маша с книгой в руках.

Митя. Ну, вот. Я из этой... устал немного. Чтоб их черти взяли. Это я про редакцию! Не подумайте... Ну, вот. Давайте, чаю попьем? *(Понемногу оправляется.)*

Маша. Да мы уже. А вы Булавин.

Митя. Ну да. Можно Митей называть.

Маша. Что вы. Вы такой человек.

Митя. Да какой там человек. А вы Маша! Вы Маша, Нюрина племянница?

Маша. Ну да.

Митя. Ну... а я слышу, Маша, Маша! А это вы! Ну, я рад. Что это за книга у

вас? Можно взглянуть? «Анна Каренина». Ну, ясно... Знаете, вот если бы выбросить из нее Анну Каренину и всю эту любовь, прекрасная была бы книга! Просто отличная! Великолепная!

Маша. Выбросить Анну Каренину и любовь?

Митя. Ну да! А Вронского оставить, и все оставить! Левина особенно. И Стиву, конечно!

Пауза.

Бедная Анна, она же не такая совсем, она солнечный человек, если бы не Толстой, она бы никуда не бросилась. Он же ее силой тянет под вагон, на веревке тянет! Потому что он так решил. (*Неохотно, хмуро.*) Я, может быть, не понимаю их... этого. Это все придумано, по-моему.

Маша. А вы... какие книги любите читать?

Митя (*замыкается*). Я... только сберегательную.

Маша. Вот вы какой скрытный. Как сейф.

Митя. Нет. (*Смеется.*) Это так... (*Пауза.*) Странно. Сейчас почему-то нет. Я, Маша, «неэвклидову» люблю литературу. Это просто по аналогии с геометрией: есть «эвклидова» — Пушкин, Тургенев, Толстой. А есть «неэвклидова»: Гоголь, Достоевский. Понимаете? Фолкнер, Пруст.

Маша. Да... Я такую боюсь. Они там наизнанку жизнь выворачивают.

Митя. Вот! Эвклидова гармонизирует художественный мир, а неэвклидова расщепляет, но так, что в этом мире ты видишь другую правду. От которой все прячутся.

Маша. Да... Я тоже прячусь. Не хочу.. этой правды. (*Внезапно, порывисто.*) Вы простите меня! Простите. Я шла, я думала... Но чтоб вот вы были такой простой, понимающий такие вещи обычные, кошку.. и в то же время так... Я думала, таких людей не бывает, это только в мечтах.

Митя (*с усмешкой*). Почему не бывает. Лорд Байрон, например.

Пауза.

Маша. Вот... Вы только смеетесь.

Митя. Извините меня. Это манера, проклятие мое. Отпугиваю людей.

Маша. А внутри... я слышу, как вам внутри.

Входят Теневин и Нюра.

Нюра. Здравствуй, Митенька, дорогой. (*Теневину.*) Ну, мы поедem, Лёня. Я без диагноза что тебе могу сказать. Там ведь разное может быть. Нужно же знать. Ты сделай эти анализы. Долго тебе, что ли? Все вы, сибиряки, ишаки упрямые. Ты пойми, если кислотность понижена, нужен подорожник, а если нет, то нельзя. Спасибо за чай. Маша, пойдем, уже опаздываем.

Маша. Ну, до свиданья.

Митя. Приходите к нам!

Нюра и Маша уходят.

Теневин. Вот, елки зеленые. К Геростратам опять идти.

Митя (*чему-то рад*). Все будет хорошо, Алексей Платонович! Все будет хорошо!

Уходят в разные двери. Некоторое время сцена пуста. Переход света в Митин кабинет. Митя ходит по комнате в волнении. Входит Даша.

Даша. Папулечка, у тебя все хорошо? Как ты съездил?

Митя. Да черт с ними, Даша. Рукописи не горят!

Даша. Где твои рукописи?

Митя (*смеется*). Вон они, полный шкаф. Начало кое-что получаться. Получается кое-что!

Даша. Папулечка, я так рада! (*Целует его.*) Ты такой у нас единственный на свете!

Митя. Подлизываешься. Что-нибудь в школе, небось.

Даша. А, ерунда. По химии четыре двойки. Но это же не в аттестат.

Митя. Эх, ты. Вот так да. Еще не хватало в аттестат. А Денис твой как?

Даша. Денис дурачок. У него одни пятерки. Я побежала, папулечка! (*Убегает.*)

СЦЕНА 3 (ДЕНЬ 6)

Кабинет Мити. На столе бутылка и тарелки с едой. За столом Митя и Борис Волков, без пиджаков. Застолье в самом начале. Время от времени выпивают, едят. Митя в основном невесел, часто задумывается, глядя в точку. Временами оживлен, что-то вспоминая.

Митя. Все это никому не нужно! А нужно делать то, что нужно. Понимаешь?

Борис. Это естественно. Успешны те, кто служат системе. Они служат системе, и система это ценит. А ты хочешь быть свободным и независимым и чтобы тебя все любили. Ты ведь ушел из системы.

Митя. Ушел.

Борис. Тебе не понравилось.

Митя. Не понравилось.

Борис. Ну вот. А свобода вот такая. Это тебе не девятнадцатый век. Хотя там тоже Лескова затравили. За то, что не служил передовому.

Митя. Это передовое оказалось страшной гадостью.

Борис. Но они так не считали. А ты — ты извини, конечно, — что ты знаешь такого, чего не знают другие?

Митя (*миролюбиво*). Дело не в знании чего-то особенного. Хотя это не помешает, конечно. А дело в том, есть ли у тебя свой художественный мир.

Борис. А как узнать?

Митя. В том-то и дело, что никак. И никто не скажет тебе. Только по результату можно сказать.

Борис. Ну, тогда трудись.

Митя (*усмехнувшись*). А вдруг зря?

Борис. Ну, так и останешься с внутренней чесоткой. Будешь раздраженным на всё и вся. По-моему, ты просто сачок. Ты и в институте на способностях выезжал. Тебе лишь бы не делать ничего.

Митя (*смеется*). Ну, давай.

Выпивают.

Тут не только... тут со всех сторон. Матриархат.

Борис. А... это хуже. На два фронта даже Гитлер не смог воевать. Но тут я тебе не советчик, сам понимаешь. Напиши им еще про кошек тогда, что ли.

Митя. И ты туда же!

Борис. А что? Посиди на одной теме. Пусть к тебе привыкнут, что ты вот такой автор. А там видно будет. Там у тебя есть, кстати, тонкие места, не

совсем про кошек, как я понял. И заработаешь хоть что-то. Кто тебя сейчас знает? А так сломаться можно. Тебе пятый десяток, а с чем ты идешь? И что ты им несешь? Опять против шерсти? Мало тебе Лескова? А ты, извини, пока что не Лесков. Учись, как говорится, на чужих ошибках.

Митя. Если бы люди учились на чужих ошибках, человечество давно бы вымерло.

Борис. Это как? Почему?

Митя. Потому что премудрый пескарь не оставляет потомства.

Борис. А! Это верно! Ну, давай.

Выпивают, едят.

Я не знаю, что ты. У тебя жена милейшая женщина. Всегда найдет общий язык.

Митя. Находит, да... милейшая. Выбирал, не как-нибудь.

Борис. Женщинами у нас все и держится, ты учти. На русской бабе все стоит. Если бы не они, мы бы еще до войны загнулись, а в войну уже точно. И они нам картошку чистят, заметь. А мы едим.

Митя. Ты прямо, как Олег Кошевой. Ты меня непустишь в коммунизм! Который накрылся, правда.

Борис. Извини, но от одной жены ты дождешься понимания, а от другой такого фаршированного перца. Твоя Лена просто клад. А так, чтобы она и понимала тебя, и кухарка, и мать, и любовница, и сплошная латынь из нее, то это что за монстр? И сам-то ты тогда кем должен быть? Она вон и работает у тебя. И продукты таскает.

Митя. Да. Сумки эти... Надо ей купить коромысло. Как считаешь? Вариант! Дадим русской женщине коромысло! Выпьем за этот проект!

Борис. Да... Они тебя этим коромыслом... Мужчина должен быть доном. Это жизнь. Им твои великие мысли зачем? Ты будь хоть четырежды Гегель, а зарплату отдай. Ну, за них, родимых. *(Выпивают.)* За все надо платить. Ты думаешь, тебе повезло, что ты умный? Тебе не повезло, что ты умный. Возьми Сократа: что он получил от афинян за свой ум? А между прочим, кто бы знал про этих афинян, если б не он.

Митя. То есть мы знаем теперь о них, какие они были дерьмо. А так бы не знали.

Борис. А так бы не знали. Сгинули бы они, и все. Без следа.

Митя. То есть они его за дело казнили.

Борис. Выходит, так. Он же их увековечил, что они уроды. А так бы все шито-крыто, исчезли бы и все.

Закусывают в молчании.

Власть и толпа едины, ты же понимаешь. Это устойчивая система. Ты со своим пониманием им, конечно, чужой. Они тебя фактически должны терпеть. Может, побаиваясь, чуя какую-то стороннюю силу, им не понятную. Ты... не свой... не совсем свой. Аристократ духа. А твое простодушие воспринимают как слабость. Это не уважают. Вот ты и в западне. Они не знают, что думать. То ли ты большого ума, то ли... ребенок.

Митя. Дурачок, ты хотел сказать.

Борис. Ну, а как? Главное, как ты выглядишь. А какой ты на самом деле, людям все равно, лишь бы ты их не беспокоил. Что я тебя учу? Люди заняты выживанием, а ты к чему их зовешь? Чтобы они мучились, как ты? Мировыми проблемами? Ты посмотри на игры детей: у пацанов пистолеты-автоматы, у девочек куклы. И все! И больше ничего не нужно знать о человечестве,

оно все перед глазами. Они постоянно помнят про свое, заземлены и не расслабляются, это на инстинкте у всех, все этим живут. А ты не такой, значит, ты кто? Враг? Не враг, конечно, но почти.

Митя. Правильно, я чужой. А может, просто не сложилось. Пошло бы что-то у меня, так и зацепился бы. Но не пошло.

Борис. Но ты же делал что-то раньше? В НИИ?

Митя. Делал... Но как обнаруживалось в конце концов, я все делал только ненужное мне. И нужное оказывалось только в том, чтобы бросить это ненужное. Бросить и тогда облегчение.

Борис. И начать другое?

Митя. И начать другое, опять такое же, что подвернулось. Опять такое же, на авось.

Борис. Лишний человек.

Митя. Вроде того. Веришь, я до сих пор думаю: кем быть?

Смеются.

Что ни возьми, везде исполняй, что велит начальство. А на кой мне черт это начальство, если ему это нужно, а мне нет? Я не понимал, как это выносят другие люди. Им нравилось, а я не мог. Вот ты — как? Не надоедает тебе?

Борис. Я не знаю. Я предпочитаю медленно, но верно. Я вообще-то тоже не человек системы. В системе главное — облизывать... кому надо, а я не этих способностей. Мне мой рабочий стол пока не надоел. Сажу, ковыряюсь, что-то получается, ну, и ладно. Я свой уровень давно определил. Это математические спекуляции, а круг вопросов всегда есть. Дело идет, люди довольны. Не платят только, а так бы нормально.

Митя. Ничего себе нормально.

Борис. Ну, что делать. Такое время. Надо перетерпеть.

Митя. Но это же не для них, не для кого-то ты трудишься?

Борис. Нет, конечно. И любой так, ему нравится его дело, а остальное он терпит, рутину всякую.

Митя. Во-от, ты понимаешь. Никто никаким людям не служит, а только через свой интерес. Или деваться некуда или нравится. Или терпит и привыкает потом. А я не смог. Как с планеты другой! Ничего нет такого, что было бы по душе. Против себя живешь. И в редакциях этих... везде проситель, обиваешь пороги. Плюнешь, да уйдешь. Что мне у них просить? Они живут там своим сообществом — зацепились и держатся. Я же вижу, кто они, они не живые, а так.

Борис. Народ — это люди нормы, сиречь, рутины. Что ты требуешь?

Митя. Вот принадлежность к норме и унижает. Если ты кому-то равен, значит, ты уже вполтину меньше.

Борис. Сказано, люди должны... в поте лица...

Митя. Это я понимаю, это я так. Я не плачусь, это просто скулеж. Давай?

Борис. А может, передохнем?

Митя согласно кивает. Садятся на диван. Митя время от времени встает и прохаживается.

Митя. У тебя все по уму. Ты молодец. От тещи только и слышу: вот Борис у тебя, вот Волков у тебя, и доцент, и кандидат. И тра-та-та.

Борис. Какой там по уму... Абитура приходит, закона Ома не знает. Что абитура. На лаборатории первое занятие: ну, что, говорю, ребятёжь, для разминки вспомним что-нибудь простенькое. Для знакомства. Для смеха: чем

отличается постоянный ток от переменного? Вроде пошутил. Третий курс! Двенадцать человек. Тишина. Ни одна душа.

Митя. Вот что они хотят с нами сделать...

Борис. Сделали уже. И вот, рисую им график. Переменный ток, ребята, это ток, который меняет направление. Это, ребята, прямоугольные координаты, направо отложим время... И полтора часа синусоиду объяснял. Третий курс, технари!

Митя. А поступили!

Борис. А из кого выбирать? Они же платники. Выгнать их нельзя. Будешь сам без зарплаты. Хотя и так без нее... На первом курсе на группу дали шесть бюджетных мест, еле-еле выбрали еще два. Остальные платники. А министерия требует девяносто восемь процентов успеваемости, как и раньше. А нам что? Дадим девяносто восемь! *(Пауза.)* Подписали болонское соглашение, они теперь могут вообще не ходить. Они и не ходят. А когда им ходить? Им эту плату надо где-то зарабатывать? Ну, и все. Они и так ничего не знают, а теперь и учиться некогда. Наш паровоз, лети в навоз.

Митя *(встает, прохаживается)*. Ломают все традиции, чтобы ты не успел понять, а уже новое... Ладно, не будем грустить. Говорят, одна мышь в молоке утонула, а другая масло сбила и вылезла.

Борис. Это ты в молоке можешь масло сбить. А в болоте чем больше бьешься, тем скорей потонешь. Тихо надо лежать. Слиться с фоном. Чтоб враг не прицелился.

Митя. Ты пессимист.

Борис. У тебя учусь! Сам говорил, что у нас Форду сарай бы сожгли и морду набили. И никакого автомобиля бы он не собрал. Тебя цитирую.

Митя. Это так, да... Здесь одного Форда нужно четверым охранять от трех бандитов и пяти мошенников. А, главное, от полусотни соседей, готовых его сжечь по первому знаку.

Борис. Это у нас святое. Обязательно устроится так, чтобы не дать поднаться. Система ведь не случайна? А против системы идти нельзя. Твой Форд жил в конкурентной среде, где борются за клиента. А тут... *(Пауза.)* Что поделывать, нам навязывают сверху. И вот мы теперь европейцы, с понедельника. Потом назначат — будем еще кем-нибудь. А как были сами по себе, так и будем. *(Пауза.)* Тут у нас один, на «Форде» как раз, завяз по самые двери. У нас там вроде асфальт, а съедешь полметра — ты видел что. В канаву под откос. Прибегает, весь в каких-то бляхах, как эсэсовец. Прибалт какой-то. Они привыкли там по Германиям и думают, тут Европа. Они там едут, глаза навывкате, а тут на секунду зазевался и эвакуатор вызывай. А лопаты у него, естественно, нет.

Митя. И чего?

Борис. Откопали беднягу. Вот этот ликер и подарил, который я Лене привез. Он две подарил, но одну мы тут же с соседом... Пришли все в грязи, как черти, а другого не было ничего. Хороший ликер, я еще в Таллине его пил, когда мы еще не были оккупанты. Да мы ж с тобой его и пили.

Митя. Нет, не со мной. Это ваша группа ликеры пила, я под Москвой практику проходил. Там и с Леной познакомился...

Борис. Ну да, правильно.

Митя. Ну, что, продолжим? *(Садятся опять за стол.)* Да... У нас тут иностранцы с ликерами не забегают, жалко. Только сосед, но он ликера не приносит. Ну, давай за Европу? Чтоб ей...

Выпивают, едят.

Борис. Ты вот сочинил и горя мало. Хорошее дело выбрал.

Митя. Да. На том стоим. И... горя мало. Одно только. Когда сочиняешь, очень трудно не соврать. Мне от этого как-то совестно. И... бросишь все.

Борис. Ну, так не ври. Или не сочиняй.

Митя. Вот... Скажи вот тебе: не ешь, не пей.

Борис. Ты сравнил (*качает головой*). Ну, если так...

Митя. Не так, конечно. Может, в том и дело, что не так. А было бы так, не боялся бы ничего, врал бы, как птица поет.

Пауза.

Пускай... Люди, им надо чем-то развлечься, пусть позубоскалят над тобой. Их жизнь скучна. Посудачат и отстанут. Я не боюсь, а просто это глупо врать... бездарно...

Борис. У художников идеи хлещут. У тебя хлещут идеи?

Митя. В основном, по мне. Мои идеи все превосходят мои возможности. Я их все и отодвигаю на потом. Они все там — в далеком будущем... которого не будет.

Борис. Ладно, будешь еще на белом коне. Будешь богат и известен и всеми любим.

Митя. Я не готов к известности. У меня только двое брюк.

Борис. Двое брюк! Да ты заелся! Ты шикарно живешь! Ты собственник! А собственность, это ответственность, ты сам говорил. Ты теперь должен их... караулить. Чтоб не украли. Брюки должны быть на... налицо. А у тебя двое! Ты должен отдать... бедным.

Митя. Могу тебе, если хочешь. Ты бедный?

Борис. Я бедный... но не Демьян.

Митя. Слава богу. За то, что ты не Демьян.

Выпивают, ковыряются в еде.

Борис. Чем сейчас занимаешься?

Митя. Как чем? Пью! Это творительный падеж: кем, чем? Например: я ударил его вороной.

Борис. Кого ударил?

Митя. Неважно. Ударил вороной. Кем, чем.

Молчание.

Борис. За что ты его ударил?

Митя. Кого? Я ударил вороной. Это твори... это падеж.

Борис. Ты не прав. Здесь двое пострадавших: ворона и...

Митя. Ворона не пострадавшая, ворона орудие.

Борис. Это как смотреть. Ворона тоже человек.

Митя. Ворона не причем. Это предложный падеж. При ком, при чем.

Борис. Ворона, это именительный.

Митя. Правильно. Ты молодец. Я тобой горжусь (*пытается обнять Бориса*). Давай, это...

Борис. Нет, я... все. Еще ехать. Я на электричку. Нормально все...

Митя. Оставайся! Вон диван. Ты что!

Борис. Нет, нас не поймут... Ты скажи: за что ты ударил вороной?

Митя. Кого? (*Недоумевают.*) Давай! Диван вон он.

Борис. Я... поеду, Митя. Не бей меня вороной. Пойду.

Митя. Эх! Ну, пойдем.

Выходят пошатываясь.

СЦЕНА 4 (ДЕНЬ 7)

Митя в своем кабинете, лежит на диване, читает, затем встает, садится за стол.

Митя. Ручка засохла. Не пишет. И эта тоже... (*Перебирает ручки.*) Сейчас ведь придет. Скажет, сахара нет. Или еще какой дряни... Их в неоплачиваемый отпуск отправили, теперь держись. (*Что-то шепчет, понемногу одушевляется, бормочет вслух.*) Так, так! Он еще не знает, это потом (*пишет*). Господи, сейчас забуду, скорей... (*Пишет не отрываясь.*) Так, так... Ах, господи, так!.. только теперь, да! (*Пишет молча.*)

Лена входит на цыпочках.

Лена. Извини... я на минуточку. Я не трогаю тебя, не трогаю!

Митя. А?

Лена. Я хотела сказать — иди посмотри, каким должен быть унитаз.

Митя (*испуганно*). Что?

Лена. Я его вымыла.

Митя (*успокаиваясь*). Ладно. Я теперь к соседям буду ходить. (*Выходит из-за стола.*) А я видишь, комнату прибрал.

Лена. Зачем ты веник-то мочишь? Сначала сухим надо. Все же на венике останется! А потом влажной тряпкой. А здесь что за грязь?

Митя. Здесь кристально чисто.

Лена. Смотри, грязь какая. Сейчас я помою.

Митя. Не вздумай!

Лена. Я протру, грязища такая. Швабру новую надо купить. Шваброй бы раз и все. Ладно, ладно, сиди. Поработай пока.

Пауза. Митя садится за стол, пишет.

Что ты мне подаришь на юбилей? (*Молчание.*) Я хорошо покрасилась?

Митя (*взглянув*). Просто отлично. Что ты все спрашиваешь? Посоветуйся в салоне. Там и покрасят, наверное.

Лена. В салоне! За сто тысяч, да? Да тебе все равно, какая я.

Пауза.

Сам ходишь, как старик. Лежишь целый день. Господи. Ты сопьешься, Митя. Мои вон уже из дома уходят куда-то.

Митя (*за столом, продолжает писать*). Поговори еще, пожалуйста.

Лена. О чем?

Митя. Все равно. О чем хочешь. О платьях, погоде, о соседях, унитазе, о чем хочешь. Мне нужен идиотский текст.

Лена. Ну, знаешь!

Митя (*спохватывается*). Прости. Ты не понимаешь, это не потому что...

Лена. Я потому что дура, идиотка!

Митя. Ну, ну, извини, просто как раз такой текст нужен был... Ну, прости, пожалуйста. Ты пойми... Ты меня пойми.

Пауза. Оба стоят по разные стороны стола. Молчание. Митя начинает ходить по комнате.

Митя. Лена, послушай меня, давай серьезно поговорим,

Лена. О чем со мной говорить! Со мной не о чем говорить!

Митя. Послушай. На том уровне, который тебе нужен, я ничего не умею и ничего не значу. А там, где я значу и умею, ты ничего не понимаешь. Там моя сила, а здесь я никто. Ты пойми, я вижу мир, всю эту здешнюю дрянь и

гадость, но я сам не из него. Там другая борьба и другие люди, там тоже все человеческое, и дрянь, и гадость, но другие. Там есть свои критерии. То, что меня топчут здесь, ничего не значит. Ничего не *будет* значить, когда я поднимусь. Пойми, курица бродит по берегу и знает, что на другой берег ей не перелететь, и спокойна! Знает, и спокойна! И не смотрит на этот другой берег, он ей не нужен. А орел поднялся, два-три взмаха, и он уже точка в небе! (*Смеется.*) Ну, пусть не орел, пусть воробей, ворона! Но нужно общественное признание, иначе кто тебя знает, может, ты больной. Дурдома набиты Наполеонами.

Лена. Но я обычная женщина! Я курица, я хочу жить, мне не нужно никаких орлов. (*Плачет.*) Не надо меня заставлять думать, я и так думаю целый день!

Митя. Что же мне делать? Я понимаю, что я слаб. Мне бы подпору, я бы осилил... Но меня только заталкивают обратно в яму, свои же.

Лена. Кто тебя заталкивает! Но чего ждать, Митя? Чего? Вот у нас один, он уволился. Был такой... считали его ни за что, сейчас купил джип с такими наворотами... Говорит, нарочно купил, из принципа, чтобы видели. Он тогда еще, в те времена, пошел на экономику и теперь вот... машина. Она ему не очень нужна, но чтобы... я не знаю... утвердиться. Я не знаю, он орел или нет. Пошел на экономику и... вот на такой машине.

Митя. Правильно пошел. Потому что никакой науки экономики нет. И понимать там нечего. Завтра скажут всем смирно, и вся экономика. Экономика это бред, лженаука.

Лена. Бред, а Америка процветает!

Митя. Правильно процветает, мошенники всегда процветают.

Лена. У тебя одни лозунги! Все у тебя дураки и мошенники. А я себе пальто не могу купить.

Митя. У тебя нет пальто? Так скажи, я откуда знаю?

Лена. А ты ничего не знаешь! Ты живешь я не знаю где, в облаках! Думаешь о том, о чем никто не думает!

Митя. А он кто, на джипе твой? Он же никто, его нету!

Лена. Их никого нету, но они все есть! А ты есть, но тебя нету! Ты только пьешь! И всем плачешься, как тебя тут... как мы тебя, бедного... какая я сволочь...

Митя (*молча ходит, потом останавливается, усмехается*). Вот представь: на стене висят люди в авоськах.

Лена. И что?

Митя. И все. Живые люди, в авоськах.

Лена. Фу, какие ты гадости говоришь! Я в магазин пошла, у нас сметаны нет.

Митя. А послушай, вот можно назвать сметану: «Село Степанчиково». А? (*Хохочет.*)

Лена. Какое село?

Митя (*угасает*). Степанчиково.

Пауза. Лена хочет уйти, но задерживается.

Лена. Митя, как-то у нас стало... плохо. Ты уже и спишь в кабинете. Я тебе совсем не нужна?

Митя (*с досадой*). Послушай, что ты все выясняешь? Дай мне подумать одному! Все ты наперед! Все вы знаете наперед! Двадцать лет под надзором! Чтобы все по-вашему! Порядок этот вечный, будь он проклят! Чтобы не знал, где твои брюки лежат!

Лена. Я тебе лучше хочу...

Митя. Не надо твое лучше, оставь мое хуже!

Лена. Да я же знаю, с чего ты такой! О чем ты думаешь! Маша тебе нужна! Молодая, а как же! Привела тебе Нюра, пользуйся! Мать-одиночка! Смотри, а то я ее топором зарублю! (*Уходит.*)

Митя понуро ходит по комнате, берет книгу, ложится, пытается читать, затем встает, ходит. В монологе постепенно нарастает злость и горечь.

Митя. Ну что, парень, что? Ты чего-то хотел? Ты жить хотел, свободы? Ну, не дурак ли ты? Не волнуйся, тебя загонят обратно в стойло. На тебя хотели опереться, но ты оказался гнилой подпоркой. А то, чем ты живешь, не нужно ни одной душе. Прожил здесь двадцать лет и... ни при чем. Может, действительно плюнуть? Не корчить из себя. Что я бьюсь? Ведь действительно, не Драйзер. Сколько таких сгинуло. Я бездарен, и все. Пойти посуду принимать... Но туда еще нужно устроиться, это почище кафедры какой-нибудь. И там еще нужно выжить. «Ты только пьешь»... А может, я как раз не устраиваю тебя трезвый? Слишком много понимаю? Так же, как моей родине я не нужен трезвый? Вон они, все витрины забиты водкой.

Берет трубку телефона, набирает номер.

Алё, здравствуйте. Это Булавин, я к вам заходил насчет работы, вы помните? Сокращения у вас... понятно. Плохо. Да мне, знаете... от вахтера до шахтера. Хорошо бы сторожить, чего не украдут. Типа памятника Карлу Марксу. Если серьезно, нужда крайняя... Но вы меня имейте в виду, ладно? Спасибо. До свиданья.

Набирает новый номер, но, помедлив, кладет трубку. Ходит молча, в задумчивости, затем увидел моль, гоняется за ней, хлопает ладонями.

О... какие красавцы тут летают. Жить тоже хочешь? Нет, милая, у нас любят только мертвых. Только мертвых. (*Страхивает моль.*) Да и мертвых мы хвалим только для проформы. Чтобы кушать коньяки на юбилеях... Кого мы любим-то? Здесь никто никому не нужен. Нужны генералы и бесплатные рабы. И поговорки такие: «Не можешь, научим, не хочешь, заставим». Заставим... заживо гнить. В стаде и теплее... Жить не дадут и совсем не угробят.. вытащат. Будь с народом, как все. (*Ходит опять молча.*) Если бы уметь, как все. Если бы не сидело это... не знаю что. Нет, они поддержат, поддержат!.. когда победишь. За неудачником нет поддержки. Никто не сочувствует дураку. Никто не поймет, как ему горько, как он болен сознанием дурости. С кем ему? Все живущие лучше меня. Эта моль лучше меня. (*Пауза.*) Не слышать их, уйти в себя? Нужна жестокость... Нужно не взбрыкивать, а развалить тюрьму! Тебя уже поняли, ты не один. Ты не один! Побеждай! «Не тот клич последний, когда погибаемо, но тот, когда сдаюшься»! А помогут тебе, когда ты без них уже сломишь стену, тогда скажут: мы с тобой! Мы же тебе суп варили. (*Уходит.*)

Затемнение.

СЦЕНА 5 (ДЕНЬ 8)

Митя и Маша в беседке, в парке, вечер. Никого прохожих, зябко, начало апреля. Оба в пальто.

Маша. Они люди как люди.

Митя. Но вообще наши люди страшны. Они во всем разбираются! А не понимают почти ничего. Их куда угодно можно завести. За что угодно прого-

лосуют. Женский тип... без вождя вразнос. Сорок лет ждут порядка, а жизнь ушла.

Маша. Пускай. Что вам? Вы страдаете за жизнь, а она не нами идет.

Митя. А как?

Маша. Она через нас идет, к своему, чего мы не знаем.

Митя. Ты верующая, Маша?

Маша. Конечно. Разве можно не верить? Оно же все перед глазами. Все дано, только увидеть!

Молчание.

У вас гордыня от великих. Вам ваши крылья мешают (*смеется*).

Митя. У тебя вишневый смех.

Маша. Как вишневый?

Митя. Не знаю... Да... Я сбитый летчик. Не прижился я нигде. Писанина эта... мучило оно меня. Оно давно сидело. Так давно, что привык. Я хотел сделать что-то невероятное.

Маша. Чтобы поняли, что вы не такой, как они.

Митя. Ну да, чтобы поняли, что существует не такое, как у них у всех, что оно просто есть на свете. Оно... не определяло жизнь, но было ее солью. А ничего не получалось. Оно только мучило, а не получалось. Не давало жить нормально, все какие-то потуги. Приступами брался, потом плюнешь опять и бросишь. И ни там, ни тут не сложилось. Там была жизнь, в тех мечтах, а тут шло как идет, и вот куда пришло. Одиноким волк не... состоялся. Не вышел шерстью и зубами. Для волка оказался слишком слаб, а для барана слишком горд. Я теперь уже бывший писатель, Маша. Ну, ладно, что я плачусь. Ты есть! А остальное пусть провалится.

Маша. Бессилие бывает от зла... А зло отступает перед другим.

Митя. Мои все муки исчезают перед тобой. Я тебя вижу и все пропадает, не нужно ничего! Знаешь, я когда-то хотел сказать людям что-то такое веселое, веселое навсегда! Чтобы я умер, а людям осталось это веселое, такое, как майский сад. Чтобы сияло счастьем жизни! И вот только сейчас, с тобой я это вспомнил, представляешь? Вспомнил, что я так хотел! Но уже самого веселого нет. Вот есть ты — и я снова живой. Но мне уже нечего оставить этим дуракам. Все равно они тебя заставят быть, как они, чтобы ты из их ямы не вылез.

Маша. А если бы вас поддержали, вы бы совсем расслабились.

Митя (*смеется*). Да. Вот ты бы меня гладила по голове и говорила, какой я великий, я бы и не делал ничего. Зачем, правда? Ведь тебя уже признали.

Маша. Вы слишком простой для настоящего возвышения.

Митя. Наивен, ты хочешь сказать?

Маша. Нет, нет! Что вы! Я совсем не в этом смысле. Вы неосторожны. Вы всем показываете, что вы *рветесь*. Вы же не для них делаете... а для славы, чтобы вас любили. Не для людей, а для своей... гениальности. Чтобы показать, что вы не такой.

Митя. А кто для людей-то живет, Маша? Правительство?

Маша. Да.

Митя. Ты моя радость!

Маша. Если... потратить себя другим, это восполнится.

Митя. А-а! Так это просто выгодно? Вон что! Шкурный расчет?

Маша. Какой вы... Одиноким вам жить.

Митя. Нет! Теперь нет! Но ты ведь знаешь сказку о гадком утенке? Так вот,

она сгубила миллион реальных людей... утят, да. Из них вышли бы прекрасные утки, плодовые, довольные жизнью. А так они всю жизнь изгибались под лебедя. У них были задатки... как бы лебедя. Как бы немножко шея винтом. (Пауза.) Я... чувствовал в себе что-то... а оно не открывалось. А вот это — как они, все остальные, живут, мне не подходило. Совсем не подходило! Совсем, никак! Не потому, что трудно, это бы я одолел! А вздор потому что все... Всё, чем они заняты! И смириться я не мог. И так по сей день... Видишь, одни видят плевки на асфальте, а другие видят небо. Но самые несчастные те, кто видят то и другое. Вернее, начав с неба, опускают глаза все ниже.

Маша. Но снова же можно поднять?

Митя. Это уже не то.

Маша. Вы людей... не так представляете. Люди по земле ходят, у них это естественное состояние. И они хотят вас тоже приземлить, чтобы разглядеть. А когда вы так... не защищены, увидят в вас только свое обыкновенное. И разочаруются. Их досада возьмет. Им нужно необычное.

Митя. Ты уже разочаровалась?

Маша. Я... нет, что вы! Я вижу... ваше небо. Только все время думать очень трудно. Я с вами все время думаю... хочу понять, а это... это нужно слышать по-другому. Я не представляю вас веселым. Веселых писателей, мне кажется, нет.

Митя. Конечно, писатель — это тот, у кого болит душа. Что же тут веселого. Мне только с тобой хорошо... А тебе?

Маша. Мне... вы сами знаете... но что... будет? я боюсь...

Митя привлекает ее к себе, целует. Сцена уходит, открывает гостиную в доме.

СЦЕНА 6

Гостиная в той же квартире, в ней идет перестановка. Степанида Гордеевна и Нюра, потом Дергачев и Лена.

С.Г. Еле уже ходит, а в поликлинику не идет. Осел упрямый. Замучилась я.

Нюра. Никто нас не жалеет. Некому нас пожалеть. А что это у вас перестановка?

С.Г. Да... готовим нашему писателю, чтобы как-то... поуютней ему. А то оскорбится, мы же гордые. Даше негде спать. Девочка большая, а ему ведь тоже где-то надо, так вот... Прославит, может... нас с тобой. Напишет что-нибудь такое, что держись... господа, прости.

Нюра. Да что он может написать! Он же не видит никого!

С.Г. А все за него! И Лёня все: Митя такой, Митя особенный, Митю не троньте. А кто его трогает? Вот, возись тут... куда бы этого кота? (*ходит с копилкой в руках*). Ему-то ничего не говорим, все сами. Он совсем пропадать стал, неизвестно где. Явится неизвестно еще как... голова кругом идет. Что-то неладно мне, Нюра, не по себе. (*Ставит кота обратно на сервант.*) Лёня плохой. А кому здесь... кто тут что решил когда? Дом рушится, а некому держать... некому.. Хоть Лена в отпуске теперь, когда поможет.

Нюра. Что ж их... совсем, что ли? Как увольнение?

С.Г. Еще нет, а к тому идет.

Нюра. Господа, что же это делается! Разорили все! Все порушили! Шла, думала, хоть у вас успокоюсь.

С.Г. Что, так и ничего? Не звонит?

Нюра. Нет. И добро бы чем обидела! Видно, там свое поют, мать родная не нужна.

Дергачев (*входит из дверей Митино кабинета, за ним оттуда же входит Лена*). Ну вот, перетащим шкаф и конец. Там только очень много бумаг. Куда их все? Можно их пока сюда на тахту?

Лена. Да конечно! Ничего с ними не сделается. Сто лет лежат...

Молча переносят и складывают рукописи, тетрадей и папок много. Когда почти все закончено, входит Митя. Он в приподнятом настроении. На минуту все замирают.

Митя (*оторопев*). Это... что тут такое происходит?

Лена. Это происходит, ты прекрасно знаешь. Мог бы помочь, но тебе же некогда. Приходится вот людей просить.

Дергачев (*спокоен, нисколько не смущен*). Ну, я, наверное, больше не нужен? (*Откланивается женщинам, уходит.*)

Митя. Вот, значит... я-то считал... я бы сам... (*Берет тетрадь, другую, листает, кладет обратно. Растерян, озирается, но постепенно раздражается.*) Вы... вообще-то понимаете что-нибудь... в том, чем я занят? Хотя что-нибудь? Вы, меня не спросясь...

С.Г. Успокойся, пожалуйста. Это же для дочери твоей!

Митя. Вы кто, чтобы я с вами вообще разговаривал? (*От него отступают в испуге.*) Вы кто?! Вы лезете, вы учите, взяли за горло, вы везде, а я нигде! Чтобы я не знал, где что лежит! Чтобы случайно рожу не вытер без вашего руководства!

Лена. Митя, мы сложили все аккуратно...

Митя (*никого не слышит*). Мне больше никто не будет указывать! Никто не будет делать выговоры! Никто!!!

С.Г. Так ты останешься один.

Митя. Пускай!!! Я всю жизнь один!!! Испугали ежа! Я и есть один! Я всегда был один!!! Я всю жизнь один!!!

С.Г. Тогда не надо заводить семью.

Митя. Пошли вон!!!

С.Г. Что ж ты гонишь нас из нашего дома?

Митя. Вон!!! (*Хватает кота-копилку, разбивает вдребезги о пол.*)

С.Г. Лёня! Лёня!

Теневин (*голос за сценой*). Что такое у вас?

Митя выбегает из комнаты. Сцена гаснет. Тишина.

СЦЕНА 7 (ДЕНЬ 9)

Во время продолжительной паузы медленно светлеет, открывается сцена: утро, кухня в той же квартире. Лена и Степанида Гордеевна, затем Теневин. Степанида Гордеевна собирает в поликлинику бумаги мужа. Все напряжены.

Лена. Я говорила, не надо так.

С.Г. Погоди, мне сейчас не до него. Никуда он не денется, побегаёт и придет.

Входит Теневин в генеральской форме, в шинели.

Теневин. Геростраты, елки зеленые. Что я у них там забыл, в поликлинике? Анализы, чтоб им... Куда вот человек ушел? Вторую неделю нету. Где он? Не случилось ли что? Даша не знает ли, где? Спросить ее... Времена какие, мало ли что. *(Берет у жены собранный пакет и выходит ворча.)*

С.Г. *(вслед, все громче)*. Там до девяти, смотри. Третий этаж! Мочу не пролей!!!

Конец II действия. Занавес. Антракт.

ДЕЙСТВИЕ III

СЦЕНА 1 (ДЕНЬ 10)

Гостиная в той же квартире. За столом Степанида Гордеевна, Нюра, Лена, Нюхин с женой, гости: 40 дней со дня смерти Теневина.

С.Г. Сколько я ему: Лёня, сходи, Лёня, сходи. И вот досидел, сразу в больницу, а там уже прободение, Да, главное, не в госпиталь, а в дежурную. Ничего не слушают, а я потерялась, как во сне хожу. Забирают его, Лёню, а я сказать не знаю что, он весь желтый и глаза не смотрят, уже и не видит меня, никого. Сразу в операционную, а там... В реанимации сестра то ли заснула, то ли что, а он же не позовет никогда. Может, и не мог. Пришли, а он чуть теплый. *(Вытирает слезы.)*

Нюхин. Эх, Платоныч. Такой человек. Эти больницы наши. Туда только попади.

Людмила (жена Нюхина). Ты уж молчи лучше. Все тут с бутылкой. Из-за тебя такой человек. У-ух *(замахивается)*, так бы и заехала.

Нюхин. Да что ты, глянь на нее! Я когда тут был! Гордеевна, скажи ей! Ленуля! Я ж...

С.Г. Ладно вам. Хоть здесь не ругайтесь.

Нюхин. Я помню, раз с аппендицитом лежал. И вот там была одна баба, красивая до невозможности...

Людмила. Господи, ты-то куда о бабах! Хоть бы уж молчал! Сиди уже молчи! Что за наказание.

1 гость. Да, Алексей Платонович был, конечно, редкий человек. Переживал сильно за все. Вот и язва. Кто переживает, тому хуже достается.

2 гость. И болел вроде недолго. Как-то сразу...

С.Г. Нет, у него уже год как началось. Он не показывал, а ночью встанет, смотрю, соду пьет. Ну, мало ли, думаю... А потом уже вижу... *(Вытирает слезы.)* И все молчком. Все молчком.

Нюра. Значит, повышенная у него была...

С.Г. Он еще из-за Дмитрия... Тот лежит себе целый день, а Лёня все: как Мите помочь?

Лена. Мама!

С.Г. Что «мама»? Не так, что ли? Гения нашла. Что он такого особенного знает-понимает?

Лена. Мама, он же работал — и в институте, и сторожем, и за книгу получили, он только год последний... Так нас и всех вон поувольняли. Чем он виноват?

Нюхин. А сейчас-то где он?

С.Г. Он нам не докладывает. Даша говорит, уехал к матери. Мать там тоже...

артистка какая-то... На свадьбу сына не могла приехать. Всего два раза виделись за двадцать лет. Они, видишь, особенные. А мы так.

1 гость. Алексей Платонович сильно за него переживал. Да... Говорил, что вот, дороги нет.

2 гость. Сейчас писателей этих...

Нюра. Давайте Леню помянем, что же. Человек был, что говорить. Всем помогал.

Выпивают, не чокаясь.

2 гость. Я помню, он парторгом был, еще полковником. Придет к самому: товарищ маршал Баграмян, вам партийное поручение. И тот — ничего... *(Удивленно крутит головой.)*

Нюра встает из-за стола, Нюхин тоже встает и подходит к ней.

Нюхин. Анна Евгеньевна, вы на меня зла не держите.

Нюра. Ладно, что теперь вспоминать.

Нюхин. Я же выпивши был, вы поймите!

Нюра. Ладно, что уж... Что там, какие опять приключения у тебя?

Нюхин. А, налетел, как черт на пень. На одну шарагу — думал, успею снять навар. Они, гадюки, просчитали все, новый офис открыли, думаю, должен успеть... И на другой же день... вот просчитали как! А я последние добавил еще... *(Понижает голос, рассказывает вполголоса, Нюра покачивает головой.)* Людка чуть не убила. Хорошо, квартиру не продал. Да если б одно это...

Нюра. А еще-то что?

Нюхин. Эх... *(Машет рукой и отходит к столу. Во время рассказа жены не слушает, думая свое; один раз встает, дико взглядывает кругом, делает шагов пять по комнате, садится снова.)*

Людмила *(за столом)*. ... Мы же не для наживы, деньги хоть спасти, ведь инфляция какая! Там эти... пухнут как на дрожжах, им-то ничего, а нам куда? А прошлый месяц прислали, что мы выиграли премию какую-то. Что за премия? Мы рады, оделись как люди, поехали, приезжаем, какой-то зал, все обставлено. Говорят, да, здесь, проверили список какой-то, вы выиграли. Был розыгрыш, по вашему району десять семей. Только небольшой вступительный взнос, что ли, двадцать тысяч, чисто символический, и в зале будет вручение. Ну, мы думаем, ладно, идем. Там — вот сейчас концерт, а потом вручение, садитесь, пожалуйста. Какие-то рок-музыканты, ну, мы ждем, потом Виктор уже, надоело ему, где премию-то получить? — Сейчас все будет, вот здесь еще распишитесь, вот вам еще приглашительные билеты на ужин, с большой скидкой, по тридцать тысяч с человека, в хорошем ресторане. Второго числа приходите, вас будут ждать. А где премия-то? Не волнуйтесь, сейчас, но вот ужин у нас обязательно, понимаете, он уже оплачен... Ну, тут Виктор уже — ну, вы оплатили, вы и ужинайте!? Нет, нельзя, такой порядок. Кто-то, смотрю, оплачивает эти билеты, я говорю, давай и мы, раз такой порядок, а Виктор — нет, ни в какую. А мы уже два часа там сидим и другие, полный зал, сидят, ждут. Полный зал нас, дураков! Третий час пошел, всё что-то бегают, потом смотрим — вдруг раз, и свет тушат. Входят служители какие-то, морды уголовные: освобождайте, ничего не знаем. Зал брали под конференцию или что-то такое, короче, валите по домам. Вот и премия. Оставили там двадцать тысяч, устали, как собаки, а у него радикулит, и домой на такси еще двадцать. И кому жаловаться? Пойдешь, скажут, дурак, и все.

1 гость. Что творят. Совести нет у людей.

2 гость. Порядка нет. Нет порядка!

Общее молчание. Затемнение.

СЦЕНА 2 (ДЕНЬ 11)

Митя один на вокзале, на скамье на перроне, потом Митя и Маша.

Митя (*один*). Двадцать лет не пойму, кто я такой. С тех пор, как закончил институт. Чего-то нет... чего-то нет... Сколько я хотел, сколько делал, чтобы выбиться из этой грязи. Но разве я работал? Разве так работают? Ясно, нет. Но бесполезно же. Они же никто ничего не понимает. Они даже не понимают, о чем я говорю. Они и не собираются понимать. Ни от кого слова человеческого... Мамуля моя тоже... Рада она мне, что ли? Ей, кроме театра, ничего не нужно. Сорок лет Нину Заречную играет. Хорошо, хоть не Джульетту... (*Пауза.*) А кто такому рад? Такому никто не рад. Ну, не хватило тебе того-сего, ума, характера, хитрости, таланта. Не сумел, не смог, проиграл. Боролся за себя и проиграл. Бездарно боролся и проиграл. Рвался, Маша права. Но не вырвался. Смирись с тем, что проиграл. Умом я это понимаю — а натура не смиряется. Дурная кровь... Я понимаю, что слаб, негоден, но смириться... Это гордыня, да. (*Вынимает блокнот, пишет. Входит Маша.*)

Митя. Маша! (*Обнимает ее, целует.*) Как ты долго.

Маша. Дочка заболела, я на минутку.

Митя. Как! (*Расстроен.*) Ну, вот. Я думал... Послушай, что я написал. (*Читает.*)

Косоглазый левша (и немного хромой)
Возвращался однажды домой.
Через досточку был ему правильный путь
(А темноло уже, не забудь).
И нормальный упал бы, но этот хромой
Стал на досточку криво ногой,
И она подползла, чтоб хорошей ступне
Уже стать на твердыню вполне.
А и деревце тут под удобным углом
Показалось упругим стволом —
Углядел его только скосившийся глаз,
И под левую руку как раз.
Где с нормальным умом не удастся пройти,
Там дурак не узнал и тревоги в пути.

Маша (*после паузы, напряженно думает*). Это... про Россию?

Митя. Ну да! Ты одна меня понимаешь.

Молчание.

Митя. Тебе не понравилось. Забудь, ерунда это, Маша (*обнимает ее, она несильно отстраняется*). Это так, минутный вздор! Маша! Лишь бы ты одна... Мне не нужно больше ничего! Ты же знаешь!

Маша. Да... Но как мы будем? Вам нужно в кабинете, чтобы тепло и вы мне рассказывали свои планы, а я бы восхищалась. Господи, если бы я вас так... не любила... Ночью вас вижу, во сне... Бегу, ног не слышу, жду... Я кто, господа, перед вами, не знаю ничего, не понимаю... А вы вот они, здесь, а

где вы?.. Где? У меня брат старший вернулся без руки и ноги из Афганистана. Воевал там... не знаю за что. Ходить не может, потому что рука и нога остались с одной стороны. Слава богу, что с правой стороны... А у вас... все цело и вам еще чего-то мало... Вы бога благодарите за то, что он посылает вам кару свою, вразумление. Значит, он не забыл о вас, раз посылает вам кару свою! Господь помнит о вас! Чего же вам еще нужно? Вам все дано... И вы... да вас в тюрьму надо сажать за то, что вы господу не благодарите каждый день!

Митя (*ошеломлен*). Да что ты, Маша!

Маша *плачет*.

Что ты, что ты! (*Обнимает ее, растерян*.) Я не знал... я буду благодарить.

Маша. Я побегу, простите меня! Дочка там... одна (*уходит*).

Митя, один, потрясен.

Митя (*после паузы*). Куда же теперь? Здесь ночевать, что ли.

Входит Нюхин. Изображает случайную встречу, временами озирается. Митя и Нюхин.

Нюхин. О, глянь-ка, кто! Привет!

Митя (*рассеян*). Михалыч... Какими судьбами?

Нюхин. Да так... Это Маша, что ли, пошла?

Митя. Следишь?

Нюхин. Нет, что ты. Случайно шел... Так тут, разное... Смотрю, вроде Маша... Как дела?

Митя. Какие дела...

Нюхин. Да-а... Про Платоныча-то знаешь?

Митя. Знаю. (*Пауза*.) Ты сам-то как?

Нюхин. Да я что. Лучше некуда. Хорошо, что встретились. Как раз спросить хотел.

Митя. Говори, не тяни.

Нюхин. У вас там знакомая вроде одна, ну, такая... Маркетинг у нее.

Митя (*не сразу*). А-а... И что, запал на нее?

Нюхин. Да нет, не то. Хотя она ничего, вообще. Встретил раз, от вас спускалась. Ну, ля, ля, тополя. Она ж ваша знакомая?

Митя (*пожимает плечами*). Ну так...

Нюхин. Короче, взял у нее три коробки на реализацию. Зелья ихнего. Пузырьки такие желтенькие.

Митя. И что? Приключения?

Нюхин. В гараже держал, у одного... Жиган, елкина мать. Два километра от нас, как она выследила...

Митя. Кто выследила? Говори уже толком.

Нюхин. Людмила, кто. Я уже одну коробку пристроил. Взяли на пробу. Вскрытая была, я ж сам и вскрыл. Человек серьезный. И по деньгам нормально. Он бы потом много взял. Только в коробке не то оказалось.

Митя. А что?

Нюхин. Я не поглядел толком, пузырьки те же. Я разве мог думать? И отдал. А они столковались, видно, там, Людка с хозяином этим гаража. Она решила, что спирт, что я себе держу! И этот шакал напузырил туда... понял? (*Озирается*.) Я их обоих убить хотел. Теперь, короче, покупатель предъявил штраф пять штук — не рублей, как понимаешь. Две коробки запечатанные уже даром ему отдал в зачет. И еще там с меня... А мне еще хозяйке отдавать. Ты бы не мог с ней... как-нибудь?.. ну, типа, пожар случился... Я прокручусь, отдам.

Митя (*через силу сдерживаясь*). Ну, деляга... Нет. По правде скажу, от меня будет только вред. Мы с ней не сошлись в вопросах. Это Елены креатура.

Нюхин (*угасает*). Тогда все. С Леной нельзя. Ты ей тогда ничего!

Митя. Как там наши?

Нюхин. Ничего. Пойду... (*Уходит, но останавливается у края сцены, стоит секунды две-три и возвращается.*) Слушай... Как же это люди-то у нас живут?

Митя. Где?

Нюхин. Ну, в нашем этом, как его... государстве? Как они живы-то?

Митя (*некоторое время молчит, растерян; смотрят с Нюхиным друг на друга*). Не знаю.

Затемнение.

СЦЕНА 3 (ДЕНЬ 12)

Даша и Денис в гостиной, стоят на некотором расстоянии друг от друга. Потом Степанида Гордеевна и Нюра.

Даша. Они все честные, а жить не на что. Вот и... Кому честные нужны. Все честные — дураки.

Денис (*серьезен, немного важничает*). Мы должны... (*сбился*). Мы уже сами взрослые. Надо ответственно жить.

Даша. А я не хочу ответственно. Ты дурачок, Динька.

Денис. Ты это так, я понимаю. Что ты думаешь, не понимаю? (*Пауза.*) Вот... ты мажешься. Думаешь, я не вижу? Ты еще нос себе проколи.

Даша. Не твое дело, что я себе прокалю. Захочу и прокалю. Ты кто такой, чтобы мне указывать?

Денис. Вот увидишь, кто я такой. Только попробуй!

Даша. Иди купай кота!

Денис. Вот посмотришь тогда.

Даша. О-ой, испугал. Ты меня своими этими... не грузи. А вот... ты можешь сказать одному человеку, чтобы он сюда не ходил?

Денис. Какому человеку?

Даша. Один такой... ты сначала скажи.

Денис. Я его видел?

Даша. Может, и видел.

Денис. Это на джипе... который с матерью твоей?

Даша. Ты скажи сначала!

Пауза.

Денис. Если этот — скажу. Только он не отстанет.

Даша. А ты скажи, что... Что ты его убьешь.

Денис. Я по-другому... только это все равно. А что... отец твой?

Даша. Это не твое дело! Скажешь?

Денис. Я скажу.

Даша. О-ой. Так я и поверила.

Входит Степанида Гордеевна, за ней Нюра.

С.Г. Здравствуй Диня. Как у тебя дела? Как мама?

Денис. Здравствуйте. Мама хорошо, только уволили их. Или в отпуск, не поймешь. А так нормально.

С.Г. Вот тебе раз. Как же вы теперь будете?

Денис. Ничего. Я уже работу нашел. Ну... пока еще так... временно.

С.Г. Вот молодец. Садись с нами, сейчас обедать будем.

Денис. Нет, спасибо, Степанида Гордеевна. Еще уроки... Я пойду (*Уходит*).

С.Г. (*Даше*.) Вот! Парню семнадцать лет! Не то, что отец твой!

Даша. Бабуля, иди купай кота!

С.Г. Я тебе покажу кота! Дрянь такая, сопливка, как взяла разговаривать! Отец разбаловал!

Даша. А что вы все на папулечку моего? Что он вам сделал? Он один такой на свете, а вас вон, целая улица! Не видите никто, как ему!

Нюра. Дашенька...

Даша. А вы молчите! Вы все на него! Он не такой потому что!

С.Г. Ты кого это учить? Ты свои двойки исправь сначала! Иди сейчас же заниматься! Тебе комнату освободили, гадость такая! Иди сейчас же, чтоб я тебя не видела!

Даша уходит к себе, в бывший Митин кабинет.

СЦЕНА 4

Там же, Степанида Гордеевна и Нюра, потом Лена и Дергачев.

С.Г. Ты подумай! Кормим, одеваем... Для нее живешь... Ах ты, дрянь.

Нюра. Их кормишь, жалеешь... всю им жизнь отдаешь, ждешь всю жизнь... А потом не знаешь, как, за что...

Входят Дергачев и Лена. Дергачев спокоен, сдержан.

Дергачев. Здравствуйте.

Нюра. Здравствуйте.

Лена. Мама, мы часы на кухню принесли новые.

С.Г. Вот спасибо, а то совсем плохо без часов... Закрутишься и не знаешь... Я деньги отдам вам, вы не думайте! Руки мойте идите и садитесь обедать, я сейчас. (*Уходит, за ней Лена.*)

Нюра (*холит по комнате, ей неловко*). А вы, значит... по торговой части. И что, выгодно идет дело?

Дергачев (*садится*). Все, знаете, относительно. Неплохо пока.

Нюра. У вас, значит... косметика. Все вот хочу спросить, не пойму никак. Вот это у вас, целый день... все от перхоти — что за перхоть такая? Перхоть, перхоть. У всех, что ли, она теперь?

Дергачев. У многих. А если нет, так будет. Главное, посеять сомнение.

Нюра. У меня вот сроду не было. Моешь голову хозяйственным мылом за шестнадцать копеек. И никогда ничего... А летом крапивой, и так хорошо!

Дергачев (*спокойно*). Значит, там есть нужные компоненты.

Нюра. А у вас, значит...

Дергачев. У нас разное. От трех тысяч до девяноста.

Нюра. Девяносто...

Дергачев. Есть и по четыреста, но это наборы. Хотите приобрести?

Нюра. Господи, сохрани и помилуй.

Молчание.

И никакая перхоть... никакая ваша экономика, ни кризисы нас не трога-

ют. Мы по вашей экономике не жили, на биржу вашу мы не ходим. У нас картошка своя, лук свой.

Дергачев. Видите, как хорошо.

Лена возвращается.

Дергачев (*Лене*). Сделаем вам стиральную машину, нужно только немного подождать. В одном месте мне обещали скидку пятнадцать процентов. У нас там взаимный интерес. Недельки две подождать.

Лена. Вот бы хорошо, а то замучились.

Дергачев. Юбилей твой тоже можно отметить, не беда, что с опозданием. День рождения можно и позже отмечать. Где-нибудь в приличном ресторане. Есть один неплохой. Также там свои, не обманут.

Лена. Я не знаю... надо ли теперь.

Дергачев. А что?

Лена. Мама, мне кажется, не пойдет, и вообще. Столько уже прошло всего. И что праздновать, мои сорок лет?

Дергачев. Ну... посмотрим там. Можно и без твоих, одни. Для себя.

Нюра. Ну, молодые люди, я пойду. Всего вам хорошего. (*Уходит, бормоча себе под нос.*)

Дергачев. Я тоже пошел.

Лена. Оставайся обедать.

Дергачев. Не могу, у меня еще встреча. (*Уходит.*)

Входит Степанида Гордеевна. Степанида Гордеевна и Лена.

С.Г. Все ушли, что ли? А я там обед... (*Присаживается к столу. Молчание.*)
Что ж теперь у вас... как?

Лена. Мама, я сама ничего не знаю. У него комната... Может, найти обмен? Мите комнату, а эту... разменять на две. Вам с Дашей и нам... Он говорил, что поможет. Но они с матерью там. Они из такой нищеты... Она уборщицей в трех местах работала, пока вот он... только сейчас поднялись. Я не знаю ничего. А на что жить? (*Плачет.*) Или к этой дряни пусть идет! Пусть его мать-одиночка принимает!

С.Г. Что ж теперь... Не знаю, что теперь. Может, и лучше так.

Затемнение.

СЦЕНА 5

Митя и Борис Волков в кафе, за угловым столиком, официантка обслуживает их как своих.

Борис. Вы поссорились, что ли?

Митя. Ну... разве два-три выстрела в воздух, это ссора.

Борис. Дело, конечно, не мое...

Митя. Наплюй. (*Пауза.*) У человека, знаешь, два врага: женщина и умственная работа. А у женщины три занятия: мазать себе физиономию, пить твою кровь и наводить порядок.

Борис. И рожать детей, ты забыл.

Официантка подходит к ним.

Официантка. Мальчики, к сожалению, у нас закусить только стерлядь.

(Смеется.) Мы так называем. Треска в заливке с морковкой, я вам всю принесу, что осталась, ладно? Хорошая. Ничего больше нет.

Борис. Неси стерлядь. Танюша, гарнира там какого... есть охота. Коньяк хороший?

Официантка. Бутылочку?

Борис. Одну пока. Но вторую забронируй на всякий случай, ладно?

Официантка уходит, затем время от времени подходит, подает и убирает молча.

Митя. Ты при деньгах, что ли?

Борис. Заплатили за позапрошлый месяц. Жизнь налаживается... Извини, это анекдот такой.

Митя. Я в курсе. Всё кругом анекдот. Весь мир в палате стационара, где миллиард таких, кого не успели вынести... Пора уже идеи выдвигать по переработке мертвецов во что-нибудь полезное.

Борис. Мыло, что ли, варить? Ну, Митрий, с тобой поговоришь, к утру заплачешь. (Пауза.) У нас, ты знаешь, в магазине в винном отделе такие тексты – умри, Шекспир. Ты бы пришел послушать.

Митя. Что ходить, у нас сосед такой.

Борис. Я думал, тебе интересен фольклор. К нам, опять же, зашел бы, сколько не был. Галка будет рада. Место есть, у нас комната свободная. Живи, сколько нужно.

Митя. Спасибо.

Чокаются, выпивают.

Митя. Знаешь, я прирабатывал в одной шараге, сторожил. Ты, может, помнишь. Меха, воротники, то, се, Жалко, что поперли, своего кого-то взяли. А то бы мы с тобой сейчас кушали фрикасе. Платили неплохо.

Борис. Да-а...

Митя. Так вот, от шкуры требуется серебристость, темнолапость и темнобрюхость. Понятно?

Борис. И толерантность.

Митя. И... да, само собой. Иначе шкуру не снять.

Выпивают, едят.

Митя. Работа была та еще. Воротники дорогие, шубы. По-моему, левые какие-то дела, я не вникал. Пить, конечно, нельзя, работа блатная, уволят в момент. Но в подсобке делать особо нечего, пишешь что-нибудь, не пишется, спишь. Как говорится, во фраке на босу ногу. Иногда тоскливо, примешь немного. Раз просыпаюсь – на груди крыса дремлет. Ей тепло, пригрелась. Видит, что я проснулся, тоже смотрит. Глазки умные, как у Ленина. Нехотя спрыгнула и пошла в свой угол. Вот с тех пор я себя как бы возвысил, что ли. Не у всех же, согласись, крыса спала на груди. Вроде знаешь, ордена у тебя. (Пауза.) Я тогда думал много. О работе вообще, зачем она и тому подобное.

Борис. И как решил?

Митя. Решил, что чем дальше от простых нужд, тем меньше смысла в этой работе. В общем, надо пахать и сеять.

Борис. Опрошение, значит.

Митя (помолчав). Но сам я пахать не хочу.

Борис. Понятно. Подай мне еще фрикасе.

Митя подает блюдо с рыбой. Молча выпивают и едят.

Митя. И вот, когда рухнуло это все, словно бы что-то подтвердилось. То, что мучило меня.

Борис. Что именно?

Митя. Ну, я словно бы подозревал, что все это не может длиться, потому что все вздор. Это с первого дня, как я пришел на работу, ту еще, в НИИ. Сразу перестал что-либо понимать. Они все там как-то пристроились, работали — то есть, они не до горба трудились, но они ходили на работу, делали, что велено... Были способные, многие, — не сказать, что способнее меня, такие же. А мне что-то не давало. Работа... если честно, я ее и не видел. Я пытался понять, что она значит, эта работа, и видел только, что это какой-то вздор и что от нее один вред. И вот оно рухнуло, и не заступился никто. Выходит, я правильно чувствовал, что вздор? Но эта дурь во мне не закончилась. Я и сейчас хочу что-то понять. Я словно жду, что оно откроется. Но что это? Я не знаю.

Молчание, едят.

И это нынешнее... рухнет тоже. Это тот же вздор наизнанку. Вздор опять! Опять, но только уже мировой. Все посыплется снова. Цивилизация песка, как нас на Востоке называют. Но не в нас дело! Все глубже гораздо. Надо снять порчу с человечества.

Борис. Как ты снимешь?

Митя. Не знаю. Но, что рухнет, факт. Да... Вот тогда я о кошках стал писать. О тех, кто не поддается дрессировке, а поступает по-своему.

Борис. Я понял. Это чувствуется там.

Митя. Я, понимаешь, словно бы рвался из какого-то капкана. Из неволи. От меня чего-то хотели, но я не мог этого ничего дать. Я нигде не был дома. Я не понимал, почему я здесь и куда мне деться. Я чувствовал, что должен что-то найти. Понимаешь? А что? Теперь не вспомню. Искал вчерашний день.

Борис. Это юношеское переживание.

Митя. Да, у меня затянулось... Мой корабль тонет уже двадцать лет.

Борис. Не отчаивайся. Я понимаю, почему кошки. Собака глупа. Говорят, собака друг человека. Собака друг хозяина, а не человека. По сути, она как раз враг человека. Для того и держат. А кошка свободна. И есть люди такие, вроде тебя. Их неволя парализует. Есть птицы, которые в неволе не поют. Соловьи, кажется.

Митя. Ну, это... понятно, я не соловей. Я понимаю, я только с виду тупой.

Борис. Да нет, я не это имел в виду! Я просто... Никакой иронии, я так. Что ты сразу.. как девушка. Ты держись. Жизнь с женщиной, знаешь... Все они хотят разменять твою душу на свой комфорт. Ты их пойми. Они же совсем другие. Прочти дневник Печорина. Кто из нас писатель, ты или я? Давай под стерлядь или кто она там.

Выпивают, едят. Молчание.

Митя. Знаешь, отличие ребенка от взрослого в том, что ребенок *всегда* говорит правду. К месту и не к месту. Иногда так не к месту, что хуже не придумаешь... И есть такие взрослые люди... по виду взрослые. У них как бы слепота правды. У него счастье открытия, и он делится счастьем, не думая, к месту или нет. Он только оттуда, понимаешь, вот только сейчас понял, он из этого счастья! — и всем сразу вдруг... Что, вот, мол, король голый! Радуйтесь со мной. И никто не рад, разумеется. А он, может, спасает человечество. Может, он и есть это, сегодня, человечество, оно через него сейчас открыло... что-то там. Вздор какой-нибудь чаще всего...

Борис. Ну... не всем такое дано. Люди, в большинстве, обыкновенны. Озабочены своим...

Митя (*перебивает, с внезапным подъемом*). Да нет обыкновенных людей, пойми же ты! Нет никаких обыкновенных! Нету двух одинаковых воробьев, двух муравьев одинаковых, а может, двух одинаковых молекул! Нету двух одинаковых молекул! Мир не из шариков состоит в башке у Резерфорда, он весь из тайны состоит! А Резерфорды только гробят его своими куриными моделями!

Борис. Ты ешь, пожалуйста. А то девчонки старались, я их знаю. (*Пауза.*) Эта Таня, знаешь, раз говорит: если бы не Галя, я бы их, Боречка, до единой всех зарезала, за тебя. (*Смеется.*) Как бы шутка... Из-за Гали, говорит, смирилась. Вижу, что у вас... как там, на их языке... типа, любовь.

Пауза.

А ты, Митя, спасай человечество. Человечество не против. Я тебе от его имени говорю: не против.

Митя. Не против?

Борис. Не против. Ты только ешь, пожалуйста.

Митя. Точно не против?

Борис. Ну, ты... точно, не точно. Ты ж физик как-никак. Все сравнительно.

Митя. Нет! Не сравнительно!!! Абсолютно все! Абсолютно! Истина единая! Она в муравье и в Тане твоей... вон она идет... В муравье, в... я не знаю, в треске, в омаре!

Официантка подходит.

Борис. В омаре.

Митя. В омаре!

Борис. Таня, истина в омаре. Есть омары? Не отвечай. Омаров нет.

Официантка собирает ненужную посуду, смеясь, уходит.

Борис. Митя, истина того... Я согласен, в целом.

Пауза. Митя задумчив, вяло, машинально ест.

Митя. Вот ты физик. Вот, представь себе архимедову опору — кучу, извини, дерьма. Некстати опять, конечно... И вот Архимед пытается поднять земной шар через... эту опору. Сколько времени уйдет на уход опоры под рычагом? Представь? Ну, вот и ответ нашего русского Христа... Не удивляйся, он русский у нас. Мы сделали Христа русским. Он не такой, как у них... И вот Его ответ: вы... как там... Что вы все, «господи, господи», а шагу малого не делаете? Вот и все, и ответ весь... И вся эта «экономика», о которой они пекутся, и эти их Дергачевы...

Борис. Это кто такие?

Митя. Плевать (*Молчание.*) Знаешь, тебе скажу: мне кажется, вот я буду умирать — и не буду думать, в каком гробе буду лежать — с рюшечками или без рюшечек, а буду думать о тайне чеховского «Налима»: в чем она? Может, в каком-то зрении таком особенном?.. Буду думать, и с этим усну. Или думать, вот бы написать «Снега Килиманджаро» или еще что... Такое, где у него рыба идет под водой, как тень от самолета. И вот так умереть, в такой, знаешь, не мечте, а... не знаю, как назвать. Это не мечта, а как бы рай, где уже все в порядке, потому что уже есть «Старосветские помещики» и прочее.

Борис. Тогда тебе бы лучше в искусствоведы.

Митя. Лучше! Еще как бы лучше! Но я там кто? Там же нужно... работать? (*Смеется.*)

Выпивают в молчании.

Я тебе завидую. Вот у тебя талант. Ты смолodu понимал обстановку и

правильно в ней размещался. Понимал, чего хотел. А тут сначала уступаешь, как последний дурак, а потом на стенку прыгаешь и на людей бросаешься, как дурак в квадрате.

Борис. Я... как это называется, конформист. Нужно — сделаем морду домиком. Или чемоданом. А иначе нужно брать власть, тогда всю жизнь оглядывайся, как волк. Там свой талант и другие люди. Вот, ты в опере слышишь, когда пустят петуха — но сам-то ты споешь ли лучше? А выйдешь,пустишь такого петуха, что народ вповалку будет лежать. Будешь пускать петухов и позориться. А главное, все равно ничего не переменишь. Мало их было, реформ? Перегадили только прежнее. Давай еще. Стерлядь, жалко, кончается.

Выпивают.

Митя. Стерлядь, это хорошо. В виде трески... неважно.

Борис. Я тебе тоже скажу. Ты приезжай. (*Напряженно, хмурясь.*) Галка... она ж в тебя влюблена была.

Митя. Брось.

Борис. Что брось. Если б у нас тогда сын не родился... Теперь смеется, а тогда... Хорошо, ты женился тогда. Лена ж и теперь красавица, а была, глаз не отвести. Она и успокоилась, а тут сын родился. А то бы... Галку потерял. Так что я твоей Лене следы должен целовать. Я ж ее, Галку, как увидел, думаю, или она, или нет мне жизни на земле. (*Усмехается.*) Я ведь понимаю, кто ты на самом деле. Я твое интеллектуальное превосходство всегда ощущал. Только я работал, а ты не хотел.

Митя. Ты пахарь, да. Я понимаю.

Борис. Понимаешь... А пробовал? Из ничего, на карачках? Тебе Богом дано, а ты с карачек пробовал? Так что приезжай, живи. Я серьезно.

Митя. Спасибо.

Молчание.

Знаешь, я пойду. Спасибо тебе.

Подходит официантка.

Официантка. Мальчики, нам надо закрываться.

Борис. Сейчас. Танюша, вот, скажи нам: в чем человеческая жизнь? А то человек мается.

Официантка. Как в чем? В счастье! Нас бог создал для радости! Правда хорошо, а счастье лучше. Мальчики! А вы все ду-ду-ду-ду...

Борис. Вот. (*Мите.*) Куда ты пойдешь? На вокзал опять? Тебя заберут. (*Удерживает Митю.*)

Митя. Заберут, отпустят. Пойду. Не обессудь... меня без нужды. (*Кланяется официантке, уходит.*)

Официантка. Боречка, твой друг нам очень понравился.

Борис. Он женат...

Официантка (*с укором*). Боря. Зачем ты приводишь женатых? Мы же можем обидеться.

Борис. Не... в этом дело. Он во все стороны... одарен. Он не сможет со... средоточиться.

Официантка. Ну, вот. Вот как ты к нам. Мы к тебе всей душой, а ты... Да, интересный мужик. От него идет... что-то звездное. Только он же никого не видит. Никого и ничего... Весь в своем. Жене, наверное, не сахар с ним.

Борис. Вот... И ты, Брут...

Официантка. Что ты, Боречка! Я же так, вообще.

Борис. Угу. Понял. Еще одна...

Официантка. Что еще одна?

Борис. Нет, ничего. Он где проходит, там одни тела.

Официантка. Какие тела?

Борис. Лежачие.

Официантка. Боречка, что ты! Я таких боюсь. Это же человек... который вслух говорит все! Так не живут. Боря! Боря!.. Ты же знаешь, кроме тебя...

Борис. И двоих детей.

Официантка. И детей. А что мне оставалось? Мне умереть теперь?

Борис. Нэ надо.

Официантка. Галочке привет. Приходите с ней, я ее уже сто лет не видела.

Борис расплывается, целует ей руку, уходит.

СЦЕНА 6 (ДЕНЬ 13)

Ранний вечер, Лена и Митя идут по улице. Митя трезв, мрачен. Видно, что он неужожен, помят. Останавливаются у своего подъезда.

Лена. Что я тебе сделала? Что?

Митя. Я тебе говорил, уедем! Все бы у нас было. А теперь что.

Лена. Куда, в эту Сибирь вашу? Господи, ну что за глупость! У них там в деревне молодежь вся спилась! Кто спился, кто в тюрьме.

Митя. А я тут сопьюсь. Там хоть в огород можно выйти, огурец сорвать.

Лена. Огурец вон, на даче есть, езжай да рви. Мать давно зовет, ей там помочь что-то нужно.

Митя. Это не мой огурец. Я его не заслужил. Здесь все не мое!

Лена. Там, родня вон пишет, нет уже никого, старики все поумирали, от деревни три дома осталось. Вахлаки...

Митя. А вы тут... по этим маркетам, культуры шибко набрались? Как киви кушать? Тележки катать? Никак не накушаетесь!

Лена. А ты не ешь, что ли? Вам же таким и возим! По две сумки тащишь!

Митя. Я ем, чтобы жить!

Лена. О-о! О-о! Лозунги твои вечные! Ты просто бесишься! Не на ком зло сорвать? А может, отставку дала Машуня твоя? Ай, молодец баба! *(Хохочет, они входят в подъезд.)*

СЦЕНА 7

Гостиная в той же квартире. Степанида Гордеевна, Нюра, Дергачев, Нюхин, потом Лена и Митя.

Нюхин. Они мне предъяву не могут, по мелочи гадят. Я бы их зажал. Они думают, я лоханулся, а они в шоколаде. Ну, я покажу, в чем они. По самую плешь будут сидеть.

Дергачев. Не знаю, я предпочитаю не конфликтовать. А кредит под квартиру не советую. Помочь подняться можно, но будет мой интерес.

Нюхин. Это ясное дело! Мне бы только отползти в окоп.

Дергачев. Я подумаю. Позвоните дня через три.

Входят Митя и Лена. Общее напряжение.

С.Г. Ну... здравствуй.

Митя (*зол, шутовски кланяется*). Здравствуйте всем. Да вы не смущайтесь, будьте как дома.

С.Г. Вот ты как. Ну, что ж... Мы-то дома. Да и тебя из дома тоже никто не прогонял. Себя и вини.

Митя. Вы правильно устроитесь всегда.

С.Г. Кто тебе мешал правильно?

Лена. Мама, не нужно, давайте спокойно поговорим.

Нюра. Митенька, к тебе же с добром.

Митя. Я понимаю. Я только с виду дурак, Анна Евгеньевна.

Нюра. Во-от... Ты все время так. С виду он... Ты нас за людей... Мы к тебе, Митя... А ты вот как. Ты нас за людей не считаешь. А ты нас видел? Ты нас разглядел? Ты вот... написал бы про нас, какие мы? Такие вот, ни то, ни се, тоже мечтали о чем-то, жили-надеялись, А что уж получили, то получили, господа видней, за что. Мы, может, тоже люди с душой живой? Опиши-ка нас, а? Не выйдет?

Митя (*хмуро*). Не выйдет, Анна Евгеньевна. Тут вы правы.

Нюра. Во-от. И мы чего-то понимаем в этом... искусстве твоём. А не ты один. Ладно, мы дураки, а ты-то... далеко ли ушел? Ты дураками-то не брезгуй! От дураков, может, вся сила идет. От дураков не отдаляйся! Чай, и Гоголь-то не брезговал дураками, вот и люди у него живыми выходили, со всей их дуростью. Дураки-то его на самый верх и вытянули! Что, скажешь, не так?

Митя. Так, так. Это вы лучше Белинского рассудили.

Нюра. Что с тобой говорить-то!

Лена. Теть Нюра, давайте мы сами разберемся.

Нюра. А ну вас! (*Уходит.*)

Митя (*садится, он подавлен, вял*). У вас тут, смотрю, совещание. Финансовые вопросы?

Молчание.

Я понимаю, богатство такая же глупость, как играть в шахматы или изобретать пулеметы. Но увлекает.

Дергачев. Если вы это мне, то да. Это власть.

Митя. Я и говорю, увлекает. Вроде кроссворда, переживание жизни, чтоб скорей прошла.

Молчание.

Дергачев. Вы хотите перевернуть мое представление? Не стоит.

Митя. А велико ли представление?

Дергачев выражает недоумение.

Со шкаф или больше? Грохоту чтоб не вышло.

Дергачев. Завидуете, что ли?

Митя. Чему? Деньгам нельзя завидовать. Воровское счастье переменчиво.

Лена. Митя!

Дергачев. Если деньги, то обязательно вор?

Митя. У нас обязательно.

Молчание.

В реформы, что ли, верите? Хэ-х... Они вас попасут лет пять, чтобы жир нагуляли, а потом сделают то же, что всегда. Наголо и под нож.

Дергачев. Я знаю. Я видел, сколько там кровососов.

Митя. Вот-вот. И всем нужен золотой горшок. Вы, не дай бог, разовьетесь, они станут не нужны. Думаете, они этого не понимают? Натравят обездоленных, за три дня все сгорит.

Дергачев. У меня сгорит, у другого сгорит. А третий вырвется. Их время ушло.

Митя. Это вряд ли. Они опираются на массу, а массе не нужно, чтобы ты поднялся. Ты будешь богатый, а я бедный? *(Пауза.)* Ничего они не давали делать никогда и не дадут. Нужны одни рабы.

Дергачев. Поглядим. Я сам из рабов.

Митя. Ну-ну. Дай бог нашему теляти волка зыисти. *(После паузы, сам с собой.)* Ну, если эволюция его породила, значит, эволюции он зачем-то нужен... Лучшие умирают, а это живет...

Дергачев. Но вы ведь тоже еще не умерли?

Митя. Я просто донашиваю пальто. Пальто жалко.

Дергачев. Ну, всех благ вашему пальто. Общий поклон. *(Уходит.)*

С.Г. Вот так-то люди себя держат.

Митя. Правильно они сделали, что все украли! Они не хотели жить, как все. Строить коммунизм чужому дяде.

С.Г. Что же это за путь, наплевать на всех?

Митя. А если нормального пути подняться нет? Вы же и не дадите! Соборность ваша!

Нюхин. Да, что же... Умеют люди. *(Уходит.)*

Митя *(уперся, настаивает)*. Чтобы все были голыми. Но одинаково! И все социализмы ваши! *(Задыхается.)* Нигде в мире не прижилось! У нас одних!

С.Г. Господи, что с тобой?

Митя. А если... у соседа лучше, то сжечь ему дом! Чтoб у него тоже ничего не было! *(Глядит затравленно, озирается.)*

С.Г. Не смотри, второго кота у нас нет. *(Пауза.)* Народная власть страну спасла в войну. А твои эти... Прусты, или кто они, в месяц бы тут все околели. А мы живы и стоять будем.

Молчание. Митя успокаивается, садится. Пауза.

Ты что же теперь думаешь делать?

Митя. Степанида Гордеевна, вам не нужен задний бампер?

С.Г. Что?.. За что же ты нас так ненавидишь? Мы ведь тебя взяли в семью. Ты голенький был, как птенчик. Ну, ладно, я дура, но покойный Алексей Платонович всегда за тебя, всегда хорошо — Митю не трогайте, Митя не простой человек, Митя необыкновенный, к Мите нужно с уважением. Все тебя оберегал от нас.

Митя. И что теперь, Алексей Платоныч? Неправильно умер? Не под вашим руководством?

С.Г. Что?

Лена. Сволочь ты сам, вот что! *(Уходят обе.)*

Митя. *(Сам с собой.)* Вот, народное восприятие. Ты будешь для них ничем. А тот, кто украл и возвысился, для них молодец: «Умеют люди». *(Пауза.)* Все верно, дело в умении. В умении. *(Ходит по комнате, подходит к зеркалу, стоит у него.)* Зеркалу, наверное, очень холодно отражать мир.

Затемнение.

СЦЕНА 8 (ДЕНЬ 14)

Та же квартира, гостиная. Дергачев и Денис, затем Лена.

Дергачев *(садится в кресло)*. Ты тут... кто? Я тебя видел раньше?

Денис *(только что вошел и стоит в куртке)*. Я... неважно. Вы должны перестать ходить.

Дергачев. Ну, это я тебя не спросил. Сопли подотри. *(Насмешливо.)* А-а... ты, типа, в этих... бодигардах?

Денис *(твердо)*. Я... Здесь вам нечего.

Дергачев. Я тебе объяснять не буду, кто я, ладно? И тебе лучше не углублять. Посмеялись, и беги. Учи... что у вас там, синусы-косинусы? Будешь умный-умный.

Входит Лена.

Лена. Диня, здравствуй. Ты к Даше? Она здесь разве?

Денис. Она в школе.

Лена. А ты что же?

Денис. Я так... Он должен перестать ходить.

Лена. Кто?! *(Покраснев.)* Денис, что с тобой? Ты выпил?

Денис. Я... предупреждаю. Что... так не будет.

Лена. Да что не будет? Денис? Идем-ка чай пить.

Денис. До свиданья. *(Уходит.)*

Лена. Это еще что?

Дергачев. Не обращай внимания.

Лена. Не-ет, пусть тогда убирается к одиночке своей! Ребенка мне подсылать!

Дергачев. Не заострай. Это вряд ли он. Ему, по-моему, все одинаковы. Он собой живет.

Лена. Как одинаковы?! Как одинаковы??

Дергачев. Успокойся. Тебе не все равно? Ты говорила, с ним всё?

Лена нервно ходит по комнате, потом ходит, закрыв лицо.

Дергачев. Зря ты с ним возишься.

Лена. Ты о чем?

Дергачев. С ним чем больше нянчишься, тем он больше распустится. Слюняй. Все давалось легко. *(Берет со стола книгу, листает. После паузы.)* Уехали твои на дачу?

Лена. Да...

Дергачев. Как мы теперь с тобой? Побудем здесь пока? Или ты против?

Лена. Подожди еще немного. Я тебя прошу. Я при дочери не смогу.

Дергачев *(пожимает плечами, кладет книгу на стол)*. Хорошо. *(Уходит. Лена падает на тахту, рыдает, с ней истерика.)*

Промежуточный (просвечивающий) занавес, за ним постепенное затемнение.

СЦЕНА 9 (ДЕНЬ 15)

Промежуточный занавес открывается. Дачный участок, пасмурный день, середина мая. На заднем плане дачный дом. Степанида Гордеевна, Нюра, соседки у стола во дворе. Митя сидит особняком в стороне, иногда встает, ходит по участку. Сцена строится поочередным приближением (освещением) то Мити, то всей остальной компании, тогда слышно то одного, то других.

С.Г. Огурцы взошли хорошо.

Нюра. А я уже закатала шесть банок. Говорят, из Индии везут. На вид такие же. Водой отливают, что ли.

С.Г. Я теперь не пойму ничего. Видно, мы с тобой уже из ума выжили.

Нюра. Такую жизнь нам делают, чтоб ничего не понять. Куда деваться.

1 соседка. Кошка опять куда-то ушла. *(Встает.)* Мурка, Мурка, Мурка!

2 соседка. А я сегодня во сне кошку видела. Ходила прямо по мне. Такая тяжелая!

Митя *(встает, прохаживается, говорит сам с собой в стороне)*. Огурцы взошли. Жизнь удалась. Вот тебе земля и дом, как ты хотел... *(Озирается.)* Среда обитания. Среда обитания... четверг обитания, пятница обитания. А что ты хотел? Ты хотел вырваться и все? А другим что от того, что ты вырвался? Ты вырвешься, а они останутся. Не то... Чего-то нет... *(Пауза.)* А хоть бы раз пережить это состояние, когда растут твои силы, когда ты знаешь, что завтра будет лучше, чем вчера, потому что ты на пути... Где этот путь? Все только про сегодняшний день. Проесть шесть банок и пустословить. И повсюду так. Страну пропели-проплясали... и все что ни день, то праздник. Что мы празднуем? Что тайгу спилили в Китай? *(Пауза.)* Даша говорит: папуля, кто же теперь честный? Видно, я тоже устарел. Не вижу.. не вижу.. все хотел увидеть, увидеть... и вот — ничего. Не вижу ничего.

Нюра. Что это с ним, он сам с собой, что ли, там?

С.Г. Мыслитель, а как же. Не знаешь, как у них?

Нюра. Господи, твоя воля. А он что приехал-то?

С.Г. Забор-то сломали нам. Я тебе говорила же. А кого просить? Пусть помогает... он вроде сам.

Молчание.

Нюра. Что там Даша-то?

С.Г. Что Даша. Говорит, кончу одиннадцатый, выйду замуж, чтоб вас не видеть никого. Вот и все.

Нюра. За своего Дениса, что ли?

С.Г. А кто ее знает! К ней не подступись. Такая стала... А твоя-то как?

Нюра. Мария? Ничего, работает. Она крепкая. Я ее редко вижу.

1 соседка. Мурка, Мурка, Мурка!

2 соседка. Вчера утром теплее было, думала уже картошку посажу. А сегодня опять холодно.

Нюра. А семена какие у тебя?

2 соседка. А где их брать, семена? Магазиновые беру, да сажаю.

Нюра. Я магазинную не могу есть. Берешь, она как мыло, вкуса нет никакого.

2 соседка. А куда деваться? Другой нет.

Митя. Чего ты хотел достичь? Независимости и уважения. Как ты хотел достичь? Мечтая и ничего не делая. Так? Так. *(Пауза.)* А вот если с той точки, что ты вот и есть это худшее зло, что во всех сказках наказано? — что вот ты, простой и честный, ты и есть на самом деле это зло по причине глупости, трусости и всех пороков? Если с этой точки написать? *(Думает.)*

Нюра. А шишки эти, я свечки купила с облепиховым маслом, продаются такие. Первый вечер свечу, а на второй микроклизмочку, с ромашкой заваривается и на животе лежишь. Тепленькая, чтоб была температура тела. И все. И за неделю вылечила. Но самое лучшее — и силы придает, и стул хороший, это вот чистотел на сыворотке молочной. Самое лучшее лекарство. У меня там киста была на придатках, могла перерасти в злокачественную, как мне говорили, и киста исчезла. А почки — поясница болела, не знаю что это, почки или что, утром встаю и по два стакана трав — первый ромашка, душица, тысячелистник, чабрец, корень солодки, чистит вообще хорошо, лег-

кость такая. А второй — корень одуванчика, аира и боярышник. Очень хорошо тоже чистит почки, песок.

2 соседка. Нюра, а вот одышка?

Нюра. Раньше, помню, у меня тоже одышка была, на автобус бежишь, такая одышка. Я делала так, сок лука стакан на соковыжималке и стакан меда, все хорошо перемешать. Если мед густой, то его на водяной ванне подогреть...

Скорым, не совсем верным шагом входит сосед.

Сосед. И-эх, сколько красавиц! Вот где я вас нашел! Вот куда запрятались! Гордеевна, что ж это, давай целоваться! Что ж это, соседей забывать!

Лезет обниматься.

С.Г. Да поди ты! Ой, да что же это!

Сосед. Целый год не целовался, вас искал. Вот я вас всех тут!..

Возгласы женщин.

— Михал Иванович! Совсем, что ли, ты с ума сошел! — Ай, боже мой, спасите! — Что ж у тебя за праздник? — А-ай, батюшки!

Визг, хохот. Нюра и соседки бегут со двора, сосед за ними. Митя смотрит отстраненно, задумавшись. Степанида Гордеевна и Митя.

Митя (*подойдя, спокойно*). Ну, что, Степанида Гордеевна, где это место, показывайте. И молоток нужен мне.

С.Г. Ну, беспутный... Вроде человек как человек, а выпьет, незнамо что. Пойдем. Да... тебе звонили что-то из редакции. Закрутилась, забыла сказать. Просили позвонить. (*Митя вздрагивает. Степанида Гордеевна уходит в дом. Митя стоит у забора неподвижно, в задумчивости трогает штакетник, затем стоит вполоборота к зрителю, опустив руки, молча.*)

Занавес.

«День литературы»

№ 4 (10), 2019 г.

Журнал русских писателей

Технический редактор Е.И. Косырева

Подписано в печать 12.12.2019 г. Формат 84x108 ¹/₁₆

Бумага офсет №1. Гарнитура Newton C.

Печать офсетная. Печ. л.: 22,5

Тираж 500 экз. Заказ №

АНО «Редакционно-издательский дом

«Российский писатель»

119146, Москва, Комсомольский пр-т, 13

Тел. 8-962-965-51-64

sp@rospisatel.ru

www.rospisatel.ru

Отпечатано в типографии ООО «Паблит»

127282, Москва, ул. Полярная, д. 31В, стр. 1

Тел.: (495) 230-20-52